

ВОЗМОЖЕН ЛИ ВОООЩЕ ПОРЯДОК В МИРЕ СЕТЕЙ?

НИАЛ ФЕРГЮСОН



CoRpus

ПЛОЩАДЬ И БАШНЯ

СЕТИ И ВЛАСТЬ ОТ МАСОНОВ ДО FACEBOOK

Нил Фергюсон

**Площадь и башня. Сети и
власть от масонов до
Facebook**

*Если бы я нарушил [молчание], силы
покинули бы меня; но, пребывая в покое, я
держал врага в невидимых сетях.*

Джордж Макдоналд

© Niall Ferguson, 2017. All rights reserved

© Т. Азаркович, перевод на русский язык, 2020

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2020

© ООО “Издательство АСТ”, 2020

Издательство CORPUS ®

Оглавление

Предисловие Историк и сети	5
Часть I Введение. Сети и иерархии	15
Глава 1 Тайна иллюминатов	16
Глава 2 Наш сетевой век	23
Глава 3 Сети, сети повсеместно	29
Глава 4 Почему иерархии?	35
Глава 5 От семи мостов до шести рукопожатий	39
Глава 6 Слабые связи и вирусные идеи	46
Глава 7 Разновидности сетей	52
Глава 8 Когда сети встречаются	57
Глава 9 Семь наблюдений	61
Глава 10 Проливая свет на иллюминатов	65
Часть II Правители и первооткрыватели	73
Глава 11 Краткая история иерархии	74
Глава 12 Первый сетевой век	80
Глава 13 Искусство ренессансной сделки	82
Глава 14 Первооткрыватели	86
Глава 15 Писарро и инки	91
Глава 16 Когда Гутенберг встретился с Лютером	97
Часть III Письма и логи	106
Глава 17 Экономические последствия Реформации	106
Глава 18 Обмен идеями	109
Глава 19 Сети Просвещения	115
Глава 20 Сети революции	122
Часть IV Реставрация иерархии	135
Глава 21 “Красное и черное”	135
Глава 22 От толпы к тирании	138
Глава 23 Восстановленный порядок	143
Глава 24 Саксен-Кобург-Готская династия	147
Глава 25 Династия Ротшильдов	152

Глава 26 Промышленные сети	160
Глава 27 От пентархии к гегемонии	166
Часть V Рыцари “круглого стола”	169
Глава 28 Имперская жизнь	169
Глава 29 Империя	172
Глава 30 Тайпинское восстание	183
Глава 31 “Пускай китайцы убираются”	188
Глава 32 Южно-Африканский Союз	193
Глава 33 “Апостолы”	200
Глава 34 Армагеддон	209
Часть VI Моровые поветрия и дудочники-искусители	216
Глава 35 “Зеленый плащ”	217
Глава 36 Чума	229
Глава 37 Вождизм	237
Глава 38 Падение “золотого интернационала”	242
Глава 39 Кружок пятерых	252
Глава 40 Короткая встреча	263
Глава 41 Элла в исправительном доме	271
Часть VII Кто хозяин в джунглях	283
Глава 42 Длительный мир	283
Глава 43 Генерал	286
Глава 44 Кризис сложности	293
Глава 45 Генри Киссинджер и его властная сеть	301
Глава 46 В долину	316
Глава 47 Падение Советской империи	323
Глава 48 Триумф человека давосского	327
Глава 49 Разорение Банка Англии	333
Часть VIII “Вавилонская библиотека”	349
Глава 50 11.9.2001	350
Глава 51 15.9.2008	359
Глава 52 Административное государство	365
Глава 53 Web 2.0	370
Глава 54 Распад на части	380

Глава 55 Революция через Twitter	386
Глава 56 9.11.2016	403
Часть IX Заключение. Когда угрожает КиберСибирь	415
Глава 57 Метрополис	415
Глава 58 Отказ сети	419
Глава 59 FANG, BAT и Евросоюз	438
Глава 60 Возвращение площади и башни	447
Послесловие Изначальные площадь и башня: сети и иерархии в Сиене эпохи треченто	454
Приложение Построение графов социальных сетей в эпоху Никсона – Форда	462
Библиография	466
Список иллюстраций	519
Список иллюстраций во вклейке	523

Предисловие

Историк и сети

Мы живем в мире, объединенном в сеть, – так, по крайней мере, нам постоянно твердят. Само слово “сеть” (*network*), почти не использовавшееся в этом отвлеченном значении до конца XIX века, сегодня используется слишком часто – и как существительное, и как глагол. Честолюбивый молодой инсайдер всегда готов пойти на очередную вечеринку, даже среди ночи, лишь бы пообщаться в своей “сети”. Пускай даже клонит в сон – страх что-то упустить пересиливает. А вот для старого брюзги, находящегося вне такой системы взаимоотношений (аутсайдера), это слово нагружено другими смыслами. У него растут подозрения, что весь мир контролируют могущественные и закрытые сети: банкиры, истеблишмент, система, евреи, масоны, иллюминаты. Почти все, что пишется в этом духе, – полная чепуха. И все же трудно поверить, что конспирологи проявляли бы такое упорство, если бы подобных сетей не существовало вовсе.

Проблема сторонников теорий заговора в том, что, подобно обиженным аутсайдерам, они вечно неверно понимают и неверно толкуют способ действия сетей. В частности, они обычно полагают, что органы власти – тайно и всецело – находятся под контролем элитных сетей. Мое исследование, да и повседневные наблюдения говорят, что это не так. Наоборот, неформальные сети обычно находятся в крайне неоднозначных и порой даже враждебных отношениях с официальными государственными учреждениями. А вот профессиональные историки до совсем недавних пор, напротив, или вовсе не интересовались ролью сетей, или, по крайней мере, преуменьшали ее. Даже и сегодня большинство историков из академической среды занимаются лишь теми организациями, которые создавали и сохраняли архивы, как будто те объединения, от которых не осталось никаких документальных свидетельств, можно вовсе не учитывать. Опять-таки мои исследования и жизненный опыт научили меня остерегаться тирании архивов. Зачастую самые большие исторические перемены происходили

благодаря деятельности неформально объединенных групп людей, почти не оставивших какой-либо документации.

Эта книга рассказывает о неравномерных колебаниях истории. Здесь проводятся разграничения между долгими эпохами, в течение которых в человеческой жизни господствовали иерархические структуры власти, и более редкими, но и более динамичными периодами, когда в более выгодном положении оказывались сети — отчасти благодаря изменениям в технологиях. Проще говоря, пока всем заправляет иерархия, твои возможности ограничиваются твоим положением на организационной лестнице государства, корпорации или иного вертикально устроенного учреждения. Когда же преимущество переходит к сетям, твои возможности определяются твоим положением внутри одной или нескольких горизонтально устроенных социальных групп. Как мы еще увидим, это противопоставление иерархии сетям является, конечно же, чрезмерным упрощением. И все же, приведя несколько примеров из своей биографии, я мог бы проиллюстрировать пользу этого противопоставления хотя бы как некоторой отправной точки.

В феврале 2016 года, в вечер того дня, когда я писал черновик этого предисловия, мне довелось побывать на презентации книги. Гости были приглашены в дом к бывшему мэру Нью-Йорка. Автором книги, ради которой мы собрались, был обозреватель *Wall Street Journal* и в прошлом спичрайтер президента. Меня пригласил туда главный редактор *Bloomberg News*, которого я знал потому, что больше четверти века назад мы с ним учились в одном оксфордском колледже. На той вечеринке я поздоровался и коротко побеседовал еще с десятком людей, среди которых были: президент Совета по международным отношениям; руководитель *Alcoa Inc.*, одной из крупнейших американских промышленных компаний; редактор раздела комментариев *Journal*; ведущий канала *Fox News*; дама из нью-йоркского *Colony Club* и ее муж; и молодой спичрайтер, который представился мне, сказав, что читал одну из моих книг (а это, безусловно, правильный способ завязать беседу с профессором).

В каком-то смысле очевидно, почему я попал на ту вечеринку. Уже в силу того, что я поочередно работал в нескольких знаменитых университетах — Оксфордском, Кембриджском, Нью-Йоркском, Гарвардском и Стэнфордском, — я автоматически сделался участником множества сетей университетских выпускников. А так как я еще и писатель и преподаватель, я принадлежу к нескольким

экономическим и политическим сетям вроде Всемирного экономического форума и Бильдербергского клуба. Я состою членом трех лондонских клубов и одного нью-йоркского. А еще в настоящее время я вхожу в правление трех корпоративных организаций – одной всемирной компании по управлению активами, одного британского аналитического центра и одного нью-йоркского музея.

И все же, несмотря на столь неплохие связи, я не обладаю практически никакой властью. На той вечеринке был любопытный момент: бывший мэр, произнося короткую приветственную речь, воспользовался случаем намекнуть (без особого энтузиазма) на то, что он подумывает вступить в качестве независимого кандидата в борьбу за пост президента США. Но я, как гражданин Великобритании, не мог бы даже голосовать на этих выборах. И даже моя поддержка никак не помогла бы ни ему, ни любому другому кандидату. Потому что, как историк и научный работник, в глазах подавляющего большинства американцев я совершенно оторван от реальной жизни простых людей. В отличие от моих бывших коллег по Оксфорду, я не контролирую процесс приема студентов в бакалавриат. Преподавая в Гарварде, я мог ставить своим студентам хорошие или средние баллы, но, в сущности, не обладал правом отчислить даже самых слабых из них. Когда на голосование ставился вопрос о присуждении научной степени, у меня был всего один голос из многих: опять-таки никакой власти. У меня есть некоторые полномочия в отношении сотрудников моей консультативной фирмы, но за пять лет я уволил в общей сложности одного человека. У меня четверо детей, но мое влияние (о власти здесь говорить не приходится) на троих из них минимально. Даже младший – ему пять лет – уже учится оспаривать мой авторитет.

Словом, я человек, далекий от иерархий. Я больше тяготею к сетям – таков мой собственный выбор. Еще студентом я радовался тому, что в университетской жизни так мало стратификации и много хаотично организованных обществ. Во многие я вступал и в нескольких нерегулярно появлялся. В Оксфорде у меня было два любимых увлечения: игра на контрабасе в джазовом квинтете – коллективе, который по сей день гордится тем, что у него нет руководителя, – и участие в заседаниях маленького консервативного дискуссионного клуба под названием *Canning*^[1]. Я сделал выбор в пользу науки, потому что, когда мне было слегка за двадцать, я категорически предпочитал свободу деньгам. Видя, как мои

сверстники и их отцы работают на традиционные, вертикально управляемые организации, я внутренне содрогался. Наблюдая за оксфордскими профессорами, моими преподавателями – членами средневекового университетского братства, гражданами древней республики ученых, владыками своих кабинетов, уставленных книгами, – я испытывал неудержимое желание неторопливо следовать по их стопам. Когда оказалось, что работа ученого оплачивается куда менее щедро, чем хотелось бы женщинам, появившимся в моей жизни, я стал искать дополнительный заработок, но при этом избегал унижительной “настоящей работы”. Будучи журналистом, я предпочитал оставаться фрилансером или, по крайней мере, иметь неполную занятость, желательно в качестве обозревателя на гонораре. Обратившись к радио и телевидению, я выступал как независимая сторона, а позже основал собственную продюсерскую компанию. Предпринимательство вполне соотнобразовывалось с моей любовью к свободе, хотя я бы сказал, что создавал компании, желая не столько разбогатеть, сколько не утратить свободу. Больше всего мне нравится писать книги на интересующие меня темы. Лучшие идеи – история банков семьи Ротшильд, карьера Зигмунда Варбурга, биография Генри Киссинджера – приходили ко мне по каналам моей сети. Лишь недавно я осознал, что это еще и книги *о сетях*.

Некоторые мои сверстники стремились к богатству. Мало кто из них добивался этой цели, не попав хотя бы ненадолго в кабалу – чаще всего работая на банк. Другие стремились к власти. Они тоже поднимались по партийной лестнице и, должно быть, сегодня сами с удивлением вспоминают пережитые унижения. Разумеется, и в академическом кругу новичку приходится в первые годы мириться с тем, что мало кто с ним считается, но это – ничто по сравнению с участием стажера в *Goldman Sachs* или рядового агитатора-добровольца в штабе проигрывающего кандидата от оппозиционной партии. Вступить в иерархию – значит покориться, по крайней мере поначалу. Однако несколько моих однокурсников по Оксфорду дослужились до высоких постов – сегодня они уже министры или руководители влиятельных ведомств. От их решений напрямую зависит перемещение миллионов – если не миллиардов – долларов, а порой даже судьба целых стран. Жена одного оксфордского выпускника, моего ровесника, выбравшего политическую карьеру, однажды посетовала, что у него слишком длинный рабочий день, никакого личного пространства, низкая зарплата и редко бывает

отпуск, а еще он не защищен от увольнения (что является неизбежным следствием демократии). “Но сам факт, что я охотно мирюсь со всем этим, – ответил он ей, – как раз и показывает, какая это упоительная штука – власть”.

Но так ли это? Может быть, сегодня лучше состоять не в иерархии, дающей власть, а в сети, дающей влияние? Чему больше соответствует ваше положение? Все мы по необходимости являемся членами нескольких иерархических структур. Почти поголовно все мы – граждане хотя бы одного государства. Очень многие работают по найму хотя бы на одну корпорацию (а на удивление большое количество существующих в мире корпораций все еще прямо или косвенно контролируются государством). В развитом мире большинство людей в возрасте до двадцати лет чаще всего учатся в том или ином образовательном учреждении; что бы ни говорили их представители, эти учреждения устроены иерархически. (Правда, у президента Гарвардского университета очень ограниченная власть над штатным профессором; зато он и подчиненные ему деканы обладают весьма большой властью над всеми остальными – от самого блестящего преподавателя-стажера до студента-первокурсника, стоящего на самой нижней ступени.) Значительное число молодых мужчин и женщин по всему миру – хотя намного меньше, чем в последние сорок столетий, – проходят военную службу, а армия – традиционно самая иерархическая организация. Если вы перед кем-то отчитываетесь, хотя бы даже перед советом директоров, значит, вы состоите в иерархии. Чем больше людей отчитываются перед вами, тем выше вы стоите над основанием пирамиды.

Однако большинство из нас принадлежит к большему числу сетей, нежели иерархий, и я имею в виду не только *Facebook*, *Twitter* и прочие компьютерные сети, возникшие в интернете за последнюю дюжину лет. Еще у нас есть сети родственников (мало какие семьи в сегодняшнем западном мире устроены по принципу иерархии), друзей, соседей, товарищей по увлечениям. Мы – выпускники учебных заведений. Мы – болельщики футбольных команд. Мы – члены клубов и обществ, мы – жертвователи благотворительных фондов. И даже наше участие в деятельности таких иерархически устроенных учреждений, как церкви или политические партии, больше сродни взаимодействию в сетях, чем работе, потому что наше участие носит добровольный характер и мы не ожидаем за него какого-либо вознаграждения.

Миры иерархий и сетей встречаются и взаимодействуют. Внутри любой крупной корпорации существуют сети, заметно отличающиеся от официальной организационной структуры. Когда некоторые сотрудники обвиняют начальника в фаворитизме, они хотят сказать, что те или иные неформальные отношения берут верх над официальным процессом продвижения по службе, которым занимается отдел кадров на пятом этаже. Когда сотрудники разных фирм встречаются после рабочего дня выпить вместе чего-нибудь покрепче, они покидают вертикальную башню корпорации и попадают на горизонтальную площадь социальной сети. Что особенно важно, когда встречается группа людей, каждый из которых наделен некоторой властью в своей иерархической структуре, их общение в сети может возыметь серьезные последствия. Энтони Троллоп в романах “паллисеровского” цикла^[2] незабываемым образом запечатлел разницу между официальной властью и неофициальным влиянием, описав, как политики викторианской поры публично обвиняют и разоблачают друг друга в палате общин, а затем уютно секретничают в сети лондонских клубов, в которых все они состоят. В этой книге я хочу показать, что подобные сети можно обнаружить почти во всех эпохах человеческой истории и что они имеют гораздо большее значение, чем внушают читателям авторы большинства книг по истории.

В прошлом, как я уже упоминал, историкам не слишком хорошо удавалось реконструировать давние сети. Недостаток внимания к сетям отчасти объяснялся тем, что традиционные исторические исследования опирались в качестве источников прежде всего на документы, оставленные иерархическими структурами, чаще всего государственными. Сети тоже оставляют после себя записи и свидетельства, но найти их не так-то просто. Помню, как я, будучи совсем еще зеленым аспирантом, явился в государственный архив в Гамбурге и меня направили в зал, заставленный *Findbücher* – огромными томами в кожаных переплетах, исписанных от руки едва читаемым старинным готическим письмом. Это умопомрачительное нагромождение и было каталогом архива. В свой черед, записи в каталожных томах вели к бесчисленным отчетам, журналам протоколов и письмам, оставленным всевозможными депутациями довольно патриархальной бюрократии этого входившего в Ганзейский союз города-государства. Я отчетливо помню, как я листал книги, относившиеся к интересовавшему меня периоду, и, к своему ужасу, не находил ни единой страницы, которая

представляла бы хоть малейший интерес. Вообразите же теперь, сколь сильное облегчение я испытал после нескольких недель такой тоски и разочарования, когда меня ввели в небольшую, обшитую дубовыми панелями комнату, где хранился частный архив документов банкира Макса Варбурга. С его сыном Эриком я познакомился благодаря чистому везению на чаепитии в британском консульстве. Уже через несколько часов я понял, что переписка Варбурга с членами его личной сети позволяет получить куда лучшее представление об истории гиперинфляции начала 1920-х годов в Германии (такова была тема моей диссертации), чем все документы, хранившиеся в государственном архиве, вместе взятые.

Много лет я, как и большинство историков, задумывался и писал о сетях лишь вскользь. У меня в голове смутно вычерчивались линии, соединявшие Варбурга с другими представителями немецко-еврейской бизнес-элиты многочисленными узами родства, деловых отношений и “избирательного сродства”. Но мне как-то не приходило в голову, что можно всерьез представить эти связи банкира в виде самостоятельной сети. Я лениво довольствовался тем, что думал о его социальных “кругах” (а этот специальный термин довольно неточен). Боюсь, мой подход оставался столь же несистематичным и спустя несколько лет, когда я взялся писать об истории взаимосвязанных банков Ротшильдов. Я слишком заикливался на сложной родословной этой семьи с ее далеко не исключительной системой родственных браков между кузенами и кузинами и обходил вниманием более обширную сеть агентов и дочерних банков, которая сыграла не меньшую роль в возвышении Ротшильдов, сделавшихся в XIX веке самой богатой семьей в мире. Задним числом я понял, что следовало внимательнее присмотреться к тем историкам середины XX века, вроде Льюиса Нэмира или Рональда Сайма, кто заложил основы просопографии (коллективной биографии) – не в последнюю очередь с тем, чтобы преуменьшить роль идеологии как самостоятельной действующей силы в истории. Однако их усилий оказалось недостаточно: до формального анализа сетей дело не дошло. Кроме того, им на смену пришло поколение социальных историков (или историков-социалистов), которые задавались иной целью: выявить взлет и падение отдельных общественных классов в качестве двигателей исторических перемен. Я узнал, что элиты Вильфредо Парето – от нотаблей революционной Франции до *Honoratioren*^[3] в Германии эпохи Вильгельма II – как правило, играли в историческом процессе куда

более важную роль, чем классы Карла Маркса, но еще не научился анализировать элитные структуры.

Эта книга – попытка исправить те давние грехи упущения. Здесь рассказывается о взаимодействии между сетями и иерархиями с древности до самого недавнего прошлого. Здесь сводятся воедино теоретические идеи, взятые из множества различных дисциплин – от экономики до социологии, от нейронауки до организационного поведения. Центральный тезис состоит в том, что социальные сети всегда имели в истории намного большее значение, чем предполагало большинство историков, привычно заикликованных на иерархических организациях вроде государств. Особенно важную роль они сыграли в двух эпохах. Первая “сетевая эпоха” наступила вслед за появлением печатного станка в Европе в конце XV и продлилась до конца XVIII века. Вторая – наша собственная – началась в 1970-х годах, хотя я стараюсь показать, что технологическая революция, которая ассоциируется у нас с Кремниевой долиной, явилась скорее следствием, нежели причиной кризиса иерархических институтов. Для промежуточного же периода – с конца 1790-х до конца 1960-х годов – была характерна противоположная тенденция: иерархические институты заново насаждали свой контроль и успешно подавляли или поглощали различные сети. Зенитом иерархически организованной власти стала, по сути, середина XX века – эпоха тоталитарных режимов и тотальной войны.

Подозреваю, что я бы не подошел к этой идее, если бы не начал писать биографию одного из самых ловких создателей и пользователей сетей современности – Генри Киссинджера. И когда я оказался уже на полпути, то есть закончил работу над первым томом и наполовину справился с подготовкой материалов для второго, мне в голову вдруг пришла интересная гипотеза. Может быть, Киссинджер добился успеха, славы и скандальной известности не только благодаря своему мощному интеллекту и железной воле, но еще и благодаря своей исключительной способности выстраивать разветвленную сеть связей – не только с коллегами внутри администраций Никсона и Форда, но и с людьми вне правительства: журналистами, владельцами газет, иностранными послами, главами государств и даже голливудскими режиссерами? В этой книге в основном синтезированы (надеюсь, без чрезмерного упрощения) исследования других ученых, пользующихся заслуженным признанием, но если говорить о личной сети Киссинджера, то здесь

я предлагаю собственную (и, полагаю, оригинальную) разработку вопроса.

Сама эта книга – продукт сети. В первую очередь я хотел бы выразить признательность директору и членам ученого совета Гуверовского института, где и писалась эта книга, а также попечителям и благотворителям этого института. В пору, когда интеллектуальное разнообразие является формой разнообразия, наименее всего ценимой в университетах, Гуверовский институт остается редкостным, если не сказать уникальным, оплотом свободных исследований и независимой мысли. Мне также хотелось бы поблагодарить своих бывших коллег из Гарварда, которые продолжают подкидывать мне свежие идеи, когда я посещаю Белферовский центр при Гарвардской школе Кеннеди и Центр европейских исследований, и моих новых коллег из Киссинджеровского центра при Школе передовых исследований международных отношений имени Пола Нитце при Университете Джона Хопкинса и из Колледжа Шварцмана при Университете Цинхуа в Пекине.

Бесценную помощь в исследованиях оказали мне Сара Уоллингтон и Элис Хан, а также Рави Жак. Мэнни Ринкон-Крус и Кеони Корреа очень помогли мне улучшить качество графиков сетей и пояснений к ним. Чрезвычайно содержательными замечаниями к моим статьям и докладам на смежные темы со мной делились (называю лишь тех, кто изложил свои соображения письменно): Грэм Аллисон, Пьерпаоло Барбьери, Джо Бариллари, Тайлер Гудспид, Микки Кауфман, Пол Шмелзинг и Эмиль Симпсон. Черновые варианты книги прочитали несколько друзей, коллег и экспертов, к которым я обращался за советами. Не пожалели времени прислать мне свои замечания Рут Анерт, Тересита Альварес-Бьелланд, Марк Андреесен, Янир Бар-Ям, Джо Бариллари, Аластер Бакен, Мелани Конрой, Дэн Эделстайн, Хлое Эдмондсон, Алан Фурнье, Орен Хоффман, Эмманюэль Роман, Сюзанна Сазерленд, Элейн Треарн, Колдер Уолтон и Кэролайн Уинтерер. Я получил ценные замечания к заключительной части книги от Уильяма Бернса, Анри де Кастри, Матиаса Дёпфнера, Джона Элканна, Эвана Гринберга, Джона Миклтуэйта и Роберта Рубина. Еще нескольких человек мне хочется поблагодарить за то, что они делились со мной идеями или позволяли сослаться на их еще не опубликованные работы: это Гленн Кэролл, Питер Долтон, Пола Финдлен, Фрэнсис Фукуяма, Джейсон Хепплер,

Мэтью Джексон и Франциска Келлер. Разобраться в истории иллюминатов мне помогали Лоренца Кастелла, Райнхард Маркнер, Олаф Симонс и Джо Вегес.

Как всегда, Эндрю Уайли и его коллеги, особенно Джеймс Пуллен, очень искусно представляли меня и мою работу. И в очередной раз мне выпала привилегия: мой текст редактировали Самон Уайндер и Скотт Мойерс, оба среди самых зорких редакторов сегодняшнего англоязычного мира. Не следует также забывать о моем выпускающем редакторе Марке Хэнсли, моем преданном виргинском корректоре и друге Джиме Диксоне и о Фреде Кортрайтере, подбиравшем иллюстрации.

Наконец, я благодарю своих детей – Феликса, Фрейю, Лахлана и Томаса. Они никогда не жаловались на то, что работа над книгой отнимает у меня время, которое я мог бы уделить им. Они всегда остаются для меня источником вдохновения, а еще гордости и радости. Моя жена Айаан терпеливо выслушивала меня, хотя в разговорах я слишком часто произносил слова “сеть” и “иерархия”. Она и сама не подозревает, что научила меня очень многому из того, что я знаю теперь об обеих формах организации. Ее я тоже благодарю – с любовью.

Эту книгу я посвящаю Кэмпбеллу Фергюсону, моему отцу, которого мне очень не хватает, и я надеюсь, что к тому времени, когда книга выйдет, в его честь будет назван его шестой внук.

Часть I

Введение. Сети и иерархии

Глава 1

Тайна иллюминатов

Некогда, почти два с половиной столетия назад, существовало тайное общество, стремившееся изменить мир. Эта организация, основанная в Германии всего за два месяца до того, как тринадцать американских колоний Британии провозгласили независимость^[4], получила известность как *Illuminatenorden* – орден иллюминатов. Цели общества были возвышенными. Сам основатель изначально назвал его *Bund der Perfektibilisten* – Союзом способных к совершенствованию. По воспоминаниям одного из членов ордена, основатель так говорил о его целях:

...Общество, которое, действуя самыми искусными и надежными методами, будет стремиться к победе добродетели и мудрости над глупостью и злобой; общество, которое совершит важнейшие открытия во всех областях науки, которое научит своих членов благородству и величию, которое обеспечит им известную награду за то, что они полностью усовершенствуют сей мир, которое защитит их от преследования, от бедствий и от гнета и которое свяжет руки деспотии во всех ее формах^[5].

Главная задача ордена состояла в том, чтобы “освещать миропонимание солнцем разума, разгоняя тучи суеверия и предрассудков”. “Моя цель – дать разуму победить”, – заявлял основатель ордена^[6]. Его методы были, нельзя не признать, воспитательными. “Единственное намерение союза, – гласил его Общий устав (1781), – давать образование, но не просто провозглашать это на словах, а поощряя и вознаграждая добродетель”^[7]. И все же в дальнейшем иллюминаты действовали как строго тайное братство. Члены общества принимали кодовые имена, зачастую древнегреческие или римские: так, сам основатель носил имя брат Спартак. Существовало три ступени или степени членства – новички, минервалы^[8] и просвещенные минервалы, – однако младшие по званию братья получали лишь самые смутные представления о целях и методах ордена. Были придуманы сложные обряды посвящения, в том числе клятва хранить тайну, нарушение которой каралось страшной смертью. Каждая изолированная ячейка

новых членов общества подчинялась вышестоящему собрату, чьего настоящего имени они не знали.

Поначалу иллюминатов было совсем немного. Имелась лишь горстка основоположников – в большинстве своем студенты^[9]. Через два года после учреждения ордена в его рядах состояло всего двадцать пять человек. В декабре 1779 года их насчитывалось только шестьдесят. Но уже через несколько лет число иллюминатов превысило 1300^[10]. В ранний период орден действовал лишь в Ингольштадте, Айхштетте и Фрайзинге, а еще несколько братьев жили в Мюнхене^[11]. К началу 1880-х годов сеть иллюминатов раскинулась по Германии уже довольно широко. Кроме того, к ордену примкнуло внушительное количество германских государей: Фердинанд, герцог Брауншвейгский-Люнебургский-Вольфенбюттельский, Карл, принц Гессен-Кассельский, Эрнст II, герцог Саксен-Гота-Альтенбургский, и Карл-Август, великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский^[12]; а также десятки аристократов вроде Франца Фридриха фон Дитfurта и восходящая звезда рейнландского духовенства Карл Теодор фон Дальберг^[13]. Советниками при многих высокопоставленных иллюминатах состояли другие члены ордена^[14]. Иллюминатами становились и интеллектуалы – в частности, разносторонний эрудит Иоганн Вольфганг Гёте, философы Иоганн Готфрид Гердер и Фридрих Генрих Якоби, переводчик Иоганн Иоахим Кристоф Боде и швейцарский педагог Иоганн Генрих Песталоцци^[15]. Драматург Фридрих Шиллер, хотя сам и не вступал в братство, создал образ маркиза Позы, персонажа поэмы “Дон Карлос” (1787), республиканца и революционера, с оглядкой на реальный прототип – одного видного иллюмината^[16]. Влияние иллюминатства иногда замечали в опере Вольфганга Амадея Моцарта “Волшебная флейта” (1791)^[17].

Однако в июне 1784 года правительство Баварии издало первый из трех указов, которые фактически наложили запрет на братство иллюминатов, осудив его как “изменническое и враждебное религии”^[18]. Особая следственная комиссия принялась очищать от иллюминатов научные сообщества и чиновничьи аппараты. Некоторые бежали из Баварии. Другие потеряли работу или были изгнаны. По меньшей мере двух человек заточили в тюрьму. Сам основатель ордена искал убежища в Готе. Как организация иллюминаты фактически прекратили существование к концу 1787 года. Зато их дурная слава надолго пережила их самих. Короля

Пруссии Фридриха Вильгельма II предупреждали о том, что иллюминаты остаются крайне опасной подрывной силой, действующей по всей Германии. В 1797 году выдающийся шотландский физик Джон Робисон опубликовал “Доказательства заговора против всех религий и правительств Европы, вынашиваемого на тайных собраниях вольных каменщиков, иллюминатов и чтецких обществ”. В этом сочинении он утверждал, что “на протяжении пятидесяти лет, под благовидным предлогом – просветить мир факелом философии и разогнать тучи гражданских и религиозных суеверий” – некое “объединение” прилагало всяческие усилия, ревностные и систематические, вплоть до того, что сделалось почти неодолимым, к достижению своей цели, а именно – “искоренить все религиозные учреждения и свергнуть все существующие правительства в Европе”. Венцом же стараний этого тайного общества, по мнению Робисона, стала ни много ни мало Французская революция. Аналогичное голословное утверждение поместил в своих мемуарах “Волтерианцы, или История о якобинцах”^[19] (тоже опубликованных в 1797 году) бывший иезуит, француз Огюстен де Баррюэль. “В сей Французской революции все, даже до ужаснейших зверств, все было предвидимо, обдуманно, исследовано, учреждено и утверждено, все управлялось наипреступнейшим злодеянием, поелику было приуготовлено, сопровождается такими людьми, которые правили цепью заговора, издавна умышленного в тайных обществах, и которые умели избрать благоприятное время и поспешить им к совершению своего умысла”^[20]. Сами якобинцы, уверял Баррюэль, являются наследниками иллюминатов. Подобные бездоказательные утверждения – заслужившие похвалу Эдмунда Берка^{[21][22]} – быстро проникли в Соединенные Штаты, где их подхватил, среди прочих, Тимоти Дуайт, президент Йельского университета^[23]. В течение XIX и XX веков иллюминаты, сами того не ведая, играли роль неких ультразаговорщиков в том, что Ричард Хофстедтер^[24] назвал “параноидальным стилем” американской политики. Представители этого стиля неизменно заявляли, будто защищают обездоленных от “обширного, коварного и невероятно действенного международного сообщества заговорщиков, намеренного совершить самые жестокие злодеяния”^[25]. Если ограничиться всего двумя примерами, можно вспомнить, что иллюминаты фигурировали в антикоммунистических брошюрах Общества Джона Бёрча^[26] и

в книге христианского консерватора Пэта Робинсона “Новый мировой порядок” (*New World Order*, 1991)^[27].

Миф об иллюминатах дожил до наших дней. Правда, некоторые из книг, посвященных этому ордену, являются откровенной беллетристикой. Отметим трилогию “Иллюминатус!”, выпущенную в 1970-х годах Робертом Ши и Робертом Антоном Уилсоном, роман Умберто Эко “Маятник Фуко” (1988), фильм “Лара Крофт: расхитительница гробниц” (2001) и триллер Дэна Брауна “Ангелы и демоны” (2000)^[28]. Труднее объяснить широко распространенные представления о том, что иллюминаты действительно существуют и достигли того могущества, о котором когда-то помышлял основатель ордена. Разумеется, есть даже ряд электронных ресурсов, якобы представляющих самих иллюминатов, однако ни один из них не внушает ни малейшего доверия^[29]. Тем не менее можно встретить утверждения, что к иллюминатам принадлежали некоторые президенты США, и в их числе не только Джон Адамс и Томас Джефферсон^[30], но и Барак Обама^[31]. В одной довольно типичной статье, очень длинной и нудной (а их в таком роде написано несметное множество), иллюминаты описываются как “необычайно богатая властвующая элита, вынашивающая планы создать рабское общество”.

Иллюминаты владеют всеми международными банками, нефтяными промыслами и крупнейшими промышленными и торговыми компаниями, они просачиваются в политические и академические круги, они хозяйничают в большинстве правительств – или, по крайней мере, контролируют их. Им принадлежат даже Голливуд и вся музыкальная индустрия... Иллюминаты заправляют и наркоторговлей... Главные кандидаты в президенты тщательно отбираются из родов, включающих тринадцать иллюминатских семейств... Их главная цель – создать Единое Мировое Правительство, оказаться на вершине власти, поработить весь мир и установить над ним свою диктатуру... Они замышляют сфабриковать “внешнюю угрозу”, видимость инопланетного вторжения, чтобы все государства на земле пожелали объединиться в одно.

В типичных теориях заговора обязательно проводятся связи между иллюминатами и семейством Ротшильдов, “Круглым столом”, Бильдербергским клубом и Трехсторонней комиссией^[32]. Не забывают при этом, конечно же, и об управляющем хедж-фондом, политическом спонсоре и филантропе Джордже Соросе^[33].

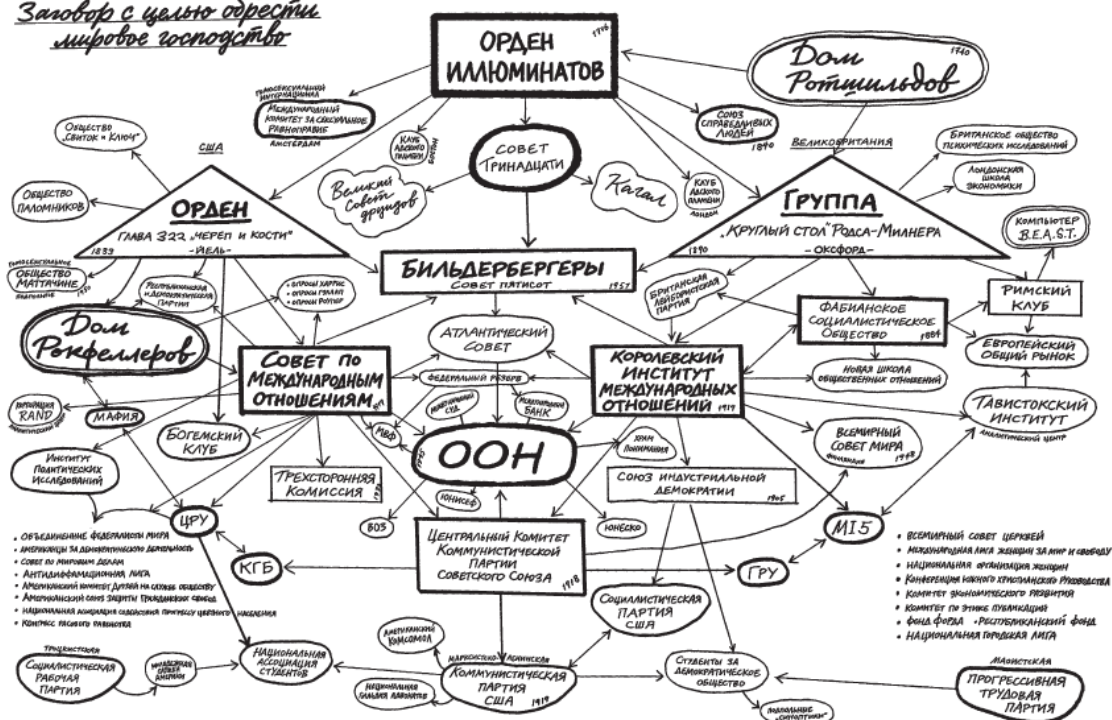
В подобные теории заговора верит – или, во всяком случае, принимает их всерьез – на удивление большое число людей^[34]. Чуть больше половины (51 %) из тысячи американцев, опрошенных в 2011 году, согласились с утверждением, что “значительная часть всех решений, принимающихся в мире, принимается малочисленной закулисной группой лиц”^[35]. Ровно четверть из более многочисленной выборки опрошенных американцев (1935 человек) согласилась с тем, что “нынешний финансовый кризис был спланирован небольшой группой банкиров с Уолл-стрит, чтобы расширить полномочия Федеральной резервной системы и усилить ее контроль над мировой экономикой”^[36]. И почти каждый пятый (19 %) согласился с тем, что “миллиардер Джордж Сорос тайно замышляет дестабилизировать американское правительство, захватить контроль над СМИ и подчинить себе весь мир”^[37]. Самого Сороса привычно связывают с иллюминатами разные популярные конспирологи вроде Алекса Джонса^[38]. Пожалуй, все это отдает безумием, но безумие такого рода оказывается весьма притягательным в глазах довольно-таки многих людей. Авторы недавно проведенного научного исследования, посвященного большой популярности конспирологии, сделали следующие выводы.

Половина населения США соглашается хотя бы с одной [теорией] заговора... Взгляд на политику как на деятельность тайных заговорщических групп является отнюдь не маргинальным выражением каких-либо политических крайностей или плодом вопиющей дезинформации, а широко распространенной тенденцией, наблюдаемой во всем идеологическом диапазоне... Многие господствующие системы взглядов в Соединенных Штатах, будь то христианские сюжеты о Боге и Сатане... или стереотипы левых о неолиберализме... весьма охотно обращаются к представлениям о незримых, умышленно действующих силах, которые определяют ход текущих событий^[39].

Нельзя сказать, что это явление наблюдается исключительно в США. К тому времени, когда началась война в Ираке, значительное количество жителей Германии уже пришли к мнению, что ответственность за теракты 11 сентября лежит на “чрезвычайно крепко связанных, но в то же время не имеющих единого центра, децентрализованных и преследующих определенные интересы организациях, которые не обязательно возникли в результате

целенаправленных действий отдельных лиц или групп лиц...»^[40]. В Британии и Австрии значительная доля избирателей тоже склонна верить в теории заговоров, причем даже в те, что изобрели сами исследователи, проводившие опросы^[41]. Российских авторов особенно привлекают теории, описывающие заговоры, которыми руководят американцы^[42], но больше всего теории заговора распространены в мусульманском мире, где число убежденных “конспирационистов” резко возросло после терактов 11 сентября^[43]. Порой приверженность подобным взглядам влечет трагические последствия. Теоретик конспирологии американец Милтон Уильям Купер был застрелен, когда оказал сопротивление полиции, пытавшейся арестовать его за уклонение от уплаты налогов и за правонарушения с применением огнестрельного оружия. Свое сопротивление властям он обосновал тем, что федеральное правительство контролируют иллюминаты^[44]. Судя по мировой статистике терроризма и его мотиваций, мусульмане, которые верят в существование американо-сионистского заговора против их религии, намного больше склонны прибегать к насилию, чем американцы “правдоискатели”^[45]. История иллюминатов высвечивает главную проблему, с которой сталкиваются пишущие о сетевых общественных организациях – особенно о тех, которые стараются оставаться в тени. Из-за того что эта тема привлекает сумасбродов, профессиональным историкам трудно принимать ее всерьез. А тех, кто все-таки это делает, поджидает другая трудность: подобные организации редко располагают доступными архивами. Баварские архивисты сохранили записи, касающиеся кампании против иллюминатов, в том числе подлинные документы, захваченные у членов братства, но лишь совсем недавно исследователи методично и кропотливо изучили и подготовили к печати корреспонденцию и устав иллюминатов, которые оказались рассеяны по самым разным местам, включая архивы масонских лож^[46]. Такого рода сложности с доступом к источникам объясняют слова одного видного оксфордского историка, который заявил, что может писать лишь “о том, что другие думали и говорили о тайных обществах, но не о самих тайных обществах”^[47]. Однако случай иллюминатов как нельзя лучше доказывает историческую значимость сетевых организаций. Сам орден иллюминатов не был таким уж важным движением. Конечно, не иллюминаты спровоцировали Французскую революцию – им даже не удалось учинить сколько-нибудь заметных беспорядков в Баварии. Но они

Заговор с целью обрести
мировое господство



Илл. 1. Заговор с целью обрести мировое господство.

22

Глава 2

Наш сетевой век

Сегодня сети, похоже, раскинулись повсюду. За первую неделю 2017 года в *New York Times* появилось 136 материалов, где присутствовало слово “сеть”. Чуть больше трети этих публикаций были посвящены телевизионным сетям, двенадцать статей – компьютерным сетям и десять – различным видам политических объединений, но были и материалы, где речь шла о транспортных, финансовых сетях, террористических и здравоохранительных сетях, не говоря уж о социальных, образовательных, криминальных, телефонных, радиосетях, электросетях и разведсетях. Читать все это – значит наблюдать мир, “где все связано”, как давно уже принято говорить. Некоторые сети объединяют боевиков, другие – медиков, а еще есть сети, связывающие банковские автоматы. Есть сеть борьбы с раком, сеть джихадистов, информационная сеть, посвященная косаткам. Некоторые сети, слишком часто называемые “обширными”^[48], являются международными, другие имеют местное значение. Одни – нематериальные, другие – подпольные. Бывают сети коррупции, сети тоннелей, сети шпионажа; существует даже сеть, которая занимается организацией теннисных матчей. Противники сетей враждуют с их сторонниками. И весь этот мир неслышно опутывают наземные, кабельные и спутниковые сети.

В “Холодном доме”^[49] вездесущим был туман. Сегодня же, если воспользоваться диккенсовским образом, и над верховьями, и над низовьями реки – всюду сети. “Остаться вне сетей – значит потерпеть неудачу”, – читаем мы в *Harvard Business Review* (HBR)^[50]. “Женщины реже становятся руководителями, – утверждает в том же журнале, – прежде всего потому, что они реже обрастают обширными сетями связей, которые поддерживали бы их и помогали подниматься по служебной лестнице”^[51]. В другой статье из HBR говорится, что “управляющие портфельными активами во взаимных фондах гораздо чаще инвестируют в те компании, с которыми у них имеются связи благодаря образовательным организациям”, и что такие инвестиции удачнее^[52] средних показателей^[53]. Однако не все вывели бы из этого заключение, что подобная сеть бывших однокашников –

однозначное благо и что бывшим однокашницам стоило бы взять с них пример. В финансах, как выясняется, некоторые экспертные сети иногда служат каналами торговли внутренней информацией или махинаций с размером процентной ставки^[54]. В мировом финансовом кризисе 2008 года тоже винили сети, точнее, ту неуклонно усложнявшуюся сеть, которая превратила мировые банки в глобальную систему передачи и расширения убытков по высокорисковым ипотечным кредитам в США^[55]. Мир, описанный Сандрой Навиди в книге “Суперхабы” (*Superhubs*), кому-то, возможно, покажется роскошным. По ее словам, “избранное меньшинство” – она называет всего двадцать человек – “управляет самыми важными и ценными активами: уникальной сетью личных связей, разбросанных по всему миру”. Эти связи формируются и поддерживаются всего в нескольких учреждениях и организациях: это Массачусетский технологический институт, компания *Goldman Sachs*, Всемирный экономический форум, три филантропические организации, в том числе *Clinton Global Initiative*, и ресторан *Four Seasons* в Нью-Йорке^[56]. С другой стороны, один из важнейших идейных посылов успешной предвыборной кампании Дональда Дж. Трампа в 2016 году сводился к тому, что за “несостоятельным и коррумпированным политическим истеблишментом”, который олицетворяла Хиллари Клинтон – кандидатка, проигравшая Трампу, – стоят как раз эти самые “глобальные специальные интересы”^[57].

Ни один рассказ о президентских выборах в США в 2016 году не будет полным без обсуждения тех ролей, которые сыграли в них медиасети, от *Fox News* до *Facebook* и *Twitter* – любимой социальной сети кандидата-победителя^[58]. Один из многочисленных парадоксов этих выборов состоит в том, что кампания Трампа, двигателем которой были информационные сети, яростно обрушивалась на элитарную сеть Клинтон, тогда как к этой сети некогда принадлежал и сам Трамп, о чем свидетельствует хотя бы присутствие четы Клинтон на его третьей свадьбе. Всего за несколько лет до выборов организация под названием *The Trump Network* (“Сеть Трампа”), созданная в 2009 году при поддержке Трампа для продажи товаров вроде витаминных добавок, обанкротилась. Если бы Трамп проиграл на выборах, он запустил бы новую телевизионную сеть – *Trump TV*. В силу множества причин он не проиграл, в том числе и потому, что сеть российских спецслужб сделала все возможное для того, чтобы навредить

репутации его соперницы, используя в качестве основных инструментов веб-сайт *Wikileaks* и телекомпанию RT. Как говорилось в частично рассекреченном докладе разведывательных служб США, “президент России Владимир Путин распорядился оказать влияние на кампанию 2016 года” с целью “очернить госсекретаря Клинтон и снизить ее шансы на избрание президентом”, так как Кремль отдавал явное предпочтение кандидатуре Трампа. В июле 2015 года, согласно этому докладу, “российские спецслужбы получили доступ к сетям Национального комитета демократической партии и продолжали пользоваться этим доступом по крайней мере до июня 2016 года”, систематически публикуя добытые электронные письма через *Wikileaks*. Одновременно “российская машина государственной пропаганды – включающая аппарат внутренних СМИ, информагентства, рассчитанные на аудиторию по всему миру, вроде каналов RT и *Sputnik*, а также сеть квазиправительственных троллей, – тоже оказывала влияние на ход кампании, служа площадкой для трансляции кремлевских тезисов российской и международной публике”^[59].

Впрочем, другой причиной победы Трампа стало множество терактов, которые в течение года перед выборами устроила сеть террористов-исламистов, известная как “Исламское государство”, – в том числе два теракта в США (в Сан-Бернардино и Орландо). Эти теракты увеличили привлекательность обещаний Трампа, грозившего “разоблачить”, “выдавить” и “выкорчевать одну за другой... все системы поддержки радикального ислама в США” и “полностью демонтировать иранскую всемирную террористическую организацию”^[60].

Иными словами, мы живем в “сетевом веке”^[61]. Джошуа Рамо^[62] назвал его “эпохой власти глобальных сетей”^{[63][64]}. Адриенна Лафранс^[65] предпочитает определение “век вовлечения”^[66]. Параг Ханна^[67] предлагает даже новую дисциплину – коннектографию – для отображения “всемирной сетевой революции”^[68]. По словам Мануэля Кастельса^[69], “сетевое общество представляет собой качественное изменение человеческого опыта”^[70]. Сети меняют всю общественную сферу, а с ней и саму демократию^[71]. Но к лучшему или к худшему? “Сегодняшняя сетевая технология... идет на пользу гражданам, – пишут сотрудники *Google* Джаред Коэн и Эрик Шмидт. – Никогда раньше такое количество людей не объединялось посредством мгновенно реагирующей сети”, что влечет за собой

“коренные изменения” в политике по всему миру^[72]. Альтернативное мнение гласит, что глобальные корпорации вроде *Google* систематически добиваются “структурного господства”, используя свои сети для размывания национального суверенитета и коллективистской политики, которую осуществляют отдельные государства^[73].

Тот же вопрос можно задать о воздействии сетей на международную систему: к лучшему оно или к худшему? Энн-Мари Слотер^[74] находит, что имело бы смысл перенастроить глобальную политику, а именно – задействовать, помимо традиционной “шахматной доски” межгосударственной дипломатии, новую “паутину сетей” и использовать преимущества последней (например, ее прозрачность, гибкость и масштабируемость)^[75]. В будущем женщины-политики, по ее словам, станут “сетевыми деятельницами, наделенными властью и осуществляющими руководство наряду с правительствами” при помощи “стратегий связи”^[76]. Параг Ханна с удовольствием предвкушает появление “мира, связанного цепочкой доставок”, в котором глобальные корпорации, города-гиганты, “аэротрополисы” (города-аэропорты) и “региональные содружества” будут заниматься бесконечным, но по сути мирным “перетягиванием каната”, соревнуясь между собой за экономические преимущества, и эта борьба будет напоминать скорее масштабную многопользовательскую игру^[77]. Однако представляется сомнительным – и не только Джошуа Рамо, но и его наставнику Генри Киссинджеру, – что подобные тенденции повысят глобальную устойчивость. Вот что написал Киссинджер:

Распространенность сетевых коммуникаций в социальном, финансовом, промышленном и военном секторах... революционизировала уязвимости. Превосходя большинство правил и норм (и техническую компетенцию многих регуляторов), она, в некоторых отношениях, создала такое состояние природы... побег от которого, следуя Гоббсу, становится мотивом и стимулом для создания политического порядка... [А] симметрия и подобие “врожденного” мирового беспорядка составляют фундамент отношений между кибердержавами в дипломатии и в стратегии... Отсутствие хотя бы начальных правил международного поведения порождает кризис, возникающий из внутренней динамики системы^{[78][79]}.

Если “первая мировая кибервойна” уже началась, как утверждают некоторые, тогда это война между сетями^[80].

Самая тревожная перспектива состоит в том, что единая всемирная сеть в конце концов сделает вид *Homo sapiens* просто лишним, а затем и вымершим. Юваль Харари в книге “*Homo Deus: Краткая история будущего*” пишет, что эпоха масштабных “сетей массового взаимодействия”, в основе которых лежат письменность, деньги, культура и идеология – порождения “углеродных” человеческих нейронных сетей, – мало-помалу сменяется новой эпохой кремниевых компьютерных сетей, в основе которых лежат алгоритмы. И в этих сетях мы сами вскоре будем значить для алгоритмов не больше, чем сейчас для нас значат другие животные. Со временем отключение от сети будет равнозначно смерти для отдельного человека, потому что сеть будет круглосуточно отвечать за наше здоровье. Но подключение к сети в итоге обернется вымиранием вида: “Созданные нами же критерии спишут нас в вечность следом за мамонтами и китайскими речными дельфинами”^{[81][82]}. Судя по проведенному Харари мрачному обзору нашего прошлого, в будущем нас ждет вполне справедливое возмездие^[83].

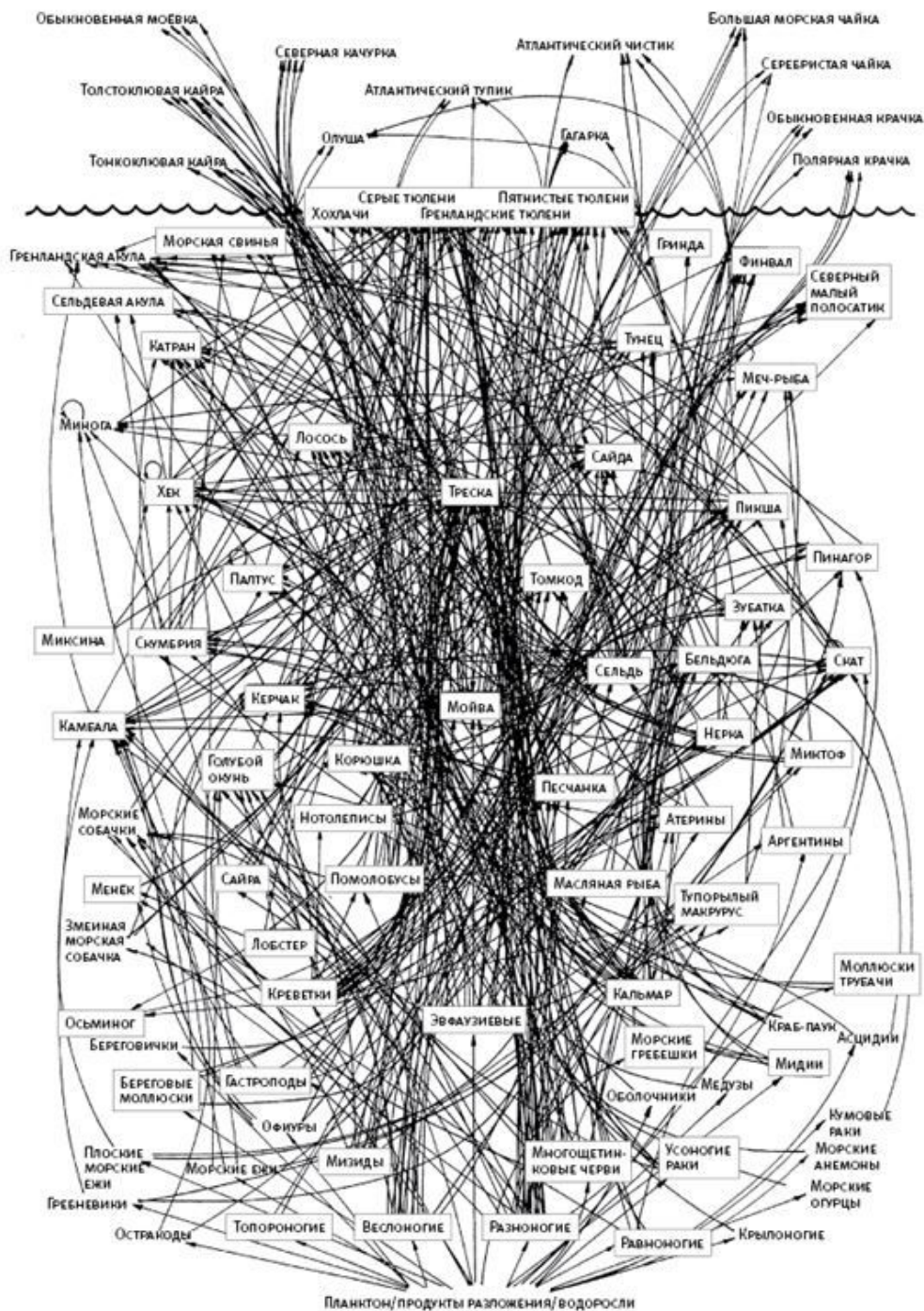
В моей книге больше говорится о прошлом, чем о будущем; точнее, цель этой книги – узнать о будущем, прежде всего изучая прошлое, а не предаваясь полетам фантазии и не экстраполируя наобум в будущее недавние тенденции. Есть и такие (не в последнюю очередь в Кремниевой долине), кто сомневается, что история способна многому научить людей в эпоху столь быстро развивающихся технических инноваций^[84]. Более того, во многих дебатах, суть которых я выше вкратце изложил, заранее делается допущение, что социальные сети – явление новое и что их сегодняшняя повсеместность – нечто беспримерное. Это допущение неверно. Хотя мы непрерывно говорим о сетях, в действительности большинство из нас имеет лишь весьма ограниченное понятие о том, как они работают, и почти совсем не знает, откуда они взялись. Мы плохо представляем, насколько распространены сети в природном мире, сколь важную роль они играли в эволюции человека как вида и сколь неотъемлемой частью человеческой жизни они были в прошлом. В результате мы, как правило, недооцениваем значимость сетей в прошлом и ошибочно полагаем, будто из истории об этом ничего нельзя узнать.

Конечно, еще никогда не существовало столь широких сетей, какие мы наблюдаем в сегодняшнем мире. И распространение информации (как, впрочем, и болезней) никогда еще не происходило так быстро. Но масштаб и скорость – еще не все. Мы никогда не осмыслим обширные и скоростные сети нашего собственного времени, и, в частности, не сможем угадать, чем обернется “сетевой век”: радостным освобождением или же чудовищной анархией, – если не изучим более скромные по размерам и более медлительные сети прошлых эпох. Потому что и они были вездесущими. И порой тоже очень крепкими и влиятельными.

Глава 3

Сети, сети повсеместно

Природный мир в огромной степени состоит, по словам физика Джеффри Уэста, из “оптимизированных, заполняющих пространство, ветвящихся сетей” – от системы кровообращения в человеческом организме до муравьиной колонии, – и все они возникли и развивались для распределения энергии и вещества между макроскопическими вместилищами и микроскопическими участками, охватывающими – что поразительно – двадцать семь порядков величины. Кровеносная, дыхательная, мочевыделительная и нервная системы живых организмов – все это природные сети. А еще к ним относятся сосудистая система растений и внутриклеточные микротрубочная и митохондриальная сети^[85]. Пока что единственная основательно изученная нейронная сеть – это мозг червя нематоды *Caenorhabditis elegans*, но со временем точно так же будут исследованы и более сложно устроенные мозги^[86]. От мозгов червей до пищевых цепей (или пищевых систем) современная биология находит сети на всех уровнях земной жизни^[87]. Благодаря определению последовательности генома обнаружилась сеть регулирования генов, в которой “узлами служат гены, а связями между ними – цепочки реакций”^[88]. Речная дельта тоже представляет собой сеть – вы наверняка видели такие в школьных атласах. Сети образуют и опухоли.



Илл. 2. Частичная пищевая сеть Шотландского шельфа в северо-западной части Атлантического океана.

Некоторые задачи можно решить только путем анализа сетей. Ученым, которые силились объяснить массовое цветение водорослей, наблюдавшееся в заливе Сан-Франциско в 1999 году, пришлось составить специальную карту, отображавшую сеть обитания морских животных, и лишь после этого им удалось установить истинную причину напасти. Похожее схематическое

отображение нейросетей помогло выяснить, что вместилищем человеческой памяти является гиппокамп^[89]. Скорость распространения инфекционных заболеваний зависит не только от силы самой заразы, но и от сетевой структуры незащищенного населения, что ясно продемонстрировала двадцать лет назад эпидемия, разразившаяся среди подростков^[90] в округе Рокдейл в штате Джорджия^[91]. Существование всего нескольких хорошо связанных между собой узловых центров приводит к тому, что после начальной стадии медленного роста распространение болезни происходит в геометрической прогрессии^[92]. Иначе говоря, если основной показатель воспроизводства (то есть количество людей, которые заново заражаются от типичного зараженного человека) выше единицы, тогда заболевание становится эндемическим; если это число ниже единицы, тогда распространение болезни, как правило, прекращается. Однако этот основной показатель воспроизводства определяется в равной мере и вирулентностью самой болезни, и структурой сети, связывающей тех, кто подвергается заражению^[93]. Кроме того, сетевые структуры могут обуславливать скорость и точность распознавания болезни^[94].

В доисторические времена *Homo sapiens* развивался как стайная обезьяна и приобрел уникальную способность объединяться в сети – то есть общаться и сознательно действовать в коллективе, – которая отличает нас от всех прочих животных. По словам биолога-эволюциониста Джозефа Хенрика, мы не просто менее волосатые шимпанзе с более крупным мозгом: секрет успеха нашего биологического вида “кроется... в коллективных мозгах наших сообществ”^[95]. В отличие от шимпанзе мы учимся сообща – уча других и делясь опытом. По мнению антрополога-эволюциониста Робина Данбара, в результате эволюции у человека появился большой мозг с более развитым неокортексом, благодаря чему мы приспособлены взаимодействовать внутри сравнительно больших социальных групп, включающих примерно 150 человек (по сравнению с группами около пятидесяти особей у шимпанзе)^[96]. На самом деле наш вид следовало бы назвать *Homo dictyous*^[97] (“человек сетевой”), потому что, говоря словами социологов Николаса Кристакиса и Джеймса Фаулера, “наши мозги как будто нарочно создавались для социальных сетей”^[98]. Этнограф Эдвин Хатчинс придумал термин “рассредоточенное приобретение знаний”. Наши далекие предки являлись по необходимости объединенными охотниками-собираателями и потому зависели друг

от друга во всем, что было связано с поиском пищи, укрытия и тепла^[99]. Вполне вероятно, что возникновение устной речи, а также связанное с ее развитием увеличение объема мозга и совершенствование его строения явились частью того же процесса взаимодействия, что наблюдается и у других приматов, – например груминга^[100]. То же самое относится и к другим коллективным занятиям – искусству, танцу и ритуалу^[101]. По словам историков Уильяма Х. Макнила и Дж. Р. Макнила, первая “всемирная паутина” в действительности возникла еще 12 тысяч лет назад. Человек с его непревзойденной нейронной сетью был просто рожден для сетевого взаимодействия.

Итак, социальные сети – это структуры, которые люди образуют самым естественным путем, начиная с самого знания и различных форм его изложения и передачи, а еще, конечно же, с генеалогического древа, к которому непременно принадлежит каждый из нас, пускай даже немногие обладают основательным знанием своей родословной. К сетям относятся схемы расселения, миграции и смешения, то есть процессов распространения нашего вида по всей Земле, а также несметное множество культов и поварных увлечений, которые мы постоянно плодим без какого-либо предварительного умысла и руководства. Как мы еще увидим, социальные сети обретают самые разные формы и масштабы – от замкнутых тайных обществ до общедоступных движений. Одни имеют спонтанный, самоорганизующийся характер, другим присуще более рациональное и четкое устройство. Ну а потом – начиная с изобретения письменности – новые технологии лишь содействовали нашей врожденной, очень древней потребности объединяться и взаимодействовать.

И все же остается одна загадка. На протяжении почти всей письменной истории сети уступали по масштабу и размаху иерархиям. Люди входили чаще всего в иерархические структуры, в которых власть сосредоточивалась на самом верху – в руках вождя, сеньора, короля или императора. И напротив, сеть, частью которой являлся среднестатистический человек, не отличалась широким охватом. Типичный крестьянин (ведь именно к крестьянству принадлежало большинство людей на протяжении почти всей документированной истории) составлял часть крошечной группы – семьи, входившей в чуть более обширную группу – сельскую общину, а та уже не имела почти никаких связей с остальным миром. Именно так выглядела жизнь большинства людей всего

лишь сотню лет назад. Даже сегодня жители индийских деревень в лучшем случае объединены как некое “общественное лоскутное одеяло... в союз маленьких групп, где каждая группа имеет ровно такую величину, чтобы отвечать за взаимодействие всех своих членов, а все группы связаны между собой”^[102]. Ключевую роль в подобных изолированных сообществах играют рассеивающие центры, известные в быту как разносчики сплетен^[103].

Гнет традиционных ограниченных сетей бывал порой столь невыносим, что отдельные личности предпочитали им полное одиночество. В стихотворении Роберта Бёрнса “Жена верна мне одному” (*Naeboddy*) воспевается самодостаточность как своего рода дерзкая независимость:

*Жена верна мне одному,
И сам я верен ей за то.
Не ставлю рожек никому,
И мне не ставит их никто.*

*Своим трудом я нажил грош,
И сам истрачу я его.
Что у меня займы возьмешь?
И я не брал ни у кого.*

*Я не хозяин никому,
И никому я не слуга.
А если в руки меч возьму,
Я отобью удар врага.*

*Так и живу день изо дня,
Тоской, заботой не томим.
Другим нет дела до меня,
И я не кланяюсь другим^[104].*

Такие упрямые одиночки часто становились героями западного кинематографа – от “Одинокого рейнджера” до “Бродяги высокогорных равнин”. В фильме братьев Коэн “Просто кровь” (1984) рассказчик живет в мире, где царит необузданный жестокий индивидуализм. “Давай пожалуйста, – говорит он, – Расскажи соседу о своих бедах, попроси о помощи – он тут же сбежит. Вот в России все так устроили, что каждый всегда выручит всех остальных – хотя бы на словах. Но я-то, кроме Техаса, ничего не видел. А здесь у нас... ты сам по себе”^[105].

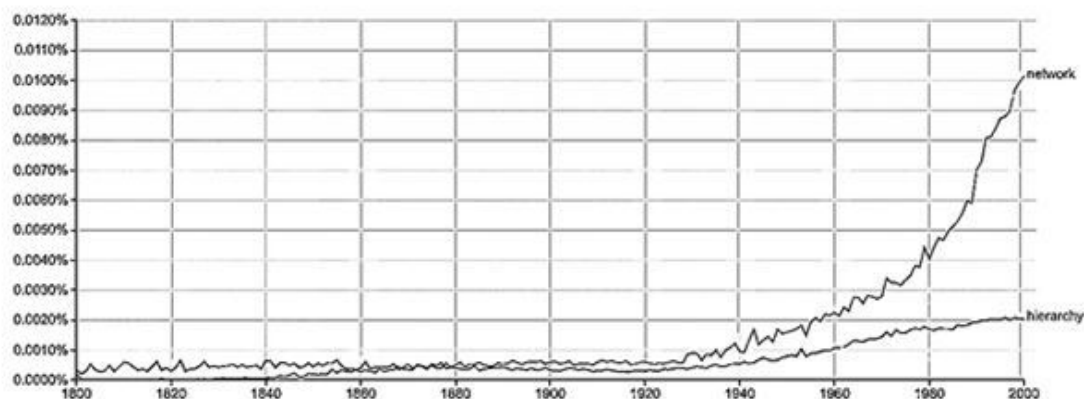
Впрочем, такой отъявленный индивидуализм – скорее исключение, чем правило. Как незабываемо сказал Джон Донн в своих “Обращениях к Господу в час нужды и бедствий”:

Ни один человек – не остров, обретающийся сам по себе. Каждый человек – часть материка, часть единой суши. И если хоть ком земли смочит в море, то убудет от Европы, и то же сделается, если вода размочит береговой мыс или обрушится дом твоего друга или твой собственный. Смерть всякого человека умаляет меня, ибо я принадлежу роду человеческому, а потому *никогда не посылай узнать, по ком звонит колокол: он звонит по тебе*.

Человек – поистине общественное животное, и если мизантроп сам сторонится других людей, то и они остерегаются его. Озадачивает же вот что: как мы, от природы склонные к горизонтальному взаимодействию, так долго пребывали в плену у властных иерархий с их жесткой вертикальной структурой?

Слово “иерархия” (англ. *hierarchy*) восходит к древнегреческому *ἱεραρχία*, что буквально означает “власть жреца” (*ἱερεὺς*). Впервые это слово употребили для описания “небесной иерархии” ангельских чинов, а затем оно обрело более широкий смысл и стало обозначать любое многоярусное устройство духовного или светского правления. А вот слово “сеть”, напротив, вплоть до XVI века не обозначало ничего большего, чем ячеистое полотно из переплетенных веревок или нитей. Шекспир изредка употреблял слова *net* и *web* в переносном смысле – например, коварный Яго, злоумышляющий против Отелло, говорит: “Я... сеть сплету... чтобы их опутать всех”^[106], – но само слово *network* ни разу не встречается ни в одной из его пьес^[107]. В XVII–XVIII веках ученые заметили, что в природе существуют сети – от паучьих паутин до кровеносной системы из вен и артерий в человеческом организме, – но лишь в XIX веке это понятие начали шире использовать в переносном смысле: географы и инженеры – для описания водных и железнодорожных путей, писатели – для характеристики отношений между людьми. Поэт Кольридж (1817) говорил о “сети собственности”, а историк Фримен (1876) о “сети феодальных владений”^[108]. И все же вплоть до 1880 года в книгах, выходивших на английском языке, слово *hierarchy* встречалось гораздо чаще, чем слово *network* (см. илл. 3). Можно задним числом подвергнуть политические и общественные отношения, описанные в романе Энтони Троллопа “Финеас Финн” (1869), анализу сетевыми

методами^[109], но в самом тексте романа это слово не появляется ни разу. Лишь ближе к концу XX века слово *networks* стали применять все шире: вначале – к транспортным и электрическим сетям, затем к телефонным и телевизионным и, наконец, к компьютерным и онлайн-социальным сетям. И лишь в 1980 году слово *network* стали употреблять как глагол, обозначающий преднамеренное общение, ориентированное на карьерный рост.



Илл. 3. Составленная *Google N-грамма* встречаемости слов *network* и *hierarchy* в публикациях на английском языке с 1800 по 2000 г.

Глава 4

Почему иерархии?

Туристу, который посещает Венецию, нужно непременно приберечь несколько часов для поездки на очаровательный и сонный остров Торчелло. Там, внутри собора Санта-Мария-Ассунта (Успения Богородицы), можно увидеть замечательное изображение того, что мы называем иерархией (см. вкл. № 1) – мозаику XI века “Страшный суд”, расчлененную на пять ярусов – с Иисусом Христом на самом верху и адским пламенем в самом низу.

Примерно так большинство людей и представляет себе иерархию – как вертикально выстроенную организацию, где власть сосредоточена наверху, и приказы, распоряжения и информация нисходят сверху вниз. Исторически такие структуры зародились на уровне семейных кланов и племенных объединений, из которых (или на фоне которых) со временем выросли более сложные и многослойные институты – с формализованным разделением и

ранжированием труда^[110]. Среди разнообразных видов иерархий, которые расплодились до наступления Нового времени, были жестко регламентированные города-государства, чья экономика держалась на торговле, и более крупные, чаще всего монархические, государства, опиравшиеся в первую очередь на сельское хозяйство; подчиненные единому центру религиозные культы, известные под названием церквей; армии и чиновничьи аппараты внутри государств; цехи или гильдии, которые контролировали доступ к отдельным профессиям, требовавшим особых навыков; независимые корпорации, которые с начала Нового времени стремились извлекать выгоду из экономии на масштабах, освоив проведение определенных рыночных сделок; академические объединения вроде университетов; и наконец, сверхкрупные транснациональные государства, известные под названием империй.

Главный мотив, в силу которого люди делали выбор в пользу иерархического порядка, сводится к тому, что он облегчает управление: централизованная власть в руках одного “большого человека” сводит на нет или хотя бы снижает количество отнимающих время споров о том, что и как делать, которые в любой момент способны перерасти в междоусобные конфликты^[111]. По мнению философа Бенуа Дюбрёя, делегирование судебной и карательной власти – власти наказывать преступников и правонарушителей – являлось в глазах и отдельного человека, и элиты оптимальным решением для преимущественно аграрного общества, которому требовалось, чтобы основная масса людей просто помалкивала и трудилась в полях^[112]. А Петр Турчин отводит особое значение войнам, утверждая, что распространению иерархически устроенных государств и армий способствовали изменения в военной технике и технологии^[113].

Кроме того, сам абсолютизм может способствовать сплочению общества. В 1890 году в царской России полицейский Никифорыч объяснял молодому Максиму Горькому: “Незримая нить – как бы паутинка – исходит из сердца его императорского величества государь-императора Александра Третьего и прочая, – проходит она сквозь господ министров, сквозь его высокопревосходительство губернатора и все чины вплоть до меня и даже до последнего солдата. Этой нитью всё связано, всё оплетено, незримой крепостью её и держится на веки вечные государево царство”^[114]. Горький дожил до тех времен, когда Сталин превратил эту незримую нить в

столь крепкие стальные провода, сковавшие общество, какие в самых смелых фантазиях не грезились царям.

Однако и изъян самодержавия тоже очевиден. Ни один человек, как бы талантлив он ни был, не способен единолично справиться со всеми сложностями управления империей, и почти никто не в силах сопротивляться разлагающим соблазнам абсолютной власти. Критика в адрес иерархического государства затрагивает и политику, и экономику. Начиная с XVIII века западный мир, пускай и с некоторыми срывами и задержками, стал позитивнее относиться к демократии, чем античные и ренессансные политические мыслители, или, по крайней мере, положительнее оценивать такое правительство, власть которого ограничена независимыми судами и теми или иными представительными органами. Не говоря уж об изначальной привлекательности политической свободы, государства инклюзивного типа все чаще ассоциируются с более устойчивым экономическим развитием^[115]. Кроме того, они лучше справляются с возникающими сложностями по мере роста населения и развития новых технологий. А еще их гораздо труднее обезглавить: ведь если страной правит один человек, то, убив его, можно вызвать крушение всей иерархической системы. В то же время экономисты, начиная с Адама Смита, доказывали, что свободный рынок в силу своего стихийного характера лучше подходит для распределения ресурсов, чем частный монополист или наделенное чрезмерными полномочиями правительство.

На деле, конечно же, очень многие самодержавные правители, оставившие след в истории, передавали рынку немалую долю полномочий, хотя сами могли регулировать и облагать налогами его деятельность и изредка в нее вмешиваться. Потому-то в классическом городе Средневековья или раннего Нового времени, вроде тосканской Сиены, башня, олицетворявшая мирскую власть, возвышается прямо над площадью, которая обычно служит рынком и местом других общественных собраний, и бросает на нее мрачную тень (см. вкл. № 2). Следовательно, было бы неверно вслед за Фридрихом Хайеком^[116] говорить о простом противопоставлении государства и рынка. И не только потому, что правительство определяет законные рамки, внутри которых действует рынок, но еще и потому, что, как писал Макс Буазо в поздних работах, рынки и бюрократические аппараты сами по себе являются идеальными типами сетей для распространения информации, ничуть не хуже кланов или феодалов^[117].

Однако неформальные сети устроены иначе. В них, по словам социолога, теоретика организаций Уолтера Пауэлла, “взаимодействие происходит не путем разрозненных сообщений и не посредством административных указов, а благодаря группам людей, совместно занятых добровольно избранной ими взаимно поддерживающей деятельностью... [которая] не связана ни с четкими рыночными критериями, ни с привычным патернализмом иерархий”^[118]. Студентам, изучающим корпоративное управление, давно известно, какую роль играют сети взаимосвязанных руководителей в некоторых экономиках. Японские холдинги *кэйрэцу*^[119] – лишь некоторые из множества подобных бизнес-групп. Подобные объединения заставляют вспомнить знаменитое замечание Адама Смита о том, что “представители одного и того же вида торговли или ремесла редко собираются вместе даже для развлечений и веселья без того, чтобы их разговор не кончился заговором против публики или каким-либо соглашением о повышении цен”^[120]. А еще некоторые политологи с определенной тревогой обнаружили, что сети занимают некоторую промежуточную территорию^[121]. Что, если участники сетей тайно заняты торговлей, пускай даже идет обмен подарками, а не банкнотами?^[122] Являются ли сети всего лишь объединениями с менее жесткой структурой?^[123] Теоретики, изучающие сети, много лет искали ответы на подобные вопросы, хотя историки часто обходили вниманием их работы, по крайней мере до недавнего времени.

Глава 5

От семи мостов до шести рукопожатий

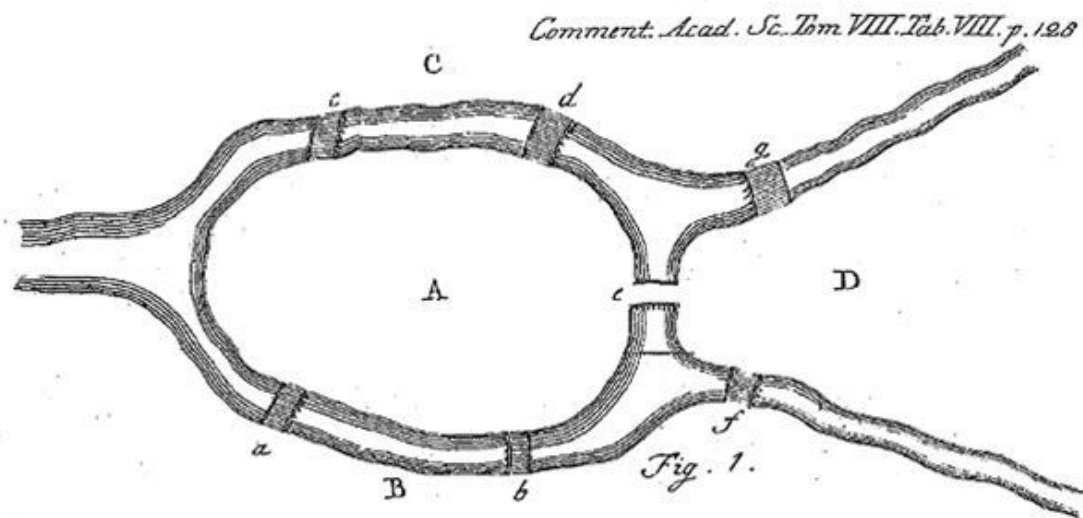
Формальное изучение сетей началось в середине XVIII века, когда переживал пору расцвета восточнопрусский город Кёнигсберг, родина философа Иммануила Канта. Среди достопримечательностей Кёнигсберга были семь мостов через реку Прегель^[124], соединявших противоположные берега с двумя островками посреди реки, а также сами эти островки между собой (см. илл. 4). Местные жители давно заметили, что невозможно пройти по всем семи мостам, не пройдя по одному из них хотя бы дважды^[125]. Эта задача привлекла внимание великого математика Леонарда Эйлера, уроженца Швейцарии, и в 1735 году он разработал теорию графов, чтобы наглядным и научным способом доказать, почему такой маршрут невозможен. На упрощенном графе, или схеме (см. илл. 5), четыре “вершины” обозначают два берега реки и два острова, больший и меньший, а семь “ребер” обозначают соединяющие их мосты. Строго говоря, Эйлер продемонстрировал, что возможность существования пути, который пересекал бы каждое ребро всего один раз, зависит от *степени* вершин (то есть количества ребер, сходящихся к каждой вершине). Граф должен иметь либо две вершины с нечетным количеством ребер, либо ни одной. Поскольку в графе, изображающем семь кёнигсбергских мостов, четыре таких вершины (одна с пятью ребрами, остальные с тремя), Эйлеров путь в нем невозможен. Пройтись по всем мостам, не пройдя ни по одному из них дважды, можно было бы, только убрав одно ребро – то есть мост между двумя островами: тогда остались бы только две вершины с нечетной степенью. Со времен Эйлера основными единицами теории графов, которую он сам изначально называл “геометрией положения”, являются вершины (узлы) и ребра (звенья).

В XIX веке ученые стали применять этот принцип ко всему – от картографии до электрических цепей и до изомерии органических соединений^[126]. О том, что могут существовать еще и *общественные* сети, тоже, разумеется, задумывались крупные политические мыслители того времени – в частности, Джон Стюарт Милль, Огюст Конт и Алексис де Токвиль. Последний из них

обратил внимание на то, что большое количество разного рода общественных объединений на раннем этапе существования США сыграло важную роль в формировании американской демократии. Однако ни один из них не пытался изложить свои догадки в связной форме. Поэтому можно считать, что изучение социальных сетей ведет свой отсчет с 1900 года, когда школьный учитель и обществовед-любитель Иоганн Делитч опубликовал схему, отображавшую характер дружеских отношений между 53 учениками, с которыми он занимался в течение 1880/81 учебного года^[127]. Делитч выявил четкую связь между близостью общественного положения мальчиков и их академической успеваемостью (на основе которой в ту пору рассаживали учеников в классе). В чем-то сходная работа была проделана тремя десятилетиями позже в Нью-Йорке, где психиатр Якоб Леви Морено, своеобразная личность – австриец по рождению^[128], но при этом противник Фрейда, – составлял социограммы, изучая взаимоотношения между девочками, малолетними преступницами, в исправительной школе в Гудзоне, штат Нью-Йорк. В его исследовании, опубликованном в 1933 году^[129] под названием “Кто выживет?” (*Who Shall Survive?*), показывалось, что большой рост числа сбежавших из учреждения в 1932 году становится объяснимым, если знать, какое место занимали беглянки в школьной социальной сети симпатий и антипатий, имеющих как расовый, так и сексуальный характер (см. вкл. № 2). Вот здесь, заявил Морено, и скрыты “общественные силы, которые господствуют над человечеством”. Его книга, считал он, станет “новой настольной книгой – руководством по социальному поведению, по человеческим сообществам”^[130].

Спустя еще тридцать лет лингвист и библиограф Юджин Гарфилд придумал сходный графический способ наглядно показывать историю разных научных областей при помощи “историограммы” *цитат*. С тех пор индексы цитирования и “факторы влияния” стали стандартными инструментами измерения академических достижений в науке. А еще они дают возможность отображать процесс появления новых научных идей – например обнаруживая “невидимые колледжи”, которые вызываются к жизни сетями цитирования и которые весьма отличаются от тех настоящих колледжей, где работают большинство ученых^[131]. Впрочем, подобные показатели иногда говорят лишь о том, что ученые склонны цитировать труды тех ученых, кто близок

им по взглядам. Как гласит старая пословица, свой своему поневоле брат. Это относится не только к цитированию, но и ко многому другому. Если два узла связаны с третьим, то высока вероятность, что они окажутся связаны и друг с другом, потому что (говоря словами экономиста Джеймса Э. Рауха) “два человека, которые знакомы со мной, будут знакомы между собой с большей вероятностью, чем два произвольно выбранных человека”^[132]. Триада, все участники которой связаны между собой положительными чувствами, называется “уравновешенной” и иллюстрирует изречение “друг моего друга – мой друг”. Другая триада, два участника которой не знают друг друга, хотя знают третьего участника, иногда называется “запретной триадой”. (Вариант, при котором два участника дружны между собой, а третий враждебен одному из них, являет собой пример такой неприятной ситуации, когда “враг моего друга – мой друг”^[133].)



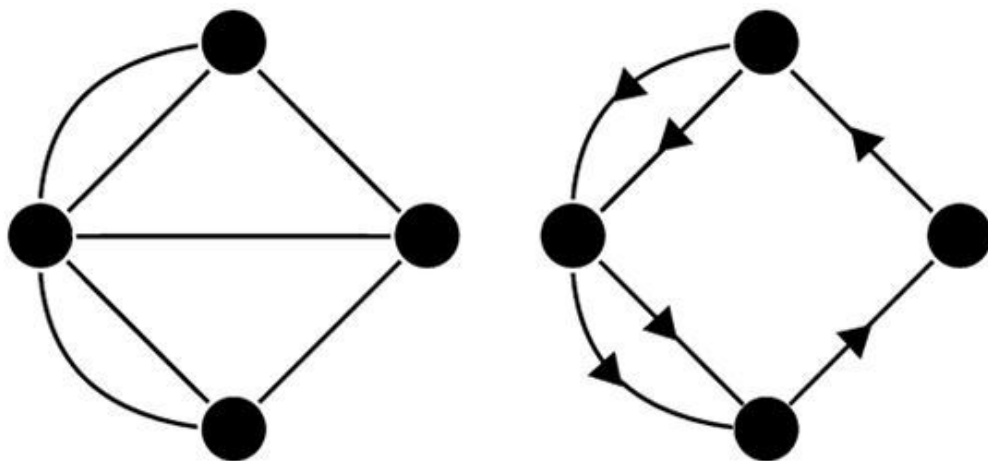
Илл. 4. Иллюстрация № 1 Эйлера из его книги *Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis* [лат. “Решение задачи, связанной с геометрией положения”] (1741). Те, кто пожелал бы испытать решение задачи на месте, уже не имеют возможности сделать это, так как два из семи старинных мостов не пережили бомбежек города во время Второй мировой войны, а еще два были разрушены уже после того, как Кёнигсберг стал советским Калининградом.

Таким образом, гомофилия – наша склонность испытывать притяжение к людям, похожим на нас самих (ее еще называют

ассортативностью), – может считаться первым законом работы социальных сетей. Эверетт Роджерс и Дилип Бхоумик первыми из социологов предположили, что гомофилия может оборачиваться и минусами, ограничивая круг общения человека; они высказали мысль, что существует и “оптимальная гетерофилия”. Не выступает ли гомофилия своего рода самосегрегацией? В 1970-х годах Уэйн Зэкери выстроил схему дружеских связей между членами университетского клуба каратистов. Эта схема выявила наличие двух отчетливо обозначенных групп внутри клуба. Гомофилия может основываться на общем статусе (это и заданные характеристики, например расовая, национальная, половая и возрастная принадлежность, и приобретенные характеристики, например религиозная принадлежность, образование, профессия или модель поведения) или на общих ценностях, поскольку их возможно отличить от приобретенных черт^[134]. Знакомая иллюстрация этого явления – склонность американских школьников самоизолироваться на основе расовой и национальной общности (см. вкл. № 3), хотя недавние исследования и наводят на предположение, что эта тенденция существенно разнится от одной расовой группы к другой^[135].

Могут ли такие схемы показать нам, кто из людей играет главные роли? Лишь в XX веке ученые и математики формально определили значимость такого понятия, как “центральность”. Три важнейших показателя важности в формальном сетевом анализе – это центральность по степени, центральность по посредничеству и центральность по близости. Центральность по степени – по количеству ребер, исходящих от одного конкретного узла, – служит показателем общительности: это просто число отношений, которыми один человек связан с другими. Центральность по посредничеству – понятие, официально закрепленное социологом Линтоном Фрименом в конце 1970-х годов, – позволяет оценить количество информации, проходящей через тот или иной узел. Подобно тому как пассажиры общественного транспорта, стремящиеся побыстрее добраться до места назначения, создают заторы на немногочисленных пересадочных станциях, участники одной общей сети тоже часто обращаются к нескольким ключевым фигурам, которые способны связать их с другими, более отдаленными от них людьми или группами людей. Фигурами, обладающими центральностью по посредничеству, необязательно являются люди, имеющие наибольшее количество связей: важно,

чтобы у них имелись по-настоящему важные связи. (Иными словами, дело не в количестве, а в качестве ваших знакомств.) Наконец, центральность по близости – это показатель, учитывающий среднее количество “шагов”, которые требуется совершить каждому узлу, чтобы добраться до всех остальных узлов; его часто используют, чтобы определить, у кого имеется наилучший доступ к информации – при условии ее широкого распространения^[136]. Люди, обладающие высокой центральностью по степени, по посредничеству или по близости, каждый на свой лад служат основными “узлами связи”.



Илл. 5. Упрощенная схема Эйлеровой задачи о кёнигсбергских мостах. Задачу можно решить, только убрав грань в середине (то есть мост, соединяющий два острова, на илл. 4).

В середине XX века произошел и существенный прогресс в нашем понимании совокупных свойств сети, которые зачастую остаются незаметными с точки зрения любого отдельного узла. Р. Дункан Люче и Альберт Перри из Массачусетского технологического института предложили использовать коэффициенты “кластеризации” для измерения той степени, в которой связаны между собой узлы в группе, причем крайним случаем считается клика, внутри которой каждый узел связан со всеми остальными в группе. (Строго говоря, коэффициент кластеризации показывает количественное соотношение полностью связанных общественных триад, то есть таких, в которых каждый член любой тройки связан с двумя остальными.) Плотность сети – похожий критерий взаимосвязанности.

Важность таких единиц измерения стала очевидной в 1967 году, когда социальный психолог Стэнли Милгрэм провел свой знаменитый эксперимент. Он направил письма произвольно выбранным адресатам, жившим в Уичито, штат Канзас, и в Омахе, штат Небраска. Получателей просили переслать письмо напрямую назначенному конечному адресату – соответственно, жене одного студента-богослова из Гарварда и одному биржевому маклеру в Бостоне, – если они лично знают этих людей, или же переслать письмо кому-нибудь, кто, по их мнению, может знать конечного адресата, при условии, что они сами коротко знакомы с посредником. А еще их просили отправить Милгрэму открытку отслеживания и в ней рассказать о том, что именно они сделали. В целом, по сообщению Милгрэма, 44 из 160 писем из Небраски в итоге были доставлены по назначению^[137]. (Более позднее исследование наводит на предположение, что таких писем было всего 21^[138].) Законченные цепочки позволили Милгрэму подсчитать количество посредников, задействованных для того, чтобы доставить письмо по назначению: в среднем оно равнялось пяти^[139]. Это открытие предвосхитил венгерский писатель Фридьеш Каринти в рассказе “Звенья цепи” (*Láncszemek*), напечатанном в 1929 году: там главный герой держит с приятелями пари, что сумеет связаться с любым человеком на Земле, кого бы они ни назвали, всего через пятерых общих знакомых, из которых ему самому нужно лично знать всего одного. К этой же задаче подступались и другие исследователи, проводившие эксперименты независимо друг от друга, – в частности, политолог Итиэль де Сола Пул и математик Манфред Кохен.

Сеть, в которой два узла связаны через пятерых посредников, имеет шесть ребер (звеньев). Выражение “шесть рукопожатий” [буквально – шесть степеней разделения] прижилось лишь после появления в 1990 году одноименной пьесы Джона Гуэра, но у него имелась долгая предыстория. Как и представление о том, что “мир тесен” (так называли диснейлендовский аттракцион, придуманный в 1964 году), или техническое понятие близости, эта фраза очень емко подытоживает ощущение взаимосвязанности, усилившееся в середине XX века. Эта тема разыгрывалась во множестве вариаций: шесть шагов до Марлона Брандо, шесть шагов до Моники Левински, шесть шагов до Кевина Бейкона (этот вариант даже превратился в настольную игру^[140]), шесть шагов до Луизы Вайсберг (матери одного из друзей Малкольма Гладуэлла^[141]), а еще

– если обратиться к научным аналогам этих игр – шесть шагов до математика Пала Эрдёша, который, как известно, заложил основы теории сетей^[142]. Недавно проведенные исследования позволяют предположить, что количество этих рукопожатий сейчас скорее ближе к пяти, чем к шести, а это, в свою очередь, наводит на мысль о том, что с 1970-х годов технический прогресс, пожалуй, принес не такие уж разительные перемены в нашу жизнь, как принято считать^[143]. Впрочем, для директоров тысячи самых крупных компаний, по версии журнала *Fortune*, это число составляет 4,6^[144]. А для пользователей сети *Facebook* оно составляло 3,74 в 2012 году^[145] и только 3,57 – в 2016-м^[146].

Глава 6

Слабые связи и вирусные идеи

Это открытие оказывается очень занимательным, потому что обычно мы думаем, что наши дружеские связи охватывают относительно небольшие группы людей или кружки похожих людей, единомышленников, которые существуют обособленно от других групп, куда входят совсем другие люди – непохожие на нас, но сходные между собой. А если всех нас в действительности отделяет от Моники Левински лишь шесть рукопожатий, то это объясняется явлением, которому стэнфордский социолог Марк Грановеттер дал парадоксальное название – сила слабых связей^[147]. Если бы все связи были похожи на крепкие гомофилические узы, какие связывают нас с нашими близкими друзьями, то мир неизбежно оказался бы фрагментирован. Но более слабые связи – со знакомыми, с которыми у нас уже меньше сходства, – играют ключевую роль в феномене, который описывается фразой “мир тесен”. Изначально Грановеттера интересовал вопрос о том, почему людям, которые ищут работу, чаще помогают знакомые, чем близкие друзья, но затем ему в голову пришла мысль, что в обществе с относительно малым количеством слабых связей “новые идеи будут распространяться медленнее, научные дерзания будут наткаться на помехи, а подгруппам, разделенным по принципу расовой, национальной или территориальной принадлежности или по иным критериям, будет сложно достичь взаимопонимания”^[148]. Иными словами, слабые связи – это жизненно важные мосты, переброшенные между различными кластерами или группами, которые иначе не были бы никак связаны друг с другом^[149].

Наблюдение Грановеттера имело социологический характер, оно опиралось на опросы и похожие данные, а затем подверглось уточнению на основе полевых исследований. Благодаря этим исследованиям выяснилось, например, что для малоимущих сильные связи имеют большее значение, чем слабые связи, и это наводит на мысль, что туго сплетенные сети пролетарского мира, возможно, способствуют бедности^[150]. Лишь в 1998 году математики Дункан Уоттс и Стивен Строгац продемонстрировали, *почему* мир, в котором преобладают гомофилические кластеры,

может одновременно являться тесным миром. Уоттс и Строгац классифицировали сети, исходя из двух сравнительно независимых показателей – средней центральности по близости каждого узла и общего для всей сети коэффициента кластеризации. Начиная с круговой решетки, в которой каждый узел связан только с первым и вторым по близости соседними узлами, исследователи показали, что достаточно произвольно добавить к ним всего несколько новых ребер, как заметно увеличивается близость всех узлов, но при этом общий коэффициент кластеризации повышается незначительно^[151]. Уоттс начинал свою работу с изучения синхронного стрекота сверчков, однако очевидно, что заключения, которые можно вывести из наблюдений, сделанных им и Строгацем, вполне применимы и к человеческим популяциям. По словам Уоттса, “разница между графами «просторного» и «тесного» мира сказывается уже при произвольном добавлении нескольких лишних ребер, причем на уровне отдельных вершин эта перемена практически незаметна... Чрезвычайно кластеризованный характер графов «тесного мира» может приводить к интуитивной мысли о том, что та или иная болезнь «где-то далеко», тогда как в действительности она весьма близко”^[152].

Экономистам прогресс в изучении сетей тоже позволил сделать важные выводы. Стандартная экономика исходила из того, что существуют более или менее единообразные рынки, на которых действуют отдельные агенты, занятые максимизацией полезности и обладающие совершенной информацией. Задача, решенная английским экономистом Рональдом Коузом, который объяснил важность транзакционных издержек^[153], состояла в том, чтобы объяснить, зачем вообще существуют фирмы. (Не все мы – портовые грузчики, получающие оплату работы поденно, как герой Марлона Брандо в фильме “В порту”, – потому что фирмы, нанимающие нас на постоянную работу, снижают таким образом издержки, возникающие при посуточном найме.) Но если бы рынки были сетями и большинство людей группировались бы в более или менее взаимосвязанные кластеры, то мировая экономика выглядела бы совершенно иначе, и не в последнюю очередь потому, что потоки информации определялись бы структурами сетей^[154]. Многие обмены не являются одноразовыми сделками, в которых цена диктуется лишь спросом и предложением. Репутация – это функция доверия, а доверие, в свой черед, выше внутри группы схожих людей (например, внутри иммигрантского сообщества). Из этого

следуют выводы, приложимые не только к рынкам рабочей силы, которые изучал Грановеттер^[155]. Закрытые сети торговцев могут вступать в тайные сговоры против остальной публики и чинить помехи инновациям. Более открытые сети, напротив, могут продвигать инновации по мере того, как новые идеи будут доходить до них извне благодаря силе слабых связей^[156]. Подобные наблюдения заставляют задуматься над вопросом: а как вообще образуются сети?^[157]

На деле кажется довольно ясным, как именно возникают сети. От Авнера Грейфа, исследовавшего связи магрибских торговцев XI века в Средиземноморье^[158], до Рональда Берта, изучавшего современных предпринимателей и управляющих, социологи написали множество книг и статей о роли деловых сетей в накоплении социального капитала^[159] и в продвижении инноваций – или же в сопротивлении им. Согласно терминологии Берта, конкуренция между отдельными людьми и фирмами определяется устройством сетей, причем “структурные дыры” – пустоты между кластерами, между которыми отсутствуют слабые связи, – предоставляют “предпринимательские возможности для получения доступа к информации, расчета времени, направлений и контроля”^[160]. Посредники – люди, способные “навести мосты”, – получают (или, по идее, должны получать) “вознаграждение за свою объединяющую работу”, потому что в силу своего положения они с высокой степенью вероятности могут выдвигать творческие идеи (и, с другой стороны, реже страдают от шаблонов группового мышления). В инновационных институтах таких посредников всегда высоко ценят. Однако в большинстве столкновений между инноватором-посредником и сетью, тяготеющей к “захлопыванию” (то есть к изолированности и однородности), часто одерживает верх последняя^[161]. Это наблюдение верно не только в отношении работников какой-нибудь американской компании, производящей электронику, но и в отношении философов, состоящих в штате научных учреждений^[162].

Возникла целая подобласть – “организационное поведение”, которая сейчас занимает важное место в большинстве учебных программ на степень магистра делового администрирования. Среди недавних наблюдений есть такие: менеджеры чаще и активнее пользуются социальными сетями, чем подчиненные^[163]; “менее иерархично устроенная сеть больше способствует сплоченности и однородности в организационной культуре”^[164]; посредники с

большой долей вероятности добиваются успеха в наведении мостов над структурными пустотами, если они “культурно приспособляются к своей организованной группе”, тогда как те, кто “встроен в структуру организации”, добиваются большего успеха, если они “выделяются на общем культурном фоне”. Словом, “ассимилированные посредники” и “интегрированные нонконформисты” чаще всего оказываются удачливее остальных^[165]. И здесь тоже теория сетей предлагает ряд наблюдений, которые могут оказаться полезными не только в типичном корпоративном рабочем пространстве, какое высмеивается в сериале Рики Джервейса “Офис”. Все же офисные сети редко бывают очень обширными. И размер сети имеет значение, потому что существует закон Меткалфа – названный в честь изобретателя *Ethernet* Роберта Меткалфа, – который гласит (в своей исходной формулировке), что ценность телекоммуникационной сети пропорциональна квадрату числа подсоединенных совместимых устройств связи. То же самое, как выяснилось, относится и к любым сетям вообще: проще говоря, чем больше количество узлов в сети, тем ценнее сама сеть для всех узлов в совокупности. Как мы еще увидим, это значит, что у очень обширных, общедоступных сетей бывает колоссальная отдача, а у тайных и/или исключительных сетей отдача, напротив, ограниченная. Даже в самых крупных сетях есть узлы, которые играют роль посредников или стыковочных центров.

Выражение “молниеносно разлететься”, а совсем буквально – “стать вирусным” давно уже воспринимается как избитое клише, излюбленный штамп рекламщиков и маркетологов^[166]. Тем не менее наука, изучающая сети, дает возможность наилучшим образом понять, почему некоторые идеи распространяются чрезвычайно быстро. Идеи – даже как некоторые эмоциональные состояния и болезненные расстройства вроде ожирения – способны передаваться через социальные сети, действительно напоминая в этом смысле вирусы заразных болезней. Однако идеи (или мемы, если воспользоваться неологизмом из лексикона эволюционистов), как правило, все-таки менее заразны, чем вирусы. Биологические и компьютерные вирусы обычно осуществляют “широковещательный поиск” по всей сети, так как их цель – максимально размножиться, перекинувшись на каждого соседа каждого зараженного ими узла. Мы же, напротив, интуитивно избираем тех членов своей сети, которым мы желаем передать идею или от кого мы сами готовы

воспринять идею как заслуживающую доверия^[167]. Ранним вкладом в изучение этой темы стала “модель двухступенчатого потока информации”, предложенная социологами Полом Лазарсфельдом и Элиху Кацем, которые в 1950-х годах заявили, что идеи перетекают от СМИ к широким слоям населения через так называемых лидеров мнения^[168]. Другие исследователи, уже в конце XX века, пытались измерить скорость, с какой разносятся новости, слухи или новшества. Более поздние исследования показали, что через сеть передаются даже эмоциональные состояния^[169]. Хотя различить эндогенные и экзогенные сетевые эффекты совсем непросто^[170], свидетельства, указывающие на заражения такого рода, достаточно очевидны: “Студенты, у которых соседи по комнате прилежно учатся, сами начинают заниматься усерднее. А люди, сидящие за одним столом с обжорами, сами налегают на еду”^[171]. Однако, если верить Кристакису и Фаулеру, мы не можем передавать идеи или поведенческие привычки за пределы круга друзей друзей наших друзей (иными словами, не дальше чем на три рукопожатия вперед). Дело в том, что для передачи и восприятия идеи или поведенческой привычки требуется связь более крепкая, чем для пересылки письма (как в случае эксперимента Милгрэма) или для сообщения о том, что там-то имеется такая-то вакансия. Если мы просто знакомы с человеком, это еще не значит, что мы способны повлиять на него так, чтобы он начал прилежнее учиться или переехать. Подражание – поистине самая искренняя форма лести, даже когда оно происходит неосознанно.



Илл. 6. Фундаментальные понятия теории сетей. Каждая точка на графике – это вершина, или узел, каждая линия – грань. Точка, названная центральным узлом, имеет наибольшую центральность по степени и центральность по посредничеству. Вершины, названные кластером, имеют более высокую плотность, или коэффициент местной кластеризации, чем другие участки графика.

Ключевой момент, как и при эпидемии болезней, заключается в том, что скорость и размах рассеивания определяется не только сутью самой передаваемой идеи, но и устройством сети, по которой она передается^[172]. В процессе вирусизации важнейшую роль играют узлы, которые служат не только связующими центрами или посредниками, но и “привратниками”, то есть людьми, решающими, передавать или не передавать поступившую информацию дальше, в ту часть сети, которая находится за ними^[173]. Решение, которое они принимают, отчасти зависит от их мнения о том, как скажется переданная информация на них самих – положительно или отрицательно. С другой стороны, для того чтобы идея оказалась воспринята, требуется, чтобы ее передал не один источник и даже не два, а больше. Сложная культурная инфекция, в отличие от простого эпидемического заболевания, для начала требует набрать критическую массу первых сторонников, обладающих высокой центральностью по степени (то есть сравнительно большим количеством влиятельных друзей)^[174]. По словам Дункана Уоттса,

главное при оценке вероятности каскадного эффекта, напоминая заражение, – “сосредоточиться не на самом стимуле, а на структуре сети, по которой расходится этот стимул”^[175]. Это помогает объяснить, почему на каждую идею, которая разлетелась по свету молниеносно, как вирус, приходится множество других идей, которые прозябают в неизвестности и выдыхаются только потому, что начали свой путь с неудачного узла, неудачного кластера или из неудачной сети.

Глава 7

Разновидности сетей

Если бы все общественные сети были устроены одинаково, мы жили бы в совершенно ином мире. Например, мир, в котором вершины (узлы) соединялись бы друг с другом произвольным образом – так что количество ребер, приходящихся на одну вершину, распределялось бы по колоколообразной кривой, – обладал бы некоторыми свойствами “тесного мира”, но не был бы похож на наш^[176]. Дело в том, что во многих реально существующих сетях наблюдается принцип распределения Парето: в них имеется больше вершин с очень большим количеством ребер и больше вершин с очень малым количеством ребер, чем бывает в случайных сетях. Это вариант того феномена неравномерного распределения преимуществ, который социолог Роберт К. Мертон назвал “эффектом Матфея” – из-за слов в Притче о талантах из Евангелия от Матфея: “ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет”^[177]. В науке успех порождает успех: тому, у кого уже есть награды, и впредь будет доставаться больше наград. Нечто подобное наблюдается и в “экономике суперзвезд”^[178]. Точно так же, по мере расширения многих крупных сетей, узлы приобретают новые ребра пропорционально тому количеству, которое у них уже имеется (это их степень, или “пригодность”). Иными словами, наблюдается “предпочтительное присоединение”. Этим открытием мы обязаны физикам Альберту-Ласло Барабаши и Реке Альберт, которые первыми выдвинули предположение о том, что большинство реально существующих сетей, возможно, подчиняются при распределении степенному закону или являются

“безмасштабными”^[179]. По мере развития таких сетей некоторые узлы становятся связующими центрами и приобретают гораздо больше ребер, чем остальные узлы^[180]. Примеров подобных сетей очень много – от директоров тысячи крупнейших компаний, по версии *Fortune*, до цитат в физических журналах и ссылок на веб-страницы^[181]. По словам Барабаши,

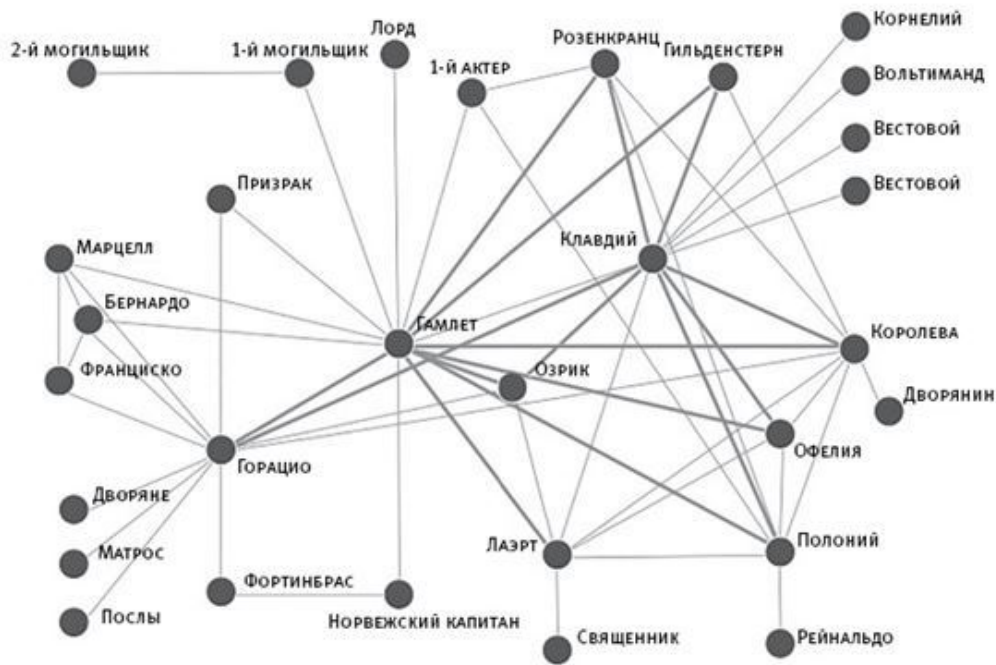
существует иерархия связующих центров, которые поддерживают единство этих сетей, так что за обильно загруженными узлами внимательно следят несколько менее загруженных узлов, а за ними следуют уже десятки еще менее загруженных узлов. Но при этом нет какого-то самого главного узла, который находился бы посередине паутины и контролировал и отслеживал бы каждую связь и каждый узел. Нет такого одного узла, устранение которого привело бы к разрушению всей паутины. Безмасштабная сеть – это паутина без паука^[182].

В крайнем случае (когда действует принцип “победителю достается все”) к самому пригодному узлу сходятся все или почти все связи. Чаше наблюдается модель “пригодные обогащаются”, при которой за “обильно загруженным узлом внимательно следят несколько менее загруженных узлов, а за ними следуют уже десятки еще менее загруженных узлов”^[183]. Встречаются и промежуточные сети с другим устройством: например, сети дружеских связей между американскими подростками не являются ни случайными, ни безмасштабными^[184].

В случайной сети, как давно уже продемонстрировали Эрдёш и Реньи, каждый узел внутри сети имеет приблизительно одинаковое количество ребер, связывающих его с другими узлами. Лучший пример из реальной жизни – это сеть автомагистралей в США, где каждый крупный город имеет приблизительно одинаковое количество шоссе, соединяющих его с другими городами. Примером же безмасштабной сети является сеть воздушного сообщения США, в которой множество маленьких аэропортов связаны с аэропортами средней величины, а те, в свою очередь, связаны с несколькими огромными и оживленными аэропортами-хабами. Другие сети более высокоцентрализованны, но при этом не обязательно безмасштабны. Так, один из способов понять трагедию, которая разворачивается у Шекспира в “Гамлете”, – это построить граф, отображающий сеть взаимоотношений между его персонажами: на нем видно, что

Гамлет и его отчим Клавдий обладают самой высокой центральностью по степени (то есть самым большим количеством ребер; см. илл. 7).

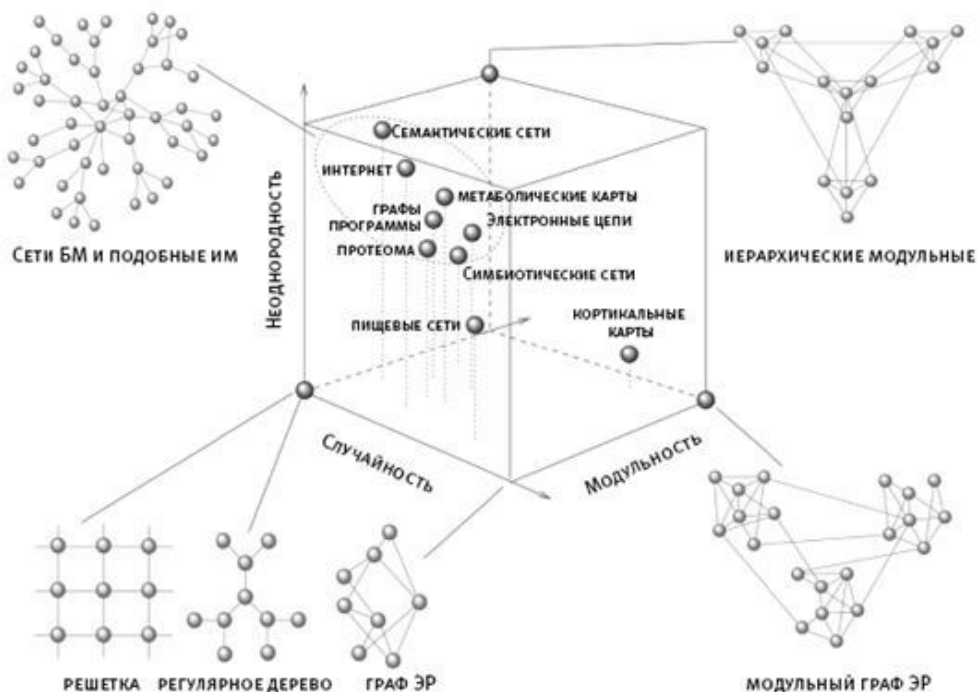
Теперь рассмотрим все способы, какими сеть может отличаться от своего случайного варианта (см. илл. 8). Сеть может быть чрезвычайно детерминированной и неслучайной: такова, например, кристаллическая решетка или сетка, в которой каждый узел имеет точно такое же количество ребер, как и все остальные (внизу слева). Сеть может быть модульной – это значит, что ее можно разбить на ряд отдельных кластеров, но при этом их будет объединять небольшое количество связей (внизу справа). Сеть может быть и гетерогенной (разнородной), так что все узлы будут сильно отличаться друг от друга с точки зрения центральности по степени: подобная картина типична для безмасштабных сетей, какие представляют собой интернет-сообщества (вверху слева). Некоторые сети являются одновременно иерархичными и модульными – как, например, сложные генетические системы, регулирующие метаболизм: в них некоторые подсистемы помещены под контроль других (вверху справа)^[185].



Илл. 7. Простая (но трагическая) сеть: “Гамлет” Шекспира. Гамлет лидирует с точки зрения центральности по степени (16 связей по сравнению с 13 связями Клавдия). “Зона смерти” в

пьесе охватывает персонажей, связанных одновременно с Гамлетом и Клавдием. (См. фото.)

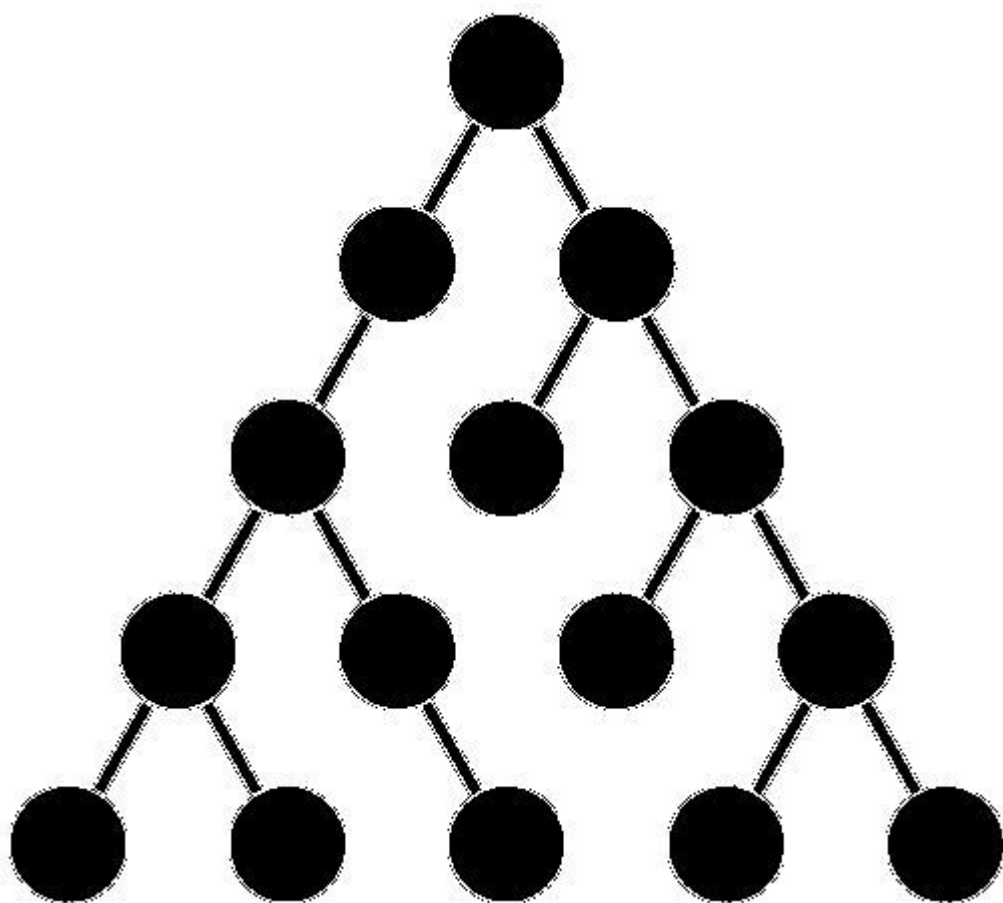
Теперь мы ясно видим, что иерархия – отнюдь не противоположность сети: напротив, она является лишь одной из разновидностей сетей. Как показано на илл. 9, ребра в идеализированной иерархичной сети выстраиваются в регулярную модель: начинают опускаться с самого верхнего узла, а затем образуют определенное количество подчиненных узлов. К каждому подчиненному узлу прибавляется точно такое же количество новых подчиненных узлов и так далее. Главный принцип – наращивать новые узлы в направлении сверху вниз, но никогда не соединять узлы вбок, по горизонтали. Сети, устроенные таким образом, обладают особыми свойствами. Прежде всего, они не зациклены, то есть ни один путь не ведет от узла обратно к нему самому. Существует лишь один путь, соединяющий любые два узла, что вносит ясность в цепи командования и сообщения. Что еще важнее, верхний узел обладает наибольшей центральностью по посредничеству и центральностью по близости, а это значит, что вся система задумана так, чтобы максимально увеличить способность этого узла и получать и контролировать информацию. Как мы еще увидим, мало какие иерархии осуществляют столь полный контроль над информационными потоками, хотя Советский Союз при Сталине приблизился к этому уровню. На деле большинство организаций являются иерархичными лишь частично, чем-то напоминая в этом отношении “кооперативные иерархии”, существующие в природе^[186]. Тем не менее целесообразно представлять себе чистую иерархию как “противную случайным связям” – в том смысле, что беспорядочные взаимодействия, какие обычно ассоциируются с сетями (и прежде всего с образованием кластеров), в ней запрещены.



Илл. 8. Разновидности сетей (БМ: безмасштабные; ЭР: Эрдёша – Реньи, то есть случайные).

Эти разновидности сетей не следует рассматривать как некие статичные категории. Сети редко застывают во времени. Крупные сети – это сложные системы, обладающие “эмерджентными свойствами”, то есть тенденцией к образованию новых структур, шаблонов и свойств, которые проявляются в плохо прогнозируемых “фазовых переходах”. Как мы еще увидим, внешне случайная сеть способна с поразительной быстротой развиться в иерархию. Количество ступеней, разделяющих революционную толпу и тоталитарное государство, не раз оказывалось на удивление ничтожным. И аналогично, внешне жесткая конструкция иерархического строя способна развалиться с поразительной скоростью^[187]. Исследователей, изучающих сети, это не слишком удивляет. Ведь теперь нам известно, что произвольное добавление совсем малого количества новых ребер может резко сократить среднее расстояние между узлами. Потребуется провести совсем немного дополнительных ребер на рисунке 9, чтобы свести на нет практическую монополию правящего узла на передачу информации. Это прекрасно объясняет, почему императоры, короли и прочие самодержцы всех времен и народов так боялись заговоров. Клики, банды, камарильи, ячейки, хунты, шайки – все слова звучат весьма

зловеще при дворе любого монарха. Иерархи давным-давно осознали, что “братание” между подчиненными может стать прелюдией к дворцовому перевороту.



Илл. 9. Иерархия: особый вид сети. В примере, показанном здесь, узел на самом верху обладает наибольшей центральностью по посредничеству и по близости. Другие вершины имеют возможность связываться с большинством других вершин только через единственный правящий узел.

Глава 8

Когда сети встречаются

Последняя концептуальная задача, самая важная для историка, – в том, чтобы разобраться, как разные сети взаимодействуют между собой. Политолог Джон Пэджетт и его соавторы предложили биохимическую аналогию, выдвинув идею о том, что организационные нововведения и изобретения являются

результатами взаимодействия между сетями, которое принимает три основные формы: “транспонирование”, “рефункционализацию” и “катализ”^[188]. Сама по себе упругая социальная сеть обычно склонна сопротивляться изменениям в правилах, ее порождающих, и протоколах связи. Но когда социальная сеть и ее шаблоны переносятся в другую среду, а ее функции подвергаются пересмотру – вот тогда-то и могут происходить инновации и даже изобретения^[189].

Как мы еще увидим, Пэдджетт воспользовался этим наблюдением для того, чтобы объяснить перемены в экономическом и общественном устройстве Флоренции в эпоху Медичи, когда банковские товарищества стали частью городской политики. Однако оно вполне применимо и к другим областям. Сети важны не только как механизмы передачи новых идей, но и как источники самих новых идей. Не все сети склонны поощрять перемены – напротив, некоторые плотные и тесно сгруппированные сети всячески противятся им. Зато точка соприкосновения между разными сетями вполне может оказаться тем местом, где зародится что-то новое^[190]. Вопрос в том, что это за точка соприкосновения. Сети могут встречаться и сплавляться мирным путем, но могут и нападать друг на друга, как произошло (этот пример будет обсуждаться ниже), когда советская разведка успешно внедрилась в элитные студенческие сети Кембриджского университета в 1930-х годах. Исход подобных противоборств часто определяется относительной силой и слабостью сетей-соперников. Насколько они адаптивны и эластичны? Насколько уязвимы для разрушительных влияний? Насколько зависимы от одного или более “суперцентров”, уничтожение или захват которых значительно ослабит устойчивость всей сети? Барабаши и его коллеги смоделировали атаки на безмасштабные сети и выяснили, что те способны выдержать потерю значительного количества узлов и даже одного важного центра. Но целевая атака на множество центров сразу может привести к полному распаду сети^[191]. Что впечатляет еще более, безмасштабная сеть может легко пасть жертвой заразного вируса, убивающего узлы^[192].

Но зачем одной сети нападать на другую, вместо того чтобы мирно присоединиться к ней? Дело в том, что большинство атак на социальные сети происходит не по инициативе других сетей, а по приказу или, по крайней мере, по призыву иерархических организаций. Как раз таким случаем стало вмешательство России в

президентские выборы 2016 года в США: согласно данным американской разведки, как уже говорилось выше, атака была совершена по распоряжению президента Путина, одного из самых беззастенчивых автократов в мире, но направлена не против одного только Национального комитета демократической партии, а против всего комплекса медиасетей США. Это иллюстрирует главное отличие сетей от иерархий. Сети – благодаря своему относительно децентрализованному устройству, благодаря сочетанию отдельных групп и слабых связей, благодаря способности адаптироваться и развиваться – как правило, способствуют творчеству больше, чем иерархии. Как мы увидим, в разные исторические эпохи новшества возникали в сетях, а не в иерархиях. Беда в том, что сети не так-то легко направить “к общей цели... которая требует концентрации ресурсов в пространстве и времени внутри больших организаций, какими являются армии, чиновничьи аппараты, большие фабрики и вертикально организованные корпорации”^[193]. Сетям присуща спонтанная креативность, но чужда стратегичность. Сеть не могла бы победить во Второй мировой войне, хотя в победе союзников важную роль сыграли замкнутые сети (ученых-атомщиков или шифровальщиков). А кроме того, сети способны порождать и распространять не только хорошие, но и плохие идеи. В случаях “социального заражения”, или “лавины” идей, сети сеют панику с той же охотой, с какой разносят другие коллективные поветрия: страсть к сжиганию ведьм передается так же легко, как и безвредное увлечение фотографиями котиков.

Правда, сегодняшние сети устроены надежнее, чем энергосети США в 1990-х годах, оказавшиеся настолько хрупкими, что отказ одной-единственной линии электропередачи на западе Орегона привел к аварийному отключению сотни других линий и генераторов. Однако известно, что даже прочная сеть запросто выходит из строя по мере своего роста и развития: знакомым примером являются заторы и задержки рейсов в американских аэропортах, где разные авиакомпании, соревнуясь друг с другом, спешат обслужить пассажиров в хабах, а в итоге создают пробки^[194]. Даже если оставить в стороне интернет, можно не сомневаться, что целенаправленная атака на энергетическую и транспортную инфраструктуру США повлечет катастрофически разрушительные последствия. Как заметила Эми Зегарт^[195], США – одновременно самый могущественный и самый незащищенный участник кибервойн. “Кибератаки завтрашнего дня, –

предупреждала она, – смогут вывести из строя наши автомобили, наши самолеты, смогут оставить без электричества и без воды множество городов по всей стране на несколько дней, или недель, или совсем надолго, смогут нейтрализовать наши войска или даже направить наше оружие против нас же самих”^[196]. И все же США, “похоже, не желают признавать основных фактов о новых кибертехнологиях или о нашей уязвимости перед кибератаками и уж тем более принимать какие-либо меры, необходимые для распознавания и сдерживания будущих киберугроз и защиты от них”^[197]. В мае 2017 года разразилась эпидемия вируса-вымогателя: сетевой червь *WannaCry* заразил сотни тысяч компьютеров в ста пятидесяти странах, зашифровав содержимое их жестких дисков и потребовав выкупа в криптовалюте биткоин. Эта атака выявила незащищенность от вредоносных программ не только европейских стран, но и, как ни странно, России.

Реальность такова, что нам очень трудно сделать верные выводы из роста сетей, наблюдающегося в наше время. На каждую статью, в которой превозносятся их положительное воздействие: предоставление новых возможностей молодежи и оживление демократии (например, в ходе арабских революций 2010–2012 годов), приходится другая статья, автор которой предупреждает об их негативном воздействии – появлении новых ресурсов для опасных сил вроде политизированных исламских группировок. На каждую книгу, предрекающую некую “сингулярность”, при которой из интернета родится “мировой разум” или “планетарный сверхорганизм”^[198], найдется другая, предсказывающая крах и вымирание^[199]. Энн-Мари Слотер ожидает, что “США и другие державы постепенно найдут золотую середину в использовании сетей: следует избегать и чрезмерной концентрации, и чрезмерного распространения”, и надеется на появление “более простой, быстрой и гибкой системы, которая будет действовать на уровне не только государств, но и граждан”^[200]. Еще до терактов 11 сентября Грэхам Аллисон достаточно уверенно говорил, что в мире глобальных сетей за США будут оставаться “врожденные” преимущества^[201]. А вот Джошуа Рамо настроен куда менее оптимистично. “Простая и когда-то бывшая уместной идея о том, что коммуникации – это освобождение, ошибочна, – пишет он. – Быть вовлеченными в сетевое взаимодействие сейчас означает быть заключенным в мощном динамичном напряжении”^[202]. Неспособность старых

лидеров осмыслить сетевой век – основная “причина, по которой легитимность наших лидеров трещит по швам, по которой наша большая стратегия непоследовательна, причина, по которой наша эпоха действительно является революционной”^[203]. По его мнению, “Основную угрозу американским интересам представляет не Китай, не «Аль-Каида»♦^[204] или Иран. Это эволюция глобальной сети”^[205]^[206].

Похоже, лишь в одном отношении наблюдается единодушие: мало кто из футурологов считает, что прочно утвердившиеся иерархии – в частности, традиционные политические элиты, а также давно существующие корпорации – продолжают преуспевать и в будущем^[207]. Особняком стоит Фрэнсис Фукуяма с его предсказанием о том, что господство все-таки останется за иерархиями, поскольку одни только сети не смогут обеспечить устойчивую институциональную структуру для экономического развития или политического порядка. Более того, он утверждает, что “иерархическая организация... возможно, *единственная* форма, в которую может вылиться общество с низким уровнем доверия”^[208]. А вот политтехнолог Доминик Каммингз, напротив, выдвигает теорию, согласно которой государство будущего по необходимости будет функционировать скорее как человеческая иммунная система или как муравьиная колония, чем как традиционное государство. Иными словами, оно станет более похожим на сеть с ее эмерджентными свойствами и способностью к самоорганизации, без планирования или без координирования с центром. Вместо них оно будет полагаться на вероятностные эксперименты, закрепляя успехи и отказываясь от неудачных путей, достигая упругости отчасти за счет избыточности^[209]. Возможно, при таком подходе недооцениваются и устойчивость старых иерархий, и уязвимость новых сетей, не говоря уж об их способности сплавляться друг с другом, образуя новые иерархические лестницы, возможности которых потенциально превосходят даже мощь тоталитарных режимов прошлого столетия.

Глава 9

Семь наблюдений

Итак, из семи наблюдений, касающихся теории сетей (во всех ее формах), для историка следуют глубокие выводы. Здесь я попытался коротко изложить их в форме семи тезисов:

1. *Ни один человек – не остров.* Если представить себе отдельных людей в виде узлов в сети, то их можно понять через их отношения с другими узлами, с которыми они соединены ребрами. Не все узлы одинаковы. Человека, находящегося в сети, можно оценивать с точки зрения не только центральности по степени (по количеству имеющихся у него связей), но и центральности по посредничеству (вероятности, что он окажется мостом между другими узлами). (К другим показателям относится центральность по собственным векторам, которая характеризует близость к наиболее востребованным или престижным узлам, хотя в дальнейшем этот параметр не будет фигурировать^[210].) Как мы еще увидим, важным, но часто игнорируемым критерием исторической значимости человека является именно его способность служить сетевым мостом. Иногда – как случилось во время Американской революции – ключевые роли достаются вовсе не вожакам, а людям, которые выступают соединительными звеньями.

2. *Рыбак рыбака видит издалека.* Из-за гомофилии социальные сети отчасти легко понять в том смысле, что свой везде своего ищет. Однако далеко не всегда очевидно, какое именно общее качество или предпочтение заставляет людей объединяться в группы. Кроме того, нам нужно ясно видеть природу связей внутри сети. Что представляют собой связи между узлами: отношения между знакомыми или же дружеские узы? Что перед нами: генеалогическое древо, круг друзей или тайное общество? Происходит ли внутри сети обмен чем-либо, помимо знаний, – скажем, деньгами или еще какими-либо ресурсами? Ни один граф сети не отобразит все сложное богатство человеческих взаимоотношений, но иногда нам известно достаточно, чтобы различить направления ребер (например, *A* отдает распоряжения *B*, но не наоборот), характер их взаимодействия (например, *A* знает *B*, но спит с *C*) и значимость (например, *A* изредка встречается с *B*, зато с *C* видится ежедневно).

3. *Слабые связи – крепкие.* Еще важно знать, насколько плотна сеть, насколько она связана с другими группами – пускай даже всего через несколько слабых ниточек. Является ли она составной частью более крупной сети? Есть ли поблизости “сетевые изоляты” – узлы, полностью отсеченные от сети, одиночки, существующие “на отшибе”, как бёрнсовский нелюдим? Есть ли посредники, стремящиеся извлечь выгоду из структурных дыр в сети?

Обнаруживает ли сеть свойства “тесного мира” – и если да, то насколько тесен этот мир (то есть на сколько “рукопожатий” отстоят друг от друга узлы)? Насколько модульно устройство сети?

4. *Виральность*^[211] *определяется структурой.* Многие историки по-прежнему часто исходят из того, что распространение какой-либо идеи или идеологии определяется присущим ей содержанием относительно некоего смутно обозначенного контекста. Но нам уже пора признать, что некоторые идеи разносятся подобно вирусу, потому что этому способствуют особенности устройства сети, по которой они распространяются. Наименее вероятно подобное вирусное распространение в иерархичной, вертикально устроенной сети, где возбраняются горизонтальные связи между равноправными узлами.

5. *Сети никогда не спят.* Сети не статичны, а динамичны. Неважно, случайные или безмасштабные, они склонны к фазовым переходам. Еще они могут развиваться в сложные адаптивные системы с эмерджентными свойствами. Совсем незначительные перемены – добавление всего нескольких новых ребер – способны в корне изменить поведение сети.

6. *Сети образуют новые сети.* Когда сети взаимодействуют, от их союза нередко рождаются новшества и изобретения. Когда сеть разрушает окостеневшую иерархию, переворот происходит с головокружительной быстротой. Когда же иерархия нападает на хрупкую сеть, этой сети грозит гибель.

7. *Богатые богатеют.* Из-за предпочтительного присоединения большинство социальных сетей являются крайне неэгалитарными.

Когда мы усвоим эти основные идеи сетеведения, история человечества предстанет перед нами под совершенно иным углом: не как “одна случайная фигня за другой”, если процитировать шутливое определение драматурга Алана Беннетта^[212], и даже не как череда результатов очередных случайных связей, а миллиарды событий, соединенных между собой десятками тысяч связей (в том числе и сексуальных, хотя ими дело, конечно, не ограничивается). Кроме того, если поместить нынешнее время в правильный исторический контекст, оно уже перестает казаться расслабляюще беспримерным и выглядит более знакомым. Как мы увидим, наше время является уже второй эпохой, когда на смену устаревшим иерархическим институтам приходят новые сети, влияние которых усиливается благодаря передовым технологиям. Как станет понятно благодаря историческим аналогиям, нам, возможно, следует ожидать спровоцированного напором сетей непрерывного крушения

иерархий, неспособных реформироваться. С другой стороны, вероятно, в том или ином виде будет происходить реставрация иерархического порядка, когда выяснится, что одни только сети не в силах предотвратить сползание к анархии.

Глава 10

Проливая свет на иллюминатов

Теперь с учетом этих наблюдений, касающихся сетевой теории, мы можем вновь обратиться к истории (не имеющей ничего общего с конспирологическими выдумками) иллюминатов. Основателем ордена был в действительности малоизвестный ученый из Южной Германии Адам Вейсгаупт, родившийся в 1748 году. Вейсгаупт был осиротевшим сыном профессора права из Ингольштадтского университета в Центральной Баварии, и, когда он основал орден, ему было всего 28 лет. Благодаря покровительству барона Иоганна Адама Икштатта, которого курфюрст Баварии Максимилиан III Иосиф назначил ректором с наказом реформировать университет, где издавна господствовало влияние иезуитов, Вейсгаупт получил возможность последовать по отцовским стопам. В 1773 году его назначили профессором канонического права, а еще через год – деканом факультета права^[213].

Что же побудило молодого профессора спустя три года создать тайное и во многом революционное общество? Ответ таков: под влиянием Икштатта Вейсгаупт начал с воодушевлением читать сочинения наиболее радикальных философов французского Просвещения, в частности Клода Адриана Гельвеция, чья самая знаменитая книга называется “Об уме” (*De l'esprit*, 1758), и Поля-Анри Тири, барона Гольбаха, выпустившего под псевдонимом труд “Система природы” (*Le Système de la nature*, 1770). В детстве Вейсгаупт воспитывался у иезуитов, и это был неприятный опыт. Атеистические наклонности Гельвеция и Гольбаха нашли живой отклик в его душе. Однако в консервативной Баварии, где католическое духовенство уже раздувало искры контрпросвещения, исповедовать подобные взгляды было опасно. Молодой Вейсгаупт, получивший кафедру, которой ранее монопольно заведовали иезуиты, находился под давлением. А идея тайного общества, которое скрывало бы свои истинные цели даже от собственных новобранцев, показалась ему разумной. Сам Вейсгаупт говорил, что эту идею ему подсказал студент-протестант Эрнст Кристоф Хеннингер, рассказывавший о студенческих объединениях в Йене, Эрфурте, Халле и Лейпциге, где он раньше учился^[214]. В прочих

отношениях, как ни странно, иллиминаты ориентировались на иезуитов – могущественную и далеко не прозрачную организацию, в свой черед распущенную указом папы Климента XIV в 1773 году. В первом наброске Вейсгаупта, описывавшем “Школу человечества”, говорилось о том, что каждый член общества должен вести дневник, где будет излагать свои мысли и чувства, а затем в кратком виде передавать написанное вышестоящим собратьям; взамен ему предоставят право пользоваться библиотекой, врачебной помощью, страховками и прочими льготами^[215]. Подход Вейсгаупта отличался эклектичностью – и это еще очень мягко сказано: он собирался обогатить свой орден некоторыми элементами древнегреческих Элевсинских мистерий и зороастрийства (в числе прочего ввести использование древнего персидского календаря). Другим источником вдохновения послужило для него движение мистиков *алумбрадос*^[216], существовавшее в Испании в XVII веке.

Если бы иллиминаты сохранили верность изначальному замыслу Вейсгаупта, о них давным-давно забыли бы, если о них вообще кто-нибудь когда-нибудь услышал бы. Общество иллиминатов разрослось и обрело позднее дурную славу главным образом благодаря проникновению в масонские ложи Германии. Хотя корни масонства уходили к средневековым братствам каменщиков, к XVIII веку франкмасонство само представляло собой быстро разраставшуюся организацию, которая, беря начало в Шотландии и Англии, предлагала нечто вроде сети мужских клубов, где общение обставлялось элементами мифологии и ритуалами, а сословные границы между аристократией и буржуазией игнорировались^[217]. Масонство быстро распространилось по Германии, в том числе по южным германским государствам, несмотря на все старания Римско-католической церкви, запрещавшей католикам вступать в орден^[218]. Один из учеников Вейсгаупта, Франц Ксавер Цвакх, предложил вербовать иллиминатов в германских ложах, пользуясь тем, что многие масоны недовольны несовершенством собственного движения.

Конец 1770-х годов был периодом брожения умов в рядах германского масонства: некоторым ревнителям чистоты не нравилось, что обществу недостает скрытности и падает уважение к мифу о его происхождении от рыцарей-храмовников, о котором говорилось в Уставе строгого соблюдения^[219]. Одним из таких людей, недовольных видимым вырождением масонских орденов в праздные обеденные клубы, был Адольф Франц Фридрих Людвиг,

барон фон Книгге, сын ганноверского чиновника, получивший образование в Гёттингенском университете и состоявший в масонах с 1772 года^[220]. Книгге испытывал потребность в чем-то исключительном и более духоподъемном, нежели то, что предлагали ему ложи в Касселе и Франкфурте, куда он входил, и в 1780 году он поделился своим желанием с другим масоном-аристократом – маркизом Костанцо ди Костанцо. К изумлению Книгге, маркиз сообщил ему, что подобная элитарная организация уже существует и что он в ней состоит (под именем Диомед). После 1777 года, когда самого Вейсгаупта приняли в мюнхенскую ложу *Zur Behutsamkeit*^[221], к иллюминатам очень точно подходила такая характеристика: “подпольная сеть, внедрившаяся в масонские ряды... наподобие растения-паразита”^[222]. Похожим паразитом являлось и розенкрейцерство – еще более тайное движение, чем иллюминатство. О нем много писали в начале XVII века, но конкретную форму розенкрейцерство обрело как орден “Золотого и Розового Креста” внутри нескольких масонских лож Германии примерно в то же время, когда туда проникли иллюминаты.

Вербовка Книгге стала очень важным событием по двум причинам. Во-первых, он обладал более ценными связями, чем Вейсгаупт. Во-вторых, он понимал, чего жаждут его единомышленники, масоны-аристократы^[223]. После вступления в иллюминаты Книгге (взявший себе имя Филон) с изумлением обнаружил, в каком зачаточном состоянии пребывает эта организация (и до чего отсталой была Бавария в ту пору, когда он ее посетил)^[224]. “Орден еще не существует, – чистосердечно признался Вейсгаупт, – разве что у меня в голове... Вы простите мне этот маленький обман?” Книгге не только простил Вейсгаупта, но и с воодушевлением перехватил инициативу, увидев в иллюминатстве орудие для радикальной переработки самого масонства^[225]. Он в корне пересмотрел и расширил придуманную Вейсгауптом структуру, разделив иллюминатов на три ступени, или класса, и добавив множество масонских ритуалов. Подготовительная, минервальская, ступень разделялась на две подступени – минервалов и младших иллюминатов (*Illuminatus Minor*). Второй класс, масонский, также предусматривал два звания: старшего иллюмината (*Illuminatus Major*), иначе – шотландского новичка (послушника), направляющего иллюмината (*Illuminatus dirigens*), иначе – шотландского рыцаря. Третий класс, мистерический, в свой черед, расслаивался на малые мистерии (со званием пресвитера или

принцепса) и большие мистерии (со званиями *magus*, маг, или докетист, и *rex*, царь, или философ). Из иллюминатов, стоявших на этой последней ступени, должны были избираться высшие начальники ордена: общегосударственные или провинциальные инспекторы, префекты и старейшины священнослужителей. Эти высшие степени должны были заменить изначальную вершину придуманной Вейсгауптом системы “ареопагитов”^[226]. В то же самое время, когда изобретались эти замысловатые степени, организационное устройство растущего ордена тоже делалось все более сложным, обретая множество местных “минервальных церквей”, которые подчинялись “префектурам”, “провинциям” и “инспекциям”^[227].

Итак, первый парадокс иллюминатства состоял в том, что это была сеть, стремившаяся развиваться в хитроумную иерархическую систему и при этом яростно нападавшая на уже существующие иерархии. В 1782 году в “Обращении к недавно выдвинутым *Illuminati dirigentes*” Вейсгаупт изложил свое мировоззрение. В своем природном состоянии человек был свободен, равноправен и счастлив. Сословное деление, частная собственность, личное тщеславие и государственные образования появились позже и стали “нечестивыми пружинами и причинами нашего несчастья”. Человечество перестало быть “одной большой семьей, единой державой” из-за “желания людей отличаться друг от друга”. Но Просвещение, распространяемое стараниями тайных обществ, способно преодолеть это расслоение общества. И тогда “правители и государства исчезнут с лица земли безо всякого насилия, род человеческий опять сольется в одну семью и мир вновь сделается обиталищем разумных существ”^[228]. Все это как-то плохо увязывалось с успешными попытками Книгге привлекать в орден иллюминатов родовитых и сановных масонов^[229].

Второй парадокс иллюминатства — это его неоднозначное отношение к христианству. Сам Книгге, по-видимому, был деистом (он восхищался Спинозой, хотя публиковал и проповеди, которые тот читал). Вейсгаупт, возможно, разделял эти наклонности, однако придерживался мнения, что лишь для элиты ордена — то есть тех, кто носил звание *rex*, — допустимо открыто выражать симпатии к Гольбаху. В некоторых сочинениях Вейсгаупта Иисус Христос назывался “освободителем своего народа и всего человеческого рода” и пророком “учения разума”, чья высшая цель состояла в том, чтобы “ввести общую свободу и равенство среди людей без всяких

насильственных переворотов”. Книгге в “Наставлении для Первой палаты” утверждал, что священнослужители ордена иллюминатов – носители подлинной и откровенно эгалитарной идеи Христа, которая за многие века подверглась искажению^[230]. Впрочем, ни Вейсгаупт, ни Книгге в действительности так не считали: все это было лишь “святой ложью” (как признавался Книгге в близком кругу), которую следовало разоблачать перед теми иллюминатами, кто достигал высшей ступени. Итак, конечной целью иллюминатов была псевдорелигиозная “мировая реформация” на основе идеалов Просвещения^[231].

Вот об эти-то скалы – и организационные, и религиозные – и разбились иллюминаты. Книгге жаловался на “иезуитский характер” Вейсгаупта. Два выдающихся гёттингенских иллюмината, Иоганн Георг Генрих Федер и Кристоф Майнерс, обвиняли его в тяготении к радикальным политическим теориям Жан-Жака Руссо. Другой иллюминат, Франц Карл фон Эккартсгаузен, покинул орден, когда узнал, что Вейсгаупт восхищается Гельвецием и Гольбахом. Эккартсгаузен, архивариус при Карле Теодоре – курфюрсте Пфальца, унаследовавшем Баварское курфюршество после смерти Максимилиана Иосифа в 1777 году, – обладал достаточным влиянием, чтобы добиться запрета ордена. В 1784 году, после продолжительных дискуссий в Веймаре (на некоторых из них присутствовал Гёте) Книгге вынудили уйти в отставку^[232]. Вейсгаупт передал руководство Иоганну Мартину, графу Штольберг-Россла, который, как считается, распустил орден в апреле 1785 года, всего через месяц после издания второго баварского указа против тайных обществ^[233], хотя, согласно некоторым свидетельствам, орден продолжал действовать вплоть до середины 1787 года, а Иоганн Иоахим Кристоф Боден до 1788 года не оставлял мысли возродить орден в Веймаре^[234]. Даже если бы иллюминатов не запретили, можно не сомневаться, что они наверняка сами ликвидировались бы за два года до начала Французской революции. Вейсгаупт провел остаток жизни под покровительством Эрнста II, герцога Саксен-Гота-Альтенбургского, вначале в Регенсбурге, а затем в самой Готе, и писал одно за другим напыщенные сочинения, полные самооправданий, – например, “Полную историю гонений на иллюминатов в Баварии” (1785), “Картину иллюминатства” (1786) и “Апологию иллюминатов” (1786). Хотя от иллюминатов и тянулись некоторые ниточки к “Германскому союзу” Карла Фридриха Бардта, степень

преимущества между ними не следует переоценивать. Как указывал Книгге в сочинении, написанном им в собственную защиту, *Philo's endliche Erklärung*^[235] (1788), орден иллюминатов с самого начала являлся некоей логической несообразностью – организацией, стоявшей на службе Просвещения, но при этом напускавшей вокруг себя умственный туман.

Однако у защитников основного течения масонства и противников Французской революции имелись сильные побуждения преувеличивать и размах, и злокозненность иллюминатов. И Джону Робисону, и аббату Баррюэлю, писавшим свои трактаты в 1797 году, приходилось обращаться к некоторым немецким источникам, весьма расцвеченным воображением, чтобы придать правдоподобие выдвинутым обвинениям против иллюминатов, особенно утверждению о том, будто именно они спровоцировали Французскую революцию. Единственное, что может выглядеть хотя бы похожим на истинную связь между иллюминатами и революцией, – это тот факт, что Оноре Габриэль Рикети, граф де Мирабо, встречался с Якобом Мовильоном (который сделался иллюминатом по настоянию Иоганна Иоахима Кристофа Боде) в середине 1780-х годов, когда Мирабо посещал Брауншвейг. Но представление о том, что французские масонские ложи служили каналами, по которым революционные идеи поступали в Париж из Ингольштадта, не выдерживает даже самого поверхностного критического рассмотрения. Все-таки революционные идеи рождались в Париже. Истинные пути сообщения вели из гостиных французской столицы в Баварию – через библиотеки просвещенных чиновников вроде Икштатта, наставника Вейсгаупта, – а не в обратном направлении. Как мы еще увидим, существовала международная сеть, которая связывала философов и других ученых по всей Европе и даже простиралась по ту сторону Атлантики, в Северную Америку. Но эта сеть складывалась главным образом из публикаций, обмена книгами и переписки. Масонские ложи и тайные общества тоже играли в ней определенную роль, но светские гостиные, издательства и библиотеки имели гораздо большее значение.

Поэтому в иллюминатстве следует видеть не какой-то всемогущий заговор, который чьими-то злыми происками продолжал существовать больше двух столетий, а просто содержательную сноску к истории Просвещения. Являясь сетью внутри других, более крупных сетей масонства и французской

философии, орден Вейсгаупта хорошо иллюстрировал эпоху, когда было опасно открыто выражать идеи, посягавшие на религиозные и политические первоосновы. Скрытность была вполне оправданна. Однако секретность и привела к тому, что власти начали преувеличивать революционную угрозу, представляемую иллюминатами. В действительности революционным потенциалом обладала куда более широкая сеть Просвещения – именно потому, что соответствующие идеи совершенно свободно излагались в книгах и журналах, и они бы распространились подобно вирусу по Европе и Америке даже в том случае, если бы никакого Адама Вейсгаупта никогда не было на свете.

Историкам оказалось очень трудно написать историю иллюминатства, потому что, как и многие другие организации, иллюминаты оставили после себя не единый упорядоченный архив, а множество разрозненных записей. Пока не стали доступны архивы масонских лож, исследователям приходилось полагаться главным образом на мемуары и на документы, конфискованные и обнародованные недругами ордена. Среди материалов, которые якобы имелись в распоряжении Франца Ксавера Цвакха, были оттиски правительственных печатей, использовавшихся для поддельных документов, трактаты в защиту самоубийства, инструкции по изготовлению ядовитых газов и невидимых чернил, описание специального сейфа для надежного хранения секретных бумаг и рецепты abortивных средств, в том числе с формулой травяного настоя, способного вызвать выкидыш. Теперь-то мы знаем, что все это не дает никакого представления о деятельности ордена^[236]. Куда более типичны тщательно задокументированные перепалки между Боде и завербованными им тюрингскими иллюминатами: в них запечатлены основные разногласия внутри тайного общества, которое намеревалось способствовать Просвещению, но представляло собой иерархическую сеть и требовало от новообращенных полной открытости, а взамен предлагало лишь пустые заклинания^[237]. Столкнувшись с мощью Баварского государства в лице курфюрста Карла Теодора, иллюминаты потерпели крах. Однако и дни самого курфюрста были уже сочтены. Всего через десять лет после того, как он запретил тайные общества, в Пфальц, которым тоже правил Карл Теодор, вторглись армии революционной Франции, а потом они двинулись и на Баварию. С 1799 года вплоть до Битвы народов под Лейпцигом в 1813 году Бавария оставалась спутником новой наполеоновской

империи. Между тем в Готе, где обрели убежище остатки иллюминатства, сын и наследник герцога Эрнста, Август, как мог, пресмыкался перед французским деспотом.

Иллюминаты не были причиной Французской революции и тем более восхождения Наполеона, хотя эти события, несомненно, пошли им на пользу (все, кроме Вейсгаупта, получили прощение, а некоторые, в частности Дальберг, обрели большой вес). Они вовсе не продолжали строить козни, стремясь к мировому господству, вплоть до нынешнего времени, а прекратили всякую деятельность еще в 1780-х годах. Попытки же возродить орден в XX веке оказывались по большей части надуманными^[238]. Тем не менее история иллюминатов является неотъемлемой частью сложного исторического процесса, который привел Европу от Просвещения к революции и империи, – процесса, в котором интеллектуальные сети, бесспорно, играли решающую роль.

Обращаясь к лучшим современным исследованиям, в этой книге я пытаюсь высвободить историю сетей из тисков конспирологов и показать, что исторические перемены часто можно и должно понимать с точки зрения именно таких вызовов, которые сети бросают иерархическим порядкам.

Часть II

Правители и первооткрыватели

Глава 11

Краткая история иерархии

В эпическом спагетти-вестерне Серджо Леоне “Хороший, плохой, злой” герои, которых играют Клинт Иствуд и Илай Уоллак, охотятся за пропавшим золотом конфедератов. Дело происходит во время Гражданской войны, и сокровища зарыты на огромном новом кладбище под одной из могильных плит. К сожалению, они понятия не имеют, под какой именно^[239]. Иствуд, предусмотрительно разрядив револьвер Уоллака, поворачивается к напарнику и произносит бессмертную реплику: “Видишь ли, дружище, в этом мире все люди делятся на два сорта. У одних – заряженные стволы. А другие копают. Давай копай”.

Это современный пример древней истины. На протяжении большей части человеческой истории жизнь была устроена иерархическим образом. Лишь немногие наслаждались привилегиями, которые появились у них благодаря монополизации насилия. Все остальные копали.

Почему же иерархии предшествовали сетям? Ответ очевиден: даже в самых ранних группах доисторических гоминидов имелось разделение труда и существовала иерархия, основанная на обладании природными качествами – физической силой и умственными способностями. Поэтому первобытные племена были – и остаются – похожими скорее на иерархии, нежели на распределенные сети^[240]. Даже “по необходимости объединенные охотники-собиратели” нуждались в руководстве^[241]. Кому-то ведь нужно решать, что хватит уже наводить чистоту и пора идти на охоту. Кому-то нужно делить добычу и следить за тем, чтобы слабосильные детеныши и старики получили свою долю. А кому-то еще нужно копать.

Когда древнейшие люди начали объединяться в более многочисленные группы и заниматься более сложными видами охоты и собирательства, у них сложились первые системы понятий – разъясняющие мифы о богах, наделенных сверхъестественной властью над природными стихиями, а еще они придумали первые обряды, меняющие состояние сознания, и познакомились с психотропными веществами^[242]. Кроме того, они овладели азами военных искусств и научились изготавливать в заметных

количествах примитивное оружие – боевые топоры и луки со стрелами^[243]. Ранним сельскохозяйственным общинам неолитического века (то есть примерно с XI века до н. э.) явно приходилось тратить значительные ресурсы на оборону от набегов чужаков (или же на организацию собственных набегов). Расслоение общества на господ и рабов, на воинов и тружеников, на жрецов и молящихся, по всей видимости, началось очень рано. Когда из наскальной живописи родилась письменность, применявшая знакисимволы, возникла первая разновидность хранения данных вне человеческого мозга, а вместе с ней появилось и первое ученое сословие.

Иными словами, хотя ранние политические структуры различались между собой – одни тяготели к автократии, другие к коллективному управлению, – их роднила главная общая черта: расслоение общества. Власть карать преступников почти всегда делегировалась какому-то одному человеку или же совету старейшин. Способность успешно вести войны сделалась главным атрибутом правителя. Государство, как уже говорилось, явилось “предсказуемым результатом человеческой природы”^[244]. То же самое можно сказать и о гонке вооружений, так как новшества в военной технологии – изобретение более твердых наконечников для стрел, использование лошадей как средства передвижения во время нападений – открывали более короткий путь к власти и богатству^[245]. То же самое относится и к появлению “нового вида иерархии, в которой господство принадлежало «Большому человеку», которому необязательно самому быть физически сильным: лишь бы у него доставало богатств, чтобы платить небольшой клике вооруженных и преданных подчиненных”^[246].

У иерархии есть множество преимуществ – и для экономики, и для процесса управления. По вполне здравым причинам подавляющее большинство государств – с древности и до начала современного периода – имело иерархическое устройство. Подобно корпорациям более позднего времени, ранние государства стремились экономить на масштабах и снижать транзакционные издержки, особенно в области военных действий. По столь же здравым причинам многие честолюбивые самодержцы старались повысить собственную легитимность, отождествляя себя с богами. Подневольному люду легче было сносить власть иерархии, если ему внушали, что за ней стоит божественная воля. Однако правление “Большого человека” имело – и до сих пор имеет – и неистребимые

недостатки: прежде всего, оно сопряжено с нерациональным использованием ресурсов, которые обычно уходят на удовлетворение непомерных appetites самого “Большого человека”, его потомства и верных приспешников. Но Древний мир постоянно и почти повсеместно преследовала одна беда: граждане враждующих между собой государств чаще всего уступали чрезмерные полномочия наследственным военным элитам, а также жреческим элитам, чья задача состояла в том, чтобы насаждать религиозные учения и прочие узаконивающие власть идеи. Где бы это ни происходило, общественные сети жестко подчинялись иерархическим правилам. Грамотность оставалась привилегией. Уделом большинства простых людей был тяжелый труд. Они жили в деревнях, причем каждая была “латерально изолирована” (по определению Эрнеста Геллнера) от всего мира, кроме самых ближайших соседей. Такого рода изоляция прекрасно описана как своего рода постоянный умственный туман в романе Кадзуо Исигуро “Погребенный великан”^[247]. Лишь правящая элита могла поддерживать сетевые связи поверх больших расстояний: например, сети египетских фараонов в XIV веке до н. э. простирались от местных ханаанских правителей до владык в больших городах вроде Вавилона, Митанни и Хаттусы^[248]. Но даже эти элитные сети оставались источником опасности для иерархического порядка: еще в самых ранних исторических записях мы читаем о заговорах и кознях, какие строились, например, против Александра Македонского, – о темных, недоброжелательных группировках внутри сети^[249]. В этом мире не поощряли новаторов – в нем карали смертью тех, кто отклонялся от общих правил. В ту эпоху информация не поступала ни вверх, ни вбок, а только сверху вниз, если вообще поступала. Следовательно, типичной для Древнего мира была история, случившаяся в Южной Месопотамии при Третьей династии Ура (XXII–XXI века до н. э.): там сумели создать масштабную систему ирригации, но не сумели справиться с засолением почвы и резким падением урожайности^[250]. (Похожая участь позднее постигла Аббасидский халифат, которому не удалось сохранить оросительную инфраструктуру на территории сегодняшнего Южного Ирака из-за постоянных споров вокруг престолонаследия – этой общей напасти всех наследственных иерархий^[251].)

Конечно, были и эксперименты с более рассредоточенным политическим устройством – “тесный мир” афинской

демократии^[252], Римская республика, – но, что характерно, эти эксперименты длились недолго. В своем классическом труде “Римская революция” (*The Roman Revolution*) Рональд Сайм утверждал, что республикой в любом случае управляли римские аристократы, чьи междоусобные распри и ввергли Италию в гражданскую войну. “Политикой и действиями римского народа руководила олигархия, его анналы писались в олигархическом духе, – замечал Сайм, новозеландец, из которого Оксфорд сделал циника. – История рождалась из записей, фиксировавших консульства и триумфы знати, *nobiles*, из передаваемых потомкам сообщений о происхождении, о союзах и распрах их родов”. Август пришел к власти не просто потому, что был талантлив, но еще и потому, что он понимал, как важно иметь “союзников... и сторонников”. Собрав из своих приверженцев “цезарианскую партию”, Август сумел постепенно сосредоточить власть в собственных руках, продолжая все это время на словах восстанавливать республику. “В некоторых отношениях, – писал Сайм, – его принципат являлся синдикатом”. Между тем “старая система понятий” сохранялась: созданная Августом монархия, как прежде и республика, была лишь фасадом, за которым скрывалась и правила олигархия^[253].

Конечно, в римскую эпоху существовал и Шелковый путь, как пишет Питер Франкопан: “Сотрясения распространялись по разветвленной сети, которая простиралась повсюду, где странствовали пилигримы и воины, кочевники и купцы, где производились, продавались и покупались товары, где обменивались идеями, принимали или даже улучшали их”^{[254][255]}. Однако эта сеть способствовала не только торговому обмену, но и распространению болезней, а процветающие городские центры, стоявшие вдоль Шелкового пути, всегда были уязвимы для набегов кочевников вроде сюнну или хунну (гуннов) и скифов^[256]. Главный урок классической политической теории сводился к тому, что правление должно быть иерархическим и что чем крупнее становится политическая единица, тем в меньшем количестве рук естественным образом сосредоточивается высшая власть. Примечательно, насколько параллельными путями шло развитие Римской империи и Китайской империи при династиях Цин и Хань, по крайней мере до VI века, – не в последнюю очередь потому, что перед ними вставали примерно одинаковые трудности^[257]. Как только издержки, связанные с дальнейшим расширением

территории, начали перевешивать преимущества, разумным основанием имперской системы стали мир и порядок, обеспечиваемые ее большой армией и бюрократическим аппаратом, а расходы на их содержание покрывались благодаря взиманию налогов в сочетании с обесцениванием денег.

Почему же тогда империя в восточной части Евразии уцелела, а в западной – нет? Классический ответ состоит в том, что Рим не устоял под усилившимся натиском иммиграции, или, скажут некоторые, вторжения германских племен. Кроме того, в отличие от Китайской империи Риму приходилось бороться с подрывным влиянием новой религии, христианства – еретической секты, отколовшейся от иудаизма и распространившейся по римскому миру стараниями Савла из Тарса (апостола Павла), после того как он сам пережил обращение по пути в Дамаск примерно в 31–36 годах н. э. Эпидемии 160-х и 251 годов открыли новые пути для этой религиозной сети, потому что христианство не только предлагало объяснение для катастроф, но и поощряло такие действия (благотворительность и уход за больными), благодаря которым выживало заметно большее количество верующих^[258]. Римская империя была настоящей иерархией с четырьмя основными общественными сословиями – сенаторами, всадниками, декурионами и плебейми, – однако христианство, очевидно, просочилось на все уровни^[259]. И христианство было лишь самым успешным из множества религиозных помешательств, захлестнувших Римскую империю: например, культ бога грома и молнии Юпитера Долихена, зародившийся на севере Сирии, тоже распространился вплоть до Южной Шотландии в начале II века н. э. – главным образом потому, что его стали почитать военачальники в римской армии^[260]. Миграция, религия и зараза: к V веку эти передаваемые сетевыми путями угрозы – которые никем специально не вынашивались и не направлялись, а распространялись наподобие вируса, – привели к распаду иерархического строя римского имперского режима, так что от старого порядка остались лишь материальные следы, которым предстояло еще долгие века будоражить воображение европейцев. А в начале VII века из Аравийской пустыни вырвался новый монотеистический культ покорности – ислам, и где-то между Меккой и Мединой он мутировал из очередной веры с собственным пророком в воинственную политическую идеологию, которая отныне насаждалась огнем и мечом.

Обе монотеистические религии, хотя начало им положили пророки-харизматики, вели себя как сети, распространяясь вирусным способом. Однако, полностью подорвав римский режим, они в итоге сами породили теократические иерархии в Византии и Багдаде. Западное христианство, отколовшееся от восточного православия в 1054 году, попало под отдельный иерархический контроль с укреплением господства римских пап и появлением многослойной системы церковных чинов. Однако в политическом отношении западное христианство сохранило больше сходства с сетью: из руин Римской империи на Западе появилось, словно по законам фрактальной геометрии, множество государств. Большинство из них были крошечными, а несколько – крупными. Большинство представляло собой наследственные монархии, некоторые на деле были аристократиями, а горстка других являлась городами-государствами, где правила олигархия. Теоретически император Священной Римской империи унаследовал власть над большинством этих государств; на практике же после победы папы Григория VII над императором Генрихом IV в борьбе за инвеституру главные трансграничные полномочия в Европе принадлежали именно Святейшему престолу: ведь он распоряжался назначениями епископов и священников и повсеместно распространял действие своего канонического права (возрожденного Кодекса Юстиниана VI века). Светская власть подвергалась значительной децентрализации благодаря системе наследуемых прав собственности на землю и системе военных и фискальных обязательств, известной под названием феодализма. И здесь тоже границы власти определялись законом: гражданским (возникшим на основе римского права) на континенте и в Шотландии и общим (основанным на прецедентах) правом в Англии.

В Китае же из опыта враждующих царств извлекли такой урок: устойчивости можно достичь лишь в единой монолитной империи с культурой (конфуцианством), основанной на принципе сыновней почтительности (*сяо*). Там не было более высокого религиозного авторитета, чем император^[261]. Не было иных законов, кроме тех, что издавал император^[262]. Региональная и местная власть контролировалась имперскими чиновниками, которые набирались и продвигались по службе благодаря личным заслугам и знаниям, а для приема на государственную службу существовала система экзаменов, позволявшая молодым людям подниматься по общественной лестнице на основе талантов, а не происхождения.

Однако и в западной, и в китайской системах главным препятствием для образования устойчивого государства оставались неистребимо живучие семейные, клановые или родовые сети^[263]. Борьба между подобными сетями за распоряжение благами, предоставляемыми правительством, периодически выливалась в гражданские войны, большинство которых правильнее было бы называть династическими поединками.

Век за веком мудрецы размышляли о том, что, по-видимому, невозможно добиться порядка без установления более или менее абсолютной власти. Они записывали свои мысли на пергаменте или бумаге перьями или кисточками, прекрасно сознавая, что прочитать их сможет когда-либо лишь незначительное меньшинство их соотечественников, а их единственная надежда на бессмертие сводилась к тому, что, быть может, их сочинения перепишут и сохранят в одной из великих библиотек тогдашних эпох. Однако судьба Александрийской библиотеки, уничтоженной в череде нападений, достигших пика в 391 году н. э., показала, насколько хрупкими были хранилища данных в Древнем мире. А почти полное отсутствие интеллектуального обмена между Европой и Китаем в античную эпоху и Средние века говорило о том, что мир в ту пору был еще очень далек от превращения в единую сеть. За только одним смертоносным исключением.

Глава 12

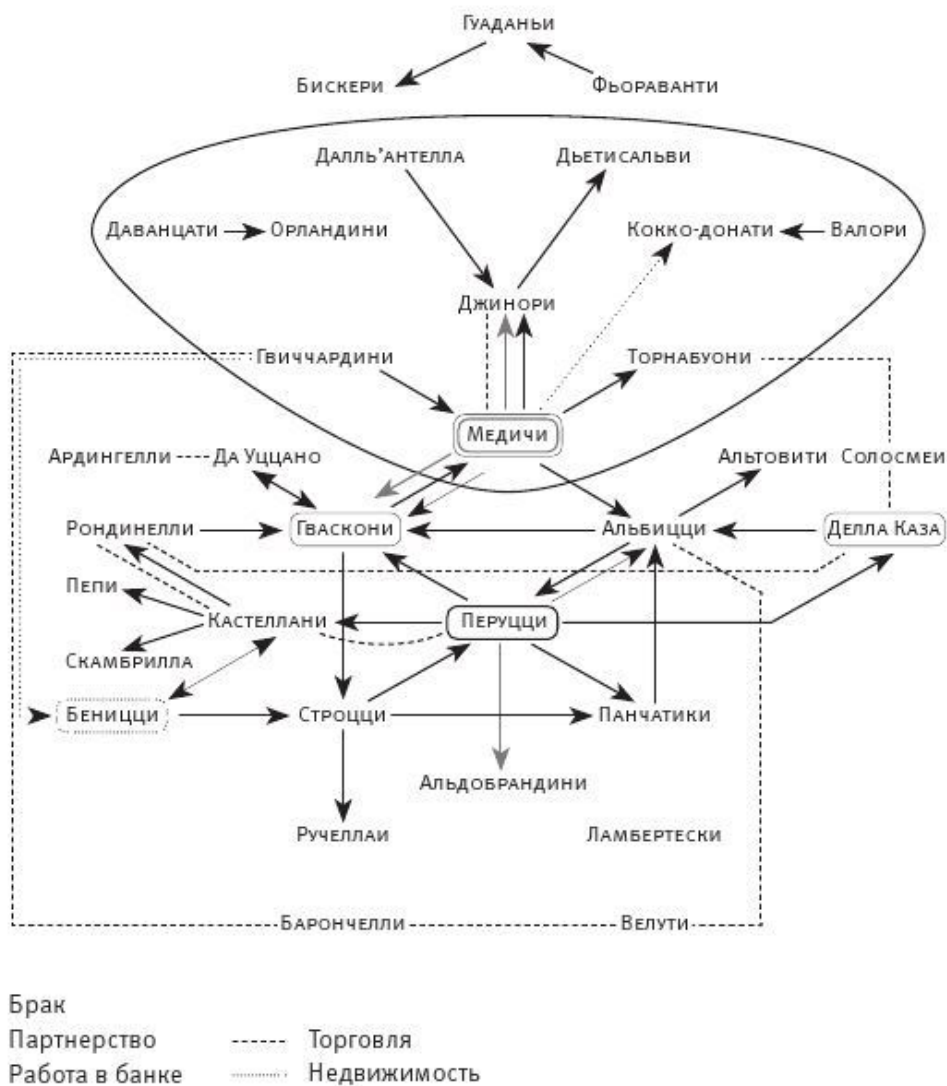
Первый сетевой век

В XIV веке население всего Евразийского континента выкосила “черная смерть” – эпидемия бубонной чумы, которую вызывала блошиная бактерия – чумная палочка (*Yersinia pestis*). Инфекция разносилась по упомянутым выше сетям евразийских торговых путей. Сети эти были настолько разбросанными и редкими, а связи между группами поселений настолько немногочисленными, что эта чрезвычайно заразная болезнь расползалась по Азии в течение четырех лет со скоростью менее тысячи километров в год^[264]. Но на Европу эта напасть обрушилась с гораздо большей силой: там вымерло около половины всего населения (и в том числе, возможно, три четверти населения Южной Европы). Азия, можно сказать, еще легко отделалась. Нехватка рабочей силы сказалась особенно остро на западном крае, что привело к значительному росту реального

заработка, особенно в Англии. Однако после 1500 года главным институциональным различием между Западом и Востоком Евразии стало то, что на Западе сети были относительно свободнее от господства иерархий, чем на Востоке. На Западе так и не возродилась монолитная империя. Там сохранилось множество отдельных и часто слабых княжеств, а единственными напоминаниями об имперском могуществе Древнего Рима оставались папство и рыхло устроенная Священная Римская империя, тогда как истинной наследницей императорского Рима считала себя Византия. В одной бывшей римской провинции, Англии, власть монарха была настолько ограниченной, что с XII века столичные купцы свободно занимались собственными делами через самоуправляющееся объединение. На Востоке же единственными важными сетями были семейные группы: там выше всего ценились кровные узы. В более индивидуалистичной Западной Европе, как было доказано, гораздо большее значение приобрели иные формы объединений – братства, являвшиеся таковыми лишь по названию^[265].

Однако следует соблюдать осторожность и не относить к слишком далекому прошлому то “великое расхождение” между Западом и Востоком, которое оставалось самой поразительной особенностью экономической истории между концами XV и XX веков^[266]. Если бы народы Западной Европы не покидали собственных берегов, или если бы монгольские завоеватели в XIII веке забрались подальше к западу от Венгерской (Среднедунайской) низменности, то европейская история могла бы протекать совершенно иначе. Живучесть семейных связей в Европе XIV века хорошо иллюстрирует возвышение во Флоренции рода Медичи, которые мало-помалу заняли уникальное положение посредников в сети знатнейших флорентийских родов, воспользовавшись, к собственной выгоде, разнообразными структурными дырами в этой системе (см. илл. 10)^[267]. Своим восхождением Медичи были отчасти обязаны стратегическим брачным союзам (заклучавшимся даже с членами таких враждебных их семье родов, как Строцци, Пацци и Питти): здесь, как и в большинстве обществ до начала Нового времени, важнейшей из сетей оказалось генеалогическое древо^[268]. Однако в период, последовавший за Восстанием чомпи (1378–1382), проникновение банкиров вроде Медичи в ряды флорентийской политической элиты обернулось важным экономическим

новшеством – переносом внутренних цеховых методов гильдии менял (*Arte del Cambio*) на международный уровень, где до тех пор заправляли торговцы тканями (*Arte di Calimala*), и появлением товарищества как основы финансового капитализма нового типа^[269]. С началом правления Медичи в 1434 году на свет появился “человек Возрождения”: разносторонне одаренный эрудит, хорошо разбирающийся в финансах, торговле, политике, искусстве и философии, – “и делец, и политик, и патриарх, и интеллектуал-эстет, всего понемногу”^[270].



Илл. 10. Сеть Медичи: династическая стратегия, которая привела к господству одной семьи над Флоренцией XIV века.

Глава 13

Искусство ренессансной сделки

Хотя Бенедетто Котрульи менее известен, чем Медичи, его пример наглядно иллюстрирует, по каким путям шло развитие европейских сетей в эпоху Возрождения и как постепенно складывалось новое космополитическое сословие связанных между собой личностей. Возникает соблазн назвать сочинение Котрульи “Искусство торговли”^[271], написанное в XV веке, аналогом книги Дональда Трампа “Искусство сделки”. Однако Котрульи ничем не походил на Трампа. Давая купцам множество мудрых советов, Котрульи среди прочего отговаривает их вмешиваться в политику. “Нехорошо купцу иметь дело с судами, – пишет он, – а главное – встречать в политику или в гражданское правление, ибо это опасные поприща”^[272]. В отличие от Трампа, который упивается словесной грубостью и кичливо похваляется собственным богатством, Котрульи был высокообразованным гуманистом, и в описанном им идеальном купце воплотились классические достоинства члена городской общины и гражданина, какими их мыслили себе древние греки и римляне и какие потом, в пору Ренессанса, заново открыли итальянские гуманисты.

В молодости Котрульи даже учился в Болонском университете, но, как он с грустью замечает, “по велению судьбы и неудачи, в разгар самых приятных философских занятий, меня оторвали от учебы и сделали купцом, и я вынужден был заняться торговлей, оставив отрадное ученье, коему я был предан безоглядно...”^[273]. Котрульи вернулся к управлению семейным делом в Рагузе (нынешнем Дубровнике), и там его неприятно удивил низкий интеллектуальный уровень его нового окружения. В отсутствие всякого специального образования для купцов те довольствовались лишь “недостаточной, плохо устроенной, случайной и устаревшей” системой обучения своей работе. “Я преисполнился сострадания, мне больно было видеть, что столь полезное и необходимое ремесло попало в руки столь распущенных и неотесанных людей и те занимаются им без всякой строгости и порядка, не соблюдая или искажая законы”^[274]. Во многом книга Котрульи стала не только попыткой повысить стандарты обучения купцов, но и поднять престиж самой торговли. “Искусство торговли” известно ученым прежде всего как самая ранняя работа, где сформулирована система

двойной бухгалтерии, она написана за тридцать лет до более знаменитого трактата Луки Пачоли *De computis et scripturis*^[275] (1494). Наиболее примечательное в сочинении Котрульи – широта охваченных в нем предметов. Автор предлагает не только практические советы о счетоводстве. Он излагает, по сути, целый образ жизни. Он написал не сухое руководство, а проповедь, обращенную к собратьям купцам, где призывает их стать подлинно деловыми людьми Возрождения.

А еще книга Котрульи дает современному читателю замечательную возможность одним глазком увидеть давно исчезнувший мир. Бенедетто Котрульи и его брат Микеле родились в Рагузе и занимались ввозом каталонской шерсти, а также красителей, расплачиваясь с поставщиками балканским серебром или чаще всего переводными векселями. Занимаясь делами, он бывал в Барселоне, Флоренции, Венеции и, наконец, в Неаполе, где жил с 1451 по 1469 год. Это была по-настоящему средиземноморская жизнь; к тому же Котрульи достаточно хорошо знал море и написал о нем другую книгу – *De navigatione*^[276], которую посвятил венецианскому Сенату. Еще он служил королю Фердинанду II Арагонскому, состоя послом в Рагузе и главой Монетного двора в Неаполе. В конце XV века жизнь таила немало рисков даже для преуспевающего купца. В 1460 году Котрульи предстал перед судом по обвинению в незаконном вывозе слитков. Впрочем, по-видимому, его признали невиновным. “Искусство торговли” он написал в деревне Сорбо-Серпико, где спасался от вспышки чумы, поразившей Неаполь. Умер Котрульи в 1469 году в возрасте пятидесяти трех лет.

И все-таки Котрульи хорошо прожил свою жизнь. Пускай он и скучал по библиотекам Болоньи, он гордился своим коммерческим призванием. Собственно, некоторые части его “Искусства торговли” читаются как апология купечества, попытка отвести от купцов обвинения – например, в ростовщичестве, алчности, скупости, – которые в те времена часто бросали им религиозные фанатики. По словам Котрульи, его “изумляло, что многие богословы осуждают торговлю – это полезное, естественное и совершенно необходимое занятие для ведения человеческих дел”^[277]. (В ту пору, когда ростовщичество было еще вне закона, он дал осторожное определение ростовщикам: это “люди, которые, когда наступает срок выплаты долга, продлевают его не без выгоды для заемщиков, неспособных расплатиться немедленно”^[278].) Котрульи

пропагандировал скрупулезное ведение счетов, а еще он одним из первых высказывался за диверсификацию как способ управлять рисками и снижать их. Он описал воображаемого флорентийского купца, который вступает в разнообразные деловые отношения с купцами из Венеции, Рима и Авиньона, одну часть своих капиталов вкладывает в шерсть, а другую – в шелк. “Приложив надежным и верным способом руку к столь многим сделкам, – замечает он, – я не извлеку из них ничего, кроме выгоды: ведь левая рука будет помогать правой”^[279]. И еще: “Никогда не рискуй слишком большой суммой сразу, на суше ли, на море ли. Как бы ты ни был богат, не вкладывай больше пятисот дукатов в один судовой груз, а если речь о большой галере, то не больше тысячи”^[280].

Котрульи являлся узлом в зарождавшейся торговой сети кредита и дебета, потому-то он и осуждал “тех, кто ведет лишь счета в один столбец, то есть записывает лишь, сколько причитается им самим, а не сколько другие ожидают от них получить”. Таких людей он называет “худшими из купцов, подлейшими и несправедливейшими”^[281]. “Купец, – писал Котрульи, – должен быть самым разносторонним из людей, человеком, *который должен иметь больше всего дел – больше, чем его сотоварищи, – с самыми разными типами людей и общественными сословиями*” (Курсив мой. – Н. Ф.). Следовательно, “все, что только может знать человек, может оказаться полезным для купца”, в том числе космография, география, философия, астрология, теология и право. Иными словами, “Искусство торговли” можно считать еще и манифестом для нового общества объединенных в общую сеть эрудитов.

Глава 14

Первооткрыватели

Прогресс, достигнутый в Италии и сопредельных странах, показывает, что с точки зрения культурно-экономического развития Европа еще до конца XV века сильно опережала остальной мир. Однако решающим прорывом, возвестившим эпоху мирового господства Европы, стал не столько итальянский Ренессанс, сколько иберийский век Великих географических открытий. При Генрихе (Энрике) Мореплавателе (1415–1460) моряки из Португалии начали пускаться во все более удаленные от Европы плавания: вначале на юг, вдоль побережья Западной Африки, а затем и за Атлантический, Индийский и, наконец, Тихий океаны. Эти необычайно честолюбивые и рискованные путешествия положили начало сети новых морских торговых путей, которым предстояло в короткие сроки превратить мировую экономику, состоявшую из разрозненных лоскутов региональных рынков, в единый мировой рынок. Хотя все эти экспедиции снаряжались из королевской казны, сами первооткрыватели являли собой социальную сеть: они делились друг с другом сведениями о кораблестроении, навигации, географии и военном деле. Как часто случалось в истории, эти новые сети возникли благодаря новым технологиям, а сети в то же время помогали быстрее распространять новшества. Более совершенные корабли, астролябии, карты и пушки – все это способствовало новым ошеломительным достижениям эпохи географических открытий. Как, впрочем, и завезенные через Атлантику евразийские болезни, против которых оказались беззащитны коренные американские народы. Потому-то в Новом Свете – в большей степени, чем в Азии, – эпоха открытий стала еще и эпохой завоеваний.

Начиная с 1434 года, когда Жил Эанеш успешно обогнул Кабо-Боходор – “выпирающий мыс” на северном побережье нынешней Западной Сахары, – португальские моряки, прежде набравшиеся опыта вблизи утесов Сагреша, по нарастающей увеличивали размах плаваний, все смелее удаляясь от суши. Весной 1488 года Бартоломеу Диаш достиг Кваихука – мыса в сегодняшней Восточно-Капской провинции ЮАР, а на обратном пути в Португалию открыл мыс Доброй Надежды. Десятилетием позже Васко (Вашку) да Гама

продолжил этот маршрут до Мозамбика, а оттуда (пользуясь указаниями местного лоцмана) доплыл по Индийскому океану до Каликута (Кожикод) в Керале. В феврале 1500 года по их следам отправился Педру Алвариш Кабрал, но, взяв курс на юго-запад, чтобы избежать шторма в Гвинейском заливе, он доплыл в итоге до побережья Бразилии. Не довольствуясь этим открытием, он все-таки отправился в Каликут, а оттуда – после ожесточенной стычки с конкурентами, мусульманскими торговцами, поплыл еще южнее и достиг Кочина (Кочи). С 1502 по 1511 год португальцы методично создавали сеть укрепленных торговых поселений, или факторий, куда вошли остров Килва-Кисивани (Танзания), Момбаса (Кения), Каннур (Керала), Гоа и Малакка (Малайзия)^[282]. Все эти места были совершенно неведомы прежним поколениям европейцев.

В августе 1517 года восемь португальских кораблей приблизились к побережью Гуандуна. Это событие следовало бы помнить лучше, так как речь идет об одном из первых контактов между европейцами и Китайской империей со времен Марко Поло, побывавшего там в конце XIII века^[283]. Командовал португальской флотилией Фернау Переш де Андраде; еще на борту был аптекарь Томе Пиреш, отряженный как будущий посланник португальской короны при дворе династии Мин. Почему об этой экспедиции почти забыли, в общем-то понятно: ничего хорошего из нее не вышло. Поторговав в Тамао (Туен-Мун на сегодняшнем острове Ней-Линдин) в устье Жемчужной реки, в сентябре 1518 года португальцы снова уплыли. А спустя одиннадцать месяцев возвратились три португальских корабля – на сей раз под командованием Симау де Андраде, брата Фернау. В январе 1520 года Томе Пиреш отплыл на север в надежде попасть на прием к императору Чжэнцэ, но при китайском дворе ему раз за разом отказывали, а после кончины императора 19 апреля 1521 года Томе оказался в плену. Вскоре после этого в Тамао прибыл другой португальский флот под началом Диогу Калву. Китайские чиновники потребовали, чтобы он убрался. Калву ответил отказом, и начался бой. Даже прибытие подмоги – двух кораблей из Малакки – не помогло португальцам: они потерпели унижительное поражение от китайского флота под командованием минского адмирала Ван Хуна. Все португальские корабли, кроме трех, были потоплены. А годом позже, в августе 1522 года, португальцы вновь решили попытать счастья, и в Тамао приплыли три судна под началом Мартима Коутиньо. Хотя мореплаватели привезли с собой

королевскую грамоту, повелевавшую заключить мир с китайцами, вновь состоялось сражение, и два португальских корабля были потоплены. На захваченных португальских моряков надели канги (деревянные шейные колодки), а в сентябре 1523 года их казнили. Томе и других представителей первой дипломатической миссии заставили написать письма на родину и передать требование китайских властей: португальские захватчики должны вернуть Малакку ее законным владельцам.

Словом, эта череда событий, обернувшаяся разочарованием, напоминает о том, что европейские заокеанские завоевания отнюдь не всегда были гладким и необратимым процессом. Действительно, слишком легко забывается, какими опасностями были чреваты все описанные выше плаванья. Васко да Гама во время первого плаванья в Каликут лишился половины всей своей команды, включая родного брата. Кабрал в 1500 году отплыл в путь с двенадцатью кораблями, а до цели доплыли только пять. Почему же португальцы все-таки шли на такие огромные риски? Ответ прост: проложив, а затем монополизировав новые морские пути для торговли с Азией, можно было получить прибыль, которая с лихвой оправдала бы любые риски. Хорошо известно, что в XVI веке в Европе быстро рос спрос на азиатские пряности – перец, имбирь, гвоздику, мускатный орех и мускатный цвет. Разрыв в ценах на рынках Европы и Азии вначале был колоссальным. Меньше известно о том, как настойчиво португальцы пытались вмешаться в уже налаженную внутриазиатскую торговлю. В минский Китай везли не только перец с Суматры, но еще и опиум, чернильный орешек (из-за содержания танина он применялся в китайской медицине как вяжущее средство), шафран, кораллы, ткани, киноварь, ртуть, черное дерево, путчак (пачак) для благовонных воскурений, ладан и слоновую кость. Из Китая же вывозили медь, селитру, свинец, квасцы, паклю, канаты, изделия из железа, деготь, шелковую пряжу и шелковые ткани (например, разные виды дамаста, атлас, парчу), фарфор, мускус, серебро, золото, мелкий жемчуг, позолоченные ларцы, изделия из дерева, солонки и расписные веера^[284]. Были, конечно, и другие стимулы, заставлявшие португальцев преодолевать половину земного шара. В ту пору азиатская медицина кое в чем превосходила европейскую, и, можно не сомневаться, Томе Пиреш надеялся узнать в Китае много полезного. Имелся еще и религиозный мотив – распространять христианство, причем он усилился с проникновением в Азию

иезуитов – агентов католической организации, основанной в 1530-х годах испанским солдатом Игнатием Лойолой. Наконец, речь шла о бесспорной выгоде, какую сулило установление дипломатических отношений с китайским императором. Впрочем, если бы не настоятельная коммерческая потребность, сомнительно, что все эти дополнительные мотивы заставили бы мореходов преодолевать столь огромные расстояния, идя на подобные риски и лишения.

Португальцы не везли множество собственных товаров на продажу азиатским покупателям (если не считать некоторого количества рабов и золота из их западноафриканских факторий). Такой цели у них не было. Не были они и завоевателями, намеревавшимися добыть новые земли или новых подданных для своего короля. Зато у португальцев имелся ряд технических преимуществ, благодаря которым они вполне могли выполнить свою задачу, а именно создать новую и лучшую на тот момент торговую сеть^[285]. Их знание арабских, абиссинских и индийских текстов позволяло методично обучать правильному использованию квадрантов и астролабий: так возникли, например, трактаты *Regimento do Estrolabio et do Quandrante* (1493) и *Almanach Perpetuum* (1496) астронома Абрау (Авраама) Закуто – одного из многих евреев-сефардов, поселившихся в Португалии после изгнания “неверных” из Испании в 1492 году^[286]. Португальские ремесленники Агостиньо де Гоэш Рапозу, Франсишку Гоиш и Жоау Диаш усовершенствовали конструкцию навигационных приборов. Португальская каравелла и ее продолжательницы – большая каракка (или нау) (1480) и галеон (1510) – тоже значительно превосходили другие парусные суда того времени. Наконец, с созданием Планисферы Кантино в 1502 году португальцы совершили большой прорыв в картографии: появилась первая современная проекция географических очертаний Земли, где довольно точно отображалось расположение основных материков, не считая, конечно, Австралии и Антарктиды (см. вкл. № 7).

События, которые произошли, когда эта чрезвычайно новаторская и динамичная сеть попыталась обзавестись новым “узлом” в Южном Китае, служат наглядным примером того, какие неприятности подстерегают сеть, которая соприкасается с закоснелой, жестко регламентированной иерархией. Китайский император правил с недостижимой высоты. “Я с трепетом принял наказ Неба и правлю китайцами и народом *йи*, – писал император Юнлэ правителю Аютии (Айюттхаи) в Таиланде в 1419 году. – В

своём правлении я олицетворяю любовь Неба и Земли и заботу о благоденствии всего сущего и взираю равно на всех, не делая различий между одним и другим”. Меньшие владыки должны знать свое место – им положено “чтить небо и служить высшим”, платя им дань^[287]. В действительности император Юнлэ благосклонно смотрел на плаванья по океанам. Именно в его царствование флотоводец Чжэнь Хэ совершил экспедицию в поисках сокровищ, доплыв до побережья Восточной Африки^[288]. Однако преемники Юнлэ отдали предпочтение автаркии, к которой в целом тяготело имперское чиновничество, и заморская торговля была официально запрещена. В глазах правителей из династии Мин португальские незваные гости были “фо-лан-чи” (от принятого в Индии и в Юго-Восточной Азии собирательного понятия “ференги”, которое, в свою очередь, произошло от арабского названия “франков”, то есть крестоносцев). В этом термине не было ни малейшей симпатии к пришельцам. Китайцы считали чужеземцев “людьми с нечистыми сердцами”. Ходили слухи, будто они жарят и едят детей.

Португальцы не ошибались, полагая, что в Китае имеются огромные экономические перспективы. И в Сиаме, и в Малакке уже вовсю шла незаконная торговля через Юэ-Кан (вблизи Чжанчжоу в провинции Фуцзянь). Если мандарины из имперской администрации – ученые чиновники вроде Цю Даолуна и Хэ Ао – желали свести к минимуму общение с чужеземцами, то евнухи, преобладавшие при императорском дворе, напротив, возделали диковинных привозных товаров, а еще их привлекало иностранное серебро, которое можно было получить от торговли. Однако португальцы, положение которых и без того было шатким, стали слишком много себе позволять. Симау де Андраде выказывал грубейшее неуважение к чувствам местных жителей. Без разрешения имперских чиновников он выстроил форт в Тамао, самочинно повесил моряка-португальца, нарушив китайские законы, не пускал в гавань непортугальские корабли, а когда к нему явились с претензиями, он сбил шапку с головы мандарина. Покупая китайских детей себе в услужение, он подкреплял подозрения местных, будто фо-лан-чи – и в самом деле людоеды. В свою очередь, китайские чиновники обходились с Томе Пирешем надменно и презрительно. Когда Пиреш с товарищами проделали длинное путешествие до Пекина, им велели в первый и пятнадцатый день каждого лунного месяца приходить к стене Запретного Города и почтительно простираться перед ней.

Португальцы не ведали того, что император Чжэндэ до того погряз в своих пирах и распутстве, что ни на миг не задумался о том, чтобы дать гостям аудиенцию, ради которой они и притащились в такую даль.

Однако самая большая ошибка европейцев заключалась в том, что они недооценили систему даннических отношений. А она, являясь сутью иерархического строя, простирала влияние китайского императора далеко за границы его империи. Португальцы возомнили, что теперь Малакка, этот жизненно важный торговый центр, принадлежит им. Но раджа Бинтана (Бентана), сын беглого малаккского султана Махмуд-шаха, считал иначе. Его посланник, находившийся в Пекине, предупредил китайские власти, что португальцы замышляют “присвоить их страну... и что они – грабители”, что явствовало из письма Криштовао Виейры, одного из португальских моряков, которого позже китайцы захватили в плен. Это предупреждение нашло отклик у имперских чиновников: Махмуд-шах всегда был благонадежным данником^[289].

Почему же португальцы в итоге восторжествовали и в 1557 году все-таки сделали Макао частью своей сети, а затем удерживали за собой это приобретение еще более четырехсот лет? Дело в том, что произошли два изменения. Во-первых, китайский запрет, наложенный на торговлю, оказался неосуществимым. Из Португалии приплыли новые люди – Леонель де Соуза и Симау д’Алмейда, и им удалось застолбить себе место в гуандунской торговле. Используя правильную мотивацию, чиновников вроде Ван По – заместителя командующего Гуандунской морской зоной обороны – можно было превратить из врагов в деловых партнеров. Во-вторых, одержав победы в первых морских сражениях с чужаками, китайцы по достоинству оценили превосходство португальских кораблей и пушек. А главное, минские чиновники со временем начали относиться к португальцам как к меньшему злу по сравнению с туземными восточноазиатскими пиратами. В июне 1568 года Триштау Ваз да Вейга помог китайскому флоту защитить Макао от пиратского флота, насчитывавшего около сотни кораблей^[290]. После 1601 года португальские и китайские войска сражались сообща, отгоняя новых непрошенных вторженцев – на сей раз из Нидерландов.

Глава 15

Писарро и инки

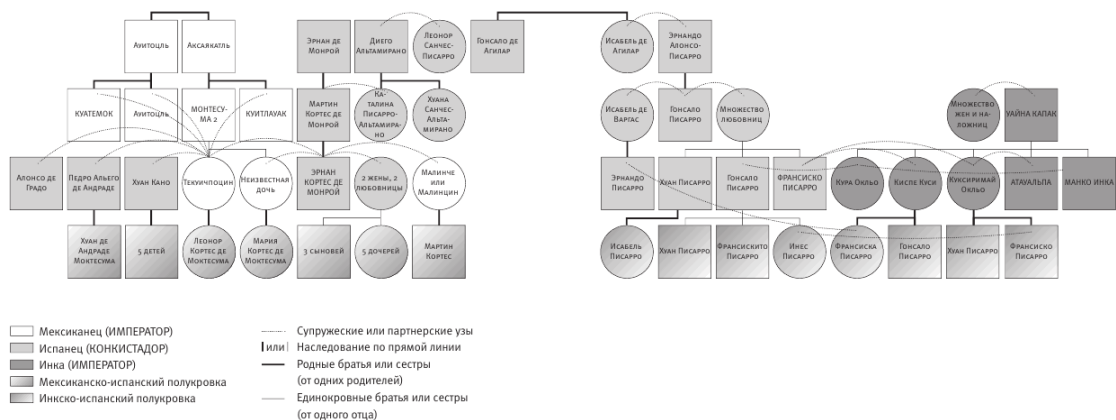
Если португальская морская сеть раскинулась на восток, то испанская протянулась на запад и на юг. По условиям Тордесильяского договора (1494) Испания могла претендовать на любые земли в обеих Америках, кроме Бразилии. Различались они и в другом. Если португальские первооткрыватели по большей части довольствовались тем, что создавали сеть укрепленных факторий вблизи побережья, то испанцы забирались вглубь суши в поисках золота и серебра. Имелось и третье различие: если азиатские империи, с которыми встретились португальцы, устояли под натиском их набегов и пошли лишь на незначительные территориальные уступки, то американские империи, на которые напали испанцы, рухнули с поразительной быстротой. Это произошло в большей степени из-за катастрофических последствий инфекционных евразийских болезней, которые завезли из-за Атлантического океана испанцы, нежели из-за их технического превосходства. Впрочем, в других отношениях все, что случилось, когда Франсиско Писарро и 167 его спутников столкнулись в ноябре 1532 года с инкским правителем Атауальпой в Кахамарке, очень напоминало случившееся десятилетием ранее в Гуандуне. По сути, европейская сеть атаковала неевропейскую иерархию.

Конкистадоры были разношерстной братией. Конечно, все они были очень выносливы, ведь долгий сухопутный марш на юг мог сравниться по тяготам с любым трансатлантическим плаванием. А еще, имея лошадей, ружья (аркебузы) и стальные мечи, они были вооружены гораздо лучше, чем инки в Перу, у которых любимым оружием оставалась деревянная дубинка. Как и португальскими первооткрывателями, испанцами двигали экономические мотивы, только они явились не торговать, а грабить. Они собирались присвоить имевшиеся в империи инков обильные запасы золота и серебра. Одна только первая экспедиция принесла захватчикам 13 420 фунтов 22-каратного золота, (сегодня оно стоило бы 26 миллионов долларов) и 26 тысяч фунтов серебра (на 7 миллионов). Как и португальцы, испанцы привезли с собой священников (шестерых монахов-доминиканцев, из которых в живых в итоге остался один). И, подобно португальцам, испанцы применяли насилие, чтобы сломить сопротивление туземцев, пуская

в ход пытки, массовые изнасилования, сожжения на костре и беспорядочную резню. Однако самой поразительной чертой конкистадоров была их склонность ссориться между собой, часто доходившая до кровопролития. Враждебность Эрнана, брата Франсиско Писарро, к Диего де Альмагро была лишь одним из примеров бесчисленных уوبيц. Империю инков обрекла на гибель не сила испанских захватчиков, а слабость самой империи.

Даже сегодня сооружения в Пачакамаке, Куско и Мачу-Пикчу свидетельствуют о том, что императоры инков правили большим и весьма цивилизованным государством, которое называлось на их языке *Тауантинсуйю*. В течение столетия они удерживали под своей властью территорию в Андах площадью 36 244 квадратных километра, а население ее, по современным оценкам, составляло от 5 до 10 миллионов человек. Это высокогорное царство объединяла сеть дорог, лестниц и мостов, многими из которых можно пользоваться по сей день^[291]. Инки успешно занимались сельским хозяйством, разводя лам ради шерсти и выращивая маис. Это было относительно богатое общество, хотя золото и серебро служило инкам не деньгами, а украшениями, а в хозяйственных и административных целях их чиновники-счетоводы, *кипукамайоки*, пользовались системой веревочных узелков – *кипу*^[292]. Правление инков носило жестокий иерархический характер. Культ солнца сопровождался человеческими жертвоприношениями и беспощадными наказаниями. Знать жила за счет излишков, производимых трудом подневольного класса. Правда, это была менее развитая цивилизация, чем китайская: в ней отсутствовала письменность, не говоря уже о литературе или кодифицированных законах^[293]. И все же представляется почти невероятным, что Писарро и его люди сумели одержать победу при таком численном превосходстве инков: их было 240 человек на одного испанца. Роковыми для туземцев оказались две слабости. Первой и главной стала оспа, косившая местное население и распространявшаяся к югу даже быстрее, чем перемещались сами испанцы, которые и завезли в Новый Свет эту болезнь. Вторым фактором стал внутренний раскол: в пору испанского завоевания Атауальпа как раз вел войну за власть со своим сводным братом Уаскаром, оспаривая его право считаться законным наследником правителя инков Уайны Капака. Писарро без особых сложностей набрал вспомогательные войска из местных жителей.

Но правильно ли называть последовавшие события “завоеванием”? Разумеется, Писарро удалось унизить, ограбить и в итоге убить Атауальпу, а также подавить восстание Манко Инки Юпанки в 1536 году – обо всех этих событиях подробно и ярко рассказал Фелипе Гуаман Пома де Айяла в своей хронике *Nueva Corónica y Buen Gobierno* (1600–1615). Однако смешанное имя автора, кечуа-испанское, рассказывает и собственную историю. В отличие от Северной Америки, где туземцев было меньше, а европейских колонизаторов, напротив, больше, в Южной Америке слияние пришельцев с местным населением было жизненно необходимо. Достаточно одного примера: Франсиско Писарро взял в любовницы любимую сестру Атауальпы, которую сам правитель отдал ему в жены. После смерти Франсиско она вышла замуж за испанца по имени Ампуэро и уехала в Испанию, взяв с собой дочь Франсиску, которая позднее королевским указом будет признана законной дочерью Писарро. В октябре 1537 года Франсиска Писарро Юпанки вышла замуж за своего дядю, Эрнандо Писарро. А еще у Писарро был сын Франсиско (так никогда и не признанный законным) от жены Атауальпы, которую он тоже взял в наложницы. Это типичная иллюстрация той новой “мультикультурной семейной паутины”, которую плело первое поколение конкистадоров, вознамерившись узаконить собственное положение на вершинах иерархических систем, перешедших в их руки (см. илл. 11). Поэтому уместнее было бы говорить не о “завоевании”, а о “смещении” или “скрещении”. (Самый знаменитый летописец испанского завоевания, Гарсиласо де ла Вега, сам был сыном конкистадора и инкской принцессы Пальи Чимпу Окльо^[294].) Похожие стратегии осуществляли и другие европейские колонизаторы в Новом Свете – например, французские крестьяне и торговцы пушниной, поселившиеся в 1700-х годах в Каскасии в Иллинойсе^[295]. Европейские “завоеватели” не только переняли уже существовавшие системы управления и землепользования, но и породнились с коренным населением^[296].



Илл. 11. Сеть “завоевания”: межнациональные браки между конкистадорами и женщинами из знатных ацтекских и инкских семей.

Тем не менее прочным следствием такой практики в Южной Америке явилась отнюдь не культура, признающая сам факт генетического смешения^[297], а, напротив, попытка рассортировать людей в соответствии с “чистотой крови” (*limpieza de sangre*). Само это понятие, завезенное испанцами в Новый Свет, явилось отголоском изгнания мавров и евреев из Испании. Кастовая номенклатура, изображавшаяся на картинах XVIII века из Новой Испании, начинается с более или менее знакомых определений: *De Español e Yndia nace mestizo* (“От испанца и индейской женщины рождается метис”), *De Español y Negra sale Mulato* (“От испанца и чернокожей появляется на свет мулат”), но дальше начинаются диковинные дебри. Например, говорится, что от испанца и мулатки родится уже *мориско* (то есть мавр, как называли в Испании бывших мусульман, обратившихся в христианство после Реконкисты). От союза мулата с туземкой родится *кальпамулато*. Среди других вариантов в серии из шестнадцати картин, написанных в 1770 году мексиканским художником Хосе Хоакином Магоном, были *лобо* (буквально “волк”), *камбухо*, *самбауго*, *квартирон*, *койот* и *албарасадо*. Имелась даже категория, называвшаяся *Tente en el Aire*^[298] (“Подвешенный в воздухе”)^[299]. При подобной классификации количество разных фенотипов обычно колебалось между шестнадцатью и двадцатью, хотя в некоторых источниках начала XIX века их приводится больше сотни. Кастовая система отражала не только антропологический интерес, хотя она и свидетельствует об искренних попытках применить на деле тогдашние теории наследственности. Хотя “очищение” и считалось возможным — например, женившись на

испанке, метис мог произвести на свет *кастисо*, то есть креола, а тот, в свой черед, мог дать жизнь уже чистому испанцу, женившись на испанке, – в целом вся эта система негласно подразумевала (ибо ее никогда официально не включали в колониальное законодательство) дискриминацию всех, в чьих жилах текло слишком мало испанской крови или же не текло вовсе. Таким образом, сложная вязь смешанных браков в испанской Америке вызвала к жизни новую иерархию.

Глава 16

Когда Гутенберг встретился с Лютером

Иберийская сеть первооткрывателей и завоевателей была одной из двух сетей, коренным образом изменивших мир на заре Нового времени. В ту же самую пору в Центральной Европе появление новой технологии помогло разжечь масштабную религиозную и политическую смуту, известную сегодня под названием Реформации, а заодно и вымостить путь революции в науке, Просвещению и многим другим событиям, которые являли собой полную противоположность первоначальным целям и сути Реформации. Печатное дело существовало в Китае задолго до XV века, но ни одному китайскому печатнику никогда не удалось бы добиться того, что совершил Иоганн Гутенберг, – а именно создать совершенно новую отрасль экономики. Первый печатный станок Гутенберга заработал в Майнце приблизительно между 1446 и 1450 годами. Новую технологию печати – тиснение при помощи подвижных литер – быстро подхватили другие немецкие мастера, она начала концентрическими кругами распространяться вокруг Майнца: экономически выгоднее было создать множество типографий в разных городах, чем налаживать централизованное производство, так как транспортировка печатной продукции обходилась бы слишком дорого. К 1467 году Ульрих Хан уже основал первую книгопечатню в Риме. Шестью годами позже Генрих Ботель и Георг фон Гольц открыли типографию в Барселоне. В 1475 году Ганс Вурстер наладил книгопечатание в Модене. Около 1496 года Ганс Пегницер и Мейнард Унгат основали типографию в Гранаде – всего через четыре года после того, как эмир Мухаммед XII, последний правитель из династии Насридов, сдал Альгамбру Фердинанду и Изабелле. К 1500 году примерно в каждом пятом из швейцарских, датских, голландских и германских городов уже имелись собственные типографии^[300]. Англия поначалу отставала, но потом догнала остальные страны. В 1495 году в Англии были напечатаны книги лишь восемнадцати наименований. К 1545 году там имелось уже пятнадцать типографий, а количество наименований, выходявших из печати ежегодно, выросло до ста девятнадцати. В 1695 году около семидесяти типографий напечатали книги 2092 наименований.

Не будь Гутенберга, Лютера вполне могла бы постигнуть судьба очередного еретика, которого Церковь сожгла бы на костре, как Яна Гуса^[301]. Его исходные “95 тезисов”, осуждавшие прежде всего порочные методы Церкви вроде торговли индульгенциями, вначале были отосланы архиепископу Майнцскому в письме от 31 октября 1517 года. Возможно, Лютер еще прибил текст “Тезисов” к двери церкви Всех Святых (это до конца не прояснено), но это даже неважно. Такой способ обнародования уже успел устареть. В считанные месяцы оригинальный латинский текст его “Тезисов” растиражировали типографии в Базеле, Лейпциге и Нюрнберге. К тому времени, когда Вормским эдиктом 1521 года Лютер был официально признан еретиком, его сочинениями зачитывались уже во всех концах Европы, где понимали немецкую речь. Заручившись помощью художника Лукаса Кранаха и ювелира Кристиана Дёринга, Лютер совершил революцию не только в западном христианстве, но и собственно в области коммуникаций. В XVI веке немецкие печатники выпустили в свет почти пять тысяч изданий сочинений Лютера, к которым можно приплюсовать еще три тысячи, если учесть другие работы, к которым он тоже приложил руку, – например, немецкую Библию Лютера. Из 4790 публикаций почти 80 % вышли на немецком языке, а не на латыни – международном языке клерикальной элиты^[302]. Печатное дело сыграло решающую роль в успехе Реформации. В городах, где к 1500 году имелись свои типографии, протестантизм встречал поддержку с гораздо большей долей вероятности, чем в городах без своего книгопечатания, но легче всего протестантизм пускал корни в тех городах, где имелось несколько конкурировавших между собой типографий^[303].

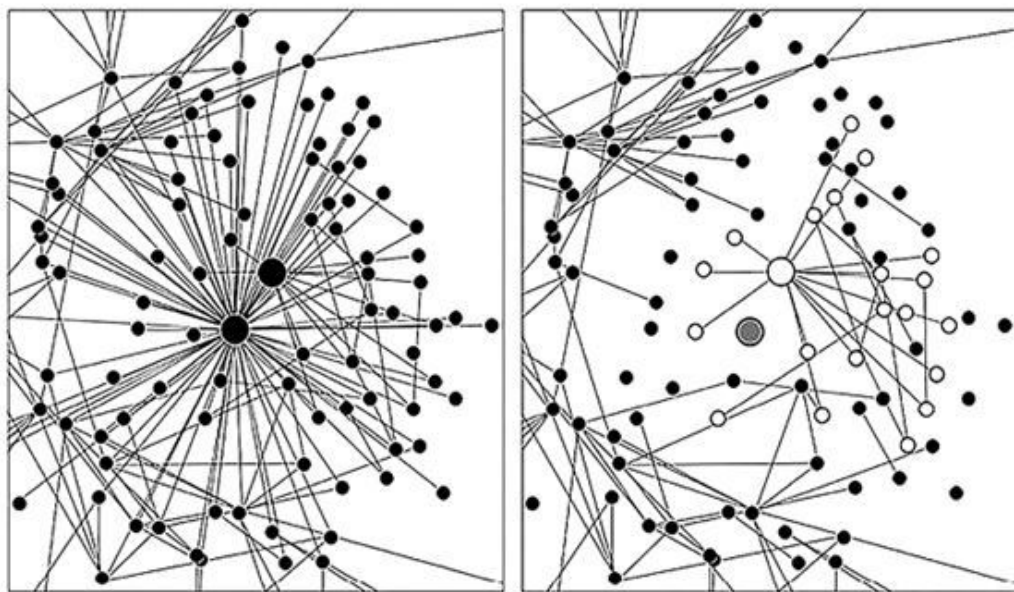
Появление печатного станка справедливо называли бесспорной точкой невозврата в человеческой истории^[304]. Реформация вызвала волну религиозных восстаний против власти Римско-католической церкви. Перекинувшись от реформаторски настроенного духовенства и ученых на высшие городские слои, а затем и на неграмотное крестьянство, этот бунт вверг в смуту вначале Германию, а затем и всю Северо-Западную Европу. В 1524 году разразилась настоящая крестьянская война. К 1531 году в протестантство обратилось уже столько европейских правителей, что они сплотились в Шмалькальденский союз против императора Священной Римской империи Карла V. Даже потерпев поражение, протестанты оказались достаточно могущественными, чтобы

уберечь Реформацию в разрозненных мелких княжествах, а после заключения Аугсбургского мира (1555) утвердить главный конфессиональный принцип – *cuius regio, eius religio*^[305] (придуманый в 1582 году немецким правоведом Иоахимом Штефани), который фактически предоставлял монархам и князьям самим определять, какую веру следует исповедовать их подданным – лютеранство или католичество. Впрочем, религиозные волнения продолжали медленно закипать, а со временем выплеснулись в Тридцатилетнюю войну – конфликт, превративший Центральную Европу в огромную бойню.

Лишь после долгой и кровопролитной войны европейским монархиям удалось снова обуздать новые протестантские секты, однако установленный ими контроль уже никогда не достигал такой полноты, какой обладала папская власть. Цензура сохранилась, но в ней появились лазейки, и даже самые отъявленные еретики могли найти печатника, который согласился бы издать их сочинения. А на северо-западе Европы – в Англии, Шотландии и в Республике Соединенных Провинций Нидерландов – оказалось совсем невозможно восстановить католицизм, хотя Рим в придачу к своему традиционному набору зверских пыток и наказаний, в которых Церковь усердствовала уже давно, бросил на борьбу с Реформацией ее же собственные технологии и сетевые стратегии самой Реформации.

Почему же протестантизм так стойко сносил репрессии? Одно из объяснений состоит в том, что протестантские секты, распространяясь по Северной Европе, создали на редкость прочные и гибкие сетевые структуры. В царствование Марии I Тюдор протестанты в Англии подверглись жестокому преследованию. Об этой травле и судах над гонимыми реформаторами подробно написал Джон Фокс в труде “Деяния и памятники” (более известном как “Книга мучеников”). Однако хорошо видно, что те 377 убежденных протестантов, которые или сами переписывались с Фоксом, или упоминались в письмах Фокса и связанных с ними источниках, составляли крепкую сеть, имевшую несколько ключевых узлов связи: ими служили мученики Джон Брэдфорд, Джон Беспечный, Николас Ридли и Джон Филпот^[306]. Казни, обрубившие целых четырнадцать узлов из двадцати (обладавших наибольшей центральностью по посредничеству^[307]), конечно, понизили связанность между оставшимися в живых, но не уничтожили саму сеть, потому что место прежних связующих

вершин заняли другие фигуры, наделенные высокой центральностью по посредничеству – в том числе курьеры, передававшие письма, и жертвователи вроде Огастина Бернера и Уильяма Панта^[308]. Тщетные попытки старшей дочери Генриха VIII отменить религиозную революцию, которую опрометчиво затеял ее родной отец, чтобы развестись с ее матерью, как нельзя лучше символизировали кризис иерархического порядка в XVI веке.



Илл. 12. Сеть английских протестантов непосредственно до (слева) и после (справа) казни Джона Брэдфорда 1 июля 1555 года. Гибель Брэдфорда (он обозначен крупным черным узлом слева и серым справа) отрезала от остальных участников целую подсеть, сосредоточенную вокруг его матери (узлы с белой пустотой внутри на правой схеме).

Прошло уже полтысячелетия с тех пор, как португальские корабли подошли к побережью Гуандуна, а Лютер прибил свои тезисы к двери церкви Всех Святых в Виттенберге. Мир в 1517 году, когда в Европе только начинались большие сдвиги – географические открытия и Реформация, – все еще оставался миром иерархических порядков. Китайский император Чжэндэ и правитель инков Уайна Капак были всего лишь двумя представителями многочисленной элиты мировых деспотов. Как раз в 1517 году султан Османской Турции Селим I (Селим Грозный) покорил Мамлюкский султанат, охватывавший часть Аравийского полуострова, Сирии, Палестины и даже Египта. На востоке шах Исмаил из династии Сефевидов

простирали свою власть над всеми землями сегодняшних Ирана и Азербайджана, Южного Дагестана, Армении, Хорасана, Восточной Анатолии и Месопотамии. На севере Карл I – наследник династий Габсбургов, Бургундских Валуа и Трастамара – правил испанскими королевствами Арагоном и Кастилией, а также Нидерландами; через два года, уже под именем Карла V, он сделался еще и императором Священной Римской империи, унаследовав трон своего деда Максимилиана I. В Риме на папском престоле сидел Лев X – второй сын Лоренцо Медичи (Великолепного). Во Франции царствовал Франциск I, а в Англии столь же абсолютной властью обладал король Генрих VIII: по его личной прихоти все королевство перешло в лютеранство (пускай даже по частям и непоследовательно). Как мы уже видели, иерархия – это особая разновидность сети, в которой предельно повышена центральность правящего узла. Отличной иллюстрацией этому утверждению служит социальная сеть, о существовании которой можно заключить из государственных бумаг Тюдоров, куда вошли письма от более чем двадцати тысяч человек. В годы правления Генриха VIII человеком с наибольшим количеством связей являлся Томас Кромвель (первый советник короля, лорд-хранитель Печати и канцлер казначейства), переписывавшийся с 2149 корреспондентами, второе место принадлежало самому королю (1134), а третье занимал кардинал Уолси, лорд-канцлер (682). Однако с точки зрения центральности по посредничеству первое место оставалось за королем^[309].

Поразительная черта тогдашнего иерархического мира – это сходство, наблюдавшееся в осуществлении власти во всех этих империях и королевствах, невзирая на то что связи между европейским миром и остальными землями были весьма скудными, если существовали вообще. (За пределами Европы, где между монархами постоянно происходили войны и турниры династической дипломатии, не было сетей, которые объединяли бы остальных деспотов.) Селим Грозный прославился своей жестокостью к великим визирям: он казнил их в таких количествах, что выражение “чтоб тебе стать визирем у Селима” стало расхожим турецким проклятьем. Генрих VIII запомнился истории тем, что обходился со своими министрами и женами не менее бессердечно. Великий князь Московский Василий III тоже без лишних раздумий приговаривал к смертной казни строптивых бояр, а еще он, подобно Генриху, развелся с первой женой, которая так и не родила ему

наследника. В Восточной Африке негус Эфиопии Давид II вел с мусульманским султанатом Адаль войну, которая чем-то походила на вражду между христианскими и мусульманскими правителями, долгое время бушевавшую в разных странах Средиземноморья. Сегодня историки признают, что в 1517 году в мире существовало более тридцати империй, королевств, княжеств и великих герцогств, имевших достаточную площадь и сплоченность, чтобы претендовать на самостоятельную государственность. Во всех них – и даже в единственной республике, Венеции, – власть сосредоточивалась в руках одного человека, как правило мужчины (в тот год в мире имелась лишь одна правительница – королева Хуана Кастильская). Некоторые властители наследовали трон по праву рождения. Других избирали (хотя нигде избрание не происходило демократическим способом). Некоторые – как, например, Чунджон, ван Чосона (Корея), – восходили на трон насильственным путем. Были и юные короли (Якову V Шотландскому в 1517 году было всего пять лет), и старые (Сигизмунд I, король Польши и великий князь Литовский, прожил 81 год). Некоторые номинальные правители в действительности были слабыми – как император Го-Касивабара в Японии, где реальная власть находилась в руках сёгуна Асикага Ёсиаки. Относительная власть более мелких землевладельцев различалась от места к месту. В некоторых государствах, как в королевстве Рюкю при Сё Сине, царил мир. Другие – особенно Шотландию – постоянно раздирали распри. Однако большинство монархов раннего Нового времени наслаждались неограниченной личной властью (в том числе и властью над жизнью и смертью своих подданных) такого рода, какая сегодня существует лишь в нескольких государствах Центральной и Восточной Азии. Несмотря на расстояния во много тысяч миль, разделявшие эти страны, преуспевающие самодержцы вроде Кришнадеварайи, императора Виджаянагара (самого могущественного правителя в Индии в начале XVI века), вели себя поразительно похоже на своих современников, живших в ренессансной Европе: они тоже гордились собственной воинской отвагой и умением править государством, тоже оказывали покровительство искусствам и литературе.

С начала 1500-х годов этот иерархический мир подвергся двойному нападению со стороны революционных сетей. “Первооткрыватели” и “завоеватели” из Западной Европы,

искавшие новых возможностей для торговли и вооружившиеся новыми навигационными технологиями, отплывали к другим континентам, причем число таких смельчаков неуклонно росло. Во многом с помощью инфекционных болезней они свергли прежних правителей в обеих Америках и создали всемирную сеть укрепленных перевалочных пунктов, и те начали медленно подтачивать суверенитет азиатских и африканских государств. В ту же пору религиозный вирус, позднее получивший название протестантизма, распространяясь благодаря проповедям и печатному станку, подорвал церковную иерархию, истоки которой восходили к святому Петру. Последствия Реформации сказались вначале в Европе, и они были поистине ужасны^[310].

Религиозные войны с 1524 по 1648 год сеяли сумятицу и вражду между отдельными государствами и одновременно разрушали их изнутри. Как только власть папского Рима была успешно подорвана, в Северной Европе началась эпидемия религиозных новшеств: лютеранам вскоре бросили вызов кальвинисты и цвинглиане, которые отвергали утверждение Лютера о том, что в обряде святого причастия освященные хлеб и вино являются истинным телом и кровью Христовыми. В отличие от прежних расколов внутри христианства (арианского спора в IV веке, Великой схизмы между западным и восточным христианством в 1054 году и “двоепапства” с 1378 по 1417 год), реформатские движения постоянно разрастались: можно сказать, что главной чертой новых сект была способность размножаться делением. Крайний случай являли собой анабаптисты, считавшие, что крещение должно быть сознательным и добровольным обрядом, а потому детей крестить бессмысленно. В феврале 1534 года группа анабаптистов во главе с Яном Матисом и Яном Бейкелсзоном (Иоанном Лейденским) захватила власть в вестфальском городе Мюнстере и основали там коммуны, которую сегодня мы могли бы назвать христианским государством. Это был жестко эгалитарный, иконоборческий теократический режим, опиравшийся на буквальное толкование Библии. Анабаптисты сожгли все книги, кроме Библии, провозгласили создание “Нового Иерусалима”, узаконили многоженство и принялись готовиться к войне против неверующих в преддверии Второго пришествия Христа. К середине XVII века, в период Английской республики, протестанты-диссентеры, отвергавшие англиканский “средний путь” между лютеранством и католичеством, образовали множество соперничавших между собой сект. Среди них особенно выделялись

Люди Пятого царства (чье название восходит к пророчеству из Книги Даниила о том, что на смену четырем старым царствам придет пятое – царство Божие), магглтониане (названные в честь Лодовика Магглтона, одного из двух лондонских портных, которые объявили себя последними пророками, чье появление предсказано в Апокалипсисе), квакеры (“трепещущие при имени Господа”) и рантеры (“болтуны” – названные так за шумное и, по слухам, гедонистическое отправление обрядов).

Была ли Реформация катастрофой? К 1648 году, то есть ко времени заключения Вестфальского мира (см. вкл. № 9)^[311], она, безусловно, была повинна в насильственной и зачастую чудовищно жестокой смерти поразительного множества людей. На Британских островах она в конце концов привела к политической революции. Началась она, согласно одному новаторскому толкованию, в результате махинаций графа Бедфорда и пуританина (то есть непоколебимого протестанта) графа Уорика, стремившихся, каждый на свой лад, ограничить власть короля Карла I – и по религиозным, и по политическим соображениям. Эта аристократическая “хунта” не столько помышляла о религиозной революции, сколько желала приблизить положение английского короля к положению венецианского дожа, подчинив его своему олигархическому правлению^[312]. После 1642 года трения между “двором” и “страной” – и между Англией, Шотландией и Ирландией – вылились в Гражданскую войну, и король потерпел в ней сокрушительное поражение. 30 января 1649 года его обезглавили, и Англия была провозглашена республикой (*Commonwealth*). Как справедливо предсказывала политическая теория, это “содружество” продержалось недолго: в 1653 году “армия нового образца” распустила парламент, так называемое Охвостье, и назначила лордом-протектором Англии Оливера Кромвеля. Однако и эта должность просуществовала недолго: в мае 1660 года, всего через два года после смерти Кромвеля, новый парламент объявил, что Карл II в действительности являлся королем с самого дня казни его отца. В Гражданской войне лишились жизни, вероятно, около ста тысяч жителей Англии и Уэльса. Еще больше людей погибло в Шотландии, а в Ирландии людские потери были самыми тяжелыми. Их можно сравнить с количеством жертв Великого голода 1840-х годов и с потерями Германии в Тридцатилетней войне.

Войны и гонения, вызванные волной Реформации, конечно же, совсем не входили в намерения Лютера. С позиции католиков, чье движение Контрреформации оградило от протестантизма хотя бы Южную Европу (и заморские империи Испании и Португалии), мораль была кристально ясна: вызов, брошенный папской и епископской иерархией сетью, которая называла себя “духовенством всех верующих”, в кратчайшие сроки привел к кровавой анархии. Британские же аристократы извлекли другой урок. После свержения Якова II, тщетно пытавшегося восстановить в стране католицизм, они сделали выводы, что полномочия монарха всегда должен ограничивать парламент, где их собственное влияние будет осуществляться посредством сетей попечительства^[313], и что религиозное рвение должна всемерно сдерживать англиканская церковь, сама придерживавшаяся *via media* – среднего пути между пуританством и папством. В обеих позициях было много здравого. И все же от них ускользнули очень важные и столь же неумышленные преимущества того разрушения, который спровоцировал Лютер.

Часть III

Письма и логи

Глава 17

Экономические последствия Реформации

Поражение, которое в конце концов потерпела Контрреформация, тщетно пытавшаяся задушить “кальвинистский Интернационал”^[314], повлекло за собой долгосрочные экономические и культурные последствия. До Реформации состояние экономики в Северо-Западной Европе относительно мало отличалось от экономического положения, скажем, в Китайской или Османской империях. Зато после революции Лютера в экономике протестантских стран начали проступать признаки большего динамизма. Почему же? Отчасти потому, что, несмотря на желание Лютера очистить Церковь, Реформация привела к масштабному перераспределению ресурсов и смещению интересов от религиозной деятельности к светской. На протестантских территориях Германии две трети имевшихся монастырей были закрыты, их земли и другую собственность по большей части присвоили светские правители, чтобы затем продать своим богатым подданным. То же самое случилось и в Англии. Все большее количество университетских студентов отбрасывали мысли о монашестве и выбирали мирские занятия. Церквей строили все меньше, а светских зданий – все больше. Как уже справедливо отмечалось, Реформация возымела совершенно непредвиденные последствия в том смысле, что оказалась на поверку “религиозным движением, способствовавшим обмирщению Европы”^[315].

В то же время революция в печатном деле, которая и сделала возможной Реформацию, возымела собственные непредвиденные последствия. За период между 1450 и 1500 годами цены на книги снизились на две трети – и с тех пор продолжали падать дальше. В 1383 году книга стоила столько, сколько полагалось переписчику за 208 дней работы, необходимых для создания единственного требника (богослужебной книги) для епископа Вестминстерского. В 1640-х годах благодаря печатному станку в Англии ежегодно продавалось более трехсот тысяч популярных сборников, каждый из

которых имел около 45–50 страниц и стоил всего два пенса; для сравнения: в ту пору дневной заработок неквалифицированного рабочего составлял 11,5 пенса. С конца XV до конца XVI века реальные цены на книги в Англии упали в среднем на 90 %^[316]. И это был не просто книжный бум. Между 1500 и 1600 годами те крупные города, где в конце XV века появились собственные типографии, росли по меньшей мере на 20 % (а некоторые, возможно, и на все 80 %) быстрее, чем похожие города, которые не восприняли это новшество так же рано. Между 1500 и 1600 годами процесс урбанизации на 18–80 % объяснялся распространением книгопечатания^[317]. Дж. Диттмар даже утверждает, что “воздействие печатной книги на уровень жизни людей можно приравнять к 4 % дохода в 1540-х годах и к 10 % дохода к середине XVIII века”, что значительно больше, чем аналогичное воздействие персонального компьютера в нашу эпоху, которое оценивается всего в 3 % дохода на 2004 год^[318]. Снижение цен на ПК в период между 1977 и 2004 годами можно представить себе в виде траектории, весьма сходной с той, которая отображает падение цен на книги с 1490 по 1630 год. Однако более ранняя и более медленная революция в информационной технологии, по-видимому, оказала гораздо более важное воздействие на тогдашнюю экономику. Это различие лучше всего объясняется огромной ролью, какую сыграло книгопечатание в распространении прежде недоступных знаний, необходимых для возникновения экономики современного типа. Первым известным математическим текстом, воспроизведенным печатным способом, стала так называемая Тревизская арифметика(1478). В 1494 году в Венеции вышло сочинение Луки Пачоли *Summa de arithmetica, geometria, proportione e proportionalita*^[319], где восхвалялась система двойной записи в бухгалтерском учете. Вскоре стали выпускаться пособия по различным производственным технологиям – вроде пивоварения и стеклодувного дела. Книги такого рода способствовали быстрому распространению соответствующих ремесел.

Но это еще не все. До Реформации культурная жизнь Европы в значительной мере сосредоточивалась вокруг Рима. После Лютеровой революции сеть европейской культуры преобразилась до неузнаваемости. Опираясь на данные о местах рождения и кончины европейских мыслителей, можно проследить за появлением двух частично перекрывающих друг друга сетей: одна была устроена по принципу “победителю достается все”, и в ней ярко выражена

концентрация вокруг Парижа, а вторая существовала по принципу “достойные обогащаются”, и внутри нее множество центров поменьше состязались между собой, группируясь в небольшие кластеры по всей Центральной Европе и Северной Италии^[320]. После 1500 года уже не все дороги вели в Рим (см. вкл. № 10).

Глава 18

Обмен идеями

Пока одни убивали себе подобных, другие учились. Несмотря на потрясения, вызванные Реформацией (отголоски которых еще в 1745 году привели к восстанию в защиту свергнутой католической династии Стюартов в Шотландии), для европейской интеллектуальной истории в XVII и XVIII веках была характерна последовательность различных волн инноваций, распространявшихся через сети. Важнейшими в череде этих волн оказались научная революция и Просвещение. В обоих случаях обмен новыми идеями внутри сетей ученых способствовал заметному прогрессу в области естественных наук и философии. Как и в случае печатного дела, в распространении наук можно проследить определенные географические закономерности, исходя из биографических данных отдельных ученых. В XVI веке главным узловым центром научной сети являлась Падуя, а вокруг нее группировались другие университетские города Италии. От этого кластера тянулись ниточки к девяти другим крупным городам Южной Европы, а также к далеким Оксфорду, Кембриджу и Лондону. Два германских узла, Виттенберг и Йена, были связаны только друг с другом. В течение XVII века к Падуе присоединились четыре других крупных центра научной деятельности: Лондон, Лейден, Париж и Йена. Одним из нескольких новых узлов на географической периферии стал Копенгаген^[321].

Сети переписки позволяют нам лучше понять эволюцию научной революции. Французский астроном и математик Исмаэль Буйо интересовался еще и историей, богословием и античностью. Его корреспонденция была обширна: с 1632 по 1693 год он написал 4200 писем, не считая еще 800 писем к нему и от него, которые не вошли в *Collection Boulliau*. Широка была и география его общения: его корреспонденты жили не только во Франции, но и в Голландии, Италии, Польше, Скандинавии и на Ближнем Востоке^[322]. Сопоставимой по размаху была переписка Генри Ольденбурга, первого секретаря Королевского общества: между 1641 и 1677 годами он написал или получил 3100 писем. Не считая самой Англии, сеть Ольденбурга охватывала Францию, Голландию, Италию, Ближний Восток и ряд английских колоний^[323]. Следует

отметить, что в количественном отношении здесь не было ничего нового. Важнейшие фигуры эпохи Возрождения оставили после себя не меньшее количество писем: от Эразма Роттердамского сохранилось больше трех тысяч, от Лютера и Кальвина – по четыре с лишним тысячи, от Игнатия Лойолы, основателя Общества Иисуса (иезуитского ордена), – больше шести тысяч писем. А некоторые купцы или аристократы вели гораздо более обширную переписку^[324]. Новизна заключалась в том, что с появлением таких учреждений, как Королевское общество, научная корреспонденция начала приобретать характер коллективного достижения.

Хорошим примером того, как распространялась по таким сетям наука, является исследование Антони ван Левенгука о лечении подагры: была обнаружена действенность лекарственного средства, впервые замеченного в голландской колонии Батавии (сегодня это часть Индонезии). Отчет Левенгука, составленный для Королевского общества, послужил распространению нового знания не только среди членов Общества, но и далеко за его пределами. Здесь наблюдается классический случай слабых связей: переписка велась и с людьми, не входившими в Общество, а именно с группой интеллектуалов, сформировавшейся в самом Лондоне и вокруг него^[325]. В хартии, дарованной Королевскому обществу, открыто говорилось, что президенту, совету и членам общества, а также их преемникам предоставляется свобода *“взаимно обмениваться сведениями и знаниями со всеми незнакомцами и иностранцами, будь то частные лица или представители корпоративных, университетских, политических или иных организаций, не терпя при этом никаких притеснений, вмешательства или иных помех”* (Курсив мой. – Н. Ф.)^[326]. Оговаривалось единственное условие: обмен знаниями должен происходить во благо и в интересах Общества. Начиная с Ольденбурга, череда секретарей играла важную роль (пускай и с неодинаковым успехом) в заведовании обширной корреспонденцией Общества. При Эдмунде Галлее часто накапливались непрочитанные входящие письма (в том числе от Левенгука), но при его преемнике, медике Джеймсе Джурине, Общество превратилось в важный узел международной сети серьезных ученых, объединявшей профессионалов в самых разных областях. Это были хирурги и другие врачи, преподаватели, священники и аптекари; четверть из них жила в Европе, а около 5 % в североамериканских колониях. В декабре 1723 года Джурин зачитал свое *“Предложение о совместных наблюдениях за погодой”*,

высказавшись за согласованные метеорологические наблюдения, осуществлять которые будет сеть корреспондентов. Его предпосылка заключалась в том, что “истинную науку о погоде невозможно вывести из знаний о последовательных изменениях в каком-либо отдельно взятом месте”, для нее “требуется совместная работа множества наблюдателей”^[327]. В течение следующих месяцев ему присылали наблюдения метеорологи из Берлина, Лейдена, Неаполя, Бостона, Люневиля, Упсалы и Санкт-Петербурга.

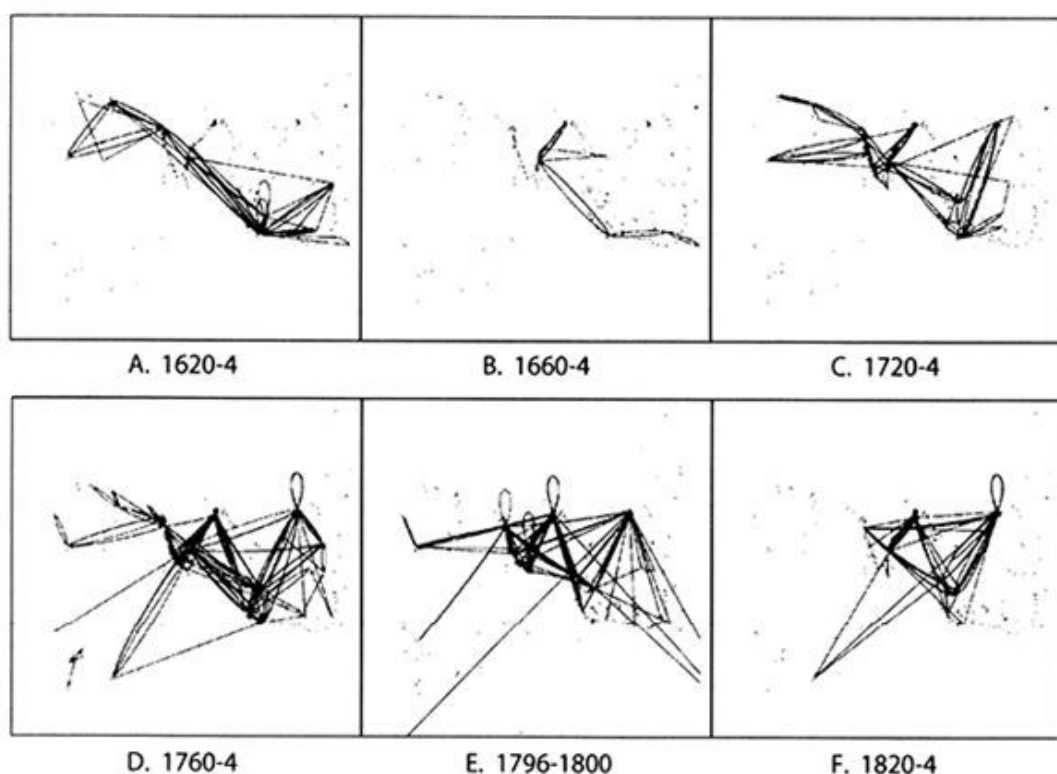
А вот парижская Академия наук поначалу, напротив, оставалась частной собственностью французской короны. Ее первое заседание, состоявшееся 22 декабря 1666 года, проводилось в библиотеке самого короля. Ее официальной политикой была секретность. Все дискуссии и решения проходили в закрытом режиме, посторонние лица на заседания не допускались^[328]. Таким образом, члены французской Академии оказались фактически отрезаны от быстро разраставшейся общеевропейской сети ученых, которой предстояло совершить научную революцию. Похожая картина наблюдалась и во многих других странах католической Европы. Не случайно португальских интеллектуалов, которым все же удалось примкнуть к этому обширному научному сообществу, называли на родине *estrangeirados* – “обыностранившиеся”^[329]. Соответственно, благодаря появлению космополитической научной сети родилась и сама теория сетей – а именно работа Эйлера о головоломке с кёнигсбергскими мостами (см. Введение). Эйлер, родившийся в Базеле и учившийся там у Иоганна Бернулли, прославился уже в двадцать лет, заняв второе место в организованном парижской Академией наук конкурсе по решению одной задачи. Кёнигсбергскую головоломку он решил, уже работая в Санкт-Петербурге, в Императорской академии наук, а позже, в 1741 году, перебрался в Берлин по приглашению Фридриха Великого. (Однако два великих человека не сошлись характерами, и Эйлер вернулся обратно в Россию.)

Но в XVIII веке людей интересовали не только математические теоремы. К тому времени сети, возникшие благодаря трансатлантической торговле и миграции, росли в геометрической прогрессии, потому что европейские купцы и переселенцы активно пользовались быстрым падением цен на перевозки, доступностью практически бесплатной земли в Северной Америке, а также дешевизной рабского труда в Западной Африке. Атлантическая экономика XVIII века была довольно метко определена как

“масштабная торговая сеть, в которой не только все знали всех, но еще и у всех имелись друзья, имевшие друзей”^[330]. Только правильнее было бы представлять себе множество взаимосвязанных сетей – с крупными портами в качестве главных узловых центров^[331]. Характерен пример шотландских торговцев, которые в XVIII веке начали играть главную роль в виноторговле на Мадейре. К 1768 году треть из сорока трех иностранных торговцев, проживавших на острове, составляли шотландцы, и в их число входили пять из десяти крупнейших экспортеров вина. Хотя некоторые из этих виноторговцев состояли в родстве, большинство контактов внутри сети происходило между “корреспондентами” и “посредниками”. Правда, относительная рыхлость этих связей имела и свои недостатки: так, комитенты сталкивались с обычными трудностями, пытаясь добиться от агентов точного выполнения их распоряжений. Информация текла рекой, но иногда это половодье загрязняли струи пустых сплетен; транзакционные издержки оставались высокими, так как торговцы постоянно тянули одеяло каждый на себя^[332]. С другой стороны, эта сеть была динамична и быстро отзывалась на сдвиги рыночного равновесия^[333].

Один из выходов состоял в том, чтобы объединить преимущества сети с некоторыми элементами иерархического управления. Теоретически управляющие Ост-Индской компании (ОИК) в Лондоне контролировали значительную часть торговли между Индией и Западной Европой. На деле же, как показывают записи о более 4500 плаваниях торговых судов компании, капитаны кораблей часто и совершали незаконные поездки, отклоняясь от пути, и занимались куплей-продажей самостоятельно^[334]. К концу XVIII века количество портов в образовавшейся таким образом торговой сети составляло более сотни: среди них были и открытые торговые города вроде Мадраса, и регулируемые рынки вроде Кантона (Гуанчжоу)^[335]. По сути, эта частная торговля создавала слабые связи, которые сцепляли друг с другом в остальном разобщенные региональные кластеры^[336]. Эта незаконная сеть жила собственной жизнью, которую лондонские управляющие Ост-Индской компании вообще не контролировали. Это и было одной из главных причин успеха ОИК: она в большей степени являлась сетью, нежели иерархией. Что интересно, ее голландская соперница запрещала своим служащим заключать какие-либо частные торговые сделки. Возможно, именно поэтому ее в итоге сменила другая организация^[337]. Сетевые стратегии торговцев из ОИК не

срабатывали только тогда, когда их корабли заходили в подчинявшиеся строгим иерархическим правилам порты вроде Баттикалоа (где торговлю полностью монополизировала сингайская королевская семья)^[338]. А когда ОИК отказалась от участия во внутриазиатской торговле и сосредоточилась на торговле между Азией и Европой, плотность созданных ею морских сетей оказалась жизненно важной^[339]. Лишь после того, как модель хозяйствования ОИК переключилась с торговли на обложение налогами индийцев, устройство компании сделалось более иерархичным. А ко временам Роберта Клайва^[340] ОИК уже приобретала характер колониального правительства, обладавшего изрядным потенциалом ведения войны.



Илл. 13. Торговая сеть Британской Ост-Индской компании, 1620–1824. Торговцы обогащались благодаря инфраструктуре ОИК, а компания обогащалась благодаря способности торговцев создавать сети, соединявшие многочисленные порты.

Для честолубивой, склонной к риску семьи, какими некогда изобиловал Лоуленд, низинная часть Шотландии, это был мир, полный заманчивых возможностей^[341]. Джонстоны происходили из Вестерхолла в Дамфрисшире – графстве, которое Даниэль Дефо

назвал “диким гористым краем, где царит мрачное безлюдье”^[342]. Из одиннадцати детей Джеймса и Барбары Джонстон, что дожили до зрелого возраста, почти все провели значительную часть жизни за пределами Шотландии. Четверо братьев – Джеймс, Уильям, Джордж и Джон – были в разное время избраны в палату общин; с 1768 по 1805 год в парламент всегда входил хотя бы один Джонстон. Второй сын, Александр, купил на острове Гренада большую плантацию сахарного тростника, которую переименовал в Вестерхолл. Его младший брат, сэр Уильям Джонстон Палтни, возглавил объединение инвесторов, которые купили в 1792 году Дженеси-Тракт – полосу земли площадью более миллиона акров^[343] на западе штата Нью-Йорк. Ко времени своей смерти он успел накопить собственность еще на Доминике, Гренаде, Тобаго и во Флориде. Все три младших Джонстона – Джон, Патрик и Гидеон – некоторое время прожили в Индостане, работая в Ост-Индской компании. У Джона все было прекрасно, он овладел персидским и бенгальским языками и скопил приличное состояние. Патрику не повезло: в 1756 году он погиб в возрасте девятнадцати лет в калькуттской “Черной яме”^[344]. Служили Джонстоны и в британских колониях в Северной Америке: Джордж был губернатором Западной Флориды, Александр – армейским офицером в Канаде и на севере Нью-Йорка, а Гидеон – морским офицером у побережья Атлантического океана. Еще самый младший из Джонстонов бывал в Басре, на Маврикии и на мысе Доброй Надежды. На одном этапе своей карьеры он занимался коммерцией – а именно продавал паломникам воду из Ганга^[345]. (Графическое изображение сети Джонстонов помещено во вклейке № 11.)

Главными центрами мировой купеческой сети выступали портовые города – Эдинбург, Лондон, Кингстон, Нью-Йорк, Кейптаун, Басра, Бомбей и Калькутта. Но по морским путям, соединявшим эти метрополии, везли не только товары и золото. Воды Атлантического океана пересекали и рабы – миллионы рабов. Сотни невольников трудились на гренадской плантации Джонстона; судебное дело, которое официально положило конец рабству в Шотландии, проиграл один из Джонстонов; и владельцем Белинды – последнего человека, которого суды Шотландии признали законно порабощенным, – тоже был один из Джонстонов (Джон). А еще по коммерческой сети XVIII века расходились идеи – в том числе и идеи об освобождении. Маргарет Джонстон была пламенной

якобиткой^[346], она вырвалась из заточения в Эдинбургском замке и умерла на чужбине, во Франции. Уильям Джонстон состоял членом эдинбургского клуба под названием “Избранное общество” – наряду с Адамом Смитом, Дэвидом Юмом и Адамом Фергюсоном, которые высоко ценили его ум. Сын Уильяма Джон вступил в “Эдинбургское общество за отмену африканской работорговли”. Его дядя Джеймс и Джон тоже были противниками рабства, а вот Уильям придерживался противоположных взглядов. Джордж одно время оказывал поддержку сторонникам Американской революции, а в 1778 году его отправили в колонии в составе злополучной Карлайлской мирной комиссии^[347]. Джонстоны лично знали и Александра Гамильтона^[348], и его заклятого врага Аарона Бэрра^[349], который однажды нанес визит в дом Бетти в Эдинбурге^[350]. Пожалуй, пример глобализированного семейства Джонстонов – это все же крайний случай. Но в XVIII веке даже в Ангулеме – французском провинциальном городке к северу от Бордо – поразительно большое количество жителей или бывало, или некоторое время жило за пределами Франции (см. вкл. № 14).

Глава 19

Сети Просвещения

Печатное слово сделало возможным Реформацию и подготовило почву для научной революции. Но, как ни странно, Просвещение было в не меньшей – если не в большей – степени обязано своим появлением более старомодному слову – рукописному. Конечно, философы публиковали свои сочинения, и многие – в большом количестве. И все же самыми важными своими идеями они обменивались друг с другом в частных письмах. И именно благодаря тому, что значительная часть этой корреспонденции сохранилась – а речь идет о десятках тысяч писем от более чем шести тысяч авторов, – современные ученые имеют возможность частично воссоздать эту сеть Просвещения.

Возникает соблазн изображать Просвещение как некий космополитический феномен, объединявший философов и образованных людей во всей Европе – от Глазго до Санкт-Петербурга. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что переписка ведущих мыслителей XVIII века охватывала в основном людей, живших в одной стране^[351]. Например, если говорить о сети

Вольтера, из более чем 1400 его корреспондентов 70 % были французами^[352]. Нам известны место отправления и место назначения приблизительно 12 % писем Вольтера. Из них более половины (57 %) отправлялись из Парижа или в Париж. Конечно, Вольтер переписывался с Джонатаном Свифтом и Александром Попом, но это лишь горстка писем. Большинство его английских корреспондентов были малоизвестными лицами: например, это шелкоторговец сэр Эверард Фокенер и Джордж Кит, второразрядный поэт, с которым Вольтер познакомился в Ферне.

Вольтер являлся одним из нескольких главных “светочей” и крупных связующих центров (двумя другими были Жан-Жак Руссо и редактор “Энциклопедии” Жан-Батист Лерон д’Аламбер), чьи личные сети служили важными составными частями более обширной сети, которую их современники воспринимали как *société littéraire ou savante*^{[353][354]}. Географический центр этой сети находился в Париже. Там умерло около 12 % выборки, представленной приблизительно двумя тысячами ее членов, и 23 % участников работы над “Энциклопедией”^[355]. В социальном отношении эта сеть была весьма разреженной, а вернее сказать – утонченной: в нее входило 18 принцев и принцесс, 45 герцогов и герцогинь, 127 маркизов и маркиз, 112 графов и графинь и 39 баронов и баронесс^[356]. В XVIII веке аристократы составляли всего 0,5 % населения Франции, но при этом пятую часть так называемой республики ученых^[357]. Кроме того, для сети, которую обычно ассоциируют с критическим взглядом на установленный государственный строй, в эту республику входило чересчур много высокопоставленных королевских чиновников^[358]. И наконец, мы склонны допускать, что между научной революцией и Просвещением имелаась значительная преемственность, но в действительности в этой сети было мало настоящих ученых-профессионалов, хотя очень многие состояли членами научных организаций, например, Французской академии (*Académie française*) или Королевской академии наук (*Académie royale des sciences*). Это была в большей степени республика словесности, нежели республика формул, и сеть очеркистов – в большей степени, нежели сеть экспериментаторов.



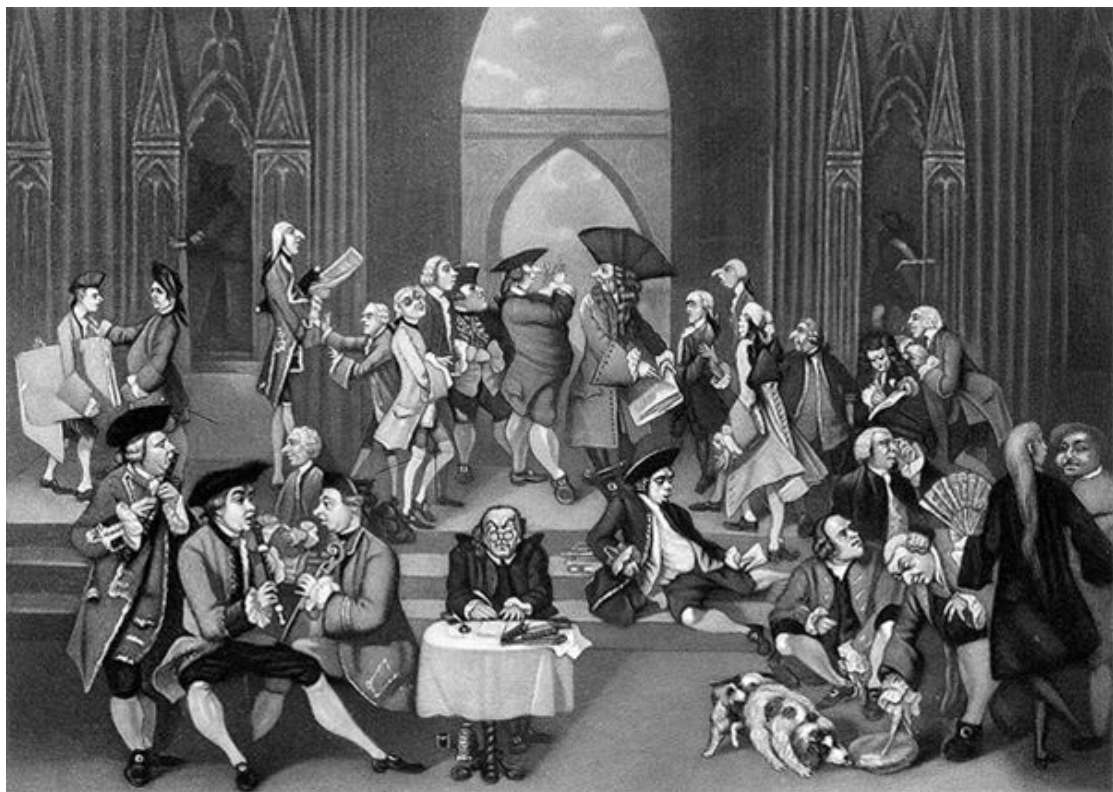
Илл. 14. Сеть корреспондентов Вольтера. Она была гораздо более франкоцентричной, чем можно было бы предположить, исходя из привычных представлений о Просвещении как международном движении.

Разумеется, сети корреспонденции могут рассказать лишь часть истории Просвещения. Те, кто знал Вольтера, Руссо или д'Аламбера, стремились не только переписываться, но и встречаться с ними. Так возникла еще и “республика гостиных”, и важную посредническую роль в ней играли *sallonnieres* – хозяйки “салонов”, превратившие свои дома в центры великосветского общения. Получить приглашения от них мечтали многие интеллектуалы^[359]. Парижских писак-поденщиков (вроде лондонских, концентрировавшихся на Граб-стрит) приглашали туда редко. Но “слабые связи” между возвышенной сетью “светочей” и приземленной сетью бульварной прессы все же существовали: с Вольтером, Руссо или д'Аламбером переписывались восемь представителей так называемого литературного подполья^[360].

В разных странах Просвещение понимали по-своему. Как в Париже, так и в Эдинбурге новые сети вольнодумства возникали и развивались в зазорах между официальными институтами королевской власти и Церкви. В столице Шотландии имелись гражданский Сессионный суд, Высший уголовный суд, Казначейство, суды низшей инстанции – Комиссарский и Адмиралтейский, Коллегия адвокатов, Конвент королевских городов с самоуправлением, Генеральная ассамблея шотландской церкви и Эдинбургский университет. С 1751 года Адам Смит был университетским профессором (хотя и не в столице, а в Глазго). С 1752 года Дэвид Юм занимал должность хранителя Адвокатской библиотеки. Как во Франции, так и в Шотландии одним из важнейших источников материальной подпитки интеллектуальной жизни было покровительство аристократов. С 1764 по 1766 год Смит был гувернером и наставником юного герцога Баклю. Великих эдинбургских мыслителей, как и их французских коллег, никак нельзя было назвать революционерами. С другой стороны, не были они и реакционерами. Большинство порицали якобитство и приветствовали правление Ганноверской династии. (Среди проектов Нового города – центрального района Эдинбурга – был и такой вариант, где сеть улиц на плане напоминала форму союзного флага Великобритании^[361].) Тем не менее основная интеллектуальная деятельность протекала в ту пору не в официальных учреждениях, а в новых и неформальных клубах Старого города – в Философском обществе (основанном в 1737 году с более громоздким названием: Эдинбургское общество усовершенствования искусств и наук и

особенно естественнонаучных знаний) и в Избранном обществе (1754–1762). И точно так же как во Франции *dévots* (“набожные”) порицали и пытались подвергнуть гонениям своих философов, так и традиционалисты-пресвитерианцы видели в шотландских эrudитах “чертей из ада”. Всего за несколько поколений ярые наследники кальвинистской революции XVI века превратились в ревнителей сурового религиозного института – Церкви Шотландии, или Кирки (*the Kirk*). Пресвитерианский синод церкви Шотландии подверг священника Джона Хоума публичному суду и постановил отстранить его от пастырства за то, что он написал драму “Дуглас” (1757)^[362]. Здесь, как и во всей протестантской Европе, печатный станок оказался ящиком Пандоры.

Как и французские просветители, шотландские эрудиты мыслили в мировых масштабах, а действовали в рамках собственной страны, насколько можно судить по корреспонденции десяти выдающихся шотландцев, включая Юма и Смита (см. илл. 15)^[363]. В десять раз больше писем шло в Глазго и Эдинбург и приходило к ним из этих городов, чем в Париж или из Парижа. Впрочем, Лондон занимал еще более важное место, чем Глазго: ведь это была британская сеть, а не шотландская. В любом случае Просвещение не было каким-нибудь курсом заочного обучения, да и его главные деятели не были просто друзьями по переписке. Адам Смит в качестве наставника герцога Баклю посещал Париж, где встречался (наряду с другими тогдашними светилами) с д’Аламбером, с физиократом Франсуа Кенэ и с Бенджаминем Франклином. Республика ученых была передвижной. Крупные мыслители XVIII столетия стали еще и первопроходцами туризма.



Илл. 15. Пародия на “Афинскую школу” Рафаэля, гравюра Джеймса Скотта по картине сэра Джошуа Рейнольдса (1751). Сеть Просвещения в равной степени опиралась на туризм и на переписку.

У жадных до знаний интеллектуалов, родившихся и выросших за океаном, выхода вообще не было: им необходимо было хотя бы некоторое время пожить в Великобритании и Франции. Фигура Бенджамина Франклина олицетворяла колониальное Просвещение. Пятнадцатый ребенок в семье переселенца-пуританина родом из Нортгемптоншира, Франклин был самоучкой и разносторонним эрудитом, он чувствовал себя одинаково уютно и в лаборатории, и в библиотеке. В 1727 году он основал “Джунто”, или “Клуб кожаных фартуков”, где могли бы собираться и обмениваться мнениями люди вроде него самого. Через два года он начал выпускать “Пенсильванскую газету”. А еще через двенадцать лет учредил новую организацию — Американское философское общество. В 1749 году Франклин сделался первым президентом Академии, Благотворительной школы и Колледжа Филадельфии. Однако Филадельфия — с ее 25 тысячами жителей — не походила на Эдинбург и уж тем более на Париж, который превосходил ее размерами в двадцать раз. До 1763 года Франклин не вел переписки ни с кем за пределами американских колоний. Лишь после поездки

в Лондон, состоявшейся в том году, доля неамериканцев среди его корреспондентов подскочила с нуля до почти четверти. Хотя Франклин никогда не переписывался с Вольтером (практически своим современником), благодаря поездкам в Европу он сделался полноправным участником тогдашней сети Просвещения. В 1756 году его избрали членом Лондонского королевского общества, а также Королевского общества искусств. Помимо многочисленных поездок в Лондон, Франклин бывал в Эдинбурге и Париже, а еще ездил по Ирландии и Германии^[364]. Все это происходило еще до того, как Франклин превратился в одного из мятежных колонистов, которые задумали объявить независимость от метрополии и оборвать иерархические связи, подчинявшие американские колонии “королю в парламенте” в далеком Лондоне. Как ни парадоксально, для колониальных интеллектуалов из поколения Франклина столицей Америки оставался Лондон, пускай со временем они и начали тяготиться ограничением политических свобод, которое налагала на них лондонская власть^[365].

Глава 20

Сети революции

В великих политических переворотах конца XVIII века, как и в более ранних религиозных и культурных переворотах, сети играли жизненно важную роль. Опять-таки чрезвычайно важная роль принадлежала письменному и печатному слову. В книгах, брошюрах, газетах, а еще и в бесчисленных рукописных письмах обосновывалась необходимость коренных политических перемен, подвергалась критике монархия. В глазах “ученых людей” перо часто представлялось могущественнее меча, а писатель – поэт, драматург, романист, полемист – рисовался одним из героев своей эпохи, наряду с его соратником – бесстрашным издателем. Неудивительно, что обложение прессы налогами стало объектом взрывоопасного гнева^[366]. Объединившись в настоящую плотную сеть из разных общественных организаций, борзописцы и печатники западного мира, похоже, вознамерились ударами своих перьев и литер покончить с наследственным правлением. От Бостона до Бордо революция во многом стала достижением целой сети акул пера, лучшие из которых были к тому же еще и прекрасными ораторами: это их пламенные речи зажигали толпу на площади и гнали ее штурмовать башни старого режима.

И все же, чтобы победить, революция нуждалась не только в писателях, но и в бойцах. Кроме того, революционным сетям необходима упругость: нельзя, чтобы они легко распадались от нажима иерархической власти. И в этом смысле долгое время сохраняла большое значение история с Полом Ревиром. Школьники давно уже не заучивают наизусть стихотворение Генри Уодсворта Лонгфелло, и уж тем более никто не помнит о “Полуночной скачке Пола Ревира” – одном из первых американских фильмов, но все же сама эта история не забыта^[367]. “Одну, если сушей, а морем – две”^[368] (речь об условном знаке, который должны подать Ревиру с колокольни Северной церкви) – лишь одна из многих строк Лонгфелло, которые до сих пор вызывают у читателя волнение.

*Заржал и храпит в нетерпенье конь.
Второй сигнал! Он коня погнал!
Еще деревушка спокойно спит.
Но в лунном свете промчалась тень,
Да искру метнул дорожный кремень
У скачущей лошади из-под копыт,
И под подковой звенит тропы.
Сейчас народа решится судьба.
Та искра, что высек подковою конь,
Повсюду зажгла восстанья огонь.*

Мы интуитивно угадываем (или думаем, что угадываем), что эта высеченная искра – конечно же, иносказание и что имеется в виду процесс передачи новостей:

*Так в полночь глухую скакал Поль Ревир.
Его тревожный призывный крик
До каждой деревни и фермы достиг,
Нарушив дремотный покой и мир.
Вдруг голос из тьмы, в дверь удар кулака
И слово, что эхом несется в века^[369].*

Однако, как указал Малкольм Гладуэлл, далеко не очевидно, почему все-таки Ревиру удалось столь успешно разнести известие о том, что англичане вот-вот развернут регулярные войска в городах к северо-западу от Бостона – в Лексингтоне и Конкорде, – чтобы арестовать колониальных лидеров Джона Хэнкока и Самюэля Адамса в первом и захватить оружие колониального ополчения во втором. Ревир проскакал всего 13 миль (21 км), стуча в двери домов и предупреждая людей о скором появлении солдат в каждом городе. Но его новость разлетелась с гораздо большей скоростью и преодолела большее расстояние, чем он сам мог бы проскакать на лошади: к часу ночи она достигла Линкольна, к трем – Садбери, а к пяти часам утра – Андовера, уже в сорока милях (64 километра) от Бостона. И произошло это благодаря самой простой “технологии” – устной молве. Дэвид Хэккетт в своей книге о поездке Ревира пишет, что Ревир “обладал сверхъестественной способностью оказываться в гуще событий... [и] подталкивать к действию многих других людей”^[370]. Гладуэлл же отмечает, что, в отличие от Уильяма Доза (предпринявшего такую же поездку), Ревиру удалось сделать так, что “молва обрела характер эпидемии” благодаря “закону малых чисел”^[371]. Ревир принадлежал к редкому

типу объединителей – коммуникабельных, “от природы неугомонно общительных” людей^[372]. В то же время он был “знатоком” – накопителем знаний, который не только имел в своем распоряжении “самую обширную картотеку связей в колониальном Бостоне”, но еще и “активно участвовал в сборе сведений о британцах”^[373].

Такое изложение поездки Ревира выглядит привлекательно, но страдает неполнотой. В нем никак не отражен тот факт, что к апрелю 1775 года за Ревиром уже прочно закрепилась репутация надежного гонца бунтовщиков. Ревир – искусный гравер и серебряных дел мастер, – строго говоря, не входил в круг интеллектуалов, но прославился на всю Новую Англию своим преувеличенным изображением Бостонской бойни^{[374][375]}. 5 октября 1774 года именно Пол Ревир прискакал из Бостона в Филадельфию, чтобы доставить в Континентальный конгресс “Суффолкские решения” – подстрекательский документ, призывавший не платить налоги и бойкотировать британские товары в отместку за “Принудительные акты”^[376] и Акт о Квебеке^{[377][378]}. 13 декабря Ревир доскакал до Портсмута в Нью-Гемпшире, чтобы предупредить корреспондентский комитет этого города о том, что регулярные войска в скором времени могут захватить оружие и амунисию, хранившиеся на острове Ньюкасл напротив Портсмутской гавани^[379]. В Конкорде Ревир побывал еще 8 апреля, предупредив кого нужно – с опережением больше чем на неделю – о том, что “назавтра в Конкорд собираются регулярные войска, а если они придут... то прольется кровь”^[380]. 16 апреля (как вспоминал позднее сам Ревир) он поскакал в Лексингтон, чтобы сообщить Хэнкоку и Адамсу, что надвигается беда и что, “похоже, они являются целью” предстоящей военной операции^[381]. Кроме Уильяма Доза, имелись и другие источники информации о передвижениях британцев – не в последнюю очередь потому, что, несмотря на все предосторожности генерала Томаса Гейджа, о приближении армии прослышали жители Сомервиля, Кембриджа и Менотомы^[382]. Ревир и Доз не были соперниками – они действовали заодно. Они даже вместе ездили – с третьим спутником, доктором Самюэлем Прескоттом, – из Лексингтона в Конкорд и по очереди стучались в крестьянские дома.

Ревира схватили в окрестностях Линкольна^[383]. Он был уже четвертым по счету пойманным тайным гонцом бунтовщиков. Но потом Ревиру повезло спастись. В какой-то момент вспыльчивый офицер “приставил пистолет к голове [Ревира]” и пригрозил

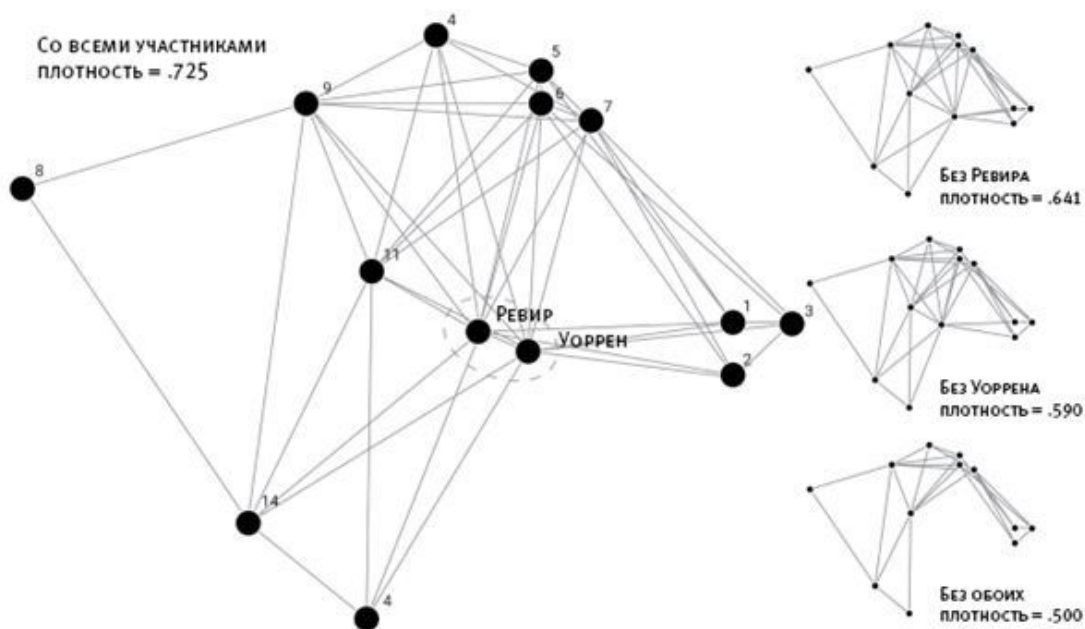
“вышибить [ему] мозги”, если Ревир не будет отвечать на его вопросы. Но вскоре раздались выстрелы, начался хаос, и Ревира просто отпустили – хотя и без лошади^[384]. Осторожно вернувшись пешком в Лексингтон, Ревир пришел в замешательство, когда узнал, что Хэнкок с Адамсом все еще не решили, что делать, хотя Ревир еще три часа назад сообщил им о приближении регулярных войск^[385]. Если бы Ревиру не удалось тогда добраться до Кембриджа и если бы потом он не уцелел в Войне за независимость, чтобы иметь возможность рассказать о своих поступках (а дожил он до 83 лет), то кажется сомнительным, чтобы его “скачка” на долгие годы прославилась в истории.

А еще полезно внимательно рассмотреть сеть связей Пола Ревира^[386]. Оказывается, он являлся одним из двух главных посредников – или слабых связей – между группами, которые без них оставались бы слишком разобщенными, чтобы сплотиться в революционное движение. Накануне революции в колониальном Массачусетсе возрастало социальное расслоение. В Бостоне общество становилось год от года все более иерархичным, и намечался существенный разрыв между патрицианской элитой “брахманов”, средним сословием ремесленников и земледельцев и работниками-бедняками, а также слугами, связанными договором об ученичестве. Потому-то тесная связь между простым ремесленником Ревиром и доктором Джозефом Уорреном имела огромное значение. В Бостоне существовало пять организаций, которые в той или иной мере сочувствовали делу вигов^[387]: Андреевская ложа – масонская ложа, собиравшаяся в таверне “Зеленый дракон”; “Девять лояльных” – ядро “Сынов Свободы”; Норт-Эндская фракция, члены которой встречались в таверне “Приветствие”; клуб “Длинная комната” на Дассетт-элли и Бостонский корреспондентский комитет. Всего 137 человек входило в одну или несколько из этих групп, но подавляющее большинство (86 %) фигурировало лишь в одном из списков, и не было ни одного человека, который состоял бы во всех пяти обществах. В четыре объединения входил только Джозеф Уоррен; Пол Ревир состоял в трех, как и Самюэль Адамс и Бенджамин Чёрч. Однако с точки зрения “центральности по посредничеству” ключевыми фигурами служили Уоррен и Ревир (см. илл. 16).

Таким образом, анализ сети обнаруживает, что Пол Ревир являлся половинкой того дуэта, который, действуя поверх сословных границ, объединял ремесленников и профессионалов в

революционном Массачусетсе. Однако этот анализ, при всей своей содержательности, не показывает нам, какое или какие из обществ, куда входили Ревир и Уоррен, были наиболее важными. Можно выдвинуть одну правдоподобную догадку, а именно что важнейшей для Американской революции сетью было масонство.

В книге “Масонство в Американской революции” (*Freemasonry in the American Revolution*), вышедшей в 1924 году, Сидни Морс (сам масон) утверждал, что масонство “спланировало в тайный и надежный союз вожаков-патриотов” в их “борьбе за свободу”. По мнению Морса, именно масоны затопили в 1772 году шхуну “Гаспи”^[388], они же устроили “Бостонское чаепитие”, и они же занимали господствующее положение в институтах, которые возглавили революцию, в том числе в Континентальном конгрессе^[389]. Имя Пола Ревира, наряду с несколькими другими, Морс упоминал чаще всего^[390]. Хотя похожие утверждения повторял в 1930-х годах французский историк Бернар Фаи, главные специалисты по Войне за независимость США долгое время оставляли без внимания эти мнения о роли масонов^[391]. Когда Рональд Э. Хитон исследовал биографии 241 отца-основателя, выяснилось, что лишь 68 из них являлись масонами^[392]. Всего восемь из пятидесяти шести человек, подписавших Декларацию независимости, входили в масонские ложи^[393]. Долгие годы преобладавшее среди историков мнение гласило: “Сомнительно, чтобы масоны как таковые играли значительную роль в Американской революции”^[394]. Но сам этот вывод тоже представляется сомнительным. Не говоря уже обо всем прочем, он исходит из допущения, будто все отцы-основатели внесли одинаково важный вклад в общее дело, тогда как анализ сетевых связей ясно показывает, что Ревир и Уоррен являлись наиболее значительными революционерами в Бостоне – городе, сыгравшем самую заметную роль в ходе революции. А еще сторонники этого взгляда недооценивают значение масонства как революционной идеологии. Судя по некоторым свидетельствам, оно оказывало по крайней мере столь же важное влияние на умы людей, готовивших и в итоге совершивших революцию, чем светские политические теории или религиозные учения^[395].



Илл. 16. Революционная сеть в Бостоне. Ок. 1775 г. Обратите внимание на центральность по посредничеству Пола Ревира и Джозефа Уоррена. Если бы устранили одного из них или обоих, плотность сети значительно снизилась бы. Отдельные люди группируются в единые узлы в соответствии с принадлежностью к клубам. Лишь Ревир и Уоррен состояли одновременно более чем в двух клубах.

Масонство дало “веку разума” мощную мифологию, международную организационную структуру и изощренный церемониал, призванный связывать посвященных в общество узами метафорического братства. Как и многие другие явления, изменившие мир в XVIII веке, масонство зародилось в Шотландии. Конечно, европейские каменщики^[396] объединялись в ложи, или гильдии, еще в Средние века и проводили различия (как и другие средневековые ремесленники) между начинающими учениками, подмастерьями и мастерами, но вплоть до конца XIV века эти объединения не имели четкой организации. В 1598 году шотландские ложи получили новый набор правил, известный как “Статуты Шоу” – в честь Уильяма Шоу, главного подрядчика по строительным работам при шотландском королевском дворе. Но лишь в середине XVII века масонство развилось в нечто большее, чем просто рыхлая сеть разрозненных цехов искусных каменотесов, а в Килуиннинге и Эдинбурге появились ложи, принимавшие в свои ряды “созерцательных” или “допущенных” (то есть не

практикующих профессию каменщика) масонов. А абердинец Джеймс Андерсон написал книгу “Конституции вольных каменщиков” (Книга уставов, 1723), которая подарила новой эпохе подобающе величественную предысторию масонства. По версии Андерсона^[397], Великий Архитектор Вселенной вложил в Адама навыки, необходимые каменщику, – знание геометрии и механических искусств, – Адам со временем обучил им своих отпрысков, а те, в свой черед, передали их ветхозаветным пророкам. Люди Божьего избранного народа были “хорошими каменщиками еще до того, как обрели Землю обетованную”, а Моисей был их “великим мастером”. Высшим свершением древнейших каменщиков стал храм Соломона – Первый Иерусалимский храм, выстроенный Хирамом Авием (Абиффом) – “искуснейшим каменщиком на земле”^[398].

Масонство, как и многие другие успешные сети, обладало некоторыми иерархическими чертами. Все масоны состояли в местных ложах, большинство которых объединялись, входя в состав той или иной из великих лож, возникших в XVIII веке в Лондоне, Эдинбурге, Йорке, Дублине, а позднее на европейском континенте и в американских колониях. В каждой ложе были свои Мастер (Магистр) и Страж, имелись и другие должности. Кандидатуры людей, желавших стать масонами, должны были выдвигаться и одобряться единогласно, и прежде чем новичков принимали в ученики и посвящали в масонские ритуалы и тайны, они соглашались исполнять наказания, изложенные в Андерсоновых “Конституциях”. Сами по себе обряды посвящения были замысловаты (и отличались еще большей сложностью при переходе в более высокие степени масонства – Подмастерья и Мастера): облачившись в церемониальный наряд, посвящаемый должен был совершить определенные жесты и принести клятвы. Однако самым удивительным свойством этих наказов была их нетребовательность. Все масоны должны быть “хорошими и верными людьми, свободнорожденными, достигшими зрелого и разумного возраста, не невольниками, не женщинами, не безнравственными и не склочными, с доброй репутацией”. Ни один масон не должен быть “глупым безбожником или неверующим распутником”. Все масоны равны как братья внутри своей ложи, хотя масонство “не отнимает ни у кого чести, которой он был удостоен ранее”, и те, кто имеет более высокий общественный статус, часто и в ложе занимают наиболее почетное положение^[399]. Это было очень важно:

отчасти привлекательность лож как раз и заключалась в том, что они позволяли аристократии и бюргерам общаться на равных. С другой стороны, масонам не возбранялось участие в политических бунтах. Правда, в “Конституциях” Андерсона делалась оговорка, что “масон – мирный подданный, подчиняющийся гражданской власти везде, где он живет или работает, и никогда не должен замышлять козни и заговоры против мира и благополучия своей страны”. Однако участие в мятежах не являлось явным поводом для исключения из ложи^[400].

Хотя сам Андерсон был священником-пресвитерианцем, из его весьма нестрогих религиозных предписаний можно заключить, что масонство было вполне совместимо с деизмом. В некоторые колониальные ложи допускались даже евреи^[401]. Не все готовы были заходить так далеко в сторону религиозного скептицизма, характерного для Просвещения, – и потому в 1751 году произошел раскол между “древними” и “новыми”. “Древние” отдали предпочтение Андерсоновым “Конституциям” в редакции 1738 года, где говорилось, что масоны, где бы они ни жили, обязаны чтить христианские заповеди. А вот “новые”, напротив, предпочли издание 1723 года: в более ранней редакции устава масонам предписывалось следовать религии их родной страны. До Массачусетса это разделение дошло в 1761 году – через двадцать восемь лет после того, как Великая Иоанновская ложа стала первой масонской ложей в Бостоне. Но если первая ложа создавалась по распоряжению из Лондона, то новая Великая Андреевская ложа, относившаяся к “древним”, была учреждена из Эдинбурга. Хотя поначалу раскол сопровождался обменом взаимными колкостями, вражда продлилась недолго: в 1792 году две ложи слились в одну. Однако в революционную пору идейное разногласие в рядах масонов, по-видимому, отражало реальное общественно-политическое разделение: в частности, Андреевская ложа, основанная людьми, исключенными из Иоанновской ложи за низкое социальное происхождение, превратилась в рассадник крамолы, особенно после того, как ее Мастером (а затем и Великим мастером новой Великой ложи бостонских “древних”) стал Джозеф Уоррен^[402]. Таверна “Зеленый дракон”, которую Андреевская ложа приобрела в 1764 году, сделалась штабом революционного движения в Бостоне^[403]. Более того, записи за ноябрь и декабрь 1773 года в журнале протоколов ложи, где сообщается о том, что заседания приходилось откладывать из-за низкой посещаемости,

прозрачно намекают на участие многих членов ложи в “Бостонском чаепитии”^[404]. Во время перезахоронения тела Уоррена, убитого в сражении в 1775 году, его друг и собрат по масонству Перес Мортон, произнося похвальную речь, назвал его добродетельным, “несравненным патриотом” в общественной жизни и “образцом для человечества” в частных делах. Уоррен погиб “за добродетель и за человечество”, но помнить его следует в первую очередь как масона. “Какой яркий пример он подавал [как Великий мастер], – говорил Мортон, – живя внутри циркуля и действуя по наугольнику”. По словам Мортон, из всех объединений, к каким принадлежал Уоррен, “наибольшую ценность” он придавал масонству. Более того, Мортон прямо сравнил гибель Уоррена “от рук головорезов” с гибелью Хирама Авия, строителя Соломонова Храма (которого, по масонским преданиям, убили за отказ разгласить тайные пароли мастеров)^[405]. Ревир тоже не был рядовым масоном: в 1788 году он сделался заместителем Великого мастера массачусетской Великой ложи^[406].

Конспирологов и авторов бульварных романов с давних пор привлекала идея о том, что масонство являлось тайной сетью, скрывавшейся за Американской революцией. Потому-то, наверное, уважаемых историков эта тема отпугивала. Конечно, не стоит преувеличивать однородность колониального масонства. Были в бостонских ложах и лоялисты – например, Бенджамин Хэллоуэлл, комиссар таможни, и его брат Роберт, принадлежавшие к Иоанновской ложе; в Андреевской ложе сторонников монархии насчитывалось не менее шести. И все же нельзя не обратить внимание на концентрацию революционных вожakov в рядах Андреевской ложи. Туда входили не только Уоррен и Ревир, но и Исайя Томас, издатель “Массачусетского соглядатая” и “Альманаха Новой Англии”, Уильям Пэлфри, секретарь “Сынов свободы”, и Томас Крафтс из “Девяти лояльных”^[407]. Во время революционной войны Великая ложа “древних” образовала девятнадцать новых лож; одна только Андреевская ложа приняла тридцать новых членов в 1777 году, двадцать пять – в 1778-м и сорока одного – в течение следующих двух лет. В июне 1782 года на одном из обедов ложа принимала в Фанел-Холле гостей – членов Бостонского городского управления и французского консула^[408]. Тринадцать лет спустя, 4 июля 1795 года, Пол Ревир в масонском облачении закладывал угловой камень здания Капитолия штата Массачусетс. Ревир призвал слушателей “жить внутри циркуля

добрых граждан”, дабы показывать “миру человечества... что мы желаем стоять с ними наравне, что, когда мы уйдем, нас, возможно, допустят в храм, где царят тишина и мир”. А за несколько дней до этого один священник сказал Ревиру и его офицерам, что масоны – это “сыны разума, ученики премудрости и братство человечества”^[409]. Это ясно показывает, какая гармония царила в ту пору между масонством и по крайней мере частью духовенства юной республики. Хорошим примером священника-масона был преподобный Уильям Бентли, приходской священник, живший в Салеме. В 1800 году Бентли приехал в Бостон, чтобы принять участие в торжественной церемонии в память Джорджа Вашингтона, и там отужинал в обществе своих собратьев масонов Пола Ревира и Исаяи Томаса^[410].

Всего через тридцать лет атмосфера будет уже совсем другой. Одним из последствий “великого пробуждения” религии в Новой Англии стала вспышка яростного антимасонства, из-за чего резко снизился приток новичков в Андреевскую и другие ложи^[411]. И здесь можно найти второе объяснение позднему принижению роли масонов в Американской революции: в XIX веке американцам просто не хотелось вспоминать эту подробность, связанную с основанием республики. Однако косвенные улики весьма убедительны. Мало того что Бенджамин Франклин сделался Великим мастером своей ложи в Филадельфии, он еще и выпустил (в 1734 году) первое американское издание “Конституций” Андерсона. А Джордж Вашингтон не только вступил в возрасте двадцати лет в ложу № 4 во Фредериксберге (Виргиния), но и стал в 1783 году Мастером вновь образованной Александрийской ложи № 22.

На своей первой президентской инаугурации 30 апреля 1789 года Вашингтон принес должностную присягу, возложив руку на Библию из нью-йоркской Иоанновской масонской ложи № 1. Текст клятвы составляли Роберт Ливингстон, канцлер Нью-Йорка (это была высшая судебская должность в штате), и еще один масон, а именно первый Великий мастер Великой ложи Нью-Йорка. В 1794 году Вашингтон позировал художнику Джозефу Уильямсу, который изобразил его в полном масонском убранстве, в какое президент облачился, когда закладывал угловой камень здания Капитолия США годом ранее^[412]. Фартук Джорджа Вашингтона по праву стал столь же неотъемлемой частью народных преданий об Американской революции, что и скачка Пола Ревира, потому что

представляется маловероятным, чтобы оба эти человека обладали столь большим влиянием, если бы не принадлежали к масонскому братству. Более поздние историки высказывали сомнения в масонском происхождении знаков, украшающих Большую государственную печать США. Эти символы хорошо знают во всем мире с 1935 года, когда их изобразили на купюре достоинством в один доллар^[413]. Однако всевидящее око Провидения, венчающее недостроенную пирамиду на аверсе печати, очень напоминает то око, которое взирает на нас с фартука Вашингтона на литографиях XIX века, изображающих первого американского президента в масонском наряде (см. вкл. № 12).

Научная, философская и политическая революции XVIII века оказались переплетены, потому что были переплетены сети, передававшие их идеи. Творцы Американской революции были разносторонне одаренными людьми. Пусть отцы-основатели и находились на периферии европейских сетей, которые породили научную и философскую революции той эпохи, – и робко брали за образец для своих масонских лож общественную жизнь Великобритании, богатую разного рода объединениями, – зато в политическом отношении они оказались самими передовыми людьми своего времени. Во многом задача той конституции, что родилась из их размышлений в 1780-х годах, сводилась к утверждению антииерархического политического строя. Прекрасно зная, какая печальная участь постигала республиканские эксперименты в античном мире, а затем и в Европе начала Нового времени, основатели американской государственности разработали систему, которая и разделяла бы власть, и передавала бы полномочия, таким образом существенно ограничивая исполнительную власть избранного президента. В первой статье из сборника “Записки Федералиста” Александр Гамильтон четко определил главные опасности, которые грозят новорожденным Соединенным Штатам:

...Опасные амбиции чаще скрываются за благовидной маской радетеля о правах народа, чем за пугающими стремлениями к введению твердого и эффективного правления. История учит нас, что первое куда более верная дорога к деспотизму, чем второе, и среди тех, кто уничтожал свободу в республиках, подавляющее большинство начинали свою карьеру, заигрывая с народом, будучи Демагогами, а затем превращались в Тиранов...^{[414][415]}

К этой теме он вернулся в 1795 году. “Достаточно обратиться к истории разных народов, – писал Гамильтон, – чтобы заметить, что на все страны во все времена обрушивалось одно проклятье – существование людей, которые, подстегиваемые непомерным честолюбием, не гнушались никаким средством, если только воображали, что оно поспособствует их выдвижению и возвеличиванию... В республиках раболепные или буйные демагоги молились повсюду на один и тот же идол – власть, где бы она ни помещалась... и использовали в собственных целях слабости, пороки, недостатки или предрассудки народа”^[416].

Отлаженная работа американской системы приводила в изумление европейцев, приезжавших в США, особенно путешественников из Франции, где созданная в 1792 году республика продержалась ровно двенадцать лет. Французский политический деятель и социальный теоретик Алексис де Токвиль видел главные причины успеха новой демократии в живучести американских общественных объединений, а также в децентрализованном характере федеральной системы. Особенно примечательно, что такая система сложилась в колониях, где жили религиозные сектанты, бежавшие от гонений в стране, которая поставила крест на своем республиканском эксперименте еще в 1660 году. Как отмечал Токвиль, “в то время, когда сословная иерархия в метрополии все еще деспотически размежевывала людей, колония все больше и больше являла собой однородное во всех отношениях общество”^{[417][418]}. Именно этот специфически эгалитарный характер колониального общества позволил создать чрезвычайно плотную сеть гражданских объединений, которые, по мнению Токвиля, и являлись главной причиной успеха американского эксперимента. Страна, которую он описал в 5-й и 6-й главах второй части своей книги “Демократия в Америке”, являла собой пример, можно сказать, первого сетевого государства. Токвиль писал:

Америка сумела извлечь из права создавать объединения максимальную пользу. Там это право и сами объединения были использованы как мощное и действенное средство при достижении самых разных целей. Независимо от постоянных объединений, возникших в соответствии с законом и называемых коммунами, городами, округами, имеется множество других, которые своим рождением и развитием обязаны только воле индивидуумов. С первого дня своего рождения житель Соединенных Штатов Америки

уясняет, что в борьбе со злом и в преодолении жизненных трудностей нужно полагаться на себя; к властям он относится недоверчиво и с беспокойством, прибегая к их помощи только в том случае, когда совсем нельзя без них обойтись... В Соединенных Штатах объединяются в целях сохранения общественной безопасности, для ведения торговли и развития промышленности, там есть объединения, стоящие на страже морали, а также религиозные. Всего может достичь воля человека, в свободном выражении себя приводящая в действие коллективную силу людей^[419].

Токвиль видел в американских политических объединениях необходимый противовес той опасности тирании, которая всегда таилась в современной демократии, – пускай даже речь шла лишь о тирании большинства. Однако величайшая сила американской системы, по его мнению, заключалась в ее неполитических объединениях:

Американцы самых различных возрастов, положений и склонностей беспрестанно объединяются в разные союзы. Это не только объединения коммерческого или производственного характера, в которых они все без исключения участвуют, но и тысяча других разновидностей: религиозно-нравственные общества, объединения серьезные и пустяковые, общедоступные и замкнутые, многочисленные и насчитывающие всего несколько человек. Американцы объединяются в комитеты для того, чтобы организовывать празднества, основывать школы, строить гостиницы, столовые, церковные здания, распространять книги, посылать миссионеров на другой край света. Таким образом они возводят больницы, тюрьмы, школы. Идет ли, наконец, речь о том, чтобы проливать свет на истину, или о том, чтобы воспитывать чувства, опираясь на великие примеры, они объединяются в ассоциации^[420].

Токвиля завораживал этот контраст с политическим и общественным устройством его родной Франции. Почему же революция, которая произошла там, в одном из важнейших и крупнейших центров Просвещения, привела к столь удручающе непохожим результатам?

Часть IV

Реставрация иерархии

Глава 21

“Красное и черное”

В романе Стендаля “Красное и черное” (1830) Жюльен Сорель выбирает богословское поприще, понимая, что во Франции, где реставрирована монархия Бурбонов, это наилучший способ пробиться наверх. Сорель, сын плотника, предпочел бы, чтобы в стране сохранилась меритократическая система (“когда таланту открыты все пути”), которая утвердилась при Наполеоне Бонапарте. Сорель кончает плохо: его губит не столько собственное распутство, сколько чересчур жесткая общественная иерархия эпохи Реставрации. Однако Стендаль гораздо снисходительнее к необузданной натуре Сореля, чем к бурбонскому снобизму. “Единственный благородный титул – это титул герцога; маркиз – в этом есть что-то смешное; но стоит только произнести *герцог*, все невольно оборачиваются” – таков один из эпиграфов в этом романе (причем многие эпиграфы Стендаль просто выдумал). А вот другой: “Заслуги? Таланты? Достоинства? Пустое!.. Надо принадлежать к какой-нибудь клике”. И вот еще: “Префект ехал верхом и рассуждал сам с собой: «Почему бы мне не стать министром, председателем совета, герцогом?.. Вот как бы я... заковал в кандалы всяких охотников до нововведений!»”^{[421][422]}

Поползновение Бурбонов восстановить иерархические порядки старого режима оказалось непосильной задачей. В 1830 году Карла X сбросила с трона новая французская революция. А еще через восемнадцать лет третья по счету революция обошлась точно так же с Луи-Филиппом, королем из Орлеанской ветви Бурбонов. Наконец, в 1870 году германское вторжение и очередная революция привели к свержению императора Наполеона III, вымостив путь для третьей и самой долговечной (на сегодняшний день) из пяти республиканских конституций Франции. Во многом очарование этого периода европейской истории состоит как раз в шаткости каждой новой попытки восстановить монархический строй. Однако тот же XIX век был эпохой, когда революционные силы, вырвавшиеся на волю благодаря печатному станку, медленно, но верно стремились

вылиться в новые формы власти. А если не возвращать Бурбонов, то куда еще деваться?

Опиравшиеся на сети революции – Реформация, научная революция и Просвещение – коренным образом изменили западную цивилизацию. Политические революции – не только в США и Франции, но и во всех странах Америки и Европы – возвестили наступление новой демократической эпохи, основанной на идеале всеобщего братства – того самого, прообраз которого воплощало масонство и пришествие которого экзальтированно призывал Шиллер в “Оде к радости”. Но эти надежды не оправдались. Чтобы понять, почему иерархии вновь одержали верх над сетями, нам нужно опять-таки отказаться от ложного противопоставления этих двух понятий. Даже в удушливых 1820-х годах, когда во Франции заново происходило расслоение общества, там сохранялась четкая архитектура сети. Как мы уже видели, большинство сетей в чем-то иерархичны – хотя бы потому, что одни узлы обладают большей центральностью, чем другие. А иерархия – это просто особая разновидность сети, в которой потоки информации или ресурсов направляются лишь по некоторым ребрам, чтобы предельно увеличить центральность правящего узла. Именно это и раздражало Жюльена Сореля в бурбонской Франции: там существовало так мало способов подняться по общественной лестнице, что он поневоле во всем зависел от горстки покровителей. Кроме того, центральный лейтмотив романа Стендаля – это, если воспользоваться терминологией теории сетей, “невозможная триада”. Чтобы покорить сердце Матильды де Ла-Моль, дочери аристократа, у которого служит Сорель, он притворяется, будто влюблен во вдову, мадам де Фервак. Хотя Сорель ухаживает за обеими женщинами, они не способны сообща действовать против него. А после того, как в разговоре с отцом Матильды Сорель обличает его прежняя любовница, мадам де Реналь, Сорель пытается ее убить. В тюрьме его навещают – по отдельности – и Матильда, и мадам де Реналь. Литературный критик Рене Жирар в 1961 году придумал понятие “миметическое желание”: Матильда возжелала Сореля только после того, как поняла, что его желает другая женщина.

В иерархических порядках сеть устроена проще: иногда потому, что находящиеся на вершине сознательно применяют принцип “разделяй и властвуй”, а иногда потому, что в иерархическом порядке по-настоящему важны лишь несколько главных узлов.

Стремясь восстановить политический порядок в Европе после потрясений Французской революции и наполеоновских войн, политические деятели, собравшиеся на Венский конгресс, создали очередную разновидность простой сети – власть пяти великих держав, или пентархию, которая в силу самой своей природы имела в своем распоряжении конечное количество способов сохранять равновесие. Ее успех отчасти объяснялся как раз этой самой простотой устройства. Равновесие власти, как мы еще увидим, основывалось на предпосылке, что на большинство европейских стран можно просто не обращать внимания: равновесие зависит от отношений между Австрией, Британией, Францией, Пруссией и Россией – и только от этой пятерки (см. вкл. № 13).

Когда в XIX веке начали заново насаждать иерархический порядок, это не привело к уничтожению тех интеллектуальных, торговых и политических сетей, что возникли за предыдущие три столетия. Они продолжали существовать. Более того, в протестантских странах религиозная жизнь становилась все более оживленной и беспокойной благодаря постоянным “пробуждениям” и “возрождениям”. Промышленную революцию – во многом самую преобразовательную из всех революций – можно было бы легко уподобить прочим революциям XVIII века, так как и она стала порождением сети новаторов, из которых одни получили профессиональную научную подготовку, а другие оставались самоучками-любителями. И пусть после 1800 года масонство пошло на убыль, его цель – распространить и регламентировать понятие братства (понимаемого шире, чем кровные узы) – подхватило целое множество новых движений, и не только движение профессиональных союзов, но и многие националистические организации, например, студенческие братства Германии. Только теперь монархические, аристократические и церковные иерархии все успешнее поглощали все эти сети, обуздывали их созидательную энергию и подчиняли их собственной воле.

Глава 22

От толпы к тирании

Эдмунд Берк раньше других понял, что Французская революция окажется гораздо кровавее Американской. К началу Террора различие между ними было уже неоспоримым. Попытки заменить Людовика XVI “волей народа” развязали такое междоусобное насилие, какого Франция не видела со времен Варфоломеевской ночи в 1572 году (см. вкл. № 8). Революционное кровопролитие началось 21 апреля 1789 года – с бунта в Сент-Антуанском предместье, где королевские войска расстреляли около трехсот человек, устроивших демонстрацию в поддержку самопровозглашенной Национальной ассамблеи. А три месяца спустя, уже в более знаменитой схватке, погибло около сотни человек, когда солдаты, оборонявшие Бастилию, открыли огонь по толпе. Но на сей раз фортуна изменила монархистам: один из защитников перешел на сторону революционного народа. Затем бунтари обезглавили бургомистра Жака де Флесселя, а позже, 22 июля, на Гревской площади публично повесили и четвертовали чиновников Фулона де Дуэ и его зятя, Бертье де Савиньи (голову первого и сердце второго насадили на колья и носили их по улицам Парижа). Эти казни ознаменовали важную веху в эскалации насилия.

Как только парижская толпа взялась за оружие, волна бунтов прокатилась и по французским селам. В то лето, опасаясь заговора аристократов, которые наверняка замыслили вернуть себе власть силами таинственных “разбойников”, крестьяне по всей Франции учиняли мятежи и погромы, которые позже были названы *la grande peur* – Великий страх. Вначале они жгли феодальные реестры и опустошали винные погреба господских родовых замков, но по масштабу и длительности череда этих восстаний намного превосходила обычные крестьянские восстания – *жакерии*. К тому же Великий страх распространялся поразительно быстро, со скоростью эпидемии, что особенно трудно объяснить, если вспомнить, что в ту пору в провинциальной Франции связь между селами была налажена довольно плохо. Это очередной пример того, что слухи способны расходиться подобно вирусам безо всяких хитроумных информационных технологий^[423]. По сравнению с тем, что было впереди, безобразия, вызванные Великим страхом, можно

считать пустяками. Хотя многие землевладельцы столкнулись с угрозами и унижениями, убиты были всего трое: депутат Генеральных штатов из числа нотаблей, чиновник, которого заподозрили в умысле монопольно торговать продовольствием (в Баллоне, к северу от Ле-Мана), и офицер морского флота (в Ле-Пузене, к северу от Авиньона). Вместе с тем примечательно, что поджоги замков обрели характер эпидемии. Всего за две недели, с 27 июля по 9 августа, в области Дофине на юго-востоке Франции были сожжены дотла девять замков и получили повреждения еще восемьдесят^[424].

Достаточно будет привести здесь лишь перечень самых главных массовых побоищ, которые предшествовали Террору 1793–1794 годов: поход женщин “за хлебом” и нападение на Версаль в октябре 1789 года, расстрел Национальной гвардией толпы на Марсовом поле в июле 1791 года, сентябрьские расправы 1792 года (когда санкюлоты врываются в парижские тюрьмы и убивали там сотни заключенных), война против контрреволюционеров в Вандее (1793–1796). Не стоит забывать и о весьма кровавом восстании рабов в колонии Сан-Доминго (Гаитянской революции). Дело в том, что, в отличие от американских колоний Британии (но точно так же, как бывало с тех пор в ходе большинства революций), государственный переворот во Франции неизбежно привел к анархии, а затем к тирании, как и должно было случиться, в соответствии с классической политической теорией. Если у американских поселенцев успели развиваться собственные сети гражданских объединений, из которых естественным образом проросли и Американская революция, и сами Соединенные Штаты, то во Франции общество было устроено совершенно иначе. Комитет общественного спасения сам по себе явился попыткой установить порядок и покончить с кровавыми бесчинствами черни – *la canaille*^[425]. Но какие бы приемы и уловки ни пускали в ход якобинцы или их преемники в Директории, их оказалось недостаточно для водворения мира: и в столице, и по всей стране продолжались безобразия. Жестокие массовые убийства – вроде умышленного утопления тысяч людей в Нанте – свидетельствовали о почти полном крахе общественного и политического порядка, сравнимом по своей природе с вопиющими зверствами арабских революций уже в наше время. Действуя во имя ложной утопии, садисты делались неуправляемыми.

Человек, который восстановил порядок во Франции (хотя потом поступил ровно противоположным образом с остальной Европой), обладал сверхъестественной энергией. Восхождение Наполеона, безвестного корсиканца, на должность командира артиллерийского отряда революционной армии Италии (а получил он это повышение в разгар Террора), разумеется, стало возможным благодаря крушению аристократической системы, при которой до 1789 года пути наверх ему были заказаны. Как и стендалевский Жюльен Сорель, Бонапарт был и карьеристом, и ловеласом; в отличие от Сореля, беспринципность сочеталась в нем с умением удачно выбирать момент. Но больше всего в этом человеке восхищает способность распоряжаться временем, не теряя буквально ни минуты. Смутное время – звездный час для микроменеджера, то есть дотошного человека, который инстинктивно берет на себя решение всех задач. “Я очень недоволен тем, как зарядили шестнадцать орудий [пушек]”, – отметил новоиспеченный бригадный генерал в одном из восьмисот писем и депеш, которые он успел написать в 1796 году всего за восемь месяцев. “Я удивлен, что вы так медлите с выполнением приказов, – жаловался он своему командиру батальона. – Вам всегда нужно повторять по три раза одно и то же”. Он вникал во все – от большой стратегии (именно в ту пору он составил план вторжения в Италию) до мелочей (например, что нужно взять под стражу капрала за самовольную отлучку в Антибе, или где должны стоять барабанщики на плацу во время парада)^[426].

Выражаясь сегодняшним языком, Наполеон был трудоголиком. Он работал по шестнадцать часов в сутки – каждый день. За апрель 1807 года – а это был месяц нетипичного для его правления спокойствия – он все равно умудрился сочинить 443 письма. К тому времени он уже диктовал все письма, за исключением любовных. “Идеи так и роятся, – сказал он однажды, – и тогда – прощайте, письма и слова!” Как-то раз, не сверяясь с черновыми записями, он надиктовал министру внутренних дел не меньше 517 параграфов устава для новой военной академии в Фонтенбло^[427]. Как правило, он проводил за обеденным столом не больше десяти минут – кроме воскресного вечера, когда он ужинал вместе с семьей: тогда он мог просидеть целых полчаса. Вставая из-за стола, он подсказывал, “как от удара электрическим разрядом”^[428]. По воспоминаниям одного из секретарей, которым приходилось несладко, Наполеон спал “урывками и много раз просыпался когда угодно – и днем, и

ночью”^[429]. Путешествовал он с той же неутомимостью. В июле 1807 года он проехал в экипаже все расстояние от Тильзита в Пруссии до Сен-Клу: поездка заняла сто часов, но от нетерпения Наполеон не пожелал делать передышек. Прибыв на место чуть свет, он немедленно созвал министров на совет^[430]. А спустя два года он скакал верхом из Вальядолида (в Испании) в Париж, “одновременно хлеща адъютантского коня и прищипывая своего”. Расстояние в шестьсот с лишним миль (около тысячи километров) ему удалось преодолеть всего за шесть дней^[431]. Пешком он тоже всегда ходил очень быстро, так что остальные, пытаясь, еле за ним поспевали. Даже принимая ванну или бреясь, Наполеон не тратил времени даром: кто-нибудь зачитывал ему вслух новости из свежих газет и переводил материалы из британской прессы (неизменно его ругавшей)^[432]. Именно сочетание неистощимой энергии Наполеона с его вниманием к деталям положило конец анархии, развязанной Французской революцией. Были кодифицированы новые законы, проведена денежная реформа, восстановлено общественное доверие. Но наряду с этими долгосрочными целями его ум занимало бесчисленное множество мелких вопросов: сколько слуг могут взять с собой офицеры в случае вторжения Англии; какую форму следует носить ирландским мятежникам, если они перейдут на сторону французов; что капралу Бернода из 13-го полка нужно пить поменьше; кто из рабочих сцены сломал руку певцу мадемуазель Обри в Парижской опере^[433].

С безграничной самонадеянностью Наполеон взялся управлять не только Францией, но и всей Европой так, словно это была одна огромная армия, которой можно просто командовать – и муштровать ее исключительно силой своей воли. Во многом он был последним из просвещенных абсолютистов – французским Фридрихом Великим. Вместе с тем он стал первым диктатором современного типа. В техническом отношении между армиями Фридриха и Наполеона имелось мало реальных различий. Но все, что делал Наполеон, отличалось бóльшим размахом^[434] и большей скоростью. Два крупных военных теоретика той эпохи, Карл фон Клаузевиц и Антуан-Анри де Жомини, сделали несколько разные выводы из успехов Наполеона. По мнению Клаузевица, гений Наполеона заключался в способности быстро сосредоточить свои войска в центре тяжести (*Schwerpunkt*) противника и разгромить его в решающей битве (*Hauptschlag*). А в глазах Жомини главным было умение Наполеона использовать преимущества превосходящих

внутренних операционных линий (*lignes d'opérations*). Жомини считал, что Наполеон применяет на практике общие принципы военного дела^[435]. Клаузевиц находил, что в наполеоновском стиле ведения войн имеется историческая специфика – а именно эксплуатация националистических настроений, захлестнувших весь французский народ после революции^[436]. Через сорок восемь лет после смерти Наполеона в изгнании, на безлюдном острове Святой Елены в южной части Атлантического океана, в России вышел в свет роман Льва Толстого “Война и мир”, где высмеивались наполеоновские имперские амбиции. Зачем понадобилось одному человеку насильно гнать сотни тысяч людей из Франции в Россию – и ввергать в хаос жизни бесчисленного множества других людей? А Наполеон поступил именно так. Беда в том, что, сколько бы он ни окружал себя атрибутами законного правителя, присваивая египетские, римские и габсбургские регалии и символику, самозванцу Наполеону так никогда и не удалось обрести в чужих глазах то единственное качество, от которого, по существу, зависят (и которого требуют) любые иерархические системы, – легитимность.

Глава 23

Восстановленный порядок

Принято полагать, что нашему веку свойственны лишь тяготение, нажим, ведущие к разложению. Его значение, по-видимому, состоит в том, чтобы положить конец объединяющим, связывающим институтам, которые остались от Средних веков... Из того же источника проистекает и неукротимое стремление к развитию великих демократических идей и институтов, которое неизбежно вызывает все великие перемены, происходящие у нас на глазах.

Вышедший в 1833 году очерк Леопольда фон Ранке о великих державах Европы стал эпохальным трудом в историографии XIX века. Если многие его современники продолжали считать, что революционные силы, раздиравшие Европу со времен Реформации до Французской революции, неумолимы, Ранке заметил, что уже проступают очертания нового международного порядка – порядка, который способен обуздать якобы повсеместную устремленность к распаду. Он опирался на пентархию, то есть власть пяти великих держав – Австрии, Британии, Франции, Пруссии и России, и постепенно складывался в течение XVIII века, но потом его подкосили притязания Наполеона на владычество над всей Европой. Однако после разгрома узурпатора пентархия может обрести окончательные черты:

Отнюдь не довольствуясь отрицанием, наш век принес и самые положительные результаты. Он завершил процесс великого освобождения – не в смысле распада, а в конструктивном, объединяющем смысле. Он не только создал в первую очередь великие державы: он обновил первоосновы всех государств, религий и законов и вдохнул новую жизнь в первоосновы каждого государства... Ровно в этом и состоит типическая сущность нашей эпохи... Союз всех [государств и народов] зависит от независимости каждого из них... Решительное и положительное господство одного над другими приведет к гибели других. Полное их слияние уничтожит сущность каждого из них. Из раздельного и самостоятельного развития родится истинная гармония^[437].

Политики, собравшиеся на Венском конгрессе, создали новое устойчивое равновесие власти: со времен Ранке это утверждение принималось как истина, которую почти никто не оспаривал. Генри

Киссинджер своей первой книге “Восстановленный мировой порядок” писал, что период относительного мира, каким Европа наслаждалась с 1815 по 1914 год, во многом был обязан “всеми признаваемой законности” этой власти пяти главных держав^[438]. В изложении Киссинджера, это являлось заслугой двух особенно талантливых дипломатов – князя Меттерниха, министра иностранных дел Австрии, и лорда Каслри, его британского коллеги. Цель Меттерниха – восстановление законного порядка, при котором сам либерализм оказывается вне закона, – в корне отличалась от цели Каслри, по сути сводившейся к созданию такого равновесия сил, при котором Британия играла бы роль балансира^[439]. Главной причиной их успеха и краха Наполеона стала неспособность последнего трезво оценить предел собственных возможностей и упрочить свое положение после женитьбы на дочери австрийского императора^[440]. Основной трудностью, с какой столкнулись Меттерних с Каслри, было превращение русского царя Александра I в потенциального революционера: он вознамерился стать “арбитром Европы” после поражения Наполеона в России. Конечным результатом явился своего рода трагический успех. Прежде всего, Британия не могла пойти на поддержку того контрреволюционного порядка в Европе, который желал насадить там Меттерних (к тому же он пытался внушить царю, будто тот сам мечтает именно о таком порядке). Политические кризисы в Испании, Неаполе, а затем и в Пьемонте являлись, по мнению Меттерниха, смертельными угрозами для нового порядка; британский же министр видел в этих событиях незначительные сложности местного значения и считал, что вмешательство в них как раз может лишить равновесия этот самый порядок^[441]. На другом конгрессе, проведенном в Троппау, Меттерних сумел выдать свою обреченную “борьбу против национализма и либерализма” за европейскую, а не только австрийскую инициативу^[442]. Каслри видел со всей ясностью, что Россия столь же охотно вступится за национализм, если – как обстояло дело на Балканах – он будет направлен против Османской империи. 12 августа 1822 года Каслри, не вынеся желчных выпадов вигов и радикалов и устав от непосильной ноши, покончил с собой: перерезал сонную артерию перочинным ножом. Все, что осталось после Веронского конгресса, – это принцип легитимизма – одновременно контрреволюционный и антифранцузский – в качестве основы для Священного союза между Австрией, Пруссией

и Россией^[443]. Но идея равновесия сил не умерла вместе с Каслри. Хотя “континентальный курс” Британии временами менялся в течение следующего столетия, до 1914 года его оказалось достаточно, чтобы ни одна держава на континенте не осмелилась, подобно Франции при Наполеоне, оспорить законность утвержденного пентархического порядка. По существу, устойчивость Европы сводилась к равновесию между четырьмя континентальными державами, которое Британия поддерживала путем периодических дипломатических или военных вмешательств. По определению Киссинджера, Британия оставалась уравнивателем, балансиrom. В результате в Европе до конца столетия сохранялся порядок. И лишь с падением Отто фон Бисмарка и невозобновлением тайного Договора перестраховки между Германией и Россией^[444] (“пожалуй, самой важной нити в ткани созданной Бисмарком системы частично совпадающих союзов”^[445]) старая жесткая конструкция сделалась хрупкой и даже легковоспламеняющейся^[446].

Конечно, более поздние исследования внесли многочисленные изменения в эту картину. Одни утверждают, что в международной политике произошли коренные преобразования, так как старые правила, предусматривавшие конфликты и конкуренцию, сменились новыми, нацеленными на взаимодействие и равновесие^[447]. Другие настаивают на том, что прежние враждебные отношения сохранялись и масштабную войну предотвращали лишь “узкие шкурные интересы”^[448]. Однако никто не оспаривает самого важного момента – что в Вене сложилась новая иерархия, внутри которой великие державы – вначале четыре страны – победительницы в битве при Ватерлоо, а затем (после 1818 года) победительницы плюс разгромленная Франция – обособились от менее влиятельных государств^[449]. Так, статья VI Четверного союза (заключенного в ноябре 1815 года) обязывала все четыре стороны, подписавшие договор, периодически проводить встречи “с целью совещания о своих интересах или для продумывания мер... которые будут сочтены наиболее полезными для замыслов и процветания народов и сохранения мира в Европе”^[450]. Испания могла жаловаться, Бавария – ворчать, но больше ничего они сделать не могли. Каслри мог предостерегать, что великие державы способны сделаться “европейским Советом, распоряжающимся делами всего мира”. Фридрих Генц, секретарь Меттерниха, мог возмущаться, что эта новая “диктатура” грозит стать “источником злоупотреблений,

несправедливости и неприятностей для государств второго ряда”, и эти опасения разделял молодой лорд Джон Рассел. Однако постепенно лидеры великих держав привыкли к своей коллективной мировой гегемонии^[451]. Как выразился Генц, вспоминая 1815 год, созданная на конгрессе система действительно объединила

...Всю совокупность государств в некую федерацию под управлением главных держав... Государства второго, третьего и четвертого разрядов молча и без каких-либо оговорок подчиняются решениям, совместно принимаемым доминирующими державами; и кажется, Европа наконец-то становится большой политической семьей, сплотившейся под покровительством ареопага, который сама же учредила^[452].

Даже если в отдельных вопросах не получалось достичь единодушия – например, Каслри никак не соглашался поддержать контрреволюционную стратегию Меттерниха, – все равно подразумевалось существование единого мнения, что любым будущим притязаниям на гегемонию со стороны какой-либо одной страны-союзницы надлежит давать отпор и что общей войны нужно избегать^[453]. Конечно, при ближайшем рассмотрении политическая система всегда была сложнее, чем выдвинутая Ранке идея пентархии, и постоянно развивалась. Османская империя отнюдь не была только пассивным объектом политики великих держав – и именно поэтому “восточный вопрос” (касавшийся в первую очередь ее будущего) оставался практическим неразрешимым^[454]. Новые государства, возникшие в XIX веке, – и не только германский Второй рейх (существенно увеличивший вес одной из стран – участниц “большой пятерки”) и королевство Италия, но еще и Бельгия, Болгария, Греция, Румыния и Сербия – изменили природу сети в некоторых важных отношениях. При этом нельзя отрицать, что возникло и нечто новое, – и нельзя отрицать, что это новое давало о себе знать. За столетие, прошедшее между заключением Утрехтских мирных соглашений (1713–1715) и Венским конгрессом, в Европе произошли тридцать три войны с участием всех или некоторых из одиннадцати признанных держав того времени (в их число входили Испания, Швеция, Дания, Голландия и Саксония). А за период с 1815 по 1914 год произошло всего семнадцать подобных войн, если по-прежнему считать Испанию и Швецию державами. Вероятность участия любой из держав в войне снизилась примерно на треть^[455]. Таким образом,

в XVIII веке мировые войны велись, как и в двадцатом, – а Семилетняя война представляла собой поистине глобальный конфликт. Однако ж в XIX веке мировых войн не было.

Иначе говоря, теперь международный порядок являлся, бесспорно, иерархической системой, только господствующая роль в ней принадлежала пяти крупным узлам. Эти пять узлов могли соединяться между собой в самых разнообразных сочетаниях, могли даже ссориться между собой, но между 1815 и 1914 годами они ни разу не воевали друг с другом. Хотя система и не была настолько устойчива, чтобы вовсе избежать любых войн, в промежутке между Ватерлоо и Марной все конфликты были гораздо менее разрушительными, чем эти две битвы (оставшаяся позади и еще только предстоявшая). Даже крупнейшее европейское противостояние XIX века – Крымская война (1853–1856), в которой Британия и Франция сообща выступили против России, была на порядок скромнее по своим масштабам, чем наполеоновские войны. Кроме того, великие державы совещались друг с другом гораздо чаще, нежели сталкивались на поле боя. Между 1814 и 1907 годами состоялось семь конгрессов и девятнадцать конференций с участием великих держав^[456]. Нормальным положением дел стала дипломатия с небольшими вкраплениями войн – в отличие от двух десятилетий, предшествовавших 1815 году, когда все обстояло ровно наоборот. Как мы еще увидим, ни одно объяснение причин Первой мировой войны не будет полным, если при этом не объяснить, почему к 1914 году положение дел уже изменилось.

Глава 24

Саксен-Кобург-Готская династия

Впрочем, для восстановления порядка в Европе после Наполеона понадобилась не только новая дипломатическая иерархия, которая поставила пять государств над всеми остальными. Не меньшее значение имел способ, которым заново узаконивали сам институт монархии. В этом процессе огромную роль (которую часто оставляют без должного внимания) играл стародавний вид сети, а именно тесно переплетенные узы родства, связывавшие между собой европейские монаршие семьи. Одной такой царственной семье досталась ключевая роль в примирении принципа наследственной власти с новыми идеалами конституционного правления, которые в XIX веке восприняли очень

многие либералы. Кобург принадлежал к числу тех мелких германских государств, над которыми нависла угроза уничтожения, когда Наполеон упразднил Священную Римскую империю и учредил Рейнский союз монархий. Однако сыновья вдовствующей герцогини Августы избрали благоразумную позицию между интересами Франции и России и были сполна вознаграждены: в 1807 году под давлением России герцогство было возвращено Эрнсту, старшему сыну Августы. За исключением одной дочери (Софии, вышедшей замуж за графа Менсдорфа) все ее дети посредством брака породнились с королевскими особами, сами обрели королевский титул либо обеспечили его для собственных детей. Одна дочь вышла замуж за брата русского царя Александра I, другая – за герцога Вюртембергского, третья – за герцога Кентского, одного из братьев Георга IV, короля Великобритании. А младший сын Августы, Леопольд, сам стал настоящим основателем Саксен-Кобургской династии. В ноябре 1817 года Леопольда ждала тяжелая утрата: его первая жена, принцесса Шарлотта, дочь Георга IV, умерла родами всего через полтора года после их свадьбы. Но позже фортуна повернулась к нему лицом: вначале ему предложили греческий трон, но эту идею он отверг, а в 1831 году принял титул короля бельгийцев. Впоследствии троны разных стран предлагались членам его семьи так часто, что в 1843 году Леопольд “премного повеселился”, когда “один очень богатый и влиятельный американец из Нью-Йорка заверил его, что им крайне необходимо такое правительство [*sic*], которое сможет гарантировать защиту собственности, и что многие хотели бы иметь монархию вместо имеющегося беспорядочного правления толпы, и что он лично очень желал бы, чтобы власть передали какой-нибудь ветви Кобургской семьи. *Qu'en dites-vous* ^[457] [спрашивал он племянницу], не правда ли, лестно?”^[458]. Племянницей Леопольда была королева Виктория.

Как отмечала в 1863 году *Times*, история Саксен-Кобургов показывала, “что один успех в королевской семье влечет за собой другой”^[459]. Августа Саксен-Кобургская была бабушкой не только королевы Виктории и ее мужа Альберта, но и Фердинанда, женатого на королеве Португалии, и Леопольда – сына, тезки и наследника бельгийского короля. Через брачные узы Саксен-Кобурги породнились с Орлеанским семейством и Габсбургами^[460]. Кроме того, старшая дочь Виктории и Альберта была не единственной, кто сочетался браком с королевской особой: это сделали восемь из

девяти их детей. Таким образом, в число зятьев королевы Виктории, помимо Фридриха Вильгельма, короля Пруссии, вошли еще принц Кристиан Шлезвиг-Гольштейнский и принц Генрих Баттенберг, чей брат Александр сделался принцем Болгарским, а ее невестками стали принцесса Александра Датская и принцесса Мария, дочь царя Александра II и сестра царя Александра III. В 1893 году, когда будущий царь Николай II приехал с первым визитом в Англию, его встреча с родней уже напоминала международный саммит:

Через час прибыли на станцию *Charing Cross*. Там встретили: дядя Берти [будущий Эдуард VII], тетя Аликс [Александра Датская], Джорджи [будущий Георг V], Луиза, Виктория и Мод [его сестры, из которых последняя выйдет замуж за принца Карла Датского, позже ставшего королем Норвегии Хоконом VII];

Через два часа приехали Апапа [Кристиан IX Датский, дедушка Николая], Амама [королева Луиза Датская, бабушка Николая] и дядя Вальдемар [их сын]. Приятно, что столько нашего семейства собралось вместе.

В 4.30 пошел к тете Мари [Мария Александровна, сестра Александра III, ставшая женой Альфреда, герцога Саксен-Кобургского и Эдинбургского] в *Clarence House* и пил у нее чай в саду с дядей Альфредом и Даки [их дочь Виктория Мелита]^{[461][462]}.

А через год, когда Виктория Мелита вышла замуж за Эрнста-Людвига, который унаследовал великое герцогство Гессен-Дармштадтское (см. илл. 17), среди гостей на их свадьбе были: император и императрица, будущие император и императрица, королева, будущие король и королева, семь принцев, десять принцесс, два герцога, две герцогини и один маркиз. Все они состояли между собой в родстве.



Илл. 17. Саксен-Кобург-Готская династия. Королева Виктория и члены ее семьи, собравшиеся в Кобурге 21 апреля 1894 года по случаю бракосочетания ее внучки и внука – принцессы Виктории Мелиты и Эрнста-Людвига, великого герцога Гессенского. По левую руку от королевы сидит ее старшая дочь Виктория, вдовствующая императрица Германии; по правую руку сидит ее внук, кайзер Германии Вильгельм II. Позади кайзера, с бородкой и в котелке, стоит будущий российский царь Николай II, о чьей помолвке с другой внучкой Виктории, принцессой Александрой (Аликс) Гессенской (она стоит рядом с ним), было только что объявлено. За Николаем, слева, стоит старший сын королевы Виктории, принц Уэльский, позже король Эдуард VII. Среди фигур в заднем ряду стоит еще одна внучка королевы Виктории, принцесса Мария, ставшая королевой Румынии в 1914 году. На этот снимок не попали

другие внучки Виктории – будущие королевы Греции, Норвегии и Испании. Фото Эдварда Уленхута.

Конечно, к 1880-м годам у Кобургов уже появились враги. После отречения от престола Александра Баттенберга, принца Болгарского^[463], Герберт фон Бисмарк уже позволял себе насмешки над Кобургским “кланом”. “В английском королевском семействе и среди его родни по боковой линии, – говорил он царю, – существует своего рода культ чистого семейного начала, а королева Виктория видится некой абсолютной Главой всех ветвей Кобургского клана. Все дело в дополнительных распоряжениях к завещанию, которые издаലെка демонстрируются послушным родственникам. (Здесь царь от души рассмеялся.)”^[464]. Однако могущество этого клана продержалось дольше, чем власть Бисмарков. В 1894 году королева Виктория порадовалась тому, что ее называет бабушкой будущий царь Николай II, обручившийся с еще одной ее внучкой – Аликс Гессенской^[465]. Когда Вилли (ее внук Вильгельм II, кайзер Германии) весело переписывался с кузенами Никки (Николай II, российский император. – *Ред.*) и Джорджи (Георг V, английский король. – *Ред.*)^[466], некоторое время казалось, что мечта Леопольда I осуществилась: Саксен-Кобурги правили землями от Афин до Берлина, от Бухареста до Копенгагена, от Дармштадта до Лондона, от Мадрида до Осло, от Стокгольма до Софии и даже до Санкт-Петербурга. В 1894 году, когда родился будущий король Эдуард VIII, Виктория настояла на том, чтобы ее правнуку при крещении дали имя Альберт – как бы для того, чтобы скрепить печатью семейные достижения:

Это будет Кобургская линия, как прежде Плантагенеты, Тюдоры (в честь Оуэна Тюдора), Стюарты и Брауншвейги для Георга I – а он был правнуком Якова, – и это будет Кобургская династия, охватывающая Брауншвейгов и все остальные линии, предшествовавшие ей и слившиеся с нею^[467].

Глава 25

Династия Ротшильдов

Французский полемист, сравнивший в 1840-х годах Саксен-Кобургов с Ротшильдами, оказался ближе к истине, чем сам мог представить^[468]. Ибо две эти южногерманские династии были связаны между собой почти симбиотическими отношениями еще с 1816 года, когда Леопольд Саксен-Кобургский обручился с принцессой Шарлоттой^[469]. После наполеоновских потрясений Саксен-Кобурги благодаря уму и удаче поднялись на самый верх. С Ротшильдами, имевшими гораздо более скромное происхождение, произошло ровно то же самое. Примерно между 1810 и 1836 годами пятеро сыновей Майера Амшеля Ротшильда вышли за пределы франкфуртского гетто и добились такого положения, которое наделило их новым и небывалым могуществом в области международных финансов. Несмотря на многочисленные экономические и политические кризисы и старания конкурентов достичь тех же высот, братья Ротшильды все еще сохраняли за собой это положение в 1868 году, когда умер младший из них, и даже после этого их безраздельное господство шло на убыль очень медленно. Современникам их взлет казался столь удивительным, что они часто пытались найти для него какое-нибудь мистическое объяснение. По одной легенде, возникшей в 1830-х годах, Ротшильды нажили свое баснословное состояние потому, что завладели неким таинственным древнееврейским талисманом. Именно он помог Натану Ротшильду, основателю лондонской ветви династии, сделаться “гигантом денежных рынков Европы”^[470]. Похожие байки продолжали ходить по местечкам в российской черте оседлости вплоть до 1890-х годов^[471].

Успехи Ротшильдов были эпохальными. К середине XIX века им удалось скопить такие огромные финансовые капиталы, какие прежде никогда не сосредоточивались в руках одного семейства. Еще в 1828 году их совокупное богатство превосходило капитал, принадлежавший их ближайшим соперникам, Барингам, в десять раз. Сугубо экономическое объяснение их успеха кроется в новшествах, которые Ротшильды ввели на международном рынке государственного долга, а также в тех способах, которыми их быстро накапливавшийся капитал позволял им проникать на рынки торговых векселей, сырьевых товаров, слитков и страхования.

Однако не менее важно понимать и характерную природу их деятельности: это было одновременно и строго управлявшееся семейное партнерство, и мультинациональная компания – единое “общее предприятие со смешанным капиталом” с филиалами “домов” во Франкфурте, Лондоне, Вене, Париже и Неаполе. Центробежным силам Ротшильды успешно сопротивлялись отчасти благодаря кровнородственным бракам. После 1824 года сыновья Ротшильдов, как правило, женились на дочерях Ротшильдов. Из двадцати одного брака, которые с 1824 по 1877 год заключили потомки Майера Амшеля, не меньше пятнадцати брачных союзов соединили между собой его прямых потомков. Хотя в XIX веке браки между кузенами и кузинами совсем не были редкостью – особенно в немецко-еврейских предпринимательских династиях, – случай Ротшильдов все же выделялся среди прочих. “Удивительно, до чего ладят между собой эти Ротшильды, – заметил поэт Генрих Гейне. – Странное дело, они даже женятся только на своих, и их родственные связи заплетаются в сложнейшие узлы, которые нелегко будет распутать будущим историкам”^[472]. Застенчивые упоминания о “нашей королевской семье” наводят на мысль о том, что и сами Ротшильды сознавали сходство между собой и Саксен-Кобургами^[473].

Однако не менее важную роль во всем этом играла скорость, с какой Ротшильды создали свою сеть – сеть, состоявшую не только из агентов и партнеров из числа менее крупных финансистов по всей Европе, но и из политических друзей в высших кругах. “Ты знаешь, дорогой Натан, – писал Соломон брату в октябре 1815 года, – что, бывало, говорил отец: нужно держаться за своего человека в правительстве”^[474]. И снова: “Ты помнишь отцовское правило – нужно использовать любые средства, чтобы сблизиться с такой крупной правительственной фигурой”^[475]. Майер Амшель не оставил им и тени сомнения в том, каким способом лучше всего прокладывать дорогу к сердцу таких политиков: “Наш покойный отец учил нас, что если могущественный человек попадает в финансовую зависимость от еврея, то он уже принадлежит этому еврею [*gehört er dem Juden*]”^[476]. Среди важнейших клиентов Ротшильдов в ту пору были Карл Будерус, главный финансовый управляющий ландграфа Гессен-Кассельского; Карл Теодор фон Дальберг, бывший иллиуминат, занимавший должность князя-епископа Рейнского союза с 1806 по 1814 год; Леопольд Саксен-Кобургский, супруг принцессы Шарлотты, а позднее король

бельгийцев; Джон Чарльз Херрис, британский главный комиссар в октябре 1811 года, позднее (недолгое время) канцлер казначейства и председатель Торговой палаты; Чарльз Уильям Стюарт, третий маркиз Лондондерри, брат лорда Каслри; герцог Орлеанский, позднее Луи-Филипп, король Франции; австрийский канцлер князь Меттерних; и князь Эстерхази, австрийский посол в Лондоне.

Одной из причин, почему Ротшильды завоевали расположение политической элиты (а заодно и обскакали своих деловых конкурентов), была созданная ими исключительная информационная сеть. В ту пору почтовые службы работали медленно и были ненадежны: в 1814 году письма из Парижа во Франкфурт шли обычно всего сорок восемь часов, тогда как из Лондона почта могла идти до Франкфурта не меньше недели, а в 1817 году из Парижа до Берлина – девять дней^[477]. Вскоре братья, одержимые страстью к переписке, перестали пользоваться обычной почтой и привлекли к доставке писем собственных частных курьеров, среди которых были и их агенты в Дувре, уполномоченные фрахтовать суда для компании Ротшильдов^[478]. Долгое время считалось, что Натан Ротшильд первым в Лондоне узнал о поражении Наполеона при Ватерлоо благодаря необычайной расторопности ротшильдовского курьера: он сумел доставить пятый и заключительный чрезвычайный бюллетень (выпущенный в Брюсселе в ночь с 18 на 19 июня) через Дюнкерк и Дил в Нью-Корт примерно через двадцать четыре часа – то есть по меньшей мере на тридцать шесть часов раньше, чем майор Генри Перси доставил кабинету министров официальную депешу Веллингтона^[479]. Недавно эту историю подвергли сомнению, но факт остается фактом: Ротшильд получил это известие достаточно рано – пускай даже 21 июня, – чтобы “извлечь пользу из ранней вести... о победе”. В тот же день, чуть позже, сообщение об исходе битвы отправил в редакцию *Caledonian Mercury* лондонский корреспондент этой газеты, и он ссылаясь на “надежный источник – человека, видевшего письмо из Гента, полученное от Росшильда [*sic*], крупного биржевого маклера, которому неизменно доставляют самые лучшие сведения”^[480]. В середине 1820-х годов Ротшильды уже регулярно пользовались услугами частных курьеров: только в декабре 1825 года Парижский дом Ротшильдов отправил восемнадцать курьеров в Кале (а оттуда – в Лондон), троих – в Саарбрюккен, одного – в Брюссель и одного – в Неаполь^[481]. С 1824 года братья пользовались и почтовыми голубями, хотя, по-

видимому, они все-таки не полагались на них так часто, как иногда считают.

Развитие этой сети быстрого и надежного сообщения породило несколько преимуществ. Во-первых, оно позволило Ротшильдам предложить свою первоклассную почтовую службу европейской элите. В 1822 году, находясь в Лондоне, виконт де Шатобриан получил “важную депешу” от герцогини де Дюра через ее “протекже Ротшильда”^[482]. В 1823 году “получение новостей от Ротшильда” уже вошло в привычный распорядок дня графини Нессельроде^[483]. А после 1840 года, пожалуй, самыми видными горячими поклонниками ротшильдовской почтовой службы стали молодая королева Виктория и ее супруг, принц Альберт^[484]. Во-вторых, имея частную курьерскую службу, Ротшильды получили возможность создать уникальную новостную службу. Они могли передавать из города в город сообщения о важнейших политических событиях, а также конфиденциальную информацию, с опережением официальных каналов. В 1817 году Джеймс предложил передать подробности из французских дипломатических депеш, следовавших из Парижа в Лондон, с тем чтобы они попали в руки Натана еще до того, как сами депеши окажутся у французского посла^[485]. В 1818 году британский дипломат, собиравшийся на Ахенский конгресс, был “чрезвычайно поражен” имевшимися у Натана “точными и подробными сведениями о составе нашей делегации, причем ему были известны некоторые имена, о которых еще не знали, наверное, даже в министерстве иностранных дел”^[486]. В феврале 1820 года, когда зарезали герцога Беррийского (третьего сына французского короля Карла X), именно Ротшильды рассказали об этом происшествии во Франкфурте и Вене^[487]. А в 1821 году умерла принцесса Шарлотта, и новость об этом в Париж передали опять-таки Ротшильды^[488]. Премьер-министру Джорджу Каннингу очень не нравилось, что Ротшильды постоянно суют нос в британские посольские реляции, однако и он едва ли мог оставлять без внимания такие важные известия из раздобытых Ротшильдами сведений, как, например, капитуляция турок в Аккермане^[489]. Еще Ротшильды первыми сообщили об июльской революции 1830 года лорду Абердину в Лондоне и Меттерниху в Богемии^[490]. Вскоре уже и сами государственные деятели и дипломаты начали пользоваться ротшильдовской сетью сообщения – отчасти потому, что она работала быстрее официальных курьерских систем, доставлявших дипломатическую корреспонденцию, но еще и потому, что

сообщения необязательного характера можно было посылать от правительства к правительству не прямо, а посредством частной переписки братьев Ротшильд.

Конечно, если бы Ротшильды полагались только на свои пять домов как на источники информации, то эта система была бы весьма ограниченной. Но довольно скоро их сеть раскинулась гораздо шире и охватывала уже не только изначальные опорные пункты в Европе. Поскольку никто из внуков Майера Амшеля не пожелал (или не получил разрешения) учредить новые “дома”, пришлось создать избранную группу особых посредников на окладе, которым поручалось представлять интересы банка на других рынках: главным образом в Мадриде, Санкт-Петербурге, Брюсселе, а позднее в Нью-Йорке, Новом Орлеане, Гаване, Мехико и Сан-Франциско. Линии связи с этими уполномоченными представителями образовали новую сложную информационно-деловую сеть^[491]. Такие люди, как Август Бельмонт в Нью-Йорке или Даниэль Вайсвайллер в Мадриде, неизбежно пользовались определенной самостоятельностью из-за того, что находились далеко и больше разбирались в местной специфике, но при этом они в первую очередь оставались агентами Ротшильда, и им не позволялось об этом забывать. Но дело не ограничивалось этой сетью официального влияния: не меньшее значение имела более обширная, хотя и более рыхлая сеть связей с другими банками, а также с биржевыми маклерами, центральными банками и финансовыми газетами.

От внимания современников не ускользнуло, что у них на глазах возникла новая разновидность финансовой власти. Уже в 1826 году французский либерал Венсан Фурнье-Верней выступил с первым из множества похожих заявлений о том, что французское правительство сделалось коррумпированной марионеткой “финансовой аристократии – самой скучной и неблагородной из всех аристократий”, во главе которой стоит не кто иной, как “г-н барон Р...”^[492]. А через два года член британского парламента от радикальной партии Томас Данком пожаловался в палате общин на

...новую и грозную власть, до сих пор неизвестную Европе: повелитель несметных богатств похваляется тем, что он – арбитр мира и войны и что кредит целых стран зависит от его кивка; его корреспондентам несть числа; его курьеры обгоняют гонцов суверенных правителей и абсолютных монархов; государственные

министры у него на жалованье. Хозяйничая в кабинетах континентальной Европы, он мечтает подчинить себе и наш...^[493]

В середине 1830-х годов один американский журнал поместил на своих страницах сходную оценку, только в менее уничижительных выражениях: “Ротшильды – это чудо современного банковского дела... они держат весь континент в своих руках... Ни один правительственный кабинет ни шагу не сделает без их совета”^[494]. Примерно в ту же пору англичанин Томас Рейкс записал в дневнике: “Ротшильды сделались денежными правителями Европы. Из разных подразделений своего банка в Париже, Лондоне, Вене, Франкфурте и Неаполе они заполучили такую власть над европейской биржей, какой ранее не удавалось добиться ни одной партии, и теперь, похоже, шнурок от общественного кошелька – в их руках. Теперь ни один государь не может получить ссуду без их помощи”^[495]. Анонимный немецкий карикатурист проиллюстрировал ту же мысль (только живее), изобразив сильно шаржированного еврея – явно собирательного Ротшильда – в виде *Die Generalpumpe* [“Главного насоса”] (заодно обыграв разные значения немецкого глагола *pumpen* – “откачивать” и “давать/брать взаймы”). Смысл карикатуры следовало понимать так: Ротшильд – это чудовищный механизм, качающий деньги по всему миру^[496].

В 1820-х годах Ротшильдов часто обвиняли в том, что они политически солидаризируются с силами реакции и реставрации. Согласно одному источнику, они стали *la haute Trésorerie de la Sainte Alliance*^{[497][498]}. В самом деле, немецкий путешественник князь Пюклер-Мускау, впервые описывая Натана в письме к жене, назвал его “главным союзником Священного союза”^[499]. Натана изображали в карикатурном виде – как страхового маклера при “Свищевом союзе”^[500], помогающего предотвратить политический пожар в Европе^[501]. В 1821 году его даже угрожали убить из-за “его связи с иностранными державами, и особенно из-за помощи, оказанной Австрии, ввиду намерений австрийского правительства задушить свободы в Европе”^[502]. Уже в августе 1820 года бременский делегат во франкфуртском ландтаге Германского союза отмечал, что “Австрия нуждается в помощи Ротшильдов в ее нынешнем выступлении против Неаполя, а Пруссия давно бы покончила со своей конституцией, если бы Дом Ротшильдов не дал ей возможность отсрочить черный день”^[503]. По мнению писателя-

либерала Людвига Бёрне, Ротшильды являлись “злейшими врагами страны. Они больше других делали все, что могли, чтобы подорвать основы свободы, и можно не сомневаться, что большинство народов Европы уже сейчас обладали бы полной свободой, если бы такие люди, как Ротшильды... не оказывали тиранам помощь из собственного кармана”^[504].

Однако те, кто высказывал подобные суждения, преувеличивали степень политической приверженности Ротшильдов взглядам Меттерниха, мечтавшего о реставрации консервативного строя. Бременский делегат из Франкфурта справедливо заметил:

Эта династия, благодаря ее колоссальным сделкам и банковским, и кредитным связям, поистине достигла такого положения, какое дает настоящую Власть. Она так основательно взяла под свой контроль общий денежный рынок, что теперь в ее власти – по собственному усмотрению либо препятствовать, либо способствовать любым шагам и действиям правителей, включая государей даже величайших европейских держав^[505].

Ротшильды могли, если их устраивала цена, предоставлять Австрии займы. Но могли они кредитовать и государства с более либеральным режимом. Когда австрийский император заметил, что Амшель Ротшильд “богаче меня”, в его словах правды было не меньше, чем шутки^[506]. В двенадцатой песни поэмы “Дон-Жуан” лорд Байрон спрашивал: “Кто властвует на бирже? Кто царит / На всех великих сеймах и конгрессах?” И сам же отвечал (с подчеркнутой насмешливостью): “Ротшильда и Беринга миллионы!” Банкиры – вот “владыки настоящие вселенной”^{[507][508]}. Важнее всего, что в глазах Байрона Ротшильд оказывал влияние одинаково и на роялистские, и на либеральные правительства. В своей очерке “Ротшильд и европейские государства” (1841) Александр Вейль емко высказал эту мысль: если “Ротшильду нужны были государства, чтобы сделаться Ротшильдом”, то теперь “ему уже не нужно государство, зато государство по-прежнему нуждается в нем”^[509]. А годом позже либеральный историк Жюль Мишле заметил в своем дневнике: “Г-н Ротшильд знает в Европе поименно каждого правителя, а на бирже – каждого придворного. Он держит в уме все их счета – что правителей, что придворных, и беседует с ними, даже не сверяясь с записями. Кому-нибудь из них он говорит: «Вы понесете убытки, если назначите министром такого-то»”^[510]. И это еще один штрих, показывающий, что после 1815 года

иерархический порядок был не столько “восстановлен”, сколько реорганизован. Объединенная родственными связями расширенная группа, какую представляла собой Саксен-Кобург-Готская династия, могла придать новому порядку легитимность, опирающуюся на королевскую родословную. Но за деньгами европейский монархизм обращался к династии выскочек Ротшильдов — с их новыми кредитными и информационными сетями.

Глава 26

Промышленные сети

Прежде чем достигнуть таких высот, Натан Ротшильд начинал карьеру в Британии довольно скромно: он скупал фабричные ткани для экспорта на континент. Записи, сохранившиеся от тех первых лет, позволяют живо представить себе, какой была экономика на начальном этапе первой промышленной революции. С 1799 года, когда Ротшильд впервые приехал в Англию, по 1811 год, когда он официально основал фирму “Н. М. Ротшильд” в Лондоне, он не только ездил по Ланкаширу, но бывал и в Ноттингеме, Лидсе, Стокпорте и даже в Глазго, выискивая ткани, которые можно было бы отправить покупателям в Германии. Не ограничивался он и покупкой готового текстиля. “Как только я приехал в Манчестер, – рассказывал он позднее члену парламента Томасу Фоуэллу Бакстону, – я сразу же выложил все свои деньги, до того там все дешево. И получил хорошую прибыль. Скоро я выяснил, что выгадать можно на трех вещах: на сырье, краске и производстве. Я сказал фабриканту: «Я буду поставлять вам сырье и красители, а вы мне – готовую продукцию». Так я получил три выгоды вместо одной и начал продавать товар дешевле, чем все остальные”^[511]. А так как по Северной Англии и Центральной Шотландии быстро распространялись новые прядильные и ткацкие технологии и множество мелких фабрикантов конкурировали между собой, перед пробивным посредником открывались поистине огромные возможности. Вот что рассказывал сам Натан Ротшильд в декабре 1802 года:

По вторникам и четвергам ткачи, живущие вокруг Манчестера, милях в двадцати, свозят в город свой товар – штук по двадцать – тридцать ткани, кто больше, кто меньше, и продают их здесь купцам в кредит на два, три месяца или на полгода. Но так как среди них всегда есть такие, кому срочно нужны деньги, и они готовы пожертвовать небольшой выгодой, лишь бы с ними расплатились на месте, то человек, который раскошелится сразу, иногда может купить товар на 15 или 20 % дешевле^[512].

А еще, по мере того как дела Натана шли в гору и он начал поставлять товар в другие фирмы, помимо отцовской, Ротшильд стал предлагать не только низкие цены, но и разумные условия

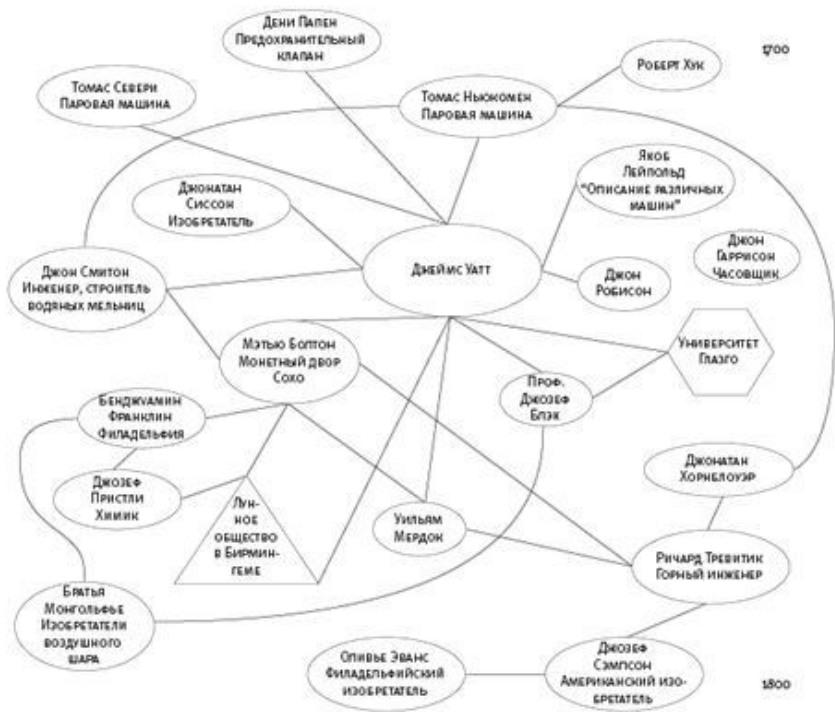
кредитования, говоря постоянным покупателям, что он им полностью доверяет: “Деньги в ваших руках – все равно что у меня в кармане”^[513]. Отдача получалась высокой, но не менее высоки были и риски. И цены, и ставки ссудных процентов сильно колебались. Поставщики подвозили с подвозом товаров так же часто, как и покупатели, неспособные расплатиться. А в 1806–1807 годах, когда между Британией и Францией разразилась экономическая война – из-за того что Наполеон объявил Британии Континентальную торговую блокаду, – Ротшильду пришлось прибегнуть к контрабанде.

Подобно интеллектуальным и политическим революциям XIX века, промышленная революция явилась порождением сетей. Она произошла не по приказу какого-либо государя, хотя ей, безусловно, способствовали некоторые правительственные действия (в частности, указы, направленные против импортеров тканей из Индии). Помимо сетей кредитования – вроде тех, к которым принадлежал Натан Ротшильд, – существовали еще сети капитала, позволявшие предпринимателям и инвесторам собирать информацию и объединять ресурсы, а также сети технологий – для обмена передовыми методами, повышавшими производительность. Джеймс Уатт не смог бы усовершенствовать старую паровую машину и изобрести свою, если бы не принадлежал к сети, в которую входили профессор Джозеф Блэк из университета Глазго и члены Лунного общества в Бирмингеме^[514]. Большинство текстильных фабрик были небольшими, финансировать их было относительно легко, а вот капиталоемкие предприятия – например, акционерные общества, бравшиеся за строительство каналов, или страховые компании – почти целиком полагались на инвесторские сети^[515]. Как и в доиндустриальную эпоху, международным экспортом и импортом занимались в основном коммерческие сети. И во всех этих сетях определенную роль играли родственные и дружеские связи, а также общая религия. Это положение сохранялось и после того, как новые производственные технологии попали за Атлантический океан, в Соединенные Штаты^[516]. Как видно из иллюстрации 18, между Уаттом и Оливером Эвансом – филадельфийским изобретателем, запатентовавшим превосходную паровую машину высокого давления, – не было прямой связи. В действительности их разделяло четыре рукопожатия^[517]. Однако потребность в новшествах – и в “совершенствовании ума” – распространялась (по словам одного исследователя) почти как

религиозная вера^[518]. На каждом этапе промышленной революции сети играли важную роль – они не только разносили знания о новых процессах, но и, что еще важнее, создавали общую копилку для интеллектуальных ресурсов и капиталов. И подобно тому, как разработка все более эффективных паровых машин становилась плодом коллективных усилий сети, а не подвигами изобретателей-одиночек, позднее важных успехов в авиации удалось достичь не только благодаря братьям Райт, но и благодаря стараниям наиболее активных членов Американского общества гражданских инженеров, Американского общества инженеров-механиков и Американской ассоциации содействия развитию науки. В этом “тесном мире” роль важнейшего объединителя (вроде Пола Ревира), сделавшего возможным рождение первого самолета, выпала Октаву Шанюту, который написал книгу “Прогресс летательных машин” (1894)^[519].

Главная загадка британской истории в эпоху индустриализации – почему экономическая революция не вылилась в политическую? Или, если сформулировать вопрос иначе, почему сети, возникшие в конце XVIII века в Англии и Шотландии, оказались достаточно мощными, чтобы породить фабричное производство современного типа, но недостаточно мощными, чтобы свергнуть монархическую, аристократическую и церковную иерархии Соединенного Королевства? По всей материковой Европе в 1848 году люди подписывали петиции с различными жалобами, а затем ее захлестнула очередная волна революций, которая на сей раз докатилась до Берлина и Вены и привела к падению Меттерниха^[520]. В Британии же ничего подобного не происходило. Прославленный оратор-виг Генри Брум основал Общество распространения полезных знаний, а не какое-нибудь “общество распространения республиканских идей”. Даже чартисты, организуя кампанию за расширение избирательного права, проводили свои собрания вполне чинно и практически не вынашивали революционных замыслов. Отчасти причина заключалась в том, что политика XVIII века сделала многое для того, чтобы внушить низшим слоям общества патриотическую идею, что они, как бритты, кровно заинтересованы в сохранении существующего общественного строя^[521]. Самым массовым мятежом в ганноверскую эпоху был антикатолический бунт лорда Гордона, так живо описанный Диккенсом в романе “Барнеби Радж”. Другое объяснение состоит в том, что британская элита довольно ловко приспособлялась к быстро менявшимся условиям

индустриальной эпохи. В целом Виктория и Альберт держались вполне либеральных политических взглядов, в отличие от их родственников в Ганновере. Кроме того, новая финансовая элита в лице Ротшильдов проявляла достаточную политическую гибкость, хоть этого и не желали замечать многие ее критики.



Илл. 18. “Паровая сеть”: Джеймс Уатт, Мэтью Болтон и социальная сеть, имевшая отношение к технологии паровых машин. 1700–1800 годы.

Хорошая иллюстрация причин, по которым Британия избежала революции, – это кампании за отмену работорговли и рабства. Движение за запрет рабства возникло вначале вне парламента, среди религиозных меньшинств (прежде всего квакеров) и в новых организациях – в Обществе содействия отмене работорговли, а позже в Обществе облегчения и постепенной отмены рабства. В парламент это движение проникло как раз тогда, когда во Франции уже начиналась революция. Уильям Уилберфорс произнес в палате общин свою историческую речь “Об ужасах работорговли” 12 мая 1789 года – всего через неделю после того, как в Париже открылись Генеральные штаты. В 1792 году петиции за отмену рабства подписало не менее 400 тысяч человек – приблизительно 12 % всего взрослого мужского населения, а если брать отдельно Манчестер –

то ближе к половине^[522]. В 1816 году количество подписей против возобновления французской работорговли составило уже 1 миллион 375 тысяч^[523]. В дальнейшем агитация усилилась: в 1833 году в парламент поступили петиции с почти 1,5 миллиона подписей; была среди них и петиция длиной в полумиллю, подписанная 350 тысячами женщин и сшитая из отдельных листов в одну полосу Присциллой, дочерью Томаса Фоуэлла Бакстона^{[524][525]}. Движение аболиционистов было настоящим сетевым феноменом. Но, в отличие от американских колоний и Франции, в Британии эта сеть никогда не угрожала свергнуть страну в революцию. Самая очевидная причина состояла в том, что эта проблема затрагивала напрямую интересы людей, живших очень далеко от Британских островов, – африканских рабов и вест-индских плантаторов. Вторая причина заключалась в том, что если в 1790-х годах политическая элита еле шевелилась, то теперь она довольно быстро отозвалась на внепарламентское давление и запретила работорговлю уже в 1807 году, а позже, в 1833 году, освободила почти 800 тысяч рабов в британских владениях. Третья и последняя причина сводилась к тому, что вест-индские плантаторы были слишком малочисленной заинтересованной группой, чтобы пустить в ход право вето.

Долгое время велись бурные дебаты о том, постиг ли уже кризис британских производителей сахара в Карибском бассейне накануне запрета рабства, или же им поставили подножку в самом расцвете экономических сил. Таким образом историки пытались понять, почему Британия столь стремительно преобразилась из главной участницы атлантической работорговли в ее яркую и явную противницу^[526]. Очевидно, что, несмотря на резкий рост потребления сахара в Англии, на протяжении всего XVIII века цены на него неуклонно снижались. Они заметно подскочили в годы Французской революции и Наполеоновских войн (так как перерыв в производстве, вызванный восстанием рабов на Сан-Доминго, удалось лишь частично компенсировать увеличением производительности на кубинских, а также маврикийских и индийских плантациях), но затем, еще до 1807 года, снова упали и после установления мира продолжали падать. А вот по сравнению с сахаром цены на рабов в среднем не обнаруживали тенденции к снижению. Однако довод о том, что эти тенденции предопределили судьбу вест-индских сахарных плантаций – что “отмена рабства явилась прямым результатом [вест-индского] упадка”^[527], – лишен убедительности. Спрос на сахар рос по всей Европе, и перспективы,

в силу которых рабство продолжало существовать на Кубе, не говоря уже о Бразилии, вполне могли бы сохраняться и для британских плантаций, – если бы не отмена рабства, которая неизбежно повысила расходы на рабочую силу. Настоящим бедствием для британских плантаторов стала стремительная диверсификация экономики Соединенного Королевства: импорт хлопка для нужд фабричного производства и его реэкспорт быстро опередили по важности импорт сахара. К концу 1820-х годов хлопчатобумажные товары составляли уже половину объема британского экспорта. Манчестер – как столица британской текстильной промышленности – оказывал большее политическое влияние на Лондон, чем Ямайка, и вполне мог бы закрывать глаза на то, что на Юге США, откуда в Ланкашир поступает все больше хлопка-сырца, по-прежнему существуют работорговля и рабство. Кстати, не кто иной, как Натан Ротшильд – бывший торговец хлопком, сделавшийся банкиром, – предоставил правительству заем в 15 миллионов фунтов для выплат компенсаций рабовладельцам после указа 1833 года^[528]. А еще Натан отобедал с Томасом Фоуэллом Бакстоном сразу же после принятия закона об освобождении рабов^[529]. Позже сыновьям Натана предстояло сыграть ведущую роль в кампании за эмансипацию евреев в Британии, а его внуку Натаниэлю королева Виктория пожалует право заседать в палате лордов.

В 1815 году общество в Британии было исключительно неравноправным. Земли и недвижимость были сосредоточены в руках наследной аристократии – в гораздо большей степени, чем в большинстве европейских стран, включая старорежимную Францию. Налоговая система оставалась исключительно регрессивной, большая часть государственных доходов поступала от налогов на потребление, а большая часть расходов приходилась на содержание армии, флота, а также на жалованье богатым должностным лицам и на погашение правительственных облигаций. Однако ни одно из внепарламентских движений начала XIX века – ни аболиционизм, ни последовавшее за ним движение за реформу избирательной системы – никогда всерьез не угрожало существующему строю. Объяснялось же это тем, что британская иерархия, в отличие от французской, умела, когда нужно, проявлять спасительную гибкость. Аболиционисты увидели во вступлении на престол юной королевы Виктории в 1837 году не помеху для реформ, а, напротив, удачный момент для них, – и вскоре начали

оказывать давление на молодую властительницу, чтобы она поддержала их кампанию. Она переложила эту задачу на принца-консорта, и тот уже через три месяца после их бракосочетания выступил с первой публичной речью перед собранием Общества за уничтожение работорговли и насаждение цивилизации в Африке. “Я глубоко сожалею о том, – сказал принц Альберт, – что великодушные и стойкие старания Англии покончить с жестокой торговлей людьми (которая разоряет Африку и одновременно ложится грязнейшим пятном на цивилизованную Европу) до сих пор не обрели благополучного завершения. Но я искренне верю, что наша великая страна не отступится от своей цели, пока навеки не положит конец нынешнему положению вещей, столь противному духу христианства и всем добрым чувствам, какие вложила в нас природа”^[530].

Глава 27

От пентархии к гегемонии

После 1815 года хаос, вырвавшийся на волю в 1790-х годах, удалось взять под контроль. При Наполеоне сетевую анархию во Франции обуздали, насадив новый иерархический порядок. Революционный вызов, который Франция бросила другим европейским государствам, в итоге сломили, водворив новое “согласие” под коллективным присмотром пяти великих держав, в число которых вошла и Франция – уже как восстановленная монархия. На протяжении всего XIX века монархия оставалась господствующей формой правления в мире. Внутри каждого европейского государства не только восстановили законность наследственной передачи власти, но и утвердили новую модель расслоения общества, при которой космополитическая элита королевских кровей вступила в симбиотические отношения с новой плутократической элитой (а представители более почтенной и старинной аристократии в каждой из стран неблагодарно глумились над их союзом). В этом смысле термин “реставрация” не вполне точно описывал происходившее, и те, кто попытался безоговорочно реставрировать старый режим (в частности, Бурбоны во Франции), продержались у власти недолго.

Часы нельзя было отвести назад. Они неумолимо шли вперед. Промышленная революция увеличила и доходы, и население. Впервые в истории города Северо-Западной Европы выросли

настолько, что обогнали города Восточной Азии. Новые фабричные технологии оказались востребованы не только в области более эффективного производства тканей. Возникла военная промышленность, выпускавшая броненосные корабли и более смертоносное вооружение. Экономика отдельных стран все больше впадала в зависимость от крупных промышленных корпораций, владельцы и управляющие которых, наряду с финансировавшими их банкирами, понемногу превращались в новую общественно-политическую элиту, пускай даже тесно связанную со старым режимом. К 1900 году карта мира представляла собой имперскую мозаику: одиннадцать западных империй контролировали непропорционально большую часть (сообща – 58 %) всей территории Земли, не говоря уже о ее населении (57 %) и объемах производства (74 %)^[531]. Даже США обзавелись заморскими колониями.

Уж конечно, не ради такого будущего Пол Ревир мчался в Лексингтон. Победа досталась “красным мундирам”. Накануне Первой мировой войны Великобритания – королевство с населением 45,6 миллиона жителей и площадью всего 120 тысяч квадратных миль [310 666 квадратных километров] – правила более чем 375 миллионами людей и 11 миллионами квадратных миль [28 миллионов 477 тысяч квадратных километров]. Но больше всего, пожалуй, поражало то, сколь малыми гарнизонными силами обходилась эта огромная империя. В 1898 году в Британии базировалось 99 тысяч солдат регулярной армии, 75 тысяч размещались в Индии и еще 41 тысяча – в других частях империи. Во флоте служило еще 100 тысяч, а в туземных войсках Индии насчитывалось 148 тысяч человек. Численность военных составляла лишь крошечную долю от общего населения Британской империи. Управление удавалось осуществлять тоже малыми силами. С 1848 по 1947 год в аппарате Индийской гражданской службы (ИГС) редко состояло более тысячи чиновников, “связанных договором”, что ничтожно мало, если сравнить с общей численностью населения Индии, которая к концу британского правления превышала 400 миллионов. И такая почти призрачная администрация имелась не только в Индии. Вся чиновничья элита Африканской колониальной службы, распределенная по дюжине колоний с общим населением около 43 миллионов, насчитывала чуть более 1200 человек^[532]. Как же это вышло? Как получилось, что крупнейшая в мировой истории империя являлась

одновременно государством — ночным сторожем (если воспользоваться уничижительным понятием, придуманным в 1862 году немецким социалистом Фердинандом Лассалем)?

Часть V

Рыцари “круглого стола”

Глава 28

Имперская жизнь

В романе Джона Бакена “39 ступеней” (*The Thirty-Nine Steps*) зловещая организация под названием “Черный камень” замышляет выкрасть британские военные планы “диспозиции флота метрополии во время передвижения”. Лишь после целой череды убийств и погони, одной из самых изощренных в популярной литературе, бакеновский неутомимый герой-патриот Ричард Хэнней расстраивает коварный заговор. Уступая первенство лишь Редьярду Кипплингу, Бакен лучше других писателей передавал дух британского империализма начала XX века^[533]. Как и во многих его сочинениях, в “39 ступенях” мир предстает в виде иерархии расовых типов, причем умные, но при этом мускулистые шотландцы занимают на этой лестнице высшую ступень, следующая достается грубым южным африканцам, дальше идут недостаточно воинственные американцы, посередине оказываются подозрительные в сексуальном отношении немцы, а практически все остальные – внизу^[534]. Однако, как почти во всех романах Бакена, настоящими главными героями “39 ступеней” оказываются не отдельные люди, а сети: тайные общества вроде “Черного камня” и благородные банды лояльных империи джентльменов, занятые импровизированной контрразведкой, – в данном случае это шотландец, вернувшийся из Родезии, американский некадровый разведчик и наивный политик-землевладелец.

Бакен, родившийся в 1875 году в Перте в семье священника пресвитерианской Свободной шотландской церкви и выросший в Керколди, восходил по ступеням той карьерной лестницы, которую Соединенное Королевство и Британская империя предоставляли честолюбивым шотландцам со времен Джеймса Босуэлла^[535]. После средней школы имени Хатчесона в Глазго он изучал гуманитарные дисциплины (древнегреческую и древнеримскую литературу, или “классиков”) в Брейзеноуз-колледже в Оксфорде, окончил курс с отличием, получив степень бакалавра, сделался председателем Оксфордского союза –

престижного дискуссионного общества, которое по сей день продолжает готовить будущих премьер-министров к парламентским дебатам. С 1901 по 1903 год – во время и после Англо-бурской войны – он служил политическим частным секретарем у лорда Милнера, верховного комиссара по делам Южной Африки. В 1907 году он удачно женился – на Сьюзен Гросвенор, родственнице герцога Вестминстерского. Не довольствуясь ролью плодовитого писателя, Бакен изучал право и был принят в коллегия адвокатов. Он стал партнером издательского дома *Thomas Nelson & Sons*, а еще некоторое время был редактором журнала *Spectator*. В годы Первой мировой войны, не попав на фронт (к несчастью или к счастью) по слабому здоровью, он возглавлял новое министерство информации, а после войны в течение восьми лет заседал в палате общин как юнионист, представлявший шотландские университеты. Все это время он без устали писал: в среднем по триллеру в год, а в придачу – многотомную историю Первой мировой войны. Апофеоз карьеры наступил в 1935 году, когда Бакена наградили дворянским титулом (он превратился в лорда Твидсмур-Элсфилдского) и назначили генерал-губернатором Канады^[536].

Итак, Бакен поднимался по различным ступеням имперской иерархии – академическим, социальным, профессиональным, политическим и, наконец, официальным – и взошел на порядочную высоту, пускай сам он метил еще выше (на должность вице-короля Индии или хотя бы в кабинет министров). Однако карьере Бакена нельзя до конца понять, рассматривая ее в отрыве от сети, к которой он принадлежал: это был “детский сад” или “Круглый стол” лорда Милнера. Эта очередная исторически важная сеть приобрела скандальную известность во многом благодаря сочинениям Кэролла Куигли^[537], влиятельного историка из Джорджтаунского университета: он назвал ее “тайным обществом, которое более полувека... оставалось одной из важнейших сил, определявших и проводивших британскую имперскую и внешнюю политику”^[538]. По мнению Куигли, цель этого общества состояла в том, чтобы “объединить мир, и в первую очередь англоязычный мир, в некую федерацию вокруг Британии”, а методы его заключались в “тайном политическом и экономическом влиянии из-за кулис и... в контроле над журналистскими, образовательными и пропагандистскими организациями”^[539]. Куигли, писавший свою книгу в конце 1940-х годов, признавал, что “Круглому столу” “вполне успешно удавалось скрывать свое существование и многие из входивших в него самых

влиятельных лиц, довольные тем, что им принадлежала реальная, а не мнимая власть, до сих пор не известны даже самым сведущим специалистам по британской истории”. И тем не менее:

[Общество] подстроило рейд Джеймсона^[540] в 1895 году; оно спровоцировало Англо-бурскую войну 1899–1902 годов; оно основало и контролирует Родсовский трест^[541]; оно создало Южно-Африканский союз в 1906–1910 годах; оно учредило южноафриканский журнал *State* в 1908 году; оно основало в 1910 году британский имперский журнал *Round Table*, который остается рупором одноименной группы; оно вот уже несколько десятилетий является важнейшим и единственным авторитетом для Колледжа Всех Душ, Бейлиол-колледжа и Нью-колледжа в Оксфорде; оно контролировало *Times* в течение пятидесяти с лишним лет, за вычетом трех лет – 1919–1922; оно всячески рекламировало и идею, и название “Британского содружества наций” в 1908–1918 годах; оно выступало главным фактором влияния в военной администрации Ллойд-Джорджа в 1917–1919 годах и играло главенствующую роль в британской делегации на мирной конференции 1919 года; оно имело прямое отношение к образованию Лиги Наций и управлению ею и системой мандатов; оно учредило Королевский институт международных отношений в 1919 году и контролирует его до сих пор; оно выступало одним из главных факторов влияния на британскую политику в отношении Ирландии, Палестины и Индии с 1917 по 1945 год; оно оказывало чрезвычайно важное влияние на политику умиротворения Германии с 1920 по 1940 год; оно контролировало и до сих пор в значительной мере контролирует источники и труды по истории британской имперской и внешней политики, начиная с Англо-бурской войны^[542].

Какая бы доля правды ни содержалась в этих примечательных утверждениях, последнее из них уже точно устарело. А значит, сегодня исследователи имеют возможность открыто и беспристрастно писать о “Круглом столе”, – хотя конспирологи, конечно же, предпочтут повторять голословные утверждения Куигли.

Глава 29

Империя

Пускай “Круглый стол” и не правил миром, нельзя отрицать того, что весьма ограниченное количество британцев правило немалой частью мира. Повторим вопрос: как такое оказалось возможным?

Отчасти ответ состоит в том, что британцы вобрали в свою империю уже существовавшие структуры местной власти. Например, в Танганьике сэр Дональд Кэмерон старался укрепить связи, соединявшие “крестьянина... и его старосту, старосту и помощника вождя, помощника вождя и самого вождя, вождя и местный отдел управления”. В Западной Африке лорд Кимберли считал за лучшее “не иметь дела ни с какими «образованными туземцами» в целом. Я буду вести переговоры только с наследными вождями”. “Все азиаты трепещут перед лордами”, – заявил Джордж Ллойд, недавно возведенный во дворянство, прежде чем вступить в должность верховного комиссара Египта. По словам Фредерика Лугарда, творца британской Западно-Африканской империи, весь замысел империи сводится к тому, чтобы “сохранять традиционные формы управления как оплот общественной безопасности в меняющемся мире... Общественное положение – вот по-настоящему важное понятие”^[543]. Лугард придумал целую теорию “непрямого управления”, согласно которой британское господство можно поддерживать минимальной ценой, просто делегируя всю местную власть уже существующим элитам и сохраняя лишь основные элементы центральной власти (прежде всего финансы) в британских руках. В своей книге “Двойной мандат в Британской Тропической Африке” (1922) Лугард определял это косвенное управление как “систематическое использование привычных для народа форм власти как органов местного управления”^[544]. Поверх всех этих традиционных общественных иерархий британцы водрузили еще и собственную имперскую метаиерархию. Протокол в Индии строго подчинялся “порядку старшинства”, который в 1881 году составляло не менее 77 отдельных рангов. По всей Британской империи чиновники мечтали вступить в наиболее выдающийся орден Св. Михаила и Св. Георгия – будь то в степени CMG (*Call me God* [Зовите меня Богом]), KCMG (*Kindly Call Me God* [Пожалуйста, зовите меня Богом]) или в высшей степени,

приберегавшейся для правителей самого верхнего эшелона, – GCMG (*God Calls Me God* [Бог называет меня Богом])^[545]. По словам лорда Керзона, “в англоговорящей среде по всему миру [существовала] неутолимая жажда титулов и чинов”. Он мог бы еще добавить – наград, потому что о лентах и медалях мечтали так же страстно. Тот же Джон Бакен, при всех его мирских достижениях, терзался оттого, что у него совсем мало почетных “украшений”.

Однако Британская империя не могла бы вырасти до таких огромных размеров и просуществовать так долго, если бы полагалась исключительно на иерархию – или уж тем более на один снобизм. В XIX веке революционные сети отнюдь не испарились. Напротив, с распространением среди интеллектуалов и рабочих учения Карла Маркса родилась одна из крупнейших сетей современности – социалистическая сеть. Крепли в конце XIX века и другие революционные движения – от анархизма и феминизма до радикального национализма. Однако иерархические структуры той эпохи – империи и национальные государства – без особого труда подчиняли себе эти сети, даже если те прибегали к терроризму. Происходило это благодаря новым путям и средствам связи, порожденным промышленной революцией, – железным дорогам, пароходам, телеграфу, а позднее и телефону, а также государственным почтовым службам и газетам, которые не только порождали гораздо более обширные сети, чем под силу было создать социалистам (пускай последним и удавалось связывать воедино разнообразные трудовые организации, размножавшиеся в условиях индустриальной экономики^[546]), но которые легко подчинялись централизованному управлению.

Общеизвестно, что паровая энергия и электрические кабели ускорили связь. В эпоху парусных судов на пересечение Атлантики уходило от четырех до шести недель. С появлением же парохозяйства это время сократилось до двух недель к середине 1830-х годов и всего до десяти дней к 1880-м годам. В 1850–1890-х годах время плавания от Англии до Кейптауна сократилось с сорока двух до девятнадцати суток. Кроме того, пароходы постепенно становились не только быстрее, но и массивнее: за тот же период их валовой регистровый тоннаж вырос приблизительно вдвое. А значит, теперь из метрополии в имперские колонии можно было приплыть не только гораздо быстрее, но и с гораздо меньшими затратами. Стоимость доставки бушеля^[547] пшеницы из Нью-Йорка в Ливерпуль в период с 1830-х до 1880-х годов упала вдвое, а

с 1880 до 1914 года она снизилась еще в два раза. Телеграф творил еще более удивительные чудеса. После 1866 года появилась возможность передавать информацию через Атлантику со скоростью восемь слов в минуту.

Почему происходила постепенная централизация управления, кажется уже менее очевидным. Сеть британских железных дорог строилась, начиная с 1826 года, лишь с минимальным вмешательством государства, а вот те железные дороги, что британцы строили по всей своей империи – хотя и их прокладкой тоже занимались частные компании, – щедро субсидировались правительством, а значит, государство очень на них рассчитывало. Первый железнодорожный путь в Индии, связавший Бомбей с Тханой (длиной 34 километра), был официально открыт в 1853 году, а менее чем через пятьдесят лет страну покрыли рельсы общей протяженностью более чем в 40 тысяч километров. С самого начала эта железнодорожная сеть имела не только экономическое, но и стратегическое предназначение. То же самое относилось и к телеграфу, который уже получил достаточное развитие в Индии к 1857 году, чтобы сыграть решающую роль в подавлении Сипайского восстания, начавшегося в том году с мятежа туземного полка. (Один бунтовщик, когда его вели на казнь, даже сказал о телеграфе: “проклятая веревка, которая меня душит”.) Однако самым важным достижением, которое привело к централизации связи, стало создание прочных подводных кабелей. Примечательно, что на их изготовление пошел имперский продукт – разновидность каучука из Малайи, которая называлась гуттаперчей. В 1851 году первый кабель пересек дно Ла-Манша, а спустя пятнадцать лет проложили первый трансатлантический кабель. Когда через Атлантический океан успешно протянули первую телеграфную линию, забрезжила совершенно новая эпоха. А поскольку эта линия пролегла между Ирландией и Ньюфаундлендом, ни у кого не было сомнений в том, какой именно державе предстоит господствовать над другими в эпоху телеграфа. К 1880 году через мировые океаны пролегло в общей сложности больше 157 тысяч километров кабеля, связав Британию с Индией, Канадой, Америкой, Африкой и Австралией. Теперь можно было переслать сообщение из Бомбея в Лондон по четыре шиллинга за слово – и за столько же минут. По словам Чарльза Брайта, апостола новой технологии, телеграф стал “системой электрических нервов, опутавших весь мир”. Как выразился один имперский обозреватель, викторианская революция

во всемирной связи привела к “уничтожению расстояний”. А еще она сделала возможным уничтожение *с* больших расстояний. “Телеграф покончил с самим временем”, – провозгласила газета *Daily Telegraph*^[548]. Покончил он и с мятежниками, которые посмели бросить вызов имперскому мироустройству.

Однако при всех стратегических преимуществах всемирной кабельной сети, которая так быстро разрасталась во второй половине XIX века, сама она оставалась почти полностью в частных руках. Мечту о трансатлантических телеграммах осуществляла не королева Виктория – этим занимался не боявшийся риска шотландец Джон Пендер. Уроженец долины озера Левен, Пендер нажил первый капитал на торговле хлопком в Глазго и Манчестере, и именно купеческий опыт – точнее, постоянное ожидание известий из-за океана – побудил его инвестировать средства вначале в *English and Irish Magnetic Telegraph Company*, а затем в *Atlantic Telegraph Company*. Второе капиталовложение обернулось в 1858 году неудачей: с большим трудом уложенный кабель лопнул по вине некомпетентного старшего электрика, который решил улучшить передачу сообщений, увеличив напряжение более чем в три раза. Пендер вновь попытал счастья в 1865 году, когда *Atlantic Telegraph Co* слилась с новой *Telegraph Construction and Maintenance Company*. Вторая беда случилась, когда лучше изолированный, но более тяжелый кабель вырвался из рук рабочих и пошел на дно посередине Атлантического океана. Не отчаиваясь, Пендер и его партнер, английский инженер-путеец Дэниель Гуч, учредили новую компанию – *Anglo-American Telegraph Company Ltd.*, – чтобы она довершила начатое. Наконец, с третьей попытки дело было сделано. Гуч, который лично наблюдал за прокладкой кабеля с могучего “Грейт-Истерна”, крупнейшего парохода того времени, рассказывал, с каким ликованием встречали его и его команду в Ньюфаундленде, когда они доплыли до Хартс-Контента:

Там бурлило самое шумное возбуждение, какое я когда-либо наблюдал. Все просто с ума сходили от радости – люди прыгали в воду и кричали так громко, словно хотели, чтобы их слышали в Вашингтоне. Как только кабель коснулся суши, с берега подали сигнал, и все корабли в бухте произвели салют. Не знаю, сколько пушек выстрелило, но грохот был несусветный, а от дыма остальные корабли вскоре скрылись из виду. Отзвук от орудийных залпов, прокатившийся по холмам вокруг бухты, получился очень торжественный... Как только его [кабель] дотянули... до деревянного

домика, который временно стал телеграфной конторой... последовала еще одна сцена бурного излияния чувств. Старые кабельщики, похоже, готовы были съесть этот конец кабеля, а один рабочий действительно засунул его в рот и зачмокал^[549].

А через два дня Гуч увидел, как рабочие из его команды читают оттелеграфированную передовицу в *Times*, где хвалили их успешную работу. «Потом один из них сказал другому: «Слушай, Билл, мы, выходит, благодетели нашего народа». – «Ага, – ответил тот, – так и есть», – и зашагал, расправив плечи, подняв голову и сделавшись сразу дюйма на два выше»^[550].

Если в 1868 году британское правительство национализировало телеграфную сеть внутри страны, то попыток национализировать трансатлантические линии оно не предпринимало. Пендер не терял времени даром. В 1869 году он учредил *Falmouth, Gibraltar and Malta Telegraph Company*, *British – Indian Submarine Telegraph Company* и *China Submarine Telegraph*. Всего через несколько лет телеграф связал Лондон с Мальтой, Александрией, Бомбеем, Сингапуром и Гонконгом. К 1872 году две другие компании Пендера уже соединили Бомбей с Аделаидой – через Сингапур. Объединив главные элементы своей растущей кабельной империи в единую *Eastern Telegraph Company*, Пендер продолжал неудержимо расширять свое дело: в 1874 году он связал Лиссабон с бразильским Пернамбуку, а в 1880-х годах добрался и до Африки. Всего Пендер основал 32 телеграфные компании, большинство которых в итоге стали дочерними компаниями *Eastern Telegraph Company*. На момент своей кончины в 1896 году Пендер контролировал компании, которым принадлежала треть мировой телеграфной системы (см. вкл. № 15).

Изобретатели экспериментировали. Предприниматели вкладывали деньги и соревновались между собой. Правительства проявляли стратегический интерес. А международные организации – вроде основанного в 1865 году Международного телеграфного союза – подстраивались под обстоятельства или хотя бы считались с ними^[551]. Но в итоге в международной телеграфии сложилась фактически частная дуополия: после 1910 года американская компания *Western Union*, приобретая *Anglo-American*, контролировала трансатлантическую связь, а *Eastern Telegraph* управлял телеграфным сообщением в остальных частях света. Центром всей этой системы оставался Лондон, но у британского правительства не было необходимости владеть самой телеграфной

сетью – точно так же, как не было ему нужды и управлять напрямую индийскими княжествами. Оно вполне могло положиться на Пендера – члена парламента от либералов, а позже от либерал-юнионистов с 1860-х годов, рыцаря-командора с 1882-го и рыцаря Большого креста ордена Св. Михаила и Св. Георгия с 1888 года: ведь это был абсолютно надежный человек, плоть от плоти той одержимой общественным положением британской политической элиты, которую так ядовито изобразил Тrollop в романе “Как мы теперь живем”.

Последовательность событий, которые привели от смелого предпринимательства Пендера к созданию всемирной телеграфной сети, была вполне типична для империализма XIX века. В чем-то похожий процесс привел к возникновению каучуковых плантаций в Малайе, ставших источником гуттаперчи, без которой было бы технически невозможно создать сеть океанских кабелей. Закупил семена каучуконосного дерева – гевеи бразильской (*Hevea brasiliensis*) – и прислал их в Лондон некий Генри Уикем, непредсказуемый искатель заморских приключений, неудачливый торговец и плантатор. Однако его начинание профинансировал сэр Клементс Маркем, секретарь Королевского географического общества, а затем настоящую научно-исследовательскую работу провели в Королевских ботанических садах Кью (директором которых был друг Чарльза Дарвина Джозеф Хукер) и в ботанических садах на Цейлоне и в Сингапуре. Наконец, вкладывали средства в огромные плантации в Юго-Восточной Азии, особенно в малайских государствах, частные капиталисты. Малайские колониальные власти подключились к делу лишь после Первой мировой войны, когда цены на каучук обрушились ^[552].

Таким образом, главным объяснением размаха и прочности Британской империи являлся принцип относительного невмешательства, которого придерживалась центральная власть. И хотя она по-прежнему придерживалась иерархической идеологии – действительно, викторианские создатели расовых теорий классифицировали человечество согласно умственным способностям, якобы унаследованным тем или иным народом, – на практике значительная часть власти делегировалась местным правителям и частным сетям. В отличие от недолговечной наполеоновой империи, Британская империя управлялась не гением-микроменеджером, а целым джентльменским клубом дилетантов, чье внешне непринужденное превосходство в

действительности опиралось на будничное и невидимое миру усердие местных представителей и туземных коллаборационистов. По этому принципу была устроена почти каждая составная часть британской экспансии – от финансов^[553] до миссионерской деятельности^[554]. “Головная контора” находилась в Лондоне, но “человек на месте” пользовался значительной самостоятельностью – пока не проявлял признаков “отуземливания”. В некоторых случаях британское влияние распространялось практически без каких-либо указаний из центра. Так случилось, например, с распространением системы взаимного обучения в начальных школах в Латинской Америке, где господствовал неофициальный империализм. Эту школьную систему, разработанную Джозефом Ланкастером и Эндрю Беллом для применения в Англии и Британской Индии, занесли в Южную Америку в XIX веке несколько испано-американских политиков, познакомившиеся с ней в Лондоне, и Джеймс Томсон, разъездной агент Общества британских и зарубежных школ и Британского и зарубежного библейского общества, а также испанского *Real Sociedad Económica de Amigos del País*^{[555][556]}.

Однако ближе к концу XIX века в экономике наметилась тенденция к увеличению прибыли за счет укрупнения масштабов производства. Почти в каждой из отраслей промышленности происходила заметная концентрация капитала: количество фирм сокращалось, зато немногие оставшиеся быстро разрастались. За некоторыми яркими исключениями (вроде банковского партнерства Ротшильдов), самые крупные фирмы переставали принадлежать родственникам своих основателей и управляться ими. На берегах реки Клайд, как и во всем индустриальном мире, преобладающей формой крупного предприятия стали акционерные общества^[557]. Эндрю Карнеги – шотландец, иммигрировавший в США, – стал “Бонапартом” в промышленности: носившая его имя сталелитейная компания стала одним из гигантов американского “позолоченного века”. В своем эссе, опубликованном в 1889 году, Карнеги писал:

Цена, которую общество платит за закон конкуренции, несомненно, высока, как высока цена, которую оно платит за дешевый комфорт и роскошь, но польза от этого закона еще выше, поскольку именно этому закону мы обязаны нашим успешным материальным развитием, влекущим за собой улучшение условий жизни. Но независимо от того, мягок закон или нет, нам следует сказать то же, что мы сказали об изменениях в условиях жизни

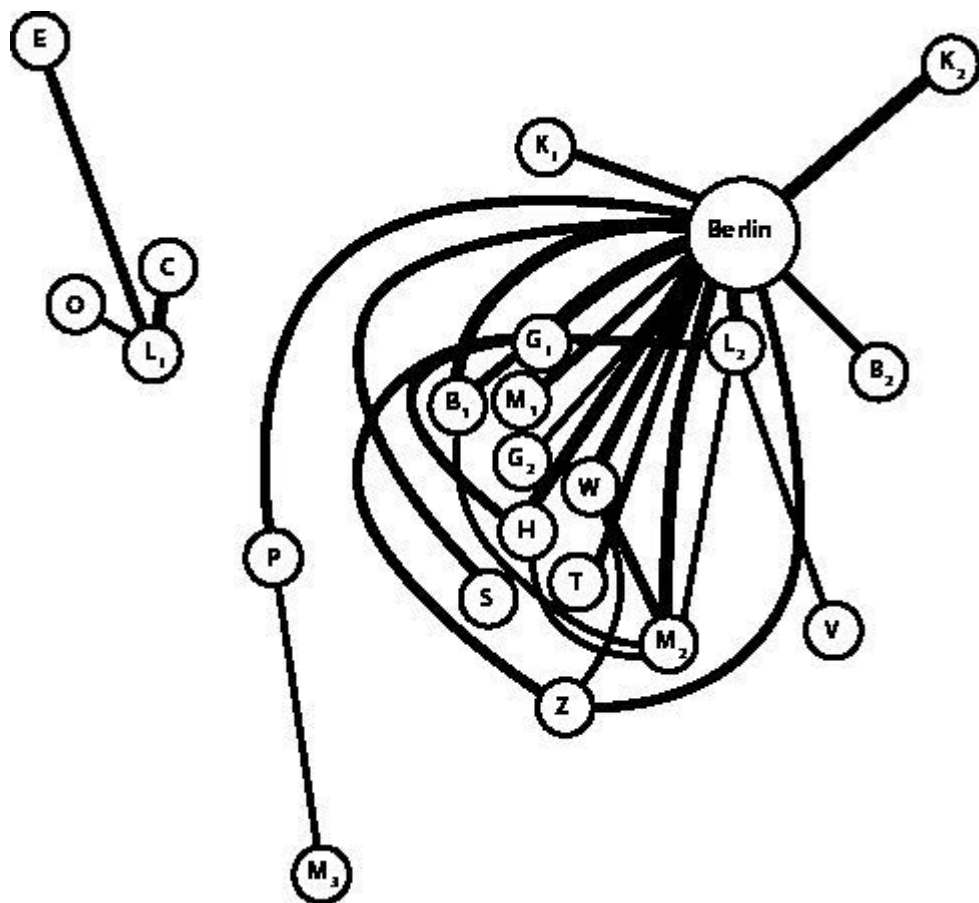
людей... Он существует, и мы не можем избежать его; замены ему не найдено; и хотя этот закон может оказаться жестоким по отношению к отдельной личности, он — наилучший для рода человеческого, поскольку обеспечивает выживание сильнейшего в любой сфере деятельности. Поэтому мы принимаем и приветствуем как условия, к которым нам нужно приспособливаться, огромное неравенство в окружающей нас обстановке, концентрацию деловой, промышленной и торговой мощи в руках немногих и закон конкуренции между ними как нечто не только полезное, но и необходимое для будущего прогресса человечества... Мы исходим, следовательно, из того положения дел, при котором соблюдаются наивысшие интересы человеческого рода, но которое неизбежно приносит богатство лишь немногим^{[558][559]}.

Сам Карнеги не собирался основывать династию — напротив, он презирал унаследованное богатство и почти все свое состояние отдал на благотворительные нужды. Его *Carnegie Steel Company*, сама возникшая в результате слияния в 1892 году, была через девять лет поглощена обширной (хотя и не монополистической) *United States Steel Corporation*. Концентрация капитала не ограничивалась телеграфной и сталелитейной отраслями. Международная финансовая система разрасталась и уже напоминала безмасштабную сеть: огромная доля финансового богатства сосредоточивалась всего в нескольких финансовых центрах, из которых “первым среди равных” оставался Лондон^[560]. То же самое наблюдалось и в новостной сфере. На первый взгляд казалось, что в мире бесчисленное множество местных газет, но при ближайшем рассмотрении выяснялось, что сбором и распространением национальных и международных новостей распоряжается картель из трех европейских информационных агентств — *Reuters*, *Havas* и *Wolff's Telegraphisches Bureau*, — а подавляющее большинство газет просто перепечатывает их материалы^[561].

К концу XIX века даже в академическом мире начали появляться признаки централизации. Свободная международная сеть времен научной революции значительно изменилась с тех пор, как обрели особую важность университеты Германии^[562]. Немецкая система образования, похоже, взяла за образец прусскую армию с ее жестким иерархическим устройством. В гимназиях, престижных средних школах, мальчиков рассаживали в классной комнате в соответствии с их успеваемостью^[563]. В крупных университетах — в Гёттингене, Гейдельберге, Йене, Марбурге, Тюбингене —

профессора нещадно муштровали студентов. С точки зрения повышения качества и увеличения количества публиковавшихся исследований в самых разных областях – от классической филологии до органической химии, – эта система давала хорошие результаты. Пускай по таким показателям, как площадь заморских колоний, Германия и отставала от Британской империи, зато в науке, а потом и в промышленности она уверенно продвигалась вперед.

Британская элита была относительно открытой. Аристократы вкладывали деньги в строительство железных дорог, становились членами правления банков, женили сыновей на наследницах еврейских или американских нуворишей. А жизнь в германском Втором рейхе, напротив, поражала тем, что отдельные черты экономической модернизации просто прилипли, как нечто инородное, к старому доиндустриальному общественному укладу, в котором, судя по всему, хозяином по-прежнему оставалось юнкерство – прусское помещичье сословие. Работы, посвященные сельским общинам XIX века в Центральной и Восточной Европе, напоминают нам о том, что для очень большой доли европейского населения даже в 1850 году современность в лучшем случае лишь брезжила на горизонте, – и чем дальше на восток продвигался исследователь, тем глубже он проваливался в прошлое. Немецкие общины за пределами рейха унаследовали тот мир, с которым лондонцы были знакомы разве что по сказкам братьев Гримм^[564]. В австрийской долине реки Гайль в брачных обычаях и родословных, как и в XVI веке, наблюдалось преобладание “структурной эндогамии”^[565]. В земельном владении Пинкенхоф в Ливонии (российском Прибалтийском крае) в деревянной усадьбе, под одной крышей, жило несколько родственных семей, и их работой в полях руководил назначенный “голова”^[566]. Однако реальность была такова, что индустриализация и демократизация, с которыми большинству немцев довелось соприкоснуться с момента основания Второго рейха в 1871 году, серьезно потрясли основы старого миропорядка. В романе Теодора Фонтане “Штехлин”, опубликованном в 1899 году, стеклодувная фабрика в Глобсове олицетворяет грядущий крах старинного сельского уклада в бывшей Бранденбургской марке. Старый помещик Дубслав фон Штехлин сетует:



Илл. 19. Сети научной практики XIX века: растущее влияние германских университетов. График показывает расположение городов, в которых работали ведущие ученые столетия. В1 – Бонн, В2 – Бреслау (Вроцлав), С – Кембридж, Е – Эдинбург, G1 – Гёттингген, G2 – Гисен, Н – Гейдельберг, К1 – Киль, К2 – Кёнисберг, L1 – Лондон, L2 – Лейпциг, М1 – Марбург, М2 – Мюнхен, М3 – Монпелье, О – Оксфорд, Р – Париж, S – Страсбург, Т – Тюбинген, V – Вена, W – Вюрцбург, Z – Цюрих.

Они... отправляют [свои перегонные кубы] на другие фабрики и там сразу же принимаются перегонять в этих зеленых колбах всякие ужасные жидкости: соляную кислоту, серную кислоту, дымящуюся азотную кислоту... И каждая капля прожигает дырку – и в льняном, и в хлопковом полотне, и в коже, во всем. Они все прожигают и опаляют. И как я подумаю о том, что мои глобсовцы тоже к этому причастны, что и они с большим удовольствием поставляют средства для этого великого и всеобщего мирового возгорания [*Generalweltanbrennung*], – о, *meine Herren*, мне становится больно^[567].

Сети нотаблей – *Honoratioren*, чьи семьи из поколения в поколение составляли костяк местной власти^[568], начали

подвергаться нападкам не только со стороны новых национальных политических партий, но и со стороны разраставшихся чиновничьих аппаратов, возникших на всех уровнях – местном, региональном и государственном. Великий социолог Макс Вебер (чьи старания сделаться тевтонским профессором идеального типа закончились нервным срывом) видел в этом общем движении вперед рациональное осмысление политического процесса и “демистификацию” мира. Но в то же время он отмечал, что в этом новом политическом ландшафте, все решительнее выпутывавшемся из традиционных сетей, большая власть достанется демагогам.

Глава 30

Тайпинское восстание

Пока европейские империи расширяли свои железные, стальные и каучуковые сети, протянувшиеся по суше и по океанскому дну, уцелевшие имперские династии восточного мира, прежде всего Османская и Цин, пытались решить сложный вопрос: в какой мере им следует подражать Западу? Власть в Цинской империи была устроена совершенно иначе, чем в западных империях. В Китае местные органы управления по-прежнему опирались на сети родственных связей, как это было уже много веков^[569]. Однако, о чем уже упоминалось в главе 11, чиновников принимали на имперскую службу лишь по результатам обязательных государственных экзаменов, оценивавших их личные способности. Таким образом, чиновники не должны были питать верноподданнических чувств ни к кому, кроме высочайшей особы – самого императора^[570].

Цинский Китай справедливо называли бюрократической монархией, которой управляли “люди, чья карьера внутри иерархического порядка измерялась согласно критериям престижа и могущества, подвижности и надежности”^[571]. Кошмаром всех правящих династий, сменявших друг друга, оставались народные бунты, которые время от времени вспыхивали в провинциях, распространяясь сетевыми способами. В среде конфуцианских чиновников сложилась даже особая традиция: воображать некую угрозу, которая постоянно исходит от призрачного “Общества белого лотоса” – тайного объединения буддистов-мирян, истоки которого будто бы восходили еще к кружку знаменитого монаха Хуэйюаня, созданному в 402 году н. э. На протяжении Юаньской, Минской и Цинской эпох сохранялась тенденция отождествлять любые отклонения от государственной идеологии или с “учениями белого лотоса”, “ересями” (*сецзяо*), или с христианством (*тяньчжуцзяо*)^[572]. И подобно тому, как революционную Францию охватил в 1789 году Великий страх, всего двумя десятилетиями ранее всю китайскую империю захлестнула паническая боязнь “похищения душ”: крестьяне обвиняли не только нищих и бродячих монахов, но и государственных чиновников и даже самого императора в том, что они при помощи колдовства похищают человеческие души^[573]. Император Цяньлун сумел обратить эту

панику себе на пользу и укрепить собственную власть в противовес имперскому чиновничьему аппарату. Однако маниакальный страх перед похитителями душ вскрыл опасную слабость системы, а именно то, что государственных чиновников в стране слишком мало (по европейским меркам) и что законность их власти вызывает у народа сомнения. В XIX веке система оказалась достаточно крепкой для того, чтобы расширить власть Цинской империи на север и на запад, заметно увеличив историческую территорию Минской династии и ее предшественниц^[574], но слишком слабой, чтобы оказать сопротивление европейцам, и особенно британцам, чьи поползновения начались в 1840-х годах. У нее хватило сил лишь на то, чтобы пережить внутренний кризис, затмивший и страхи перед “белым лотосом”, и эпизоды с “похищением душ”: Тайпинское восстание.

В Европе в XIX веке, как мы уже говорили, жизнь протекала относительно мирно. В Китае все было иначе. По любым меркам, гражданская война, раздиравшая Цинскую империю между 1850 и 1865 годами, стала крупнейшим вооруженным конфликтом XIX столетия: прямо или косвенно она повлекла гибель огромного количества людей – от 20 до 70 миллионов, – истребив примерно десятую часть всего населения Китая. Эта война была намного разрушительнее, чем даже война Тройственного союза Аргентины, Бразилии и Уругвая против Парагвая (1864–1870) или чем Гражданская война в США (1861–1865) – соответственно, второй и третий по масштабу конфликты того же века. Разрушению подверглись сотни китайских городов. Кровавые расправы с мирным населением и массовые казни пленников вошли в норму. А по пятам за сражениями следовали эпидемии (особенно вспышки холеры) и голод. Восстание тайпинов имело тройное значение для истории сетей. Во-первых, восстание вспыхнуло от искры культа, привлекавшего поначалу лишь представителей маргинальных групп, но затем вдруг стало распространяться вирусным способом и охватило значительную часть ханьского Китая – самое сердце страны. Во-вторых, внешнее (опять-таки преимущественно британское) влияние и послужило предпосылкой конфликта, и помогло позднее разгромить мятежников. В-третьих, катастрофические последствия гражданской войны привели к настоящему китайскому исходу: эмиграция была сопоставима по масштабам с нынешним оттоком людей из беднейших частей Европы. А это, в свой черед, спровоцировало менее кровавый, но

в чем-то и более значительный популистский бунт в США^[575] и в других западных странах. Таковы были незапланированные последствия возросшей связанности мира.

Восстание началось в провинции Гуанси, далеко к югу от цинской столицы, в начале 1851 года, когда 10-тысячная армия повстанцев разбила правительственные войска в городке Цзиньтянь (нынешнем Гуйпине). Первое время главная роль принадлежала чжуанам – этническому меньшинству, которое составляло до четверти всей тайпинской армии. Из Гуанси мятежники двинулись на Наньцзинь (Нанкин), который Хун Сюцюань, самозванный “небесный царь”, сделал своей столицей. В 1853 году они завладели уже всей долиной Янцзы. Предводители восстания были чужаками. Хун принадлежал к народности хакка (что буквально значило “пришлые семьи”) – подгруппе народа хань, которая населяла Южный Китай и возделывала малоплодородные земли. Хун четырежды провалил государственные экзамены на пост провинциального чиновника. Другой вождь, Ян Сюцин, был торговцем хворостом из Гуанси.

В истории тайпинов вполне можно увидеть народное восстание против чужеземной (маньчжурской) династии в лице императора Сяньфэна (правил в 1850–1861 годах) и вдовствующей императрицы Цыси (1835–1908). Из-за отказа носить маньчжурские прически (с выбритым лбом и косичкой на затылке) повстанцев-тайпинов прозвали “длинноволосыми” (*чанмао*). Своим штабом они избрали Наньцзин, потому что когда-то он был столицей Минской империи. Цели повстанцев в чем-то являлись революционными – например, они требовали “совместного владения собственностью” и равноправия для женщин (и в числе прочего хотели запретить бинтование ног^[576]). Однако трудно поверить в то, что тайпинское движение добилось бы таких успехов, если бы не внешние влияния, которые одновременно ослабляли цинскую власть. Во-первых, Ост-Индская компания занималась агрессивным импортом опиума в Китай. Вторым фактором стало оружие, которым европейцы торговали не менее настойчиво. Абсолютную беспощадность британской политики можно оправдать разве что с большой натяжкой. “Действуя без приглашения и не всегда самыми мягкими методами, – признавал лорд Элгин^[577], – мы сломали преграды, за которыми эти древние народы пытались скрыть от внешнего мира свои тайны, а быть может (во всяком случае, в Китае), и то ветхое гнилье, что осталось от их выдохшихся цивилизаций”^[578].

Несколько уважительнее к китайским традициям относились миссионеры-протестанты – люди вроде Роберта Моррисона из Лондонского миссионерского общества, приехавшего в Кантон (Гуанчжоу) в 1807 году, и Уильяма Милна, его коллеги по первому переводу Библии на китайский язык, опубликованному в 1833 году. Однако влияние миссионеров оказалось не менее пагубным, чем деятельность торговцев наркотиками и оружием. Милн обратил в христианство Хуна Сюцюаня, и у того на фоне нервного срыва после проваленных экзаменов начался религиозный бред. Возомнив себя младшим братом Иисуса Христа, он создал движение под названием “Общество поклонения Богу”, а себя нарек правителем “Небесного государства великого благоденствия” (*Тайпин Тяньго*). Товарищ Хуна, Ян Сюцин, объявлял себя “гласом Божиим”. Другой лидер повстанцев, Хун Жэньгань, воспринял крещение от шведальютеранина Теодора Хамберга – одного из тех миссионеров, которые позже опубликовали рассказ о Тайпинском восстании. Советником при Хуне Сюцюане и Хуне Жэньгане сделался американский миссионер, баптист Иссахар Джейкокс Робертс. Еще одним миссионером, сочувствовавшим бунтарям, был Чарльз Тейлор из Американской южной методистской епископальной миссии^[579].

Словом, Тайпинское движение стало мутантной формой христианства, которая восприняла не только некоторые элементы языка христиан, но и некоторые христианские обряды и принципы – прежде всего крещение и иконоборчество. Однако миссионеры не могли предвидеть, с каким пылом их азиатская паства подхватит самые воинственные черты их религии, словно сознательно вознамерившись разыграть в лицах Тридцатилетнюю войну – только уже в Китае. Девиз, висевший в тайпинском тронном зале, недвусмысленно гласил: “Бог повелел: истребить врага и объединить все горы и реки в одно царство”. Все это как нельзя лучше доказывало правоту императора Юнчжэна, который в 1724 году приказал изгнать христиан предыдущей миссионерской волны – в основном иезуитов, которые заявили в Китай в XVII веке. Издалека Тайпинское движение легко было принять за революцию вроде тех, что охватили Европу в 1848 году. При ближайшем же рассмотрении оно обнаруживает гораздо больше сходства с более ранними религиозными войнами. В чем-то Хун Сюцюань представлял собой более удачливого китайского собрата Иоанна Лейденского, вождя анабаптистов.

Легко забыть о том, как близко подошли тайпинские вожди к осуществлению своей мечты. В 1860 году войска тайпинов захватили Ханчжоу и Сучжоу. Им не удалось захватить Шанхай, а затем пришлось отступить в Наньцзин – во многом из-за нового иностранного вмешательства. В августе 1860 года Шанхай защищали отряды Цинской императорской армии, а также западные офицеры под командованием американца Фредерика Таунсенда Уорда. После смерти Уорда “вечно победоносное войско” повел к череде побед британский военачальник Чарльз “Китайский” Гордон. Лишь в августе 1871 года было окончательно разбито последнее тайпинское войско во главе с Ли Фучжуном. В чем-то этот исход противостояния напоминал разгром сил конфедератов северянами в американской Гражданской войне. В обоих случаях британские политики всерьез подумывали о том, чтобы как-то вмешаться в боевые действия на стороне восставших – или хотя бы признать мятежников воюющей стороной. И в обоих случаях они в итоге поддержали статус-кво. Если говорить о Гражданской войне в США, то такое решение отчасти определилось явным экономическим превосходством Севера. В Китае же перевесило другое соображение: одержав победу во Второй опиумной войне (1856–1860) и унизив имперское правительство в Пекине, Британия сочла, что теперь выгодно сохранить Цинскую империю в качестве некой слабой конструкции, которой легко будет в дальнейшем помыкать, держа в неформальном экономическом подчинении. Обличительные слова лорда Пальмерстона, заявившего, что тайпины “восстали не только против императора, но и против всех законов – человеческих и божеских”, были продиктованы отнюдь не великим почтением к династии Цин, а мыслью о том, что даже от выдохшихся иерархий бывает польза и что, если хорошенько подумать, они предпочтительнее революционных сетей.

Глава 31

“Пускай китайцы убираются”

Империалистские сети транспортного и информационного сообщения, находившиеся в основном в частных руках, оставались относительно открытыми. В 1860–1870-х годах доступ к океанским лайнерам и телеграфным станциям регулировался только ценами и больше ничем, а благодаря техническому прогрессу цены на пассажирские билеты и на отправку телеграмм неуклонно снижались. Между тем зарубежные новости стали доступны всем, кто мог прочитать газету – или просто послушать, как ее читают вслух другие. Это было очень важно: ведь это означало, что по всему миру у людей, живших в нужде, появились новые возможности, каких были лишены их предки. Теперь можно было узнать о чужих краях, где живется лучше. И даже поехать туда.

Как правило, одной бедности еще мало для того, чтобы начались массовые переселения народов. Для них нужны политические потрясения на родине и представления о более спокойном месте, куда позволяют перебраться средства. В течение сотни лет, приблизительно с 1840 по 1940 год, на двух противоположных концах Евразии – в Европе и в Китае – проживало около 150 миллионов человек, у которых возникли обе эти предпосылки. Революции, войны и сопутствующая нищета совпали по времени с резким падением цен на транспортные перевозки. В результате случился исход – точнее, целых три исхода, сопоставимых друг с другом по масштабам. Больше всего известно о массовой миграции (55–58 миллионов человек) из Европы в обе Америки, главным образом в США. Меньше известно об огромном оттоке китайцев и индийцев в Юго-Восточную Азию, в бассейн Индийского океана и в Австралазию (48–50 миллионов), а также о переселении русских и других народов России в Маньчжурию, Сибирь и Центральную Азию (46–51 миллион человек)^[580]. И тут кроется одна историческая загадка: почему в США не хлынуло больше китайцев? Пусть Тихий океан значительно шире Атлантического, проезд из Шанхая в Сан-Франциско не был неподъемно дорогим, а в Калифорнии, как раз переживавшей деловой бум, открывалось множество финансово привлекательных экономических перспектив. Ничто не помешало бы группам китайских иммигрантов занять такую же нишу на западе США, какие на Восточном побережье

заняли группы ирландцев и итальянцев, а потом им вослед на землю обетованную потянулось бы все больше новых переселенцев. Загадка эта решается просто: при помощи политики. Если бы не поднялась волна популистского недовольства китайской иммиграцией в США, то, можно не сомневаться, приток людей из-за Тихого океана был бы гораздо более мощным – и нынешняя доля американцев с китайскими корнями в населении страны тоже была бы соразмерно большей.

Сегодня мало кто помнит имя Дениса Кирни, лидера Рабочей партии Калифорнии и автора лозунга “Пускай китайцы убираются!”. Кирни, сам иммигрировавший в США из Ирландии, входил в движение нативистских партий и клубов “против кули”, которые стремились положить конец китайской иммиграции в США. Доклад Совместного особого комитета по расследованию китайской иммиграции, сделанный в 1877 году, хорошо передает настроения того времени. “Тихоокеанское побережье со временем должно стать либо монгольским, либо американским” – такова была позиция комитета. Далее говорилось, что китайцы привезли с собой все привычки, нажитые при деспотическом правительстве, – лгать в суде, уклоняться от уплаты налогов, – а также “недостаточный объем мозга... при котором неоткуда взяться движущей силе для самоуправления”. Вдобавок китайок “покупают и продают для разврата, а обращаются с ними хуже, чем с собаками”, а еще китайцы “жестоки и равнодушны к больным близким”. Предоставление гражданства таким низшим существам, говорилось в докладе комитета, будет означать “практическое уничтожение республиканских институтов на Тихоокеанском побережье”^[581].

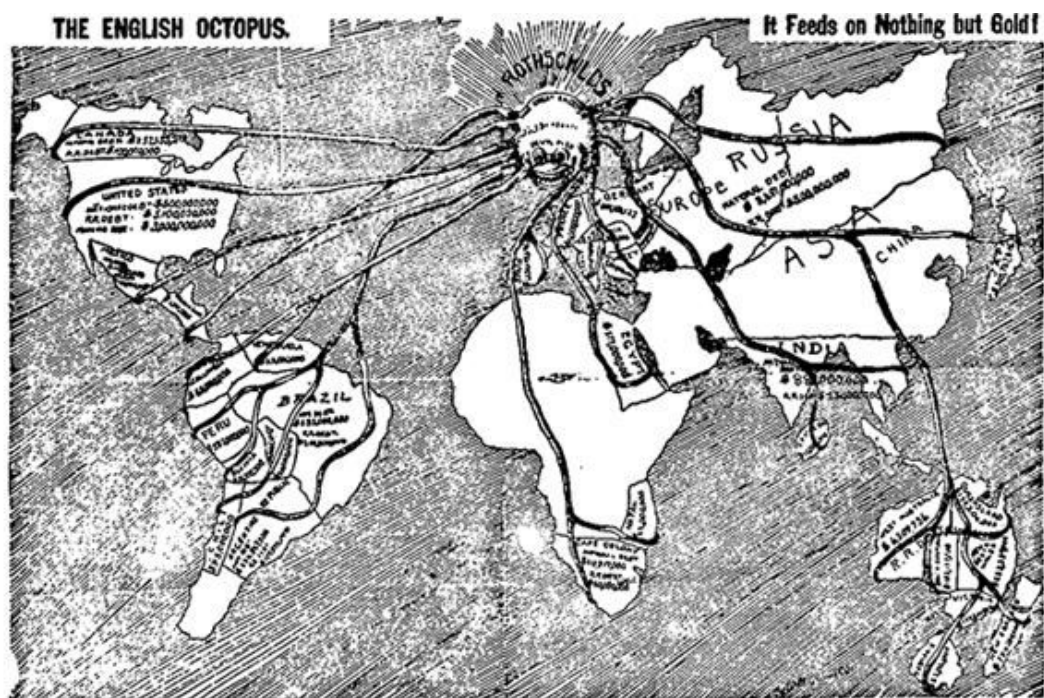
Излишне и говорить, что в действительности все обстояло не так. Согласно органам управления, представлявшим китайское население Сан-Франциско (они назывались “Шесть компаний”), многое свидетельствовало о том, что китайская иммиграция являлась благом для Калифорнии. Китайцы не только поставляли рабочую силу для быстро развивавшихся железных дорог и крестьянских хозяйств этого штата – они еще, как правило, изменяли в лучшую сторону районы, где поселялись. С другой стороны, не было доказано, что непропорционально большое количество китайцев заняты азартными играми или проституцией; напротив, статистика показывала, что ирландцы гораздо чаще китайцев обременяли местную казну, попадая в городские больницы и богадельни^[582]. Тем не менее мощная коалиция рабочих и

ремесленников, мелких предпринимателей и фермеров (стремившихся сбросить с себя бремя налогов и переложить его на крупных дельцов и богачей) охотно примкнула к стану Кирни. Как отметил один проницательный современник, его идеи отчасти оказались столь привлекательными потому, что он не просто ругал китайцев, а критиковал крупные паромные и железнодорожные компании, которые богатели, нанимая китайцев на работу, а еще, конечно же, коррумпированный двухпартийный истеблишмент, который заправлял политикой в Сан-Франциско:

Ни демократы, ни республиканцы не сделали и, скорее всего, не сделают ничего для того, чтобы устранить эти недостатки или облегчить участь людей. Они только ищут (как думают некоторые) для самих себя теплое местечко или шанс получить работу, и их голоса всегда сможет купить мощная корпорация. Рабочий люд должен сам помогать себе; должны возникнуть новые методы и новая отправная точка... Старые партии, хоть обе на всех своих собраниях винят во всем китайскую иммиграцию и стремятся ввести против нее законы, сами же ни в чем ей не препятствуют... Словом, все здесь на руку демагогу. Судьба послала калифорнийцам демагога самого низкого пошиба, крикливого и самоуверенного, но лишенного как политической дальновидности, так и созидательного таланта^[583].

Пусть Кирни действительно не обладал ни дальновидностью, ни “созидательным талантом”, однако нельзя отрицать, что он и ему подобные все же многого добились. Начиная с 1875 года, когда вышел закон Пейджа, запрещавший иммиграцию азиатским женщинам “для распутных или безнравственных занятий”, американские законодатели продолжали без устали гнуть эту линию, пока китайская иммиграция в США окончательно не прекратилась. Акт об исключении китайцев (1882) приостановил иммиграцию китайцев на десять лет, ввел “свидетельства о регистрации” для уезжающих рабочих (фактически разрешения на повторный въезд), потребовал от китайских чиновников проверять путешественников из Азии и впервые в истории США предусмотрел состав преступления в нелегальной иммиграции, а заодно и возможность насильственного выдворения как часть положенного за него наказания. Акт Форана (1885) запретил “труд иностранцев по контракту”, что положило конец практике, принятой в американских корпорациях, нанимать китайских кули (чернорабочих) и оплачивать их проезд в США. Законы, проведенные в 1888 году, запретили въезд в США всем китайцам,

кроме “учителей, студентов, купцов или путешествующих для своего удовольствия”. В общей сложности с 1875 по 1924 год было издано около полутора десятков законов и постановлений, призванных вначале ограничить, а затем и полностью запретить китайскую иммиграцию^[584].



Илл. 20. “Английский осьминог: питается одним только золотом!” Антитротильдовская карикатура. 1894 год.

Урок, который можно извлечь из этого эпизода, очень прост. Точно так же, как массовая миграция людей в конце XIX века стала возможной благодаря глобальным сетям связи и транспорта^[585], очень скоро возникли политические – популистские и нативистские – сети, готовые оказывать сопротивление этому явлению. При всей неотесанности и напыщенности Дениса Кирни и его союзников, им удалось фактически оцепить границу США вдоль Тихоокеанского побережья. Одна карикатура того времени даже изображала, как они возводят стену, огораживая гавань Сан-Франциско (см. вкл. № 16). В 1850–1860-х годах целых 40 % всех китайских эмигрантов выезжали за пределы Азии, хотя в США их прибывало не так уж много. (А между 1870 и 1880 годами китайских иммигрантов въехало 138 941 – всего 4,3 % от общего количества иммигрантов, то есть мизерная доля по сравнению с огромными толпами европейцев, прибывавших из-за Атлантики^[586].) Акт об исключении

китайцев стал гарантией того, что поток китайских иммигрантов не будет расти дальше – как неизбежно бы рос в противном случае, – а со временем пойдет на убыль и вовсе иссякнет.

К концу XIX века европейские державы во главе с Британской империей успешно претворили глобализацию в жизнь. Новые технологии – перевозки на паровой энергии и телеграфное сообщение – уничтожили расстояние, и перемещение товаров, людей, капиталов и информации между странами достигло небывалых объемов. Однако сети, возникшие в имперскую эпоху, – в частности, миграционные сети, с такой быстротой создававшие свои “чайнатауны” и “маленькие Италии” во многих крупных городах по всему миру, – непредвиденным образом повлияли на местную политику разных стран, принимавших переселенцев. Мы объединяем в общем понятии “популизм” то негативное отношение к свободной торговле, свободной миграции и международному капиталу, которая в ту пору четко обозначилась в американской и европейской политике. Однако в каждой стране, да и в каждой части света, популизм приобретал свои характерные черты. Если в 1870-х годах на Западном побережье США предметом возмущения стали китайцы, то на Восточном побережье поношению подвергались ирландцы, а популисты в Германии и во Франции направляли свою ненависть на евреев, переселявшихся на запад из Восточной Европы. В 1890–1900-х годах, когда волна еврейской эмиграции из российской черты оседлости достигла США, вслед за евреями Атлантику пересек и антисемитизм. Как ни странно, противники иммиграции одновременно и возмущались нищетой новых приезжих, и преувеличивали влияние их мнимых лидеров. Послушать популистов, так китайцы в Сан-Франциско – и жалкие голодранцы, и монополисты прачечного дела. Евреи в Нью-Йорке – одновременно и паршивые нищebroды, и всемогущие воротилы мировой финансовой системы. Лучше всего иллюстрирует эту возросшую веру во всемогущую сеть, раскинутую евреями-финансистами, карикатура “Английский осьминог”, которая появилась в 1894 году в популистской брошюре “Финансовая школа монеты”. Автором ее был Уильям Г. Харви, противник золотого стандарта и советник популиста-подстрекателя Уильяма Дженнингса Брайана – кандидата в президенты от демократов, трижды проваливавшегося на выборах. На этой карикатуре имперская сеть была представлена так, чтобы распалить не только воображение антисемитов (см. илл. 20).

Глава 32

Южно-Африканский Союз

Распространено ошибочное представление о том, что популистская реакция конца XIX века имела какое-то отношение к истокам Первой мировой войны. В действительности между ними не было ни малейшей связи. Катализатором популистских движений по обе стороны Атлантического океана стал финансовый кризис 1873 года. С точки зрения электорального успеха популизм в целом исчерпал себя к середине 1890-х годов. К тому времени популистскую тематику и проблематику – протекционизм, ограничение иммиграции, биметаллизм, антисемитизм – частично или полностью подхватили другие, более традиционные политические партии (в США это были, конечно же, демократы, а в Германии консерваторы). Изначально популисты вовсе не были империалистами – напротив, они усматривали в империи измышление ненавистных им космополитических элит и совершенно верно подмечали тесную связь между империализмом, свободной торговлей, свободной миграцией, свободным движением капитала и золотым стандартом. Беда популистов была не в том, что они ставили неправильный диагноз: в глобализированном, опутанном сетями мире неравенство действительно возрастало, так как рабочие-иммигранты удешевляли труд местных работников, а прибыль от высокой концентрации промышленного и финансового капитала текла в карманы малочисленной элиты. Беда была в том, что предлагавшиеся популистами лекарства оказывались слабодействующими: как и введение пошлин на импортные товары, исключение китайских мигрантов практически никак не сказалось на жизни американских рабочих. Между тем нападки популистов на золотой стандарт почти прекратились, так как открытие новых огромных залежей золота – прежде всего в Южной Африке – ослабило то давление дефляционных сил, которое ранее способствовало подъему популизма, снижая цены на сельскохозяйственную и иную продукцию. На рубеже веков инициатива перешла от популистов к прогрессивным партиям, или социал-демократам, как их называли в Европе, где профсоюзы рабочих были гораздо более восприимчивы к теории Карла Маркса и его последователей. Средства, предлагавшиеся прогрессивными деятелями – в том числе повышение прямого налогообложения,

выплата государственных пенсий, упорядочение рынка труда, ослабление частных монополий и передача акций предприятий в общественное пользование, – оказались в итоге гораздо более эффективными и политически востребованными, чем средства, которые ранее предлагали популисты.

Для всех мировых элит уверенное наступление левых в политике оказалось гораздо более тревожным знаком, чем прежняя волна популизма. Особенно настораживали их утопические секты экстремистского толка, в изобилии расцветшие на исходе века. Помимо марксистов, это были разных мастей анархисты и националисты, которые, заявляя о себе повсюду – от Корка до Калькутты, от Сараева до Сайгона, угрожали цельности самих империй. Однако столичные интеллектуалы имперской эпохи считали, что выход из тупика существует. Одни толковали о “либеральном империализме”, другие – о “социальном империализме”, но на рубеже веков довольно широко распространилось представление о том, что империи могут поставить перед собой более возвышенную цель, нежели эксплуатация убогих окраин. Если только империя начнет служить интересам трудящихся классов самого имперского ядра, тогда различные опасности, угрожающие ей, улягутся сами собой.

Альфреда Милнера никак нельзя было назвать типичным спасителем империи. Милнер, сын профессора англо-немецкого происхождения, преподававшего английский язык в Тюбингенском университете, сам сформировался как личность прежде всего в оксфордском Бейлиол-колледже, где изучал древние языки и историю под руководством Бенджамина Джоуитта и где подружился с историком экономики Арнольдом Тойнби^[587]. Из него мог бы получиться блестящий университетский ученый, но он предпочел перебраться в Лондон, попробовал себя в юриспруденции, журналистике и политике, а потом обрел наконец свое подлинное призвание в бюрократском царстве. Вначале он сделался личным секретарем либерал-юниониста Джорджа Гошена, затем – помощником министра финансов в Египте, а потом стал председателем Управления налоговых сборов Великобритании и занимал этот пост в течение пяти лет. Позднее Герберт Асквит охарактеризовал Милнера так: “экспансионист, до известной степени протекционист с склонностью к полусоциалистическим настроениям в вопросах, касающихся общества и промышленности”^[588]. Не в бровь, а в глаз. При этом, как ни

странно, после 1897 года Милнер вдруг превратился в доверенное лицо Сесила Родса – одного из самых беспощадных капиталистов в истории Британской империи, человека, который не проводил четких различий между интересами собственной бизнес-империи и интересами Британской империи в Африке, а еще любил пофантазировать о том, как лучше всего продвинуть и те и другие. Если верить Куигли, в 1891 году Родс создал “Совет трех” – вместе с журналистом Уильямом Т. Седом и аристократом, близким к королевскому двору, Реджинальдом Бреттом, позднее виконтом Эшером. Этот триумvirат должен был управлять “Обществом избранных”, которому, в свой черед, предстояло опираться на “Ассоциацию помощников”^[589]. Подобные проекты вполне согласовывались с черновым завещанием Родса, где Натаниэлю Ротшильду – первому из Ротшильдов, возведенному в сословие пэров, – предписывалось учредить в память Родса некое империалистское подобие иезуитского ордена^{[590][591]}.

Милнера назначили Верховным комиссаром Южной Африки в 1897 году – после кризиса, последовавшего за неудавшимся рейдом Джеймсона на республику африканеров (буров) в Трансваале^[592]. По рассказу Куигли, Милнер набрал себе в штат – так называемый детский сад – восемнадцать человек, и они составили костяк одной из самых могущественных сетей XX века^[593].

Реальность была куда менее сенсационной. Первыми сотрудниками штата Милнера стали Роберт Брэнд, Лайонел Кертис, Джон Дав, Патрик Дункан, Ричард Фитем, Лайонел Хиченс, Дж. Ф. (Питер) Перри и Джефффри Робинсон (позднее Досон). В 1905 году к ним примкнули Филип Керр (позднее маркиз Лотиан) и Дугал Малкольм. Другими сотрудниками Милнера были Лео Амери, Герберт Бейкер, Джон Бакен, Джордж Крейк, Уильям Маррис, Джеймс Местон, Бэзил Уильямс и Хью Уиндем, позднее четвертый барон Ликонфилд^[594]. Перри и Робинсона Милнер взял из министерства по делам колоний, где они уже работали с ним; Брэнда привлек Перри; Дункан ранее служил личным секретарем Милнера в налоговом управлении. Назначение многих других происходило благодаря старым оксфордским связям. Так, Брэнд, Кертис, Дав, Фитем, Хиченс, Керр, Малкольм, Уильямс и Уиндем были выпускниками Нью-колледжа – альма-матер самого Милнера. Собравшаяся команда работала, общалась и жила сообща – после 1906 года в пригороде Йоханнесбурга, в Мут-хаусе – здании,

спроектированном Гербертом Бейкером. Со стороны деятельность этой группы выглядела не более зловеще, чем затянувшиеся совместные каникулы компании оксфордских однокашников, которые даже на досуге не забывают об учебе^[595]. Обвинили Милнера в том, что он “завел собственный «детский сад»... для управления страной”^[596], его недоброжелатели в Кейптаунском парламенте. Хотя прозвание “детский сад” так и прижилось, сами молодые люди предпочитали именовать себя более романтично – “Круглым столом”, и именно такое название получил их журнал, когда большинство “рыцарей” вернулись в Лондон.



Илл. 21. Миф о сети лорда Милнера. Такому преувеличенному представлению о влиянии Милнера всеми силами способствовал историк из Джорджтаунского университета Кэрролл Куигли. Выбор шестиконечной звезды здесь неслучаен: религиозные ассоциации, связанные с гексаграммой (напр., “Звезда Давида” или “Печать

Соломона”), оживляют сухую конспирологию трепетным элементом мистики.

Для государственных служащих с наклонностями к наукам люди из круга Милнера обнаруживали удивительную готовность прибегать к силе для достижения своих целей. Сохранились убедительные доказательства того, что именно Милнер, приехав в Южную Африку, стал подгонять события, которые привели к войне. Уже в феврале 1898 года он пришел к заключению, что “из политических неприятностей нет иного выхода... кроме реформ в Трансваале или войны”^[597]. В письме, написанном в 1899 году, он излагает поставленные задачи следующим образом: “*Конечная цель* – самоуправление белого сообщества от Кейптауна до Замбези при поддержке черной рабочей силы, которой гарантируется *хорошее обращение и справедливое правление*. Флаг должен быть один – «Юнион Джек», но под ним – равноправие всех народов и языков”^[598]. При ближайшем рассмотрении истинные намерения Милнера состояли в том, чтобы затопить африканеров потоками иммигрантов из Соединенного Королевства и его “белых” доминионов. (“Если через десять лет, – писал он в 1900 году, – на каждых двух голландцев здесь будут приходиться два британца, то страну ждет мир и процветание. Если же на каждых двух британцев будет приходиться три голландца, нас ждут постоянные сложности”^[599].) Под обещанными на словах “хорошим обращением” и “справедливым правлением” Милнер в действительности подразумевал порабощение. В дневниковой записи за 1901 год Кертис обронил, что “будет очень хорошо, если негры последуют примеру краснокожих и вымрут сами – до нас”. Дав усматривал в “почти животном презрении и неприязни большинства белых” к чернокожим “здоровый признак. Это значит, что белые южноафриканцы не намерены низводить свою чистокровную породу до помеси”^[600]. А сам Милнер однажды определил свою цель так: сделать Южную Африку “страной белого человека... но не страной белых бедняков, а такой страной, где значительно возросшее белое население сможет жить в приличных и вольготных условиях”^[601].

Теперь мы видим, до какой степени режим Милнера заложил основы будущей одиозной системы апартеида. Но сам Милнер думал иначе. В его глазах порабощение чернокожих африканцев было наименее сомнительной из поставленных задач. Его

вожделенной целью было ослабление власти африканеров и “создание в Южной Африке [как он формулировал это в 1904 году] великого цивилизованного и прогрессивного сообщества от Кейптауна до Замбези, которое будет самостоятельно управлять своими делами, но при этом останется по собственному твердому желанию членом великого сообщества свободных наций, сплотившихся под британским флагом. К такой цели устремлены все мои старания”. Объединенная под британским господством Южная Африка, в свой черед, укрепит “великую идею имперского единства... [влившись в] группу государств, независимых в решении собственных задач, но объединенных для защиты своих общих интересов и для развития общей цивилизации”^[602]. Разбив буров в ожесточенной войне, согнав их женщин и детей в изуверские концлагеря, Милнер с его воспитанниками без устали двигались дальше к осуществлению своей мечты. Они создали Межколониальный совет, объединивший Трансвааль и Колонию Оранжевой реки; объединили железные дороги; учредили таможенный союз; организовали в каждой колонии общества “Теснейшего союза”; они превозносили преимущества единого государства в изданиях вроде *State*; они составляли первые проекты того, что в 1910 году станет первой конституцией Южно-Африканского Союза^[603].

Однако, как справедливо заметил один ведущий историк Британской империи, милнеровская мечта о Южной Африке под властью Британии была лишь “имперской фантазией”^[604]. Диктаторские замашки Милнера не помешали возрождению бурской политики под руководством Луиса Боты и Яна Сметса^[605]. Идея об основании крупных английских поселений была обречена на провал: из-за обилия дешевой африканской рабочей силы проблема “белых бедняков” существовала еще до Англо-бурской войны^[606]. Внутренние противоречия “имперского проекта” вскрылись, когда Милнер по просьбам рандлордов^[607] привез 50 тысяч китайских кули для работы на золотых рудниках. Это вызвало бурю протестов против “китайского рабства” и в самой Южной Африке, и в Британии. Собственно, эта история стала той дубинкой, которой либералы успешно побили юнионистов на выборах 1906 года, что в итоге привело к смещению Милнера^[608]. Его преемник, лорд Селборн, счел, что единственным жизнеспособным решением будет союз под руководством Сметса — и не в последнюю очередь потому, что он поможет свести к

минимуму вмешательство либералов из Лондона. Современное Южно-Африканское государство все-таки было создано, но оно мало напоминало новую Канаду или новую Австралию, какие грезилась Милнеру.

Обычно в истории успех изображается в раздутом виде, потому что историю пишут победители, а не проигравшие. Однако в истории сетей чаще наблюдается обратное. Преуспевающие сети уклоняются от публичного внимания, а неудачливые, напротив, притягивают его, и именно их дурная слава, а не сами их достижения, приводит к тому, что их деятельность преувеличивается. Так произошло с иллюминациями в конце XVIII века. Так же случилось и с “детским садом”, или “Круглым столом” Милнера. Французский политик-радикал Жозеф Кайо обвинял круг Милнера в том, что он тайно замышлял “восстановить обветшавшую власть собственной касты и укрепить господство Великобритании во всем мире”. Уилфрид Лорье, канадский премьер-министр, жаловался, что Канадой “правит клика, сидящая в Лондоне и известная под названием «Круглого стола»”. Даже “народный канцлер” Ллойд-Джордж говорил об “очень могущественном объединении – по-своему, наверное, самом могущественном в стране”^[609]. Однако ничто из этого не свидетельствует о могуществе “детского сада” – скорее наоборот. Даже самые заурядные империалисты были невысокого мнения о Милнере. Консервативный журнал *National Review* поносил “клику, которая потворствует всем центробежным силам в Британской империи”. Газета *Morning Post*, принадлежавшая к правому крылу, тоже отнюдь не жаловала группировку, которую называла “фалангой или дворцовой стражей идеалистов, которые в силу какого-то духовного извращения во всех вопросах непременно выбирают курс, враждебный британским интересам”. Премьер-министр Великобритании, либерал сэр Генри Кэмпбелл-Баннерман, больше других приблизился к правде, когда полушутя сказал, что появилась уже какая-то *religio Milneriana*^[610]. Куигли и его американские преемники впали в заблуждение: они приняли за чистую монету возвышенные прожекты Милнера и его круга, слишком серьезно отнеслись к порицаниям их критиков, но при этом упустили из виду, что главный упрек в адрес Милнера как раз и состоял в том, что ему ничего не удалось добиться.

Глава 33

“Апостолы”

Университеты Оксфорда и Кембриджа очень похожи, а в глазах туристов так и вовсе братья-близнецы. Постороннему беглому взгляду может показаться, что их соперничество, уходящее в глубину веков, – это всего лишь нарциссизм малых различий. В Оксфорде второй семестр называют хилари, а в Кембридже – великопостным. У оксфордских студентов проводятся семинары, а у кембриджских – коллоквиумы. Оксфордцы плывут на плоскодонках, отталкиваясь шестом, а бак при этом торчит вперед; кембриджцы стоят на “кубышке” своих лодок, имеющих другую форму. И подобных мелких различий не перечесть. Однако между двумя университетами часто возникали и глубокие философские расхождения. И уж точно их никогда не разделяла такая интеллектуальная пропасть, какая наметилась до и после Первой мировой войны. Если Милнерова сеть оксфордских выпускников мечтала о том, чтобы будущее принадлежало людям крепким, воинственным, имперски мыслящим и гетеросексуальным, то их сверстники из Кембриджа мечтали о мире, устроенном ровно наоборот. Для сети, возникшей в кембриджском кружке “апостолов” и вокруг него, были характерны декадентская расслабленность, пацифизм, либеральные взгляды и гомосексуализм.

“Общество *Conversazione*”^[611] было основано в 1820 году студентами Колледжа Святого Иоанна, хотя вскоре его основным местом обитания сделался Тринити-колледж – самый обширный и богатый из всех колледжей Оксбриджа. Среди основателей общества были поэт Альфред Теннисон и Оскар Браунинг^{[612][613]}, а также моральный философ Генри Сиджвик и Фредерик Денисон Морис, богослов и основатель движения христианского социализма^[614]. В некотором смысле общество уходило корнями к кембриджской “интеллектуальной аристократии” (если воспользоваться более поздним выражением Ноэля Аннана): такие фамилии, как Кейнс, Стрейчи и Тревельян, похоже, автоматически обеспечивали их обладателям членство в обществе^[615]. В других отношениях – например, в том, что касалось замысловатой системы выборов и несколько глупых ритуалов, оно представляло собой просто очередное сугубо мужское братство из разряда тех, что существовали в ту же пору еще и в Гарварде, Принстоне и Йеле. И

все же “Общество *Conversazione*” стоит особняком – по двум причинам. Ни одно другое общество той эпохи не было настолько исключительным в интеллектуальном отношении. “Апостолы” отбирались в первую очередь на основе их философских склонностей. И ни в одном другом обществе чувство собственного превосходства не порождало столь же сильного чувства отчуждения от существующего строя – по сути, почти во всех его проявлениях. “Уж не мономания ли, – спрашивал в начале 1900-х годов один «апостол» другого, – то неизмеримое моральное превосходство, которое мы ощущаем?”^[616] “Апостолы” любили шутить, что их общество “реально”, а остальной мир “феноменален”. Философ Дж. Эллис Мак-Таггарт, женившийся на склоне лет, острлил, что просто завел себе “феноменальную жену”. Словом, эти люди были несносны.

Всего “апостолов” между 1820 и 1914 годами было около 255. Критерии отбора новичков были столь строги, что в некоторые годы общество не пополнялось вовсе. Например, между 1909 и 1912 годами в него приняли всего одного человека^[617]. Потенциальных новичков называли “эмбрионами” и учиняли им смотр, приглашая на череду вечерних чаепитий, на которых, как известно, кандидаты чувствовали себя весьма неловко. В тех редких случаях, когда кого-либо из студентов находили достойным членства, он “рождался” для общества, и эта церемония непременно сопровождалась ледящей кровью клятвой хранить тайну. После этого новообращенному полагалось посещать заседания общества, проводившиеся в течение учебных семестров по субботам, в вечернее время. На этих еженедельных собраниях члены общества, выступая с коврика перед камином, делали доклады, называвшиеся, например, “Красота” или “Этика в ее отношении к поведению”, и ставили на голосование различные вопросы (традиционно не связанные с темой выступлений). Когда один “апостол” заговаривал с другим, полагалось пользоваться обращением “брат”. Еще на собраниях присутствовали и делили со всеми непереносимые тосты с анчоусами (“китами”) так называемые ангелы – бывшие члены общества, выбывшие из него (“отрастившие крылья”) по окончании университета. Возможность тесной “эллинской” дружбы между представителями разных поколений относилась к числу предметов, которыми “апостолы” особенно гордились^[618]. “Ангелы”, оставшиеся в Кембридже в качестве преподавателей – например,

философы Бертран Рассел и А. Н. Уайтхед, – регулярно посещали собрания.

Политические убеждения “апостолов” XIX века не слишком отличались от воззрений их оксфордских современников. В 1864 году о них отзывались так: “тори по политическим взглядам, евангелисты по вере”^[619]. Несколько “братьев” даже стали членами парламента от консерваторов. Приблизительно 14 % “апостолов” сделали парламентариями или поступили на государственную службу; от четверти до трети подались в юристы^[620]. Да и позднейшие антиимперские настроения элитарного общества никак не проявлялись раньше 1900 года. Напротив, его ведущие представители состязались между собой за высокие посты в ИГС, куда можно было попасть, лишь успешно выдержав суровые экзамены^[621]. По вопросам ирландской автономии “апостолы” расходились – как, впрочем, и британская элита в целом^[622]. Однако уже в раннюю пору существования общества – отчасти из-за его скрытности – за его членами закрепились репутация радикалов. Уже в 1830 году Ричарду Чевениксу Тренчу пришлось опровергать утверждение, будто “апостолы” суть “тайное общество, учрежденное с целью свержения всех существующих правительств”^[623]. Этот подрывной дух стал заявлять о себе все громче после 1900 года, с приходом нового поколения, чьим кумиром стал философ Джордж Эдвард Мур, этот Сократ нового столетия.

И дело совсем не в том, что Мур увлекался политикой: напротив, он советовал своим ученикам относиться к политике с презрением^[624]. Страстью Мура оставались личные человеческие качества. Ключевыми понятиями в его труде *Principia Ethica* (лат. “Основы этики”), вышедшем в 1903 году, были чувствительность, личные отношения, высвобождение эмоций, созидательные инстинкты и беспощадная честность перед самим собой^[625]. Эти идеи, нашедшие литературное выражение в романах другого “апостола”, Э. М. Форстера, завладели умами трех блестящих молодых людей: Литтона Стрейчи, Леонарда Вулфа и Джона Мейнарда Кейнса^[626], который 28 февраля 1903 года сделался “апостолом” № 243^[627]. Стрейчи был восьмым из десяти детей генерала сэра Ричарда Стрейчи, служившего в Индии, и его второй жены, шотландки Джейн Марии Грант. Внешне он нисколько не походил на генеральского сына: миниатюрно сложенный, с пронзительным голосом. Менее колоритный, вечно меланхоличный

Вулф был третьим из десяти детей Сидни Вулфа, барристера^[628]-еврея. Кейнс же был истинным аристократом в кембриджском понимании: его отец, здешний профессор, мечтал лишь о том, чтобы его сын завоевывал все математические награды, какие только изобрел университет. Сам же юный Кейнс по-настоящему увлекался не математикой. Его тянуло к мужчинам.

Стрейчи и Кейнс были не просто гомосексуальны, а воинственно гомосексуальны. Они находили, что их плотские предпочтения стоят намного выше заурядной гетеросексуальности, и без стеснения упражнялись в язвительном женоненавистничестве всякий раз, когда в их благородный социальный круг попадала хоть одна женщина. Эта “апостольская” традиция восходила еще к Браунингу, о котором в “Национальном биографическом словаре” отважились написать, что, “будучи в Риме, он помогал молодым итальянцам, как и молодым англичанам, проникать в щели, к которым тех влекло”. К 1903 году эта культура пустила уже прочные корни. Стрейчи и Кейнс соперничали из-за миловидного, но несколько пустоватого Артура Хобхауса, настаивая на его “рождении” в качестве “апостола” исключительно из соображений эстетического порядка. Они похвалялись своей приверженностью “высшей содомии”, которая, впрочем, не исключала контактов с представителями низших сословий, если только подворачивался подходящий случай. К 1909 году их откровенно демонстративное поведение успело привлечь внимание недоброжелателей^[629]. Судя по ранней переписке между Рупертом Бруком и Джеймсом Стрейчи^[630], теперь “Общество *Conversazione*” больше привлекало не интеллектуальное, а сексуальное общение^[631]. “Апостолы” предыдущего поколения, по словам Сиджвика, “преданно и самозабвенно занимались поиском истины в кругу близких друзей”^[632]. А Кейнс и Стрейчи просто занимались поиском новых близких друзей.

Конечно, не все “апостолы” были геями. Но их количество все возрастало. И даже те, кто (подобно Вулфу) ими так и не стал, все равно придерживались несколько солипсических идеалов гомосексуальных “братьев”. Как утверждал Десмонд Маккарти в докладе, прочитанном на заседании общества в декабре 1900 года, старшее поколение пребывало в плену старых понятий: “семья, государство, законы чести и т. д.”. Однако все эти понятия “не произвели убедительного впечатления” на младшее поколение. Молодежь настроена “очень индивидуалистически”^[633]. “Только

соединить” – таков был новый категорический императив, и он станет лейтмотивом лучшего романа Форстера – “Говардс-Энд” (1921). Разумеется, утонченная сеть “Общества *Conversazione*” настолько же опьяняла, насколько бюрократическая иерархия Уайтхолла нагоняла скуку. Заполучив вождеденную должность в Индийской гражданской службе, Кейнс быстро затосковал. Он жаловался:

Теперь, когда ощущение новизны рассеялось, я изнываю от тоски на протяжении девяти десятых частей времени, а в течение оставшейся десятой части бессмысленно раздражаюсь всякий раз, как не могу добиться своего. Можно сойти с ума, когда тридцать человек доводят тебя до бессилия, тогда как сам ты уверен в своей правоте. И когда главное занятие чиновников – а именно спасение собственной шкуры – оказывается роковым^[634].

Однако со стороны Кейнса было лицемерием обвинять своих коллег по ИГС в “трусливой боязни ответственности”. В 1938 году, оглядываясь вспять на свои “давние убеждения”, Кейнс продолжал:

Мы начисто отвергли личную обязанность повиноваться общим правилам. Мы приписали себе право разбирать каждое дело, исходя из особых обстоятельств, и считаем, что обладаем для этого достаточной мудростью. Это весьма важная часть нашей веры, отстаиваемая бурно и яростно, причем для внешнего мира в этом и заключается наше самое явное и опасное отличительное свойство. Мы начисто отвергли привычную мораль, условности и традиционную мудрость. Иными словами, мы стали, в строгом смысле слова, имморалистами. К последствиям нашего разоблачения, разумеется, следовало заранее отнестись с надлежащей серьезностью. Но мы не признавали над собой никаких моральных обязательств, не испытывали никаких внутренних побуждений приспособливаться или подчиняться^[635].

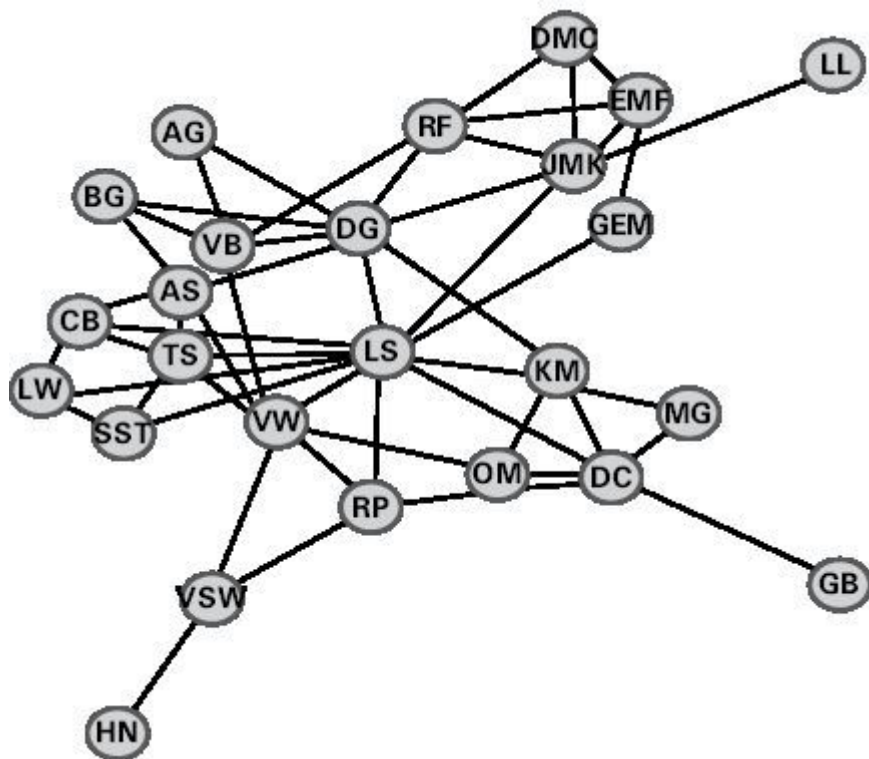
А Форстер годом позже подметил опасную подоплеку философии Мура, когда ее понимание доводили до подобных крайностей: “Если передо мной встанет выбор: предать родину или предать друга, надеюсь, у меня хватит выдержки предать родину... Любовь к человеку и преданность ему могут разойтись с требованиями государства. И если это случится – что ж, тогда к черту государство”^[636].

Еще до момента истины, наступившего в 1914 году, некоторым членам общества все это надоело. Пускай Руперт Брук обладал

внешностью Адониса, геом он не был, и вскоре его стали замечать с молодыми дамами из Фабианского общества^[637]. Уроженцу Вены философу Людвигу Витгенштейну, которого посвятили в “апостолы”, достаточно было приглядеться к ним поближе всего раз, чтобы обратиться в бегство: он заявил об уходе после первой же встречи. Хотя Стрейчи и убедил его не отказываться от членства, больше на собрания Витгенштейн не приходил^[638]. Когда разразилась война, чары окончательно развеялись. Большинство “апостолов” не стали записываться в армию. А вот Брук с энтузиазмом пошел в добровольцы, и в 1915 году, в День св. Георгия, на борту французского плавучего госпиталя у берегов греческого острова Скирос его ждала одна из самых знаменитых смертей в английской истории^{[639][640]}. Развязка наступила после того, как объявили мобилизацию. Кейнсу, служившему в казначействе, не требовалось освобождение от призыва, но он решил официально заявить об отказе от службы – по идейным убеждениям. “Я работаю на правительство, которое презираю, во имя целей, которые считаю преступными”, – горько жаловался он Дункану Гранту^[641]. Неофициально Кейнс использовал свое влияние и возможности, чтобы поддержать других “апостолов”, тоже заявивших об идейном отказе от службы в армии (прежде всего это были Джеймс Стрейчи и Джеральд Шав^{[642][643]}), но этого оказалось мало для Литтона Стрейчи, который одним февральским вечером 1916 года оставил на обеденной тарелке Кейнса вырезку из ура-патриотической газеты, а поверх нее – лаконичную записку: “Дорогой Мейнард, почему ты до сих пор в казначействе?”^[644].

Война разорвала не только “апостольскую” сеть. Совпадая с нею во множестве вершин (какими были Форстер, Кейнс, Стрейчи и Вулф – если назвать только четырех из десяти)^[645], поблизости существовала другая сеть, похожая на первую своими интеллектуальными исканиями, – группа Блумсбери. В отличие от *Conversazione*, в общество Блумсбери допускались женщины – в первую очередь там состояли сестры Ванесса и Вирджиния Стивен. Собственно, эта группа и сложилась изначально вокруг двух супружеских пар: Ванессы и Клайва Белла (живших на Гордон-сквер, 46) и Вирджинии и Леонарда Вулфа (переехавших в 1916 году из Блумсбери в Ричмонд). Война заставила костяк кружка Блумсбери – главным образом писателей и художников – покинуть Лондон и поселиться в большой сельской усадьбе Чарльстон в графстве Суссекс, куда перебрались в 1916 году

Ванесса Белл и Дункан Грант. Анализ блумсберийской сети, проведенный недавно Питером Долтоном, ясно показывает, что и в 1905-м, и в 1925 году наибольшей центральностью как по степени, так и по посредничеству обладал Литтон Стрейчи. В более поздний период второе, третье и четвертое места после Стрейчи занимали Дункан Грант, Мейнард Кейнс и Вирджиния Вулф^[646]. Но, что удивительнее всего, членов группы Блумсбери объединяла отнюдь не любовь к совместным прогулкам по меловым холмам Саут-Даунс. Как и “апостолов”, эту сеть тоже скрепляли в первую очередь сексуальные отношения. Грант спал не только с Кейнсом, Литтоном Стрейчи, Адрианом Стивенсом и Ванессой Белл, но и с Дэвидом Гарнеттом. Ванесса Белл спала не только с Грантом, но и с Роджером Фраем, а иногда даже с собственным мужем Клайвом. Кейнс спал с Грантом, Гарнеттом, Стрейчи и, наконец, с русской балериной Лидией Лопуховой. Всех хитросплетений любовной жизни, возникавших внутри группы Блумсбери, не перечислить. Гарнетт пылал неразделенной любовью к Ванессе Белл. Оттолайн Морелл была безнадежно влюблена в Вирджинию Вулф, Дора Каррингтон – в Литтона Стрейчи, Литтон Стрейчи – в Марка Гертлера, а Марк Гертлер – в Дору Каррингтон. Долтон пишет: “Ванесса Белл была замужем за Клайвом Беллом, но жила с Дунканом Грантом. Леонард Вулф был женат на Вирджинии Вулф, а Гарольд Николсон – на Вите Сэквилл-Уэст, но в итоге полюбили друг друга Вита и Вирджиния”^[647].



Илл. 22. Группа Блумсбери, ок. 1925 г. Ядро сети: Клайв Белл (CB), Ванесса Белл (VB), Э.М. Форстер (EMF), Роджер Фрай (RF), Дэвид “Банни” Гарнетт (BG), Дункан Грант (DG), Джон Мейнард Кейнс (JMK), Десмонд Маккарти (DMC), Литтон Стрейчи (LS), Леонард Вулф (LW), Вирджиния Вулф (VW). “Внешняя группа”: Тоби Стивен (TS), Саксон Сидни-Тернер (SST), Адриан Стивен (AS), Джералд Бренан (GB), Дора Каррингтон (DC), Анджелика Гарнетт (AG), Оттолайн Морелл (OM), Ральф Партридж (RP), Гарольд Николсон (HN), Вита Сэквилл-Уэст (VSW), Марк Гертлер (MG), Кэтрин Мэнсфильд (KM), Лидия Лопухова (LL) и Дж. Э. Мур (GEM).

У Форстера в романе “Говардс-Энд” блистательная Маргарет силится растолковать блумсберийские принципы своему довольно прозаичному мужу Генри. “Только соединить! Вот и все, к чему сводилась ее проповедь. Только соединить прозу и страсть, и тогда обе они возвысятся, и мы увидим человеческую любовь в ее наивысшем проявлении. Больше не надо будет жить обрубками. Только соединить, и тогда оба – и монах, и животное, – лишенные изоляции, которой является для них жизнь, умрут”. Но, как пишет дальше Форстер, у нее “не получилось”. Ибо у Генри был другой девиз – не “только соединить”, а “сосредоточиться”. Он прямо заявляет ей: “Я не намерен растрачивать по мелочам свою силу на

такого рода вещи”^{[648][649]}. Вникнув во все любовные комбинации внутри группы Блумсбери, пожалуй, легко с ним согласишься.

Глава 34

Армагеддон

Провал планов, которые вынашивал “детский сад” Милнера в Южной Африке, показал, что и имперская экспансия Британии имеет свои пределы. Раскол “апостольского” и блумсберийского кружков стал свидетельством того, что если не Оксфорд, то Кембридж утратил всякое сочувствие к самому имперскому проекту. И все же в 1914 году британцы – не говоря уж об имперских подданных – вступили в войну, приняв тот угрожающий вызов, каким стали возросшая экономическая мощь и геополитические амбиции германского Второго рейха. Победа в этой войне, одержанная в итоге Британией, произошла во многом благодаря тому единству англоязычных народов, о важности которого твердили Милнер и его приверженцы. Австралия, Канада, Новая Зеландия и даже Южная Африка – все эти страны оказали значительную экономическую и военную помощь Британии в ее военных действиях с 1914 по 1918 год; то же самое можно сказать об империи в целом и об Индии в частности^[650]. Причитания блумсберийцев стали слышны лишь после окончания войны, когда вышли в свет две сокрушительно полемические книги – “Выдающиеся викторианцы” Стрейчи и “Экономические последствия мира” Кейнса.

Нам не нужно заново вступать в тот переполненный зал судебных заседаний, какой представляет собой историография Первой мировой войны^[651]. Совсем как адвокаты из диккенсовского “Холодного дома”, историки продолжают препираться между собой над старыми пыльными документами, пытаясь решить исход тяжбы, которая иногда заслуживает диккенсовского же названия – “Германия против Германии”. Окончательного вердикта по этому делу не будет, потому что затянувшиеся на сто лет поиски “виновного” в войне – бесплодное занятие. Общеввропейская война разразилась в 1914 году по той простой причине, что миропорядок, установленный в 1815 году в Вене, рухнул. Историкам правильнее было бы задаваться вопросом, почему это произошло, а не по чьей вине.

К началу 1900-х годов обозначенная Ранке пентархия пяти великих держав разрослась в пять больших империй, каждая из которых получала свою скромную ренту от деятельности

международных торговых, миграционных, инвестиционных и информационных сетей, описанных выше. После Крымской войны недолгое время казалось, что старые иерархии, основанные на принципе наследственной передачи власти, способны неплохо договориться с новыми сетями глобализации. Правительства, стоявшие во главе крупных европейских империй, в значительной мере стали выполнять “сторожевые” функции, предъявляя лишь минимальные требования к рыночной экономике, с которой они в остальном мирно уживались. Пускай государства по-прежнему желали сами контролировать некоторые почтовые, телеграфные и железнодорожные службы, не говоря об армии и флоте, – зато они не покушались на многое другое, что оставалось в частных руках. В больших европейских городах королевская и имперская иерархии тесно соприкасались с новыми элитами, выросшими на почве коммерции, кредитования и журналистики: настолько тесно, что графы брали в жен дочерей еврейских банкиров. Оптимисты – от Эндрю Карнеги до Нормана Энджелла^[652] – были убеждены, что у императоров хватит ума не портить сложившуюся картину^[653].

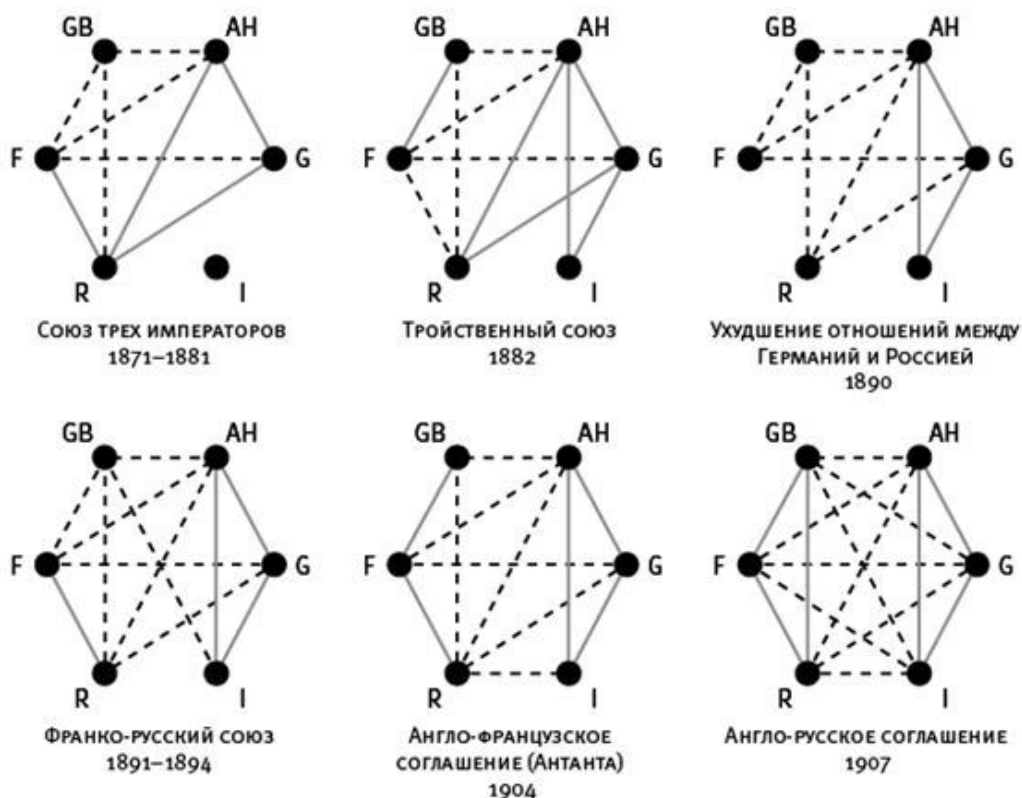
Но, как оказалось, они заблуждались. Согласно изложению в классической работе Генри Киссинджера, пентархия лишилась устойчивости, потому что “после объединения Германии и «фиксации» Франции как ее вечного противника система утратила былую гибкость”^{[654][655]}. После 1871 года система целиком зависела от виртуозного дипломата Бисмарка – только он один мог удерживать ее в равновесии. Главной уловкой стал тайный Договор перестраховки, который Бисмарк подписал с российским министром иностранных дел Николаем Гирсом^[656] в июне 1887 года. Германия и Россия пришли к соглашению: каждая из них будет сохранять нейтралитет, если другая страна вступит в войну с какой-нибудь третьей, – если только Германия не нападет на Францию или Россия не нападет на Австро-Венгрию. Это обязывало Германию соблюдать нейтралитет, если Россия попытается установить контроль над черноморскими проливами, однако главная задача состояла в другом: помешать России заключить с Францией договор о взаимной обороне. Именно это Россия и сделала после того, как отставка Бисмарка привела к невозобновлению тайного Договора о перестраховке. “Как ни парадоксально, – писал Киссинджер, – именно подобная двойственность обеспечила гибкость европейского равновесия. И отказ от нее... привел к росту конфронтации, кульминацией которой

стала [Первая] мировая война”^[657]. После отставки Бисмарка, рассуждал Киссинджер, система великих держав скорее обостряла, нежели смягчала споры. Со временем “политические лидеры утратили контроль над собственной тактикой”, и в итоге “мобилизационные планы превратились в основу дипломатии”^[658]. Иными словами, начиная с 1890 года возникла высокая вероятность конфликта, в котором Германия и Австро-Венгрия сообща выступят против Франции и России. Удивительно вовсе не то, что в 1914 году началась эта война, – удивительно, что она не началась раньше.

Подход Киссинджера, непопулярный среди историков, находит заметную поддержку среди политологов и сетевых теоретиков. Конечно, резкое учащение милитаризованных споров после 1890 года явно подкрепляет его довод о том, что в ту пору происходили какие-то перемены^[659]. Вторит его выводам и изящная работа, написанная математиком Тибором Анталом и физиками Павлом Крапивским и Сидни Реднером, которые пытаются доказывать, пользуясь языком сетевой теории, что после 1890 года система великих держав эволюционировала, как ни странно, в сторону “социального равновесия”: появились два примерно равносильных альянса. Равновесие в данном случае явилось “естественным результатом”, но в нем не было ничего хорошего, если ни одна из сторон не могла сдержать другую (см. илл. 23)^[660].

Конечно, есть и альтернативные объяснения. Одна гипотеза гласит, что система дала сбой, потому что великие державы позволили менее сильным балканским странам втянуть их в конфликт^[661]. И что именно комплекс менее сильных альянсов дестабилизировал систему^[662]. Однако просто невозможно поверить в то, что великие державы подтолкнули к Армагеддону 1914 года именно связи с Румынией или Японией, или тем более с Испанией или Португалией^[663]. Меньшие страны имели значение ровно постольку, постольку повышали вероятность конфликта между великими державами. Аннексия Боснии Австро-Венгрией в 1908 году и организованное Сербией убийство наследника австро-венгерского трона шестью годами позже создали уникальную ситуацию, потому что – в отличие от предыдущих кризисов из-за Марокко или предыдущих Балканских войн – три из великих держав увидели в войне единственную альтернативу сокрушительному дипломатическому удару^[664]. Позицию Вены и Берлина нельзя назвать неразумной: Россия, похоже, собиралась воспользоваться боснийским кризисом для дальнейшего

постоянного ослабления – или даже расчленения – Австро-Венгрии^[665]. А так как наследник габсбургского престола пал жертвой покушения, которое подозрительно походило на акт государственного терроризма, австрийцы вполне справедливо прибегли к своим “меттернихианским” правам и потребовали удовлетворения от Сербии. Печально знаменитый австрийский ультиматум Белграду не слишком отличался от похожих требований, какие предъявлялись в 1820-х годах второстепенным государствам^[666]. В то же время ни одна из других двух держав – ни Франция, ни Британия – не нашла достаточно убедительных доводов, чтобы отговорить остальных от войны из-за Балкан: французы – потому что слишком некритично сохраняли верность своему союзу с Россией, а британцы – потому что не могли придумать такого способа сдержать Германию, который не распалил бы Россию и Францию^[667]. Если какой-то человек и заслуживает того, чтобы лично на него возложили вину за крах общей системы, то это министр иностранных дел Британии, сэр Эдвард Грей. Предполагалось, что Британия будет выступать уравнивающей силой в кризисах подобного рода. 29 июля 1914 года Грей предупредил посла Германии, что Британия, скорее всего, вмешается, если на континенте разразится война, но что если будет принято посредничество, то “он сможет обеспечить австрийцам любое возможное удовлетворение; уже не идет речь об унижительном отступлении для Австрии, так как в любом случае сербы понесут наказание и будут вынуждены, с согласия России, подчиниться желаниям Австрии”^[668]. Через два дня он сообщил немцам, что если они выдвинут разумное предложение, он поддержит его и сообщит Франции и России, что если они не примут его, то Британия уже “не будет иметь никакого отношения к последствиям”^[669]. Но оказалось слишком поздно: немцы уже получили известия о всеобщей мобилизации, объявленной в России, а значит, время дипломатии миновало. Пожалуй, более энергичный министр иностранных дел – такой, например, как Каслри, – поторопился бы и отослал эти сообщения неделей раньше – и тем самым предотвратил бы катастрофу. Но дело в том, что Грей душой был слишком предан Франции и России, чтобы пойти на такой шаг.



Илл. 23. Эволюция важных изменений в отношениях между странами – будущими участницами Первой мировой войны, 1872–1907 гг. GB = Великобритания, AH = Австро-Венгрия, G = Германия, I = Италия, R = Россия, F = Франция.

К 1914 году имперская система командования, контроля и связи была уже так хорошо отлажена, что когда два императора (а точнее, их министры) решили начать войну из-за двух загадочных и сомнительных предметов спора – суверенитета Боснии и Герцеговины и нейтралитета Бельгии, – им удалось за четыре с лишним года мобилизовать в армию и флот более 70 миллионов мужчин. Во Франции и Германии военную форму рано или поздно надело около одной пятой довоенного населения – почти 80 % взрослых мужчин. Триумф иерархии над сетями символизировал полный провал Второго интернационала социалистических партий, которым не удалось предотвратить Первую мировую войну. Лидерам европейского социалистического движения, собравшимся в конце июля 1914 года в Брюсселе, оставалось лишь признать собственное бессилие. Венский сатирик Карл Краус очень тонко заметил, что 1914 год случился из-за сосуществования тронов с телефонами^[670]. Вооружившись новыми технологиями, европейские

монархии смогли послать своих молодых подданных навстречу Армагеддону, просто разослав им телеграммы. И многие обозреватели – в том числе Кейнс, – считавшие, что эта война долго не продлится, жестоко ошиблись. Они недооценили возможности имперского государства, которое просто превратило массовое кровопролитие в отрасль промышленности.

В своей глобальной войне против Британской империи германский Второй рейх оказался в весьма невыгодном положении. Достаточно вспомнить, с какой легкостью в первые часы 5 августа 1914 года британский корабль-кабелеукладчик перерезал пять подводных кабелей, которые тянулись из Эмдена к Виго, Тенерифе, Азорским островам и США. После этого немцам пришлось слать телеграммы в свое посольство в Вашингтоне по трансатлантическим кабелям из Швеции или Дании, а они проходили через ретрансляционную станцию в Порткурно в Корнуолле, принадлежавшую *Eastern Telegraph Company*, и там их перехватывали и отсылали в 49-й кабинет Адмиралтейства для дешифровки. Как мы уже рассказывали, Британия господствовала в международных сетях связи. Причем это касалось не только телеграфа, но и денежной и финансовой систем, неоспоримым центром которых являлся Лондон, а также (хотя и в меньшей степени) торгового флота. Не сумела Германия догнать противницу и по части военно-морской мощи. Таким образом, у немцев оставалась надежда победить в Первой мировой лишь немногочисленными способами: решительно разгромить британскую, французскую и российскую армии на суше, сорвать поставки товаров во вражеские страны, атакуя их суда подводными лодками, или же разжечь в них пожар революции, по сути, приведя в действие антиимпериалистические сети для подрыва иерархического имперского строя. Как мы увидим, Германия подошла очень близко к осуществлению всех трех поставленных задач. Но самой дерзкой ее затеей стал заговор, который в романтизированном духе описал Джон Бакен в своем триллере “Зеленый плащ” – продолжении “39 ступеней”.

“Готовится джихад [*sic*], – сообщает Хэннею глава британской разведки сэр Уолтер Булливант в начале романа. – Восток ждет откровения. Оно уже обещано. С Запада вот-вот явится звезда – не то человек, не то пророчество, не то какая-то безделица. Немцы об этом знают и собираются разыграть эту карту, изумив весь мир”^[671]. Сама идея, что Германия могла вдохновить мусульман, чтобы те

пошли священной войной против Британской империи, наверняка покажется современному читателю притянутой за уши. Тем больше он удивится, когда узнает, что Бакен писал “Зеленый плащ” с оглядкой на реальные события.

Часть VI

Моровые поветрия и дудочники-искусители

Глава 35

“Зеленый плащ”

В легенде о пестром дудочнике из Гамельна ^[672] рассказывается о крысолове в диковинной одежде, который за плату берется избавить город от наводнивших его крыс. Он играет на своей волшебной дудочке (или флейте), и зачарованные музыкой крысы идут следом за ним. Дудочник уводит их к ближайшей реке Везер, и там крысы тонут. Но потом горожане отказываются уплатить дудочнику обещанное, и тогда тот проделывает свой фокус уже с детьми – уводит их в лесную пещеру. Все дети, кроме троих, исчезают навсегда. Это предание возникло в XIII веке, и вполне возможно, что в его основу легли какие-то реальные события, хотя остается не до конца понятно, почему все-таки пропало так много детей. По одной правдоподобной гипотезе, эта легенда рассказывает о вспышке бубонной чумы, которую действительно разносят крысы. Впрочем, в изначальном варианте рассказа ничего не говорилось о крысах – они попали в этот сюжет только в XVI веке.

Двадцатый век тоже стал временем моровых поветрий – и дудочников-избавителей. Как хорошо известно, конечный этап Первой мировой войны совпал с массовой пандемией “испанки” – смертельной разновидности вируса гриппа, которая быстро разнеслась по всему миру и убила десятки миллионов людей, особенно молодых ^[673]. Это была не единственная моровая язва, обрушившаяся на человечество между 1917 и 1923 годами. По Евразийскому материку пронесся еще и мутантный штамм марксизма, выведенный русскими большевиками. Почти во всех европейских странах зародились новые и крайние формы национализма, которые вылились в озлобленные движения фашистского толка. Питавшие их идеи оказались настолько заразными, что проникали даже в укромные уголки Кембриджа и поражали там вполне благополучных англичан. Разразилось и экономическое бедствие – чума гиперинфляции, обрушившаяся не только на Германию, но и на Австрию, Польшу и Россию. В надежде спастись от всех этих напастей люди обращались к дудочникам в ярких нарядах – харизматическим вождям, предлагавшим радикальные выходы из затруднений. Но в итоге, подобно гамельнцам из средневековой легенды, народам, которые

наделили таких дудочников властью, пришлось расплачиваться с ними жизнями собственных детей.

Мир, существовавший перед этим, оставался миром империй. Конфликт, разгоревшийся между европейскими империями летом 1914 года, явился результатом, как мы уже говорили, краха того международного порядка, который установился после наполеоновских войн и представлял собой пятиузловую сеть великих держав, возвысившихся над всеми остальными государствами. Если свести причины войны к основным пунктам, то Британия не справилась со своей ролью балансира, а два враждебных союза – России и Франции, с одной стороны, и Германии и Австро-Венгрии – с другой, – начали войну из-за политического убийства, совершенного сербскими террористами на недавно присоединенной к Габсбургской империи и вроде бы незначительной территории Боснии и Герцеговины. Когда выяснилось, что планируемое Германией нападение на Францию неизбежно влечет за собой нарушение нейтралитета Бельгии, Британия вступилась за другую сторону – не столько затем, чтобы поддержать Лондонский договор 1839 года, гарантировавший нейтральный статус Бельгии, сколько затем, чтобы не допустить победы Германии над Францией и Россией. В техническом отношении немцы, скорее всего, имели шанс одержать военную победу на континенте, несмотря на слабость их союзников. Во всяком случае, они добились того, что за первые полгода войны французская армия понесла огромные потери (и в 1870-м, и в 1940 году гораздо меньших потерь оказалось достаточно, чтобы Франция капитулировала). Однако непревзойденных возможностей Британии – финансовых, производственных, экспедиционных средств и живой силы – хватило на то, чтобы длить войну в Западной Европе дальше, несмотря на беспощадное ослабление боеспособности Франции. Они помогали продолжать войну, но не могли положить ей конец. Сама война оказалась заразной. Обширные заморские владения воюющих империй способствовали быстрому распространению пагубы. В драку ввязывались все новые государства. Еще до конца 1914 года в войну вступили Черногория, Япония и Османская империя. В мае 1915 года Италия с запозданием встала на сторону Антанты; Болгария примкнула к Союзу центральных держав (то есть Германии и Австро-Венгрии). Португалия и Румыния взяли за оружие на стороне Антанты в 1916 году. В 1917-м США стали лишь одним из двенадцати новых

участников войны: другими были Боливия, Бразилия, Китай, Куба, Эквадор, Греция, Либерия, Панама, Перу, Сиам (ныне Таиланд) и Уругвай. Все они выступили против Центральных держав^[674]. На последнем году войны их примеру последовали Коста-Рика, Гватемала, Гаити, Гондурас и Никарагуа. В Европе нейтралитет сохраняли только Испания, Нидерланды, Швейцария и страны Скандинавии (см. вкл. № 17).

Еще до того, как военные действия в Западной Европе зашли в тупик, правительство Германии принялось экспериментировать с другими средствами, которые в итоге окажутся решающим победоносным оружием. Замысел сводился к тому, чтобы дестабилизировать враждебные империи изнутри, внедрив в них идеологический “вирус”. С помощью турецких союзников немцы намеревались раздуть пламя джихада, которое охватит всю Британскую империю, а заодно опалит французов^[675]. Таким образом, сюжет “Зеленого плаща” Джона Бакена – сколь бы фантастическим он ни казался сегодняшнему читателю – основан на реальных событиях^[676]. Немцы были правы, разыгрывая эту карту. Однако их первая попытка вызвать революцию провалилась. Дело в том, что лишь некоторые из революционных идей, появившихся в 1914–1918 годах, приобрели вирусный характер – то есть начали распространяться настолько быстро и широко, что у них хватило мощи расшатать и опрокинуть имперскую иерархию. Призыв к джихаду не подорвал господство Британии или Франции в тех странах исламского мира, которые находились под их контролем, зато британский контрудар – в форме содействия арабскому национализму – возымел успех и подорвал власть Османской империи. Точно так же и затеянная Германией кампания по распространению большевизма в итоге уничтожила Российскую империю – впрочем, не раньше, чем волна большевизма откатилась обратно на запад и разрушила саму Германскую империю. Чтобы понять, почему первая из этих инициатив провалилась, вторая увенчалась успехом, а третья тоже удалась, но ударила бумерангом по самому зачинщику, необходимо помнить, что быстроту и охват распространения заразы определяют не только сами вирусы, но и характер разносящей их сети^[677].

Иноземные или необычные идеи гораздо лучше приживаются, если получают одобрение властителей. Кайзер Германии Вильгельм II питал слабость к Востоку и потому был склонен романтизировать ислам. Побывав в 1898 году на Ближнем Востоке, он был так

впечатлен, что вообразил себя “Хаджи-Вильгельмом”, а в письмах к кузену, русскому царю Николаю II, признавался: “Я испытывал глубокий стыд перед мусульманами, и если бы я попал туда, еще не принадлежа никакой вере, то непременно обратился бы в магометанство!”^[678]. Подобного рода исламофилия вошла в моду и среди немецких ученых – особенно прославился ею востоковед Карл Генрих Беккер^[679]. Кроме того, имелись и стратегические основания для вовлечения Османской империи в германскую сферу влияния. Хотя Высокая Порта^[680] формально и не входила в пентархию, определенную Ранке, в действительности она являлась неотъемлемой составной частью сети европейских великих держав. Более того, так называемый восточный вопрос – главный спорный предмет дипломатии XIX века – касался именно ее будущего. В 1913 году кайзер Вильгельм заявил: “Или над укреплениями Босфора взвьется германский флаг, или меня постигнет та же печальная участь, что и великого изгнанника на острове Святой Елены” (намекая на своего кумира Наполеона)^[681]. А еще в Турции открывались прекрасные экономические возможности, и потому Германия планировала провести железную дорогу, которая связала бы Берлин с Багдадом; летом 1914 года ее строительство уже шло полным ходом (хотя ему и сопутствовали некоторые финансовые и технические сложности)^[682].

Но особенно привлекательной Вильгельму казалась мысль, что можно сделать ислам своим союзником. Прислушиваясь к Макс фон Оппенгейму – советнику (*Legationsrat*) при консульстве Германии в Каире, – Вильгельм воодушевился идеей, что мусульманских подданных Британской империи можно натравить на нее, призвав к джихаду^[683]. Собственно, ровно эта мысль и пришла в голову самому кайзеру, как только он узнал, что Британия не останется в стороне от войны, которая уже разгоралась на континенте. Живо представив себе, как “Германию берут в кольцо”, разъяренный Вильгельм набросал план, суть которого приблизительно совпадает с сюжетом “Зеленого плаща”. “Наши консулы в Турции и Индии и прочие представители должны разжечь весь магометанский мир, чтобы он жестоко взбунтовался против этой ненавистной, лживой, бессовестной нации лавочников. И пускай нам суждено истечь кровью и погибнуть, зато Англия хотя бы потеряет Индию”^[684]. В августе эту идею подхватил Хельмут фон Мольтке, начальник генерального штаба: он выпустил меморандум о необходимости “пробудить исламский фанатизм”

среди мусульманского населения империй, воюющих на стороне противника. В октябре 1914 года Оппенгейм разразился в ответ 136-страничным совершенно секретным “Меморандумом о революционизировании исламских территорий наших врагов”, где назвал ислам “одним из мощнейших видов нашего оружия”. Он предсказал религиозные восстания в Индии и Египте, а также на российском Кавказе^[685]. К обсуждению охотно примкнул Беккер, издав брошюру под названием “Германия и ислам” (*Deutschland und der Islam*).

Эта идея была гораздо менее фантастической, чем кажется теперь, по прошествии времени. Правда, вопрос о том, присоединится ли Османская империя к Союзу центральных держав, отнюдь не был предрешенным^[686]. Например, Ганс Фрайхерр фон Вангенгейм, посол Германии, и генерал Отто Лиман фон Сандерс, глава германской военной миссии в Турции, очень сомневались, что союз с османами окажется полезным. Зато младотурки – политическое движение, которое пришло к власти в 1908 году и вынудило султана Абдул-Гамида II восстановить конституционное правление, – имели все основания для вступления в союз с Берлином. Лидеры младотурок Исмаил и Мехмед Талаат считали, что страны Антанты – Британия, Франция и Россия – посягают на те или иные территории Османской империи, тогда как немцы и австрийцы – добросовестные посредники и они могут посодействовать Турции в попытках вернуть себе хотя бы часть владений, утраченных ею с 1870-х годов^[687]. С благословения кайзера 2 августа был спешно заключен союз^[688]. Кроме того, Энвер и его соратники нисколько не сомневались в том, что религиозные настроения можно будет использовать как источник османского могущества. К тому же ислам – важная скрепа между турками и арабами^[689]. А еще они решили, что подъем религиозного духа оправдывает задуманную ими кампанию геноцида против христиан, живших в пределах Османской империи, – в первую очередь против армян. Как докладывал в середине августа Вангенгейм, “почва для революции в исламском мире, желательной для Вашего Величества, заблаговременно подготовлена. Необходимые меры были предприняты в строжайшей тайне”^[690]. Его заботило только одно: когда начнут убивать армян, не обвинят ли в этом немцев?^[691]

14 ноября 1914 года в мечети Фатих в Стамбуле шейх-уль-ислам Османской империи Ургюплю Хайри-бей вручил султану Мехмеду V Решаду меч пророка Мухаммеда, и эта торжественная церемония

ознаменовала официальное начало джихада против Антанты^[692]. На площади перед мечетью собралась огромная толпа, и ей зачитали фетву, которая была составлена в форме ряда вопросов и кратких ответов:

Подданные-мусульмане России, Франции, Англии и всех тех стран, что в союзе с ними участвуют в сухопутных и морских атаках, направленных против Халифата с целью уничтожения Ислама, – должны ли эти подданные тоже принимать участие в священной войне против правительств своих стран, от которых они зависят?

Да.

Мусульмане, которые в нынешней войне действуют в интересах Англии, Франции, России, Сербии, Черногории и всех, кто помогает этим странам воевать против Германии и Австрии, союзниц Турции, – заслуживают ли они наказания Аллаха, нанося вред и урон Халифату и исламу?

Да^[693].

Надо заметить, это был необычный джихад – направленный лишь против тех неверных, кто жил в отдельных странах Европы, но только не в Германии и Австрии. А еще разрешалось нападать на тех мусульман, которые воюют на стороне Антанты^[694]. Бельгийские граждане становились законной мишенью – в отличие от американцев, живших в Турции^[695]. С другой стороны, нельзя отрицать, что османские власти приложили все усилия к тому, чтобы призыв к оружию распространился как можно шире^[696]. Кроме того, разведывательный отдел при министерстве иностранных дел Германии, отвечавший за дела на Востоке, сумел завербовать внушительное количество мусульман, готовых сотрудничать с немцами, – в числе прочих тунисского муфтия Салиха аль-Шарифа аль-Тунизия и египетского улема Абдул-Азиза Шавиша^[697].

С наблюдательной позиции, которую занял Макс фон Оппенгейм, перспективы мирового джихада выглядели ослепительно блестящими. Настоящий бакеновский злодей, только из плоти и крови, Оппенгейм был внуком банкира-еврея Симона Оппенгейма. Прославившись как автор книг о путешествиях и археолог-любитель^[698], он в дальнейшем умело использовал свои познания о мусульманском мире и вел роскошную двойную жизнь: в Берлине исполнял роль обласканного кайзером интеллектуала, а в Каире вкушал все экзотические улады Востока – и даже держал

собственный гарем. В брошюре, выпущенной в свет в 1915 году и явно предназначенной для широкого распространения, Оппенгейм сетовал на “упадок, постигший исламский мир”, и яростно нападал на державы Антанты. В Индии, Египте и Судане, писал он, “сотни миллионов мусульман” попали “в тиски врагов Господа, неверных англичан”. Народы Магриба стонут под ярмом французов – этих “врагов Господа и его Апостолов”. Мусульмане в Крыму, на Кавказе и в Средней Азии изнемогают от непосильного труда под царским кнутом. Итальянцы угнетают сануситов – суфийский орден и племя в Триполи^[699]. Теперь час пробил, и все эти мусульмане должны нанести ответный удар. Оппенгейм и его единомышленники принялись штамповать множество брошюр подобного содержания на разных языках^[700].

Но немцы не довольствовались одной печатной пропагандой. В 1915 году, одевшись бедуином, Оппенгейм отправился в Дамаск, чтобы разнести свою весть по сельским районам Сирии, и в итоге добрался до Синайского полуострова и даже до окрестностей Медины^[701]. Его протеже Карл Прюфер пытался разжечь антибританские настроения в Египте. Майора Фридриха Кляйна отрядили в Южный Ирак для встречи с муджтахидами-шиитами^[702] Кербелы и Наджафа. Консул Вильгельм Вассмусс предпринимал сходные действия в Иране^[703]. Эдгар Прёбстер, германский консул в марокканском Фесе, был отправлен на подводной лодке к шейху сануситов, чтобы убедить его выступить с оружием против Антанты, а во вторую командировку его отправили, чтобы внушить ту же идею марокканским племенам, объединенным вокруг вождя аль-Хиба в долине Сус. Германские секретные миссии посылались даже в Судан и в Африканский Рог (Сомали)^[704]. Самой амбициозной стала экспедиция в Афганистан, которую возглавили Оскар фон Нидермайер, баварский артиллерийский офицер, до этого много путешествовавший по Востоку, и Вернер Отто фон Хентиг, дипломат, служивший ранее в Пекине, Константинополе и Тегеране. Их цель заключалась в том, чтобы убедить эмира Афганистана Хабибуллу объявить полную независимость от британского влияния и вступить в войну на стороне Центральных держав^[705]. 7 сентября 1915 года Нидермайер и Хентиг прибыли в Кабул в сопровождении турецкого отряда под началом Кязима Орбая, а также трех индийских революционеров и нескольких пуштунов. Заключительная часть германской стратегии состояла в том, чтобы провести большую работу и переманить на свою

сторону военнопленных-мусульман из стран Антанты, которых специально свезли в особый лагерь “Полумесяц” (*Halbmondlager*) в Вюнсдорфе. Там появилась первая в Германии мечеть – замысловатое деревянное здание, построенное по образцу иерусалимской мечети Купол Скалы^[706]. А еще листовки вроде тех, что сочинял алжирский дезертир лейтенант Букабуйя, забрасывали в окопы, где сидели французские колониальные войска. Германских солдат научили кричать по-арабски через нейтральную полосу: “Зачем вы с нами воюете? Мы же ваши братья, мы тоже мусульмане, как и вы”^[707].

Нельзя сказать, что все эти усилия пропали втуне. Правда, Вангенгейм подозревал, что призыв султана-халифа в лучшем случае “выманит из-за теплой печки лишь кучку мусульман”^[708]. Однако неверно считать замыслы Оппенгейма пустыми фантазиями^[709]. Как орудие мобилизации различных групп внутри Османской империи призыв к джихаду во многом возымел успех. “Если наши враги вздумают запачкать нашу землю своими грязными ногами, – писал Энвер-паша 10 августа 1914 года Накибзаде Талиб-бею в Басру, – то, я убежден, исламская и османская доблесть и сила уничтожат их”^[710]. И оказался прав. Злополучная попытка британцев захватить Галлиполи в ходе Дарданелльской операции, возможно, увенчалась бы успехом, если бы Османская Турция по-прежнему оставалась “больным европейцем”^[711]. Без сомнения, религия стала для турок одним из источников боевого духа в той кровопролитной битве. Еще призыв к джихаду вызвал мощный положительный отклик у шиитских племен в районах среднего течения Евфрата – фатла, бени-хасан, бени-хучайм и хазаиль, – а также в племенном союзе Аль-Мунтафик в нижнем течении Евфрата. 19 ноября 1914 года Великий муджтахид Мухаммед Мадхин Язди написал письмо шейху Хазалу, правителю Мохаммеры, обратившись к нему с явным призывом “дать мощный отпор неверным”^[712].

Однако факт остается фактом: германская мечта об общем мусульманском восстании против Антанты не осуществилась. Почему же? Отчасти – из-за некомпетентности немцев и ловкого контршпионажа британцев и французов. Исследователь Лео Фробениус^[713] едва избежал пленения по пути в Эритрею, а потом его выслали в Европу итальянские власти^[714]. Алоис Музиль, австрийский востоковед, которому поручили добиться расположения враждовавших между собой арабских вождей Ибн-

Сауда и Ибн-Рашида, не только не достиг цели, но и совершенно превратно истолковал их намерения^[715]. В Иране в руки британцев попал кодовый словарь Вассмусса, а также ящик с “тысячами яростно подстрекательских брошюр, напечатанных на английском, урду, хинди, пенджаби и сикхском языке и адресованных солдатам Индийской армии”, с “особым воззванием к магометанам в этой армии, побуждавших их вступить в священную войну против неверных англичан”^[716].

Однако имелась и более серьезная причина. Дело в том, что призыв к джихаду просто не прозвучал достаточно широко, по-настоящему не выйдя за пределы центральных областей Османской империи^[717]. Например, шейх Хазал, отдавший порт Абадан в аренду Англо-Персидской нефтяной компании, предпочел проигнорировать призыв Великого муджтахида к мусульманскому единству и решил связать свою судьбу с британцами. Хотя некоторые французские чиновники поначалу встревожились, что их североафриканские подданные могут соблазниться немецкой пропагандой, вскоре выяснилось, что они с такой же готовностью верят и в то (по словам лейтенанта Си Брахима, который выступил перед североафриканскими солдатами в Арле), что, “взявшись за оружие во имя нашей страны”, они “будут сражаться за собственную веру, за честь своей родины и за целостность исламских земель”^[718]. В Ливии сануситы в итоге согласились взяться за оружие – но лишь за деньги, а в скором времени, столкнувшись с упорным сопротивлением британцев, просто исчезли из виду. В Афганистане германскую миссию протомили много недель, после чего эмир созвал совет старейшин разных племен – лойя-джирга, и те проголосовали за сохранение нейтралитета в войне^[719]. В Индии же британцы без особого труда убедили видных мусульманских лидеров – прежде всего Ага-Хана, наваба-бахадур Дакки, и Совет всеиндийского мусульманского союза, – осудить призыв к джихаду как немецкий хитрый план^[720].

Иными словами, тот панисламизм, который всячески нахваливали до начала войны люди вроде Оппенгейма, оказался миражом в пустыне. Никакое количество брошюр не могло привести в действие сеть, которая существовала лишь в воображении востоковедов. Британская путешественница Гертруда Белл – подобно Оппенгейму, которого она в чем-то напоминала, – называла ислам “электрическим током, при помощи которого происходит передача чувств”, и заявляла, что “его сила возрастает

оттого, что его не уравнивает почти никакое территориальное или национальное самосознание”. Опытные колониальные администраторы были настроены более скептически. “В качестве фактора британской политики, – высказывался Рональд Сторрз, восточный секретарь британского генерального консула в Египте, – доктрина халифата – панисламского теократического государства – разработана главным образом в министерстве по делам Индии”^[721]. Даже такое мнение было преувеличением деятельности тех, кто занимался Индией. В докладной записке, составленной в июне 1916 года, Т. У. Холдернесс, заместитель министра по делам Индии, утверждал, что, “как явствует и из давней истории магометанства, и из событий нынешней войны... панисламизм как движущую силу легко переоценить”. Проницательный Холдернесс очень точно подметил такие особенности мусульманского мира, как “недостаток сплоченности, сектантские расколы и взаимную вражду”, и заключил, что в целом мусульмане “куда больше вдохновляются национальными, нежели религиозными идеями”^[722]. Именно так все и обстояло в крайне важной для всех мусульман области Хиджаз, где находятся исламские святыни Мекка и Медина.

Немцы надеялись расшевелить мусульманских подданных всех трех враждебных Германии империй и подтолкнуть их к религиозному мятежу. Этот план провалился – и громче всего не где-нибудь, а в самой Мекке. Британцы преследовали более ограниченную цель – убедить арабских подданных Османской империи перейти на сторону противника. И их план сработал. Еще до начала войны Хусейн ибн Али, 60-летний шериф Мекки, послал к британцам своего второго сына, Абдуллу, чтобы сообщить: он не прочь взбунтоваться против своих османских владык. Хусейн был социальным консерватором, и засевшие в Стамбуле младотурки с их программой модернизации вызывали у него глубокое недоверие. Собственно, он подозревал их в том, что они замышляют свергнуть его и покончить с сузеренитетом его семьи, династии Хашимитов, над Хиджазом^[723]. 24 сентября 1914 года британский военный министр лорд Китченер послал через Сторрза в Каире тайное письмо Абдулле, чтобы спросить Хусейна, будут ли “он, его отец и арабы Хиджаза за нас или против нас”, если Турция примкнет к Союзу центральных держав. Письмо завершалось недвусмысленным намеком: “Возможно, истинные арабы захотят создать халифат в Мекке или Медине, и таким образом, с Божьей

помощью, из всего того зла, что сейчас творится, вырастет что-то хорошее”^[724].

Возможно, Китченер подумывал о том, чтобы установить с Хусейном отношения, которые поставили бы того в зависимость от Британской империи, как обычно делалось с правителями Южной Азии и Центральной Африки (к югу от Сахары) в XIX веке. Но сам Хусейн рисовал себе иное будущее. Османское владычество над арабами еще далеко не ослабло^[725], но альтернативой ему было не британское господство, а арабская независимость. Именно этот вариант и обсуждался, когда Фейсал, старший сын Хусейна, тайно встречался с представителями секретного общества арабских националистов Аль-Ахд и гражданского движения Аль-Фатат. Османские власти предлагали на выбор: подчинение – или низложение. Защитники арабских интересов предлагали нечто большее: если Хусейн убедит британцев признать обширное независимое арабское государство, границы которого определялись в их Дамасском протоколе (оно включало бы не только Аравийский полуостров, но и Месопотамию и значительную часть Сирии), тогда они присоединятся к восстанию Хусейна против султана и по окончании войны сделают его “королем арабов”^[726]. Судьбоносное решение сэра Генри Макмагона, верховного комиссара Египта, заключить эту сделку с Хусейном – пускай после длительных пререканий о точных границах будущего “Арабского халифата” – отчасти стало реакцией на германо-османский призыв к джихаду, а также на панику, вызванную разгромом британцев сначала в Галлиполи, а затем в Кут-аль-Амаре^[727]. Гилберт Клейтон, глава Каирского бюро разведки, говорил: “Если мы преуспеем в этом, то лишим немцев и турок арабской поддержки и пресечем малейшую вероятность того, что арабы поднимут восстание против нас и против французов с итальянцами, то есть настоящий джихад, разжигаемый из святых мест ислама... Я полагаю, излишне большой упор делался на то, что можно назвать положительными преимуществами союза с арабами, тогда как огромные отрицательные преимущества – а именно возможность отсечь их от немцев и турок – были оставлены без должного внимания”^[728]. Соглашение британцев с Хашимитами, наряду с сепаратными соглашениями с Францией в отношении Месопотамии и Сирии^[729] и с сионистским движением, целью которого было создание еврейского национального государства в Палестине, заложило новый политический фундамент для региона, который сегодня

известен нам под названием Ближний Восток^[730]. В течение столетия оно сохраняло силу.

Арабское восстание, начавшееся 5 июня 1916 года, побило немцев их же оружием и повернуло ход войны против турок^[731]. Но чтобы понять, почему британцы (при поддержке французов) одержали успех там, где немцев и турок ждал провал, нам необходимо оценить по достоинству не только военные успехи, прославленные Т. Э. Лоуренсом^[732], самым страстным британским поборником арабской независимости^[733]. Нам необходимо понять еще и то, что Лоуренс работал с активной сетью – а именно сетью арабских националистов, – тогда как Оппенгейм и его единомышленники пытались привести в действие сеть, находившуюся в состоянии спячки и разобщенную, – *умму*, сообщество всех мусульман. Немцы совершили роковую ошибку: они недооценили силу арабского самосознания, которое успело в значительной степени подорвать официальные структуры османского режима еще до начала войны^[734]. Оппенгейм льстил себе мыслью, будто хорошо знает мусульманский мир, но на деле совершенно неверно истолковал намерения Хашимитов. Объявить всемирную священную войну, не завладев предварительно святыми местами, – вот примитивный промах, вполне достойный какого-нибудь карикатурного тевтонца из романов Бакена. С другой стороны, для того чтобы “жить в одеянии арабов и усвоить азы их самосознания” – что вполне удалось Лоуренсу, – тоже требовался настоящий бакеновский герой.

Глава 36

Чума

Все, кроме одного, тайные планы, которые вынашивала Германия, чтобы победить в Первой мировой войне хитростью, потерпели крах. Антибританский индо-германский заговор – послать оружие индийским националистам – лопнул, как и замысел устроить вторжение в Индию из Сиам при помощи германских денег. Германия отправила в Ирландию 25 тысяч захваченных русских винтовок, но это не помогло превратить обреченное Пасхальное восстание ^[735] в настоящую революцию. Самой безнадежной оказалась неуклюжая попытка втянуть в войну Мексику, чтобы та попыталась отвоевать Нью-Мексико, Техас и Аризону. Подробности этого плана были перехвачены британской разведкой и переданы США, потому что, как мы уже говорили, германские трансатлантические телеграммы проходили через британскую ретрансляционную станцию. Однако тот единственный германский план, который все-таки сработал, оказался настолько успешным, что едва не привел к мировой революции. Суть этого плана состояла в том, чтобы заслать вождя большевиков, Владимира Ильича Ленина, жившего в ту пору в ссылке в Швейцарии, обратно в Россию, где только что произошла Февральская революция 1917 года и царь Николай II отрекся от престола.

Узнав от двух профессиональных революционеров, Александра Гельфанда (Парвуса) и Александра Кескюлы, о потенциале ленинской доктрины “революционного пораженчества”, германское правительство обеспечило его не только местом в поезде из Цюриха в Петроград – через Франкфурт, Берлин, Засниц и Стокгольм, – но и значительными денежными средствами для свержения нового российского Временного правительства ^[736]. Вместо того чтобы арестовать Ленина и девятнадцать его соратников сразу по прибытии, как стоило бы сделать, Временное правительство проявило нерешительность. Большевики принялись за дело: обзавелись штабом в центре города, купив ^[737] бывший особняк балерины Матильды Кшесинской, известной пассии царя, купили частную типографию и начали буквально раздавать банкноты налево и направо, зазывая людей на свои демонстрации. В огромной степени (о чем не говорится в большинстве рассказов о тех событиях) большевистская революция являлась операцией,

профинансированной немцами, хотя, конечно же, ей во многом поспособствовала некомпетентность русских либералов^[738]. Миссия Ленина могла бы потерпеть фиаско уже в начале июля, когда провалилась первая попытка большевистского переворота, а газета “Живое слово” разоблачила Ленина как германского агента, после чего ему и десяти другим большевистским лидерам предъявили официальные обвинения в государственной измене. Но эсер Александр Керенский – министр юстиции, ставший 7 июля председателем Временного правительства, – не обладал инстинктом убийцы. Когда абсолютно ненадежный посредник убедил его в том, что новый главнокомандующий, генерал Лавр Корнилов, замышляет военный переворот, Керенский снял его с должности и позволил исполкому Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов фактически амнистировать большевиков. Меншевика Льва Троцкого – талантливого журналиста, вступившего в союз с Лениным, – выпустили из тюрьмы. На второй неделе октября Ленин, убедившись в том, что обвинения в государственной измене с него сняты, возвратился из Финляндии, куда он бежал после июльских событий. После этого они и их единомышленники уже почти не скрывали, что замышляют свергнуть Временное правительство и передать “всю власть советам”. В первые часы 25 октября 1917 года, после неудачной попытки Керенского в очередной раз принять жесткие меры против большевиков, те устроили собственный государственный переворот. Оба противника пытались перерезать друг другу телефонные провода, но исход борьбы решило количество вооруженных сторонников. Временное правительство защищал Женский батальон смерти, а у большевиков было больше мужчин и дополнительное преимущество в виде пушек Петропавловской крепости, которые они нацелили на Зимний дворец^[739].

Сейчас хорошо известно, что во время Октябрьской революции людей погибло меньше, чем при съемках фильма Сергея Эйзенштейна, снятого по случаю ее десятилетия^[740]. Однако было бы неверно недооценивать значение самого этого события. Первое, что поражает в большевистской революции, – это скорость, с какой она распространялась. Большевистские лозунги и плакаты стали появляться в северных частях российской армии с 18 апреля. Когда Временное правительство вело подготовку к наступлению на Галицию, офицеры доложили о первых вспышках “шкурного большевизма”. Командующий 12-й армией жаловался

на “усиленную агитацию большевиков, которые свили себе прочное гнездо” (очень характерный образ)^[741]. Подкрепления из Петрограда прибыли на фронт вместе с большевистскими знаменами, на которых красовался лозунг “Долой войну и Временное правительство!”^[742] Один-единственный дезертир, А. И. Семашко, сумел завербовать в большевики пятьсот человек в Первом пулеметном полку^[743]. Хотя эпидемия на некоторое время приостановилась из-за провала Июльского восстания, арест Корнилова Керенским восстановил доверие к большевикам в нижних армейских чинах. По Пятой армии прокатилась волна дезертирства. Большевистские комиссары завладели телеграфным оборудованием. У армейских офицеров разведки понемногу создавалось впечатление, что “большевистская волна” сметает прочь всякую дисциплину^[744]. К концу сентября поддержка партии Ленина в крупных городах России настолько окрепла, что большевики взяли под свой контроль советы в Москве и Петрограде. Очень много их сторонников было на Кронштадтской военно-морской базе и в Балтийском флоте. Лишь в широких крестьянских массах и среди казачества большевиков не поддерживал почти никто – потому-то так быстро Россия в 1918 году и скатилась в гражданскую войну, которая велась, по сути, между городом и деревней^[745]. Для большевистского вируса главными средствами распространения стали прежде всего поезд и телеграф, а наиболее уязвимыми для заразы оказались грамотные солдаты, матросы и рабочие. Но тут крылся подвох для немцев: подобно горчичному газу, который переменившимся ветром могло отнести не в ту сторону, большевистская чума столь же успешно поражала их собственных солдат, матросов и рабочих. Летом 1918 года, когда выяснилось, что даже полный крах Российского государства не способен предотвратить разгром Центральных держав, самопровозглашенные правительства наподобие советских появились в Будапеште, Мюнхене и Гамбурге. Красный флаг взвился даже над городским советом Глазго. Ленин ликовал и грезил уже о “Союзе Советских республик Европы и Азии”. Троцкий выступал с сумасбродными заявлениями о том, что “путь в Париж и Лондон лежит через города Афганистана, Пенджаба и Бенгалии”^[746]. Даже далекие Сиэтл и Буэнос-Айрес сотрясли забастовки. Это была настоящая пролетарская пандемия.

Вторая поразительная особенность – это та беспощадная жестокость, с какой большевики превратили свою революционную

сеть в новую иерархическую систему, во многом оказавшуюся гораздо суровее старого царского режима. После 1917 года партия большевиков росла в геометрической прогрессии, но, расширяясь, она одновременно становилась все более централизованной. Именно такой результат предвидел Ленин в своем довоенном памфлете “Что делать?”. Неудачи большевиков в 1918 году узаконили потребность Ленина сыграть роль Робеспьера и присвоить диктаторские полномочия под предлогом того, что “революция в опасности”. 17 июля 1918 года низложенного царя и всю его семью расстреляли в подвале дома в Екатеринбурге, где их держали в плену. А четырьмя днями позже в Ярославле расстреляли сразу 428 эсеров^[747]. Ленин утверждал, что единственный способ заставить крестьян сдавать зерно для прокорма Красной армии – это устраивать показательные казни так называемых кулаков – зажиточных крестьян, которых большевикам было выгодно всячески очернять, выставляя ненасытными хищниками и капиталистами. “Как же можно совершить революцию без расстрелов?”^[748] – спрашивал Ленин^[749]. “Если мы не умеем расстрелять саботажника-белогвардейца, то какая это великая революция? Одна болтовня и каша”^[750]. Свято веря в то, что большевики не смогут “выйти победителями” “без жесточайшего революционного террора”^[751], Ленин открыто призывал “произвести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев”^[752]. “Спекулянты... расстреливаются на месте преступления”^[753]. 10 августа 1918 года он отправил в Губисполком Пензы красноречивую телеграмму:

Восстание пяти [ваших] волостей кулачья должно повести к беспощадному подавлению... Образец надо дать. 1) Повесить (неприменно повесить, *дабы народ видел*) не меньше 100 заведомых кулаков, богатеев, кровопийц. 2) Опубликовать их имена. 3) Отнять у них *весь* хлеб. 3) Назначить заложников... Сделать так, чтобы на сотни верст кругом народ видел, трепетал, знал, кричал: душат и задушат кровопийц кулаков. P. S. Найдите людей подтверже^{[754][755]}.

Кулаки, утверждал Ленин, это “кровопийцы”, “пауки”, “пиявки” и “вампиры”. А после неудачного покушения на Ленина, совершенного 30 августа эсеркой Фанни Каплан, власть озлобилась еще сильнее.

Сердцем новой тирании являлся Всероссийский чрезвычайный комитет для борьбы с контрреволюцией и саботажем – сокращенно

ЧК. Под руководством Феликса Дзержинского большевики создали новый тип политической полиции, которая без малейших угрызений совести просто расстреливала подозреваемых. “ЧК, – объяснял один из его основателей^[756], – это не следственная комиссия, не суд и не трибунал. Это орган боевой, действующий по внутреннему фронту гражданской войны. Он врага не судит, а разит. Не милует, а испепеляет всякого, кто по ту сторону баррикад”^{[757][758]}. Официальное издание большевиков “Красная газета” провозглашала: “Без пощады, без сострадания мы будем избивать врагов десятками, сотнями. Пусть их наберутся тысячи. Пусть они захлебнутся в собственной крови!.. За кровь... Ленина... пусть прольется кровь буржуазии и ее слуг, – больше крови!”^{[759][760]}. Дзержинский был рад стараться. Приведем лишь один пример: 23 сентября 1919 года были расстреляны без суда и следствия 67 человек, заподозренных в контрреволюционной деятельности. Их список возглавил Николай Щепкин, либеральный депутат Государственной думы – парламента, созванного после 1905 года. О казни сообщалось в самых резких выражениях: Щепкин и его якобы сообщники, “притаившись, как кровожадные пауки... расставляли свои сети повсюду, начиная с Красной армии и кончая университетом и школой”^{[761][762]}. С 1918 по 1920 год было совершено не менее трехсот тысяч подобных политических расправ^[763]. Расстреливали не только представителей партий-соперниц, но и своих же собратьев большевиков, которые оказывались настолько безрассудны, что критиковали новую диктатуру партийного руководства. К 1920 году было создано уже более сотни концентрационных лагерей для “перевоспитания неблагонадежных элементов”. Места для них старательно выбирались, чтобы заключенные оказались в самых суровых условиях, – например, в бывшем монастыре в Холмогорах, на ледяных просторах вблизи Белого моря. Так возник ГУЛАГ.

Иосифа Виссарионовича Джугашвили, взявшего себе говорящий революционный псевдоним Сталин, совсем не прочили в преемники Ленину в качестве вождя, который возглавит советскую систему. Ему недоставало харизмы и чутья, свойственных другим лидерам большевиков. Однако Ленин, назначив в апреле 1922 года Сталина генеральным секретарем ЦК, сильно недооценил его бюрократические способности. Оказавшись единственным человеком, занимавшим место во всех трех важнейших партийных органах – Политбюро, Оргбюро и секретариате, – и сделавшись

аппаратчиком с самым обширным штатом подчиненных, Сталин принялся устанавливать контроль повсюду, пуская в ход и строгие административные меры, и личную изворотливость. Вскоре он посадил преданных ему людей на местах и, что важно, в тайной полиции. Он составил список высокопоставленных функционеров, получивших собирательное название “номенклатуры”, чтобы (как объяснял сам Сталин на XII съезде РКП(б) в апреле 1923 года) “на постах стояли люди, умеющие осуществлять директивы, могущие понять директивы, могущие принять эти директивы, как свои родные, и умеющие их проводить в жизнь”^{[764][765]}. Полномочия управленца дали ему возможность контролировать не только расходы чиновников: секретный отдел секретариата, скрытый за стальными дверями, сделался органом внутрипартийных разоблачений и расследований. А закрытая система правительственной телефонной связи – “вертушка” – и телеграфный шифратор предоставили ему контроль над коммуникациями и в том числе средства для подслушивания чужих разговоров.

Как и Ленин, Сталин был продуктом подпольной революционной сети. В молодости, при царском режиме, он был заговорщиком и вволю хлебнул положенных лишений в ссылке. Примечательно, что диктаторы XX века – возможно, в силу собственного подпольного прошлого – повсюду видели заговоры против самих себя. Мнимые шпионы и саботажники, осужденные на показательных процессах – по Шахтинскому делу (1928), по делу Промпартии (1930) и по делу инженеров из “Метро-Виккерс” (1933), – стали жертвами лишь самых зрелищных из бесчисленного множества псевдоюридических и внеправовых действий. Усматривая в малейших проявлениях недовольства государственную измену или контрреволюцию, созданная Сталиным система гурьбой и гуртом отправляла советских граждан в ГУЛАГ. Папки с делами осужденных, доступные теперь для изучения в Государственном архиве Российской Федерации, позволяют понять, как именно работала система. Ленинградская старушка Берна Клауда совсем не походила на “подрывной элемент”, однако в 1937 году ее приговорили к десяти годам заключения в пермских лагерях за антиправительственные высказывания^[766]. “Анτισоветская агитация” была наименьшим из политических преступлений, за которые могли осудить человека. Куда серьезнее было обвинение в “антисоветской деятельности”, еще хуже – в “контрреволюционной террористической

деятельности”, а хуже всего – в “троцкистской террористической деятельности”. На деле же подавляющее большинство людей, осужденных за подобные преступления, были виновны (если, конечно, это вообще можно назвать виной) лишь в мелких проступках: неосторожное слово начальству, случайно услышанный анекдот про Сталина, жалоба на ту или иную сторону вездесущей системы, в крайнем случае мелкое экономическое правонарушение вроде спекуляции (покупки и перепродажи товаров). Лишь мизерная доля политических заключенных были истинными противниками режима. Что характерно, лишь чуть более 1 % лагерных заключенных в 1938 году имели высшее образование, а треть была вовсе неграмотной. К 1937 году появились квоты, или нормы, на аресты – в точности как существовали нормы производства стали. Чтобы исполнить положенное количество наказаний, преступления просто фабриковали. Заключенные становились очередным видом продукции, и в НКВД^[767] их называли просто “делами” (если речь шла о мужчинах) или “досье” (если речь шла о беременных женщинах). В пору расцвета ГУЛАГа по всему Советскому Союзу существовало 476 лагерных зон, причем каждая состояла из сотен отдельных лагерей. Всего при Сталине через систему ГУЛАГа прошло восемнадцать миллионов мужчин, женщин и детей. С учетом еще шести или семи миллионов советских граждан, приговоренных к ссылке, доля населения, подвергшегося при Сталине тому или иному виду каторжных работ или тюремного заключения, приближается к 15 %^[768].

В безопасности не был никто. Первым регулярно проводить партийные “чистки” предложил Ленин – чтобы избавиться от “бездельников, хулиганов, авантюристов, пьяниц и воров”^{[769][770]}. Сталин, страдавший маниакальной подозрительностью по отношению к соратникам по партии, пошел еще дальше. Мало какие группы подвергались более беспощадному преследованию в 1930-х годах, чем те самые старые большевики, которые были близкими товарищами Сталина в решающие дни революции и гражданской войны. Высокопоставленные партийные функционеры жили в постоянной тревоге, не зная, кто из них в любой момент станет очередной жертвой сталинской паранойи. Вернейшего из верных коммунистов могли арестовать и бросить в тюрьму, словно опаснейшего преступника. Верных ленинцев клеймили “вредителями”, шпионами империалистических держав или “троцкистами” – сторонниками главного соперника Сталина,

объявленного врагом и жившего за границей Льва Троцкого (с которым наконец удалось расправиться в 1940 году, подослав к нему убийцу). То, что начиналось в 1933 году просто как крутые меры против коррумпированных или некомпетентных чиновников, после убийства руководителя ленинградской парторганизации Сергея Кирова в декабре 1934 года переросло в кровавые и нескончаемые чистки. Одного за другим старых коммунистов и коммунисток, которые когда-то составляли авангард революции, арестовывали, пытали и допрашивали до тех пор, пока те не признавались в каком-нибудь “преступлении” и не доносили на других своих товарищей, после чего несчастных расстреливали. С января 1935 года по июнь 1941-го в Советском Союзе было произведено около 20 миллионов арестов и не менее 7 миллионов расстрелов. Лишь в 1937–1938 годах квота на “врагов народа”, подлежащих расстрелу, составляла 356 105 человек, хотя количество людей, погибших в действительности, превысило это число более чем вдвое^[771]. Из 394 членов Исполнительного комитета Коммунистического интернационала, насчитывавшихся в январе 1936 года, к апрелю 1938 года 223 стали жертвами террора, как и 41 из 68 лидеров немецкой компартии, бежавших в СССР после 1933 года.

На пике сталинских репрессий “благо общества” оборачивалось тотальной личной уязвимостью. Буквально никто не мог чувствовать себя в безопасности, и меньше всего — люди, возглавлявшие сам НКВД. Генриха Ягоду расстреляли как троцкиста в 1938 году; его преемника Николая Ежова расстреляли как британского шпиона в 1940-м; Лаврентия Берию расстреляли вскоре после смерти Сталина. Те же, кто уцелел, живя под прицелом, вовсе не обязательно являлись конформистами. Им просто очень повезло. Среди множества арестованных оказались 53 члена Ленинградского общества глухонемых. Этой якобы “фашистской организации” предъявили обвинение в том, будто она в заговоре с германской разведкой замышляла в день годовщины революции при помощи самодельной бомбы взорвать Сталина и других членов Политбюро во время парада на Красной площади. 34 человека были расстреляны, остальных сослали в лагеря на десять или больше лет. В действительности же произошло вот что: председатель донес на нескольких членов общества, которые, чтобы свести концы с концами, торговали кое-какой мелочью по пригородным поездкам. Этим доносом заинтересовались в НКВД. Впоследствии самого председателя объявили причастным к якобы

готовившемуся заговору и расстреляли. Спустя год энкавэдэшники решили, что само по себе расследование вызывает подозрения. Тогда пришли уже за теми службистами, которые раздули это дело^[772].

К концу 1930-х годов Сталин успел превратить Советский Союз в огромный лагерь рабского труда, а сам сделался его комендантом. Он мог сидеть на балконе своей сочинской дачи и диктовать приказы, которые немедленно телеграфировались в Москву, а там их превращали в официальные постановления, которые затем спускались вниз по всем каналам партийной иерархической пирамиды, а в случае необходимости направлялись и иностранным компартиям. Местные чиновники не смели игнорировать эти приказы из страха, что их неисполнение впоследствии вскроется, и это неизбежно повлечет расследование, преследование, приговор и, вполне возможно, расстрел^[773]. Власть Сталина складывалась из трех основных элементов — полного контроля над партийным чиновничьим аппаратом, полного контроля над средствами связи (центром которой являлась кремлевская телефонная сеть) и полного контроля над секретной службой, сотрудники которой сами жили в постоянном страхе. Ни один восточный деспот еще не обладал столь абсолютной личной властью над империей, потому что ни одной прежней иерархии не удавалось сделать принадлежность к неофициальным сетям — и даже само подозрение в этой принадлежности — настолько смертельно опасным.

Глава 37

Вождизм

Фашизм тоже возник как сеть, особенно в Германии, где в годы Депрессии поддержка Гитлера в народе росла в геометрической прогрессии. Большинство фашистских режимов, начиная с режима Бенито Муссолини в Италии, стартовали благодаря людям, получившим назначение от короля или аристократии, а затем происходила быстрая централизация власти. С национал-социализмом вышло иначе. Ни одна другая фашистская партия не могла приблизиться к такому успеху на выборах, какого добились национал-социалисты. С точки зрения количества избирателей фашизм был непропорционально немецким явлением: если сложить все отдельные голоса, отданные в Европе за фашистские или иные партии крайне националистического толка между

1930 и 1935 годами, то получится, что ошеломительное большинство их электората (96 %) составляли носители немецкого языка^[774]. После гиперинфляции 1923 года многие избиратели отвернулись от ориентированных на средний класс правоцентристских или левоцентристских партий, разочаровавшись в той постоянной торговле между капиталом и трудом, которая, похоже, возобладала в политике Веймарской республики. Плодились новые партии, отколовшиеся от старых, и группы людей со специфическими интересами: шел медленный раскол общества, ставший прелюдией к политическому взрыву 1930 года, когда доля голосов, полученных на выборах нацистами, вдруг выросла в семь раз по сравнению с 1928 годом. Число членов партии тоже росло по экспоненте. В 1928 году в Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) насчитывалось 96 918 членов. К январю 1933 года их количество увеличилось в восемь раз — до 849 009 человек, а за следующие два года оно выросло еще втрое, так как в ряды побеждающей партии ринулись приспособленцы. Партия продолжала расти вплоть до самого конца существования Третьего рейха: от 2,5 миллиона в 1935 году до 5,3 миллиона в 1939-м, 7,1 миллиона в 1941-м, 7,3 миллиона в 1943-м и более чем 8 миллионов в мае 1945 года. Количество читателей партийной газеты *Völkische Beobachter* следовало примерно такой же траектории. Достигнув к 1933 году 330 тысяч человек, к 1940-му оно превысило миллион, а в 1944-м ежедневно продавалось 1,7 миллиона экземпляров газеты^[775].

Вопреки прежним заявлениям о том, что НСДАП является партией крестьян, или северян, или среднего класса, ей удалось завоевать поддержку самых разных слоев населения по всей Германии. Анализ на уровне главных избирательных округов этого не раскрывает и делает преувеличенный упор на различия между областями. Недавнее исследование, сосредоточившееся на самой маленькой избирательной единице (*Kreis* — круг), обнаружило исключительную широту электората нацистов^[776]. В возникающей картине просматривается почти фрактальная закономерность: каждый избирательный округ несколько напоминает карту всей страны в миниатюре, а главные очаги поддержки (Ольденбург в Нижней Саксонии, Верхняя и Средняя Франкония в Баварии, северные районы Бадена, восточная область Восточной Пруссии) рассредоточены по всей стране. Правда, те места, где особенно много людей голосовали за нацистов, чаще всего находились в

центральной, северной и восточной частях, а те места, где за них голосовали мало, с большей вероятностью обнаруживались на юге и западе^[777]. Но самое главное другое: нацисты сумели добиться определенной поддержки почти во всех слоях местной политической среды и охватили разнородные избирательские массы Германии с таким успехом, какого никогда не наблюдалось ни раньше, ни позже. Электоральная база нацистов не обнаруживала пропорциональной зависимости от уровня безработицы или от доли рабочих в населении. В некоторых районах до двух пятых избирателей, голосовавших за нацистов, принадлежали к рабочему классу – что вызвало ужас и изумление у руководства компартии. Единственным значимым фактором, сдерживавшим рост нацистского электората, была относительно высокая сопротивляемость Партии католического центра – по сравнению с теми партиями, которые до тех пор пользовались поддержкой немецких протестантов^[778].

Словом, национал-социализм являлся движением, и можно сказать, что Гитлер, его харизматический лидер, набрал молниеносную популярность между 1930 и 1933 годами. Многим наблюдателям казалось, что происходит нечто вроде религиозного пробуждения. Сержант одного штурмового отряда (*Sturmabteilung*) объяснял: “Наши противники... совершили фундаментальную ошибку, приравняв нас как партию к экономической партии, к демократам или к марксистским партиям. Все эти партии оставались всего лишь группами по интересам, в них не было души, не было духовных уз. А Адольф Гитлер явился как носитель новой политической религии”^[779]. Нацисты разработали самую настоящую литургию, точно рассчитанную на сильный эффект: 9 ноября (годовщина революции 1918 года и провалившегося “пивного путча” 1923 года^[780]) был назначен Днем скорби, а к нему прилагались факелы, венки, алтари, запятнанные кровью реликвии и даже нацистский “мартиролог”. Новички, вступая в элитные “отряды охраны” (*Schutzstaffel*, сокращенно SS), нараспев повторяли, будто из катехизиса: “Мы верим в Бога, мы верим в Германию, которую Он создал... и в фюрера... которого Он послал нам”^[781]. И мало того, что Гитлер более или менее явно подменил собой Христа в иконографии и литургии “коричневого культа”. Как утверждал официальный эсэсовский журнал *Das Schwarze Korps*, сами этические основы христианства тоже должны уйти в прошлое: “Невразумительная доктрина о первородном

грехе... и, собственно, само понятие греха в толковании церкви... есть нечто непереносимое для нордического человека, так как оно несовместимо с героической идеологией нашей крови”^[782]. Противники нацистов тоже обращали внимание на псевдорелигиозный характер их движения. Католический мыслитель в изгнании Эрик Фёгелин отмечал, что идеология нацизма “сродни христианским еретическим учениям об искуплении прямо здесь и сейчас... в сплаве с постпросвещенческими доктринами об общественном преобразовании”. Журналист Конрад Гейден называл Гитлера “незамутненным осколком современной массовой души” и указывал на то, что его речи всегда заканчиваются “восторженным искуплением”. Анонимный социал-демократ назвал нацистский режим “контрцерковью”^[783]. Однако религиозность в буквальном смысле была чужда нацизму: организационным рассадником, откуда он вырос, стала уже готовая сеть светских общественных объединений Германии. Чем гуще и насыщеннее была общественная жизнь в том или ином городе, тем быстрее росла там нацистская партия^[784].

Подобно церкви и большевистской партии, нацистская партия по мере роста становилась все более иерархичной. Со времени написания книги “Моя борьба” Гитлер твердо верил в *Führerprinzip* – идею вождизма, и его последователи научились “держат курс на фюрера”. На вершине пирамиды Третьего рейха стоял сам Гитлер. Следующую ступень занимали его избранные верные помощники – Мартин Борман, Йозеф Геббельс и Генрих Гиммлер. Национальным лидерам подчинялись *гауляйтеры* – региональные руководители, отвечавшие за территории в границах отдельных исторических земель Германии, *крайсляйтеры*, отвечавшие за целые города или города с пригородами, и *ортсгруппенляйтеры* и *штюцпунктляйтеры* – местные руководители отдельных населенных пунктов. Еще ниже на этой шкале располагались *целленляйтеры* (руководители ячеек) и *блокляйтеры* (руководители жилых кварталов). В 1936 году насчитывалось 33 гауляйтера, 772 крайсляйтера, остгруппенляйтеров и штюцпунктляйтеров – 21 041. К 1943 году, отчасти в результате расширения границ рейха, имелось уже 43 гауляйтера, 869 крайсляйтеров, 26 103 остгруппенляйтера, 106 168 ячеек и почти 600 тысяч жилищных объединений^[785]. Однако было бы неверно рисовать себе гитлеровскую Германию просто в виде партийной пирамиды, какой

был сталинский СССР. Если Сталин предпочитал повсюду насаждать навязчивый контроль, то Гитлеру был по душе более хаотичный стиль управления, в котором старая правительственная иерархия рейха состязалась с новой партийной иерархией, а позднее и с еще более новой иерархией Службы безопасности (*Sicherheitsdienst*, сокращенно SD). Иногда историки отмечали, что этой системе был присущ “поликратический хаос”, при котором неоднозначные распоряжения и частичное совпадение подведомственных областей вызывали “кумулятивную радикализацию”, а отдельные лица и ведомства, соперничавшие между собой, наперегонки бросались выполнять желания фюрера, понимая их каждый на свой лад. Результатом становилась смесь неэффективности, вопиющей коррупции и нараставшей ненависти ко всем группам, будто бы не принадлежавшим к основному “этническому сообществу” (*Volksgemeinschaft*), особенно к евреям.

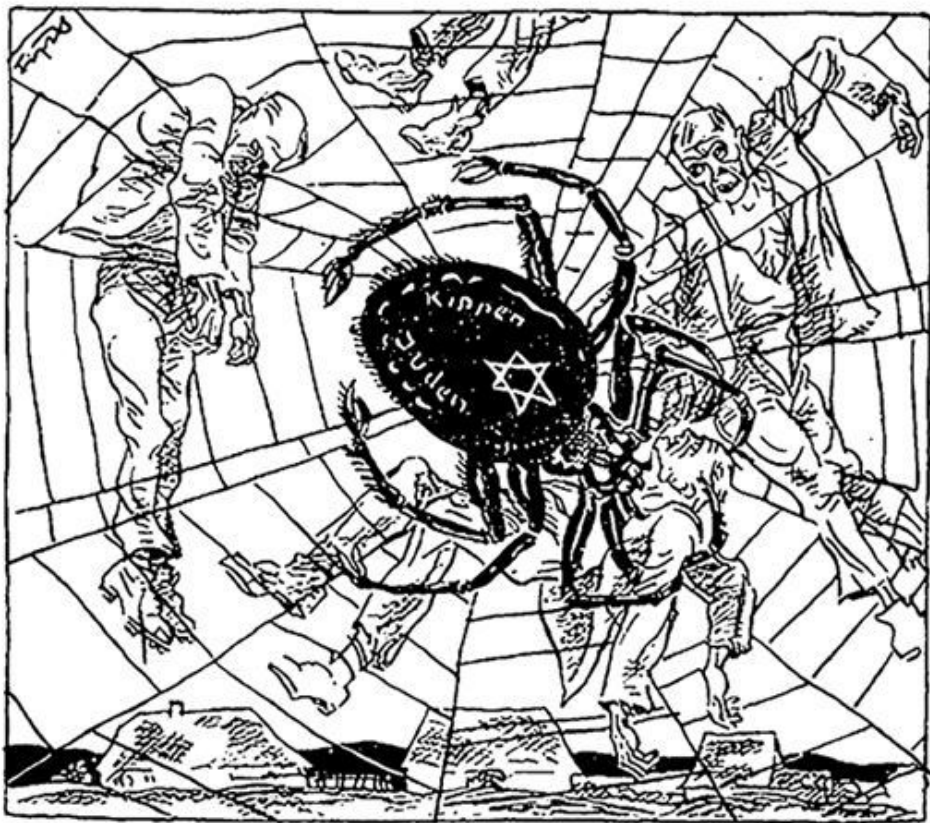
Глава 38

Падение “золотого интернационала”

В антисемитизме Гитлера не было ничего оригинального. Нацизм особенно буйно расцветал в маленьких городках с давними антисемитскими традициями, восходившими еще к XIV веку^[786]. Если говорить о более недавних временах, как мы уже отмечали, популисты как левого, так и правого толка на протяжении всего XIX века регулярно направляли свой гнев на якобы чрезмерную власть финансистов-евреев, причем происходило это не только в Германии. Расовые теории о неполноценности или низости еврейского народа пользовались популярностью по обе стороны Атлантического океана задолго до 1933 года. Новизна заключалась лишь в той беспощадности, с какой Гитлер выплескивал свою ненависть к евреям и осуществлял планомерный и жестокий геноцид^[787]. Однако задолго до того, как в закрытом кругу нацистского руководства начали обсуждать возможность массового убийства евреев, режим обнаружил один парадокс. Вопреки постоянно звучавшим утверждениям пропаганды о том, что Германия пострадала от хищничества “золотого интернационала” банкиров-евреев, которые непонятно как связаны с “еврейским большевизмом” Коммунистического интернационала^[788], нацистский режим без особого труда лишил немецко-еврейскую элиту вначале влияния, а затем и имущества. Гигантский паук – образ, который нацисты позаимствовали у американских популистов 1890-х годов, – очень грозно смотрелся на первой полосе газеты *Der Stürmer*, где изобразили, как он высасывает кровь из беспомощных немецких рабочих, попавшихся в его паутину (см. илл. 24). Но Гитлер легко раздавил пяткой этого паука. Один из триумфов нацистской пропаганды состоял в том, чтобы убеждать простых немцев в существовании всесильного еврейского заговора, способного раздуть мировую войну^[789], и одновременно предъявлять им реальные картины еврейской слабости.

Утверждение о том, что евреи играли ведущую роль в экономике Германии с 1830-х по 1930-е годы, никак нельзя отнести к конспирологическим домыслам. Это была правда. В замкнутом мире банковского обслуживания состоятельных клиентов наиболее известны были такие фамилии, как Варбург, Арнольд, Фридлендер-Фульдс, Симон и Вайнберг. Из акционерных коммерческих банков

Deutsche Bank и *Dresdner Bank* находились под управлением Оскара Вассермана и Герберта Гутмана, соответственно, а компанией *Berliner Handels-Gesellschaft* управлял вплоть до своей смерти в 1933 году Карл Фюрстенберг. *Darmstädter und Nationalbank (Danat-Bank)*, обанкротившийся в 1931 году, на протяжении 1920-х годов находился в руках Якоба Гольдшмидта. Еврейское влияние не ограничивалось одними финансами. Два крупнейших универмага в Германии носили еврейские имена – “Вертхайм” и “Тиц”^[790]. Крупнейшее электротехническое предприятие, *Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft*, было основано Эмилем Ратенау. Было и множество менее известных богатых немецких евреев. До Первой мировой войны, в пору, когда доля евреев в населении Германии не доходила и до 1 %, больше одной пятой всех прусских миллионеров составляли евреи^[791]. Кроме того, евреи в чрезмерно большом количестве были представлены в руководстве разных германских компаний. В 1914 году около 16 % членов правления германских открытых акционерных компаний имели еврейское происхождение, а в центре корпоративных сетей, где люди могли занимать сразу по три-четыре должности, евреи составляли уже около четверти. Более чем в двух третях крупных германских корпораций имелось хотя бы по одному директору-еврею^[792]. То же самое наблюдалось и в верхних интеллектуальных эшелонах германских образовательных и культурных учреждений, где евреи занимали столь же (если не еще более) заметное место. Бросалось в глаза единственное исключение: в политической жизни страны евреи играли лишь минимальную роль. В 1936 году Гуго Валентин^[793] отмечал:



Die Ausgefaugten

Илл. 24. “Жертвы эксплуатации”. Карикатура национал-социалистов изображает огромного еврейского паука, который высасывает кровь и силы из немецкого народа. Опубликовано на первой странице *Der Stürmer*, № 8, февраль 1930 г.

В двадцати кабинетах, которые были у власти с [1818 по 1933 год], побывало всего два министра-еврея... и четверо – с еврейскими корнями... из приблизительно 250 министров... Примерно из 250 высших чиновников в министерствах рейха, включая государственных секретарей и членов правительственных советов, до победы Гитлера можно было насчитать не более пятнадцати евреев или людей еврейского происхождения. Между 1918 и 1933 годами госсекретарей-евреев в администрации было всего двое. Из порядка 300 высших чиновников в прусских министерствах около десяти человек были евреями или имели еврейские корни. Из двенадцати оберпрезидентов, тридцати пяти регирунгспрезидентов и более чем четырехсот ландратов... не было ни одного еврея... Из всех правительственных чиновников в Германии [в 1925 году] евреи составляли 0,25 %; из высших

чиновников – 0,29 %; из чиновников среднего и низшего звеньев – 0,17 %^[794].

Почему же евреи занимали столь видное место в экономической жизни Германии? Только ли потому, что имели – в среднем – лучшее образование? Была ли их заметная центральность в плотной германской корпоративной сети взаимосвязанных директоров всего лишь следствием их чрезвычайно заметного присутствия в банковском секторе, в силу чего они со временем и занимали по несколько должностей в советах правления? Или же какие-то особые преимущества проистекали из принадлежности к общине, которую объединяли религиозные и иные традиции, и этот “свой круг” порождал более высокое взаимное доверие и “социальную интеграцию”? В захватывающем анализе германской корпоративной сети, существовавшей в начале XX века, Пол Уиндолф утверждает:

Управляющие, как евреи, так и неевреи, были интегрированы в этот институт кооперативного капитализма (под названием “Германия”). Входившие туда евреи не создавали собственной сети, которая отделяла бы их от общей главной сети. Напротив, евреи и неевреи контактировали друг с другом благодаря местам в наблюдательных советах крупных фирм. Обе группы являлись частью одной сети... Пускай даже просматривалась четкая тенденция к гомофилии, евреи в среднем имели больше контактов с неевреями, чем с представителями собственной группы^[795].

Фактические данные побуждают нас искать более внятных объяснений: быть может, дело в генетике, или в том, что еврейская семейная жизнь давала преимущества в образовании, или в какой-нибудь веберианской “еврейской этике”, которая была еще более созвучна духу капитализма, чем протестантская этика. Однако и подобные доводы представляются зыбкими – не в последнюю очередь потому, что евреи в Веймарской Германии все реже и реже вступали в браки между собой. В Германии в целом доля евреев, заключавших браки с иноверцами, поднялась с 7 % в 1902 году до 28 % в 1933-м. Пик этой кривой пришелся на 1915 год, когда таких браков было заключено больше трети^[796]. (Для сравнения: в США подобные показатели составляли около 20 % в 1950-х годах и 52 % – в 1990-м^[797].) Хотя наибольшее количество смешанных браков заключалось в Гамбурге и Мюнхене, показатели значительно выше средних наблюдались также в Берлине, Кельне и в саксонских городах Дрездене и Лейпциге, а также во Вроцлаве (*нем.* Бреслау)

в Силезии^[798]. Собирая данные по другим европейским городам, исследователь Артур Руппин выяснил, что еще больше смешанных браков заключалось только в Триесте. Показатели для Ленинграда, Будапешта, Амстердама и Вены, хоть и были высокими, все же отставали от показателей для главных городов Германии^[799]. Из 164 тысяч евреев, оставшихся в Германии в 1939 году, 15 тысяч состояли в смешанных браках^[800]. Когда нацисты начали определять детей от смешанных браков как мишлинге (*Mischlinge*), по их оценкам, таких полукровок насчитывалось почти 300 тысяч, хотя реальное количество составляло скорее между 60 и 125 тысячами^[801]. Мало какие меньшинства из тех, что подвергались гонениям, обнаруживали такой же высокий уровень социальной – и сексуальной – ассимиляции, как немецкие евреи в 1933 году.

Хотя после прихода Гитлера к власти некоторые немецкие евреи временами чувствовали, что попались в сети преследователей, на деле они становились жертвами многочисленных иерархически устроенных, но порой конкурировавших между собой бюрократических организаций^[802]. Началось все с бойкота принадлежавших евреям предприятий, объявленного Национал-социалистической организацией производственных ячеек (*Nationalsozialistische Betriebszellenorganisation*), Объединением служащих и ремесленников среднего класса (*Kampfbund für den gewerblichen Mittelstand*) и отдельными штурмовыми отрядами (SA)^[803]. На этом начальном этапе, чтобы избежать подрыва экономики, крупные предприятия вроде универмагов “Тиц” решили не трогать^[804]. Процесс “ариизации” принадлежавших евреям фирм тоже поначалу шел медленно^[805]. Опыт гамбургского банкира Макса Варбурга показал, в каком затруднительном положении оказалась элита, к которой он принадлежал. Люди вроде него полагали, что являются неотъемлемой частью немецкой деловой элиты. Когда же неевреи, входившие в эту элиту, молча согласились на вытеснение из своих рядов евреев, последние оказались бессильны. На последнем для Варбурга заседании совета директоров паровой компании “Гамбург – Америка” (учрежденной еще одним евреем, Альбертом Баллином) повисло неловкое молчание, и тогда Варбург выступил с ироничной речью от имени коллег, поблагодарив самого себя за долгие годы службы и пожелав себе “спокойной старости, удачи и всех благ” семье^[806]. Лишь после погромов 11 ноября 1938 года процесс экспроприации

развернулся в полную силу: Герман Геринг издал официальный указ о запрете всякой предпринимательской деятельности для евреев во всем рейхе^[807]. Немецкие евреи, которым позволили эмигрировать, столкнулись с вымогательством со стороны властей: прежде чем выдать им выездные визы, у них фактически отбирали все имущество^[808]. С 1 января 1939 года от всех евреев потребовали, чтобы они прибавили к своим именам еще и имя Израиль (для мужчин) или Сара (для женщин), если их собственные имена не фигурировали в официальном списке “типичных еврейских” имен, выпущенном министерством внутренних дел. Евреи оказывались все более беззащитными перед гестапо, которое принялось постепенно сгонять евреев в специальные места, так называемые юденхёйзер (*Judenhäuser*, “дома для евреев”)^[809].

Через семь месяцев после начала войны, 30 января 1939 года, Гитлер внес чудовищную ясность в дальнейшую судьбу евреев, выступив с речью перед рейхстагом, где четко изложил основы своей антисемитской теории:

На протяжении веков Германия была достаточно добра, чтобы принимать все эти элементы, хотя у них не было ничего, кроме политических и физических заразных болезней. То, что у них имеется сегодня, они нажили за счет наименее сообразительной части германской нации, пуская в ход самые неблагоприятные ухищрения.

Сегодня мы всего лишь воздаем этому народу по заслугам... Из-за инфляции, раздутой и проведенной евреями, германская нация лишилась всех своих сбережений, накопленных годами честного труда... Мы намерены предотвратить заселение нашей страны чужим народом, способным захватить для себя руководящие места на нашей земле, и изгнать его... Германская культура, о чем говорит само ее имя, – германская, а не еврейская, а значит, заведование ею и забота о ней будут вверены представителям нашего собственного народа...

В мире достаточно мест для поселений, но мы должны раз и навсегда избавиться от мнения, будто еврейский народ был создан Богом с единственной целью – присутствовать повсюду в определенном соотношении, быть паразитом на теле других народов и кормиться от их созидательного труда. Еврейскому народу придется приспособливаться к здоровой конструктивной деятельности, какой занимаются другие народы, иначе рано или поздно его постигнет кризис немыслимого размаха.

Вот что мне хотелось бы сказать в этот день, памятный, наверное, не только для нас, немцев, но и для других: за многие годы я не раз выступал пророком, и обычно меня поднимали за это на смех. Во время моей борьбы за власть в первую очередь евреи встречали мои пророчества насмешками, когда я говорил, что когда-нибудь встану во главе государства, а значит, и во главе всей нации, и что тогда, среди прочих задач, я решу еврейский вопрос. Тогда они громогласно смеялись, но, думаю, с недавних пор их смех сменился слезами. Сегодня я снова выступлю пророком и скажу: если международным финансистам-евреям в Европе и за ее пределами удастся в очередной раз ввергнуть народы в мировую войну, то это закончится не большевизацией планеты, а значит, победой еврейства, а уничтожением еврейской расы в Европе!^[810]

Совсем недавно Ротшильды были богатейшим семейством в мире и оставались самой знаменитой из еврейских династий – настолько знаменитой, что министерство пропаганды, которым заведовал Йозеф Геббельс, посвятило Ротшильдам целый фильм. Однако могущество, которое приписывали им нацисты, оказалось на деле совсем хрупким. В Германии (где давно уже не было ответвления банка Ротшильдов) их фонды “ариизировали”^[811]. Частную собственность немногочисленных представителей семьи, все еще живших в Германии, отобрали – в том числе экспроприировали исторический дом на Бокенхаймер Ландштрассе, который был первым объектом недвижимости, купленным одним из Ротшильдов после эмансипации евреев примерно веком ранее. Вслед за аннексией Австрии в 1938 году Людвиг фон Ротшильда – главу венского дома семьи – немедленно арестовали и доставили в штаб гестапо в отеле “Метрополь”. Почти сразу же после его ареста было замечено, что эсесовцы разграбляют его роскошный городской особняк и выносят оттуда произведения искусства^[812]. Фирма С. М. фон Ротшильда была передана под управление государства, а затем перепродана германскому банку *Merck, Finck & Co.* Сложнее оказалось захватить основанный Ротшильдами огромный Витковицкий металлургический завод, так как он находился на территории Чехии и ранее был передан в собственность страховой компании *British Alliance*, но после раздела Чехословакии в 1939 году и это препятствие удалось устранить: завод просто перешел под прямое управление Германии^[813]. Легионеры Гитлера зашагали по Европе, завоевывая с каждым шагом по государству, и прикрывавшиеся фальшивым фиговым листиком законности

экспроприации мирного времени сменились разнузданными грабежами. Нацисты спокойно присваивали одну за другой коллекции произведений искусства, принадлежавшие Ротшильдам, и захватывали один за другим фамильные замки. Розыском и похищением этих коллекций руководил не кто иной, как Альфред Розенберг – один из главных идеологов нацизма и теоретиков расизма. Он заявил: “Ротшильды – враждебное нам еврейское семейство, и никакие их изворотливые старания спасти свое имущество нас не разжалобят”^[814]. Правда, лишь два члена семьи Ротшильдов погибли непосредственно в результате нацистской политики геноцида, но это произошло лишь потому, что большинству все же удалось бежать за пределы нацистской империи – в Англию, Канаду и США.

После всего, что было написано о паутине еврейского могущества, единственными по-настоящему важными сетями оказались те, что могли помочь в эмиграции, и чаще всего такими сетями были обычные родственные связи. У Ротшильдов недостатка в них не было. Для семей с более скромным материальным положением достаточно было иметь всего одного обеспеченного родственника. В случае школьного учителя Людвиг Киссингера из немецкого города Фюрт спасительницей оказалась тетка жены, жившая в округе Уэстчестер штата Нью-Йорк. Это она подарила его сыновьям Хайнцу (позже – Генри Киссинджеру) и Вальтеру шанс перебраться в США; в противном случае они неизбежно погибли бы в Германии – как погибло больше десятка их родственников, которые не смогли или не захотели уехать. Иммиграция в США строго ограничивалась системой квот, и шанс попасть туда имелся лишь у тех немецких евреев, за кого соглашалась финансово поручиться их родня^[815]. Менее удачливые семьи возлагали единственную надежду на спасение на поддержку незнакомых людей – или на поддержку друзей своих друзей. В подробных воспоминаниях о своей жизни в Берлине военной поры Эрна Зегель рассказывает, что она и ее дети обращались за помощью в общей сложности к двадцати незнакомцам. Три раза незнакомые люди первыми предлагали им помощь. Зато из семнадцати старых знакомых, у которых семья искала помощи, лишь трое согласились предоставить им кров больше чем на одну ночь. Впрочем, эти старые знакомые все же выступали посредниками и познакомили Зегелей с другими людьми, которые проявляли желание приютить их на более длительный срок. Из двенадцати контактов, в результате

которых семья получила долговременную помощь, шесть завязались благодаря старым знакомым^[816]. К сожалению, история Зегелей была исключением. Уцелеть повезло менее чем каждому десятому из 214 тысяч немецких евреев, находившихся в рейхе на момент начала войны. Гораздо более типичным был случай, описанный в романе 1947 года Ганса Фаллады “Каждый умирает в одиночку”: там за вдову-еврейку вступается один из соседей по дому, судья-антифашист, но жестокая травля со стороны других соседей, семьи рьяных нацистов, доводит ее до самоубийства.

Этот роман Фаллады (последний по счету) стоит прочитать, потому что он проливает резкий свет на жизнь при тоталитаризме. В основу книги легла подлинная история Отто Хампеля – аполитичного и простодушного рабочего, который решился восстать против нацистского режима после того, как его сын погиб во время вторжения во Францию. Хампелю подумалось, что если он будет оставлять открытки с обличающими нацистский режим словами в специально выбранных общественных зданиях и почтовых ящиках по всему Берлину, то спровоцирует этим народное возмущение. В течение года Хампель и его жена Элиза надписали от руки сотни открыток. Содержание их было очень простым, например: “Мать! Фюрер убил моего сына. Мать! Фюрер убьет и твоих сыновей, он не уймется, пока не принесет горе в каждый дом на Земле”. Однако люди, находившие эти открытки, были до того запуганы, что почти все сразу же приносили их властям, и в итоге гестапо удалось выследить и арестовать их авторов. Допрашивал Хампелей в Народной судебной палате и приговорил к смертной казни знаменитый своей гнусностью нацистский судья Роланд Фрейслер^[817]. Как писатель, не пользовавшийся доверием режима и тем не менее остававшийся в Германии все время, что у власти находились нацисты, Фаллада сумел изобразить незабываемые картины жизни в стране, где нацистский режим превратил людей в одиночек, сделал доверие даже между ближайшими соседями смертельно опасным и обрек на провал попытку Хампелей распространить протест вирусным путем. Иными словами, секрет тоталитаризма состоит в том, чтобы поставить вне закона, парализовать или полностью уничтожить почти все социальные сети за пределами иерархических организаций партии и правительства, и в первую очередь те сети, которые стремились к независимой политической деятельности. “Одни в Берлине” – под таким названием вышел новейший английский перевод этого

романа^[818], и здесь очень точно запечатлена атомизация общества, сделавшая Третий рейх чрезвычайно живучим, каким он оставался даже после того, как все уже поняли, что Гитлер ведет Германию к катастрофическому разгрому.



Илл. 25. Одни в Берлине: Отто Хампель и его жена Элиза были казнены 8 апреля 1943 года за “подрыв боевого духа” (*Wehrkraftzersetzung*) и “подготовку к государственной измене”. Их преступление заключалось в том, что они писали на открытках тексты примерно такого содержания, какое показано выше: “Свободная пресса! Долой гитлеровскую систему разрушения! Рядовой Гитлер и его банда толкают нас в пропасть. Единственное, что наша Германия может предложить банде Гитлера, Геринга, Гиммлера и Геббельса, – это пространство смерти”^[819].

Глава 39

Кружок пятерых

Оба тоталитарных режима – гитлеровский и сталинский – были настолько гнусны, что трудно понять, как они могли привлекать хоть кого-то из людей, живших в свободном обществе. И все же такое происходило. Что еще поразительнее, некоторые из самых замкнутых сетей в Англии допустили, чтобы в них просочились агенты фашизма и коммунизма. Как хорошо известно, некоторые круги британской аристократии испытывали симпатию к Гитлеру и, безусловно, поддерживали политику умиротворения, а не противостояния ему. По свидетельству Даффа Купера^[820], герцог Вестминстерский “поносил евреев и... говорил, что все-таки Гитлер знает, что мы – его лучшие друзья”^[821]. Еще одним аристократом, сочувствовавшим нацистскому режиму, был маркиз Лотиан^[822], который приобрел первый опыт в “детском саду” лорда Милнера в Южной Африке. Сходных взглядов придерживался и англо-германский граф Атлон (отказавшийся во время войны от германского титула принца Текского), не говоря о дочери пароходного магната Нэнси Кунард и о сестрах Митфорд, Юнити и Диане: первая называла Гитлера “величайшим человеком всех времен”, а вторая вышла замуж за основателя Британского союза фашистов, сэра Освальда Мосли, причем свадьба состоялась в гостинице у Геббельса, в тесном кругу^[823]. В феврале 1935 года Лотиан рассказывал читателям *Times*, будто Гитлер лично заверял его в том, что “Германия стремится к равенству, а не к войне и что она готова решительно отказаться от войны”. В любом случае Гитлера заботит не Западная Европа, а Советский Союз. “Он видит в коммунизме прежде всего воинствующую религию”, – объяснял Лотиан. Если когда-нибудь СССР “вздумает повторить военные триумфы ислама”, кем тогда покажется Германия – “потенциальным врагом или же оплотом Европы?”^[824]. В Оксфорде – и особенно в Колледже Всех Душ – имелось предостаточно подобных соглашателей-миротворцев. Однако ничто из происходившего там не могло сравниться с печальной судьбой самой закрытой и бунтарской из кембриджских сетей, куда предстояло внедриться агентам КГБ^[825].

В истории сетей мало эпизодов более поучительных, чем случай кембриджских шпионов – “великолепной пятерки”, как называли их

кураторы из Москвы, или “гоминтерна”, как остроумно окрестил их Морис Боура, декан оксфордского Уолдем-колледжа. Все пятеро принадлежали к сети, которая гордилась своей исключительностью. Однако эта элитная сеть допустила, чтобы в нее так основательно просочилась русская разведка, что больше десяти лет пятеро членов сети оставались самыми ценными кадрами советской агентуры и сдавали Сталину множество секретов и западных резидентов.

Выше мы уже рассказывали о том, как после 1900 года члены “Общества *Conversazione*” демонстративно отстранились от викторианских ценностей – и политических, и сексуальных. К моменту начала Первой мировой войны очень многие из “апостолов” соглашались с утверждением Э. М. Форстера о том, что дружба важнее, чем верность королю и родине. Новое поколение зашло в этом отчуждении на шаг дальше: от сознательного отрицания – к измене. Энтони Блант “родился” для Общества в 1928 году, а через четыре года сам привел в него Гая Бёрджесса. Оба вышли из стен Тринити-колледжа. Оба блестяще учились. И оба были геями. (Хотя Бёрджес был столь же порывист, сколь Блант степенен, утверждали, что некоторое время они состояли в любовной связи^[826].) Однако, что важнее всего для истории, и Блант и Бёрджесс были коммунистами и охотно предложили свои услуги Сталину.

Разумеется, “апостолы” сами по себе не составляли коммунистическую или даже социалистическую организацию. В 1930-х годах от марксизма в Кембридже просто некуда было деться, его изучали в самых разных откровенно политических студенческих объединениях – прежде всего в Социалистическом обществе Кембриджского университета, где состояло множество членов Коммунистической партии Великобритании, – причем с одобрения преподавателей-марксистов вроде Мориса Добба из Пемброк-колледжа. И все же “апостолы” не просто представляли дух своей эпохи. Между 1927 и 1939 годами “родился” тридцать один “апостол”, и из них не менее пятнадцати были марксистами, в том числе Джон Корнфорд, Джеймс Клугманн, Лео Лонг, Майкл Стрейт и Алистер Уотсон^[827]. Содержание субботних вечерних бесед отражало политизацию общества: например, выступление Бёрджесса 28 января 1933 года называлось “Является ли прошлое вехой?”^[828]. Бёрджесс был разносторонним активистом. Еще студентом он помогал организовать забастовку работников столовой в Тринити-колледже, а потом и другую – кембриджских водителей

автобусов. “Ангелы” из предыдущего поколения едва ли могли не знать о том, что происходит с их некогда совершенно аполитичным обществом. Впрочем, если они и выражали недовольство, воспоминаний об этом никто не оставил.

Конечно, не все кембриджские шпионы были “апостолами”. Это Бёрджесс мечтал составить “кружок пятерых” – в подражание антифашистским коммунистическим ячейкам, которые, по слухам, действовали в нацистской Германии^[829]. В СССР понимали, что не стоит вербовать сразу пятерых агентов из одной организации. Однако они охотно вербовали людей из более широкой сети, к которой принадлежали Блант и Бёрджесс. Советские агенты Вилли Мюнценберг и Эрнст Генри еще с начала 1930-х годов занимались “поиском талантов” в Кембридже, но мечту Бёрджесса в итоге осуществил агент по имени Арнольд Дейч^{[830][831]}. Дейч (значившийся в КГБ под кодовым именем Отто) начал не с “апостолов”, а с Кима Филби – выпускника Тринити-колледжа, правда, не блиставшего успехами в учебе. Родившийся в Индии и названный в честь героя великой книги Киплинга “Ким”, Филби был сыном бывшего чиновника Индийской гражданской службы, который затем стал советником короля Саудовской Аравии Ибн-Сауда и ассимилировался, перейдя в ислам. Возможно, в СССР понадеялись, что сын переживет свое “новообращение”. После Кембриджа по предложению Мориса Добба Филби отправился в Вену – работать на Международную организацию помощи борцам революции, которую поддерживали коммунисты. Там он познакомился с Литци Фридман и вскоре женился на ней (она стала первой из его четырех жен). Фридман познакомила его с Дейчем, тот завербовал его и присвоил ему кодовое имя Зонхен (*нем. Sönchen*, сынок)^[832]. Затем Филби порекомендовал кембриджского друга Дональда Маклина, и тот стал новым агентом под именем Вайзе (*нем. Waise*, сирота). В быстро разраставшуюся шпионскую сеть Дейча вошел и друг Маклина Джеймс Клугманн (Мер), хотя его слишком хорошо знали как коммуниста, так что он годился только на то, чтобы следить за другими шпионами. Бёрджесс каким-то образом догадался, что Маклин работает на СССР; по одной гипотезе, Дейчу пришлось завербовать Бёрджесса, чтобы тот молчал. Неразборчивый в любовных связях Бёрджесс получил кодовую кличку Мэдхен (*нем. Mädchen*, девушка)^[833]. Потом Бёрджесс завербовал своего собрата “апостола” Бланта (незамысловато прозванного Тони), который уже преподавал

в Тринити-колледже^[834]. Блант, в свой черед, завербовал американца Майкла Стрейта (Найджела) – тоже “апостола” и вновь избранного президента Союза^[835]. А еще Блант предложил в кандидаты своего студента из Тринити-колледжа Джона Кернкросса, имевшего шотландские корни. Тот стал агентом под именем Мольер (выбор псевдонима объяснялся тем, что Кернкросс публиковал научные статьи, посвященные французскому драматургу)^[836]. А еще одним новичком, вошедшим почти одновременно и в круг “апостолов”, и в агентуру КГБ, стал Лео Лонг, которого Блант задействовал как субагента^[837]. Наконец, в шпионском штате КГБ появился Алистер Уотсон. Внимательный читатель наверняка уже заметил, что кембриджских шпионов было больше пяти. Их насчитывалось как минимум девять.

Согласно стратегии Дейча, все члены “кружка пятерых” должны были публично отречься от марксизма и устроиться на работу в правительственных учреждениях или где-то поблизости. Что больше всего удивляет в истории с кембриджскими шпионами – насколько легко их отречениям поверили. В 1937 году Филби делал вид, будто симпатизирует фашистам, и освещал гражданскую войну в Испании с позиций националистов – вначале как независимый журналист, затем как репортер *Times*^[838]. Теперь мы знаем, что его отправили в Испанию в рамках советского заговора с целью убийства Франко^[839]. Маклину велели бросить прежние планы – написание диссертации по марксизму – и попроситься на работу в министерство иностранных дел. В 1935 году его туда приняли, хотя и признали, что он “не до конца избавился” от коммунистических взглядов^[840]. Кернкросс стал коммунистом еще в Сорбонне, то есть в докембриджскую пору. Министерство иностранных дел и его приняло на работу безо всяких придирок. В 1934 году Бёрджесс побывал в Берлине и Москве, где познакомился с Осипом Пятницким, начальником отдела международных связей Коммунистического интернационала^[841]. Однако, следуя указаниям Дейча, Бёрджесс притворно отвернулся от коммунизма и якобы подался в консерваторы: попытался устроиться в штаб Консервативной партии и в итоге стал личным помощником члена парламента от тори Джона “Джека” Макнамары, у которого имелись те же сексуальные наклонности. Именно в этой должности Бёрджесс помог завербовать Тома Уайли, личного секретаря постоянного заместителя военного министра сэра Герберта Криди^[842]. С конца 1936 года Бёрджесс участвовал в подготовке

новостных радиопередач на BBC; однажды он проявил чудеса ловкости, заставив тайного агента КГБ Эрнста Генри высказаться за открытие союзниками Второго фронта^[843]. 11 января 1939 года Бёрджесс поступил в Отдел D (за этой буквой скрывалось *destruction* – разрушение, или, точнее, *dirty tricks* – “грязные проделки”) службы внешней разведки Великобритании (*Secret Intelligence Service*, SIS, известной также как MI6), хотя официально работал в директорате иностранного отдела министерства информации^[844]. Майкл Стрейт получил распоряжение покинуть Кембридж и вернуться в США, а также разыграть скорбь по другу и собрату – “апостолу” Джону Корнфорду, убитому на гражданской войне в Испании. Он устроился спичрайтером при президенте Франклине Д. Рузвельте и занимал разные должности в министерстве внутренних дел и государственном департаменте.

Что же ими двигало? Наивный ответ таков: все они были людьми принципиальными, их пугал подъем фашизма, они разочаровались в политике умиротворения и увидели в Сталине единственный надежный противовес Гитлеру. Однако никто из них не насторожился 23 августа 1939 года, когда объявили о пакте Молотова – Риббентропа. (Правильный вывод сделал только валлиец Горонви Рис, которого внес в список Дейча Бёрджесс.) Напротив, кембриджские шпионы были особенно активны в ту пору, когда Гитлер и Сталин оставались по одну сторону – разумеется, по другую сторону от Великобритании. В 1940 году Филби работал корреспондентом *Times* во Франции, а потом его не приняли в правительственную Школу кодов и шифров в Блетчли-парке, зато благодаря посредничеству Бёрджесса взяли в Отдел D внешней разведки. Когда Отдел D свернули и включили в новое Управление специальных операций (*Special Operations Executive*, SOE), Бёрджесса сократили, а Филби остался там в качестве инструктора и, занимая это положение, продолжал снабжать Москву своими донесениями о британской политике. Позже его перевели в Отдел V внешней разведки. Клугманн тоже служил в SOE (в югославском отделе). Джон Кернкросс попал в Блетчли-парк. Блант, которого разведывательная служба вначале отвергла из-за его довоенной симпатии к коммунистам, все-таки пролез в MI5 (британскую секретную службу, занимающуюся внутренней безопасностью) благодаря поддержке своего друга, Виктора Ротшильда – тоже “апостола”, а также выпускника Тринити-колледжа и пэра Англии, – поверившего неубедительным

объяснениям Бланта, будто марксизм интересует его исключительно в связи с историей искусства^[845]. Вскоре Блант принялся передавать разные документы MI5, а также разведданные о боевом составе и дислокации немцев, которые получал от Лео Лонга, работавшего теперь в отделе MI14 военного министерства. В конце 1940 года Блант завербовал в SIS Бёрджесса, хотя решено было не делать его сотрудником SIS^[846].

Вклад, который кембриджские шпионы внесли в советскую военную деятельность, просто ошеломляет. В 1941 году в Лондоне, несомненно, находилась самая полезная для КГБ резидентура: от нее поступило около девяти тысяч секретных документов. С 1941 по 1945 год один только Блант передал в московский центр 1771 документ^[847]. 26 мая, за одиннадцать дней до высадки союзников в Нормандии, он передал в СССР весь план обманных действий, входивших в стратегическую операцию “ОВЕРЛОРД” (в “день D”), а также (вероятно) передавал ежемесячные обзоры операций британской разведки против Германии и ее союзников, поступавшие Черчиллю^[848]. Филби (действовавший теперь под кодовым именем Стенли) передавал своим кураторам “сборники источников”, где значились все агенты SIS, и старался удовлетворить Москву, жаждавшую доказательств того, что Лондон замышляет заключить с немцами сепаратный мир^[849]. Бёрджесс выкладывал русским подробности переговоров Рузвельта с Черчиллем в Касабланке в январе 1943 года, включая их решение отложить вторжение во Францию до 1944 года, а также передавал разведданные о планах союзников в отношении послевоенной Польши. За первые шесть месяцев 1945 года он передал КГБ не менее 289 “совершенно секретных” документов британского МИД^[850]. После окончания войны и британских всеобщих выборов Бёрджесса назначили личным помощником молодого политика-лейбориста Гектора Макнила, государственного министра^[851] по иностранным делам. Благодаря этой должности Бёрджесс получил доступ к еще более важным материалам, прежде всего к директивным документам, подготовленным к Московской конференции четырех союзных держав. Все они попали к его московским кураторам. У кембриджских шпионов все шло настолько гладко, что на некоторое время, смешно сказать, их советские патроны даже перестали им доверять, потому что на них напал приступ типично сталинской паранойи: а вдруг все эта кембриджская операция – просто блестящая двойная игра?^[852]

Почему же кагэбэшники с такой легкостью проникли в ряды британской разведки? Ответ прост: из-за хронического отсутствия эффективного контршпионажа. Как хорошо знали советские кураторы, в довоенной Британии меры предварительной проверки в отношении потенциальных сотрудников государственной службы были несовершенны: они не позволяли выявить людей, которые сознательно дистанцировались от открытых форм симпатии к коммунизму, как это делали члены “кружка пятерых”. В SIS существовало ведомство контрразведки, Отдел V, но когда благодаря вмешательству Виктора Ротшильда туда взяли Энтони Бланта, результат оказался еще хуже, чем полное отсутствие контрразведки^[853]. Старейший глава MI5, сэр Вернон Келл, еще в 1939 году уверял, что советской деятельности в Соединенном Королевстве “не существует – и в плане разведки, и в плане политических диверсий”^[854]. Роджер Холлис, возглавлявший MI5 позже (в 1956–1965 годах), критически отзывался о неспособности SIS выявить советскую угрозу, и не без основания: в 1944 году (просто невероятно) Филби удалось занять пост начальника недавно созданного Отдела IX, занимавшегося советской и коммунистической контрразведкой^[855]. Однако тот же Холлис проявлял такую слепоту к оплошностям и недоработкам собственного ведомства, что на некоторое время сам попал под подозрение как гипотетический “пятый шпион” (наряду с Ротшильдом). Даже в декабре 1946 года в А4 – отделе, призванном следить за советскими дипломатами, – работало всего пятнадцать человек, а своего автомобиля не было^[856]. Но, как заметил позже сам Филби, его и его сотоварищей по предательству защищало еще и “настоящее умственное затмение, в силу которого люди упорно считали, что уважаемые представители правящих кругов просто неспособны на такое”^[857]. В некотором смысле, чужая разведка просочилась в более широкую сеть – сеть бывших выпускников элитных школ и Оксбриджа.

Свидетельства, которые в итоге привели к разоблачению кембриджских шпионов, понемногу всплывали и накапливались с 1945 года. Процесс раскрытия начался в Оттаве в сентябре 1945 года, когда совершил перебежку Игорь Гузенко – сотрудник шифровального отдела советской военной разведки. Он сообщил, что советская агентура проникла во многие канадские учреждения и даже заполучила образцы урана, применяемого для производства американских атомных бомб, – стараниями физика Алана Нанна

Мэя, который учился в Тринити-Холле одновременно с Маклином^[858]. Филби, работая в Отделе IX SIS, имел возможность сбить со следа “охотницу за шпионами” Джейн Арчер после ее ухода из MI5. Когда еще один тайный советский агент – Константин Волков, сотрудник КГБ в Стамбуле – попытался переметнуться на сторону противника, явно намереваясь разоблачить Бёрджесса и Маклина, – Филби вмешался и сделал так, что Волкова вовремя перехватили и спешно отправили обратно в Москву. А еще Филби тайно предупредил Мэя о том, что его раскусили^[859]. Не подозревая об этом систематическом саботаже, SIS снова повысила Филби: на сей раз его назначили представителем британской внешней разведки в городе, ставшем теперь важнейшей мировой столицей, – Вашингтоне. Что еще более странно, Маклина назначили начальником американского бюро МИД. Это назначение произошло вскоре после того, как у Маклина случился тяжелый нервный срыв: он служил тогда советником и главой канцелярии в посольстве в Каире, и там они на пару с собутыльником, Филипом Тойнби, разгромили квартиру двух сотрудниц американского посольства и в пьяном угаре разорвали в клочья их нижнее белье. Никто в Лондоне не догадался о том, что все более непредсказуемое поведение Маклина стало результатом усиливавшегося стресса после двух безуспешных попыток разорвать связи с Москвой. Никто не встревожился даже и тогда, когда пьяный Маклин назвал себя “английским [Элджером] Хиссом” – самым известным лазутчиком коммунистов в американском Госдепартаменте^[860].

Но самая большая загадка – случай Бёрджесса. Даже если бы он не был советским шпионом, его бы давно следовало отовсюду выгнать за пьянство, злоупотребление наркотиками и беспорядочный образ жизни, не говоря об антиобщественных сексуальных похождениях. А ему предлагали все новые должности: в 1947 году его взяли в Информационно-Исследовательский, затем в Дальневосточный отдел МИД, а в августе 1950 года назначили вторым секретарем посольства в Вашингтоне. Приблизительно в ту пору друг Бёрджесса Гай Лидделл, заместитель начальника MI5, уверенно заявлял, что это “не такой человек, который стал бы намеренно передавать секретную информацию неуполномоченным лицам”. В действительности же кембриджская пятерка достигла пика своей ценности для СССР к началу Корейской войны. Бёрджесс жил с Филби в Вашингтоне, выступая курьером и доставляя сведения в Нью-Йорк Валерию Макаеву. Между тем

Кернкросс, занимавший должность в Отделе обороны государственного казначейства, снабжал Москву подробностями Британской ядерной программы^[861]. У Филби хватило наглости сказать Лидделлу, что он мог бы представлять в Вашингтоне сразу два ведомства – SIS и SS (MI5)^[862]. Впрочем, это был защитный маневр. Он понимал, что кольцо постепенно сужается. В придачу к новым секретным материалам от перебежчиков, американцы методично выуживали все больше сведений из посланий советской разведки, перехватывая и дешифруя их при помощи программы “Венона”. Поняв, что шпион, идентифицированный как Гомер, – это Маклин, Филби дал знать ему об этом через Бёрджесса, которого отправили обратно в Лондон после очередной череды громких скандалов. Еще Бёрджесс предупредил Бланта^[863]. В полночь пятницы 25 мая 1951 года состоялась операция эвакуации тайных агентов, которой руководил Юрий Модин, их лондонский куратор. Маклин и Бёрджесс покинули дом Маклина в Тэтсфилде, добрались до Саутгемптона и там сели на прогулочный катер “Фалэз”, отходивший в Сен-Мало, – для такой поездки паспорта не требовались. Далее они проследовали поездом из Ренна в Париж и Берн, а там, в советском посольстве, им выдали фальшивые паспорта. В Цюрихе оба шпиона сели на самолет, летевший в Стокгольм через Прагу, а в столице Чехословакии сделали пересадку и вылетели в Москву. Две из пяти птичек вырвались на волю только потому, что в отделе контрразведки MI5 не выделялись средства на слежку в выходные дни^[864].

Теперь MI5 (помимо ФБР и ЦРУ) не упускало Филби из виду. Его отозвали из Вашингтона (по настоянию американцев), и он официально вышел в отставку. С ним побеседовали, его допросили, но затем оставили в покое, как и советовали его заступники из SIS. В 1955 году, на основании данных разведки США, Филби обвинили вначале на страницах нью-йоркской *Sunday News*, а затем в палате общин в том, что он – “третий”. Но за него вступилось правительство Энтони Идена, а также Николас Эллиот из MI6 и Джеймс Энглтон из ЦРУ. Филби нахально устроил пресс-конференцию в гостиной своей матери и заявил журналистам: “В последний раз я разговаривал с коммунистом, зная, что он коммунист, в 1934 году”^[865]. Невероятно, но большинство бывших коллег клюнули на эту ложь, – несмотря на новые обстоятельные доказательства от проекта “Венона”, что он советский агент по кличке Стенли, и также на показания перебежчика из КГБ Анатолия

Голицына и Флоры Соломон, которых Филби пытался завербовать на советскую сторону еще до войны. Теперь даже Эйлин, вторая жена Филби, подозревала его. (По словам одного из друзей семьи, однажды за ужином она выпалила: “Я знаю: «третий» – это ты!”) Систематические моральные издевательства мужа и алкоголизм самой Эйлин привели к ее смерти в декабре 1957 года^[866]. Однако ему разрешили перебраться в Бейрут, и там он работал журналистом и неофициальным источником для МІ6. Филби беззастенчиво ухватился за первую же возможность возобновить работу на СССР. Когда наконец МІ6 разоблачило Филби на основании новой информации, полученной в 1961–1962 годах, он “исповедался” перед Эллиотом, заявив при этом, будто порвал все связи с русскими еще в 1946 году. В январе 1963 года ему фактически позволили сбежать в Москву^[867].

Пожалуй, самая большая загадка во всей этой истории с кембриджскими шпионами – даже таинственнее, чем их никем не выявленная продолжительная активность, – это отсутствие у них каких-либо иллюзий относительно режима, на который они работали. Бёрджесс и в Москве продолжал вести себя как обычно – пьянствовал, курил как паровоз и устраивал бардак, а изредка орал в микрофоны, спрятанные в его квартире: “Ненавижу Россию!” О самой Москве он говорил, что “здесь как субботним вечером в Глазго при королеве Виктории”^[868]. Филби написал по заказу КГБ мемуары, завел роман с Мелиндой Маклин, попытался покончить с собой в 1970 году, а потом женился в четвертый раз – на русской. Получив орден Ленина, он сравнил его с рыцарским титулом – “одна из лучших наград”^[869], – но его терзала мысль о том, что внутри КГБ он всегда оставался рядовым агентом. Бёрджесс скончался в августе 1963 года от печеночной недостаточности. Маклин тоже спился и умер. У Филби печень оказалась крепче и прослужила ему до 1988 года. Другие отказались прилетать в рай для рабочего класса. “Я отлично знаю, как живет у вас народ, – заявил Блант Модину после бегства Бёрджесса и Маклина, – и могу вас заверить, что мне было бы очень трудно, почти невыносимо, жить в таких условиях”^[870]. После того как Майкл Стрейт признал, что Блант завербовал его еще в бытность студентом в Тринити-колледже, Блант раскололся перед МІ5. Это произошло в 1964 году, но его публичное разоблачение последовало только в ноябре 1979 года. (В своих мемуарах, обнародованных лишь в 2009 году, Блант сообщал, что сожалел о том, что стал работать на советскую

разведку, и называл это решение “величайшей ошибкой своей жизни”). Наконец, Кернкросса разоблачили благодаря документам, написанным его почерком и оставшимся по оплошности Бланта в квартире Бёрджесса, однако найденных против него улик оказалось недостаточно для ареста, поэтому он без лишнего шума вышел на пенсию, и ему позволили заниматься научной работой в США. В 1964 году он признался MI5 в том, что шпионил на СССР, но отказался возвращаться в Британию и принял предложение работать в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в Риме. В 1970 году он получил гарантии юридической неприкосновенности. Лишь в 1982 году он сознался, что был “пятым”. И только в 1990 году об этом стало известно широкой публике – после того, как многие годы высказывались нелепейшие догадки и звучали неверные обвинения в адрес как минимум десяти других выпускников Кембриджа, имевших связи с разведкой, – в том числе Холлиса и Ротшильда^[871]. Итак, ни один из кембриджских шпионов так никогда и не предстал перед судом и не был осужден и тем более посажен в тюрьму. Иная участь постигла Джорджа Блейка, другого советского шпиона, у которого не оказалось правильных связей в высших эшелонах общества: его приговорили за совершенные преступления к 42 годам заключения.

Глава 40

Короткая встреча

Когда-то девизом “апостолов” были слова “только соединить”, а вовсе не “только изменить”. Но в сталинском Советском Союзе, которому столь преданно служили кембриджские шпионы, даже самый короткий контакт мог оказаться чуть ли не смертельно опасным. Одной ноябрьской ночью в Ленинграде, всего через полгода после окончания войны, оксфордский философ Исая Берлин встретился с Анной Ахматовой. Для обоих это событие стало незабываемым: произошло своего рода умственное и духовное единение, одинаково чуждое политике и эротике. Но Ахматову эта встреча едва не погубила. Трудно найти другой пример, который столь наглядно иллюстрировал бы суть тоталитаризма – этой крайней формы иерархического строя. Двум интеллектуалам нельзя было поговорить наедине о литературе, чтобы к этому событию не проявил зловредного интереса лично Сталин и не воспользовался им как поводом для дальнейшей травли.

Над Ахматовой (урожденной Анной Андреевной Горенко) давно уже висела тень подозрения. Как поэт она прославилась еще до революции. Ее первого (бывшего) мужа, тоже поэта, романтика-националиста Николая Гумилева, расстреляли в 1921 году за антисоветскую деятельность^[872]. Тень эта сгустилась еще больше после отзывов на пятую книгу ее стихов, изначально называвшуюся *Anno Domini MCMXXI*. Один критик отметил двойственный образ его лирической героини – “не то «блудницы» с бурными страстями, не то нищей монахини, которая может вымолить у бога прощение”^[873]. Другой написал, что “вся Россия раскололась на Ахматовых и Маяковских”, обличительно намекая на ее консерватизм – в противоположность революционности Владимира Маяковского^{[874][875]}. После 1925 года Ахматову перестали печатать^[876]. Через десять лет арестовали ее сына Льва Гумилева и третьего мужа, Николая Пунина. По совету друга, поэта Бориса Пастернака, она написала отчаянное личное письмо Сталину, где умоляла его отпустить “двух единственно близких мне людей”. И случилось чудо: Сталин внял ее мольбе и накорябал поверх ее письма резолюцию – освободить обоих арестованных^[877]. Но в марте 1938 года Гумилева снова арестовали и приговорили к

десяти годам заключения в Заполярье – в Норильском исправительно-трудовом лагере – одном из самых северных поселений в мире ^[878]^[879]. Хотя в 1939 году Ахматовой вдруг снова разрешили напечататься, вскоре последовала негативная реакция на новый сборник ее старых стихов (“Из шести книг”, 1940): начальник Ленинградского обкома партии Андрей Жданов распорядился конфисковать тираж книги и раскритиковал “этот ахматовский блуд во славу божию”^[880]. Именно тогда, между 1935 и 1940 годами, Ахматова написала бóльшую часть “Реквиема” – стихотворного цикла о терроре, где жгучими словами высказана мучительная боль миллионов людей, чьи близкие сгинули в бездне безжалостной сталинской тирании^[881].

Не удивительно, что между Ахматовой и блестящим молодым философом из Оксфорда вдруг возникла такая сильная эмоциональная привязанность. Берлин, окончивший школу Сент-Полз и оксфордский колледж Корпус-Кристи, родился в 1909 году в Риге, в зажиточной еврейской семье, а ребенком, будучи не по годам развитым, с интересом наблюдал в Петрограде за событиями русской революции. Однако в 1920 году семья Берлин решила покинуть Советскую Россию, а через год уже поселилась в Лондоне. Берлин занимался вопросами философии, но никогда не забывал о своих российских корнях. Благодаря хорошему знанию языков летом 1945 года он временно занял должность первого секретаря британского посольства в Москве. А в Ленинграде, куда Берлин поехал в сопровождении Бренды Трипп из Британского совета, он познакомился с Ахматовой. Произошло это благодаря случайно завязавшемуся разговору в “Лавке писателей” – букинистическом магазине, которым заведовал Геннадий Рахлин^[882]. 14 ноября 1945 года она пригласила его в гости – в комнату в коммуналке в Фонтанном доме, некогда великолепном дворце Шереметевых на Фонтанке. Эта первая встреча была прервана несколько комическим образом. 20 ноября Берлину предстояло возвращаться в Москву, и поздним вечером того же дня, после прерванного визита, он снова пришел к Ахматовой. Миновала полночь, теперь они остались наедине, и тут-то и возникла настоящая интеллектуальная близость. Берлин рассказал Ахматовой о ее давно потерянных из виду друзьях, которые, как и его семья, бежали из России после революции: о композиторе Артуре Лурье, о поэте Георгии Адамовиче, о мозаичисте Борисе Анрепе, о светской красавице Саломее Андрониковой. А Ахматова рассказала Берлину

о своем детстве у Черного моря, о своих замужествах, о любви к поэту Осипу Мандельштаму (погибшему в лагерях в 1938 году), потом продекламировала несколько фрагментов из “Дон-Жуана” Байрона (на английском, которого Берлин не понял), а затем – свои собственные стихи, в том числе еще не оконченную “Поэму без героя” и “Реквием” (по рукописям). Их литературная беседа – о Чехове, Толстом, Достоевском, Кафке, Пушкине, Александре Блоке, Марине Цветаевой, Пастернаке и множестве других, менее известных поэтах – продолжалась до позднего утра и произвела на обоих неизгладимое впечатление. Говорили они и о музыке. Нужны ли более убедительные доказательства того, что советский режим полностью уничтожил литературные и художественные сети, связывавшие Россию с Европой до 1920-х годов, если Ахматова – как и Пастернак, с которым Берлин тоже встречался, – почти ничего не знала о недавних произведениях писателей и художников, с которыми когда-то была знакома, и уж тем более о творчестве нового поколения? Поэт в сталинской России сделался одиночкой, оторванным от сети. С другой стороны, Берлин и сам изумился, когда услышал, что Ахматова еще жива. “У меня возникло такое ощущение, словно меня звали в гости к мисс Кристине Россетти^[883]”, – писал он позднее^[884]. Он стал вторым иностранцем, посещавшим ее со времен Первой мировой войны. Если бы Ахматова эмигрировала до восхождения Сталина, она вполне вписалась бы в атмосферу Блумсбери. Она сама признавалась Берлину, что “очень влюбчива”. С членами кружка Блумсбери ее роднил и повышенный интерес к “личностям и поступкам других людей... в сочетании со способностью докапываться до моральной сердцевины характеров и ситуаций... а еще с упорным желанием приписывать людям те или иные мотивы и намерения”. Вся ее жизнь, как подметил Берлин, стала “сплошным приговором российской действительности”. Но она “не желала уезжать: она готова была умереть на родине, какие бы новые ужасы та ей ни готовила; она ни за что не желала ее покидать”, пускай даже “послевоенный Ленинград превратился для нее в одно большое кладбище, где лежали ее друзья: он напоминал лес после пожара, где несколько обугленных деревьев лишь подчеркивают картину общего опустошения”.

Еще одна короткая встреча состоялась 5 января 1946 года, накануне отъезда Берлина из СССР. Он не очень удивился, когда Ахматова подарила ему сборник своих старых стихов, куда вписала

от руки “стихи, которым предстояло позже стать второй частью цикла *Cinque*... [и которые] в их первоначальном варианте были напрямую вдохновлены нашей предыдущей встречей”. Для него эта встреча стала не менее значимой. Позднее он писал: “ [она] глубоко взволновала меня и со временем заставила многое переосмыслить”. Саму Ахматову он находил царственно величавой, а ее стихи – “творением гения”. Их встреча, по его словам, вернула ему родину. Возможно, именно поэтому он со временем отошел от философии и занялся историей политической мысли и написал свою лучшую работу в защиту личной свободы и против исторического детерминизма. “Это был роман, но особого рода, – написал один обозреватель. – Ничего плотского в нем не было. Пожалуй, это было чистейшее взаимодействие между двумя людьми, какое только возможно. Два человека исключительного ума ненадолго слились в идеальном общении, чтобы подвести друг друга к еще большим высотам взаимной любви и понимания. Наверное, это тот самый случай *ne plus ultra*, крайнего предела, платоновской идеи человеческого общения в чистом виде”^[885]. Действительно, как писал в следующем году Пастернак в письме Берлину, Берлин, похоже, не выходил из головы у Ахматовой: “Каждое ее третье слово были Вы. И это так драматически, таинственно! Например, ночью, в такси, на обратном пути с какого-нибудь вечера или приема, вдохновенно и утомленно, чуть-чуть в парах (...просто подвыпившую), по-французски: *Notre ami* (это Вы) *a dit*... или *a promis*^[886] и т. д. и т. д.”^[887]. Цикл *Cinque* был, без сомнения, вдохновлен Берлином^[888]. А некоторые еще предполагали, что в Берлине Ахматова увидела того героя, чье отсутствие так заметно в “Реквиеме”^[889], хотя в “третьем и последнем” посвящении к шедевру Ахматовой, “Поэме без героя”, возможно, имелся в виду не один только Берлин:

*Полно мне леденеть от страха,
Лучше кликну Чакону Баха,
А за ней войдет человек...
Он не станет мне милым мужем,
Но мы с ним такое заслужим,
Что смутится Двадцатый Век.
Я его приняла случайно
За того, кто дарован тайной,
С кем горчайшее суждено,
Он ко мне во дворец Фонтанный
Опоздает ночью туманной
Новогоднее пить вино.
И запомнит Крещенский вечер,
Клен в окне, венчальные свечи
И поэмы смертный полет...
Но не первую ветвь сирени,
Не кольцо, не сладость молений —
Он погибель мне принесет.*

Как и сказано в последней строке, для Ахматовой встречи с этим “гостем из будущего” (о котором говорится в первой части поэмы — “Девятьсот тринадцатый год”) обернулись катастрофическими последствиями. Это было неудивительно, учитывая весь ее прошлый опыт и официальный статус Берлина — визит которого к тому же неожиданно проафишировал Рэндольф Черчилль, внезапно появившийся под окнами дома Ахматовой, когда Берлин пришел к ней в первый раз^[890]. Быть может, Сталин никогда и не произносил приписывавшихся ему слов — “Оказывается, наша монахиня принимает британских шпионов”^[891], — но в напряженной послевоенной атмосфере само это допущение не было столь уж надуманным^[892]. Через несколько дней гэбисты неуклюже установили прослушку в потолке квартиры, где жила Ахматова. А еще они заставили польку, переводившую ее стихи, подробно рассказать о посещениях Берлина^[893]. В апреле следующего года, когда Ахматова приняла приглашение на поэтический вечер в московском Доме союзов, положение только обострилось. Публика приняла ее с восторгом, а через четыре месяца то же самое произошло уже в Ленинграде, и Ахматова встревожилась — не без основания^[894]. Слежка за ней и ее друзьями усилилась. И снова вмешался Сталин — но на сей раз не для того, чтобы спасти ее, а

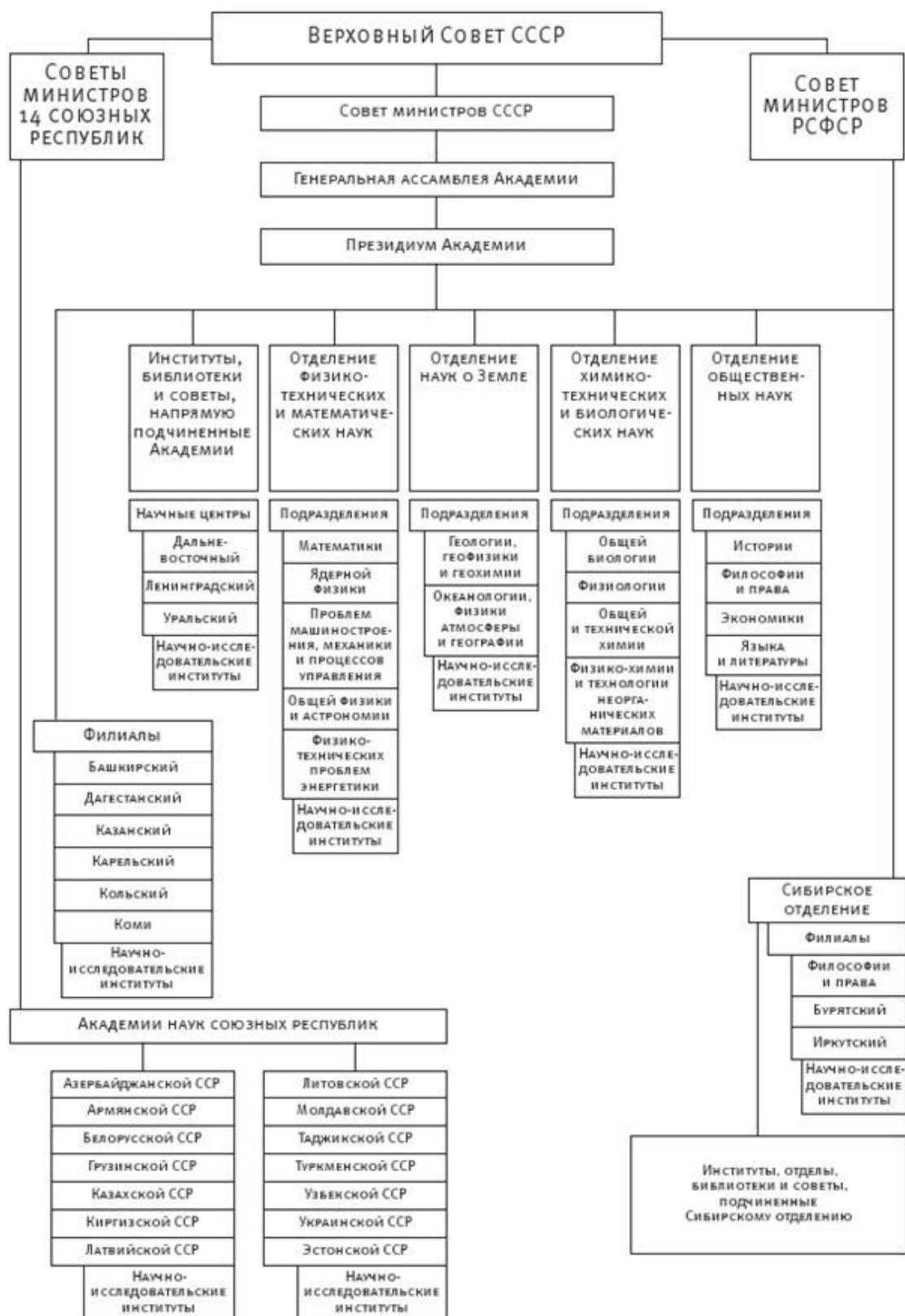
чтобы выступить в роли литературного критика: он обронил замечание, что хорошие стихи Ахматовой, написанные в послереволюционные годы, можно пересчитать “на пальцах одной руки”^[895]. А 14 августа ЦК партии выпустил постановление “О журналах «Звезда» и «Ленинград»”, обрушившее критику на их редакторов за то, что они посмели напечатать “идеологически вредные” произведения Ахматовой и сатирика Михаила Зощенко. Позже на собрании ленинградских писателей с разгромным докладом об обоих авторах выступил давний недруг Ахматовой Жданов, действовавший по наущению Георгия Александрова, главы отдела агитации и пропаганды ЦК, который, в свою очередь, отреагировал на донос одного из сотрудников своего отдела^[896]. Жданов нисколько не стеснялся в выражениях:

До убожества ограничен диапазон ее поэзии, – поэзии взбесившейся барыньки, мечущейся между будуаром и моленной... Не то монахиня, не то блудница, а вернее, блудница и монахиня, у которой блуд смешан с молитвой... Настроения одиночества и безысходности, чуждые советской литературе, связывают весь исторический путь “творчества” Ахматовой... Творчество Ахматовой – дело далекого прошлого; оно чуждо современной советской действительности и не может быть терпимо на страницах наших журналов... Эти произведения могут только посеять уныние, упадок духа, пессимизм, стремление уйти от насущных вопросов общественной жизни, отойти от широкой дороги общественной жизни и деятельности в узенький мирок личных переживаний^[897].

В тоталитарном государстве даже личные переживания были непозволительны.

Ахматова подверглась публичному унижению, но, к облегчению Берлина, ее не арестовали и лишь на время оставили без скромного пособия и продуктового пайка^[898]. Однако дальнейшее общение между ними было невозможно. Поэтому Берлин никак не мог узнать, что ее сына Льва – его отпустили из лагерей на фронт, и он прошел всю Великую Отечественную войну зенитчиком – в 1949 году снова арестовали и приговорили еще к десяти годам лагерей, на сей раз в Казахстане. Не услышал Берлин и о новом аресте Пунина, третьего мужа Ахматовой, и его последующей гибели в лагере^[899]. В 1954 году, во время легкой оттепели, наступившей после смерти Сталина, в ленинградском Доме писателей Ахматова встретилась с делегацией британских

студентов, среди которых был молодой Гарри Шукман. Ахматова считала, что это Берлин прислал их, но в действительности тот ничего не знал об этом визите^[900]. Когда журнал *New Republic* опубликовал материал о встрече Берлина с Ахматовой, поданный как сенсация, Берлин пришел в ярость^[901]. Он бы разозлился еще больше, если бы узнал, что автор статьи, Майкл Стрейт, был одним из тех кембриджских студентов, которых Энтони Блант подбил шпионить на СССР. А через три года, в августе 1956-го, когда Берлин снова приехал в Россию, Ахматова передала ему через Пастернака, что не хочет встречаться с ним из опасений навредить сыну (недавно освобожденному). Впрочем, она согласилась (несколько нелогично) поговорить с ним по телефону. Дело осложнялось тем, что Берлин незадолго до того женился, и эта новость явно стала ударом для поэтессы, в которой еще не угасли романтические чувства^[902]. А спустя еще девять лет их встреча в Оксфорде, куда Ахматова приехала на вручение почетной степени, получилась очень прочувствованной. Ахматова на полном серьезе заверила Берлина, что их давняя встреча, очень разозлившая Сталина, “положила начало холодной войне и тем самым изменила ход мировой истории”. Берлин, не любивший спорить, не стал ничего на это возражать теперь уже очень пожилой и надломленной женщине^[903]. Следует отдать ему должное: он до конца оставался верен изначальному духу “Общества *Conversazione*” и группы Блумсбери, хотя сам никогда не принадлежал к этим сетям, – в то время как подлая клика его кембриджских сверстников этот дух предала.



Илл. 26. Организация советской науки при Сталине (Исследовательская система Академии наук СССР).

Глава 41

Элла в исправительном доме

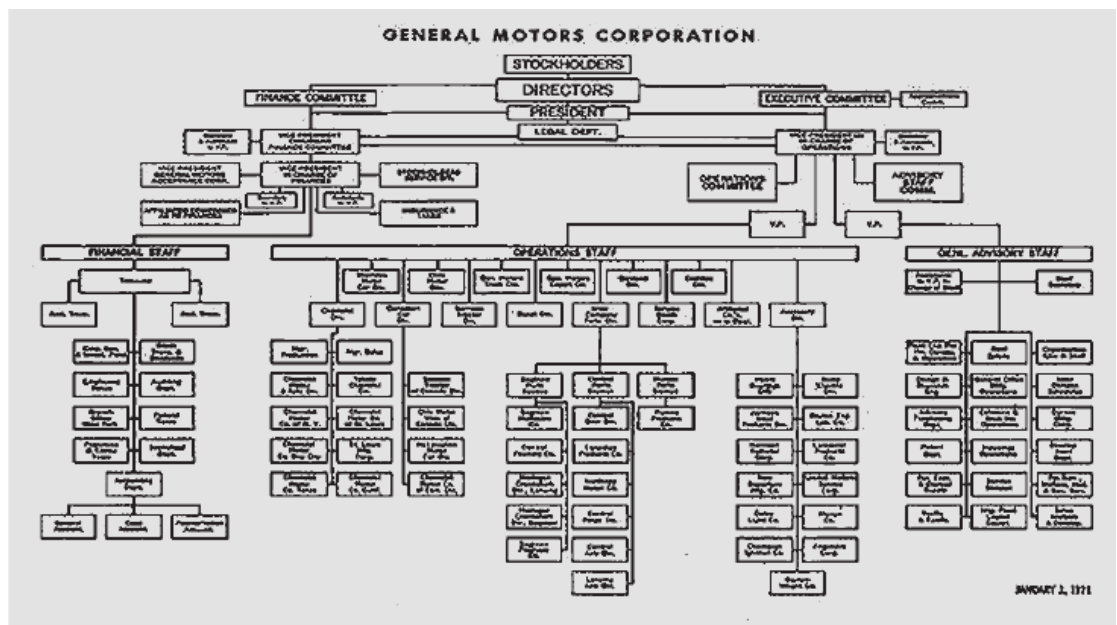
Середина XX века стала порой наивысшего расцвета иерархий. Хотя Первая мировая война закончилась крахом не менее чем четырех великих династических империй – Романовых, Габсбургов, Гогенцоллернов и Османов, – им на смену с поразительной быстротой пришли новые и более сильные государства-империи, в которых имперский размах сочетался с обязательными этнолингвистической однородностью и автократией. Мало того что на 1930–1940-е годы пришелся подъем государств, отличавшихся самой высокой централизацией власти в истории (сталинского СССР, гитлеровского Третьего рейха и Китайской Народной Республики Мао Цзэдуна), – вследствие Великой депрессии и приближавшегося очередного мирового конфликта важнейшие демократические государства тоже укрепили и централизовали свои аппараты управления. Между 1939 и 1945 годами сложные вооруженные конфликты между разными странами, которые мы называем Второй мировой войной, привели к небывалой мобилизации молодых мужчин. По всему Евразийскому материку, а также в Северной Америке и Австралии, мужчины от 18 до 30 с лишним лет получали армейские повестки. В вооруженных силах воюющих стран служило в те годы в общей сложности 110 миллионов человек, почти одни только мужчины. К концу войны форму надело около четверти британского трудоспособного населения; для США этот показатель составил 18 %, для СССР – 16 %. Огромное количество людей, ушедших на войну, так и не вернулись домой. Общие боевые потери во Второй мировой войне составили около 30 миллионов (хотя гражданские потери были еще выше). Убит был примерно каждый четвертый немецкий солдат; доля погибших красноармейцев была почти столь же высока. Так европейские “пестрые дудочки” заманили на смерть целое поколение мальчишек.

Однако армии были лишь самыми крупными из организационных пирамид середины века. Иерархии господствовали и в экономической, общественной и культурной сферах. Повсюду в руководители пробивались сторонники централизованного планирования – и в правительстве, и в крупном бизнесе, неважно, какова была их задача – уничтожение или

созидание. В США компания Альфреда Слоуна *General Motors* установила “форму *M*”, которая вскоре стала основной моделью деловых организаций во всем развитом мире (см. илл. 27).

После Второй мировой войны вся международная система подверглась перестройке и приобрела иерархический вид. Теоретически все национальные государства были представлены в ООН на равных правах. На практике же очень быстро обозначились две хорошо вооруженные союзные системы, которые возглавляли США и СССР. Вместе с ними в Совете Безопасности ООН заседали три другие страны, победившие в войне: Британия, Китай и (что невероятно) Франция, которая оказалась в числе первых территорий, оккупированных гитлеровской Германией. Хотя из-за начавшейся холодной войны Совет Безопасности очень скоро стал практически бесполезным местом – “комнатой без вида”, как метко выразился один венесуэльский дипломат, – в целом ООН нашла применение старой венской модели, и сложилась новая пентархия пяти великих держав.

Для людей, участвовавших в мировых войнах, наверняка показалось самым естественным делом перенести в гражданскую жизнь хотя бы некоторые элементы тех принципов действия, которые они освоили на военной службе. Впрочем, одного только масштабного опыта участия в военных действиях недостаточно, чтобы объяснить массовое внедрение административно-командной модели управления в различных организациях середины века. Контроль сверху утверждался еще и в силу технических причин. Венский сатирик Карл Краус оказался прав: технологии связи в середине XX века чрезвычайно благоприятствовали иерархиям. Хотя телефон и радио, конечно же, породили обширные новые сети, это были сети со звездообразной структурой, которые относительно легко можно перерезать, прослушивать и контролировать. Радио – подобно газетной печати, кинематографу и телевидению – не было по-настоящему сетевой технологией, потому что оно, как правило, подразумевало одностороннее сообщение – от радиовещательной станции к слушателям. Тех, кто пользовался беспроводной связью для разговоров – радиолюбителей – считали большими чудаками, и этот вид связи так никогда и не вошел в коммерческий оборот. Йозеф Геббельс вполне справедливо называл радио “духовным оружием тоталитарного государства”. А Сталин мог бы добавить, что телефон – это дар божий для любителей подслушивать.



Илл. 27. “Организационный этюд” Альфреда Слоуна, отображающий структуру *General Motors* (1921).

Важно отметить, что те же технологии становились предметом социального надзора и в более свободных обществах. В США, где трансконтинентальная телефонная связь заработала 25 января 1915 года^[904], телефонная система быстро перешла под контроль национальной монополии в форме телекоммуникационного конгломерата AT&T под управлением Теодора Вейла^[905]. Американская телефонная сеть (известная также как “система Белла” – по имени изобретателя Александра Грэхема Белла, уроженца Эдинбурга), хоть и оставалась очень децентрализованной с точки зрения использования (в 1935 году звонки за пределы хотя бы одного штата составляли менее 1,5 %), по таким параметрам, как собственность и выполнение технических стандартов, представляла собой единую систему^[906]. “Конкуренция, – объявил Вейл, – означает *борьбу*, промышленную войну, означает раздоры”^[907]. Он мечтал создать “всеохватную систему проводной связи для передачи электрическим способом данных (письменных или личных сообщений) из абсолютно любого места в любое другое место – систему столь же всеохватную и обширную, какой является общенациональная автодорожная сеть, пролегающая от двери каждого человека до двери любого другого человека”^[908]. Вейл столь же охотно соглашался на государственный надзор за его сетью, сколь яростно противился любым новшествам, которые появлялись где-либо за пределами его монополии^[909].

Прослушивание телефонных разговоров – а это простая операция для любой системы с коммутацией каналов – началось в 1890-х годах, и Верховный суд признал его конституционным действием на процессе против сиэтлского бутлегера Роя Олмстеда: приговор ему выносили как раз на основании данных телефонной прослушки. Существовали и прецеденты. В 1865 году Почтовая служба США получила распоряжение захватить материалы непристойного характера, которые были обнаружены, разумеется, при вскрытии частной почты. В 1920-х годах военная разведка США заключила с системой *Western Union* соглашение о перехвате подозрительных телеграмм, хотя в 1929 году тогдашний государственный секретарь Генри Л. Стимсон отказался читать перехваченные военные японские телеграммы – на том безупречно старомодном основании, что, по его словам, “джентльмены не читают чужих писем”. Однако нападение на Перл-Харбор и последующие события быстро заставили всех отбросить щепетильность такого рода. Агентство национальной безопасности, учрежденное в 1952 году, проводило масштабные чистки телеграфного трафика США, пытаясь поймать таким образом советских шпионов. Между тем ФБР в пору директорства Джона Эдгара Гувера без каких-либо ограничений прослушивало все телефонные линии. Например, 19 октября 1963 года генеральный прокурор Роберт Ф. Кеннеди отдал ФБР распоряжение начать прослушивание домашнего и рабочего телефонов преподобного Мартина Лютера Кинга-младшего, и эта программа надзора продолжала действовать вплоть до июня 1966 года^[910].

Радио не подверглось такой централизации – отчасти благодаря тому, что Герберт Гувер еще в свою бытность министром торговли воспротивился установлению федерального контроля над радиоволнами. Закон о радио 1927 года предоставил Федеральной комиссии по делам радиовещания (*Federal Radio Comission, FRC*) полномочия делить диапазон и решать, кому из претендентов выдавать лицензии на вещание на определенных длинах волн, на каких уровнях мощности, на какие области и в какие часы^[911]. А через семь лет надзорная функция перешла к новому ведомству – Федеральной комиссии по связи (*Federal Communications Comission, FCC*). С тех пор лицензии на вещание сроком на три года выдавались тем радиостанциям, которые могли убедить FCC в том, что будут служить “общественным интересам или нуждам”. Любопытно, что газетам никогда подобных требований не

предъявляли. Таким образом, свобода слова в радиоэфире строго ограничивалась, с одной стороны, контрольно-надзорными органами, а с другой – из-за того, что реклама на радио являлась важнейшим источником его доходов, – коммерческими интересами^[912].

Хотя в начальную пору холодной войны многие интеллектуалы опасались, как бы в США не развилась тяга к тоталитаризму, разумеется, между американской и советской жизнью сохранялись глубокие различия. Белые американские граждане пользовались всей полнотой гражданских и политических прав, гарантированных Конституцией, и могли при желании оспаривать вмешательство государства в деятельность судов. Однако для многих чернокожих американцев преимущества жизни в США – по сравнению с жизнью в СССР – были гораздо менее очевидны, о чем никогда не упускала случая напомнить (пускай даже лицемерно) советская пропаганда. Следствием социального конформизма конца 1940-х, 1950-х и начала 1960-х годов стала фактически узаконенная расовая дискриминация. Тогда, как и сейчас, афроамериканцы значительно чаще белых конфликтовали с пенитенциарной системой. Чтобы пояснить, что происходило, достаточно будет всего одного примера. 10 апреля 1933 года судья Уэстчестерского округа Джордж У. Смит постановил отправить пятнадцатилетнюю “цветную” девушку по имени Элла Фицджеральд в женскую исправительную школу в Хадсоне, штат Нью-Йорк, на том основании, что она “неуправляемая и не желает слушаться справедливых и законных требований матери”. Жилось в этом заведении несладко. В том же 1933 году Якоб Морено, составляя первые “социограммы”, задался целью объяснить, почему вдруг из этой школы стало убегать так много воспитанниц (см. Введение). В 1930-х годах даже сетевые теории становились на службу паноптикону^[913]. К счастью, Элла Фицджеральд сбежала на Манхэттен и стала знаменитой певицей. С ее советскими сверстниками в исправительных заведениях наверняка обходились еще суровее.

В XIX веке американское общество справедливо славилось разнообразием объединений по интересам. Как мы уже рассказывали, Алексис де Токвиль видел в этой бурной общественной жизни одну из причин успеха США как демократического государства. Однако та самая легкость, с которой возникли в Америке социальные сети, создала и предпосылки ее уязвимости, которой безжалостно воспользовалась чужеродная сеть,

проникшая в страну вместе с огромным притоком мигрантов из Южной Италии. Произошло это в конце XIX – начале XX века, и этой чужой сетью стала мафия. Этот процесс в приукрашенном виде изображен в романе Марио Пьюзо “Крестный отец”, а также в снятых по нему фильмах. Разумеется, не все в этом кино – выдумка^[914]. Действительно существовали “пять семей”, которые контролировали в Нью-Йорке и ближайших окрестностях азартные игры, гангстерское ростовщичество, вымогательство и (во время действия сухого закона) торговлю спиртным. Это были выходцы из Южной Италии, создавшие компактные иммигрантские сообщества вроде “Маленькой Италии” на Манхэттене, в кварталах Нижний Ист-Сайд и Восточный Гарлем. Реальными прототипами для вымышленного персонажа Вито Корлеоне послужили Фрэнк Костелло (настоящее имя – Франческо Кастилья) из семьи Лучано/Дженовезе и отчасти Карло Гамбино из семьи Гамбино. Певец Джонни Фонтейн явно списан с Фрэнка Синатры. За персонажами гангстеров-евреев тоже угадываются реальные лица: прототипом жестокого владельца казино в Лас-Вегасе Мо Грина был Бенджамин “Багси” Сигел, а прообразом более рассудительного злодея Хаймана Рота – Майер Лански. Нельзя сказать, что Пьюзо сильно преувеличил степень влияния мафии в США. До Второй мировой войны Лански и Сигел учредили “Комиссию” вместе с Сальваторе “Лаки” (Счастливым) Лучано, желая навязать нечто вроде центрального руководства не только нью-йоркским “пяти семьям”, но и организованной преступности вообще по всей Америке. Власти Лучано фактически пришел конец в 1936 году, когда его арестовали, и спецпрокурор (позднее губернатор штата Нью-Йорк) Томас Э. Дьюи успешно доказал обвинение в покровительстве проституции. Однако место Лучано вскоре занял Костелло. Не вызывает сомнения и то, что к 1950-м годам многие мафиозные семейства всюду занимались различными видами нелегального бизнеса – начиная от развлекательной индустрии до содержания казино на дореволюционной Кубе, – а также участвовали в профсоюзной деятельности и политике. Например, не исключено, что в 1960 году к предвыборной кампании Джона Ф. Кеннеди привлекали мафиози, чтобы нанести поражение Ричарду Никсону, а еще достоверно известно, что у Кеннеди имелась общая любовница с чикагским гангстером Сэмом Джанканой – Джудит Кэмпбелл Экснер. С августа 1960 по апрель 1961 года ЦРУ даже вынашивало планы убить Фиделя Кастро, подослав к нему профессиональных

киллеров-мафиози. (Впрочем, гипотеза о том, что за убийством Кеннеди стоит мафия, не вызывает большого доверия, хотя эта конспирологическая теория и оказалась чрезвычайно живучей, несмотря на опровергающие ее данные официального расследования и научные работы историков. К счастью, Пьюзо поборол соблазн включить в свой роман еще и намеки на эту версию.)

Однако появилась тенденция преувеличивать сложность организационного устройства мафии – именно потому, что существует совсем мало надежных документов, проливающих свет на ее деятельность, помимо свидетельских показаний тех немногочисленных мафиози, кто решился нарушить круговую поруку, или *omertà* (что переводится приблизительно как “мужественность”), – кодекс чести, под страхом смерти запрещающий членам организации предавать товарищей и сотрудничать с властями. О том, что сами представители мафии предпочитают называть ее иначе – *Cosa Nostra* (“Наше дело”), – впервые поведал Джозеф Валачи в 1963 году, когда давал показания Постоянному подкомитету по расследованиям комитета сената по вопросам государственного управления. А через двадцать один год итало-бразильский осведомитель Томмазо Бускетта описал американским прокурорам иерархическое устройство типичного мафиозного клана: на самом верху находится главарь (*capofamiglia* или *rappresentante*), ниже – *capo bastone* или *sotto capo*, а еще у “главы Семьи” имеется один или несколько советников (*consigliere*). Нижестоящие мафиози объединяются в группы (*decina*) из десяти “солдат” (*soldati*, *operai* или *piciotti*), каждую группу возглавляет *capodecina*. А в 1996 году арестовали Джованни Бруску – сицилийского мафиозо по прозвищу *Il Porco* (Свинья), убившего в 1992 году прокурора Джованни Фальконе, который вел дела против мафии. Давая показания, Бруска описал обряды посвящения в общество, через которые довелось пройти ему самому в 1976 году. Его пригласили на пир в загородном доме, где его ждали за столом несколько мафиози. На столе лежали пистолет, кинжал и листок бумаги с изображением святого. После того как Буска поклялся хранить верность преступному миру, старший мафиозо уколол ему палец иголкой и велел мазнуть кровью изображение святого, а потом поджег листок. “Если ты предашь *Cosa Nostra*, – сказали Бруске, – то гореть тебе в огне, как этому святому”. Конечно, подобные истории весьма занятны, но насколько

можно им верить? Возможно, что все эти принципы организации и ритуалы посвящения возникли относительно недавно – если только они вообще существуют.

Мафия изначально была культурным укладом, или образом жизни, который возник из особенностей сицилийской истории. Само слово *mafia* образовано от прилагательного *mafiusu* (“чванливый” или “лихой”), происхождение которого (возможно, арабское – как пережиток мусульманского владычества над островом) обсуждалось долго, но безрезультатно. Это слово вошло в обиход в 1865 году благодаря давно забытой пьесе “Мафиози из Викарии” (*I mafiosi di la Vicaria*), а впервые официально употребил его двумя годами позже тосканский аристократ, граф Филиппо Гуалтерио. Но сами сицилийцы все же избегали этого слова, предпочитая говорить об “уважаемом обществе” (или “обществе чести” – *Onorata società*). Историк Диего Гамбетта охарактеризовал это общество как, по сути, “картель частных охранных организаций”^[915]. Оно пережило подъем ближе к концу XIX века, вслед за вхождением Сицилии в состав Итальянского королевства – или фактически Пьемонтской империи, – в ту пору, когда почти не существовало полицейских сил и землевладельцам приходилось прибегать к услугам частных армий для защиты собственности и урожая. Затем *Cosa Nostra* превратилась в общую систему, обеспечивавшую принудительное исполнение договора и каравшую смертью нарушение обязательств. Похожие “общества” возникли и в областях Южной Италии: в Кампании – Каморра, в Калабрии – Ндрангетта, в Апулии – Сакра-Корона-Унита (“Объединенная священная корона”). Неистребимая нищета всех этих регионов красноречиво свидетельствует о том, что подобные организации – отнюдь не оптимальная основа общественного устройства. Впрочем, называть их организациями, пожалуй, неправильно. Неаполитанский историк Паскуале Виллари в своих “Южных письмах” (*Lettere Meridionali*), опубликованных в середине 1870-х годов, утверждал: “У мафии нет писаных законов, она не является тайным обществом или даже объединением. Она возникает совершенно стихийно”^[916]. Мафия на Сицилии оставалась столь призрачной, что от нее в итоге довольно легко избавились в период фашистского правления, когда “железным префектом” Палермо был Чезаре Мори (1925–1929 годы)^[917].

Иногда можно было услышать, что после того, как летом 1943 года Сицилию заняли войска союзников-антифашистов,

Коалиционная военная администрация (КВА) сговорила с мафией, чтобы восстановить власть последней на острове, причем роль посредника в тайных переговорах играл будто бы “Лаки” Лучано. Подобные утверждения беспочвенны. На самом деле офицеры коалиции сделали весьма проницательные наблюдения об укладе преступного мира, с которым столкнулись на Сицилии, потому что тот как раз потихоньку начал поднимать голову из невидимого подполья, куда его загнал режим Муссолини. Например, в октябре 1943 года американский вице-консул в Палермо, капитан У. Э. Скоттен, заявил, что мафия – это не организация со строгим подчинением единому центру, а скорее нечто вроде сети, спаянной при помощи кодекса чести и тайны. Скоттен написал:

Мафию едва ли возможно считать настоящей организацией с четко выстроенной иерархией руководства. Если это и организация, то устроенная скорее по горизонтали, чем по вертикали. Это объединение преступников, которых связывает между собой общая заинтересованность в том, чтобы не давать властям вмешиваться в их дела. Это заговор против сил закона, проявляющийся прежде всего в виде круговой поруки – так называемой *omertà*. Этот кодекс молчания навязывается всем жертвам мафии, а также всему населению, и таким образом люди становятся невольными соучастниками преступлений. В каком-то смысле мафия – не просто объединение: это и общественная система, и образ жизни, и профессия. Поэтому, с точки зрения полиции, главная трудность заключается в специфической природе самой мафии. Если бы она обладала четким устройством, то, последовательно устраняя ее главарей сверху вниз, можно было бы без труда разрушить ее^[918].

Пока оккупационные власти, борясь с колоссальными трудностями, пытались управлять постфашистской послевоенной Сицилией, чиновники вроде Скоттена постепенно осознавали мучительную правду: у них не было никаких средств искоренить этот странный и жестокий местный уклад. Больше того, им приходилось до некоторой степени примириться с ним, чтобы восстановить хоть маломальский порядок на острове. У британского писателя Нормана Льюиса сложилось похожее впечатление^[919].

Вот эта самая мафия и орудовала в американских городах с 1920-х до 1940-х годов. Несмотря на то что пресса с большим энтузиазмом писала о “корпорации убийств” (как журналисты окрестили преступный мир), семьи, описанные в романе “Крестный отец”, на деле были ближе к своим сицилийским корням – в том

смысле, что их вымогательская деятельность носила довольно рассредоточенный характер. У них не было *capo di tutti capi* – “главаря всех главарей”. Как только мафиозные кланы пытались выстроить хоть сколько-нибудь четкую вертикаль, они тем самым подписывали себе приговор, – это прекрасно понял Скоттен. Эпоха, которая изображена в “Крестном отце”, была в некотором смысле эпохой гордыни, когда организованная преступность попыталась стать одновременно и более организованной, и менее преступной. В 1970 году правительство приняло Закон о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях, и американскую мафию стерли с лица земли с поразительной легкостью. За 1980-е годы были осуждены двадцать три главаря, пойманные по всей стране, а также тринадцать замглаварей и сорок три мафиозных вожака помельче. Криминальная сеть совершила роковую ошибку: она решила сделаться такой иерархией, которую показывали в кино.

В то время как противозаконные сети процветали и прорастали внутри американской политической элиты, другие – совершенно законные – сети становились предметом притеснения со стороны властей. Чернокожие американцы, начав кампанию за предоставление им полных гражданских прав наравне с белыми, столкнулись с ужасающим по силе сопротивлением – как юридическим, так и внеправовым. Движение борцов за гражданские права зародилось в церквях и колледжах, которые посещали чернокожие, и в южных отделениях основанной в 1909 году Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (*National Association for the Advancement of Colored People*)^[920]. И именно глубоко уходящие организационные корни сделали это движение практически неостановимым: ведь эти сети получали новую поддержку и подпитку каждое воскресенье. Как говорил Мартин Лютер Кинг, “пригласительный период на массовых собраниях, когда мы зазывали новых добровольцев, во многом напоминал те пригласительные минуты, какие бывают каждое воскресное утро в негритянских церквях, когда пастор бросает клич всем присутствующим – присоединиться к пастве. И новые люди приходили и вливались в ряды нашей армии – по двадцать, по тридцать и по сорок человек”^[921]. Прослушивание его домашнего телефона стало лишь ничтожной частью той затяжной кампании, которую развернуло государство, надеясь подорвать и раздавить движение за гражданские права. Но в итоге эта

правительственная кампания сама потерпела крах. А вот белых американцев, в ту же пору пытавшихся организовать протесты, ожидала неудача, как наглядно показывает случай с демонстрациями против повышения налогов на имущество в округе Лос-Анджелес в 1957 году. Хотя повышение налогов и вызывало массовое проявление недовольства, кампания оппозиции быстро выдохлась, потому что в пригородах Лос-Анджелеса просто не было социальных сетей и общественного лидерства наподобие тех, что уже возникли в “черных” церковных приходах южных штатов^[922].

Но американцы, разумеется, не утратили потребность объединяться и взаимодействовать. На середину XX века пришелся расцвет одной из самых успешных социальных сетей во всей американской истории – содружества взаимопомощи для пьющих “Анонимные алкоголики” (“АА”). Основанное в 1935 году в Акроне, штат Огайо, нью-йоркским биржевым маклером Уильямом Уилсоном (Биллом У.) и акронским врачом Робертом Смитом (доктором Бобом), “АА” предлагали алкоголикам вернуться на путь трезвости за двенадцать шагов, однако подлинная сила этой организации заключалась в терапевтическом сетевом эффекте регулярных собраний, на которых люди честно рассказывали друг другу, как пристрастились к спиртному, и делились советами о том, как бросить пить^[923]. А более ранняя встреча Уилсона с Эбби Тейчером, еще одним хроническим алкоголиком – хоть и лишена была той интеллектуальной значимости, какую имела встреча Исая Берлина с Анной Ахматовой, – привела к созданию первого ребра в будущей всемирной сети^[924]. “Мысли у меня в голове лихорадочно забегали, когда я представил, какая цепная реакция начнется среди алкоголиков, если каждый будет передавать наши идеи и наши принципы по эстафете”^[925]. Поразительной особенностью “АА” остается псевдорелигиозный и совершенно аполитичный характер. (Действительно, эта организация изначально отпочковалась от христианской евангелической “Оксфордской группы”.) Если бы кто-нибудь сообщил Джону Эдгару Гуверу, что алкоголизм имеет некоторое отношение к коммунизму, он бы наверняка распорядился установить наблюдение за собраниями “АА”. Что любопытно, первые группы “АА”, как правило, отвергали людей, которые в остальном – за вычетом болезненной зависимости от спиртного – не являлись уважаемыми членами общества. К их числу относились (по ироничной формулировке Уилсона) “попрошайки, бродяги, обитатели сумасшедших домов,

узники, мужеложцы, просто чокнутые и падшие женщины”. И лишь в 1949 году организация постановила, что принимать нужно всех без исключения людей, которые “желают бросить пить”^[926].

Разнообразные патологии тоталитарных государств, как и гораздо более мягкие черты авторитаризма, появившиеся в тот же период в демократических странах, безусловно, толкали людей к бутылке. Беспробудному пьянству предавались не одни только кембриджские шпионы. Среднестатистический человек середины XX века – повязанный по рукам и ногам невыносимыми иерархическими цепями подчинения, страшившийся примыкать к социальным сетям, которые, не дай бог, государство сочтет подрывными, – очень часто искал утешения на дне рюмки. В СССР любимым наркотиком масс стала водка. В нацистской Германии, где производство алкоголя было принесено в жертву перевооружению, народ отдавал предпочтение более экзотическим веществам – например, первитину (метамфетамину) и эвдокалу (производной морфия)^[927]. В США после введения сухого закона спиртное поглощалось в таких количествах, которые сегодня кажутся ошеломительными. А еще поколения, ставшие очевидцами мировых войн, в самоубийственных дозах курили табак. Однако утешение, которое предоставляли эти возбуждающие средства, оказывалось мимолетным. В романе Олдоса Хаксли “О дивный новый мир” (1932) фордистское Мировое государство контролирует даже наркотики, как и все остальное – от евгеники до эвтаназии, а нонконформиста Бернарда Макса ждет ссылка. У Оруэлла в романе “1984” (1949) не остается ни малейшей надежды на то, что Уинстон Смит окажет успешное сопротивление власти Старшего Брата над Взлетной полосой I: его ждут пытки и промывка мозгов. Похожая печальная судьба постигла поразительное множество литературных героев середины XX века – от Джона Йоссариана у Джозефа Хеллера^[928] до Ивана Денисовича у Александра Солженицына и до Алека Лимаса (которого превосходно сыграл в сценах с пьянством актер Ричард Бертон, сам алкоголик) у Джона Ле Карре^[929]. Примечательно, что волна вызванных извне идеологических моровых поветрий завершилась пандемией заболеваний печени и легких, которые люди навлекали на себя сами.

Часть VII

Кто хозяин в джунглях

Глава 42

Длительный мир

Крупные, иерархично устроенные империи, вступившие друг с другом в холодную войну, практически не позволяли своим гражданам создавать собственные сети – разве что эти сети были совсем далеки от политики. Однако чем дальше от имперских метрополий, тем заметнее ослабевал контроль центра. Третья мировая война велась не ядерными ракетами в стратосфере, а полуавтоматическим оружием в джунглях так называемого третьего мира. Там, вдали от железных и автомобильных дорог, телеграфных и телефонных линий, сверхдержавы оказались отрезаны от привычных средств командования, контроля и связи, от которых сильно зависели. Выявление ограниченности их возможностей в далеких бедных странах дало диалектический результат, обернувшись кризисом во внутренней политической структуре крупных держав. В 1970–1980-х годах сети начали возрождаться, а иерархии – рушиться, и завершился этот процесс распадом СССР и его империи в Восточной Европе. Примерно на то же время пришлось рождение интернета, и тут возникает соблазнительная мысль: а что, если появление новой технологии снова сместило баланс власти – на сей раз во вред интересам тоталитарного государства и его авторитарных ответвлений? Однако, как мы еще увидим, историческому процессу оказалась чужда подобная прямота. Интернет вовсе не был причиной кризиса, случившегося в конце XX века, а, напротив, скорее явился следствием крушения иерархической власти.

Историки холодной войны давно ведут споры о том, почему же она так и осталась “холодной”, – иными словами, почему США и СССР не начали войну друг с другом, как это уже дважды происходило с Великобританией и Германским рейхом. Избитый ответ гласит, что появление ядерного оружия так повысило ставки, что государственные деятели и в Вашингтоне, и в Москве стали вести себя гораздо осторожнее, чем вели себя политики в Лондоне и Берлине в 1914 и 1939 годах. Сторонники другого объяснения

указывают на то, что после 1945 года союзнические сети сделались устойчивее, чем раньше. Обе сверхдержавы обзавелись обширными, густыми и сравнительно устойчивыми сетями союзников, сочетавшими договоры о взаимной обороне с элементами коммерческой интеграции. С 1816 по 1950 год число союзников у каждой страны в среднем не сильно превышало 2,5. А вот за период с 1951 по 2003 год этот средний показатель вырос более чем вчетверо, составив 10,5^[930]. Дальнейший анализ указывает на рост торговли, связанный с затиханием конфликтов^[931]. Любопытно, что рост союзов безопасности, создававшихся со стратегической целью, как будто предвосхитил рост торговли в пределах стран-союзниц^[932]. Можно не сомневаться, что сетевые эффекты подобного рода тоже сыграли свою роль. Однако определяющей чертой почти всех соглашений – военных и экономических – в пору холодной войны была их иерархическая структура. Пускай даже главные державы Совета Безопасности ООН никогда не могли прийти к согласию, появлялись другие объединения: например, группа шести государств, изначально подписавших Римский договор 1957 года, или “большая семерка”, изначально возникшая в 1974 году в ходе неформальной встречи финансовых чиновников из пяти крупнейших (с точки зрения экономики) стран мира – США, Соединенного Королевства, ФРГ, Японии и Франции.

Однако представление о холодной войне как о длительном мире имеет смысл, если мы ограничиваем свое внимание только развитыми странами. Если же посмотреть на мир в целом, то период с 1950-х по 1980-е отнюдь не был мирным для Африки, Азии и Латинской Америки. В этих частях света то и дело вспыхивали гражданские войны, причем очень часто они разгорались именно потому, что враждующие группировки получали военную помощь от сверхдержав и тем самым действовали как их представители^[933]. А еще в пору холодной войны происходили революции и перевороты в распадавшихся заморских колониях европейских стран. И как раз наблюдение за тем, насколько заразными оказывались подобные политические кризисы, породило идею “эффекта домино”^[934]. После разгрома французов силами Вьетминя в битве при Дьенбьенфу президент США Дуайт Эйзенхауэр сказал: “У вас стоят в ряд костяшки домино. Вы сбиваете сначала первую... Легко предсказать, что станет с последней: очень скоро упадет и она”. Если союзы, возникшие в годы холодной войны, представляли

собой звездообразно устроенные сети, то внешним узлам этих сетей угрожал “эффект домино”. Чтобы костяшки не падали, потребовалось разработать особые военные меры, со временем получившие название “противоповстанчество”, хотя более ярко их характеризует, пожалуй, название одного их прототипа – война в джунглях.

Глава 43

Генерал

В романе “Генерал” (*The General*) С.С. Форестер нарисовал зловещий портрет образцового британского генерала из поколения Первой мировой войны. Это и олицетворение эпохи жесткой иерархии, утвердившейся в середине XX века. Вот каким он предстает:

...примечательный [даже] в выборе своих подчиненных, а значит, через них – заметный и держателям более низких чинов. Требовались люди, не страшившиеся ответственности, люди с неиссякаемой энергией и железной волей, люди, готовые упорно исполнять порученную им часть плана боя, насколько позволяла им плоть и кровь – и собственная, и подначальных солдат. Требовались люди без воображения, чтобы выполнять военные приказы, лишённые воображения, придуманные другим человеком без воображения. Любые намеки на чудачество или оригинальность вызывали подозрения с учетом плана кампании. Каждому генералу нужны были подчиненные, которые неукоснительно выполняют приказы, не боясь трудностей и потерь и не страшась будущего. Каждый генерал знал, чего от него ждут (и одобрял это), и старался иметь в подчинении таких генералов, от которых сам сможет ожидать того же. Когда требовалось систематическое применение грубой силы, нужны были только такие люди, которые легко встроятся в систему, не ожидая ни малейших поблажек^[935].

Пожалуй, трудно найти лучшее описание иерархического режима. Однако к 1940-м годам британская армия на собственном горьком опыте убедилась в том, что необходим совсем иной, более динамичный тип руководства. В ходе двух мировых войн стало понятно, что исключительная эффективность германской армии была обусловлена не строгим выполнением боевых планов, а децентрализованным принятием решений и гибкостью при неясности боевой обстановки^[936]. Например, в 1940 году немецкие танковые части, пользуясь радиосвязью и французской дорожной сетью, забрались далеко за линию фронта противника и в итоге смяли оборону и разгромили французов. Чем дальше от поля боя, тем важнее было освободить офицеров (включая сержантов) от давления централизованного командования и контроля. Ярче всего уместность такого подхода продемонстрировали военные кампании

в Азии против японцев. В Бирманской операции появился новый тип британского генерала – полная противоположность наделенному железной волей, но лишенному воображения Блимпу из романа Форестера. В джунглях как раз высоко ценились “чуждость и оригинальность”.

Уолтер Колийер Уокер, сын ассамского чайного плантатора, родился в 1912 году и в силу возраста не мог быть очевидцем кровопролитных битв на Сомме и при Ипре. Всю жизнь Уокер отличался крайней драчливостью. Учась в школе в Англии, он пришел к выводу, что задира лучше всего усмирять “прямым ударом левой в нос или ударом снизу в челюсть”. В военном училище в Сандхерсте он еле терпел муштру и мечтал стрелять из ружья, а не чистить его. Служа офицером в 1-м батальоне 8-го гуркхского стрелкового полка, он отличился в операциях против Факира из Ипи^[937] в Вазиристане, где сделался экспертом по устройству засад. В 1944 году Уокер возглавил 4-й батальон 8-го гуркхского полка, который превратил – после двух месяцев переобучения – в грозное воинское подразделение, а сам удостоился ордена “За выдающиеся заслуги”. Британцы осваивали новые приемы ведения войны. “Опыт показывает, – говорилось в руководстве 1943 года, так называемой Книге джунглей, – что командование должно быть рассредоточенным, так чтобы младшие командиры оказывались в таких условиях, где им нужно самим принимать решения и действовать без промедления под свою ответственность...”^[938] Это была настольная книга Уокера. После войны, служа в генштабе в Куала-Лумпуре, он получил задание: натренировать подразделение, получившее потом название “ищейки” и состоявшее из британских, гуркхских, китайских и туземных даякских отрядов. В 1948–1949 годах, когда коммунисты-террористы ввергли Малайю в войну, Уокер командовал Центром подготовки сухопутных войск на Дальнем Востоке, создав в Кота-Тингги Школу подготовки войск для боевых действий в джунглях^[939]. Доктрина, разработанная в этой школе, была закреплена в брошюре “Проведение антитеррористических операций в Малайе”, которая, по сути, стала для британской армии практическим руководством по противоповстанческим действиям^[940]. Главная цель военных действий была сформулирована так: не допустить, чтобы “партизанские атаки подрывали деятельность законной политической власти”^[941]. На практике же это означало безжалостное истребление коммунистов на основе

скоординированного сбора разведданных (при помощи полицейских и военных отрядов), энергичное патрулирование небольшими подразделениями и тщательно спланированные засады^[942]. В 1958 году Уокер командовал операцией “Тигр”, в которой 99-я Гуркхская бригада ликвидировала последних коммунистов, действовавших в Джохоре. “Мой человек из охраны особого назначения, – сообщал позднее Уокер, – поручился, что КТ [коммунисты-террористы] придут, и через 28 дней они пришли и были убиты в болоте”. В глазах Уокера, людям, способным в духоте терпеливо лежать в засаде четыре недели кряду, нет цены. Он пришел в ярость, узнав, что в Лондоне вынашивают план сократить официальную численность гуркхского подразделения с более чем десяти тысяч до четырех^[943]. “Малайя – последний оплот борьбы с коммунизмом в этой части света, – утверждал Уокер и напоминал о принципе домино: – Если Малайя падет, то положение в Юго-Восточной Азии станет непоправимым”^[944].

И именно в густых джунглях Борнео – третьего по величине острова в мире – Уокер в итоге доказал свою правоту. Борнео, где не было железных дорог и почти не было никаких дорог вообще, а драгоценные взлетно-посадочные полосы были наперечет, представлял собой идеальное место, где централизованное принятие решений становилось единственным выходом. Остров, который достаточно произвольно поделили между собой Британская и Нидерландская империи, имел протяженную внутреннюю границу, проходившую между британскими территориями Саравак, Бруней и Северный Борнео и индонезийским (бывшим нидерландским) Борнео, известным как Калимантан. Британцы придумали план своего изящного ухода: объединить Саравак, Бруней и Северный Борнео с Малайей и Сингапуром, чтобы из них образовалась Малайская Федерация. Однако не успели они приступить к выполнению этого плана, как в Брунее при поддержке Индонезии вспыхнуло восстание, и в апреле 1963 года началась так называемая индонезийско-малайзийская Конфронтация (на местных языках – *Konfrontasi*): индонезийские войска перешли границу, вступили с востока в Саравак и уничтожили полицейский участок в Тебеду под Кучингом.

Президент Индонезии Сукарно мечтал создать Великую Индонезию, куда вошел бы, самое меньшее, весь Борнео. Задача Уолтера Уокера как командующего британскими силами на Борнео

(и затем отвечавшего за проведение всех операций) состояла в том, чтобы развеять эти мечты — с минимальными затратами. Отправляясь на новое место службы, Уокер составил директивный документ, опираясь на свой опыт войны в Малайе. В нем он очертил “шесть составляющих успеха”:



Илл. 28. Генерал сэр Уолтер Уокер, герой Индонезийско-Малайзийской конфронтации на Борнео, основоположник методов противоповстанческой борьбы. Следовал правилу: “Будь хозяином джунглей”.

...Согласованные операции; своевременно поступающая и точная информация, то есть первоклассный механизм разведки; скорость, подвижность и гибкость; безопасность наших баз, где бы они ни находились и что бы собой ни представляли (аэродромы, патрульные базы и т. п.) ... господство над джунглями [и] ... умение завоевывать сердца и умы людей, и прежде всего туземцев^[945].

Это был, по сути, манифест сетевой войны — полная противоположность прежним принципам действия британской армии, подчинявшейся жесткой иерархии. Любимым словом Уокера

была “слаженность”. Одним из главных уроков, которые он усвоил в Малайе, была важность “единства – между самими вооруженными силами, между вооруженными силами и полицией, и между силами безопасности в целом и гражданской администрацией” и “слаженное планирование и совместные операции в любое время и на любом уровне”^[946]. Он свел воедино армию, военно-воздушные силы и штаб флота и заставил их плотно взаимодействовать с гражданскими властями и полицией^[947]. Уокер уподобил новую систему командования “триумвирату – гражданскому, полицейскому и солдатскому, – под единым командованием «военного» начальника операций”, который должен был “следить за тем, чтобы эта система работала как ножницы, то есть ни одна часть не подчинялась бы другой, но каждая помогала бы другой, и вместе они добивались бы успеха”^[948]. Связь тоже была отлажена и объединена настолько, насколько в ту пору позволяли возможности радиотехники^[949].

На суше Уокер придавал особую важность “полнейшей подвижности и гибкости”^[950]. В зонах нападения как минимум две трети состава каждого гарнизона “решали задачи наступления, занимая основные позиции в джунглях и устраивая засады на тропах днем и ночью, так что враг никогда не знал нашего местонахождения, а мы в любой момент могли настичь его и напасть на него”. Самое главное, по его памяtnому выражению, – это “быть *хозяином* джунглей”:

Нельзя достичь результатов, просто нападая на врага, стреляя в него и затем возвращаясь к себе на базу. С ним нужно играть по его же правилам, жить в джунглях целыми неделями, завоевывать сердца и умы людей, внедрять собственных агентов в те деревни, которые заведомо враждебно к нам относятся. В таких условиях свою базу нужно носить на спине, и эта база должна состоять из легчайшей полиэтиленовой пленки, носка, набитого рисом, и кармана, набитого амуницией. Джунгли должны принадлежать вам, нужно быть хозяином джунглей, контролировать их и господствовать над ними^[951].

Особенно эффективными стали три новшества Уокера: использование приграничных лазутчиков, особых отрядов и вертолетов. Важнейшую роль сыграли жители приграничных областей. По словам Дж. П. Кросса (офицера, которому поручили их обучение), “если бы приграничные племена можно было заставить сидеть смирно, убедив их в том, что они принимают

активное и положительное участие в собственной защите и что за ними – правительство, то Конфронтация, наверное, провалилась бы. Поэтому деятельность приграничных лазутчиков имела существенное значение для победы”^[952]. Уокеру нужно было, чтобы “лазутчики шныряли там, впереди, как некая ширма, и служили бы глазами и ушами обычных вооруженных сил, только еще с жалом. Для выполнения своей задачи они должны сливаться с фоном, должны снять ботинки для джунглей, которые только выдадут их с головой, и поднимающие боевой дух винтовки. Они должны выглядеть как крестьяне, рыбаки, торговцы, дровосеки и т. д.”. Кросс учил своих подопечных не только сливаться с окружением, но и запоминать любые следы неприятельской деятельности, какие им встретятся по пути, и выслеживать врага, “используя изводящую тактику, сливаясь с фоном, следуя за ним тенью и подбирая отставших, оставляя за собой следы – так чтобы тот, кто пойдет следом, легко понял, что тут происходит”^[953]. С приграничными лазутчиками плотно работало около семидесяти человек из 22-го полка парашютно-десантных частей особого назначения (*Special Air Service, SAS*) – их задача состояла в том, чтобы “жить среди людей, заслуживать их доверие, оказывать им медицинскую и иную помощь”, и в то же время “отслеживать вылазки”^[954]. Наконец, Уокер в полном объеме использовал вертолеты, имевшиеся в его распоряжении (их никогда не было больше восьмидесяти) для быстрой переброски наиболее тяжелого вооружения из одной горячей точки в другую, так что у неприятеля создавалось впечатление, будто артиллерия имелась на всех передовых базах^[955].

Сегодня мало кто помнит о разгроме Конфронтации в непролазной глуши Борнео. Потому что этот разгром оказался полным. Вот слова Уокера: “Утвердиться по-хозяйски в джунглях площадью десять тысяч квадратных миль, выследить врага и бить его всякий раз, когда он отваживался на вылазки, – это было изрядное достижение для тринадцати батальонов, задействованных в данной операции”^[956]. Военные потери были невелики: Британия и страны Содружества потеряли 114 человек убитыми, и еще 181 получили ранения, а Индонезия, по подтвержденным данным, потеряла убитыми 590 человек, ранено было 222 человека, а в плен захвачены 771. Смысл этих невысоких показателей раскрывается по-настоящему, если сравнить происходившее на Борнео с тем, что одновременно творилось в семистах милях севернее, во Вьетнаме, где американские войска приступили к операции, которая в итоге

выльется в катастрофически дорогостоящую и совершенно безуспешную попытку сохранить независимость Южного Вьетнама. Как отмечал Уокер в статье, опубликованной в 1969 году, его задача на Борнео сводилась к тому, чтобы “не дать конфликту перерасти в открытую войну вроде той, что происходит сегодня в Южном Вьетнаме”. Он справился с поставленной задачей, одержав победу не только “в начальных раундах сражения в джунглях”, но и в “психологической битве, которая разворачивалась в глухих районах, в кампонгах и деревнях, где жили племенные народности”^[957]. Прежде всего, он добился цели и стал хозяином джунглей, потому что

армия, которая передвигается тайно, главным образом маленькими отрядами и собирается вместе лишь тогда, когда должно начаться сражение, не может угодить в засаду. Так обычно передвигается армия вьетконговцев. Так научились перемещаться наши солдаты – и у них это получалось лучше, чем у врагов. Они перепартизанили партизан во всех видах игры – благодаря одной только хорошей выучке, основанной на практическом опыте^[958].

Как мы еще увидим (в главе 50), армии США понадобилось дожидаться смены целого поколения военных, чтобы овладеть этим искусством сетевой войны, – хотя в итоге им предстояло применять его в бетонных джунглях, а не в тех настоящих тропических лесах, хозяином которых некогда сделался Уолтер Уокер.

Глава 44

Кризис сложности

“Что знают об Англии те, кто одну только Англию знает?” – многие наверняка помнят этот риторический вопрос из стихотворения Киплинга “Английский флаг” (*The English Flag*). Для имперских вояк вроде Уолтера Уокера, который едва ли знал саму Англию, вопрос стоял иначе. Уокер знал джунгли. А вот страна, в которую он вернулся в 1965 году, когда его назначили заместителем начальника штаба Объединенных сил по Центральной Европе (*Allied Forces Central Europe*), была для него *terra incognita*. Затем его посылали в Париж, в нидерландский Брюнсум и, наконец, в норвежский Колсас, но это была бюрократическая работа, приносившая одно разочарование. Сделавшись главнокомандующим Объединенными силами по Северной Европе (*Allied Forces Northern Europe*) в 1969 году и оставаясь им вплоть до отставки в 1972-м, Уокер видел свою роль в том, чтобы предупреждать о надвигающейся угрозе советской “конфронтации” в Скандинавии. Позже он даже выпустил две книги на эту тему – с недвусмысленными названиями “Медведь у запасного хода” (*The Bear at the Back Door*) и “Следующая костяшка домино” (*The Next Domino*). Это отнюдь не расположило к нему лондонских политиков, которые уже успели обнаружить преимущества политики разрядки с СССР, которая среди прочего предоставляла им предлог для сокращения расходов на оборону.

Генерала из романа С. С. Форестера ждала в отставке жалкая жизнь – он сидел в кресле-каталке и играл в бридж. Но Уолтер Уокер был не из тех старых солдат, кто сдается и тихо угасает. В июле 1974 года он написал письмо в газету *Daily Telegraph* с мрачным предупреждением о том, что “коммунистический троянский конь уже среди нас, а в его брюхе уже копошатся вредоносные личинки”, и призывал создать “динамичное, энергичное, вдохновляющее руководство... стоящее выше партийной политики” для спасения страны. По его мнению, Ирландская республиканская партия – которая вела в ту пору активную разрушительную деятельность, закладывая бомбы в автомобили и убивая людей на главном острове Британии, – являлась подставной организацией коммунистов. “Северный остров следует объявить районом боевой операции или даже военной

зоной, – заявлял Уокер, – где потенциальных убийц, отловленных за ношение или применение оружия, будут судить по упрощенной процедуре и казнить”. На вопрос газеты *Evening News*, следует ли армии взять страну в свои руки, Уокер ответил: “Возможно, страна предпочла бы анархии верховенство военной силы”. Ссылаясь на поддержку адмирала флота сэра Вэрила Бегга и маршала Королевских ВВС сэра Джона Слессора, Уокер основал организацию “для борьбы с хаосом”, которая вначале называлась *Unison* (“Унисон”), и затем *Civil Assistance* (“Гражданская помощь”), и объявляла своей целью формирование отрядов “надежных, верных, уравновешенных людей” для осуществления жизненно важных задач в случае всеобщей забастовки. Заподозрив премьер-министра Гарольда Вильсона в том, что он сам – коммунист (ведь четвертого и пятого из кембриджских шпионов в ту пору еще не выявили), Уокер стал одним из множества консерваторов, которых привлекли взгляды Эноха Пауэлла, выступавшего одновременно против иммиграции и против европейской интеграции. Уокер без колебаний принял сторону родезийского лидера Яна Смита, шесть раз посетил Южную Африку, в которой утвердился режим апартеида, и осудил гомосексуалистов за то, что они “превратили главную сточную канаву человеческого тела в площадку для игр”. (В книге “Кто есть кто” (*Who is Who?*) он назвал собственный досуг “нормальным”^[259].)

Все это слишком легко было высмеять. Дом Уокера в Сомерсете окрестили “Ламрук-ле-Дёз-Эглиз” (по аналогии с резиденцией бывшего французского президента Шарля де Голля в сельской глуши Коломбе-ле-Дёз-Эглиз). К тому же одним из открытых сторонников Уокера был актер-комик Майкл Бентайн, раньше принимавший участие в радиопередаче *The Goon Show*: теперь он вел детскую передачу под названием *Potty Time* (“Пора на горшок”) на канале *Thames Television*. А в телесериале “Падение и взлет Реджинальда Перрина” (1976–1979) брат Реджи Джимми (отставной майор Джеймс Андерсон) стал жестокой и смешной пародией на людей вроде Уокера:

Реджи: А с кем ты собираешься бороться, когда этот твой шар взлетит?

Джимми: С силами анархии. С нарушителями закона и порядка. С коммунистами, маоистами, троцкистами, неотроцкистами, криптотроцкистами, профсоюзными вожаками, профсоюзными вожаками-коммунистами, атеистами, агностиками, волосатыми

извращенцами, стриженными извращенцами, вандалами, хулиганами, футбольными фанатами, жеманными офицерами-стажерами, насильниками, папистами, насильниками-папистами, иностранными хирургами – мозгодавами, которых надо всех пересажать. С Веджвудом Бенном^[960], горьким пивом в бочонках, панк-роком, с токсикоманами, сквоттерами, с “Пьесой дня”^[961], с Клайвом Дженкинсом^[962], Роем Дженкинсом^[963], с “Дженкинс, руку вверх!”^[964], вообще все-руки-вверх, с китайскими ресторанами... Как ты думаешь, почему Виндзорский замок взяли в кольцо китайские рестораны?

Реджи: Это все?

Джимми: Да.

Реджи: Ясно. А ты понимаешь, кто повалит на твою сторону, Джимми? Головорезы, гопники, психопаты, уволенные полицейские, охранники, уволенные охранники, расисты, мочилы всех мастей – “мочи-паки[станцев]”, “мочи-геев”, “мочи-китаёзов”, “мочи-гопников”, “мочи-мочителей”, “мочи-всех-подряд”, – контр-адмиралов, вице-адмиралов, вени-види-вици-адмиралов, фашистов, неофашистов, криптофашистов, лоялистов, неолоялистов, криптолоялистов.

Джимми: Ты думаешь? Да, с такими союзниками могут возникнуть сложности.

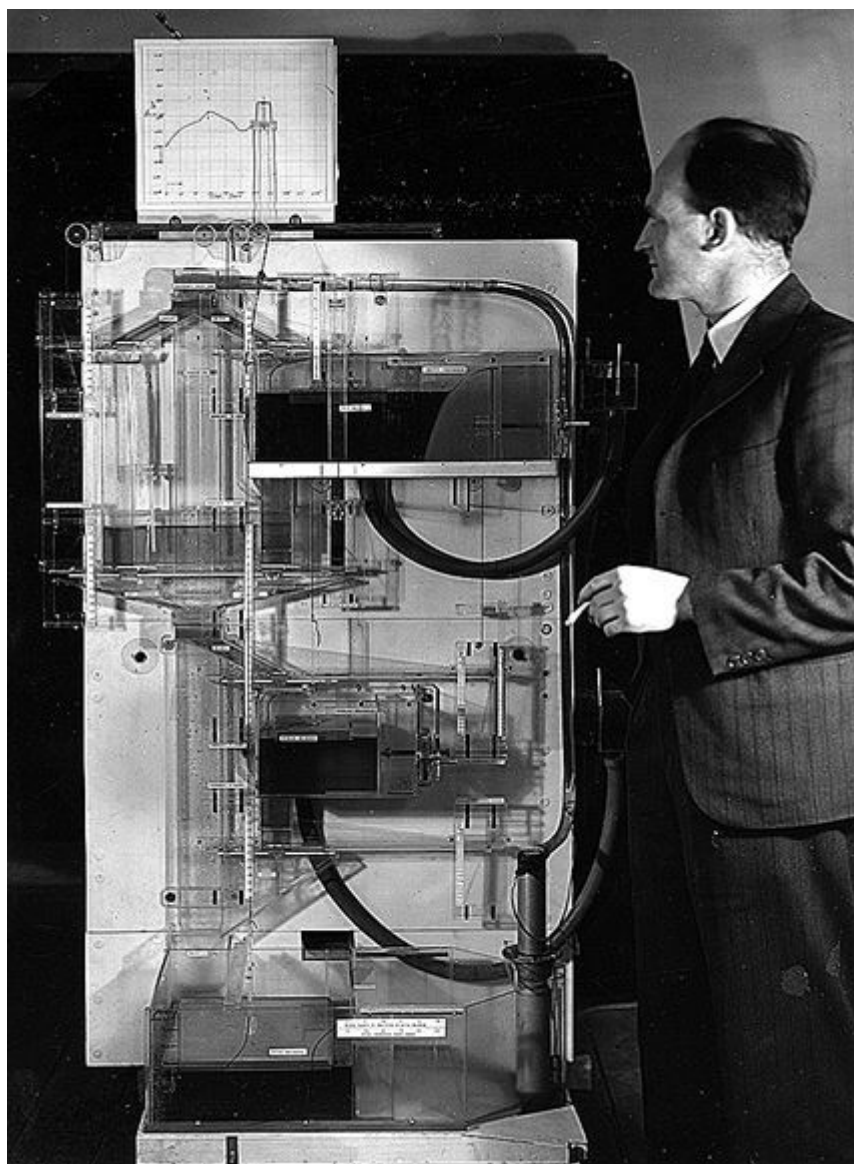
Так непревзойденный знаток войны в джунглях сделался мишенью для насмешек в дешевых комедийных сериалах. Самого Уокера ожидала более трагическая участь: после двух халатно проведенных операций на бедре он остался калекой.

И все же, при всей своей нелепости, люди вроде Уолтера Уокера были правы в том, что *что-то* подгнило в английском государстве, пускай даже заговор коммунистов происходил только в их воспаленном воображении, и уж тем более речь не шла о социальном и сексуальном раскрепощении, которое вызывало у них такое возмущение. В середине 1970-х годов в Британии действительно царила неразбериха. Темпы инфляции были чуть ли не самыми высокими в развитом мире. Забастовочное движение среди рабочих бурлило не переставая. Тот же легковесный цинизм, который придавал столько обаяния телевизионным комедиям, одновременно ощутимо портил повседневную жизнь в Соединенном Королевстве. И дело было не в “силах анархии”. Дело было в том, что рушилось централизованное Британское государство, выстроенное в эпоху мировых войн.

Для большей части гражданской элиты Британии – и не только для государственных служащих в Уайтхолле, но и для профессоров Оксфорда и Кембриджа и для титулованных представителей сильных мира сего – урок, преподанный победами 1918 и 1945 годов, казался ясным: централизованное планирование приносит пользу. В послевоенный период, похоже, каждый чиновник действовал по плану, который составлялся и корректировался в политическом центре, а на местах просто исполнялся^[965]. От обеспечения жильем до здравоохранения, от выдачи молока для школьного питания до шотландского гидроэлектричества – все требовало планирования. Самонадеянность технократов в ту пору хорошо иллюстрирует Кредитно-денежный аналоговый компьютер для расчетов национального дохода (*Monetary National Income Analogue Computer*, MONIAC) – гидравлическое устройство, изобретенное уроженцем Новой Зеландии Биллом Филлипсом и предназначенное для воспроизведения действия кейнсианской экономической теории на примере британской экономики. Лишь в 1970-х годах люди начали понимать, что в мирное время даже идеально составленные планы способны погрязнуть в трясине стагфляции и коррупции. Самое современное планирование в свою лучшую пору приносило огромный вред в самых разных областях – от коллективизации крестьянских хозяйств в СССР до строительства Бразилиа и до внедрения обязательного общинного строя *уджамаа* в Танзании. Однако сам принцип планирования всегда переживал подобные катастрофы – хотя бы потому, что их последствия оказывались настолько масштабными, что устраняли любые проявления недовольства. Отказаться от плановой системы хозяйствования стало возможно лишь тогда, когда она пришла в упадок^[966].

Сложность для планировщиков заключалась в том, что иерархическая система, прекрасно подходившая к условиям тотальной войны – то есть прежде всего к монополии, так как единственным покупателем является государство, и к единым стандартам, так как разрушение гораздо проще созидания, – эта система совершенно не годится для нужд потребительского общества. Людям, сражавшимся в двух мировых войнах, обещали не только победу, но и благополучие. На деле же эти обещания можно было сдерживать, только если у миллионов домохозяйств появлялась свобода выбора между миллиардами возможностей, а их запросы удовлетворяли сотни тысяч предприятий. Результатом

становилась возрастающая сложность, при которой “побочные взаимодействия приобретали все больше значения, а границы между подсистемами внутри [любой] организации... делались более текучими”^[967]. Как отмечал физик Янир Бар-Ям, “группа лиц, чье поведение контролирует какое-то одно лицо, не может вести себя более сложным образом, чем лицо, осуществляющее контроль”. Пятилетний план еще мог иметь какой-то смысл в сталинском СССР, где отдельный человек был, по сути, всего лишь винтиком в системе коллективного сельского хозяйства, тяжелой промышленности, тотальной войны и лагерного рабства. Но в Британии времен Гарольда Вильсона плановая система была обречена на провал. Как правило, как только “сложность запросов к коллективным человеческим системам... превосходит возможности отдельного человека... иерархия уже не может навязывать отдельным людям обязательные функции / требования. Вместо них необходимы взаимодействия и механизмы, свойственные сетям в сложных системах вроде мозга”^[968].



Илл. 29. Уильям Филлипс с Кредитно-денежным аналоговым компьютером для расчетов национального дохода (*Monetary National Income Analogue Computer, MONIAC*) – гидравлической моделью экономики Великобритании, созданной им в Англии в 1949 году.

В 1970-х годах переход к миру, все больше напоминавшему сеть, проявлялся множеством способов и во множестве областей. Определяющие стимулы носили не столько технический, сколько организационный характер. Фридрих Хайек одним из первых заново открыл давний вывод Адама Смита о том, что стихийный характер рынка окажется заведомо лучше “любого порядка, какого можно добиться сознательной организацией”. Хайек замечал: “Таким образом, идея, будто мы должны сознательно планировать

современное общество, раз оно стало таким сложным, – это нелепость и результат полного непонимания... Важнее другое: мы можем сохранить порядок при такой сложности... лишь косвенным путем, внедряя и совершенствуя правила, способствующие формированию стихийного порядка”^[969]. Другим предстояло убедиться в этом, самостоятельно набивая шишки. В компании *Ford Motor* высшие руководители стали замечать, что объем информации, который им нужно переварить, растет как снежный ком, а между тем сборочные конвейеры работают так отлаженно, что малейшие изменения в дизайне автомобиля требуют длительной остановки всего производства. Дела пошли “слишком уж хорошо”^[970]. Вертикально интегрированные конгломераты оказались под таким давлением, что рухнули в процессе “второй рыночной революции” (как определили ее историки экономики)^[971], потому что не выдержали конкуренции с более проворными соперниками, которые привлекали сторонних подрядчиков для своей системы снабжения^[972]. Отход от иерархий ускорился, когда западная политическая элита осознала, что дальнейшему успеху будет способствовать рост международной торговли. Мечты середины века об автаркии ушли в прошлое, наступила пора радостной самоуверенности, когда снова можно было выезжать на сравнительных преимуществах. Термин “глобализация” – определяемый как “выход на мировой уровень в производстве или применении” – впервые появился в словаре *Merriam – Webster* в 1951 году^[973]. В 1983 году Теодор Левитт опубликовал свою плодотворную работу “Глобализация рынков” в журнале *Harvard Business Review*^[974].

Однако нельзя сказать, что государственное планирование полностью уступило место глобальному рынку. Как указывал Уолтер Пауэлл в разъясняющей статье 1990 года, рост деловых сетей и на национальном, и на международном уровне представлял собой не просто торжество рынков над иерархически устроенными корпорациями. “На рынках, – писал он, – применяется стандартная стратегия: торговаться как можно жестче с прицелом на немедленный обмен. В сетях же предпочтительнее другой подход: создавать долговые обязательства в расчете на длительные отношения”^[975]:

При сетевых способах распределения ресурсов взаимодействие осуществляется не при помощи отдельных сделок и не по указке

сверху, а благодаря сетям из отдельных лиц, занятых взаимовыгодной и взаимно поддерживающей деятельностью на льготных друг для друга условиях. Сети бывают сложными: к ним не применимы ни откровенно рыночные критерии, ни характерный для иерархии принцип патернализма. Главное, что нужно знать о сетевых отношениях, – это то, что одна сторона зависит от ресурсов, которые контролирует другая, и что им выгодно объединять ресурсы. По сути, участники сети добровольно отказываются от права преследовать собственную выгоду за счет остальных^[976].

Такой порядок имеет очевидные преимущества и, безусловно, представляет собой более гибкую форму соглашения, чем иерархия. Но еще он подразумевает и некоторый сговор участников сети против новичков^[977]. Понимание этих тонкостей имело важные последствия, так как привело к попыткам приспособить государственный сектор к новой обстановке 1970-х годов. Было уже ясно, что централизованная иерархия, которую олицетворял всеведущий, но некомпетентный “человек из Уайтхолла”, больше никуда не годится. Менее понятно было другое: как ввести рыночные силы в мир естественных или навязанных монополий, созданных в безмятежную пору национализации? В Чили при Аугусто Пиночете и в Британии при Маргарет Тэтчер в оборот вошел специальный термин – “приватизация”. Однако на практике на смену иерархиям приходили сети не столько по-настоящему конкурентоспособных, сколько опиравшихся на хорошие связи рынков^[978]. Вероятно, всегда кто-то обольщался несбыточной надеждой, что рыночные силы как-нибудь повлияют на таких несговорчивых гигантов, как государственная система здравоохранения или Британские железные дороги. В реальности же грандиозные системы планирования уступили место сетям, в которых взаимное доверие подкреплялось обменом подарками^[979]. В целом результаты эта замена дала неплохие – в том смысле, что различные приватизированные коммунальные службы начали работать эффективнее, однако отвечавшие за них “комитеты” и “магические круги” не могли даже надеяться на то, что народ когда-нибудь начнет воспринимать их как законные ведомства.

Глава 45

Генри Киссинджер и его властная сеть

Ничто так хорошо не иллюстрирует эффективность и одновременно незаконность внезапно возникающего сетевого порядка, как карьера Генри Киссинджера. Беженец из нацистской Германии, нашедший во время службы в армии США свое призвание в изучении истории, философии и геополитики, Киссинджер был одним из многих гарвардских профессоров, которых в годы холодной войны привлекли к работе в правительстве. Когда в декабре 1968 года Ричард Никсон назначил его советником по национальной безопасности, многих это удивило (в том числе и самого Киссинджера), потому что в течение предыдущих лет десяти Киссинджер был крепко связан с Нельсоном Рокфеллером – аристократическим соперником Никсона внутри республиканской партии. Бывший президент Эйзенхауэр, прикованный болезнью к постели, высказался об этом назначении скептически. “Но Киссинджер ведь профессор! – воскликнул он, услышав о выборе Никсона. – Профессоров обычно просят изучить какой-нибудь вопрос, но нельзя же давать им ответственные посты”^[980]. Он явно недооценивал способности того профессора, о котором шла речь.

Киссинджер пришел в Белый дом уже с ярко выраженной нетерпимостью – которую разделял с ним новый президент – к бюрократии. (Эта аллергия началась у него еще в армии, где он, не имея чина и звания, наслаждался ролью агента контрразведки, и возобновилась в Гарварде, где все время ему хотелось учреждать новые институты, а не находиться в подчинении у старших преподавателей и декана.) “Суть политики – в ее непредсказуемости; ее успех зависит от верности оценок, которые отчасти предположительны. Суть бюрократии – в поиске безопасности; ее успех – в исчислимости... Попытки осуществлять политику бюрократическим путем приводят к поиску исчислимости, что обычно делает ее заложницей событий”^[981]. Все 1950-е и 1960-е годы Киссинджер сетовал на то, что каждого президента бюрократы очень часто “ставят перед свершившимися фактами, так что он может или утвердить, или немного изменить положение вещей, но, по существу, лишается возможности серьезно обдумать альтернативы”^[982]. В своей статье 1966 года “Внутренняя

структура и внешняя политика” (*Domestic Structure and Foreign Policy*) Киссинджер отмечал, что правительственная бюрократия “намеренно старается занизить значимость важных элементов проблемы до уровня средних показателей”. Это вызывает большие сложности, когда “ [бюрократия] не справляется с самым важным кругом вопросов, отмахиваясь от них как от рутины, или когда предписанный ею способ действия не приводит к решению проблемы”. В то же время просматривается и другая тенденция: межведомственные “бюрократические соревнования” становятся единственным средством формирования решений, или же различные бюрократические элементы заключают “друг с другом ряд пактов о ненападении и тем самым низводят человека, принимающего решения, до положения благожелательного конституционного монарха”. Большинство людей не понимают, писал Киссинджер, что президентские речи о внешней политике обычно нацелены на “урегулирование внутренних споров в Вашингтоне”^[983]. Весной 1968 года, всего за несколько месяцев до того, как Киссинджеру предложили должность советника по национальной безопасности, он сделал немисливо смелое заявление о том, что “никакой американской внешней политики не существует вообще”, а есть лишь “ряд шагов, которые привели к определенному результату”, при том, что он “мог вовсе не планироваться заранее”, хотя в нем “исследовательские и разведывательные организации, будь то иностранные или отечественные, пытаются усмотреть рациональность и последовательность... чего там нет в помине”. “Высший уровень, на каком люди еще способны мыслить” в правительственных ведомствах, утверждал Киссинджер, – это “средний эшелон бюрократии – уровень помощника министра и его ближайших советников... А уровнем выше всю энергию уже поглощает повседневная рабочая рутина”. В таких условиях “решения просто не вырабатываются, пока они не появляются в виде плода административной деятельности”^[984].

Лучшей иллюстрацией правоты Киссинджера стал унижительный провал стратегии США во Вьетнаме. После нескольких поездок в Южный Вьетнам он написал: “Не существует никакой... политики в отношении Вьетнама – есть лишь ряд программ отдельных ведомств, занимающихся Вьетнамом. Эти программы иногда согласованы, а иногда нет – если между исполнительными органами имеется конфликт”. Здесь выделялись

три проблемы. Во-первых, система работала только тогда, когда имелись два противодействующих ведомства, подходившие к вопросу с разных сторон; если же работу поручали одной маленькой, усердной, но лишенной всякой оппозиции группе, то все шло наперекосяк. Во-вторых, никто ничего не планировал, потому что на это не оставалось времени. (“Планирование подразумевает попытку угадать будущее и предусмотреть гипотетические ситуации. А все так заняты текущими ситуациями, что никому не хочется рассматривать еще и теоретические”). В-третьих, люди, определяющие политический курс, страдали “врожденной неуверенностью”, потому что им не доставало опыта, какой был у их советников; поэтому они искали спасения в “административном единодушии”. Все это обернулось катастрофическими последствиями, когда США попытались путем переговоров положить конец конфликту с грозно непримиримым Северным Вьетнамом. У Вашингтона всегда оставался соблазн не принимать вообще никакого решения, а просто выжидать после начала переговоров, что предложит другая сторона.

Поэтому на этапах предварительной дипломатии наша позиция выглядит очень жесткой и негибкой, но все быстро меняется, как только назначается переговорщик, потому что он действует уже как выразитель мнения другой стороны. Не его забота – беспокоиться об общей картине. Его заботит только успех переговоров, а для успеха переговоров необходимо со всей серьезностью учитывать все, что скажет другая сторона^[985].

“Прагматизм и бюрократия”, по словам Киссинджера, “сообща произвели на свет дипломатический стиль, для которого характерна суровость накануне официальных переговоров и чрезмерная зависимость от тактических соображений после начала переговоров”^[986].

Именно из-за этих претензий в адрес бюрократии Киссинджер и его гарвардские единомышленники отсоветовали новому избранному президенту назначать сильного главу администрации, уполномоченного ограничивать доступ к президенту. Успешному высшему руководителю, утверждали они, необходимо разумно сочетать “элементы иерархии и неорганизованного доступа”. Гораздо лучше назначить главного стратегического советника с самым широким кругом обязанностей^[987]. Имел ли Киссинджер в виду самого себя, когда давал эту рекомендацию? Вряд ли: в ту

пору, когда он это писал, он мог надеяться в лучшем случае на пост замминистра – если бы Никсон предложил Рокфеллеру возглавить министерство обороны. И тем не менее вышло так, что вскоре он сам стал играть роль главного стратегического советника де-факто, пускай даже официально сфера его компетенции ограничивалась внешней политикой.

Большинство авторов, изучавших дальнейшую карьеру Киссинджера в Вашингтоне, как правило, объясняли быстрый рост его влияния (к лучшему ли, к худшему ли) или тесной связью с Никсоном, или способностью к той самой внутриаппаратной борьбе, которую он сам как ученый как раз порицал. При этом мало кто обращал внимания на самую характерную особенность киссинджеровских методов работы. Если людей в окружении Киссинджера по-прежнему сковывали правила иерархической бюрократии, которая и наняла их на службу, то Киссинджер с самого начала тратил немало сил на создание сети, которая тянулась горизонтально во все стороны от вашингтонского политического бомонда к представителям прессы и даже развлекательной индустрии внутри США и, что, пожалуй, еще важнее, через разнообразные обходные каналы – к главным иностранным правительствам. В решении этой задачи Киссинджеру помогало присущее ему умение налаживать и интеллектуальные, и эмоциональные связи даже с самыми необщительными собеседниками. Этот навык он отточил задолго до того, как Никсон назначил его советником.

Как мы уже видели (в главе 40), характерной чертой советской системы, которая просуществовала еще много лет после смерти Сталина, было методичное уничтожение личных сетей и разобщение людей. Анне Ахматовой дорого обошлись всего две ее встречи с Исайей Берлином. Даже в конце 1960-х годов, когда советские граждане встречались с американцами (что происходило, конечно, нечасто), им приходилось все время быть начеку. Редким исключением стали Пагуошские конференции ученых. Сегодня Пагуошское движение, удостоенное в 1995 году Нобелевской премии мира, практически является синонимом разоружения и разрешения конфликтов при помощи так называемой дипломатии второго плана^[988]. Однако в пору холодной войны эти конференции имели несколько двусмысленный характер, потому что кандидатуры советских ученых, собиравшихся их посетить, заранее утверждались в ЦК КПСС, а иногда даже в Политбюро^[989]. Таким

образом, как подметил физик Виктор Вайскопф, “благодаря Пагуошу у нас [американских ученых] появилась практически прямая линия связи с советским правительством”^[990]. Согласно другому, менее позитивному суждению, эти конференции “служили звукоотражателями для антиамериканской и просоветской пропаганды”^[991].

В 1961 году, когда Киссинджер впервые побывал на Пагуошской конференции в Стоу, штат Вермонт, его ждали и пропаганда, и содержательный обмен мнениями. Поначалу советские делегаты гнули партийную линию, но потом Киссинджеру удалось своим фирменным колким юмором обезоружить нескольких из них. Уже перед самым отъездом в аэропорт к Киссинджеру подошли историк Владимир Хвостов и физик Игорь Тамм и задали ряд официозных вопросов о политике США в отношении Берлина. Будут ли приняты ооновские гарантии в отношении американских прав на Западный Берлин? Киссинджер ответил, что США не согласятся на такой статус, который можно будет оспаривать в Генеральной Ассамблее каждый год большинством голосов. Тамм спросил: “А как насчет гарантии на пять лет?”. Я сказал, что это слишком малый срок. Тогда он спросил: “Ну а десять лет?”. Я ответил, что если он будет продолжать в том же духе, то я предложу сто пятьдесят лет и, может быть, мы сойдемся где-нибудь посередине. Он рассмеялся и сказал, что мы друг друга поняли. *Homo soveticus* любил подобного рода словесные перепалки^[992]. В такие моменты Пагуош становился почти уникальной сетью, которая запросто проходила сквозь “железный занавес”.

Через пять лет на Пагуошской конференции в польском курортном городке Сопоте Киссинджера поразили яростные выпады советских делегатов в адрес Китая. “Китай – уже не коммунистическая, а фашистская страна, – заявил ему советский математик Станислав Емельянов во время морской экскурсии в Гданьскую бухту. – Хунвейбины очень напоминают гитлерюгенд. У США и СССР теперь общий интерес – помешать китайской экспансии”. Емельянов откровенно признался ему, что давно уже не видел советское правительство в таком замешательстве – со времен секретного доклада Хрущева, разоблачавшего Сталина^[993]. Именно благодаря Пагуошу Киссинджер получил приглашение съездить из Польши в Прагу, а там он познакомился с Антонином Шнейдареком, бывшим начальником чешской разведки, отвечавшим за операции в Германии, а теперь возглавлявшим чешский Институт

международной политики и экономики. Затем они снова встретились – уже в Вене, на ежегодном заседании Института стратегических исследований, находившегося в Лондоне. Чех прямо предупредил Киссинджера о том, что СССР в действительности не намерен помогать американцам выпутываться из вьетнамской истории. А еще он сказал, что кризис в Юго-Восточной Азии может в итоге оказаться “удобным предложением [для Москвы], чтобы ужесточить контроль над Восточной Европой”. (Хотя Киссинджер, возможно, не сознавал этого, но его откровенные разговоры с Шнейдареком сами по себе стали намеком на грядущую Пражскую весну – политическую оттепель, которая, как уже подозревали чехи, окажется неприемлемой для Кремля^[994].)

Самая содержательная из всех этих встреч состоялась в январе 1967 года, когда Киссинджер снова посетил Прагу. Шнейдарек опять предупредил его, что Москва “все более болезненно реагирует на растущую свободу передвижения в странах Восточной Европы и особенно на попытки Чехословакии уменьшить свою экономическую зависимость от Москвы”. Но затем он озадачил Киссинджера вопросом, который, как признался сам Киссинджер, “никогда не приходил [ему] в голову”: как, по его мнению, не готовится ли сделка между США и Китаем? Заметив удивление американца, Шнейдарек пояснил:

Советы крайне серьезно отнеслись к китайской критике в свой адрес [главной черте затеянной Мао “культурной революции”]. Они не могут примириться с тем, что социалистическому единству настал конец, и тем более с тем, что кто-то посмел узурпировать их роль главных толкователей ленинизма. Поэтому иногда нелегко угадать, до чего доведут их попытки повлиять на внутренние китайские события. Они поддержали партийный аппарат – против Мао...

А маоисты, в свой черед, теперь отчаянно пытаются “физически изгнать все советское из Китая. Похоже, они почувствуют себя в безопасности только после полного разрыва с СССР”. Правда, Культурная революция больше напоминала конфликт на идеологической почве: китайцы просто выступили более радикальными марксистами. Но:

...Каким бы идейным пламенем ни горел Мао, человеческий материал, которым он располагает, заставит его развернуться в сторону национализма, – если, конечно, исходить из того, что он все еще контролирует свое движение. Маоисты, хоть и несут полную

ахинею, могут проявить по отношению к США бóльшую гибкость, чем их противники. Конечно, им в любом случае придется отгородить Китай от остального мира, чтобы перестроить государственные органы, и, наверное, какой-нибудь пакт о ненападении с США вполне вписался бы в эти планы. Конечно, китайцы тоже ненавидят США, но... ни один коммунист не забудет про “пакт Гитлера – Сталина”.

С точки зрения чехов, пакт Джонсона – Мао представлял собой тревожный сценарий, потому что “если США договорятся с Китаем, это спровоцирует [советское] давление на Европу”. Опасаясь изоляции, СССР начнет закручивать гайки и разрушит, как туманно выразился Шнейдарек, “надежды на национальное развитие в Восточной Европе”. Киссинджер удивился; однако страх его собеседника-чеха перед “сделкой США – Мао” казался “искренним и глубоким”^[995]. Историки давно спорили о том, кому из американских аналитиков первому пришло в голову, что налаживание отношений с Китаем изменит геополитический пейзаж столь заметно, как это произошло в 1972 году. Однако первыми об этом подумали не американцы, а стратеги из советского блока, которые предугадали, что из советско-китайского раскола появится совершенно новый мир, – причем предугадали за четыре года до исторического визита Никсона в Китай.

С января 1969 года Киссинджер начал находить применение некоторым урокам, которые он усвоил, будучи ученым и публичным интеллектуалом: один урок гласил, что неофициальные сети порой предоставляют гораздо более эффективные дипломатические каналы, чем министерства иностранных дел и посольства. Готовясь писать второй том биографии Киссинджера, я попытался составить граф, изображающий сеть Киссинджера, опираясь на все опубликованные мемуары, имеющие отношение к тому периоду, когда он находился в правительстве. Схемы, приведенные ниже, показывают личные связи Ричарда Никсона и Генри Киссинджера, составленные на основе их собственных мемуаров; личные связи представителей администраций Никсона и Форда, составленные на основе воспоминаний всех входивших туда людей; и ориентированную сеть администраций Никсона и Форда, показывающую, насколько часто те или иные люди фигурируют в чужих мемуарах^[996]. На трех первых рисунках (илл. 30–32) сравнительная важность представлена и близостью к центральному “личному” узлу (который в третьем случае объединяет всех авторов

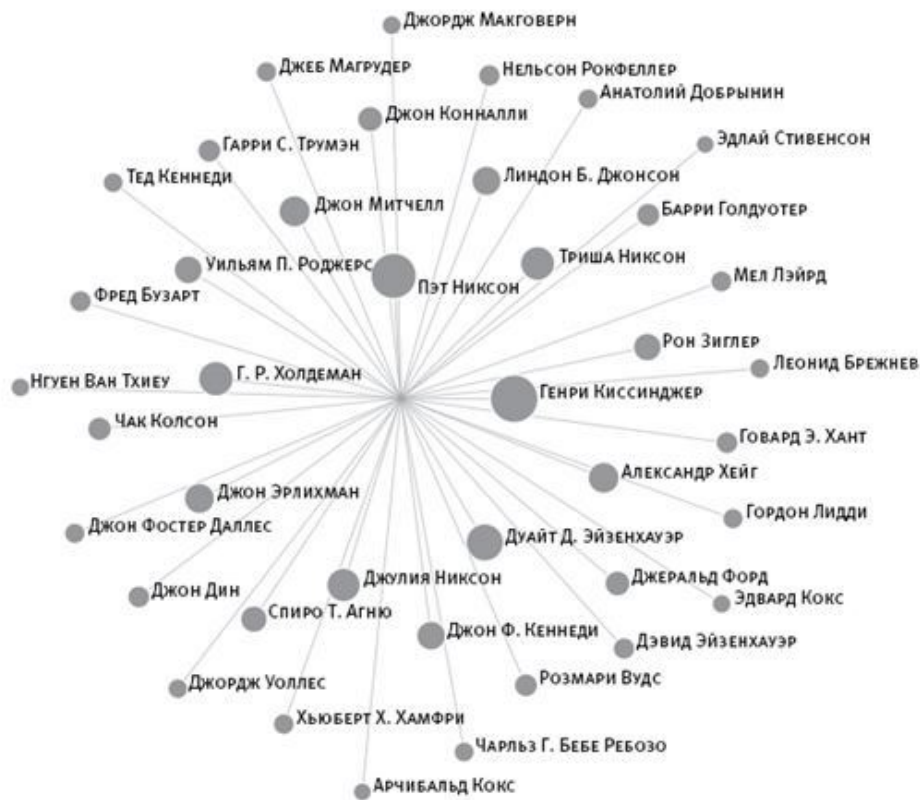
мемуаров), и величиной самого узла. На четвертом рисунке (илл. 33) мы видим, кто кого упоминал и как часто это происходило с точки зрения взаимной близости, ширины ребра и направления вектора.

Это упражнение стало отправной точкой для более основательного исследования. По существу, это попытка ретроспективной реконструкции: мы видим здесь прежде всего сравнительную важность разных людей в годы президентства Никсона и Форда – в соответствии с тем, как запомнились их взаимоотношения представителям обеих администраций и как им хотелось, чтобы те остались в истории (что не менее важно, особенно для периода раскола, вызванного Уотергейтским скандалом). Можно не сомневаться, что если выстроить подобные графики, опираясь на другие источники, то и картина получится совсем иная^[997]. Тем не менее эти графики иллюстрируют некоторые методологические преимущества, какие может предоставить историку анализ социальных сетей.

Во-первых, у нас под рукой появляется ценный инструмент, с которым можно сверять любые соблазнительные догадки относительно того, кто имел больший вес в эпоху Никсона – Форда. Киссинджер фигурирует везде и повсюду: он много значил для Никсона и его жены, он занимал второе по важности место в администрациях обоих президентов, обгоняя даже ставшего президентом Форда. С точки зрения центральности по посредничеству (см. илл. 33), второе место занимал глава администрации Никсона, Г. Р. Холдеман, а за ним следовали Форд и Джон Дин, советник Белого дома. По тому же критерию очень важные места принадлежали Джону Эрлихману (советнику президента по внутренней политике), секретарю казначейства Джону Конналли, будущему президенту Джорджу Г. У. Бушу и Александру Хейгу (помощнику, а затем заместителю Киссинджера и преемнику Холдемана после “Уотергейта”).

А еще удивительно, насколько важное место мемуаристы отводили умершим. После Никсона и Киссинджера третьим по частоте упоминания человеком, фигурировавшим во всех воспоминаниях, был Линдон Джонсон (умерший в январе 1973 года), а седьмым – Джон Ф. Кеннеди (см. илл. 32). Бывшие президенты Дуайт Эйзенхауэр (умерший в марте 1969 года), Франклин Д. Рузвельт и Гарри С. Трумэн (умерший в декабре 1972 года) занимали, соответственно, десятое, шестнадцатое и двадцать первое места по частоте упоминания. Черчиллю досталось

пятьдесят третье, а Сталину – пятьдесят четвертое место. Для историка, пожалуй, утешительно, что авторы автобиографий так часто вспоминают ту пору, когда они еще не работали в правительстве, – хотя бы для того, чтобы упомянуть наиболее важных деятелей времен их молодости.

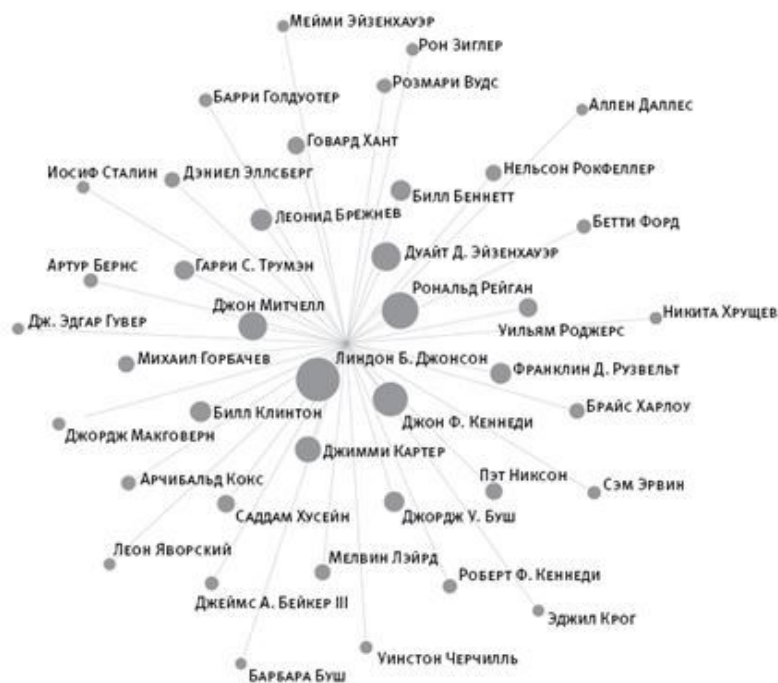


Илл. 30. Личная сеть Ричарда Никсона, составленная на основе его мемуаров.

В-третьих, мы видим разницу между “миром глазами Никсона” и “миром глазами Киссинджера”. Ближний круг Никсона (см. илл. 30) был характерен для человека, чей опыт – как президента – в значительной мере ограничивался стенами Белого дома. Не считая жены и дочерей, в своих мемуарах он чаще всего упоминает Киссинджера, Эйзенхауэра (при котором сам ранее состоял вице-президентом), Холдемана, Эрлихмана и Хейга. А вот Киссинджер, напротив, упоминает ключевых иностранных лидеров почти так же часто, как и президентов, в аппарате которых он служил, и чаще, чем своего предшественника на посту государственного секретаря, Уильяма Роджерса (см. илл. 31). Еще удивительнее то, кому именно из иностранных лидеров отведено наиболее важное место в

мемуарах Киссинджера: на первом месте – советские деятели (посол СССР в Вашингтоне Анатолий Добрынин, министр иностранных дел Андрей Громыко и генсек Леонид Брежнев), а за ними шли китайский премьер-министр Чжоу Эньлай и президент Египта Анвар Садат. У Никсона же среди сорока самых упоминаемых людей, помимо Брежнева и Добрынина, можно найти лишь еще одного иностранца – Нгуена Ван Тхьеу, президента Южного Вьетнама. У Киссинджера, напротив, из первых сорока лишь шестнадцать были американцами. Конечно, вполне разумно ожидать, что советник по национальной безопасности и госсекретарь будет проводить больше времени с иностранцами, чем президент, – таков характер его работы. И все же трудно поверить, что хоть один из людей, занимавший эти должности до Киссинджера, был столь же неутомимым путешественником и переговорщиком.

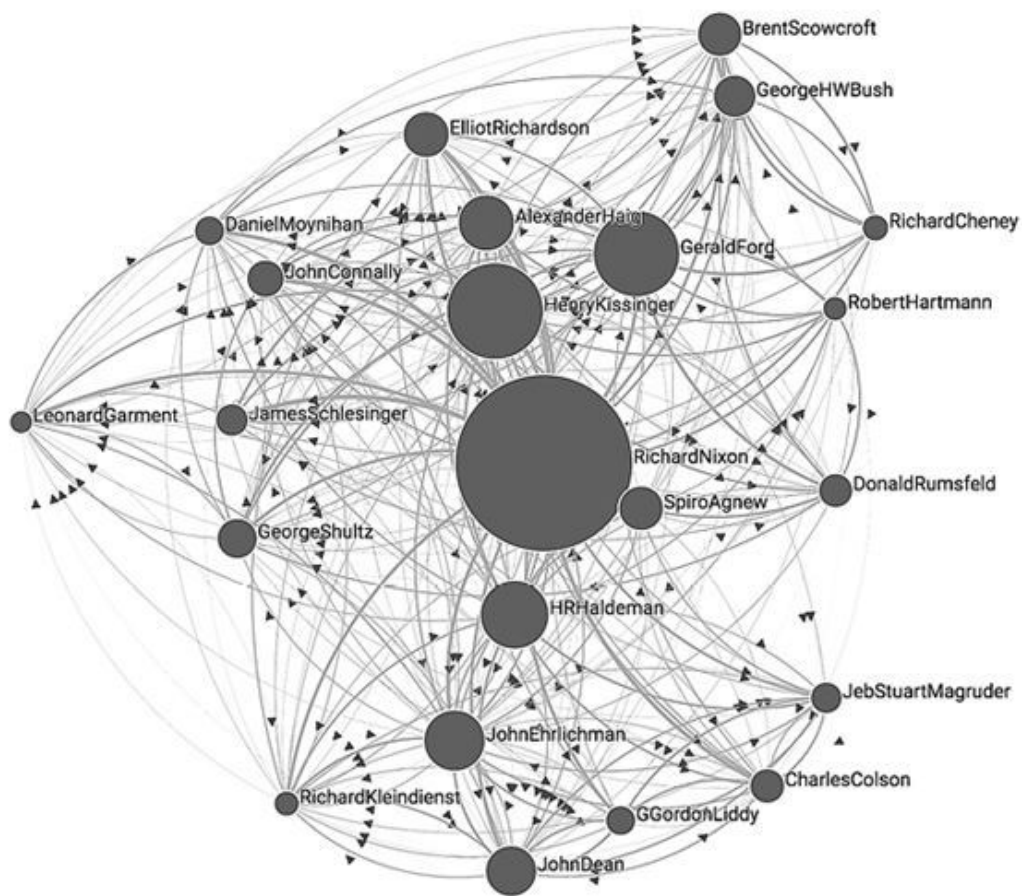
Илл. 31. Личная сеть Генри Киссинджера, составленная на основе его мемуаров.



Илл. 32. Личная сеть администраций Никсона и Форда, составленная на основе мемуаров всех ее участников.

Находясь в должности, Киссинджер появлялся на обложке журнала *Time* не менее пятнадцати раз. Согласно одному краткому биографическому очерку, помещенному в этом журнале в 1974 году, он был “незаменимой мировой фигурой... нужным человеком в нужном месте и в нужное время”, хотя критики и обвиняют его в том, что он “верен скорее начальству, чем идейным началам”^[998]. Имеет смысл предположить, что влияние и репутация Киссинджера – результат не только его собственного интеллекта и трудолюбия, но и наличия необычайно полезных связей. Сюда же относилась и челночная дипломатия. А еще Киссинджер умел вызывать на доверительные беседы журналистов, хотя он почти не упоминает их в мемуарах – несмотря на близкую дружбу с братьями Олсоп, Стюартом и Джозефом, и обозревателем Томом Брейденом. Как написали в журнале *Time*, Киссинджер “старательно соблюдал обряды, требующиеся от подчиненного, который слушает приказы главнокомандующего”, даже когда президентская власть начала стремительно ускользать из рук Никсона. “Официальные и корректные, а не личные” отношения с Никсоном сохраняли силу вплоть до момента его отставки. Как отмечало издание, Киссинджер обладал “точно настроенным чувством иерархии”^[999]. Но гораздо большее значение имели все остальные связи внутри сети – в том числе в сети однокашников, то есть бывших участников летних

семинаров Киссинджера в Гарварде, – охватывавшие весь мир. “Он всегда выискивает того парня, который сделает все, что нужно”, – сообщил журналисту *Time* неназванный помощник Киссинджера. “Перед ним открываются многие двери”, – сказал его “вашингтонский друг и поклонник”. Сеть являлась неременным условием его дипломатии “цепной реакции”, как выразился Игаль Алон, заместитель премьер-министра Израиля. Все это подтверждало заявления о том, что Киссинджер, “возможно, являлся самым влиятельным человеком в мире”^[1000].



Илл. 33. Ориентированная сеть администраций Никсона и Форда, отображающая направление и частоту контактов участников сети друг с другом, на основе их мемуаров.

Ослабление иерархий и усиление сетей, типичное для 1970-х годов, обернулось множеством преимуществ. По мнению Киссинджера, эта тенденция значительно снижала угрозу третьей мировой войны: ведь именно она и была основной причиной участвовавших диалогов с СССР (а также начавшегося общения

с КНР). Современники часто кратко характеризовали внешнеполитический курс Киссинджера как “разрядку”. Сам он предпочитал говорить о “взаимозависимости”. В декабре 1973 года в Лондоне он объявил, что на смену “порядку, утвердившемуся сразу после войны”, пришла “новая международная система”, основанная на “парадоксе – росте взаимной зависимости и одновременно пробуждающегося национального и регионального самосознания”^[1001]. “Энергетический кризис”, – высказывался он спустя три месяца, – это часть “родовых мук при рождении глобальной взаимозависимости”^[1002]. В апреле 1974 года он выступил с речью “Проблема взаимозависимости”, а в 1975 году, по его словам, взаимозависимость “попала в центр внимания нашей дипломатии”. “Если мы не признаем нашу взаимозависимость, – предупреждал Киссинджер в октябре 1974 года, – то западной цивилизации в ее сегодняшнем виде почти неминуемо грозит распад”^[1003]. Ученые в его альма-матер, вроде Ричарда Купера и Джозефа Ная, решили сделать ему приятное и написали книги на эту тему^[1004]. Взаимозависимость была официально освещена на первой встрече Трехсторонней комиссии^[1005] в поместье Рокфеллера в Покантико-Хиллз в 1972 году и на первой встрече “Группы шести” (Британии, Франции, Италии, Японии, США и ФРГ) в Рамбуйе в 1975 году. *New York Times* решила отметить двухсотлетие Декларации независимости передовицей под заглавием “День Взаимозависимости” (*Interdependence Day*)^[1006]. Это понятие с энтузиазмом подхватили президент Джимми Картер и его советник по национальной безопасности Збигнев Бжезинский.

Однако жизнь в таком взаимозависимом мире имела не только преимущества, но и издержки. Как писал Бжезинский в своей книге “Между двумя веками”, новый “глобальный город”, порожденный “технотронным веком”, представляет собой “нервную, тревожную, напряженную и рваную паутину взаимозависимых связей”^[1007]. И это было верно во многих отношениях. Во время первой половины холодной войны сверхдержавам еще удавалось контролировать потоки информации, фабрикуя или разворачивая пропаганду и засекречивая или подвергая цензуре все, что казалось вредным. Любой шпионский скандал, любая перебежка сопровождалась громким шумом, однако в большинстве случаев секретная информация просто переходила из одного жандармского государства в другое, не покидая ведомственных пределов. Но в 1970-х годах и эта ситуация изменилась. Подвергшиеся утечке

официальные документы начали доходить до широкой публики на Западе через свободную прессу. Началось это в 1971 году с так называемых документов Пентагона, которые Дэниел Эллсберг передал *New York Times*. Нечто подобное (только с меньшим размахом) происходило и в советском блоке благодаря литературе, печатавшейся в самиздате; особенно важную роль сыграл “Архипелаг ГУЛАГ” Александра Солженицына. А утечки в прессу, в свой черед, сильно раскачали общественный протест в университетских кампусах и отдельных кварталах крупных городов, и потому ранние 1970-е годы кажутся столь лихорадочными по сравнению с чинной и сонной четвертью века, последовавшей за 1945 годом. В США в 1960–1980-х в протестах того или иного рода участвовали в общей сложности около четырехсот различных групп: началось все с кампании за гражданские права чернокожего населения, а вскоре они перешли в кампании за права женщин, права коренных американцев, права геев и лесбиянок, а также в кампании против Вьетнамской войны, против ядерного оружия, против бедности и против загрязнения окружающей среды промышленными отходами^[1008]. Как и большинство представителей того поколения, которые пережили Вторую мировую войну, Никсон и Киссинджер на дух не переносили всех этих протестующих; Киссинджер даже сравнил однажды студентов-радикалов, которых он встретил в Гарварде в конце 1960-х годов, с германскими студентами, посещавшими съезды НДСАП в Нюрнберге в начале 1930-х годов^[1009]. Однако в предрассветные часы 9 мая 1970 года Никсон все же отважился выйти из Белого дома к группе протестующих студентов, разбивших палаточный лагерь рядом с Мемориалом Линкольна. Это был очень нетипичный поступок для человека, известного своей замкнутостью и мизантропией.

Мне жаль, что они не слышали [вчерашнюю пресс-конференцию], потому что я пытался объяснить... что мои цели во Вьетнаме совпадают с их целями: прекратить убийства, покончить с войной, установить мир. Цель наших действий – не войти в Камбоджу, а уйти из Вьетнама.

Реакция была отрицательной – они вообще никак не ответили. Я надеялся, что их ненависть к войне, которую я прекрасно понимал, не превратится в лютую ненависть ко всей нашей системе, к нашей стране и ко всему, за что она ратует.

Я сказал, что понимаю: большинство из вас считает меня сукиным сыном. Но мне хочется, чтобы вы знали: я понимаю ваши

Возможно, Никсон и понимал чувства протестующих. Но они — как вскоре стало ясно репортерам, которые поспешили на них наброситься, — нисколько не поняли или не пожелали понять чувства Никсона.

Задолго до того, как Никсон стал жертвой разоблачения собственных махинаций стараниями журналистов из *Washington Post*, а также из-за своего положения одиночки вне сети (поскольку у президента практически не было друзей в тех ведомствах, которые, возможно, могли бы его спасти), Киссинджер понял, что сети гораздо сильнее, чем иерархический аппарат федерального правительства. Конечно, он не собирался попусту тратить время на каких-то протестующих студентов. Однако в годы президентства Форда он стал ездить по стране и выступать с речами перед жителями Среднего Запада, пытаясь объяснить широкой публике свою стратегическую концепцию. Правда, его старания возымели лишь ограниченный успех. Пожалуй, самым примечательным из его действий стало отдаление от той единственной части Никсоновой сети, принадлежность к которой погубила бы его: к той части, которая тайно замышляла “Уотергейт”. Нужно было гениально разбираться в сетевых хитросплетениях, чтобы точно установить, каких узлов сети необходимо избегать. Власть Киссинджера, по-прежнему опиравшаяся на сеть, которая выходила не только за государственные, но и за профессиональные границы, держалась еще долгое время после того, как он ушел из правительства в 1977 году. Он основал консультационную фирму *Kissinger Associates*, что давало ему официальные поводы непрерывно куда-то летать, с кем-то встречаться, общаться и ужинать. А вот могущество исполнительной ветви власти после Никсона существенно ослабло из-за жесткого контроля со стороны Конгресса и изрядно осмелевших газет. Впредь ни один советник по национальной безопасности или государственный секретарь, сколь бы талантлив он ни был, никогда уже не достигал таких высот, каких довелось достичь Киссинджеру.

Глава 46

В долину

Почему же иерархические структуры в 1970-х годах постиг кризис? Можно было бы предположить, вслед за Бжезинским, что причина крылась в новых технологиях. Действительно, в семидесятые годы появился персональный компьютер и зародился интернет. И все же кризис иерархической власти предшествовал распространению электронных сетей в США. Так что причинно-следственная связь здесь была ровно противоположной: именно ослабление централизованного контроля сделало возможной американскую революцию в информационных технологиях.

Сейчас уже понятно, что для всех государств новые информационные, коммерческие и социальные сети эпохи интернета представляют серьезную проблему, однако масштаб этой проблемы вырисовывался лишь постепенно. Изначально сетевые технологии создавались для укрепления жандармского государства. В 1964 году исследователю из RAND^[1011] Полу Бэрану поручили разработать такую систему связи, которая выдержит советский ядерный удар. Бэран предложил три возможных проекта подобной системы. Ее можно было сделать или централизованной (с одной главной “ступицей” посередине и множеством расходящихся “спиц”), или “децентрализованной” (с множеством компонентов, свободно соединенных друг с другом при помощи нескольких слабых связей), или распределенной (похожей на мелкоячеистую сетку или решетку). Теоретически последний вариант был самым надежным, так как мог бы выдержать уничтожение множества узлов, и действительно, Бэран предпочел именно эту модель для разработанной им позже сети Управления перспективных исследовательских программ – *Arpanet (Advanced Research Projects Agency Network)*^[1012]. На практике же, как ни странно, такую систему можно было поддерживать лишь посредством централизованного планирования. Как указал в 1968 году Мелвин Конуэй (в основополагающей работе под названием “Как комитеты занимаются изобретениями?” (*How Do Committees Invent?*), в устройстве систем связи просматривается нечто вроде закономерности: “Организации, разрабатывающие системы (в используемом здесь широком смысле слова), неизбежно копируют системы связи внутри самих этих организаций”^[1013]. Точно так же,

как Киссинджер своими глазами убедился в дисфункции правительственного бюрократического аппарата, когда тот пытается решить важные стратегические задачи, Конуэй – системный аналитик с опытом работы по государственным оборонным контрактам – заметил следующее:

Структуры крупных систем обычно распадаются во время развития качественно больше, чем это происходит с малыми системами. Это наблюдение поразительно очевидно, если применить его к крупным военным информационным системам последних двух десятков лет... сложнейшим объектам, какие только придумал человеческий ум...

Почему же крупные системы распадаются? Похоже, что этот процесс происходит в три этапа:

Во-первых, изначальные планировщики осознают, что система будет крупной, а организация к тому же оказывает определенное давление, и тут возникает непреодолимое искушение привлечь слишком большое количество людей к работе над проектом.

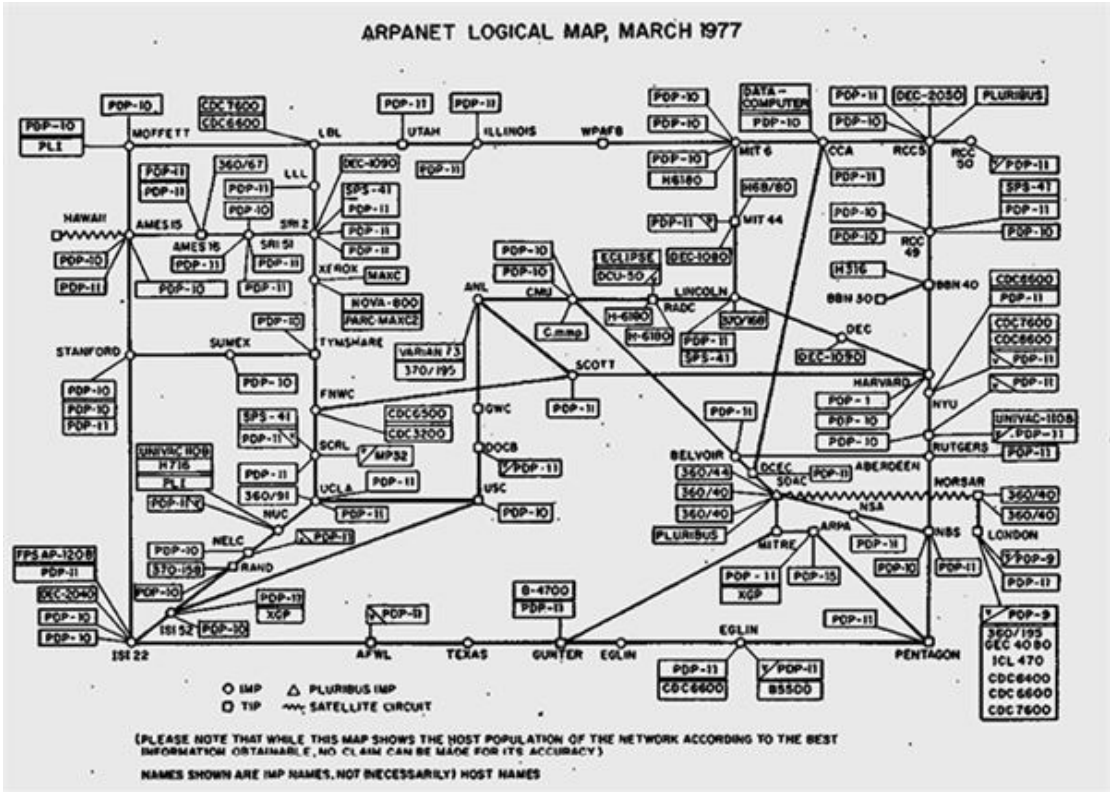
Во-вторых, применение общепринятых приемов управления к крупной проектировочной организации заставляет распадаться ее коммуникационную структуру.

В-третьих, из-за гомоморфизма структура системы будет неизбежно отражать тот распад, который уже произошел в проектировочной организации^[1014].

Таким образом, важно понимать: то, что стало впоследствии интернетом, не задумывалось в таком виде, а скорее возникло более или менее стихийным и естественным путем – стараниями ученых и специалистов по вычислительным машинам, работавших на частные компании, – а не под руководством военных планировщиков.

29 октября 1969 года впервые в истории один компьютер “заговорил” с другим: через сеть *Arpanet* было отослано неполное сообщение из Стэнфордского исследовательского института в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе^[1015]. Через два года количество узлов в сети, связывавшей два эти университета и несколько частных компаний, перевалило за сорок. Начали возникать и другие похожие сети (*Hepnet*, *Span*, *Telenet* и другие), так что в 1974 году уже встал насущный вопрос: как связать эти сети воедино, в общую “интерсеть”? 1970-е годы стали порой лихорадочных, но крайне децентрализованных инноваций, и процессу интеграции способствовало каждое новое изобретение:

операционная система *Unix*, которая впоследствии послужит источником вдохновения для *Linux* и *FreeBSD*, идея электронной почты с именем и адресом, разделенными значком @, первая программа для отправки электронных сообщений (MSG) с опциями “ответить” и “переслать”, первый модем. И разумеется, эти успехи совпали с явно неудержимым ростом мощности компьютерных процессоров, который подчинялся эмпирически выведенному “закону Мура”^[1016]. Однако еще важнее оказалось условие, выдвинутое Винтоном (Винтом) Серфом и Робертом Каном, – о том, что над сетью сетей не должно быть централизованного контроля и что ее не следует подстраивать ни под какие конкретные приложения или формы пакета данных^[1017]. Разрабатывая свой протокол программного обеспечения TCP/IP, они исходили из того, что все компьютерные сети должны иметь возможность сообщаться друг с другом, независимо от различий в их внутреннем устройстве. Их замысел стал реальностью 1 января 1983 года, когда к TCP/IP подключился *Arpanet*^[1018]. Через год появились первые серверы доменных имен (DNS), что позволило присваивать числовым адресам сетевого протокола (IP) более удобные и запоминающиеся имена. К 1987 году насчитывалось уже около тридцати тысяч ведущих узлов в сети, которую уже начали называть словом *Internet*.



Итак, интернет никем не планировался – он просто разрастался сам. Обширная, охватывающая весь мир инфраструктура, которой мы пользуемся сегодня, – с международными оптоволоконными линиями связи, с национальными основными провайдерами, предоставляющими доступ через телекоммуникационные системы вроде AT&T, с ее десятками тысяч интернет-провайдеров и миллиардами конечных пользователей, – поначалу была весьма скромной. Никакая центральная власть его не планировала – вот потому-то он и избежал тех ловушек и просчетов, о которых предупреждал “закон Конуэя”. Не требовалось и не требуется никаких разрешений, чтобы добавить новую ветку или удалить старую^[1019]. Нет никакого центрального хранилища, где бы записывались все данные, имеющиеся в интернете. Собственно, составить схему его общей структуры невозможно. Бринтон и Чиаан определяют три главные концепции, лежащие в основе интернета:

- 1) пакетная коммутация, при которой ресурсы используются совместно – вместо доступа с жестким закреплением каналов;
- 2) распределенная иерархия, при которой контроль распространяется по различным сегментам сети в географическом порядке;
- 3) модуляризация, при которой задачи расчленяются на различные функциональные уровни и решаются по отдельности^[1020].

Мы, пользователи, нисколько не удивляемся тому, сколько возможностей предоставляет нам интернет, как незаметно направляет он информационные пакеты, которые нам нужно переслать или получить, кратчайшими путями, используя при этом сигналы обратной связи, чтобы оценить состояние сети и избежать заторов^[1021]. Столь сложную систему просто не могла бы разработать одна-единственная организация.

Система “Всемирная паутина” (*World Wide Web*), появившаяся в 1980-х годах как основная форма интернет-трафика, развивалась примерно так же^[1022]. Началось все с того, что ученый Тим Бернерс-Ли, работавший в Европейской лаборатории по ядерным исследованиям (ЦЕРН), написал программу под названием *Enquire* для нужд физиков, изучавших элементарные частицы. В марте 1989 года Бернерс-Ли выступил с предложением создать всемирный вариант своей программы. Вначале он думал назвать ее “Сеть”

(*Mesh*), но потом ему в голову пришло другое название – Всемирная паутина. Именно Бернерс-Ли разработал ныне повсеместно используемые инструменты сетевого сообщения: язык гипертекстовой разметки (HTML), протокол передачи гипертекста (HTTP) и унифицированный указатель ресурсов (URL). Через несколько лет этот общедоступный компьютерный код сделал возможным быстрое распространение удобных для пользователя веб-браузеров – таких как *Mosaic* и *Netscape Navigator*. Подобно самому интернету, тесно связанная с ним Всемирная паутина стала продуктом естественного роста, а не централизованного контроля. Она представляет собой сеть, узлами которой служат созданные пользователями веб-страницы, а ребрами являются гиперссылки, позволяющие переходить с одной страницы на другую, как правило, в одном направлении (то есть на той странице, куда мы перешли, необязательно имеется гиперссылка, ведущая на ту страницу, откуда мы туда перешли)^[1023]. Подобно интернету, это дело рук множества людей: куки-файлы, плагины, сессии и сценарии – все эти элементы приходилось придумывать в разное время, чтобы справиться с возрастающей сложностью системы. Всемирная паутина непознаваемо обширна, и ни одна поисковая машина из тех, что помогают нам искать информацию в сети, не способна заархивировать все существующие веб-страницы. Мы лишь знаем, что ее конструкционный заполнитель – это гигантский и плотно взаимосвязанный компонент обоюдно доступных узлов^[1024].

Выступая в 1960 году с прощальным обращением к нации, президент Эйзенхауэр предупреждал о чрезмерной власти, какой располагает военно-промышленный комплекс. Он напрасно тревожился. Если бы ВПК действительно был всемогущ, он бы ни за что не допустил столь стремительного роста интернета и Всемирной паутины – или хотя бы помешал ему. Что поражало, пожалуй, больше всего в США в 1970-х годах – это уже то, что такие децентрализованные инновации стали возможны, несмотря на все экономические, социальные и политические сложности, с которыми обычно ассоциируется это десятилетие. Молодые люди, которых притягивала Кремниевая долина – как впервые в шутку называли долину Санта-Клара в 1971 году, – встали на антиавторитарные позиции всего их поколения. Когда в 1996 году конгресс принял “Закон о соблюдении приличий в средствах массовой коммуникации” (это была первая попытка отрегулировать механизм общения в интернете, установив штрафы за онлайн-

публикации, содержащие непристойную брань), то, вполне логично, ответ от лица Долины написал (в виде электронного сообщения) бывший автор текстов для рок-группы *Grateful Dead* Джон Перри Барлоу^[1025]. Его “Декларация независимости Киберпространства” была адресована “Правительствам индустриального мира – вам, усталым великанам из плоти и стали”:

Я родом из Киберпространства, нового обиталища Разума. От имени будущего я прошу вас, принадлежащих прошлому, оставить нас в покое. Мы вам не рады. У вас нет ни малейшей власти над нашими собраниями.

У нас нет избранного правительства, и мы не собираемся им обзаводиться, поэтому я обращаюсь к вам, имея на то лишь те полномочия, с какими всегда говорит сама свобода. Я объявляю, что всемирное публичное пространство, которое мы создаем, в силу своей природы независимо от тирании, которую вы тщитесь нам навязать. У вас нет никакого морального права управлять нами, и вы не располагаете никакими методами принуждения, которых нам по-настоящему стоило бы опасаться...

Киберпространство находится не на вашей территории. Не воображайте, будто вы можете строить его, как будто речь идет о государственном строительстве. Не можете. Это природное явление, и оно растет само – благодаря нашим коллективным действиям...

Киберпространство состоит из контактов, отношений и мысли как таковой, которые распространяются как стоячие волны в паутине наших сообщений... Мы создаем мир, куда могут входить все – без привилегий или предрассудков, диктуемых расовой принадлежностью, экономическим могуществом, военной силой или унаследованным общественным статусом.

Мы создаем мир, где каждый человек где угодно может высказывать свои взгляды, пускай даже самые странные, не боясь, что его заставят замолчать или подчиниться большинству.

Ваши юридические представления о собственности, свободе самовыражения, об идентичности, движении и контексте неприменимы к нам... [Ваши] все более враждебные и колониальные меры ставят нас в то же положение, в каком в прежние времена оказывались любители свободы и самоопределения, которым приходилось сопротивляться властям стародавних невежественных держав^[1026].

Несмотря на самые горячие мечтания студентов-радикалов 1970-х годов, революция в США так и не произошла. Как ясно

следовало из знаменитого письма Барлоу, интернет и стал этой революцией. Или так тогда казалось. Фонд электронных рубежей (*Electronic Frontier Foundation, EFF*), основанный Барлоу и другими киберлибертарианцами, одержал первую крупную победу в 1997 году, когда Верховный суд отменил “Закон о соблюдении приличий в средствах массовой коммуникации” как нарушение Первой поправки^[1027]. Правительство США почти не вмешивалось в работу Инженерного совета интернета (*Internet Engineering Task Force, IETF*), в котором его создатели видели единственное нужное интернету правительство. Дэвид В. Кларк, главный создатель интернет-протоколов, говорил: “Мы отвергаем королей, президентов и голосование. Мы привержены грубому консенсусу и выполнению кода”^[1028]. В ту яркую и радостную утреннюю пору мало кто из ученых или инженеров-программистов задавался вопросом: как быть, если интернет вдруг станет местом преступления?

Но было уже очевидно, что, как и в Эдемском саду, в утопическом Киберпространстве есть и свой змий, и свои грешники: злонамеренные участники игр, которые врывались в многопользовательские подземелья, чтобы виртуально надругаться над чужими аватарками, и подтянувшиеся вслед за ними настоящие преступники, охотно ухватившиеся за возможности для мошенничества практически сразу же, как только появились онлайн-платежи^[1029]. Недолго Киберпространство продержалось и без правительства. В январе 1998 года Джон Постел, первый директор Администрации адресного пространства интернет (*Internet Assigned Numbers Authority, IANA*), разослал электронные письма восьми из двенадцати операторов региональных серверов корневых имен в интернете и предписал им сменить сервер корневой зоны на IANA, уйдя из зоны *Network Solutions, Inc.* – изначального системного реестра DNS, созданного в сентябре 1991 года Агентством по оборонным информационным системам (*Defense Information Systems Agency, DISA*). А через несколько дней Национальная телекоммуникационная и информационная администрация (*National Telecommunications and Information Administration*) министерства торговли выпустила “Предложение об улучшении технического управления интернет-именами и адресами”^[1030]. Была создана новая международная некоммерческая организация – Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (*Internet Corporation For Assigned Names and*

Numbers, ICANN) с советом директоров, в котором представлены разные страны. Эта корпорация и стала руководить IANA, но по договору с министерством торговли – и под его надзором. Тому, что начиналось как *Arpanet*, оказалось не так-то легко покинуть юрисдикцию своего родителя – Дяди Сэма. Таким образом, “Декларация независимости” Барлоу превратилась в не востребовавшее письмо уже через два года после своего написания.

Глава 47

Падение Советской империи

Институт кибернетики находился на окраине Киева. Именно там с 1972 года Виктор Глушков пытался создать советский интернет. Полностью его проект назывался “Общегосударственная автоматизированная система сбора и обработки информации для учета, планирования и управления народным хозяйством СССР” (ОГАС). Здесь, в Украинской ССР, царила атмосфера, близкая по духу Кремниевой долине. Глушков и его коллеги придумали страну Кибертонию, которой будет править совет роботов, а высшим руководителем будет робот-саксофонист. Глушков хорошо понимал: чтобы его автоматизированную систему одобрили в Кремле, она должна вписываться в трехуровневую структуру советской плановой экономики. Неизбежно пришлось бы создать центральную компьютерную станцию в Москве, а она связывалась бы с двумястами узлами среднего уровня в крупных городах СССР, откуда, в свой черед, связь тянулась бы к двадцати тысячам компьютерных терминалов, распределенным между основными производственными объектами. Но, пускай контроль над доступом к сети находился бы у Москвы, Глушков все равно мечтал о том, чтобы каждый авторизованный пользователь имел возможность связаться с любым другим пользователем сети без прямого разрешения от “родительского” узла.

Мог бы оказаться такой советский интернет жизнеспособным? Сомнительно. Как бы то ни было, к этому эксперименту даже не приступили – и не потому, что члены Политбюро в Москве усмотрели потенциальную угрозу собственной власти в идее Глушкова, а просто потому, что тогдашний министр финансов Василий Гарбузов отверг его проект ввиду высоких затрат^[1031].

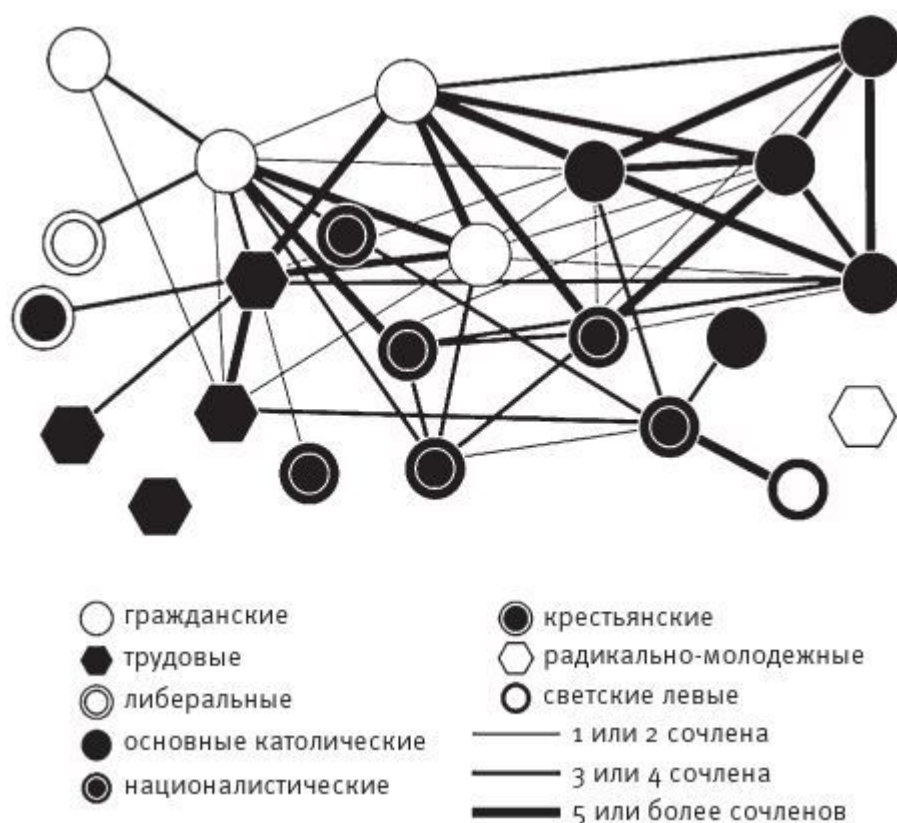
Зная все, что мы знаем сегодня об изъянах советской экономики 1970-х годов, создававшей при производстве убавочную стоимость вместо прибавочной, мы уже с трудом припоминаем, что в Вашингтоне общее мнение склонялось в тому, что коммунизм в итоге способен восторжествовать над капитализмом. Экономист Пол Самуэльсон в своем популярном учебнике (издание 1961 года) предсказывал, что советская экономика перегонит американскую в период между 1984 и 1997 годами. А в переиздании 1989 года он все еще утверждал: “Советское хозяйство служит доказательством того, что, несмотря на мнения многочисленных скептиков, социалистическая командная экономика способна функционировать и даже преуспевать”. А в более позднем отчете Агентство национальной безопасности признавалось, что “до переворота 1989 года ни в каких официальных оценках никогда ни слова не говорилось о том, что крах коммунизма является сколько-нибудь вероятным событием”^[1032]. Однако любому внимательному иностранцу, посещавшему Советский Союз, становилось ясно, что с плановой экономикой что-то не так. На устаревших фабриках процветали мелкое воровство, беспробудное пьянство и систематические прогулы. Трудно поверить, что компьютеры даже с огромными вычислительными мощностями могли бы спасти систему, успевшую прогнить до самого основания.

Большинство советских граждан, видя общее моральное разложение, не переходили к политической активности, а только предавались фатализму и еще усерднее упражнялись в черном юморе. Однако в тех странах Восточной Европы, которые попали под прямое или косвенное управление из СССР лишь по окончании Второй мировой войны, дело обстояло иначе. Осмелев от того, что советские лидеры решили (неискренне) поддержать Хельсинкские соглашения о правах человека, диссиденты начали робко организовываться в группы. Впервые после 1930-х годов люди, жившие при коммунистическом режиме, поняли, что можно объединяться в сети, при этом автоматически не рискуя собственными жизнями и жизнями близких. Быстрее всего независимые добровольные объединения росли в Польше. Необходимо было создать сеть сетей – нечто вроде политического интернета, – которая позволила бы светским университетским либералам сплотиться с католической церковью и рабочим классом против опостылевшего режима^[1033]. С 1969 по 1977 год сеть оппозиции выросла примерно на 40 %: к ней присоединилось шесть

новых групп, в том числе Свободные профсоюзы (*Wolne Związki Zawodowe, WZZ*). Одновременно возросла плотность сети: гражданские, либеральные, католические и радикальные группы стали более взаимосвязанными. К 1980 году, явно благодаря воодушевившему многих поляков визиту папы римского Иоанна Павла II, сеть снова существенно выросла, и теперь ее главным объединяющим центром стало профсоюзное движение “Солидарность”^[1034]. Конечно, введение чрезвычайного положения в декабре 1981 года разорвало сеть: многих людей, являвшихся ее важными узлами, арестовали, а другие бежали за границу. И все же генерал Войцех Ярузельский не был похож на Сталина. В феврале 1989 года, когда правительство пошло на переговоры с “Солидарностью”, сеть восстановилась и начала расти заново с головокружительной быстротой.

Как мы уже видели, революции – явления сетевые. С каждым днем 1989 года, обходившимся без разгонов, решимость восточноевропейских правящих режимов ослабевала, а количество граждан, желавших присоединиться к открытым протестам, увеличивалось. В мае в Будапеште венгерские коммунисты решили открыть границу с Австрией. Воспользовавшись новой возможностью, около пятнадцати тысяч жителей ГДР поехали через Чехословакию в Венгрию – как бы “на выходные”. На самом деле возвращаться с Запада на Восток они и не собирались. В июне “Солидарность” победила на польских выборах и приступила к формированию демократического правительства. В сентябре венгерские коммунисты последовали примеру поляков и согласились провести свободные выборы в своей стране. Еще через месяц, пока Эрих Хонеккер оттачивал свои планы празднования сорокалетия Германской Демократической Республики, в Лейпциге на улицы хлынули сотни, затем тысячи, потом десятки и сотни тысяч людей. Вначале они скандировали *Wir sind das Volk* (“Мы – народ”), а затем изменили напев на *Wir sind ein Volk* (“Мы – единый народ”). Здесь тоже локальные сети оппозиции – иногда группировавшиеся вокруг церквей – быстро объединились между собой, хотя левые и правые сторонники революции не отличались такой сплоченностью, как в Польше^[1035]. 9 ноября 1989 года ошарашенным репортерам в Восточном Берлине сообщили, что “[принятое] решение предоставить всем гражданам возможность покинуть страну через официальные пункты пересечения границы... должно вступить в силу незамедлительно”. Услышав эту

новость, толпы жителей Восточного Берлина сразу же хлынули к пограничным пунктам пропуска. Пограничники, которым еще не поступили четкие распоряжения, предпочли не оказывать сопротивление. К полуночи все КПП были вынуждены открыться. Костяшки домино начали падать – но на сей раз не в ту сторону, которой боялся Эйзенхауэр, – и продолжали падать еще почти два года. После неудавшегося августовского путча 1991 года в Москве начал разваливаться и сам СССР: от него остался огузок в виде Российской Федерации, от которой отпали три прибалтийские республики, Украина и Белоруссия, три закавказские и пять среднеазиатских республик. Примерно в тот же период распалась Югославия, причем многонациональную Боснию и Герцеговину чуть не растащили на мелкие кусочки. Лишь в Китае коммунистическое правительство твердо решило не отступать от сценариев 1956 и 1968 годов и в июне 1989 года бросило танки на подавление народных протестов в Пекине.



Илл. 35. Сети польской оппозиции. 1980–1981 годы. Успех свободного профсоюза “Солидарность” (черный шестиугольник в центре слева) отчасти объяснялся его связями со множеством других политических объединений.

Эта масштабная евразийская цепная реакция была плодом деятельности не только сетей политической оппозиции – ее подстегивали и телевизионные сети. На первом этапе Восточногерманской революции многих подталкивали к участию в протестах новостные передачи из ФРГ, которые большинство граждан ГДР могли видеть на собственных телеэкранах. Лишь в одной отсталой “Долине-ничего-не-подозревающих” (*Tal der Ahnungslosen*) – в юго-восточной области вокруг Дрездена и в северо-восточной части страны, под Грайсфельдом, – западные телеканалы не ловились [\[1036\]](#).

Однако не менее опасными для советской системы оказались и западные финансовые сети, которые в 1980-х годах из-за либерализации рынка капиталов и появления компьютерных технологий росли по экспоненте. И это отнюдь не совпадение, что восточноевропейские режимы (за исключением Румынии) начали корчиться в предсмертных муках всего через несколько лет после того, как влезли в крупные долги к западным банкам. Именно эти банки в числе первых начали систематически и в широких масштабах использовать новые информационные технологии, разрабатывавшиеся в Кремниевой долине. Это обстоятельство часто упускают из виду в работах, посвященных истории 1980-х годов. В них обычно непропорционально огромные заслуги в развале коммунистических режимов отводят небольшой группе героических лидеров – Горбачеву, Рейгану, Тэтчер и папе римскому. Вне всякого сомнения, эти личности сыграли большую роль, но у них появилось гораздо больше шансов достичь намеченных целей, когда они начали действовать заодно с быстро разраставшимися сетями международных финансов. Важнейшим узловым центром этой сети был не Вашингтон, не Лондон и уж тем более не Рим. Им являлся маленький горнолыжный курорт в швейцарском кантоне Граубюнден – Давос.

Глава 48

Триумф человека давосского

Рассылая “Декларацию независимости Киберпространства” сети онлайн-корреспондентов из своей адресной книги, сам Джон Перри Барлоу, что примечательно, находился в Давосе. Как участник Всемирного экономического форума (ВЭФ), Барлоу общался с множеством людей и электронным путем, и вживую. ВЭФ был

основан в 1971 году окончившим Гарвард немецким экономистом Клаусом Швабом, которому пришло в голову, что регулярные встречи руководителей международного бизнеса могли бы приблизить осуществление его мечты – “чтобы деловые корпорации стали заинтересованными участниками создания глобального общества, наряду с правительством и гражданским обществом”^[1037]. В результате возникло то, что называли “раем для любителей похвастаться знакомством со знаменитостями”, где собирались не только главы транснациональных корпораций и избранные политики, но и “директора центральных банков, руководители промышленных предприятий, титаны хедж-фондов, мрачные предсказатели, астрофизики, монахи, раввины, технические специалисты, музейные хранители, президенты университетов, финансовые блогеры [и] добродетельные наследники”. “Давос похож на конгресс, на фабрику, на мормонскую скинию, на Богемскую рощу^[1038], на “лучший в мире званый ужин”, на финансовую систему, на *Facebook*, на фестиваль *Burning Man*^[1039], на учебный лагерь для новобранцев, на среднюю школу, на Лос-Анджелес, на Куог^[1040]. Давос – луковица, слоеный пирог, матрешка”. Благодаря Швабу сегодня Давос с полным правом заслуживает того названия, которое некогда дал возвышающейся на нем горе Томас Манн: *der Zauberberg* – Волшебная гора. А сам Шваб благодаря Давосу может сегодня с полным правом (перешедшим к нему от Киссинджера) считаться “человеком с наибольшим количеством [и, наверное, качеством] связей на планете”^[1041].

Те, кто высмеивает Всемирный экономический форум, недооценивают силу сетей. Мало какие речи в истории этого форума имели более глубокое историческое значение, чем речь, произнесенная в январе 1992 года недавно освобожденным политическим узником с противоположного края света. “Наша взаимозависимость, – заявил он делегатам, сидя рядом со Швабом, слушавшим внимательно и одобрительно, – требует, чтобы все мы объединились и всем миром выступили за развитие, процветание и выживание человечества”. Еще оратор подчеркнул, что “нужна массовая переброска ресурсов с Севера на Юг”, – но не как “благотворительность или попытка облегчить жизнь «неимущих» за счет «имущих»”. Затем он перечислил четыре шага, которые, по его мнению, необходимо сделать его собственной стране:

Справиться с... проблемами долгов, постоянного снижения цен на товары, которые экспортируют бедные страны, и доступа к рынкам для произведенных ими товаров.

Обеспечить рост [нашей] экономики... потребуется быстрый и устойчивый рост с точки зрения привлечения капитала или долгосрочных капиталовложений; для инвестиций следует привлекать и внутренние, и иностранные источники.

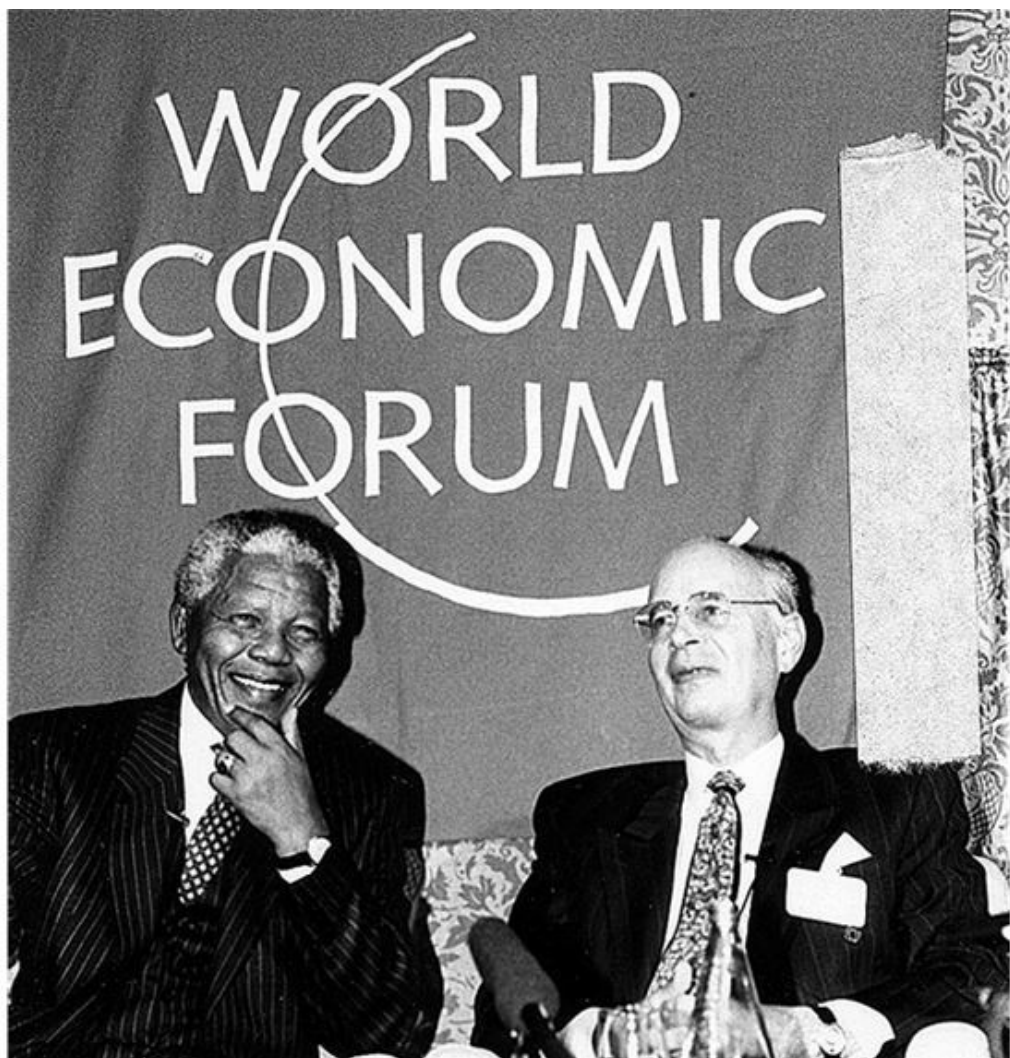
[Создать] публичный сектор, который не отличался бы от подобных секторов в таких странах, как Германия, Франция и Италия.

Предложить самые выгодные перспективы для инвесторов, присутствующих в этом зале, – и южноафриканских, и международных^[1042].

Этим оратором был Нельсон Мандела, и суть сказанного им была столь же ясна, сколь и поразительна: ради привлечения капиталов в страну, которую он собирался возглавить, ведущий деятель Африканского национального конгресса (АНК) был готов отказаться от одного из ключевых принципов подписанной в 1955 году Хартии свободы этой партии – от национализации главных отраслей промышленности Южной Африки^[1043].

Хотя Мандела и состоял в Южноафриканской компартии в 1962 году, когда его заточили в тюрьму, он не был обычным коммунистом. “Мы должны основательно изучить все революции, включая неудавшиеся”, – записал он однажды в дневнике, имея в виду сочинения израильского лидера Менахема Бегина и деятеля бурской партизанской войны Денейса Рейца, а также Че Гевары и Мао Цзэдуна. Революционная теория вооруженного крыла АНК “Умконто ве Сизве” (“Копья нации”), созданного в 1961 году, была ближе по духу к Фиделю Кастро, чем к Ленину^[1044]. Проведя много лет в тюремном заключении на острове Роббен, Мандела во многом пересмотрел свои философские взгляды, но продолжал держаться за идею национализации командных высот в экономике. В 1990 году, когда британский посол Робин Ренвик попытался отговорить его от национализации, Мандела ответил: “Это была ваша идея”, – намекая на 4-ю статью Устава Британской Лейбористской партии, где говорилось, что партия убеждена в необходимости “общественного владения средствами производства, распределения и обмена, что является лучшей из достижимых систем народного управления и контроля над всеми отраслями промышленности и сферами услуг”^[1045].

Почему же Мандела уже через два года отказался от последних остатков своих социалистических убеждений? Сам он признавал, что на его решение повлияла поездка в Давос. Позже он говорил об этом так: “Я вернулся домой и сказал: «Ребята, нам надо выбирать. Или мы сохраняем национализацию и не получаем никаких инвестиций – или меняем подход и получаем инвестиции»”^[1046]. Позднее, уже в 2000 году, он вспоминал, как “ездил по миру и выслушивал мнения ведущих бизнесменов и экономистов о том, как добиться роста экономики”, и в итоге “убедился в их правоте и в необходимости свободного рынка”^[1047]. Однако выдвигались и другие объяснения. В глазах тех деятелей АНК, которые стояли на более левых позициях, чем Мандела, – например, Ронни Касрилса, “отказ от национализации стал «Фаустовой сделкой» с белым миром и предательством южноафриканских бедняков”^[1048]. Журналист Энтони Монтейро заявил, что Мандела в действительности “еще до освобождения вступил в тайные переговоры с белым режимом” и уже тогда согласился отказаться от национализации^[1049]. Примерно ту же мысль можно сформулировать мягче, если сказать, что Мандела (как и Табо Мбеки, который позже сменил его на посту президента) прислушался к мнению южноафриканских крупных предпринимателей, в частности Гарри Оппенгеймера, с которым его познакомила Хелен Сазман, одна из немногих белых политиков, боровшихся с апартеидом^[1050]. Альтернативная гипотеза гласит, что переменить политический курс Манделу заставило давление Международного валютного фонда (МВФ): “В обмен на кредит в 850 миллионов долларов... Южная Африка соглашалась на режим жесткой экономии, либерализацию и приватизацию”^[1051]. По мнению Наоми Кляйн, АНК “принялись усиленно накачивать либеральными идеями”, и занимался этим не только МВФ, но и “иностранные школы бизнеса, инвестиционные банки, аналитические центры, занимавшиеся экономической политикой, и Всемирный банк”, не говоря о “юристах, экономистах и социологах, которые выдумывали и заполняли быстро расширяющуюся «переходную» отрасль”^[1052]. Согласно другим версиям, Манделу сбили с прежнего социалистического курса Маргарет Тэтчер и госсекретарь США Джеймс Бейкер. (Бейкер будто бы сказал Манделе о национализации: “Эта идея давно уже устарела”^[1053].)



Илл. 36. Нельсон Мандела и Клаус Шваб в Давосе в январе 1992 года, когда Мандела убрал из программы АНК пункт о национализации экономики.

Поездка Манделы в Давос произошла в решающий для истории Южной Африки момент. Манделу освободили в феврале 1990 года. Через полгода Южноафриканская коммунистическая партия была узаконена, и вооруженная борьба АНК на время прекратилась. Однако и в конце 1991 года Южная Африка могла только мечтать о демократически избранном правительстве. Переговорный процесс с участием разных партий, завершившийся в итоге созданием демократической конституции, начался только в 1993 году, а первые свободные выборы состоялись лишь в апреле 1994 года. Многие эксперты и тогда считали, что конец политики апартеида приведет скорее к гражданской войне, чем к свободным выборам. Однако не западные политики или плутократы убедили Манделу изменить позицию в отношении национализации. По словам будущего

министра труда Тито Мбовени (который сопровождал Манделу в поездке в Давос), на его мнение повлияли в действительности китайские и вьетнамские делегаты Всемирного экономического форума. “Мы в данный момент стремимся приватизировать государственные предприятия и привлекать частные предприятия к участию в экономике наших стран, – сообщили они Манделе. – Мы представляем коммунистические правительства, а вы – лидер национально-освободительного движения. Почему же вы говорите о национализации?”^[1054]. Звучит убедительно. С чего бы Мандела стал прислушиваться к советам министра промышленности Нидерландов – еще одного делегата Давосского форума, который советовал ему не увеличивать долю государственной собственности? Ведь он сам провел тридцать лет в плену у африканеров, говорящих на диалекте нидерландского языка^[1055]. Сеть, к которой он принадлежал все эти годы, была одной из самых успешных сетей XX века и объединяла коммунистов всех стран. А в Давосе произошло историческое событие потому, что эта более старая сеть оказалась включена в новый капиталистический интернационал, созданный Клаусом Швабом, и эта интеграция стала возможной, потому что китайское и вьетнамское правительство решили встать на путь рыночных экономических реформ.

Глава 49

Разорение Банка Англии

Есть один серьезный изъян в историях, рассказывающих о крушении коммунистических режимов, упадке социализма и росте глобализации в результате зловещего заговора капиталистических транснациональных корпораций и банков, предоставляющих многоцелевые кредиты, против освободительных движений “третьего мира”. Суть изъяна вот в чем: “доктрина шока”, которой придерживалась сеть глобальных финансов, была абсолютно последовательна в политическом отношении. Она с одинаковым упорством направляла свои расчетливые действия и против южноафриканских революционеров-социалистов, и против британского консервативного правительства – лишь бы дело сулило прибыль. Лучше всего это иллюстрируют события, развернувшиеся в Лондоне уже через восемь месяцев после того, как Нельсон Мандела отрекся в Давосе от идеи национализации. В тот год на Всемирном экономическом форуме не было управляющего хедж-фондом Джорджа Сороса – он стал регулярным участником форума лишь с 1995 года. Хотя в скором времени ему предстояло сделаться одним из богатейших людей в мире, так называемый спекулянт все еще пребывал в относительной неизвестности. Однако в сентябре 1992 года Сорос в одночасье прославился как человек, “разоривший Банк Англии”, а вместе с ним подорвавший и европейский Механизм регулирования валютных курсов (МВК)^[1056].

По мере того как глобальные финансовые рынки разрастались и объединялись на протяжении 1980–1990-х годов, угроза нависала не только над социализмом. Дерегулирование (прежде всего отмена валютных ограничений и контроля над движением капиталов) в сочетании с компьютеризацией (прежде всего с ускорением информационных и операционных потоков в разных странах) привели к тому, что любые политические затеи, упиравшиеся в иерархический контроль, сделались более уязвимыми.

Идея панъевропейского единства, как и идея всемирного братства рабочего класса, уходила корнями в XIX век. Однако после мрачных событий середины XX века она эволюционировала из утопической мечты в практическую программу экономической интеграции^[1057]. Вначале возникло сообщество для регулирования производства и цен на уголь и сталь в шести европейских странах –

ФРГ, Франции, Италии, Бельгии, Нидерландах и Люксембурге. Затем Римский договор 1957 года скрепил создание Европейского экономического сообщества (ЕЭС): заодно снижались таможенные тарифы и учреждался таможенный союз между странами, подписавшими договор. Торговля между ними быстро росла еще до образования ЕЭС и продолжила рост в дальнейшем. Росла и мировая торговля в целом. Однако в других плоскостях экономическое объединение шло медленно. В сельском хозяйстве развитию единого рынка сильно мешало сохранение государственных субсидий – до тех пор, пока им на смену не пришла Единая сельскохозяйственная политика стран-союзниц. В промышленном производстве правительства отдельных государств тоже продолжали сопротивляться панъевропейской конкуренции, субсидируя политически уязвимые сектора своей экономики или накладывая нетарифные ограничения. В сфере услуг к подобным мерам прибегали реже, но лишь потому, что товары чаще преодолевали государственные границы, а потребление услуг, как правило, происходило внутри одной страны. Исключением из этого правила стала сфера финансовых услуг, одна из которых – продажа относительно богатым инвесторам долгосрочных корпоративных облигаций и облигаций государственного сектора – в течение 1960-х годов выделилась и интегрировалась в совершенно новую отрасль^[1058].

Возникновение рынка так называемых еврооблигаций (евробондов) ознаменовало один из первых шагов в сторону финансовой глобализации^[1059]. А само рождение еврооблигаций стало крупным прорывом в истории европейской интеграции – хотя его едва не упустили те политики и технократы, которых принято изображать “святыми отцами-основателями” Европейского союза в годы его становления^[1060]. Оно стало стихийным результатом инноваций разных деятелей частного бизнеса – с некоторой помощью со стороны разрешительных финансовых органов Британии. Всего за несколько лет становление и рост этого рынка до неузнаваемости изменили европейский рынок капиталов, создав совершенно новые институциональные организационные связи и сети, которые пролегли поверх государственных границ, и темп в этом процессе задавали не политики, а банкиры. Можно не сомневаться, в какой-то степени ими двигали соображения выгоды. Однако создатели рынка еврооблигаций видели в нем не только средство получения прибыли, но и мощный механизм, способный

приблизить политическое объединение Европы. В частности, они отдавали себе отчет в том, что объединение европейского рынка ценных бумаг может подтолкнуть Британию к вступлению в ЕЭС. Французы опасались, что, если Британия вступит в ЕЭС, им в итоге придется искусственно поддерживать стерлинг, поскольку ожидалось, что в таком случае и без того слабый платежный баланс Соединенного Королевства лишь ухудшится. Именно поэтому президент Шарль де Голль дважды – в 1963 и 1967 годах – накладывал вето на вопрос о членстве Британии в ЕЭС. А зачинатели рынка еврооблигаций выдвигали контраргумент: французам уже не удастся до бесконечности отталкивать Британию, если Лондон заново зарекомендует себя как финансовый центр Европы, занявшись валютными операциями, уже никак не привязанными к фунту стерлингов^[1061].

Как только Британия успешно вступила в ЕЭС, банкиры вроде Зигмунда Варбурга – одного из главных творцов рынка еврооблигаций – принялись обсуждать возможность валютной интеграции, начиная с создания расчетной денежной единицы (он предложил название “евромонета”) на основе корзины разных национальных валют^[1062]. Послевоенная экономическая деятельность Британии периодически нарушалась кризисами фунта стерлинга. Те, кто высказывался за объединение Европы ради облегчения торговых и финансовых услуг, видели в необходимости часто пересматривать валютные курсы не просто неудобство. Постоянные колебания в курсах валют казались очередным препятствием на прямом пути к европейскому единству.

Сама идея европейского валютного союза родилась в сети, состоявшей преимущественно из нидерландских, французских и немецких экономистов^[1063]. Однако есть некоторый парадокс в том, что сеть интеллектуалов (куда входили и кабинетные экономисты, и бюрократы) сумела разработать в высшей степени иерархичный проект – создание единого центрального банка для разнородных национальных государств, входивших в ЕЭС. Важным объяснением этого парадокса является особая тесно спаянная структура французской правящей элиты: почти все ее члены учились в так называемых *grandes écoles* – “больших школах” – Политехнической школе и Национальной школе администрации, а затем работали в *grands corps* – “больших ведомствах” – Генеральной инспекции финансов, Государственном совете, Счетной палате, Гильдии недр. Те, кто предпочел работать в частном секторе, поддерживали с

остальными тесные контакты благодаря густой сети, какую образовывали дружбы, родственные браки, а также членство в клубах вроде *Le Siècle* и принадлежность к масонским ложам, зачастую возникшим еще до Французской революции. С 1970-х годов в *Le Siècle* состояли от трети до половины всех правительственных министров, независимо от партийной принадлежности, а самый пик (72 %) пришелся на годы премьерства Эдуара Балладюра (1993–1995). Система, получившая название пантуфляж (*pantouflage*^[1064]), позволяла госслужащим спокойно проходить туда-сюда через “вращающиеся двери” и занимать хорошие должности в банках и промышленных предприятиях. А сорок крупнейших фирм, в свой черед, объединялись в плотную систему взаимосвязанных правлений: большинство руководителей входили сразу в несколько советов директоров^[1065]. Этим выпускникам Национальной школы администрации, так называемым *énarques*^[1066], идея единой европейской валюты казалась неодолимо привлекательной – не в последнюю очередь потому, что в создании европейского центрального банка они видели способ законным образом сдержать растущее экономическое превосходство Германии. Именно это соображение было главной подоплекой Маастрихтского договора. А с точки зрения Германии, валютный союз являлся той ценой, которую приходилось платить за согласие Франции на объединение Германии, – доказательством того, что, как неоднократно повторял канцлер Германии Гельмут Коль, теперь лидеры Германии ставят на первое место Европу, а Германию – только на второе.

Разумеется, и в Британии имелась своя правящая элита. В 1960-х годах журналисты Генри Фэрли и Энтони Сэмпсон ввели в обиход презрительное название, которое дал ей историк А. Дж. П. Тейлор, – “истеблишмент”. И все же, несмотря на крепость старых школьных уз и оксбриджские шарфики, британский правящий класс был намного более разнородным, чем французский. Лучше всего это иллюстрирует состав правительств при Тэтчер в 1980-х годах: во-первых, сама премьер-министр была уроженкой провинциального Линкольншира (пусть и с оксфордской степенью), а во-вторых, в ее кабинете было немало министров еврейского происхождения, из-за чего даже появились анекдоты о “старых эстонцах”. Для Зигмунда Варбурга, чей торговый банк *S. G. Warburg* (наряду с более старым банком Н. М. Ротшильда) стал рассадником для блестящих “тэтчеритов”, было очевидно, что (как он сказал в 1972 году) “об

экономическом и валютном союзе не может и речи быть без политического союза. Кажется, Бисмарк всегда говорил о *das Primat der Politik über die Wirtschaft*^[1067], и сегодня это так же верно, как и в его эпоху”^[1068]. В 1980-х годах именно консерваторы смягчили правила для лондонского Сити и положили начало возрождению британского капитализма. Они ратовали за коммерческую интеграцию Европы и, собственно, сами выступили инициаторами принятого в 1986 году “Закона о единой Европе”, снявшего ограничения на торговлю. Однако в поддержке валютного союза они были далеки от единодушия. Даже переходный механизм регулирования валютных курсов шел вразрез с высказыванием Тэтчер о том, что правительства не должны “бодаться с рынком”^[1069]. Наряду с подобными экономическими возражениями имелось и политическое. Ни лейбористы, ни консерваторы не желали присоединяться к такой системе, которая требовала от них подчинить макроэкономическую политику Британии Центральному банку Германии. Хотя Вторая мировая война закончилась за 34 года до того, как Тэтчер обосновалась по адресу Даунинг-стрит, 10, память о “той войне” все еще жила. В июле 1990 года министру-консерватору Николасу Ридли пришлось уйти в отставку после того, как он высказал вслух то, о чем многие думали про себя: что планы валютного союза – это не что иное, как “жульничество Германии, которая решила подмять под себя всю Европу”. Журнал *Spectator* проиллюстрировал интервью, в котором прозвучала эта фраза, карикатурой, на которой Ридли пририсовывал к портрету Коля усы Гитлера.

Тем не менее к середине 1980-х годов уже и управляющий Банком Англии, и Конфедерация британской промышленности (*Confederation of British Industry*, CBI) призывали Британию вступить в МВК. Больше того, многие считали, что канцлер казначейства Найджел Лосон “ведет” немецкую марку, пытаясь приблизиться к намеченному уровню валютного курса. В июне 1989 года, когда Лосон и министр иностранных дел Джеффри Хау пригрозили уйти в отставку, если Британия не присоединится к МВК, Тэтчер наконец на словах согласилась, хотя потом и откладывала какие-либо действия до октября 1990 года. А в тот момент сторонники МВК так торопились, боясь, как бы Тэтчер не передумала, что толком не продумали центральный валютный курс, при котором Британия будет вступать в МВК. Некоторые евроскептики считали, что этот курс слишком завышен

(2,95 немецких марки за 1 фунт). Эта уступка Тэтчер уже не спасла ее. 28 ноября 1990 года, после переворота внутри партии консерваторов, возглавленного сторонниками Европейского союза, Тэтчер на посту премьер-министра сменил бывший канцлер казначейства Джон Мейджор.

Мейджор и его сторонники недооценили решимость своих европейских коллег, спешивших создать валютный – да и политический – союз. Теперь они предлагали переименовать саму организацию в “Европейский союз”, составив и подписав новый основополагающий договор. Британский канцлер казначейства Норман Ламонт вспоминал позднее с явным ужасом: “Пока обсуждались условия Маастрихтского договора, я впервые услышал, как европейские политики открыто и с энтузиазмом выступают за создание единого европейского государства”^[1070]. Мейджор тоже отнюдь не был в восторге от происходившего. “Я не хотел, чтобы была единая валюта, – писал он позднее. – Не нравились мне и политические последствия, какие мог повлечь валютный союз”^[1071]. Мейджор решил, что Британия подпишет Маастрихтский договор – иначе бы он испортил отношения не только с континентальной Европой, но и с проевропейской фракцией внутри своей же консервативной партии, – но чтобы умиротворить евроскептиков, ему нужно было настоять на отказе Британии от единой валюты и от предложенного участия в Европейской социальной хартии^[1072]. Политические ставки были очень высоки. В апреле 1992 года Мейджору предстояло баллотироваться на общих выборах. Другие переговорщики, готовившие Маастрихтский договор, понимали это, но все равно они пришли в замешательство, когда Мейджор и Ламонт представили (по словам последнего) “пространный, обстоятельный и точный документ в полном соответствии с юридической формой, где перечислялись все статьи будущего договора, которые не будут иметь отношения к Соединенному Королевству, причем для альтернативных толкований не было оставлено ни малейшей лазейки”^[1073]. Ламонт и Мейджор просто отказались идти на дальнейшие переговоры: либо другие страны принимают условия Британии, то есть отказ от некоторых пунктов, либо Британия не станет ничего подписывать. Дома на эту неуступчивость отреагировали положительно. Заголовок статьи в *Daily Telegraph* гласил: “Тори [консерваторы] в парламенте радуются успеху Мейджора в Маастрихте”^[1074]. 7 ноября 1992 года новый договор

был подписан. Французы получили желанное обещание единой валюты; они могли обойтись и без участия Британии (как и без участия Дании, которая тоже оговорила отказ от этого пункта) – лишь бы новая, выросшая в размерах Германия не отступилась от задуманного. А уже через два месяца Мейджор со скрипом (и для многих неожиданно) одержал победу на британских выборах.

Таким образом, МВК представлял собой переходную форму между свободно плавающим курсом валют и единой валютой, которую ввели у себя не все страны – участницы договора, когда она наконец (спустя семь лет) появилась. Между тем от двенадцати национальных центральных банков требовалось держать свои валюты в пределах обозначенных валютных коридоров. Однако к августу 1992 года несколько членов МВК попали в затруднительное положение, и возникли сомнения: справятся ли они с поставленной задачей? К тому времени уже начали ощущаться экономические последствия объединения Германии. В качестве разового подарка по случаю воссоединения страны восточным немцам конвертировали марки ГДР в более крепкую западную немецкую марку по курсу 1:1. В результате в Восточной Германии разом выросли и покупательная способность населения, и денежная масса, но одновременно бóльшая часть восточногерманской промышленности оказалась безнадежно неконкурентоспособной^[1075]. Нужны были крупные капиталовложения, чтобы промышленная инфраструктура Востока дотянулась до западных стандартов, а еще требовались крупные суммы на выплату пособий по безработице и другие переводы средств с Запада на Восток. В итоге резко увеличились инвестиции и возросли правительственные расходы, причем немалая часть финансирования осуществлялась за счет кредитов. А это, в свой черед, потянуло вверх цены и зарплаты в Германии.

Угроза германской инфляции выпукло обозначила конфликт между ролями Бундесбанка, какие он играл внутри страны и для всей Европы. С одной стороны, в силу своей правовой ответственности, он выступал защитником покупательной способности немецкой марки, с другой – фактически играл роль якоря МВК. Связанный юридическими обязательствами – противодействовать германской инфляции, – Бундесбанк отреагировал на бум, вызванный объединением страны, повышением своих ключевых процентных ставок при предоставлении кредитов германским банкам. Если до объединения учетная ставка замерла на самом низком показателе в 2,5 %, то

затем она неуклонно поднималась и в августе 1992 года достигла пика – 8,5 %. Вторая роль, якоря МВК, явно тревожила Бундесбанк значительно меньше. И это была дурная новость для других членов МВК. К 1990 году большинство из них, включая Соединенное Королевство, Францию и Италию, сняли все ограничения на финансовые потоки, пересекавшие их границы. Получалось, что если они тоже не повысят банковские проценты, то мобильные капиталы переместятся в Германию в поисках большей прибыли. Беда была в том, что в Соединенном Королевстве, Франции и Италии не наблюдалось подъема, сравнимого с тем, что переживала Германия. Напротив, у них экономика сбавляла темпы, а безработица росла. А в Британии в 1991 году даже произошла рецессия.

Катализатор кризиса сработал 2 июня 1992 года, когда датчане большинством голосов на референдуме неожиданно отвергли условия Маастрихтского договора^[1076]. 1 июля президент Франсуа Миттеран объявил, что 20 сентября пройдет референдум во Франции^[1077]. Если французы тоже проголосуют против, значит, Маастрихтский договор не вступит в силу^[1078]. Вскоре опросы общественного мнения показали, что такой результат вполне вероятен^[1079]. Эта политическая неопределенность стала дурной новостью для Британии. Пускай Джон Мейджор и слышать не желал о единой валюте, он все же успел вложить в Маастрихтский договор большой политический капитал. И потом, ведь это он был канцлером казначейства, когда Британия подала заявку на вступление в МВК. Меньше всего ему хотелось, чтобы люди усомнились в его приверженности жесткому курсу национальной валюты. И Мейджор, и Ламонт выступили с речами, отрицая даже гипотетическую возможность девальвации фунта^[1080]. К их разочарованию, во Франкфурте их позиция не встретила особой поддержки. В течение лета 1992 года официальные представители Бундесбанка четыре раза отпускали пренебрежительные замечания о других валютах МВК, и их слова приводились в прессе^[1081]. 10 июня президент Бундесбанка Гельмут Шлезингер, давая интервью, открыто заговорил о возможном пересмотре курсов валют МВК до окончательного перехода к валютному союзу^[1082]. Мейджор и Ламонт выразили канцлеру Колю протест, но безрезультатно^[1083]. 16 июля на летнем приеме на Даунинг-стрит, 10, а потом и на ужине, устроенном *Sunday Times*, Мейджор, поддавшись “самообольщению с удальством пополам”, заявил, что

лет через пять – десять “фунт стерлингов будет одной из самых крепких валют в мире – возможно, крепче, чем немецкая марка”^[1084]. А уже на следующий день Бундесбанк поднял свою учетную ставку – это был законный шаг для обуздания инфляции в Германии, – но одновременно (“неслыханно”, по отзыву Ламонта) представитель Бундесбанка сообщил, что “рыночные силы могут в итоге подтолкнуть более слабые валюты к девальвации”^[1085]. 26 августа, стоя на лестнице казначейства на Уайтхолле, Ламонт попытался разогнать малейшую “тень сомнения относительно фунта”, поклявшись “сделать все необходимое” для того, чтобы стерлинг сохранил положение на уровне или выше уровня минимального курса к марке 2,778^[1086]. В тот же день Иэн Плендерлейт, исполнительный директор Банка Англии, отвечавший за рынки краткосрочного капитала, пригласил руководителей четырех ведущих банков на Треднидл-стрит, чтобы посвятить их в свой план: укрепить стерлинг, заняв более 7,25 миллиарда фунтов в иностранных валютах, главным образом в немецкой марке (через восемь дней об этом плане было объявлено во всеуслышание)^[1087]. И в тот же день, чуть позже, Ламонт, к своему замешательству, прочитал, что, по мнению одного члена правления Бундесбанка, имеется “потенциал для пересмотра курса валют в МВК”^[1088]. А через четыре дня в распоряжении агентства *Reuter* оказалась предварительная копия выступления чиновника Бундесбанка, где говорилось, что от пересмотра валют в МВК много лет отказывались по “репутационным соображениям”. Это был явный намек на то, что больше откладывать этот шаг уже не получится^[1089].

Британским политикам, которым передалась коллективная народная память о 1940-х годах, было очевидно, кто главный враг: конечно же, немцы^[1090]. В первую неделю сентября Ламонт провел в Бате встречу европейских министров финансов. Возможно, оттого, что встреча проходила в этом типично английском городке, Ламонт решил оказать на Шлезингера максимальное давление. Шлезингера до того разозлили “жалобы” Ламонта, что он пригрозил уйти и, пожалуй, в самом деле ушел бы, если его буквально за руку не удержал бы Тео Вайгель, министр финансов Германии^[1091]. “Еще никогда в истории Бундесбанка на нас не давили так, как вы сейчас давите”^[1092], – пожаловался в своем выступлении Шлезингер. (“Что ж, – подумал саркастичный Ламонт, – возможно, до этого его жизнь была недостаточно яркой”^[1093].) Под конец встречи, когда министры

уже расходились, Шлезингер отомстил: он вручил жене Ламонта подарочный футляр, внутри которого лежали тридцать серебряных дойчмарок. (“Должен признаться, – рассказывал позднее Ламонт, – что у меня с языка чуть не сорвались горькие слова про тридцать сребреников”^[1094].) Словесная война продолжилась и на следующей неделе: Шлезингер категорически опроверг высказанное Ламонтом мнение о том, что снижение курса немецкой валюты неизбежно^[1095]. 15 сентября президент Бундесбанка, давая интервью немецкой финансовой газете *Handelsblatt*, сказал, что “не исключает того, что даже после пересмотра курса валют и снижения германских процентных ставок перед референдумом во Франции одна или две валюты могут оказаться под давлением”^[1096]. Это замечание – лишь в виде косвенной речи, потому что Шлезингер всегда требовал, чтобы у него получали одобрение на прямые цитаты, – вскоре просочилось в интернет. Мейджор безрезультатно добивался, чтобы Шлезингер прервал свой обед и опроверг эти слова, но в итоге появилось лишь сообщение сотрудника Бундесбанка о том, что текст обнародован “без согласия автора”^[1097].

Однако, обвиняя во всем немцев, Ламонт неверно определил врага. К 10 сентября немцы уже смирились с необходимостью провести пересмотр валютных курсов в МВК и заодно со снижением процентных ставок в Германии. Но известие об этом не дошло до британского правительства, главным образом (повидимому) потому, что французский министр финансов Жан-Клод Трише выступил против того, чтобы этот пересмотр состоялся так скоро – накануне французского референдума по вопросу о Маастрихтском договоре. И похоже, Британии не предлагалось ничего лучшего, чем девальвировать свою валюту наряду с Италией. Такой вариант Мейджор отверг, однако после того, как итальянцы в одиночку взялись за дело, давление на фунт лишь усилилось^[1098]. Но в то лето под давлением оказались не только валюты МВК. 8 сентября Финляндия отпустила свою валюту в свободное плавание – и та немедленно подешевела на 14 %. На следующий день Центральный банк Швеции поднял ставку по однодневным депозитам до 75 %, чтобы предотвратить девальвацию. Позже он поднял эту ставку до 500 %, но потом сдался^[1099]. В США краткосрочные процентные ставки достигли минимального уровня за тридцать лет, и доллар тоже тихо скользил вниз по сравнению с высокодоходной немецкой маркой. Но высокопоставленный чиновник Белого дома, прокомментировавший

ситуацию, оказался ближе к истине, чем его коллеги с Даунинг-стрит. “Мы в безнадежном положении, – сказал он, – целиком во власти рынков”^[1100]. В этом-то и было все дело: важно не что говорил Шлезингер, – важно, как реагировали на его слова рынки. “Нынешнее поколение работников Банка еще не видело ничего подобного, – заметил один из сотрудников Банка Англии. – Казалось, на нас движется лавина”^[1101].

После кризиса британские СМИ ухватились за идею, будто разорение Банка Англии – дело рук одного человека: Джорджа Сороса. Но тем самым они упускали из виду главное, заблуждаясь почти так же сильно, как Мейджор и Ламонт, обвинявшие во всем другого человека – Гельмута Шлезингера^[1102]. Одному человеку не под силу вызвать финансовый кризис: его вызывают действия множества людей – и это прекрасно понимал Сорос. Уроженец Венгрии, бежавший от нацизма и получивший образование в Лондонской школе экономики, Сорос создал в 1969 году свой фонд *Quantum* и группу ассоциированных с ним фондов, имея пять миллионов долларов. К 1992 году он увеличил свой капитал примерно до пяти миллиардов долларов, совершая крупные рискованные финансовые операции, которые приносили соразмерно крупную прибыль. Сорос хорошо знал, что система фиксированных валютных курсов будет испытывать большое напряжение, если в экономической деятельности стран – участниц союза наметятся значительные и стойкие различия. А еще он хорошо понимал, что если его фонд *Quantum* и группа ассоциированных с ним хедж-фондов начнут жесткую спекуляцию, направленную против той или иной валюты, они ослабят ее, невзирая ни на какие экономические “фундаментальные факторы”. Сорос, гордившийся своим неортодоксальным подходом к экономике, считал, что важнейшую роль на финансовых рынках играет “рефлексивность”. Вот что он сказал, выступая в 1994 году в Массачусетском технологическом институте: “Рефлексивность – это, по сути, двусторонний механизм взаимодействия, в котором действительность помогает формировать мышление участников, а мышление участников помогает формировать действительность”^[1103].

Важнее всего то, что в одиночку Сорос мало что мог. “Чаще всего я следую за трендом, – однажды заметил он, – но я все время помню, что я – часть толпы, и высматриваю точки перегиба... Чаще всего тренд побеждает, а ошибки исправляются редко. Лишь в этих случаях можно идти против тренда... [чтобы] оказаться впереди

кривой”^[1104]. Как мы уже говорили, в 1992 году активы под управлением *Quantum* оценивались в 5 миллиардов долларов. Международные резервы Банка Англии составляли 44 миллиарда долларов – почти в девять раз больше, а к ним можно было прибавить резервы центральных банков любых других участниц МВК, которые решили бы встать на сторону Британии. Если бы Сорос пошел против Банка Англии в одиночку, он бы обязательно проиграл. С другой стороны, по оценкам Федерального резерва, суточный оборот мировых рынков обмена валюты вырос с 58 миллиардов долларов в 1986 году до 167 миллиардов в 1992-м^[1105]. В *Economist* писали: “Казалось бы солидные резервы британского казначейства оказались ничтожно малы по сравнению с огневой мощью спекулянтов”^[1106]. Таким образом, важнейшей задачей Сороса было привлечь как можно больше инвесторов, которые действовали бы на рынке с ним заодно. Добиться этого было нетрудно, потому что Сорос и так входил в сеть инвесторов-единомышленников.

Собственно, разрабатывать операцию Соросу и его партнеру Стэнли Дракенмиллеру помогал Роберт Джонсон из компании *Bankers Trust*^[1107]. Как объяснял Джонсон, решающим моментом было то, что валюты, охваченные МВК, поддерживались в сравнительно узких валютных коридорах: что бы ни случилось, ценность той или иной валюты никак не могла вырасти слишком сильно против марки, и потому спекулянты, продавая фунт без покрытия^[1108], даже если бы проиграли, потеряли бы не слишком много. Если же они по итогам торгов выиграют, то сорвут приличный куш: по оценкам Джонсона, понижение в цене могло достигнуть 20 %^[1109]. Это обуславливало максимальную заинтересованность игроков. Дракенмиллер, конечно же, был уверен в том, что фунт упадет в цене, но колебался – на какой сумме остановиться? “Ну, раз ты его так любишь...” – коварно сказал Сорос. Он посоветовал Дракенмиллеру “брать быка за рога” – занять столько, сколько разрешается брать для игры на понижение^[1110]. В конце концов, по словам Сороса, “соотношение риска и прибыли [было] чрезвычайно заманчивое”, так зачем же сдерживаться?^[1111] С нарастающим волнением они с Дракенмиллером принялись занимать фунты – столько фунтов, сколько могли заполучить, – чтобы проверить самую крупную операцию в своей жизни. Но самое главное, как вспоминал потом Джонсон, – они действовали не в одиночку: “Когда мы забрали все,

что могли, я нисколько не сомневался, что борьба началась, [и] *знал, что другие люди в банках и контрагенты последуют нашему примеру*”^[1112].

В среду 16 сентября, когда получили широкую известность “неавторизованные” замечания Шлезингера, сделанные им в предыдущий четверг, продажа фунта без покрытия выросла и ускорилась. Ламонт, которому не терпелось поговорить с премьер-министром, тревожно жаловался: “Мы теряем сотни миллионов долларов каждые несколько минут”. Банк Англии тщетно пытался перекрыть отток капиталов^[1113]. В 11 часов утра он объявил, что минимальная ссудная ставка будет поднята до 12 %. Через три часа с лишним эту ставку подняли уже до 15 %, но начиная со следующего дня. Подобные отчаянные меры только раззадорили Сороса^[1114]. А когда Ламонт объявил, что займет дополнительные 15 миллиардов долларов для защиты стерлинга, Сорос лишь порадовался: “Примерно столько мы и хотели продать”^[1115]. Однако до такой суммы он не дошел: ко времени закрытия рынков его портфель составил приблизительно 10 миллиардов долларов. В тот вечер, пока театралы (в том числе и автор этих строк) слушали “Силу судьбы” Верди в Английской национальной опере, Ламонт созвал импровизированную конференцию в центральном дворе казначейства и объявил, что Соединенное Королевство “приостанавливает” свое участие в МВК^[1116]. В тот же день и лира, несмотря на ранее проведенную официальную девальвацию, оказалась совершенно вытеснена на обочину^[1117].

О том, что Джордж Сорос является узловым центром большой и могущественной сети, неоднократно заявляли конспирологи. В одном торопливо написанном сочинении говорилось, будто он “является видимой частью обширной и гнусной тайной сети частных финансовых интересов, управляют которой самые влиятельные аристократические и королевские семьи Европы. Ее средоточие – британская династия Виндзоров... она построена на обломках, оставшихся от Британской империи после Второй мировой войны”. Эта сеть тянется будто бы от самой королевы и от Ротшильдов вплоть до “беглого подследственного спекулянта Марка Рича – торговца металлами и промтоварами из швейцарского Цуга и Тель-Авива, до подпольного израильского торговца оружием и промтоварами Шауля Айзенберга и «Грязного Рафи» Эйтана”^[1118]. Все это чушь. Настоящая сеть, к которой действительно принадлежит Сорос, – та “более обширная и более сложная

экономическая паутина”, о которой он сам говорил в интервью, – это сеть хедж-фондов, цель которых – зарабатывать деньги сходными способами^[1119]. Дракенмиллер говорил: “Мы всерьез вступили в борьбу – и не отступались, били лапами, как заяц из рекламы *Energizer*... Если у кого-то мозги на месте, разве он станет приставать к своему дилеру с вопросом: «Что, черт возьми, происходит?» А я знаю, люди говорят: «Это все *Quantum*»”. С некоторыми – в частности с Луисом Бэконом – Сорос и Дракенмиллер делились информацией по телефону. Участвовали в игре и другие управляющие хедж-фондами – Брюс Ковнер и Пол Тюдор Джонс. Телепатия здесь не требовалась.

Масштаб игры на понижение увеличили действия банков, которые ссужали хедж-фонды деньгами^[1120]. Дункан Балсбо отвечал за операции с долговыми обязательствами с фиксированным доходом в лондонском отделении *Morgan Stanley*. Как он вспоминал позже, получив от Сороса запрос о предоставлении средств, он понял, что его фактически “нанимают в соучастники, замышляя напасть на старушку-процентщицу с Треднидл-стрит, то есть Банк Англии”. Сорос поместил на хранение почти все свои активы в европейских облигациях в качестве залога за деньги, который он занимал для игры на понижение на наличном рынке. Но речь шла не только о предоставлении средств. Балсбо говорил: “Мы шли за Соросом по пятам”. А еще, вспоминал он, “вслед за *Quantum* (а часто и впереди него) шла кавалерия – хедж-фонды Тюдора, Бэкона и Ковнера, не говоря уж о легионах банков с внешним финансированием... и все они шли в атаку на фунт”^[1121]. Примеру хедж-фондов последовали и другие банки: *Citicorp*, *J. P. Morgan*, *Chemical Banking*, *Bankers Trust*, *Chase Manhattan*, *First Chicago* и *Bank America*^[1122]. У “старушки” не оставалось ни малейших шансов. Это было финансовое групповое изнасилование.

Резкое снижение стоимости фунта на 15 %, последовавшее в ту “черную среду” за британской капитуляцией, принесло Соросу огромную прибыль^[1123]. Давая интервью журналисту *Time* Анатолию Калецки, Сорос признался – “со смущенной гримасой, которая не очень-то успешно скрывала лукавое самодовольство”, – что четыре его фонда заработали около миллиарда долларов, ведя игру на понижение фунта; а его прибыль от различных вспомогательных активов вроде процентных фьючерсов и от продажи итальянской лиры без покрытия составили еще один миллиард^[1124]. Позже Сорос заявлял, что обесценивание фунта “происходило бы более или менее

так же, даже если бы [Сороса] никогда не было на свете”^[1125]. В самом деле, если учесть общие потери британских резервов – 27 миллиардов долларов, – то номинально Сорос был в ответе за потерю лишь 10 миллиардов^[1126]. В действительности же курс обрушился из-за коллективных усилий соросовской сети. В интервью Калецки Сорос сказал, что выступал “крупнейшим фактором на рынке”, но не являлся самим рынком. Он просто встал во главе тренда^[1127]. Ровно то же самое вполне могло бы произойти и без него: “Не займи я это место, его бы занял кто-то другой”^[1128].

Сеть Сороса победила. Кто же проиграл? В 1997 году казначейство Соединенного Королевства оценивало убытки “черной среды” в 3,4 миллиарда фунтов, хотя спустя восемь лет эта оценка была пересмотрена и опустилась до 3,3 миллиарда. Торговые убытки Банка Англии за август и сентябрь были оценены в 800 миллионов фунтов, но основные потери для налогоплательщиков увеличились, потому что в ином случае обесценивание фунта могло бы принести им прибыль^[1129]. Более длительный ущерб был нанесен репутации Банка Англии, пусть он и являлся лишь последней иерархической организацией, растоптанной, по выражению американского журналиста Тома Фридмана, “электронным табуном”. С другой стороны, совсем оторвавшись от курсовой привязки к немецкой марке, британская экономика вздохнула свободнее. Краткосрочная процентная ставка быстро понизилась, опустившись к январю 1993 года ниже 6 %, и это дало желанную передышку стране, измученной ипотечными кредитами с плавающей ставкой. Словом, экономика воспрянула^[1130]. Катастрофа оказалась не экономической, а политической: вначале мучительные раздумья британского правительства о том, вступать или не вступать в МВК, его категоричные заявления, звучавшие все лето 1992 года, о том, что оно намерено защищать фунт до последнего, и, наконец, его жалкая капитуляция 16 сентября – все это надолго испортило репутацию консерваторам, выказавшим полную некомпетентность в экономике^[1131]. Рейтинг правительства Мейджора, определявшийся опросами общественного мнения, так и не поднялся до прежнего уровня, и 1 мая 1997 года, несмотря на четыре года стабильного роста, тори потерпели разгром со стороны омолодившейся лейбористской партии. Лидер лейбористов Тони Блэр последовал примеру Нельсона Манделы и отказался считать “общественное

владение средствами производства” одной из основных задач партийной политики.

А с проектом объединения Европы произошло нечто удивительное. Некоторые американские экономисты делали из сокрушительного провала МВК вывод, что идти еще дальше – к полноценному валютному союзу – значит накликать экономическую катастрофу и, быть может, даже европейский конфликт. Но Джордж Сорос мыслил совсем иначе. Вот что он говорил:

Единственный выход – это вовсе не иметь систему валютных курсов, а ввести в Европе единую валюту, как в США. Тогда спекулянты вроде меня останутся без дела, но лично я с удовольствием пойду на эту жертву... В Восточной Европе назревают колоссальные беспорядки, и эти бурные волнения за воротами дадут Европе мощный толчок для объединения. Сейчас национализм на Востоке настолько силен, что противостоять ему сможет только единая Европа. Если Европа не сплотится, то большую часть бывшего СССР захлестнет война.

На вопрос же о приверженности немцев своей марке Сорос ответил: “Если Маастрихтский договор будет утвержден, то не исключено, что я поведу игру против Бундесбанка”^[1132]. *Economist* тоже заключил, что кризис МВК – довод скорее за валютный союз, чем против него^[1133]. Так победитель в кризисе 1992 году вывел из него совершенно неверное заключение. Лидеры континентальной Европы действительно стали беспощадно расчищать путь валютному союзу, так что к началу 1999 года евро – единая европейская валюта, которую выпускал истинно федеративный Европейский центральный банк (ЕЦБ), – стала реальностью. Тем самым европейские политики продемонстрировали свою нерушимую веру в мощь иерархической системы даже в эпоху стремительного роста сетей. В 1992 году хозяином джунглей был Джордж Сорос, но сами джунгли диктовали условия политикам. А в годы, последовавшие за 1999-м, обозначилось единственная перемена: джунгли разрастались еще шире, делались гуще и нетерпимее к замшелым строителям финансовых пирамид.

Часть VIII

“Вавилонская библиотека”

Глава 50

11.9.2001

XXI век все больше напоминает воплотившийся наяву рассказ Хорхе Луиса Борхеса “Вавилонская библиотека”. В этом рассказе описана фантастическая библиотека, где хранятся не только все когда-либо написанные книги, но и все книги, которые только могут быть написаны. Имея в своем распоряжении бесконечное количество информации, люди быстро перешли от безудержной радости к безумию. Одних охватил “гигиенический, аскетический пыл” – желание “уничтожить бесполезные книги”, обернувшееся “бессмысленной потерей миллионов книг”. Другие ищут единственную книгу, “содержащую суть и краткое изложение *всех остальных*” – ищут и некоего библиотекаря, который “прочел ее и стал подобен Богу”. В некоторых местах этой обширной библиотеки “молодежь поклоняется книгам и с пылом язычников целует страницы, не умея прочесть при этом ни буквы”. Между тем “эпидемии, еретические раздоры, паломничества, неизбежно вырождающиеся в разбойничьи набеги, уменьшили население раз в десять”^{[1134][1135]}. Часто кажется, будто мир XXI века – тоже плод фантазии Борхеса.

Определяющим событием первых лет нашего века стало нападение на финансовые и транспортные сети США со стороны исламистской банды, которую точнее всего будет охарактеризовать как антисоциальную сеть. Хотя заговорщики, совершившие теракт 11 сентября, действовали от имени “Аль-Каиды”, в действительности у них была лишь слабая связь с более широкой сетью политического ислама. Именно поэтому их не удалось вовремя обнаружить.

Террористам, осуществившим нападение 11 сентября 2001 года, как будто покровительствовал некий злой дух. По су-ти, они выбрали мишенью атаки главные центры американского общества, которое все крепче связывала единая сеть, и, воспользовавшись слабыми местами в системе безопасности, тайно пронесли примитивное оружие (складные ножи) в салоны четырех пассажирских самолетов, направлявшихся в Нью-Йорк и Вашингтон – центральные узлы соответственно финансовой и политической систем США. Захватив самолеты, изменив курс и направив их прямо на Всемирный торговый центр и на Пентагон,

боевики “Аль-Каиды” нанесли самый успешный и страшный удар за всю историю терроризма. Они не только создали в США атмосферу страха, которая сохранялась еще много месяцев, – что гораздо важнее, они подтолкнули администрацию президента Джорджа У. Буша к асимметричному ответу, который в последующие годы, можно не сомневаться, способствовал скорее усилению, чем ослаблению салафитского ислама.

И воздушно-транспортная, и финансовая системы казались идеальными мишенями для террористических атак. Обе они в недавнее время значительно усложнились. Обе играли важную роль в процессе глобализации, в котором к 2001 году уже и левые, и исламисты видели новое воплощение американского империализма^[1136]. Сами террористы совершенно обоснованно рассчитывали, что, повредив столь важные узловые центры и одновременно посеяв панику, они вызовут целый каскад разрушений, который затронет многие другие сети^[1137].

Террористы и сами образовывали сеть. Кливлендский консультант Валдис Кребс сразу же после терактов провел самостоятельное расследование при помощи компьютерной программы *InFlow*, разработанной для анализа корпоративных сетей, и выяснил, что Мухаммед Атта являлся ключевым узлом в сети, причастной к терактам 11 сентября (см. вкл. № 24). Именно Атта поддерживал связь с шестнадцатью из девятнадцати авиаугонщиков, а также с пятнадцатью другими лицами, связанными с теми. Из всех людей, входивших в эту сеть, Атта обладал наибольшей центральностью по посредничеству, а также самой высокой активностью (то есть чаще всего контактировал с другими) и центральностью по близости (способностью связываться с остальными напрямую, без посредников). Наваф Альхазми, один из угонщиков рейса 77 *American Airlines*, уступал в центральности по посредничеству одному только Атте, из чего можно сделать вывод, что он тоже мог быть одним из организаторов теракта. А если бы Атту вдруг арестовали до 11 сентября, то роль лидера ячейки легко мог бы взять на себя Марван аль-Шеххи^[1138]. Однако, как заметил Кребс, отличительной чертой сети организаторов терактов 11 сентября было отсутствие социальных связей с внешним миром. Многие из заговорщиков знали друг друга по тренировочным лагерям в Афганистане, и их тесно спаянная группа почти не имела слабых связей, которые характерны для нормальных социальных сетей. Кроме того, заговорщики не

слишком часто контактировали друг с другом после приезда в США: сеть была неплотной, связь поддерживалась лишь на минимальном уровне. Таким образом, это была по-настоящему антисоциальная сеть – почти невидимая. Именно такими и необходимо быть тайным сетям, чтобы их не обнаружили^[1139].

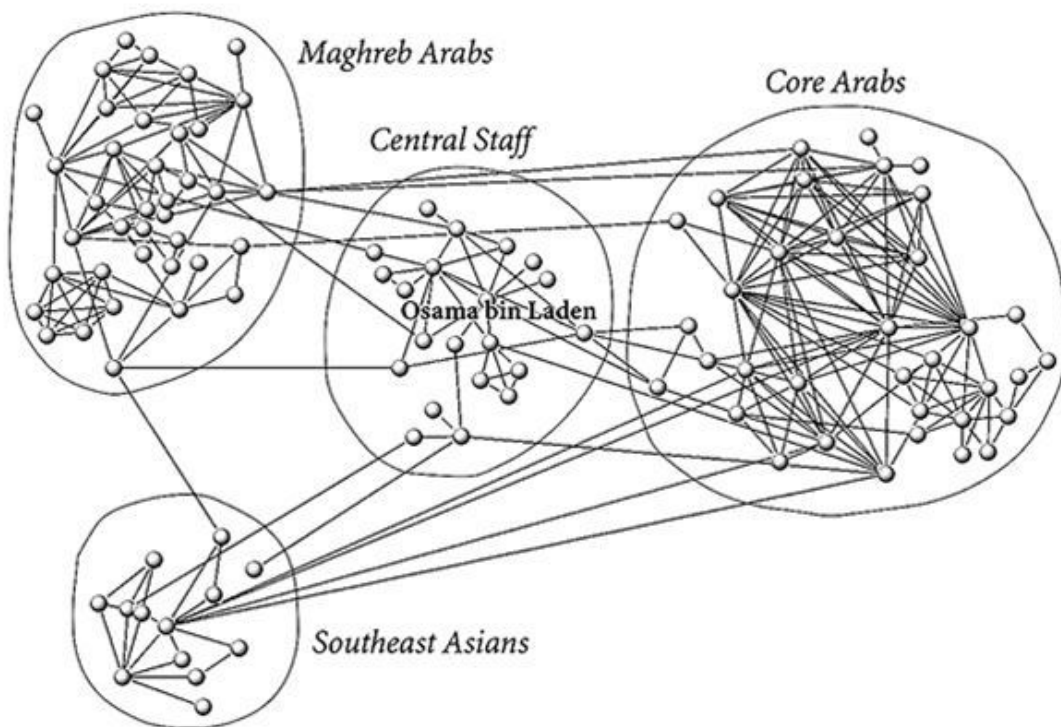
Кребсу постфактум стало ясно, что происходило. Но можно ли было все это выявить заблаговременно? “Чтобы победить в этой битве с терроризмом, – писал Кребс, – похоже, «хорошие парни» должны создать лучшую сеть обмена информацией и знаниями, чем «плохие парни»”^[1140]. В 2001 году существовало нечто вроде такой сети – это была секретная армейская программа *Able Danger* (“Умелая опасность”), призванная засечь “Аль-Каиду”, “устанавливая связи и закономерности путем обработки больших объемов данных”. Но, увы, из-за проблемы “Кевина Бейкона”^[1141] – то есть из-за того, что теперь в США людей разделяет уже менее шести рукопожатий, – количество людей, на которых можно было бы указать как на потенциальных террористов, исчисляется уже сотнями тысяч, если не миллионами^[1142]. Некоторые сетевые графики, построенные при помощи *Able Danger*, имели в длину около шести метров, и на них почти невозможно было ничего разобрать из-за слишком мелкого шрифта^[1143]. Сам Кребс заключил, что в войне с терроризмом никакой искусственной замены человеческому интеллекту нет: альтернатива – просто утонуть в больших массивах данных^[1144].

Вскоре после терактов 11 сентября, когда паника стала понемногу утихать, некоторые специалисты по сетям начали утверждать, что “Аль-Каида” в действительности – довольно слабая организация. Из-за своего подпольного, антисоциального характера ей не так-то легко вербовать и тренировать новых людей^[1145]. Можно, конечно, говорить, что сила “Аль-Каиды” – отчасти именно в ее децентрализации^[1146], но если Усама бен Ладен не способен заказать вторую массированную атаку на США, то много ли ему пользы от такого устройства сети?^[1147] И если после вторжения американцев в Афганистан и свержения режима “Талибан” ♦ руководители “Аль-Каиды” сидят где-то в Пакистане в полной изоляции, то все, что нужно, – это просто выследить их и окончательно обезглавить террористическую организацию^[1148]. Некоторые исследователи проводили аналогии с подпольными преступными сообществами вроде “Икры” – монреальской банды,

торговавшей марихуаной и кокаином в 1990-х годах, – хотя и отмечали, что в преступных сообществах централизация выражена заметно сильнее, чем в террористических сетях^[1149]. Еще более важное различие состояло в том, что преступные банды не имели какой-либо общей идеологии – в отличие от членов “Аль-Каиды”. Хотя ни один из смертников, совершивших теракты 11 сентября, не обнаруживал заметных связей с более широкой салафитской сетью, все они тем не менее принадлежали ей душой и сердцем и готовы были умереть за свою веру. Иными словами, существовала гораздо более крупная джихадистская сеть, а “Аль-Каида” являлась лишь ее частью, поддерживавшей чрезвычайно слабые связи с остальными частями. В эту более широкую сеть входили бывшие моджахеды, которые познакомились и сдружились на советско-афганской войне; жившие в Юго-Восточной Азии члены организации “Джемаа Исламия”; и, наконец, единомышленники из арабских общин в Европе и на Ближнем Востоке^[1150]. Больше всего западных лидеров сбивало с толку то, что их ответная война с террором требовала сосредоточения лишь на тех исламистах, кто сам был замечен в насилии. Но все дело в том, что малые сети активных террористов были неприметно внедрены в более широкие сети – сообщества людей, которые симпатизировали террористам, но сами не участвовали в подготовке терактов^[1151]. Молодежь не идет в террористы просто так. Для этого нужно подолгу слушать экстремистские проповеди, а еще и состоять в сети, ведущей салафитскую деятельность^[1152].

Когда распределенная сеть нападает на иерархию, последняя реагирует естественным для себя образом. Сразу же после терактов 11 сентября президент Джордж У. Буш и главные сотрудники его администрации, отвечавшие за национальную безопасность, приняли ряд решений, как будто нарочно придуманных для того, чтобы способствовать росту исламистской сети. Президент правильно распорядился разработать соответствующий план и свергнуть правящий режим в Афганистане за укрывательство “Аль-Каиды”. Но ошибкой стало то, что президент прислушался к мнениям вице-президента Дональда Рамсфелда и министра обороны Дика Чейни, которые уверяли, что теракты дают повод для второго военного вмешательства, а именно для свержения Саддама Хусейна в Ираке^[1153], несмотря на то что причинная связь между Ираком и терактами 11 сентября не подтверждалась сколько-нибудь серьезными доказательствами. Одновременно, чтобы предотвратить

нападения на США в будущем, Буш создал новое министерство внутренней безопасности. В августе 2002 года, еще до того, как выяснилось, что предстоит вторжение в Ирак, Джон Аркуилла в статье для *Los Angeles Times* провидчески указал на изъяны этого подхода:



Илл. 37. Всемирная салафитская сеть, ок. 2004 года: приблизительная схема.

В сетевой войне вроде той, в какой мы сейчас оказались, стратегические бомбардировки мало что решают, и большинство сетей не рассчитывает, что поддерживать и направлять их будет какой-то один лидер (или даже несколько) <...> [Создание] в правительственном кабинете отдельного министерства внутренней безопасности... это второй большой ложный шаг. Иерархия – слишком неуклюжее орудие для борьбы с изворотливой сетью: для борьбы с сетями нужны сети – точно так же, как в прежних войнах для борьбы с танками нужны были танки... Такую сеть, которая нам нужна, нельзя ни создать, ни поддерживать при помощи одних только понукающих замечаний от том, что кто не с нами, тот против нас [\[1154\]](#).

Пожалуй, это был чересчур пессимистичный взгляд на возможности жандармского государства. Из 109 планировавшихся джихадистами терактов против США, выявленных с января 1993-го по февраль 2016 года, было осуществлено всего тринадцать;

остальные удалось предотвратить благодаря надзору и осведомителям^[1155]. И все же в одном отношении Аркуилла был прав. В конце 2001 года “Аль-Каида” еще напоминала старомодное тайное общество, вынужденное действовать как антисоциальная сеть, способное лишь на случайные, пускай даже эффектные и демонстративные, насильственные действия. Однако после вторжения США и его союзников в Ирак иракский филиал этой организации превратился в гораздо более крупную и боеспособную сеть: она воспользовалась хаосом, воцарившимся после свержения жестокой иерархии Саддама, для раздувания конфликта между приверженцами разных направлений в исламе. В результате вспыхнули кровавые беспорядки и партизанщина, что легко предсказал бы всякий, знакомый с историей Ирака. (Нечто очень похожее происходило там с британскими оккупантами в 1920 году.) У американских военных ушло несколько тяжелых лет на то, чтобы с запозданием усвоить урок, давно уже вынесенный Уолтером Уокером и его современниками в джунглях Юго-Восточной Азии.

Джон Нагль был офицером армии США и, получив стипендию Родса, написал докторскую диссертацию, в которой сравнивал конфликты в Малайе и Вьетнаме. В этой работе он доказывал, что если британцы приспособились к сложным обстоятельствам войны в джунглях, то американцы – нет^[1156]. Он стал одним из соавторов “Боевого устава противоповстанческой борьбы” (*Counterinsurgency Field Manual*, FM 3–24) под руководством двух дальновидных военачальников, которые осознали острую необходимость подобного справочника, – генерал-лейтенанта Дэвида Петреуса и генерал-лейтенанта Джеймса Мэттиса. Работа над FM 3–24 началась в октябре 2005 года, после возвращения Петреуса из второй служебной командировки в Ирак. Вышла книга в декабре следующего года^[1157]. Самое удивительное в этом практическом руководстве – постоянное напоминание о сетевом характере повстанческого движения. Например, авторы постарались провести четкие различия между движениями, имеющими “строгую и иерархическую структуру” – и “сетевую структуру”. У каждой модели имеются свои сильные и слабые места, но повстанческие организации, устроенные по принципу сети, обычно “быстрее восстанавливаются, приспособляются и обучаются”, а еще их труднее склонить к урегулированию путем переговоров, потому что у них нет “одного вожака или даже небольшой группы, которая возложила бы на себя ответственность”^[1158]. Как ни странно, авторы

FM 3–24 решили посвятить американских военных в теорию сетей, разъяснить им такие понятия, как плотность сети, центральность по степени и по посредничеству^[1159]. В первом издании было даже приложение под названием “Анализ социальных сетей”^[1160].

Во многом FM 3–24 был обязан работе полковника армии Австралии Дэвида Килкаллена, откомандированного в 2004 году в Пентагон. В работе Килкаллена “28 тезисов. Основы противоповстанческой борьбы на уровне роты” (*Fundamentals of Company-Level Counterinsurgency*) говорилось, что фраза “завоевать сердца и умы” в действительности означает “создание надежных сетей”:

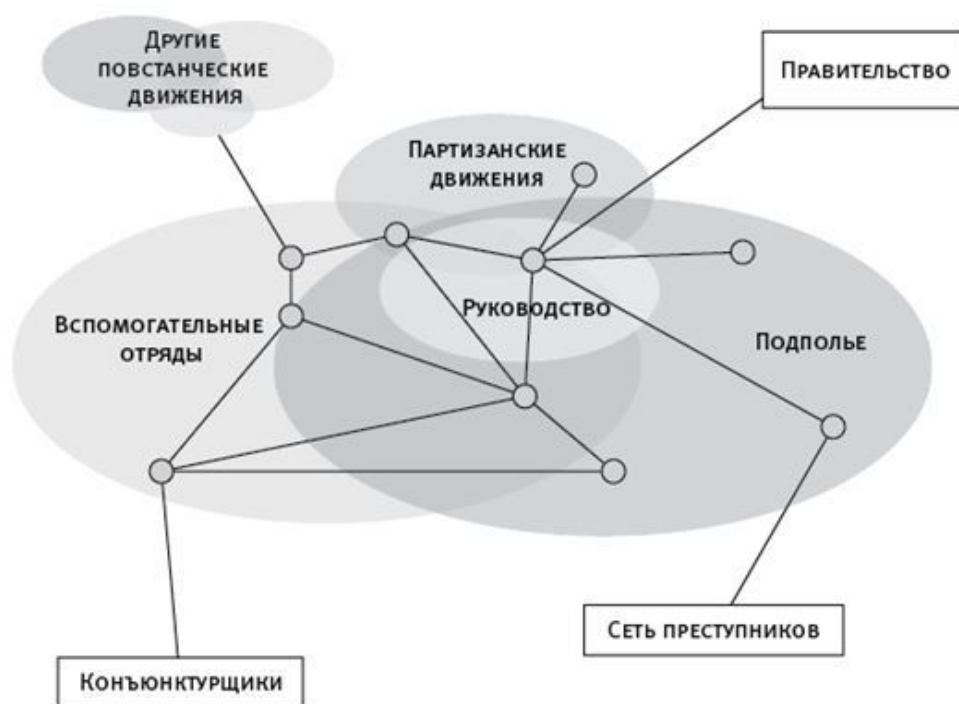
Со временем, если вы успешно создадите надежные сети, основанные на доверии, они пустят корни и охватят местное население, вытеснят вражеские сети, выталкивая их на открытое пространство для борьбы с вами, и перехватят инициативу. К этим сетям можно отнести местных союзников, глав общин, местные силы безопасности, неправительственные организации и другие дружественные или нейтральные негосударственные субъекты в вашей зоне, а также СМИ... Действия, которые помогают создавать надежные сети, идут вам на пользу. Действия, подрывающие доверие или разрушающие ваши сети (в том числе убийства очень заметных фигур), идут на пользу врагу^[1161].

Главная идея состояла в том, что глобальный джихад, против которого боролись США и его союзники, опирался на давно существующие социальные сети, охватывавшие “родственные связи, денежные потоки, узы бывших соучеников и спонсорскую поддержку”. Терроризм – “всего лишь один из видов совместной деятельности, которой занимается эта сеть, тогда как ее суть – сеть попечительства”^[1162]. Но одновременно, из-за того что организованный терроризм приобретает все большее значение, глобальный джихад уже получает некоторые черты, свойственные государствам:

В глобализированном повстанчестве параллельная иерархия повстанцев – это *виртуальное государство*: оно не контролирует конкретную территорию или население, но осуществляет контроль над распределенными системами, которые в своей совокупности представляют многие из элементов традиционной государственной власти. А еще это *псевдогосударство*: фальшивое государство, правящая организация, которая ведет себя как государство, но при

этом не является им, не обладая ни юридической, ни политической законностью. Кроме того, речь идет не о единой иерархии, а о федеративной сети взаимосвязанных систем, которая функционирует как “повстанческое государство” и конкурирует с мировыми правительствами^[1163].

Среди тактических методов, которые рекомендовал Килкаллен для победы над этим нарождающимся государством, были такие: “просить помощи у нейтрально настроенных или дружественных женщин”, так как они играют важную роль в сетях поддержки повстанцев; организовывать частые “противосетевые” разведывательные операции, которые “могут вызвать фатальный перевес сил и катастрофический подрыв повстанческих сетей”; “удушать их сети, отрезая повстанцев от народа”; пресекать уязвимые связи в повстанческих сетях^[1164]. Все это легло в основу “Стратегии Анаконды” Петреуса, которая была призвана окружить и удушить “Аль-Каиду” в иракской сети^[1165].



Илл. 38. Сетевые повстанческие движения: схема из “Армейского руководства по противоповстанческой борьбе”. 2014 г.

Армия США хорошо усвоила урок, пусть и с большим запозданием. На решающем этапе американского броска в Ираке

в 2007 году генерал Стэнли Маккрystal подытожил все, что военные усвоили в Ираке. «Чтобы противостоять ширящейся сети [лидера «Аль-Каиды» в Ираке Абу Мусаба аз-] Заркави, [нам] пришлось в точности воспроизводить ее рассеяние, гибкость и быстроту. Со временем фраза «Чтобы победить сеть, нужно стать сетью» стала мантрой для командования и формулой, в шести словах излагающей главный принцип нашей работы»^[1166]. Так американские солдаты поняли, как стать хозяевами бетонных джунглей постсаддамовского Ирака. А тем временем и в Афганистане шел не менее мучительный процесс обучения. Опыт службы в гуркхском полку убедил Эмиля Симпсона, что если традиционная двусторонняя война и может еще где-то происходить, то в целом наблюдается тяготение к конфликтам с бóльшим количеством сторон, и потому описанный Клаузевицем идеал решающей победы на поле боя теперь уже недостижим. Победа в подобных конфликтах сводится к достижению политической стабильности^[1167]. Противоповстанческая борьба приняла настолько политический характер, что добиться хоть какого-то взаимопонимания с повстанческой сетью в некоторых случаях предпочтительнее, чем уничтожить ее.

Глава 51

15.9.2008

Во многом последствия 11 сентября для американской финансово-политической системы оказались далеко не такими разрушительными, как надеялась “Аль-Каида”. Правда, прервалась работа платежной системы, на неделю закрылась Нью-Йоркская фондовая биржа, резко упали цены на акции и подскочила волатильность финансовых рынков. А еще приостановка работы воздушного транспорта замедлила расчеты чеками и другие неэлектронные формы финансовых операций. Однако влияние терактов на экономику оказалось ограниченным – главные институты, как выяснилось, были прекрасно подготовлены к подобным непредвиденным обстоятельствам, и Федеральный резерв без колебаний вмешался в дело, чтобы поддержать ликвидность рынков. Уже через несколько недель с финансовым кризисом было покончено^[1168]. Общие издержки, понесенные в связи с терактами, – учитывая имущественный ущерб, работы по расчистке территории и утраченные доходы, – составили, по разным оценкам, от 33 до 36 миллиардов долларов^[1169]. А вот решение администрации Буша о вторжении в Ирак, которого главари “Аль-Каиды” никак не могли предвидеть, увеличило эти расходы ни много ни мало в сотню раз, если принять на веру завышенную оценку затрат на войну с террором^[1170]. Бен Ладен же, очевидно, рассчитывал скорее на цепную реакцию: первое потрясение от терактов должно было вызвать каскадный эффект, который затронул бы всю экономическую систему США. А раз этого не произошло, значит, американская капиталистическая сеть оказалась более устойчивой, чем предполагали джихадисты.

К 2001 году перебои в работе сетей были уже хорошо знакомым явлением. В 1996 году на западе США произошла крупная авария в энергосистеме: из-за отказа одной линии электропередачи в Орегоне отключились сотни других линий и генераторов, и без электричества остались около 7,5 миллиона человек. В следующем году временно застопорилось все производство автомобилей *Toyota* после того, как пожар уничтожил фабрику единственного поставщика главного узла тормозной системы; в итоге была сорвана работы примерно двухсот других поставщиков^[1171]. А всего за пару месяцев до сентябрьских терактов, 18 июля 2001 года, пожар в

железнодорожном тоннеле в Балтиморе вызвал повсеместное снижение скоростей интернет-соединения, потому что сгорели оптоволоконные кабели, принадлежавшие ряду крупнейших интернет-провайдеров. Нечто похожее случилось в сентябре 2003 года: вся электроэнергетическая система Италии (за исключением энергосети на Сардинии) вырубилась после того, как на высоковольтную линию электропередачи между Италией и Швейцарией упало дерево. Еще более масштабный каскадный эффект наблюдался в ноябре 2006 года – тогда отказ одного-единственного кабеля силовой сети на северо-западе Германии вызвал отключения электроэнергии, докатившиеся до самой Португалии^[1172]. Тогда казалось, что финансовая система – гораздо более устойчивая сеть, чем европейская энергосистема (если не сам интернет).

Оказалось, что это иллюзия. Банкротство инвестиционного банка *Lehman Brothers*, о котором стало известно 15 сентября 2008 года, вызвало один из величайших финансовых кризисов в истории и едва не привело к остановке работы международной кредитной системы во всем мире. Такого не было со времен краха фондовой биржи на Уолл-стрит в 1929 году. Кроме того, макроэкономические издержки мирового финансового кризиса оказались, безусловно, больше, чем затраты на войну с террором, – особенно если вообразить, каким бы мог быть объем производства, если бы мировая экономика продолжала безостановочно двигаться прежним курсом. (Правдоподобные оценки для одних только США колеблются в диапазоне от 5,7 триллиона долларов до 13 триллионов. Для сравнения: согласно максимальной оценке, расходы на войну с террором составили 4 триллиона долларов^[1173].) Словом, 15 сентября 2008 года оказалось намного более разрушительным, чем 11 сентября 2001 года.

Причины этого финансового кризиса можно коротко изложить в семи пунктах. Крупные банки, испытывавшие опасную нехватку капиталов, начали пользоваться лазейками в законодательстве, чтобы увеличить долю заемных средств. Рынок наводнили ценные бумаги, обеспеченные активами, – например, гарантированными долговыми обязательствами, – а рейтинговые агентства оценивали их крайне неправильно. С 2002 по 2004 год Федеральный резерв практически никак не стеснял свободу кредитно-денежной политики. Политики, проявляя экономическую глупость, поощряли бедных американцев становиться домовладельцами. С оглядкой на

нереалистичные модели риска велась масштабная продажа производных ценных бумаг – таких как свопы кредитного дефолта. И наконец, приток в США капитала с формирующихся рынков, особенно из Китая, тоже помогал надувать американский ценовой пузырь на рынке недвижимости^[1174]. Можно сказать, что кризис начался еще тогда, когда этот пузырь лопнул: снижение цен на дома и рост неплатежей по высокорисковым ипотекам подавали признаки финансового бедствия уже в конце 2006 года. Однако именно известие о банкротстве *Lehman*, появившееся в 1:45 в понедельник 15 сентября, превратило беспокойство в мировую панику. За банкротством основной компании о своей неплатежеспособности объявили около восьмидесяти подконтрольных компаний в восемнадцати других странах. В рамках главного дела о банкротстве против *Lehman* было подано около 66 тысяч исков – на общую сумму более 873 миллиардов долларов. Это было “самое крупное, самое сложное, многостороннее и чреватое серьезными последствиями дело о банкротстве, когда-либо разбиравшееся в США”^[1175]. Невероятно, но штатные экономисты из Федерального резерва не видели поводов ожидать рецессии. “Мне кажется, что в общей картине не наблюдается значительных изменений, – докладывал 16 сентября на заседании Комитета по операциям на открытом рынке ФРС (*Federal Open Markets Committee, FOMC*) главный экономист Федрезерва Дэвид Дж. Стоктон. – И разумеется, за нашим прогнозом... стоят ожидания медленного, постепенного роста ВВП в течение следующего года”. Дальнейшие события заставили посмеяться над этим и другими подобными заявлениями^[1176]. Лишь несколько человек из находившихся тогда в зале уже на самом раннем этапе по-настоящему поняли, в каком положении оказалась Федеральная резервная система. Очень показательны слова Эрика С. Розенгрена из Бостонского отделения Федрезерва:

Я думаю, пока еще слишком рано говорить, правильно ли мы поступили с *Lehman*. Поскольку казначейство не захотело вкладывать в него деньги, у нас просто не было выбора. Но мы пошли на продуманный риск. Если у нас возникнут неприятности на фондах денежного рынка... или если закроется рынок ценных бумаг с последующим выкупом, тогда наш риск покажется уже не столь хорошо продуманным. Мне кажется, мы поступили правильно, учитывая возникшие ограничения. Надеюсь, на этой неделе мы прорвемся... Нежелательно оказываться в таком положении, когда мы

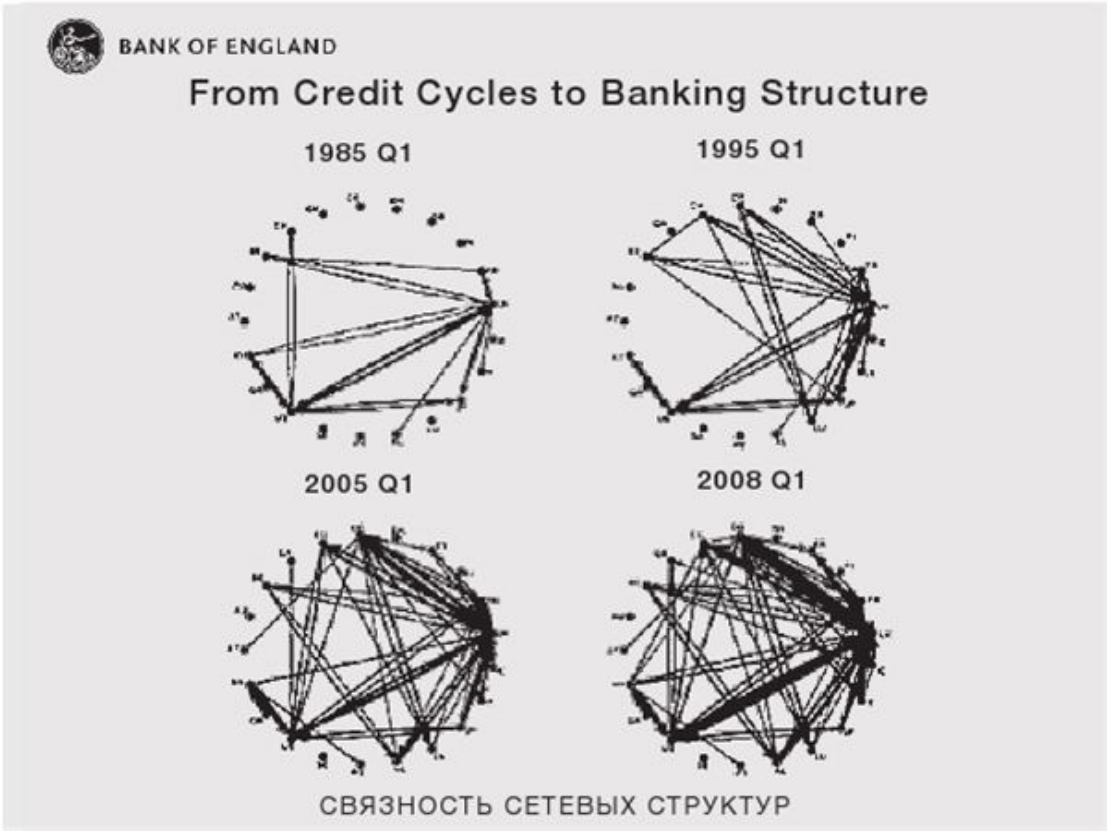
вынуждены ставить экономику в зависимость от одной или двух структур^[1177].

Лишь 29 октября Бен Бернанке, председатель ФРС, впервые вскользь намекнул на то, что, возможно, текущий кризис похож на кризис 1930-х годов^[1178]. И только в середине декабря другой член FOMC отважился открыто сказать: “У нас сейчас уровень дефолтов выше, чем был при Великой депрессии”^[1179].

Но Федрезерву не удалось понять, что, хотя президент *Lehman Brothers* Дик Фульд и был для мира Уолл-стрит чем-то вроде сетевого изгоя – одиночки, которого недолго любили коллеги (в том числе и секретарь Казначейства Генри Полсон, ранее возглавлявший *Goldman Sachs*), сам этот банк являлся важнейшим узловым центром в международной финансовой сети, которая за предыдущие двадцать лет благодаря глобализации и развитию интернета сделалась гораздо шире и плотнее, чем когда-либо раньше. Одним из первых управляющих центральными банками, кто понял важность этих структурных изменений, был Эндрю Халдейн из Банка Англии: он обратил внимание на то, что создана комплексная адаптивная система, которая обычно усиливает циклические колебания^[1180]. Эту идею Халдейн почерпнул в работе Джона Холланда и других авторов о комплексных системах, которые, в отличие от просто сложных систем, имеют тенденцию изменяться непредсказуемым образом. А как раз эти непредсказуемые “эмерджентные свойства” и не были учтены в модели, составленной экономистами ФРС^[1181]. Попросту говоря, стандартная макроэкономика не учла сетевую структуру. Никто по-настоящему не заметил, что мировая финансовая сеть разрослась настолько, что отказ от выполнения обязательств быстро перекидывался от одного банка на множество других, но при этом оставалась достаточно редкой, так как многие банки недостаточно диверсифицировали вложения капиталов и не были надежно застрахованы от краха своих контрагентов^[1182].

Федеральная резервная система, необоснованно хваставшаяся “крайней умеренностью”, какой она достигла всего за несколько лет до катастрофы, оказалась одним из главных организаторов мирового финансового кризиса. Однако следует отдать должное Бену Бернанке: он так быстро применил знания, накопленные в годы Великой депрессии, что экономические последствия кризиса оказались значительно менее тяжелыми, чем в 1930-х годах.

Закупив все виды активов на первой стадии количественного ослабления, а затем, на второй и третьей стадиях, – большое количество правительственных облигаций, Федрезерв помог сдержать кризис. Это стало триумфом иерархической системы кредитно-денежного управления и послужило доказательством того, что самостоятельно международная финансовая сеть не смогла бы восстановиться. Однако главная причина, по которой второй Великой депрессии не произошло, заключалась в том, что, дав обанкротиться банку *Lehman*, Казначейство США затем вмешалось в ситуацию и предотвратило дальнейшие банкротства крупных финансовых учреждений. Операции по спасению от банкротства таких фирм, как страховой гигант *AIG*, и других крупных банков, которые получили больше 400 миллиардов долларов по программе выкупа проблемных активов, сыграли важнейшую роль в приостановке цепной реакции неплатежеспособности, которая началась 15 сентября. А вот то, что эти же самые фирмы продолжали выплачивать своим руководителям семизначные премии, вызвало громкое возмущение^[1183]. Но удивляться тут было особенно нечему. Ведь финансовая система была сетью сразу во многих смыслах.



Илл. 39. Схемы связности сетевых узлов в международной финансовой системе. Из презентации Эндрю Халдейна 2011 года.

Американская деловая элита давно уже представляла собой тесно спаянную группу, а банки выступали основным источником связей между различными секторами экономики, включая сферу политики^[1184]. Хорошим примером того, как работала эта американская система, служит карьера Вернона Джордана-младшего, утонченного юриста-афроамериканца, который прославился как адвокат по делам о защите гражданских прав в Джорджии в последние годы сегрегации. В 1972 году Джордана пригласили в правление корпорации *Celanese*, крупного производителя химических продуктов, а затем ее председатель Джон У. Брукс назначил его еще и в совет директоров *Bankers Trust* в Нью-Йорке. Благодаря другому директору *Bankers Trust*, Уильяму М. Эллингхаусу, Джордан оказался в 1973 году в правлении универмага *J. C. Penney*. Спустя год он попал в совет директоров *Xerox*, где оказался рядом с Арчи Р. Маккарделлом, президентом *Xerox*, и Говардом Л. Кларком, руководителем *American Express*, в правление которого входил и Маккарделл. При поддержке одновременно Маккарделла и Кларка Джордан вошел в 1977 году и в правление *American Express*. В 1980 году он вошел в совет директоров табачной компании *R. J. Reynolds*, а в следующем году покинул свою должность в Национальной лиге городов (*National Urban League*, NUL) и начал работать в вашингтонском отделении далласской адвокатской фирмы *Akin Gump Strauss Hauer & Feld*^[1185]. Близкая дружба Джордана с Биллом Клинтоном, с которым он познакомился еще в 1973 году через NUL, приобрела политическое значение после того, как в 1992 году Клинтон был избран президентом, а Джордан сделался его “палочкой-выручалочкой” в ряде скандалов, прежде всего в истории с Моникой Левински. В 1999 году Джордан покинул *Akin Gump Strauss* и поступил в нью-йоркское отделение *Lazard* – инвестиционного банка и компании по управлению активами^[1186].

А вот карьера Тимоти Гайтнера шла иным путем. Его мать, Дебора Мур, происходила от первопоселенцев, приплывших в Америку на борту “Мэйфлауэра”. Учился Гайтнер в Дартмут-колледже. Прежде чем поступить на государственную службу, он работал в *Kissinger Associates*. Однако, став президентом Федерального резервного банка Нью-Йорка, Гайтнер оказался

связан с членами финансовой элиты не только профессиональными, но и социальными узами. Например, благодаря членству в таких некоммерческих объединениях, как Экономический клуб Нью-Йорка или Совет по международным отношениям, Гайтнер обзавелся личными связями с топ-менеджерами или директорами примерно двадцати одной финансовой фирмы. Согласно одному эконометрическому исследованию, эти связи были ценны тем, что компании, связанные с Гайтнером, 21 ноября 2008 года увидели, что цены на их акции подскочили: в тот день было объявлено о назначении Гайтнера секретарем Казначейства в правительстве Барака Обамы^[1187]. Речь не о том, что в этом есть нечто неподобающее, а лишь о том, что сама близость к власти, особенно в пору кризиса, воспринимается как важный фактор. Сыграв важную роль в Федрезерве на начальном этапе кризиса, Гайтнер встал у руля Казначейства в ту пору, когда экономика еще не достигла дна. Инвесторы проявили бы наивность, если бы не придали вовсе никакого значения ощущаемым различиям между финансовыми фирмами с точки зрения их политических связей. Дика Фульда постиг крах именно потому, что он являлся относительно изолированным узлом сети.

Глава 52

Административное государство

Финансовый кризис обнаружил еще одну особенность финансовой системы. Формально банки являлись, пожалуй, самыми регулируемыми организациями в финансовой системе. Однако многочисленным ведомствам, чья задача как раз и состояла в регулировании банков и их деятельности, почему-то не удалось предвидеть, что при кризисе ликвидности они просто посыплются, как костяшки домино. Одно из объяснений этой загадки – в том, что федеральное правительство выродилось в “административное” или “управленческое” государство (как его иногда называли) – иерархическое и бюрократическое по характеру своего функционирования, усердно производившее на свет все более усложненные правила, которые приносили не ожидаемые, а ровно противоположные результаты.

Рождение административного государства можно отнести к началу 1970-х годов, когда конгресс начал выдавать разрешения на учреждение новых регулирующих органов – таких как Агентство по

охране окружающей среды и Комиссия по безопасности потребительских товаров. В 1950 году Свод федеральных нормативных актов США (*US Code of Federal Regulation, CFR*) занимал 23 тысячи страниц. С 1951 по 1970 год он удлинился на 21 тысячу страниц, с 1971 по 1990 год вырос еще на 62 тысячи страниц, а между 1991 и 2010 годами к нему добавилось еще 40 тысяч страниц^[1188]. При Джордже У. Буше конгресс расширил федеральные нормы и правила в отношении начального и среднего школьного образования (закон “Ни одного отстающего ребенка” 2001 года), финансирования выборов (закон Маккейна – Файнголда о реформе избирательных кампаний 2002 года), корпоративного управления (закон Сарбейнза – Оксли 2002 года) и рационального использования энергетических ресурсов (закон об энергетической независимости и безопасности 2007 года). Однако ни одна администрация не породила такого множества проектов законов и нормативов, как администрация Обамы во время его первого президентского срока^[1189]. Историю его президентства можно было бы коротко представить в виде бесконечных обещаний: увеличить занятость (создать “стимул”), снизить риск финансового кризиса и обеспечить всеобщее медицинское страхование. Каждая из этих инициатив приводила к значительному разрастанию административного государства. Закон Додда – Франка о реформировании Уолл-стрит и защите потребителей занял 848 страниц и привел к учреждению двух новых ведомств: Совета по надзору за финансовой стабильностью и Бюро защиты интересов потребителей^[1190]. Закон о защите пациентов и доступном медицинском обслуживании (*Affordable Care Act, АСА*, неофициально *Obamacare*) составил 961 страницу (вместе с законом об урегулировании здравоохранения и образования) и привел к созданию Независимого консультативного совета по платежам. Еще более громоздкими стали законы, составленные для осуществления проекта Транстихоокеанского партнерства – торгового соглашения между двенадцатью странами Азиатско-Тихоокеанского региона. В них было уже более 5554 страниц, больше двух миллионов слов, и в распечатанном виде они представляли собой чуть ли не метровую стопку бумаги.

Кроме того, и *Obamacare*, и закон Додда – Франка породили огромное множество новых правил и нормативов. После принятия АСА правительственные органы выпустили более сотни окончательных распоряжений, подробно объяснявших, как именно

следует применять новые законы. Для одного только закона Додда – Франка законодателям потребовалось создать свыше четырехсот новых правил. Согласно одной оценке, этот закон мог увеличить объем нормативных ограничений для финансового сектора почти на треть – если этот процесс вообще когда-нибудь закончится^[1191]. Чтобы получить некоторое представление о масштабе вспыхнувшей законотворческой эпидемии, давайте допустим, что каждая из 10 535 касавшихся здравоохранения страниц нормативов в Федеральном реестре содержит 1100 слов. Значит, всего там более 11 миллионов слов. Для сравнения: Великая хартия вольностей умещается на одном листе пергамента и содержит менее 4000 слов. Первоначальный вариант Конституции США был лишь чуть-чуть длиннее (если совсем точно – 4543 слова). А в Декларации независимости всего 1458 слов.

Какие же силы привели к расцвету административного государства? Почему Вашингтон выродился в какое-то гипертрофированное бюрократическое государство вроде того, что описано в фантазмагориях Кафки? Простой ответ мог бы быть таким: во всем виноваты юристы и бюрократы. Но ведь такие люди существуют уже давно, это известно всякому, кто читал Диккенса. Более правдоподобный ответ гласит, что такова цена, которую мы вынуждены платить за прошлые неудачи и огрехи. Быть может, во многих странах представительное правление и верховенство закона сгубило в XX веке именно невнимание к деталям. Быть может, “великие упрости́тели” вроде Гитлера восторжествовали именно потому, что в документах вроде конституции Веймарской республики (хоть ее и не назовешь короткой – в ней насчитывались 181 статья и 10 тысяч слов) не говорилось открытым текстом, что уроженцам Австрии с усами щеточкой, судимостью и тягой к геноциду запрещено занимать должность канцлера? Однако можно найти и лучшее объяснение: во всем виновато коренное ухудшение стандартов и в законодательной области, и в управлении, которое мы наблюдаем почти во всех демократических странах, независимо от того, какой была их история в XX веке^[1192]. Причина этого нескончаемого словоизвержения в том, что профессиональные политики стремятся скорее блеснуть красноречием, чем дойти до сути, СМИ после каждой неудачи орут без умолку, что нужно что-то делать, лоббисты следят за тем, чтобы мелкий шрифт всегда стоял на страже их шкурных интересов, а юристы только рады наживаться на всей этой несусветной неразберихе^[1193]. Нам следовало бы

больше тревожиться о последствиях такого положения дел, ведь речь идет не только о нудных нечитабельных постановлениях. Во-первых, преимущества остаются за владельцами корпораций, ведь только им по карману собственные отделы надзора за нормативно-правовым соответствием, а без них невозможно пускаться в плавание по морю бюрократического многословия. Во-вторых, существует риск системной неустойчивости, которая только возрастает с ростом общей сложности. Всякий, кто полагает, будто мировая финансовая система сделалась более устойчивой благодаря закону Додда – Франка, – оптимист. Не исключено, что дело обстоит ровно наоборот: ведь новые нормативы могли уменьшить способность властей справиться с проблемой последствий (например, массового отказа от незастрахованных краткосрочных обязательств)^[1194]. Между тем, по утверждению Фрэнсиса Фукуямы, сама законность демократической политики мало-помалу разрушается, потому что “влиятельные группы... фактически покупают политиков, жертвуя средства на их избирательные кампании и затем воздействуя на них лоббированием”. Этот процесс философ называет “репатримониализацией”^[1195]. Окостенелыми и при этом, похоже, не поддающимися реформам оказались многие политические институты: избирательная коллегия, предвыборная система, заумные правила сената и другие. Суды слишком вовлечены и в принятие политических решений, и в управление. При этом ни у кого нет внятного плана – как добиться порядка хоть в чем-нибудь^[1196].

Сложность – вещь недешевая. Напротив, обходится она весьма дорого. Административное государство нашло легкий способ справиться с проблемой – как увеличить объем бюджетных благ, не повышая соответственно налогов. А именно финансировать текущее государственное потребление решено было за счет займов. В то же время администрация Обамы, почти удвоив размер федерального долга, использовала свои распорядительные полномочия для сбора денег новыми способами: например, более 100 миллиардов долларов в виде “выплат по соглашению” при расследованиях порядка предоставления закладных, гарантируемых банком, и 20 миллиардов долларов от программы компенсации *British Petroleum* за разлив нефти на нефтяной платформе *Deepwater Horizon*. (Еще она вмешивалась от имени политических союзников в “управляемые банкротства” компаний *General Motors* и *Chrysler*^[1197].) Однако все эти уловки административного

государства навязывают косвенные затраты частному сектору, что в конечном итоге тормозит темпы роста и создание рабочих мест^[1198]. Несправедливость по отношению к будущим поколениям в области госфинансирования, гипертрофированное разрастание нормативов, искажение самой идеи верховенства закона и деградация образовательных учреждений – все это в совокупности ведет к “великому вырождению” и в экономической производительности, и (как мы еще увидим) в социальной сплоченности^[1199]. Словом, административное государство представляет собой последнюю ипостась политической иерархии: эта система изрыгает правила, плодит сложности и подтачивает благополучие и стабильность.

Глава 53

Web 2.0

Пока административное государство, производя и громоздя все новые документы, приближало окончательный кризис иерархического порядка, сетевой мир переживал драматичное фазовое превращение. Специалисты по информационным технологиям говорили об этом как о *Web 2.0* – под таким названием проходила конференция, организованная интернет-новатором и издателем Тимом О’Райли в 2004 году. У О’Райли была идеальная цель: сохранить принцип *open source* – открытого программного обеспечения, характерный для ранней поры существования Всемирной паутины. Этому духу соответствовала Википедия – статьи энциклопедического типа писались сообща разными авторами. То же самое происходило на любом веб-сайте, где материалы создавались пользователями. По словам О’Райли, инновации вроде RSS и API способны “передавать данные вовне, не контролируя при этом происходящее после того, как они поступают на противоположный конец связи... [Это] отражает... сквозной принцип”^[1200]. Таким образом, любое программное обеспечение следует оставлять в “вечном бета-состоянии” – не только с открытыми исходными кодами, но и с возможностью для пользователей вносить в программу изменения^[1201]. Золотым стандартом оказался *Linux* – “операционная система мирового класса”, созданная “несколькими тысячами нештатных энтузиастов”, как выразился программист-либертарианец Эрик Реймонд, автор манифеста сторонников *open source* “Собор и базар” (*The Cathedral and the Bazaar*)^[1202]. На “базаре” многочисленная глобальная группа кодировщиков-добровольцев совместно занималась выявлением и устранением недоделок (багов), тем самым неуклонно совершенствуя программы^[1203]. Реймонд сформулировал закон Линуса, названный так в честь Линуса Торвальдса, ведущего разработчика платформы *Linux* (который при этом никогда не был ее владельцем). Закон этот гласит: “При достаточном количестве бета-тестировщиков и соразработчиков почти любая проблема будет быстро установлена, и кто-нибудь найдет ее очевидное решение”. (Или еще проще: “Если достаточно глаз, то все баги всплывают на поверхность”^[1204].) В виртуальной коммуне программистов “единственным доступным критерием

успеха в конкурентной борьбе является репутация среди таких же спецов” и нет места для трагедии общин^[1205], потому что в случае открытого программного обеспечения “трава вырастает выше, когда на ней пасутся”^[1206]. Реймонд уверенно предсказывал, что движение за открытое программное обеспечение “в итоге победит года через три, максимум лет через пять (то есть к 2003–2005 годам)”^[1207]. Его ожидало разочарование.

За инновациями и творческой анархией следуют коммерциализация и ограничительные правила. Во всяком случае, именно это демонстрировали прежние технические революции^[1208]. Однако в случае интернета коммерциализация действительно последовала, а вот ограничительных правил почти не появилось. Мечте об общедоступных программах пришел конец, когда развились монополии и дуополии, которые успешно отражали попытки вмешательства со стороны административного государства. *Microsoft* и *Apple* установили нечто вроде дуополии на программное обеспечение, при этом первая компания заняла огромную нишу на рынке персональных компьютеров. Две эти компании, основанные еще на первом этапе сетевой революции, в 1975 и 1976 годах, по-разному подошли к возможностям, которые предоставил интернет. *Microsoft* в нагрузку к производимой им операционной системе *Windows* пытался навязывать еще и свой браузер *Internet Explorer*, но эта стратегия едва не привела к роспуску компании^[1209]. Возглавлявший *Apple* Стив Джобс, хотя его операционная система во многом превосходила продукцию Билла Гейтса, предпочитал соревноваться иначе – выпуская разнообразное оборудование под маркой *Apple*. В дополнение к настольному компьютеру *Mac* добавились музыкальный плеер (*iPod*, 2001), лэптоп (*Macbook*, 2006), смартфон (*iPhone*, 2007), планшет (*iPad*, 2010) и наручные часы (*Apple Watch*, 2014). Гениальность Джобса состояла в том, что он объединил привлекательный дизайн продукции с закрытой системой программного обеспечения и цифрового контента, которые распространялись исключительно через сети магазинов *Apple Store* и *iTunes Store*.

Второй этап революции в информационных технологиях наступил через двадцать лет после волны инноваций, породившей *MS-DOS* и *Mac OS*. Крупнейшими новыми компаниями, основанными в середине 1990-х, стали *Amazon*, *eBay* и *Google*. Первая была электронным книжным магазином в Сиэтле. Вторая – вначале называвшаяся *Auction Web* – онлайн-аукционом в Сан-Хосе.

Третья, получившая название от числа гугол – единицы со ста нулями, или 10^{100} , была поисковой системой, разработанной в гараже в Менло-Парке. Основатели всех этих компаний являлись в каком-то смысле аутсайдерами: Джефф Безос родился у матери-подростка из Техаса, его отчимом был кубинец; Пьер Омидьяр родился в Париже в семье иммигрантов из Ирана; Сергей Брин родился в Москве, его родители-евреи эмигрировали из СССР в 1979 году. Только Ларри Пейдж был с самого начала посвящен в мир компьютерной науки: в этой области работали его родители. Всех этих людей тянуло на Западное побережье США, где Стэнфордский университет и Кремниевая долина уже зарекомендовали себя в качестве главного мирового центра IT-инноваций. Рассчитывали ли они с самого начала сделаться миллиардерами? Наверное, нет. Успех свалился на их компании неожиданно. (В 1999 году Пейдж и Брин пытались продать *Google* компании *Excite* всего за 750 тысяч долларов.) После того, как улегся ажиотажный бум вокруг акций интернет-компаний, случившийся в том же году, рыночная стоимость всех трех компаний быстро взлетела до сногшибательных высот. Первичное размещение акций (*Initial Public Offering, IPO*) *Google* 19 августа 2004 года принесло ей рыночную капитализацию в размере более 23 миллиардов долларов. Объяснялся этот ошеломительный рост очень просто. В 2000 году *Google* начала продавать рекламу, привязанную к ключевым словам поисковых запросов, исходя из предложений цены и переходов по ссылкам рекламных объявлений. К 2011 году реклама стала источником уже 96 % доходов компании. А затем огромный приток доходов от рекламодателей позволил *Google* расшириться сразу во многих направлениях. Она обзавелась собственной электронной почтой (*Gmail*, 2004), операционной системой (*Android*, 2007) и веб-браузером (*Chrome*, 2008), а также приобрела ряд других компаний, начиная с *Keyhole* (она превратилась в *Google Earth*), а затем *Urchin* (она превратилась в *Google Analytics*) и *Grand Central* (она превратилась в *Google Voice*). В 2006 году к ним прибавился *YouTube*, в 2012-м – *Motorola Mobility* (хотя позднее она была продана), а в 2014-м – *DeepMind*. Изначальная постановка задач в формулировке *Google* звучала так: “Упорядочивать информацию в мире и делать ее общедоступной и полезной”. Неофициальный лозунг компании гласил: “Не будь злом”. А более точное описание ее деятельности после 1999 года

было бы таким: “Зарабатывать деньги на рекламе и вкладывать их смело и рискованно”.

Расхождение между идеалом и действительностью обозначилось еще резче в случае самой успешной социальной сети и владеющей ею одноименной компании, появившейся на третьей волне инноваций в середине 2000-х годов. Принцип “шести рукопожатий” неизбежно должен был победить; в первоначальном патенте владельцы определили свою социальную сеть как службу, основанную на рассылках по электронной почте и базе данных объединенных членов сети. Впрочем, Рид Хоффман, основатель *Friendster* и *LinkedIn*, и Марк Пинкус, создатель *Tribe.net*, выкупили этот патент (за 700 тысяч долларов), чтобы никто не посмел монополизировать рынок социальных сетей^[1210]. Они еще не понимали, что имеют дело с Марком Цукербергом.

Этот студент Гарварда никогда не чуждался идеалистической риторики. В программном заявлении о задачах *Facebook*, адресованном новым участникам и названном (как дань памяти председателя Мао) “Красная книжечка”, говорится: “Изначально *Facebook* не задумывался как компания. Он создавался для выполнения общественной миссии – делать мир более открытым и сплоченным”^[1211]. В 2004 году, давая интервью изданию *Harvard Crimson* всего через пять дней после запуска сети, Цукерберг недвусмысленно заявил, что создавал этот сайт не с целью зарабатывать деньги. “Я не собираюсь продавать чужие электронные адреса”, – сказал он. А в 2007 году он говорил: “Последние пятьсот лет всем заправляют средства массовой информации. А ближайшие сто лет людей уже не будут просто так пичкать информацией. Ею будут делиться, она будет расходиться по миллионам каналов, объединяющих людей”^[1212].

Почему же *Facebook* победил других претендентов на корону в царстве социальных сетей? Во-первых, Цукерберг с выгодой использовал фирменный бренд Гарварда. Первые пользователи указывали свои настоящие имена и настоящие электронные адреса, потому что, если учишься в Гарварде, нет стимула скрываться под вымышленными кличками. Именно через сеть выпускников Гарварда Цукерберг познакомился с Доном Грэмом из *Washington Post Company*, и тот вызвался вложить в *Facebook* деньги и вошел в правление компании^[1213]. Во-вторых, Цукерберг не стал слушать тех, кто говорил, что сайт потеряет привлекательность, если откроется для неуниверситетской публики, а позже приложил

усилия для того, чтобы через систему машинного перевода доступ к сети получили и неанглоязычные пользователи^[1214]. В-третьих, он вскоре увидел потенциал в дополнительных настройках – например, в возможности ставить метки (теги) на фото, отправлять уведомления пользователям, если кто-то их отметил, – а еще в более сложно устроенной ленте новостей, или френд-ленте, позволяющей следить за публикациями друзей^[1215]. В-четвертых, в отличие от *MySpace*, *Facebook* позволял пользователям устанавливать внутренние приложения, и это решение обернулось бешеным успехом, когда стали распространяться созданные на основе *Facebook* игры вроде *Farmville*^[1216]. Это была открытая программа с изюминкой: по новым правилам, пользователям разрешалось продавать собственную спонсорскую рекламу^[1217].

Желание Цукерберга получать доход от рекламы едва не возымело обратный эффект, когда был введен в действие элемент *Beacon*, дававший доступ к платформе другим компаниям^[1218]. Сделать успешным переход к такой модели, при которой реклама приносит прибыль, поручили Шерил Сэндберг^[1219]: ведь именно над этой задачей она трудилась в *Google* с 2001 по 2008 год, прежде чем стать директором по производственным вопросам в *Facebook*. Главное различие состояло в том, что “если *Google*... помогал людям найти те товары, которые они уже решили приобрести, *Facebook* подсказывал бы им, что именно им нужно”, предоставляя рекламодателям возможность показывать пользователям целенаправленные сообщения, которые отражали бы их предпочтения, каким-то образом проявившиеся через действия в *Facebook*^[1220]. Поначалу монетизация была плохой, если исходить из цены за тысячу показов рекламного баннера^[1221]. Но как только рекламу начали незаметно встраивать прямо в пользовательскую френд-ленту в приложениях *Facebook* для мобильных телефонов, компания уверенно вступила на путь к огромным прибылям^[1222]. Миллиардером Цукерберга сделал буквально *deus ex machina* – “бог из машины” – во многом непредвиденно возросший спрос на мобильные телефоны, который разгонял новаторский и вызывающий зависимость *iPhone* от *Apple*.

Facebook не изобретал социальные сети. Как мы видели, они существуют примерно столько же, сколько существует сам вид *Homo sapiens*. *Facebook* сделал другое: придумав службу, бесплатную для пользователя и не скованную ни географическими, ни языковыми преградами, он создал крупнейшую в мире

социальную сеть. На момент написания этих строк у *Facebook* насчитывается 1,17 миллиарда активных пользователей, торчащих в сети ежедневно, и 1,79 миллиарда пользователей, которые заглядывают туда хотя бы раз в месяц. Эти показатели не учитывают пользователей *Instagram* – приложения *Facebook* для обмена фотографиями и сообщениями^[1223]. В США охват населения сетью *Facebook* очень высок: 82 % взрослых, пользующихся интернетом, в возрасте от 18 до 29 лет, 79 % – в возрасте от 30 до 49 лет, 64 % – для возрастной группы от 50 до 64 лет, и 48 % людей от 65 лет и старше. Если для человечества в целом действует правило шести рукопожатий, то для пользователей *Facebook* это число в среднем составляет сегодня 3,57^[1224]. Неудивительно, что в сети *Facebook* обнаруживается кластеризация по географическому принципу, ведь в круге общения большинства людей, как правило, очень сильна местная составляющая^[1225]. И все же *Facebook* порой удивительным образом побеждает расстояния. Одна лишь территориальная близость к другим пользователям – отнюдь не лучший способ предсказать вероятность того, что тот или иной человек присоединится к *Facebook*; его “обращение” обусловлено принадлежностью к разным другим, существующим в реальности, социальным сетям^[1226]. Для пользователей характерна гомофилия: как обычно, рыбак рыбака видит издалека – и в смысле общих интересов, и психотипов. А еще, возможно, сходных между собой пользователей еще теснее объединяет нечто вроде петли обратной связи^[1227]. Иммигрантские сообщества в США тоже выделяются как четко обозначенные компоненты внутри сети^[1228]; что любопытно, наблюдаются существенные различия в характере пользования *Facebook* от одной этнической группы к другой^[1229]. В Европе, несмотря на растущую тревогу из-за возрождения национализма, *Facebook* значительно способствовал сплочению людей: каждое лето, когда европейцы ездят отдыхать в другие европейские страны, количество их зарубежных фейсбучных друзей увеличивается. Доля новых международных (в пределах Европы) *Facebook*-контактов возросла с 2 % в январе 2009 года до более чем 4 % в августе 2016-го^[1230]. А еще удивляет способность сети *Facebook* разносить идеи, мемы и даже эмоции, подобно заразе, по разным кластерам сети – через слабые связи^[1231].

Как у всякого популярного увлечения, у *Facebook* появились и свои хулители. “*Facebook* продает внимание пользователей рекламодателям по всему миру, – написал журналист Джонатан

Теппер, вскоре ликвидировавший свой аккаунт, – а еще *Facebook* знает почти все об их жизни, семьях и друзьях... Эта платформа построена на эксгибиционизме и вуайеризме – пользователи стараются выставлять себя в более привлекательном свете и тихонько подсматривают за друзьями”. По мнению Теппера, все это нисколько не способствует дружбе, а, наоборот, обесценивает и подменяет настоящую дружбу^[1232]. Экономика *Facebook* разительно отличается от его утопической идеологии. Ее сравнивали с системой издольщины или испольщины, “при которой орудиями производства обеспечиваются многие, но вознаграждение в итоге попадает в руки кучки избранных”^[1233]. Выражаясь еще грубее, для *Facebook* “пользователь – это и есть товар”.

Facebook обещал построить новый объединенный мир “сетян” – граждан сети. Но само его устройство было в высшей степени недемократичным. В *Facebook* имеется 15 724 наемных работника и около 2 миллиардов пользователей, однако лишь ничтожно малая часть этих групп владеют акциями *Facebook*. Самому Цукербергу принадлежит лишь чуть больше 28 % В-акций компании. Его соучредители – Дастин Москович, Эдуардо Саверин и Крис Хьюз – сообща владеют примерно 13 %. Первым инвесторам, Шону Паркеру и Питеру Тиллю, принадлежит в общей сложности 6,5 %. Два других ранних инвестора – *Accel Partners*, венчурный фонд из Кремниевой долины, и российская интернет-компания *Digital Sky Technologies* – владеют соответственно 10 и 5,4 %. Лишь пяти другим организациям – трем венчурным фирмам из Кремниевой долины, *Microsoft* и *Goldman Sachs* – принадлежит более чем по 1 %^[1234]. Как выразился Антонио Гарсиа Мартинес: “Всякий, кто называет Долину меритократической, сам сильно обогатился благодаря ей, но совсем не меритократическим путем – а благодаря счастливой случайности, принадлежности к привилегированной группе или каким-нибудь тайным, но абсолютно надувательским махинациям”^[1235]. Иными словами, глобальная социальная сеть сама принадлежит закрытой сети “своих людей” из Кремниевой долины.

Идею общедоступности программ постепенно вытесняла тенденция к дуополии (*Microsoft* и *Apple*) и практически к монополиям (*Facebook*, *Amazon* и *Google*), и социальные последствия этого явления были столь же предсказуемы, сколь на первый взгляд и парадоксальны. Мир пронизан связями, как никогда раньше, о чем не устают твердить активные сторонники этих

компаний. Однако в этом мире царит такое неравенство, какого не наблюдалось еще столетие назад. Шестеро из восьми богатейших людей в мире – это Билл Гейтс (его личное состояние оценивается в 76 миллиардов долларов), Карлос Слим (50 миллиардов), Джефф Безос (45 миллиардов), Марк Цукерберг (45 миллиардов), Ларри Эллисон (44 миллиарда) и Майкл Блумберг (40 миллиардов). Свое богатство они заработали, соответственно, на программном обеспечении, телекоммуникациях, розничной онлайн-торговле, социальных сетях, корпоративных приложениях и коммерческих данных^[1236]. Они баснословно разбогатели не потому, что являются суперзвездами в мире предпринимательства: просто каждый из них устроил в своей нише нечто близкое к монополии. Как и *Facebook*, *Microsoft Windows*, *YouTube* и *Android* насчитывают больше миллиарда пользователей, а еще не стоит забывать о приложении для мобильной связи *WhatsApp*, которое *Facebook* приобрел в 2014 году. Похоже, в обозримом будущем эти почти-что-монополии смогут приносить своим акционерам колоссальные доходы^[1237]. Вот простой пример: ожидается, что *Google* и *Facebook* в 2017 году увеличат свою совокупную долю в общем объеме цифровой рекламы до 60 %. *Google* принадлежит 78 % контекстной рекламы в США, а *Facebook* – почти 2/5 медийной онлайн-рекламы^[1238]. Это засилье выливается в гигантские прибыли. Ожидается, что в 2017 году *Facebook* заработает 16 миллиардов долларов на медийной рекламе. Сегодня эта компания оценивается приблизительно в 500 миллиардов долларов, включая большую денежную подушку, которая позволяет Цукербергу скупать компании потенциальных конкурентов на ранней стадии (так произошло, например, с *Instagram*, у которого сегодня 600 миллионов пользователей, и *WhatsApp*, у которого их больше миллиарда)^[1239]. Кроме того, засилье рекламы имеет и еще одно преимущество. В 25 тысячах случаев рандомизированного поиска *Google* реклама продуктов *Google* появлялась в самых заметных местах в течение 90 % всего времени^[1240].

Это поразительное состояние дел, если задуматься о функциях, которые выполняют эти компании. *Google* – по сути, большая всемирная библиотека. Туда мы обращаемся, когда нужно найти или проверить какую-то информацию. *Amazon* – большой всемирный базар, куда мы все чаще и чаще ходим за покупками. А *Facebook* – большой всемирный клуб. Различные сетевые функции, выполняемые этими платформами, совсем не новы, просто развитие

технологий сделало эти сети огромными и заставило их работать очень быстро. Наиболее интересно другое различие: в прошлом библиотеки и общественные клубы не зарабатывали деньги на рекламе – это были некоммерческие организации, существовавшие или на пожертвования, или на взносы читателей или участников, или на налоги. По-настоящему революционным является то, что и наша всемирная библиотека, и наш всемирный клуб увешаны рекламными щитами, и чем больше мы им рассказываем о себе, тем эффективнее становится реклама, тем чаще она отправляет нас на всемирный базар Безоса. Не зря на инвесторском рынке акции *Facebook*, *Amazon*, *Netflix* (интернет-компания, поставляющей фильмы и сериалы) и *Google* фигурируют под акронимом FANG^[1241]. Благодаря принципу “пригодные обогащаются”, при котором всемирная сеть информационных технологий остается безмасштабной – то есть сохраняет преобладание нескольких крупных узлов с наибольшим количеством связей, – доходы этих компаний не уменьшаются^[1242].

Похоже, не в одной лишь бесстыдной погоне за господством над рынком деятельность *Facebook* расходится с его пропагандистскими заявлениями. Превращение Цукерберга из студента-программиста, обитателя общежития, в “Председателя Цука” произошло необыкновенно быстро. В 2008 году он говорил: “Во многом *Facebook* больше похож на правительство, чем на традиционную компанию. У нас огромное сообщество людей, и мы больше, чем какая-либо другая технологическая компания, диктуем свою политику”^[1243]. “Красная книжечка” была обязана Мао Цзэдуну не только своим названием; само ее содержание полно революционно-авангардного духа: “Прыткие унаследуют землю”, “Величие и комфорт редко уживаются между собой”. И: “Меня способ общения людей, всегда можно изменить мир”^[1244]. После 2008 года постеры, висевшие на стенах главного офиса, стали напоминать отголоски тоталитарной пропаганды: “иди вперед и ничего не бойся! прыгай выше головы! влияй на мир!”^[1245]. Заговорили о том, что Цукерберг “хочет править не только *Facebook*, но и вообще всеми развивающимися средствами связи на планете”^[1246]. Высказывались даже предположения, что он захочет выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США^[1247]. Однако образ мыслей основателя *Facebook* кажется одновременно и более глобальным, и менее демократичным, чем можно было бы ожидать от обладателя президентской должности. Один бывший сотрудник

компании, вспоминая о том, что многие сотрудники охотно приходили на работу в фирменных синих футболках с логотипом *Facebook*, заметил: “Вместо коричневорубашечников появились синерубашечники, а мы все превратились в новый «штурмовой отряд» соцсетей”^[1248]. Конечно, это неверная аналогия, ведь Цукерберг, похоже, совершенно искренне мечтал создать крепко спаянное “всемирное сообщество”. В декабре 2017 года он опубликовал очерк, где говорилось, что задача его компании – содействовать значимым местным сообществам, повышать безопасность (отфильтровывая публикации или комментарии, разжигающие ненависть или вражду), способствовать разнообразию идей, активно вовлекать граждан в общественную жизнь – причем в мировом масштабе. “Являясь крупнейшим мировым сообществом, – писал Цукерберг, – *Facebook* может исследовать примеры того, как общинное управление способно действовать в больших масштабах”^[1249].

Самый важный вопрос состоит в том, насколько реалистична эта мечта о мировом сообществе – и насколько непредусмотренные последствия деятельности *Facebook* и ему подобных способны проложить дорогу ровно в противоположную сторону.

Глава 54

Распад на части

К 2010 году мир оказался на пороге двух революций, и каждая из них приблизилась в значительной мере из-за прогресса в информационных технологиях. Первой была революция растущих ожиданий в развивающемся мире. Второй – революция падающих ожиданий в развитом мире. Первая стала результатом уменьшившегося неравенства в мире в целом. Вторая – результатом возросшего неравенства внутри ряда важнейших стран, прежде всего США. Было бы неверно объяснять все перемены развитием технологий, как неверно было бы объяснять все глобализацией, да и два эти процесса невозможно достоверно отделить друг от друга. Точнее было бы указать на то, что главным двигателем революции стал быстрый рост глобальной суперсети, так как именно этот феномен – синтез технических изменений и глобальной интеграции – одновременно сделал мир более “плоским” и при этом вызвал “распад на части” (по выражению Чарльза Мюррея^[1250]) американского общества.

Согласно широко цитируемому исследованию *Oxfam* – международного благотворительного объединения, ведущего борьбу с бедностью, – 1 % богатейших людей владеет сейчас бóльшим богатством, чем все остальные жители планеты, вместе взятые. Согласно *Oxfam*, в 2015 году всего 62 персон принадлежало такое же богатство, как 3,6 миллиарда человек – “нижней половине” человечества. И за годы, прошедшие с начала нового века, эта половина получила всего лишь 1 % от общего прироста мирового богатства, тогда как 50 % этого прироста досталось верхушке – составляющим 1 % человечества богачам^[1251]. Банк *Crédit Suisse* приводит сходные цифры: по его оценкам, в 2015 году доля мирового богатства, находящихся в руках 1 %, достигла 50 %. Около 35 миллионеров владеют сегодня 45 % всего мирового богатства; 123 800 человек обладают более чем по 50 миллионов долларов каждый, 44 900 человек – более чем по 100 миллионов и 4500 человек – более чем по 500 миллионов^[1252]. Чуть менее половины всех миллионеров живут в США, где совокупный прирост реальных доходов для верхних 0,01 % составил с 1981 года 542 % (на основе подсчетов, проведенных экономистами Эммануэлем Саэсом и Томасом Пикетти). 90-й перцентиль и ниже

среди американцев показывает, что реальные доходы за тот же период времени слегка падали^[1253]. Средний для США доход домохозяйства в 1999 году составлял 57 909 долларов (в пересчете на доллары 2015 года). В 2015 году он составил 56 516 долларов^[1254]. Такова главная иерархия сегодняшнего мира – иерархия богатства и доходов, похожая на здание с очень широким основанием и невероятно высоким и тонким шпилем.

Однако необходимо сделать три важные оговорки. Во-первых, если опираться на данные официального обзора потребительских кредитов в США, прирост в долях как богатства, так и доходов верхних 1 % и 0,01 % был не таким большим, как утверждали Пикетти и Саэс^[1255]. Во-вторых, число людей из списка четырехсот богатейших по версии *Forbes*, попавших в него благодаря унаследованному состоянию, в наше время неуклонно уменьшается: со 159 в 1985 году оно снизилось до 18 в 2009-м^[1256]. Текучесть в самом верхнем слое богачей никогда еще не была такой высокой. В-третьих, рост мирового среднего класса, который марксисты предпочитают называть буржуазией, является столь же важным показателем социальных перемен, что и накопление богатства одним процентом населения Земли. За период между 2000 и 2015 годами китайский средний класс вырос на 38 миллионов человек; по тем же меркам, американский средний класс тоже вырос – на 13 миллионов человек. Во всем мире средний класс увеличился на 178 миллионов человек, что составляет прирост в 31 % с 2000 года^[1257]. По одной оценке, коэффициент Джини, показывающий степень имущественного неравенства в мире, снизился с 69 в 2003 году до 65 в 2013-м, а к 2035 году снизится до 61^[1258]. Словом, имеются убедительные доказательства того, что неравенство в распределении мировых доходов с 1970 года значительно уменьшилось и, скорее всего, эта тенденция сохранится^[1259]. Главную роль здесь сыграло обуржуазивание Китая, но оно составляет лишь одну пятую общего мирового процесса^[1260].

Обычно можно услышать объяснения, что глобализация уменьшила мировое неравенство: ведь очень быстрый рост Китая и других стран с переходной экономикой был бы невозможен без увеличения торговых потоков и движения капитала, которые стали наблюдаться с 1970-х годов. Увеличение масштабов международной миграции, произошедшее в тот же временной промежуток, вероятно, тоже помогало уменьшать неравенство: люди переезжали

из менее благополучных регионов в страны с более производительной экономикой. Однако нельзя и помыслить, что такие объемы торговли, иностранных инвестиций и миграции были бы возможны без технологических инноваций, о которых шла речь выше, да и сами технологические скачки вперед совершались бы куда тише и реже без дешевых комплектующих, производимых в Азии, и без цепочек поставок, опоясавших весь мир. Именно усиленное разрастание международных информационных потоков позволило эффективнее перераспределять по миру капитал и рабочую силу. Что важнее всего, большинство людей в мире за последние тридцать или сорок лет ощутили значительное улучшение жизни – и по относительным, и по абсолютным параметрам. Если революции, происходящие в развивающихся странах, и нужно как-то объяснять, тогда, возможно, часть объяснения заключается в эффекте растущих ожиданий.

Однако глобализация совершенно по-разному повлияла на доходы и распределение богатства *внутри* многих стран. Некоторое время считалось, что происходивший процесс хорошо иллюстрирует так называемый график-слон, составленный Бранко Милановичем и Кристофом Лакнером: на нем было видно, что рабочий класс и средний класс экономически развитых стран от глобализации проиграли^[1261]. На деле же пресловутый слон, то есть досадная проблема, которую никто не желает обсуждать, исчезает из виду сам собой, если учесть изменения в размерах стран и исключить из обработанных данных Японию, страны бывшего СССР и Китай^[1262]. Тем не менее для рабочего и среднего классов в США и, возможно, для среднего класса в некоторых европейских странах действительно кое-что изменилось к худшему^[1263]. Азиатская конкуренция, безусловно, привела к закрытию в США множества мелких фабричных производств^[1264]. Те американцы, кому пришлось туго во время и после финансового кризиса, весьма пессимистично смотрят на свое будущее, несмотря на мало кем замечаемый успех программ социальной помощи, призванных смягчить последствия “великой рецессии” для людей с низкими доходами. Почти две пятых американцев, опрошенных Всемирным институтом Маккинси (*McKinsey Global Institute*) в 2016 году, уверенно согласились с одним из двух следующих утверждений: “Мое финансовое положение хуже, чем было пять лет назад” и/или “Мое финансовое положение хуже, чем было у моих родителей в моем возрасте”. Такие люди, как правило, чаще пессимистично

смотрели на собственное финансовое будущее и финансовое будущее своих детей. А те, кто выказывал пессимизм, чаще всего винили иммиграцию, засилье иностранных товаров и “дешевую иностранную рабочую силу” в том, что они, соответственно, “погубили культуру и сплоченность нашего общества”, “привели к потере рабочих мест для коренных жителей” и “создали несправедливую конкуренцию отечественным предприятиям”^[1265].

Причина этого пессимизма – не только в торможении роста реальных доходов. Социальная мобильность в США, возможно, пошла на убыль, а возможно, и нет^[1266]. Но что-то явно не в порядке. Во всем развитом мире уровень смертности снижается, а продолжительность жизни растет, но это не касается (неиспаноязычной) белой Америки – и прежде всего тех белых американцев среднего возраста, кто получил только среднее школьное образование. Для этой группы, охватывающей людей от 45 до 54 лет, уровень смертности от отравления (главным образом от передозировок наркотиков) вырос с 1999 по 2013 год более чем в четыре раза – с 14 до 58 на каждые 100 тысяч, тогда как смертность от хронических заболеваний печени и цирроза выросла на 50 %, а уровень смертности от порока сердца прекратил снижаться. Если бы уровень смертности белого населения продолжал падать теми же темпами, что и до 1999 года, то есть на 1,8 % в год, то в период между 1999 и 2013 годами можно было бы избежать почти миллиона смертей. Каждый третий из неиспаноязычных белых американцев в возрасте от 45 до 54 лет жалуется на хроническую боль в суставах, каждый пятый – на боль в шее, и каждый седьмой – на воспаление седалищного нерва^[1267]. Эти тенденции, наблюдавшиеся по 2015 год, нельзя объяснить просто с точки зрения экономики: состав и размер доходов у сходных по разным параметрам групп небелых американцев ничуть не лучше, однако среди них не наблюдается роста болезненности и смертности. Лучшее из имеющихся объяснений состоит в том, что *“совокупные неблагоприятные условия жизни, касающиеся рынка труда, семейного положения, воспитания детей и здравоохранения, вызваны неуклонно ухудшающейся обстановкой на рынке труда”*^[1268]. Можно предположить, что раньше времени загоняют себя в могилу при помощи алкоголя и наркотиков самые жалкие из белых американцев средних лет. А не склонные к самоубийству просто уходят с работы и садятся на социальное пособие по нетрудоспособности, и это объясняет, почему в США количество

работающих мужчин в расцвете лет снизилось резче, чем где бы то ни было^[1269]. Под таким углом политические волнения, всколыхнувшие США в 2016 году, выглядят революцией *падающих* ожиданий.

Пожалуй, можно правильно понять, как связаны между собой сети и неравенство, если обратить внимание на то, что (по словам авторов одной важной публикации на эту тему) “рынок увеличивает неравенство в социальных сетях, когда речь идет о дополнении, но уменьшает его, когда речь идет о замещении”^[1270]. Когда либерализация экономики дошла до сетей рабочего класса в Бомбее, и сеть и рынок являлись суррогатами – в том смысле, что рынок стал вытеснять сеть, предлагая новые возможности выбора людям, плохо связанным между собой. В результате неравенство уменьшилось. Но когда рыбаки в Керале обзавелись мобильными телефонами, сети и рынок стали уже дополнять друг друга: рыбаки, теперь уже лучше связанные друг с другом, начали пользоваться открывшимися им рыночными возможностями. В этом случае результатом стало увеличение неравенства^[1271]. Та же закономерность наблюдается и в мировых масштабах. Глобализация приблизила рынок к китайским рабочим и крестьянам, которые раньше были совершенно оторваны от остального мира и существовали в рамках замкнутой жесткой иерархии, учрежденной при Мао. Это снизило неравенство. Но в США сети и рынки дополнили друг друга, и наибольшая прибыль от глобализации досталась тем американцам, у кого имелись самые качественные связи, – что и подтвердил отчет Всемирного банка за 2017 год^[1272]. Есть основания усомниться в свидетельствах общего социологического опроса в США, согласно которому общение в традиционных общественных сетях резко сократилось, – и кое-кто объясняет это явление возросшей популярностью электронных соцсетей и мобильных устройств, из-за которых именно ими пользуются все чаще^[1273]. В действительности не существуют убедительных доказательств того, что люди, чаще пользующиеся интернетом, реже вживую общаются с близкими, друзьями или соседями, – возможно, дело обстоит ровно наоборот^[1274]. Тем не менее сложно было бы отрицать, что характерной чертой последних двух-трех десятилетий стало увеличение социальной и политической поляризации. Яркими особенностями этого процесса стали заметное сужение главных дискуссионных сетей американцев (теперь в них входит меньше участников, не

связанных узами родства, чем в прошлом)^[1275] и угасание традиционных институтов сетевого типа – вроде тех, что раньше сосредоточивались вокруг церквей и местных добровольных объединений^[1276].

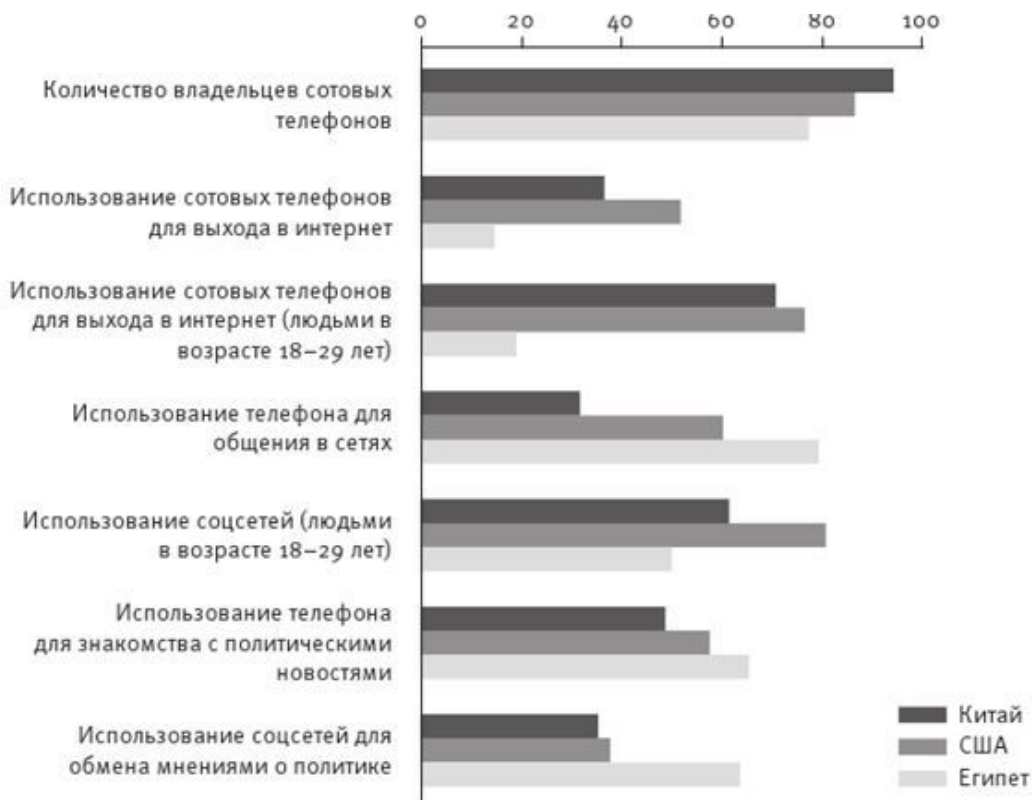
Глава 55

Революция через *Twitter*

Как видно на примере рыбаков из Кералы, важнейшим параметром, который придал социальным переменам начала XXI века взрывной характер, стал чрезвычайно быстрый рост сетей мобильной телефонной связи. Инновации в области мобильных телефонов стали даром небес для традиционных телекоммуникационных компаний – таких как AT&T и *Verizon* (ранее *Bell Atlantic* и *NYNEX*) и их эквивалентов во всем мире^[1277]. Хотя между производителями телефонов и была конкуренция (во многом благодаря тому, что *Google* выпустил *Android* – в противовес *iOS* от *Apple*), между операторами сотовой связи конкуренция была совсем небольшая, и количество абонентов постоянно росло. Это определялось высоким спросом. Как показывает илл. 40, в странах со столь разными экономическими условиями, как США, Китай и Египет, уже в 2010 году мобильные телефоны имелись у подавляющего большинства людей, и хотя Египет отставал по части распространения смартфонов, египтяне даже чаще пользовались телефонами для общения в соцсетях и для обмена политическими новостями^[1278]. Благодаря мобильным телефонам – и тем более смартфонам – из социальных сетей можно было вообще не вылезать.

Если *Facebook* изначально удовлетворял потребность людей в сплетнях, то *Twitter* – основанный в марте 2006 года – откликнулся на более специфическую потребность: обмениваться новостями, часто (хотя и не всегда) политическими. К 2012 году более 100 миллионов пользователей размещали уже около 340 миллионов “твитов” в день. Но можно ли совершить революцию при помощи “твитов”? Размышляя о провале иранской “зеленой” революции 2009 года, Малкольм Гладуэлл пришел к выводу, что нельзя. По его мнению, соцсети не являются заменой старомодных организаций активистов вроде тех, чьими усилиями удалось свергнуть коммунистические режимы в Восточной Европе^[1279]. А вот руководители *Google* Эрик Шмидт и Джаред Коэн думали иначе. В прозорливой статье, опубликованной в ноябре 2010 года, они предупреждали, что “правительства будут застигнуты врасплох, когда массы их граждан, вооруженные практически одними сотовыми телефонами, примут участие в мини-восстаниях против

их власти”^[1280]. “Реальные действия” на “взаимосвязанных территориях” (по выражению авторов) можно увидеть “в тесных каирских конторах” и “на улицах Тегерана. Там и в других местах активисты и энтузиасты-программисты организуют флэшмобы против репрессивных правительств, придумывают новые технологии, позволяющие обходить ограничения доступа и цензурные заслоны, сообщают новости в твитах, создают основы новой онлайн-журналистики и пишут билль о правах человека для эпохи интернета”^[1281]. *Google* оказался прав, а Гладуэлл – нет, и, пожалуй, ничего удивительного в этом нет, ведь подтверждения справедливости тезиса Шмидта – Коэна накапливались годами. И мобильные телефоны, и соцсети играли очень важную роль в политических кризисах, настигавших такие столь различные между собой страны, как Молдова, Филиппины, Испания, и даже китайскую провинцию Синьцзян^[1282].



Илл. 40. Использование мобильных телефонов и социальных сетей в Китае, США и Египте. 2010 г. Указаны доли населения в процентах.

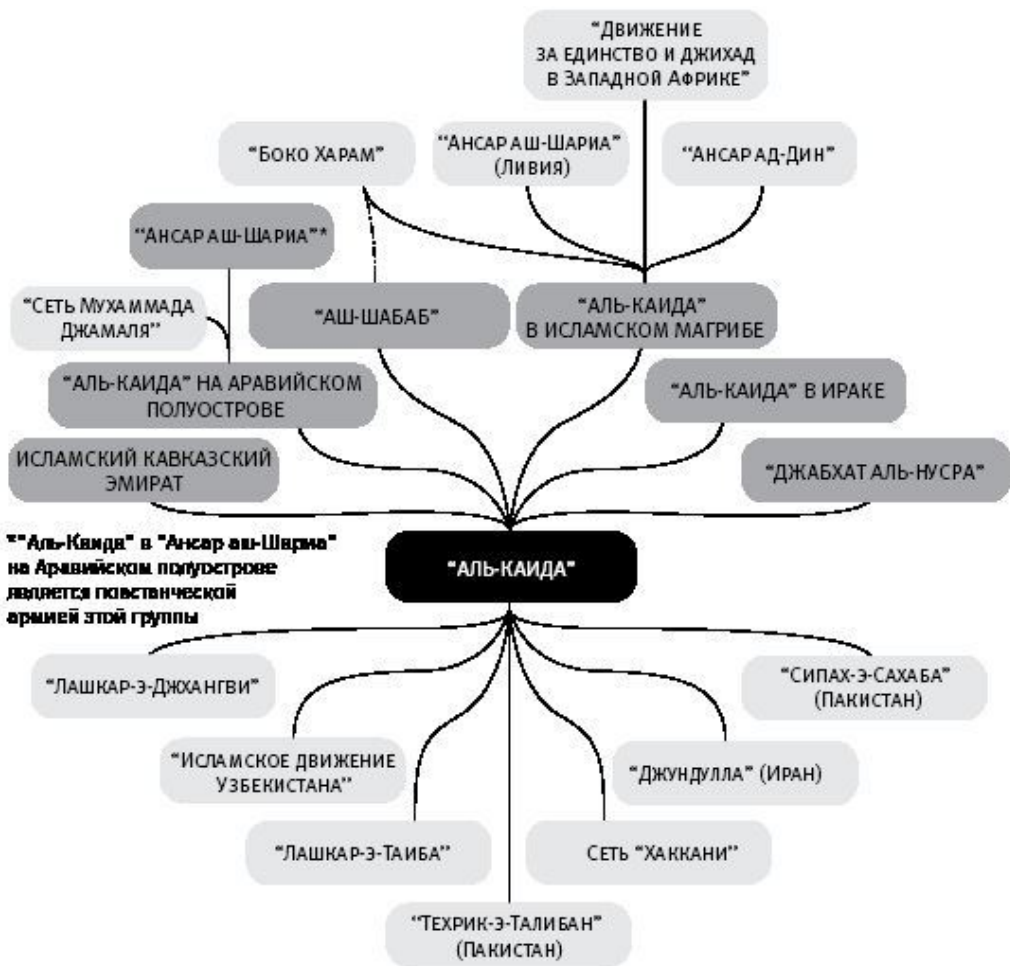
Финансовый кризис и вызвавшие его рецессии подрывали легитимность правительств по всему миру. Однако впервые эти

новые силы обнажили истинную уязвимость существующего иерархического порядка отнюдь не в США и даже не в Европе. Революционным событиям, захлестнувшим Ближний Восток и Северную Африку и начавшимся в Тунисе в декабре 2010 года (их неверно назвали потом “арабской весной”), безусловно, способствовали различные виды информационных технологий, пусть даже о революциях большинство арабов узнали не из *Facebook* или *Twitter*, а из новостных выпусков телеканала *Al Jazeera*. Как это происходило и в Европе после 1917 года, революция стала распространяться подобно эпидемии, используя все существующие сети. “Это вирус, а не часть нашего наследия или культуры йеменского народа, – заявил президент Йемена репортерам незадолго до того, как его отстранили от власти. – Это вирус, занесенный из Туниса в Египет. А в некоторых местах эта зараза ведет себя как грипп. Если посидишь рядом с зараженным, то скоро сам подхватишь инфекцию”^[1283]. Во время революционных событий в Египте, которые закончились свержением Хосни Мубарака, появился новый способ предсказывать готовящиеся демонстрации – просто следить за хэштегами в *Twitter*^[1284]. Похожим образом и революционеры в Киеве, в итоге сбросившие украинского президента Виктора Януковича, использовали социальные сети для организации протестных акций на Майдане и для распространения критики в адрес Януковича и его приспешников. Протесты захватывали весь мир, перекидываясь из парка Таксим-Гези в Стамбуле до улиц Сан-Паулу. Чем бы (или кем бы) ни был вызван гнев протестующих, их методы всегда следовали сценарию Шмидта – Коэна^[1285]. Испанский философ Мануэль Кастельс поспешил воздать хвалу революционной мощи “сетевого общества”, которое породило столь масштабные народные движения, что уже невозможно, как прежде, просто “задержать главных подозреваемых”^[1286]. Некоторые сделали из этого вывод, что все большее количество коррумпированных авторитарных государств, испытывая подобное давление, будет вынуждено превратиться в прозрачные и быстро реагирующие на требования народа “умные правительства”, то есть они обратятся к новейшим технологиям, чтобы повысить качество и подотчетность собственной работы. В итоге все государства станут похожими на Эстонию – первую страну победившей электронной демократии^[1287].

Однако наивно было бы полагать, будто у нас на глазах зарождалась заря новой эры свободы и равенства всех граждан сети, обретших благодаря технологиям возможность говорить правду властителям. Как мы уже говорили, сам интернет возник когда-то в недрах военно-промышленного комплекса. Всегда сохранялась высокая вероятность того, что национальная безопасность превзойдет по важности расширение возможностей граждан, когда речь пойдет о том, чтобы использовать потенциал социальных сетей для нужд правительства. Терракты 11 сентября и трудности, с какими правительство США столкнулось в Ираке, создали четкий стимул и для администрации Буша, и для администрации его преемника. Как узнал в Ираке генерал Стэнли Маккрystal, в противоповстанческой борьбе для победы над сетью необходимо самим создать сеть^[1288]. То же самое относилось и к контртеррористической деятельности. В понимании аналитиков разведывательной службы, “Аль-Каида” являлась “сетью сетей”, имевшей около семи региональных или национальных “филиалов”^[1289]. Эта сеть была “легко приспособляющейся, сложной и выносливой” – и собиралась и в дальнейшем нести разрушение и террор родине американцев^[1290]. У американских политиков имелся мощный стимул отомстить этой организации, обезглавив и ликвидировав ее – причем не только для того, чтобы предотвратить новые возможные атаки, но и чтобы продемонстрировать силу США. Начиная с 2007 года Агентство национальной безопасности стремилось применять принцип Маккрystalа в мировых масштабах.

Попытка иерархического государства склонить к сотрудничеству частных владельцев сетей, существующих в интернет-пространстве, была вполне предсказуема. Как и разоблачение этой попытки. В 2007 году отдел АНБ по операциям с особыми источниками (*Special Source Operations, SSO*) начал запрашивать как минимум у девяти крупных американских компаний доступ к их онлайн-сообщениям: это стало частью программы контроля над большими данными, носившей кодовое название PRISM. Собственно перехватом занималось специальное техническое подразделение ФБР, пользуясь тем, что большая часть материально-технической базы интернета находится в США. Согласно Закону о защите Америки (2007) и пункту 702 поправок к Акту о негласном наблюдении в целях внешней разведки (2008) эти требования были законны, и компаниям ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Формально надзор велся за иностранцами, которые

теоретически могли представлять угрозу для безопасности США, однако в невод АНБ мог попасться любой американский гражданин, поддерживавший отношения с такими иностранцами, – при условии, что хотя бы одна из сторон, обменивавшихся электронными письмами, общавшихся через *Skype*, системы передачи файлов или *Facebook*, находилась за границей. Программой PRISM были охвачены *Facebook*, *YouTube*, *AOL*, *Skype* и *Apple*, но основной массив данных собирался благодаря *Yahoo*, *Google* и *Microsoft*. В 2012 году общее количество запросов о пользовательских данных, которые *Facebook* получил от всех правительственных ведомств, составило от девяти до десяти тысяч, и касались они примерно вдвое большего количества пользовательских аккаунтов. Параллельно другая программа, *MUSCULAR*, напрямую перехватывала нешифрованные данные в частных “облаках”, предоставляемых *Google* и *Yahoo*. К надзору, осуществлявшемуся АНБ, были причастны и телефонные компании AT&T и *Verizon*^[1291].

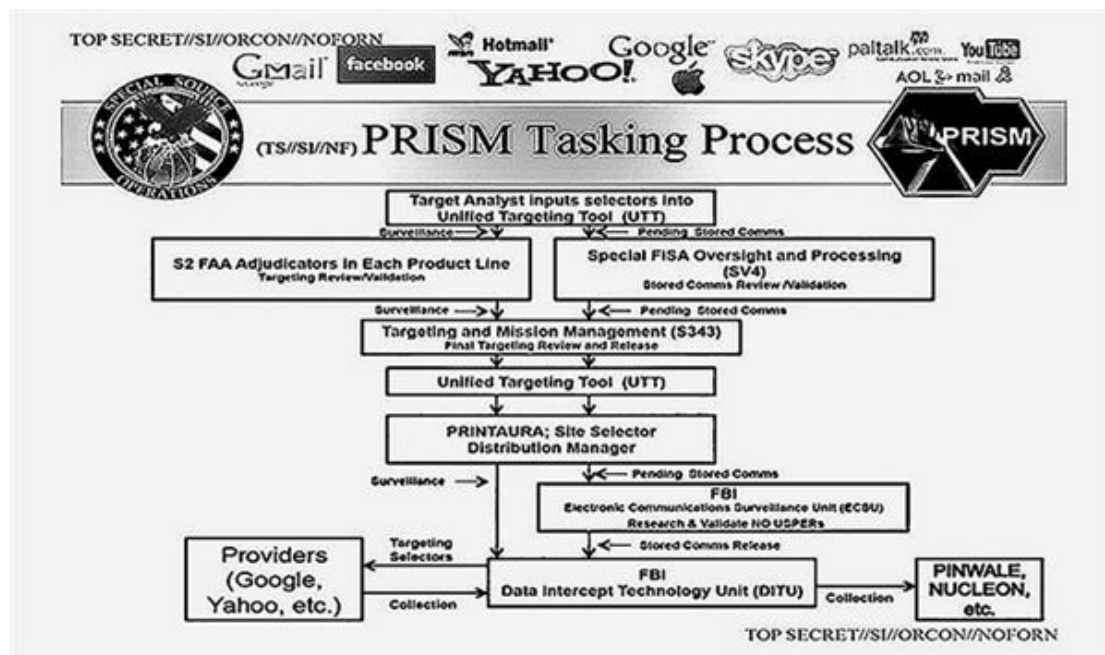


Илл. 41. Сеть “Аль-Каиды” глазами американцев. Ок. 2012 года.

В глазах “жандармского государства” (а на деле — довольно замкнутой сети бюрократов)^[1292] PRISM являлась логичным откликом на сетевую угрозу и мало чем отличалась от прослушивания телефонных линий в 1960-х и 1970-х годах или от рутинного шпионажа, какой ЦРУ всегда ведет в отношении как враждебных, так и дружественных правительств. Однако глупо было думать, что столь масштабное правительственное вмешательство останется незамеченным в эпоху сетей и не получит, в свой черед, ответного удара теми же средствами. Уже в декабре 2006 года сайт под названием *WikiLeaks* начал выкладывать в интернет засекреченные документы, по большей части имевшие отношение к ведению войн (точнее, по мнению основателя сайта Джулиана Ассанжа, к должностным и военным преступлениям) в Афганистане и Ираке. Поскольку главным объектом ранних утечек была администрация Буша, то либеральные газеты вроде *Guardian* без малейших сомнений объявили *WikiLeaks* законным источником. Среди разоблачителей, предоставивших *WikiLeaks* документы, был рядовой армии США Брэдли (позже — Челси) Мэннинг. В июне 2013 года случился еще более крупный информационный прорыв, когда спецгент АНБ Эдвард Сноуден начал передавать газетам *Guardian* и *Washington Post* огромное количество материалов, среди которых были и подробности, касавшиеся PRISM. Попытки Центра правительственной связи Великобритании (*Government Communications Headquarters, GCHQ*) уничтожить накопители на жестких дисках в редакции *Guardian* оказались бесплодными и только сделали громче шумиху вокруг этой истории. Похоже, Сноудену удалось затмить подвиг Даниэля Эллсберга, передавшего прессе “документы Пентагона”. Либералы бурно радовались разоблачению АНБ и отвергали как ложь заявления о том, что разведывательная программа PRISM помогла предотвратить ряд терактов. Однако общество почувствовало большое замешательство, узнав о том, что такие популярные компании, как *Yahoo*, *Google* и *Microsoft* — не говоря уж о *Facebook*, — действуют заодно с наводящим ужас “жандармским государством” и что вся эта операция продолжала идти полным ходом, несмотря на избрание президентом любимчика либералов Барака Обамы. При Обаме АНБ собрало не только метаданные о телефонных звонках 120 миллионов абонентов *Verizon*, но и — в рамках PRISM — содержание электронных писем, голосовых и текстовых сообщений

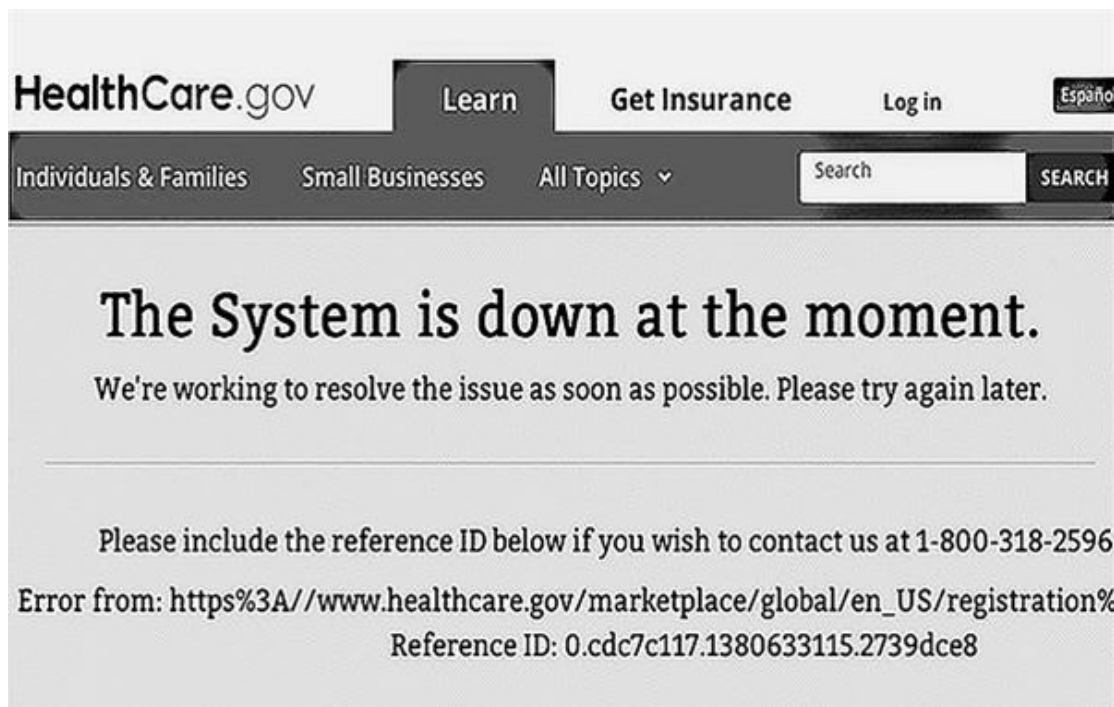
и видеочатов неизвестного количества американцев. С апреля 2011 года по март 2012-го, согласно внутреннему аудиту АНБ, “слитому” Сноуденом, это ведомство 2776 раз нарушало правила, регулирующие порядок надзора за гражданами^[1293]. Марк Цукерберг мог сколько угодно жаловаться, что его “смущают и раздражают постоянные сообщения о поведении правительства США”, и самодовольно заявлять: “Пока наши инженеры без усталости трудятся над улучшением безопасности, мы думаем о том, что защищаем вас от преступников, а не от нашего собственного правительства”^[1294]. Но вряд ли он мог совсем ничего не знать о том, что происходило.

На администрацию Обамы обрушился двойной удар, потому что история с утечками Сноудена вскрылась тогда же, когда обнаружился позорный провал правительственной программы, призванной служить во благо всех американских граждан. Как ясно показали выборы 2008 года, и политики, и избиратели оставались в плену у послевоенной терминологии, в рамках которой политики обычно не только сулили дополнительные общественные блага, но и обещали “создавать новые рабочие места”, при этом существенно не увеличивая расходов на содержание правительства за счет налогов. Популярность президента Обамы начала стремительно падать, когда самым наглядным образом обнаружилась неспособность федерального правительства сдержать эти обещания. Недоработки сайта www.HealthCare.gov, созданного в рамках программы здравоохранения, во многом символизировали главную проблему: в эпоху FANG потребители ожидают от веб-сайтов базовой функциональности. Говорили, что на создание этого никудышного сайта потратили вдвое, а то и вчетверо больше денег, чем на создание первоначальной модели *iPhone*. Ведущий телепередачи *Daily Show* Джон Стюарт, говоря от имени сотен тысяч пользователей, насмеялся над министром здравоохранения и социальных служб Кэтлин Сибелиус: “Давайте я попытаюсь загрузить все фильмы, какие только существуют, а вы попытаетесь заполнить на вашем сайте заявку на *Obamacare*, и посмотрим, у кого получится быстрее”^[1295].



Илл. 42. Опубликованный *WikiLeaks* секретный слайд с описанием *PRISM* – программы надзора Агентства национальной безопасности. Обратите внимание на иерархическую структуру схемы.

Эти напасти поставили технологические компании перед выбором. Может быть, им стоит дистанцироваться от вашингтонской иерархии? Такое решение принял Тим Кук, генеральный директор *Apple*. Он отказался удовлетворить просьбу ФБР и выполнить судебное постановление, требовавшее снять блокировку с *iPhone*, принадлежавшего террористам Сайеду Ризвану Фаруку и Тафшин Малик – мужу и жене, которые в декабре 2015 года убили четырнадцать человек в Сан-Бернардино. Руководители *Google* сделали другой выбор – они заявили о намерении “способствовать свободе слова в интернете и защищать личную информацию”^[1296], но одновременно приблизились к исполнительной ветви власти в большей степени, чем какая-либо другая технологическая компания. Во время президентства Обамы сотрудники *Google* и сотрудники ассоциированных компаний посещали Белый дом 427 раз. Высшие руководители *Google* встречались с президентом не менее 21 раза. В одном только 2016 году компания потратила на лоббирование 15,4 миллиона долларов^[1297].



Илл. 43. Маленькая проблема большого правительства: крах сайта *HealthCare.gov* в 2013 году (Надпись на экране: “В настоящий момент система не работает. Мы стараемся исправить неполадки как можно быстрее. Пожалуйста, зайдите позже.”)

Возникла еще и проблема с самой стратегией АНБ. Вполне возможно, его программа надзора и помогла предотвратить новые атаки со стороны “Аль-Каиды”. Свидетельств, предоставленных Сноуденом, недостаточно для того, чтобы сделать вывод о бесполезности PRISM. Однако ущерб, нанесенный репутации США – особенно в глазах их союзников, – определенно перевесил все имевшиеся выгоды. Именно после утечек Сноудена США уступили требованиям других стран и вывели Корпорацию по управлению доменными именами и IP-адресами (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*, ICANN) из-под надзора своего министерства торговли; теперь она находится под контролем “международного многостороннего сообщества”^[1298]. В любом случае сети способны перестраиваться быстрее, чем иерархии. Как и предвидели некоторые аналитики, джихадисты подстроились под административно-командную контртеррористическую стратегию, мутировав из сравнительно замкнутой сети, какой была “Аль-Каида”, в некое образование, к которому больше подходит определение “рой”^[1299]. Однако на первом лихорадочном этапе “глобальной войны с террором” никто не предвидел того, что самые

пылкие противники западного прогресса научатся применять для достижения собственных целей технологии Кремниевой долины.

Администрация Обамы радостно объявила казнь Усамы бен Ладена в мае 2011 года большой победой. На деле она лишь подтвердила, что “Аль-Каида” морально устарела. К тому времени инициатива уже перешла от руководства организации к ее иракскому филиалу, а он, отказавшись от прямых атак на объекты в США, избрал в качестве мишени иракских шиитов и ставил себе в заслугу особую “свирепость” (*tawahouash*)^[1300]. Конечно, введя в Ирак воинский контингент, США нанесли массированный ущерб сети Заркави. Однако прежде чем эта задача была окончательно выполнена, администрация Обамы приняла решение о выводе войск. Это стало первым промахом в череде катастрофических ошибок. Администрация Обамы поддержала преимущественно шиитское правительство премьер-министра Нури аль-Малики, хотя оно раздувало пламя недовольства среди суннитов. Президент без малейших колебаний уволил Маккрисала из-за опрометчивых замечаний его подчиненного, которые были опубликованы в журнале *Rolling Stone*. Когда Обаму спросили о новой группировке под названием “Исламское государство Ирака и Леванта” (ИГИЛ, ISIS) ♦, тот легкомысленно ответил, что это просто “запасная спортивная команда” “Аль-Каиды”. Наконец, отказавшись вмешиваться в дела Сирии, где разгоралась гражданская война, Обама способствовал возникновению нового вакуума, который охотно заполнило ИГИЛ^[1301].

ИГИЛ в четырех отношениях фундаментально отличалось от “Аль-Каиды”. Его идеология опиралась на заявление его лидера, Абу Бакра аль-Багдади, о том, что 29 июня 2014 года был воссоздан Халифат. Риторика аль-Багдади, обнародовавшего свою декларацию через интернет, чем-то напоминала призыв к джихаду, с которым за сто лет до этого, на раннем этапе Первой мировой войны, обратился к мусульманам Османский режим. Там говорилось: “Непозволительно никому из верующих в Аллаха спать без мысли о своем повелителе, который захватил власть над людьми мечом и стал халифом, именуемым амир-уль-муминин [повелитель правоверных]”. Это был призыв к вооруженной борьбе, адресованный всем мусульманам:

Спешите же, о мусульмане, собраться вокруг своего халифа, и вы сделаетесь вновь властелинами земли и воителями, какими были прежде многие века. Добивайтесь, чтобы вас снова начали чтить и

уважать, живите как хозяева – с достоинством. Знайте, что мы боремся за религию, которую обещал поддерживать сам Аллах. Мы боремся за умму, которой сам Аллах даровал честь, уважение, водительство и обещал ей... укрепление и силу на земле. Стремитесь же, о мусульмане, обрести честь и одержать победу. По воле Аллаха, если вы не верите в демократию, светское образование, национализм и прочий мусор и чепуху, идущие с Запада, а устремляетесь к своей религии и вере, тогда, по воле Аллаха, вы завоюете землю, и вам покорятся Восток и Запад. Это вам обещает Аллах...

Мы – именем Аллаха – не находим никакого законного (*shar'ī*) оправдания, какое помешало бы вам поддержать наше Государство... Если вы отвернетесь от Государства или пойдете на него войной, то вы ему не повредите. Вы повредите лишь самим себе...

О воины Исламского государства, Аллах (Всевышний) велел нам [начать] джихад и обещал нам... победу... А если кто-то захочет нарушить строй, разmozжите ему голову пулями и вытряхните внутренности [то есть, ее содержимое], кто бы он ни был... [\[1302\]](#)

Однако, в отличие от 1914 года, сейчас уже не шла речь о том, что необходимо щадить неверных союзников, придерживаясь хорошо просчитанной региональной стратегии. Конечной целью ИГИЛ было приблизить конец света – оно желало не одержать традиционную военную победу, а исполнить пророчество об исламистском Армагеддоне – последней битве с неверными в Дабике.

ИГИЛ не бросало слова на ветер, а неукоснительно следовало им – с самым лютым буквализмом. По словам Грэма Вуда, идеология игиловцев сводилась “к искреннему, тщательно взвешенному желанию вернуть цивилизацию в правовое поле VII века, а в конечном счете – подвести ее к полной гибели”. Правда состоит в том, писал Вуд в марте 2015 года, что “Исламское государство” – исламское. Очень исламское... Еще никто не пытался с таким упорством насильно насадить шариат. Вот так он и выглядит”, – а именно с обращением в рабство, отрубанием рук и ног, обезглавливанием, забиванием камнями и распятиями [\[1303\]](#). В-третьих, ИГИЛ было общедоступной сетью и систематически не только пропагандировало свои идеи, но и распространяло самые чудовищные наглядные примеры показательных расправ, пользуясь десятками тысяч связанных между собой аккаунтов в *Twitter*, а также в *Facebook* и *YouTube* [\[1304\]](#). В каком-то смысле именно медиаоперация ИГИЛ стала самым мощным оружием в борьбе с

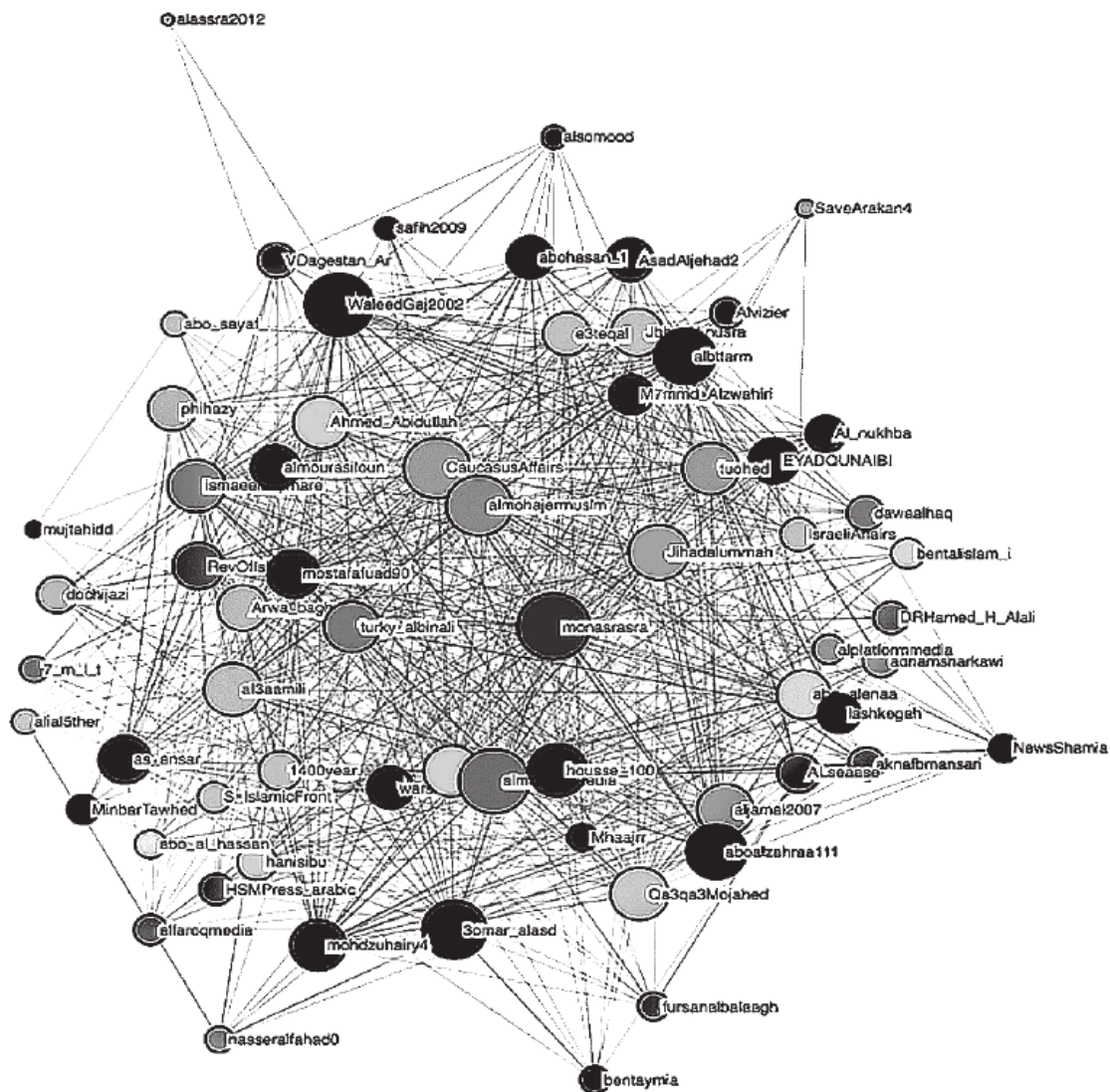
длительной кампанией, целью которой было уничтожить его главарей^[1305]. Наконец, ИГИЛ было устроено совершенно иначе, чем “Аль-Каида”. На Ближнем Востоке оно задалось целью сделаться настоящим территориальным государством и стереть границы столетней давности, существующие со времен соглашения Сайкса – Пико^{[1306][1307]}. В широкой зоне стран с преобладанием мусульман среди населения – от Северной Африки до Южной Азии – оно создало целую конфедерацию филиалов. На Западе оно попыталось сплести новую и гораздо более рыхлую сеть джихадистов и заманило в Мосул и Ракку 15 тысяч самых истовых приверженцев^[1308], а других подстрекало совершать самые жестокие и беспорядочные теракты в городах Запада. Простейший принцип работы на местах был сформулирован в призыве шейха Абу Мухаммеда аль-Аднани к мусульманам западных стран: найти неверного и “разбить ему голову камнем”^[1309]. Однако графики, отражающие устройство проигиловской онлайн-сети, показывают, что в интернете террористы действовали весьма изощренно^[1310]. Группировка медиамоджахедов, используя множество аккаунтов сразу, постоянно трансформировалась, будто пчелиный рой или птичий клин, чтобы избежать закрытия аккаунтов^[1311]. Что удивительно, анализ центральности по посредничеству узлов ИГИЛ показал, что ключевую роль в этой организации играют женщины^[1312].

Как же откликнулась администрация Обамы на действия ИГИЛ? Она решила обезглавить его, как обезглавила “Аль-Каиду”. Никто не пожелал задуматься о том, что, быть может, тот враг, который грозил западному миру сейчас, – это сеть без вожаков, “безголовое чудище”, и уничтожить его будет не легче, чем лернейскую гидру из древнегреческих мифов^[1313]. В то же время президент всячески отмахивался от идеологии ИГИЛ и постоянно повторял, будто эта организация “не имеет ничего общего с исламом”. Вбив себе в голову, что открыто заговорить о том, что игиловцы самым буквальным образом толкуют заповеди Корана, означало бы узаконить “исламобофию”, Обама велел чиновникам вообще ни словом не упоминать об исламе и говорить лишь о “борьбе с воинствующим экстремизмом”. Крайне неохотно он согласился отдать приказ о нанесении авиаударов по базам ИГИЛ, и то лишь после гневных протестов, какими общество отозвалось на жестокие казни американских и британских заложников в 2014 году^[1314].

В результате этих ошибок мир сейчас охвачен эпидемией исламистского терроризма. Из последних шестнадцати лет самым трагическим оказался 2014-й: тогда террористическим атакам подверглись 93 страны и погибли около 33 тысяч человек. На втором месте оказался 2015 год, когда от рук террористов погибли больше 29 тысяч человек. В тот год за три четверти всех случаев гибели людей от терактов были ответственны четыре группы исламских радикалов: “Исламское государство”, “Боко Харам”, “Талибан” и “Аль-Каида”^[1315]. ИГИЛ совершало более сотни терактов в месяц^[1316]. Хотя больше всего от атак джихадистов страдали страны, где мусульмане составляют большинство населения, Запад стал подвергаться нападениям все чаще. В 2015 году в западных странах было совершено 64 теракта, ответственность за которые взяло на себя ИГИЛ, – в том числе массовые убийства в Париже (130 жертв) и Орландо (49 жертв)^[1317]. В течение одной только недели, пока я пишу эту главу, произошли теракты в Антверпене, Лондоне и Париже. За последние двенадцать лет многих других людей удалось спасти от смерти лишь благодаря неусыпной бдительности западных спецслужб. В 2014–2015 годах в Великобритании было произведено больше арестов, связанных с терроризмом, чем за какой-либо другой год, считая с 2000-го^[1318]. В целом с 1998 года в британских судах было рассмотрено 135 дел, имевших отношение к терроризму, в результате было осуждено 264 человека, а с 2010 года теракты стали совершаться примерно вдвое чаще^[1319]. И все-таки, как бы ни активизировали свои усилия спецслужбы, нельзя надеяться на то, что каждого джихадиста удастся обезвредить заблаговременно.

Главная сложность состоит в том, что против сети ИГИЛ традиционная контртеррористическая тактика бессильна. И, в отличие от распространенного мнения, вовсе не потому, что игиловцы – это “волки-одиночки”, которых очень трудно вычислить именно в силу их разобщенности. Парижские теракты, совершенные в ноябре 2015 года, представляли собой четко спланированную операцию, и в ее подготовке, помимо девятиерых нападавших, участвовало еще около восемнадцати человек^[1320]. В любом случае джихадистами не становятся ни с того ни с сего, просто так блуждая по интернету. Джихаду всегда предшествует “дают” (буквально “призыв”, “приглашение”) – ненасильственная, но тлетворная радикализация, в процессе которой обычный мелкий преступник превращается в фанатика-изувера^[1321]. Сеть,

занимающаяся “даватом”, принимает множество форм. В Великобритании главную роль играла группировка “Аль-Мухаджирун” (“Эмигранты”). Но существует и много других, менее заметных организаций – исламских центров с теневыми имамами, – которые активно распространяют отраву для умов^[1322]. На первый взгляд результаты опросов, проводившихся среди британских мусульман, кажутся обнадеживающими. Около 90 % всех респондентов, опрошенных в 2016 году аналитическим центром *Policy Exchange*, осудили терроризм. Менее чем каждый десятый назвал исламофобию “важной проблемой”, и лишь 7 % признались, что не ощущают себя по-настоящему “своими” в Британии. Однако почти половина опрошенных ответили, что не хотели бы полностью объединяться с немусульманами во всех областях жизни и предпочли бы соблюдать некоторую дистанцию – прежде всего в сфере образования и законов. На вопрос, поддержали бы они введение шариата, положительно ответили 43 % респондентов. Две пятых сообщили, что они – за раздельное обучение мальчиков и девочек. Явное большинство опрошенных, живущих на юге страны, высказались за то, чтобы частью школьной формы для девочек стали хиджаб или никаб. И каждый десятый из всей выборки выступил против запрета на такое обучение, которое “способствует распространению экстремистских взглядов или считается несовместимым с основополагающими британскими ценностями”. Что тревожнее всего, почти треть опрошенных (31 %) заявили, что, по их мнению, за терактами 11 сентября стоит американское правительство. Людей, обвинивших в терактах 11 сентября “евреев”, оказалось больше (7 %), чем тех, кто считал, что это дело рук “Аль-Каиды” (всего 4 %)^[1323].



Илл. 44. 66 “самых важных джихадистских и поддерживающих джихад и моджахедов страниц в *Twitter*”, рекомендованных блогером-джихадистом Ахмадом Абдаллой в феврале 2013 года. Плотность сети на этом графике составляет примерно 0,2, а значит, около 20 % всех связей, какие могли бы существовать теоретически, действительно существуют. Эта сеть и служила системой доставки чудовищных видео, которые распространяло ИГИЛ в 2014 году.

Ни один серьезный исследователь исламизма не поверит в то, что подобные настроения вызваны социальной изоляцией и что положение можно изменить, создавая новые рабочие места или увеличивая размер социальных пособий^[1324]. И никто из тех, кто ведет онлайн-борьбу против ИГИЛ, не питает заблуждений, будто, требуя от *Twitter* удалять проигиловские аккаунты, можно добиться хоть сколько-нибудь ощутимого успеха^[1325]. Джихадисты давно уже освоили *Telegram*, *justpaste.it* и российскую соцсеть ВКонтакте^[1326].

После 7 июля антитеррористическая стратегия британского правительства *CONTEST* была активно переориентирована на то, чтобы мешать людям становиться террористами или поддерживать терроризм. Закон о безопасности и противодействии терроризму 2015 года даже возлагал на полицию, тюрьмы, местные власти, школы и университеты ответственность следить за тем, чтобы “людей не втягивали в террористическую деятельность”. Будучи министром внутренних дел, Тереза Мэй торжественно обещала “систематически противостоять и противиться экстремистской идеологии”^[1327]. За это ее осуждали Мусульманский совет Великобритании, Хизб-ут-Тахрир, Организация коммерческих и государственных предприятий (CAGE) и Исламская комиссия по правам человека, которым вторили и оказывали поддержку сочувствующие из Национального союза учителей^[1328]. Но реальность такова, что одного только призыва – “мешать” – недостаточно. Беда в том, что очень трудно помешать такой сети, как эта, если она продолжает процветать даже в тюрьмах. Согласно данным, опубликованным в феврале министерством юстиции, количество мусульман, заключенных в тюрьмы (за все виды правонарушений), увеличилось за период между 2004 и 2014 годами более чем вдвое и достигло 12 255 человек. Среди заключенных в Англии и Уэльсе каждый седьмой – мусульманин^[1329].

Эта проблема со временем никуда не девается, как хорошо видно на примере Франции. Там мусульмане составляют по меньшей мере 8 % населения, а по примерным прогнозам исследовательского центра Пью, Британия достигнет этого показателя к 2030 году^[1330]. По оценкам французских властей, в стране проживает 11 400 радикальных исламистов – гораздо больше, чем возможно эффективно держать под надзором. По мнению Фархада Хосрохавара, мусульмане составляют не менее 70–80 % заключенных в тюрьмах, расположенных на окраинах французских городов, и 40 % заключенных всех французских тюрем в возрасте от 18 до 24 лет^[1331]. Согласно официальным данным, в 2013 году 27 % населения французских тюрем соблюдали пост во время месяца Рамадана^[1332]. Положение осложняется еще и ростом миграции в Европу из Северной Африки, стран Ближнего Востока и Южной Азии: в частности, только в 2015 году в Германию прибыло более миллиона беженцев, ищущих политического убежища, и экономических мигрантов. Подавляющее большинство этих беженцев отдают предпочтение шариату: например, это 84 %

пакистанцев и 91 % иракцев. Из этих приверженцев исламского права три четверти пакистанцев и более чем две пятых иракцев поддерживают смертную казнь за вероотступничество^[1333]. Если даже “Исламское государство” и потерпит поражение в Ираке и Сирии (что кажется вероятным), созданная им в киберпространстве и на Западе сеть продолжит существовать, и в этой токсичной среде и дальше будут множиться пропагандирующие джихад мемы, толкая все новых и новых неприкаянных мусульман на путь убийства и мученичества.

Глава 56

9.11.2016

Большинство людей выходит в интернет не для того, чтобы участвовать во флэшмобах или смотреть, как кому-то отрубает головы. Они сплетничают, делают покупки, делятся картинками, анекдотами, просматривают короткие видео (футбольные голы, котики, секс). Все нервные проводящие пути, проторенные в ходе эволюции, сделали нас безудержно восприимчивыми к нескончаемым стимулам и тычкам в виде твитов, которые размещают электронные группы наших друзей. Сети потакают нашему самолюбанию (селфи), нашей привычке быстро переключать внимание (140 знаков) и нашей, по-видимому, ненасытной жажде узнавать что-то новое о знаменитостях, которых прославило телевидение с его реалити-шоу. Вот что придает опознаваемые черты современной демократии. Что могло бы приковать наше внимание, пусть даже ненадолго, к скучному вопросу: как нами будут править – или хотя бы кто? Сегодня, говоря о популизме^[1334], мы иногда имеем в виду всего лишь такую политику, которая уловима и доступна для понимания простого человека с улицы – а точнее, для мужчин или женщин на диване. Внимание этих людей постоянно судорожно скачет от плоского экрана телевизора на лэптоп, от лэптопа к смартфону, от смартфона к планшету – и обратно к телевизору. А на работе эти люди сидят перед настольным компьютером, но большую часть времени утыкаются в смартфоны и обмениваются между собой многозначительными личными сообщениями.

В развитых странах многие люди остаются онлайн вообще все время, пока не спят. Больше двух пятых американцев, по их словам, постоянно проверяют электронную почту, текстовые сообщения и аккаунты в соцсетях^[1335]. С мая 2012 по май 2016 года количество обладателей смартфонов в Великобритании взлетело с 52 до 81 % взрослого населения. Теперь смартфоны имеются у девяти из десяти британцев в возрасте от 18 до 44 лет. Они постоянно и машинально утыкаются в эти устройства – и дома, и на работе, и по пути туда или обратно. Больше двух третей не расстаются со смартфонами, даже ужиная с семьей. Они откладывают гаджеты, только когда ложатся спать, но даже это дается им нелегко. Больше половины британцев, имеющих смартфоны, тянутся к ним через

полчаса после того, как выключили свет, четверть – через двадцать пять минут, и каждый десятый – и того раньше. Опять-таки четверть заглядывают в смартфоны сразу же, как только проснутся, треть – через пять минут после пробуждения, и половина – через четверть часа^[1336]. Американцы подсели на тот же крючок не менее крепко. Еще в 2009 году среднестатистический американец связывался с кем-нибудь по мобильному телефону 195 дней в году, отправлял или получал СМС 125 дней в году, пользовался электронной почтой 72 дня в год, мгновенными сообщениями – 55 дней в году и контактировал с кем-либо при помощи сайтов соцсетей 39 дней в году^[1337]. В 2012 году американцы обращались к своим мобильным телефонам по 150 раз в день. В 2016-м они уже проводили в среднем по пять часов в день, уткнувшись в телефоны. Ни одна теория о популистском бунте, захлестнувшем Европу и США после 2008 года, не будет полной, если она пройдет мимо этой поразительной трансформации публичного пространства, которую вполне можно было бы назвать тотальным вторжением в личное пространство.

Без сомнения, значительно выросшие симпатии к популистам со стороны как левых, как и правых частично объясняются революцией падающих экономических ожиданий, о которой шла речь выше^[1338]. Без сомнения, культурная негативная реакция на мультикультурализм логично дополняла протест против экономической глобализации^[1339]. И все же, как заметила Рени Диреста, цифровая толпа 2010-х коренным образом отличается от толпы 1930-х, которая так завораживала и одновременно ужасала Элиаса Канетти^[1340]:

1. Толпа всегда хочет расти – и всегда может, если ей не мешают физически.
2. Внутри толпы всегда равенство – но заодно и больше обмана, подозрений и манипуляций.
3. Толпа любит толчею – и цифровые “личности” можно плодить с большей плотностью.
4. Толпа любит, чтобы ее направляли, – и легко ведется на дешевые рекламные ловушки^[1341].

Тех, кто возлагал надежды на “мудрость” толпы, рисуя себе благостную картину “толпотворной” политики, ожидало жестокое разочарование. “В присутствии социального влияния, – заметили

два специалиста по сетям, – действия людей становятся зависимыми друг от друга, что вдребезги разрушает наши представления о мудрости толпы. Когда толпы впадают во взаимозависимость, ими можно управлять, чтобы доносить до масс информацию – даже неправдивую”^[1342].

Если оглянуться назад с высоты 2017 года, то кажется, будто президентские выборы 2008 года происходили в далеком прошлом. У Джона Маккейна, проигравшего кандидата-республиканца, было всего 4492 подписчика в *Twitter* и 625 тысяч друзей в *Facebook*. Он признавался, что не пользуется электронной почтой и вообще интернетом^[1343]. Для него стал полной неожиданностью не только финансовый кризис, в котором вскоре обвинили его партию, но и первая предвыборная кампания, развернувшаяся в социальных сетях. У Барака Обамы имелось в четыре раза больше фейсбучных друзей, чем у Маккейна, и в двадцать шесть раз больше подписчиков в *Twitter*. Его веб-сайт (www.barackobama.com), разработанный Крисом Хьюзом, одним из основателей *Facebook*, оказался жизненно важной системой не только для обмена сообщениями, но и для сбора средств. Либеральные элиты на обоих побережьях злорадствовали по поводу разгрома Маккейна: пожилой белый ветеран с многолетним вашингтонским опытом за плечами проиграл вчистую молодому, самоуверенному афроамериканцу – “общественнику” и сенатору всего с одним сроком на счету. Лишь немногие обратили внимание на две тревожные особенности этого состязания. Во-первых, гомофилия в социальных сетях, похоже, обернулась поляризацией, когда главной темой обсуждения сделалась политика, и в “эхокамере” коллективной предвзятости взгляды отдельных людей стали тяготеть к крайностям^[1344]. Во-вторых – хотя официально это было продемонстрировано лишь в ходе промежуточных выборов в конгресс в 2010 году, – *Facebook* оказался чрезвычайно эффективным инструментом политической мобилизации, особенно если его пускали в ход против местных нецифровых сетей^[1345].

Выводы, которые отсюда следовали, не прошли мимо Доминика Каммингса, организатора кампании *Vote Leave* (“Голосуй за выход”), в итоге победившей в 2016 году на референдуме по вопросу о членстве Британии в Европейском союзе. Каммингс был чуть ли не единственным в британских политических кругах, кто давно интересовался не только историей (ее он изучал в Оксфорде), но и структурной сложностью и сетями. Имея в своем распоряжении

лишь ограниченный бюджет (10 миллионов фунтов) и ограниченный срок (10 месяцев), Каммингс вступил в борьбу не только с “лицами, принимающими решения на самой вершине централизованной иерархии” – а они почти все выступали против Брексита, – но и с недисциплинированными политиками, занимавшими ту же позицию, что и он сам. Вероятность победить была выше у противников выхода Британии из ЕС. Среди причин доставшейся с большим трудом победы, по словам Каммингса, были: “почти миллиард адресных цифровых рекламных баннеров”, экспериментальные соцопросы, команда специалистов по обработке данных, набранная из “очень умных физиков”, и “бейсбольная бита с надписями «Турция/ГСЗ/350 миллионов фунтов»” (это был намек на далеко не правдивые в целом лозунги, которые, “как показали эксперименты, эффективнее всего” убеждали людей голосовать за выход из ЕС). Брексит в глазах Каммингса вовсе не был победой популистов правого толка – в его кампанию были намеренно включены элементы, ориентированные и на правых, и на левых (новые волны мусульманской иммиграции – если в ЕС вступит Турция, больше денег для Государственной службы здравоохранения – если Британия выйдет из ЕС). Как указывал несколькими годами ранее Дэвид Гудхарт, недовольство иммиграцией и поддержка социального государства – взаимодополняющие позиции^[1346]. Скорее, по мнению Каммингса, Брексит стал победой “здоровой и эффективной системы” “английского общего права, которое позволяет постоянно и быстро исправлять ошибки”, над “нездоровыми и неэффективными системами вроде ЕС и сегодняшних министерств Уайтхолла... [которые] чрезмерно централизованы и иерархичны”, а потому не способны на эффективное решение проблем^[1347]. Словом, Брексит стал победой сети – и науки о сетях – над иерархией британской правящей верхушки. Пока Дэвид Кэмерон и Джордж Осборн вели кампанию традиционными методами, бросив все силы на разъяснение экономических рисков, какие влечет за собой выход из ЕС, Каммингс использовал “Систему сбора данных об избирательских намерениях” (*Voter Intention Collection System, VICS*) и *Facebook*, чтобы вирусным путем распространять свою идею: имеет смысл заплатить некоторую экономическую цену за то, чтобы “вернуть себе контроль”. Каммингс вспоминал: “Мы изготавливали различные виды рекламных баннеров, проверяли их, убирали менее эффективные и усиленно пускали в ход наиболее

эффективные. Это был постоянный многоэтапный процесс”^[1348]. Высказывались мнения, что с этой технологией Каммингс познакомился благодаря аналитической компании *Cambridge Analytica*, принадлежащей американскому управляющему хедж-фондом Роберту Мёрсеру^[1349].

Брекзит стал генеральной репетицией президентских выборов 2016 года в США. Как и в Британии, в США политический истеблишмент даже не сомневался, что старые методы исправно сработают. Хотя на традиционную агитацию были истрачены сотни миллионов долларов, Джеб Буш и Хиллари Клинтон с большим трудом пытались установить контакт с большей частью своих сторонников. Зато наладить связь с избирателями в первые месяцы 2016 года удалось нью-йоркскому магнату с сомнительной репутацией, разбогатевшему на рынке недвижимости, и язвительному социалисту из Вермонта. Опять-таки относительно неструктурированные сети бросили вызов старомодным иерархиям: и не только давно учрежденным партиям, которые, по мнению политологов, “решают все” в подобных состязаниях, но и династиям – Бушам и Клинтонам, прочно утвердившимся в политических верхах с 1980-х годов. Что характерно, и Дональд Трамп, и Берни Сандерс вели свои кампании как “люди со стороны”, выражая неприязнь к вашингтонской иерархии и излагая такие идеи, как, например, нативистские, протекционистские и социалистические, которые давно уже считались неподобающими и выходящими за рамки американской демократии. После того как Сандерса вытеснили благодаря системе “выборщиков-суперделегатов”, придуманной для того, чтобы внутри демократической партии власть максимально сосредоточивалась в руках элиты, сцена была готова для очистительной битвы между Клинтон – этим олицетворением иерархического политического истеблишмента – и Трампом, которого истеблишмент “понимал буквально, но не принимал всерьез”, по меткому выражению Салены Зито^[1350]. А вот необходимое число избирателей восприняли его всерьез, не понимая при этом буквально, именно потому, что безмасштабная сеть Трампа, опиравшаяся одновременно на самоорганизацию и на вирусный маркетинг, взяла верх над иерархически организованной, но чересчур сложной кампанией Клинтон. При этом нельзя сказать, что кампании Клинтон не хватало собственных сетей. Скорее наоборот, она страдала от их избытка. Была “сеть спонсоров, друзей, союзников и советников” – “гигантская сеть по

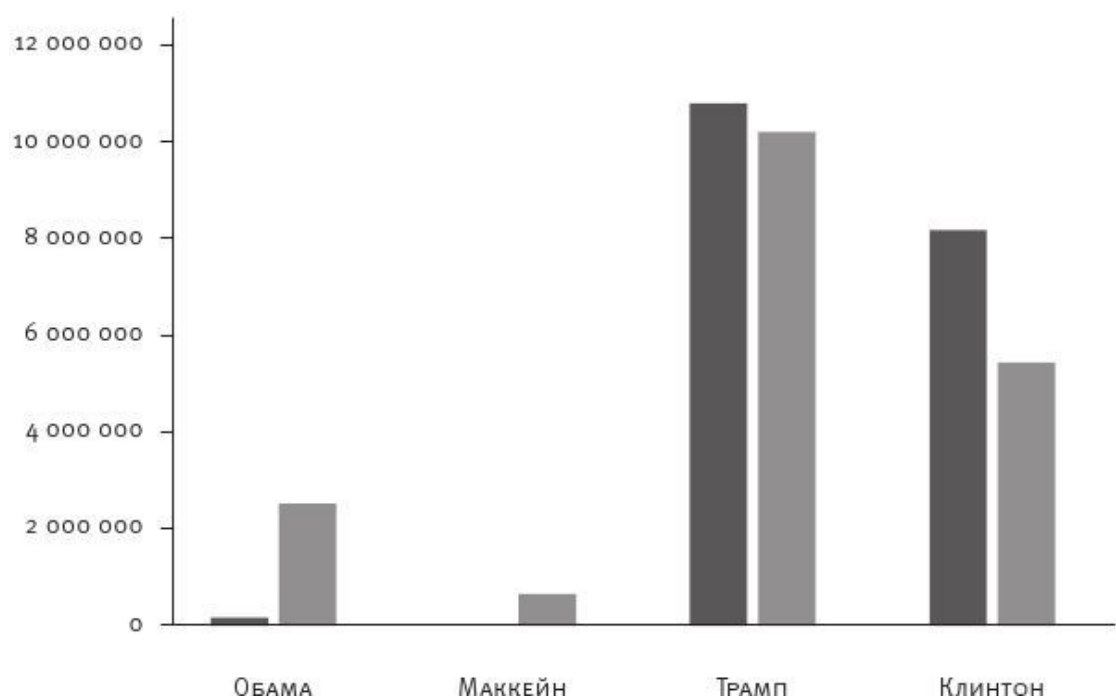
привлечению средств”, оставшаяся еще со времен лучшей поры ее мужа. Был еще комитет политического действия “За Хиллари”, который “отвечал за создание энтузиазма в массах... [и] предоставлял в распоряжение Клинтон сеть, раскинутую по разным штатам”^[1351]. А еще имелась “обширная сеть советников на общественных началах и профессиональных скептиков”, заправских знатоков политики со степенями из Йельской школы права, которые деловито выдавали по пунктам целые списки тезисов, имевших минимальную электоральную ценность^[1352]. Однако Робби Мук, руководитель избирательной кампании Клинтон, закрыл агитационный комитет “За Хиллари” и сократил число местных руководителей в разных штатах. Хотя ведущих политтехнологов, которых разослали затыкать дыры на местах, даже окрестили “уберами”, общая эффективность кампании явно была переоценена^[1353]. За всей этой сложностью перестала просматриваться простая истина – а именно что кандидатке все равно не удастся достучаться до основного электората, что гораздо лучше получается у ее опаснейшего противника.

Что социальные сети играли решающую роль в предвыборной кампании 2016 года, кажется очевидным, пускай даже для среднего избирателя телевидение и сохраняло большее значение^[1354]. Приблизительно половина американцев пользовалась *Facebook* и другими сайтами социальных сетей, чтобы следить за ходом кампании, причем чаще всего это были избиратели моложе 50 лет^[1355]. А около трети пользователей соцсетей комментировали и обсуждали политические новости или публиковали собственные посты на эту тему, – несмотря на широко распространенное мнение о том, что дискуссии в соцсетях проходят гораздо менее цивилизованно, чем на других площадках^[1356]. Впрочем, решающим моментом стало то, что на последнем этапе выборов (после партийных съездов) один кандидат был представлен в соцсетях гораздо заметнее, чем второй. У Трампа в *Twitter* было на 32 % больше подписчиков, чем у Клинтон, и на 87 % больше сторонников в *Facebook*^[1357]. За несколько дней до выборов Трамп собрал 12 миллионов фейсбучных “лайков” – на 4 миллиона больше, чем Клинтон^[1358]. Трамп опережал Клинтон и по более важному фейсбучному параметру “интереса” – причем во всех до одного штатах. (Жители Миссисипи проявляли почти в двенадцать раз больше интереса к Трампу, чем к Клинтон, но даже жителям Нью-Йорка Трамп казался в три раза интереснее, чем она.) Все главные

“колеблющиеся” штаты Среднего Запада ясно сигнализировали о своих избирательских намерениях через *Facebook*. Сходная картина просматривалась и в *Twitter*. С 11 по 31 мая 2016 года у постов Трампа в *Twitter* было в среднем почти шесть тысяч ретвитов, тогда как на твиты Клинтон пришлось только полторы тысячи ретвитов^[1359]. А еще в кампании Трампа искусно использовался *YouTube* – например, на заключительном этапе агитационных нападков на глобальную элиту: Клинтон, Сороса, банк *Goldman Sachs*^[1360]. Самое главное, кампания Трампа, как и британская кампания *Vote Leave*, на полную мощность использовала возможности *Facebook* оценивать эффективность агитационной рекламы, запуская десятки тысяч вариантов и выясняя, какие из них сильнее всего воздействуют на избирателей^[1361].

Все сложилось самым парадоксальным образом, так как с самого начала Кремниевая долина стояла за Клинтон. Сотрудники *Google* пожертвовали на ее кампанию 1,3 миллиона долларов – и, для сравнения, всего 26 тысяч на кампанию Трампа. Стартап Эрика Шмидта *Groundwork* предоставил кампании Клинтон информационную поддержку^[1362]. Марк Цукерберг испытал отвращение, когда Трамп бросил через *Facebook* клич – полностью закрыть для мусульман въезд в США, а информационно-технологический блог *Gizmodo* стал намекать на то, что *Facebook* манипулирует рейтингом наиболее актуальных тем, чтобы снизить популярность Трампа^[1363]. Сам Цукерберг не скрывал, что взгляды Трампа вызывают у него презрение^[1364]. Однако сети, в создание которых он и Шмидт вложили столько труда, использовались теперь для продвижения идей, вызывавших неприятие и у них обоих, и у их сотрудников, а еще помогали собирать средства на кампанию Трампа^[1365]. И даже если бы *Google* и *Facebook* каким-то образом забанили Трампа, они бы лишь увеличили трафик других сетей – вроде анонимных форумов *4Chan* и *8Chan*, где зародилось движение “альтернативных правых”. Позднее провокаторы из этой группы – Мэтт Брейнард, Чарльз Джонсон и родившийся в Британии журналист и редактор *Breitbart News* Майло Яннопулос – похвалялись, что это они и их сеть привели Дональда Трампа на пост президента, “засоряя” интернет-пространство мемами вроде мультяшного лягушонка Пепе и оскорбительного прозвища консерваторов – *cucks* (сокращение от *cuckservative* – гибрида слов *conservative* (консервативный) и *cuckold* – (рогоносец)^[1366]. Разумеется, организаторы кампании Трампа и сеть альтернативных

правых тесно взаимодействовали: команда, работавшая на Трампа, использовала подфорум *TheTrump* на сайте reddit.com как средство коммуникации между 4Chan и основными сайтами. Именно по этим каналам шло очернение Клинтон как “самого коррумпированного кандидата в истории”, а руководителя ее избирательной кампании обвинили в связи с несуществующей бандой педофилов, будто бы засевшей в одной вашингтонской пиццерии^[1367]. До сих пор не утихают горячие споры о том, насколько важную роль сыграла в победе Трампа *Cambridge Analytica*^[1368]. Возможно, составление “психологических профилей” отдельных избирателей вовсе не имело того значения, на которое намекал руководитель этой компании Александр Никс^[1369]. Труднее оспорить другое: из-за того, что кампания Трампа связалась с альтернативными правыми, в американскую политику вновь прорвался антисемитизм, которого не наблюдалось там с 1930-х годов^[1370]. Однако Трамп победил не поэтому.



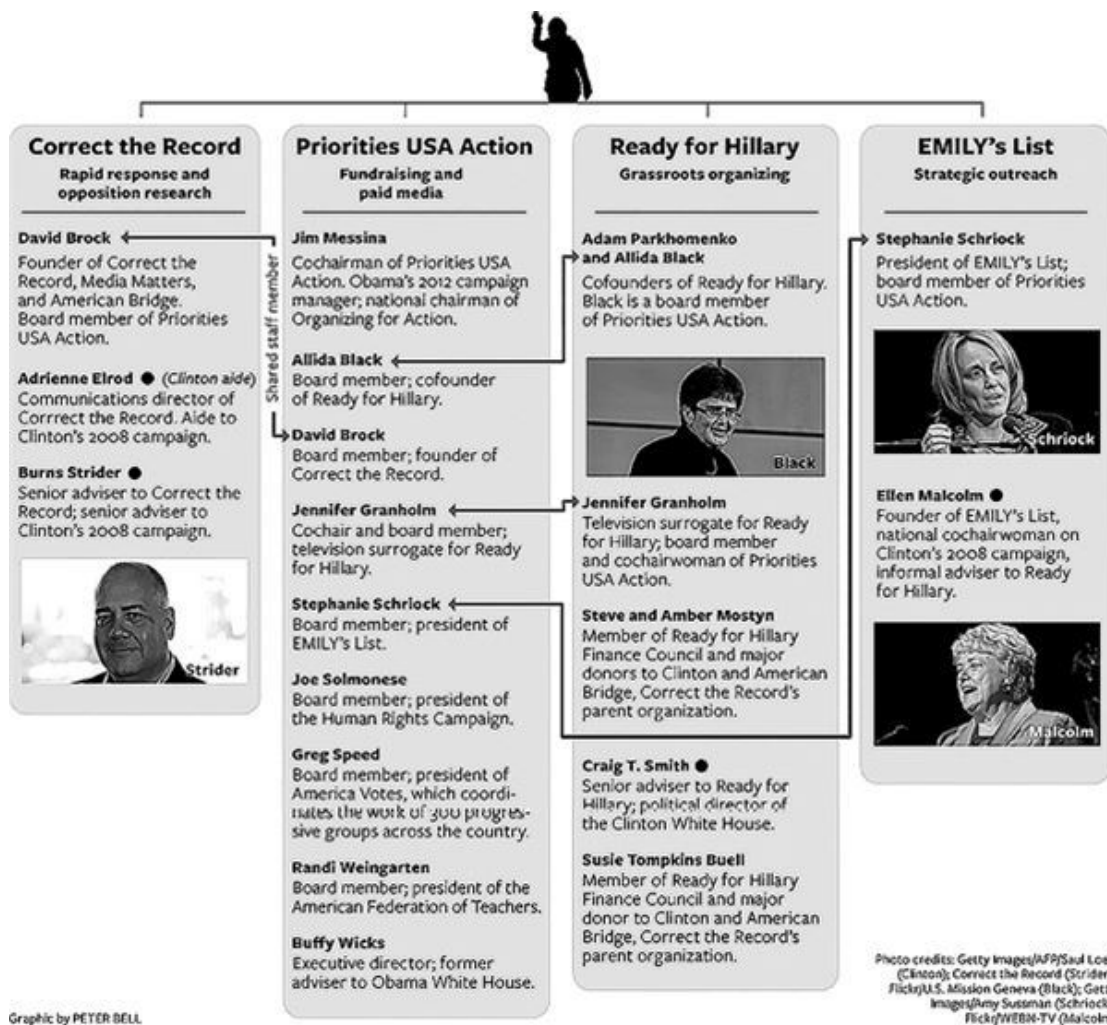
Илл. 45. Подписчики главных кандидатов на президентских выборах в *Twitter* и *Facebook* в 2008 и 2016 годах.

Пожалуй, самым болезненным моментом в выборах 2016 года для властителей Кремниевой долины стало то, что их сетями пользовались для распространения лживых историй – тех самых “фейковых новостей”, на которые неоднократно жаловался сам Трамп, продолжая при этом распускать множество собственных

фальшивок и пустышек. В сентябре *Facebook* разнес выдуманную новость о том, что Трампа поддержал папа римский^[1371]. В ноябре *Google* нечаянно поместил в топ новостей сфабрикованное сообщение о том, что Трамп якобы победил на прямых выборах^[1372]. Это тоже сыграло на руку Трампу. Из всех заведомо фальшивых новостей, которые распространялись в течение трех месяцев до выборов, антитрамповскими новостями пользователи *Facebook* делились 8 миллионов раз, а антиклинтоновскими – 30 миллионов раз^[1373]. Почти четверть ссылок, появлявшихся в твитах у выборки из 140 тысяч мичиганских пользователей в течение десяти дней до 11 ноября, вели к фальшивым новостям^[1374].

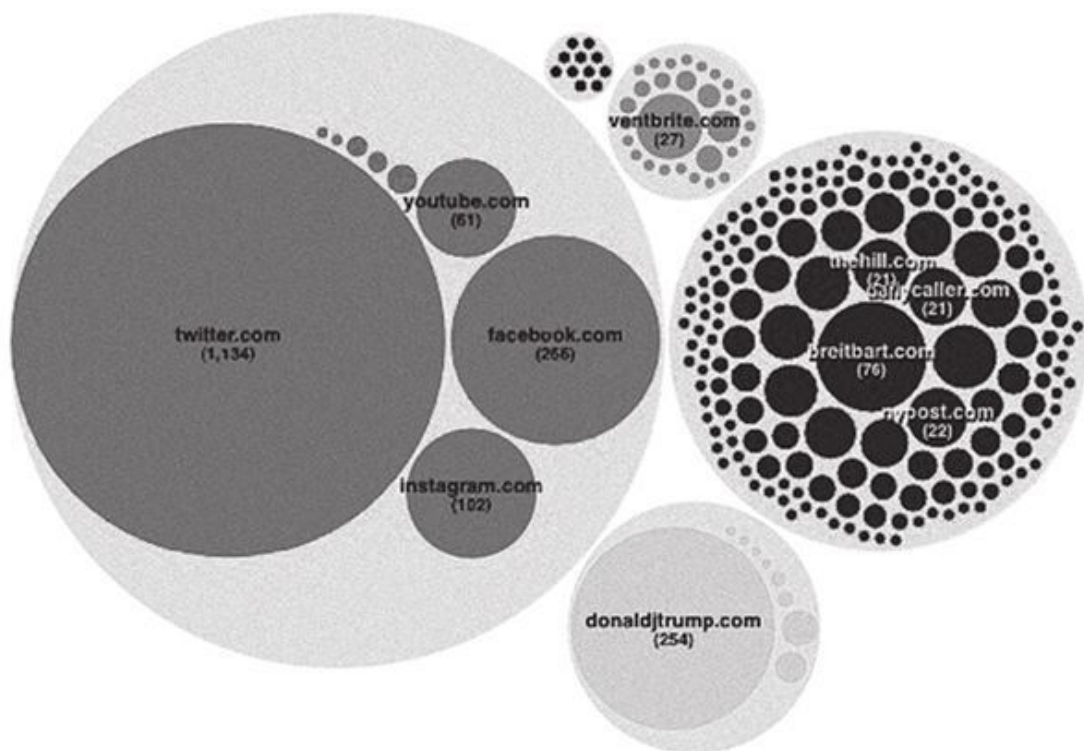
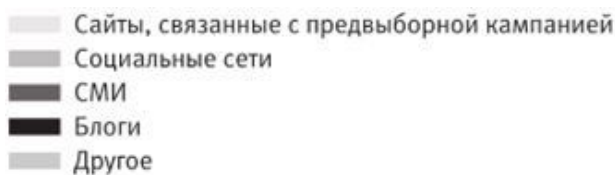
Выборы 2016 года ознаменовались самой напряженной за всю американскую историю борьбой – даже более напряженной, чем борьба за исход британского референдума о выходе из ЕС. Если бы менее 39 тысяч избирателей в трех “колеблющихся” штатах (Мичигане, Пенсильвании и Висконсине) отдали голоса за Клинтон, а не за Трампа, то она победила бы и на прямых выборах, и в коллегии выборщиков. Историки будут бесконечно спорить о том, какая из бесчисленного множества переменных величин стала в итоге решающей, – как будто все остальное непременно осталось бы точно таким же, если бы изменился всего один фактор. В одном не приходится сомневаться: если бы Дональд Трамп не использовал все преимущества социальных сетей через онлайн-площадки, он бы никогда не стал президентом США. В доинтернетные времена он вряд ли угнал бы за Клинтон: ему попросту не хватило бы финансовых средств на старомодную войну на истощение – методами телевизионной агитации. Можно было бы сказать, что социальные сети позволили ему провести кампанию более эффективно, пусть даже ее организация казалась хаотичной, – но это значило бы упустить из виду крайне важный момент. Статистическая карта избирательных округов США показывает, что Трамп победил в “Трампланде”: округа, в которых большинство голосовало за него, составляют 85 % от поверхности суши США, – тогда как Клинтон побеждала, так сказать, на “Архипелаге Хиллари”. Ее приверженцы были плотно сосредоточены в крупных городских агломерациях на обоих побережьях, тогда как электорат Трампа ровно распределялся по центру страны – по большим и малым провинциальным городам и сельским общинам. И вот парадокс: казалось бы, преимущество в сетевой избирательной кампании должно было достаться Клинтон – ведь ее сторонники

образовывали более густые скопления и к тому же были моложе. Подобный же парадокс наблюдался в случае Брекзита: победу кампании за выход из ЕС принесли избиратели постарше, проживавшие главным образом в захолустьях Англии и Уэльса, но не в крупных городах. Если ключом к политике популизма являлись социальные сети, почему же тогда за популистские решения голосовали преимущественно те группы, которых, пожалуй, не заподозришь в пристрастии к *Facebook*, – пожилые сельские жители?^[1375] Объяснение этому есть. Безусловно, Каммингс и его американский коллега – руководитель кампании Трампа Стивен К. Бэннон – пользовались социальными сетями гораздо искуснее, чем их политические противники. Но популистские кампании не обрели бы такого успеха, если бы распространявшиеся ими мемы не разносились дальше – по тем неэлектронным “форумам”, где собираются самые обычные люди и где дружеские связи – отнюдь не фейковые (как часто бывает в *Facebook*), а самые настоящие, – иными словами, по пабам и барам. А этого, в свой черед, не происходило бы, если бы сами эти мемы не оказывались созвучны мыслям простых людей.



Graphic by PETER BELL

Илл. 46. Предвыборная кампания Клинтон в 2016 году: провальная иерархическая структура.



Илл. 47. Социальная сеть Дональда Трампа в интернете. 2016 год

В Вавилонской библиотеке интернета многому из того, что мы читаем, верить нельзя. Потому-то наиболее глубокие социальные связи остаются местными и живыми. Таким образом, исход политических состязаний 2016 года решался не в Вавилонской библиотеке, а в барах и пивных англоязычного мира. Интернет предполагал, а завсегдатаи салон-баров располагали.

Но что же они натворили?

Часть IX

Заключение. Когда угрожает КиберСибирь

Глава 57

Метрополис

В классическом немом кинофильме Фрица Ланга “Метрополис” (1927) показано, как восставшая сеть разрушает иерархический порядок. Метрополис – город небоскребов. Наверху в шикарных пентхаусах обитает элита, а власть находится в руках тирана Джо Фредерсена. А внизу, на подземных фабриках, тяжело трудится пролетариат. Случайно став свидетелем аварии на производстве, беззаботный прежде сын Фредерсена внезапно задумывается о том, в каком убожестве и среди каких опасностей живет рабочий класс. Наступает развязка – попытка насильственной революции, а затем – техногенная неумышленная катастрофа: когда рабочие разбивают силовой генератор, отказывают водяные насосы, и их жилье затапливает.

Пожалуй, “Метрополис” помнят прежде всего из-за характерного женского робота, превращенного потом в двойника главной героини – Марии. По словам Ланга, на создание фильма его вдохновило первое посещение Нью-Йорка. Ему показалось, что небоскребы Манхэттена на языке архитектуры идеально выражают хроническое социальное неравенство. Современники – в частности, придерживавшийся правых взглядов медиамагнат Альфред Гугенберг – уловили в фильме коммунистический подтекст (хотя жена Ланга, соавтор его сценария, была радикальной немецкой националисткой и позже вступила в НДСАП). Однако сегодня кажется, что “Метрополис” явно выходит за рамки политических идеологий середины XX века. Из-за обилия религиозных аллюзий и кульминационного искупительного действия “Метрополис” смотрится как мифологическое изображение современного мира. Очевидный вопрос, который ставит этот фильм, актуален и по сей день: как урбанизированному, технически развитому обществу избежать катастрофы, если его существование построено на глубоком социальном неравенстве?

Но в связи с фильмом Ланга встает и еще более важный вопрос: кто же в итоге побеждает – иерархия или сеть? Потому что самую

опасную угрозу для иерархически устроенного общества в “Метрополисе” представляет не затопление подземных глубин, а тайный заговор, зреющий среди рабочих. Больше всего Фредерсена бесит мысль о том, что этот заговор без его ведома может зреть где-то в катакомбах под городом.

Сегодня иерархия – это, конечно, не какой-то один город, а само национальное государство, вертикально организованное образование, выросшее из европейских республик и монархий начала Нового времени. Хотя США и не самая густонаселенная страна в мире, это, безусловно, самое могущественное в мире государство, при всех странностях его политической системы. Его ближайшего соперника, Китайскую Народную Республику, обычно считают государством с совершенно иным устройством: ведь если в США есть две главных партии, то в КНР правящая партия – единственная. Государственная власть в США основывается на принципе разделения полномочий и не в последнюю очередь на независимости органов юстиции. В КНР же все властные институты, включая суды, подчиняются диктату Коммунистической партии. Однако оба государства – республики, имеющие приблизительно схожие вертикальные структуры управления, а власть, не столь уж различным образом, сосредоточена в центральном правительстве, а не в руках губернаторов отдельных штатов – или областных и местных властей. В экономическом плане обе системы, безусловно, сближаются: Китай все больше заглядывается на рыночные механизмы, а федеральное правительство США в последние годы заметно усилило законодательные и распорядительные полномочия органов власти в отношении производителей и потребителей. А еще, вызывая тревогу у сторонников свободы сразу левого и правого толка, правительство США осуществляет контроль и ведет наблюдение за своими гражданами такими способами, которые функционально ближе к современному Китаю, чем к Америке времен отцов-основателей. В этом смысле *Chimerica*^[1376] – отнюдь не химера. Когда-то эти страны выглядели экономическими противоположностями: одна занималась экспортом, другая – импортом, одна – накоплением, другая – потреблением^[1377]. Однако после финансового кризиса они заметно сблизились. Сегодня ценовой пузырь на рынке недвижимости, чрезмерное использование властью экономических рычагов, теневые банки – не говоря о технологических “компаниях-единорогах” (чья рыночная стоимость

превышает миллиард долларов), – все это явления, столь же характерные для Китая, что и для Америки. В *Chimerica* 1.0 противоположности притягивались. В *Chimerica* 2.0 странная парочка приобрела невероятное сходство, как часто происходит в супружестве.

Рядом с США и КНР в иерархии национальных государств находятся Французская Республика, Российская Федерация и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. В Совет Безопасности Организации Объединенных Наций входит пять постоянных членов, а следовательно, они стоят выше всех остальных 188 членов ООН – организации, где, по идее, все страны равны, но некоторые равнее других. Однако описание сегодняшнего миропорядка этим явно не исчерпывается. С точки зрения военного потенциала, есть другая, несколько более обширная, элита ядерных держав, к которой, помимо “Группы 5”, принадлежат еще Индия, Израиль, Пакистан и Северная Корея. И к ним надеется присоединиться Иран. С точки зрения экономической мощи, иерархия опять выглядит иначе: страны “Большой семерки” (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США) считались когда-то наиболее экономически сильными странами мира, однако сегодня этот клуб избранных уже несколько утратил прежнее превосходство из-за роста экономики БРИКС (куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) – крупнейшей группы стран с “формирующимися рынками”. В 1999 году образовалась “Большая двадцатка”, где собрались сильнейшие в экономическом плане страны мира, однако там в чрезмерном количестве представлены европейцы (так как ЕС присутствует там как самостоятельный член, наряду с четырьмя крупнейшими государствами – членами ЕС).

Однако представлять современный мир только с этих позиций значило бы не замечать того, что за последние сорок лет его сильно изменило распространение всевозможных неформальных сетей. Скорее, следует мысленно построить сетевой график, который учитывал бы экономическую запутанность и взаимозависимость и отображал бы относительную сложность всех стран мира как с точки зрения технического прогресса, так и с точки зрения их участия в торговле и международных инвестициях. Такой график обнаружил бы явное тяготение к иерархической архитектуре из-за того, что экономические ресурсы и потенциал распределяются в мире практически по степенному закону, и из-за существенных

различий между разными странами в степени экономической открытости. Но одновременно эта иерархия будет являться и сетью: большинство ее узлов будут связаны с остальным миром более чем одной или двумя гранями^[1378].

Главный вопрос звучит сегодня так: в какой степени эта сеть экономической сложности представляет угрозу для иерархического миропорядка национальных государств – по сравнению с той угрозой, какую сеть политической сложности совсем недавно представляла для существующих внутривнутриполитических иерархий? В частности, нападению политических сетей подвергся в 2011 году Ближний Восток, в 2014-м – Украина, в 2015-м – Бразилия, в 2016-м – Британия и Америка. Или, если сформулировать вопрос еще проще: возможен ли вообще порядок в мире сетей? Как мы уже видели, некоторые утверждают, что возможен^[1379]. Я же – в свете исторического опыта – сильно в этом сомневаюсь.

Глава 58

Отказ сети

Рассказывали, будто однажды Махатму Ганди спросили, что он думает о западной цивилизации. “Думаю, это была бы неплохая идея”, – ответил он. То же самое можно сказать о мировом порядке. Генри Киссинджер в своей книге с одноименным названием утверждает, что мир находится в весьма затруднительном положении – на грани международной анархии. Четыре различных представления о том, каким должен быть мировой порядок – европейское, исламское, китайское и американское, – претерпевают различные стадии метаморфоз – если не разложения. Следовательно, ни одно из этих представлений не обладает настоящей легитимностью. Формирующиеся качества этого нового мирового беспорядка – образование региональных блоков и опасность, что трения между ними перерастут в какой-нибудь масштабный конфликт, сопоставимый по своим первопричинам и потенциальной разрушительности с Первой мировой войной. “В самом ли деле мир движется в сторону региональных блоков, которые выполняют роль государств в вестфальской ^[1380] системе? – спрашивает Киссинджер. – Если так, сложится ли новый баланс сил или произойдет сокращение числа ключевых игроков до минимума, при котором жесткость сделается неизбежной и вернутся угрозы начала двадцатого столетия, с его непримиримыми блоками, пытающимися перебороть друг друга?”^[1381] Его ответ на этот вопрос полон дурных предчувствий:

[То, чего следует опасаться, – это] не столько большая война между государствами... сколько смещение к сферам влияния, определяемых особыми внутренними структурами и формами управления, – например, вестфальская модель по сравнению с вариантом радикальных исламистов. На краях сфер у одних субъектов порядка будет возникать соблазн проверить силу в отношении единиц другого порядка, считающихся нелегитимными... Со временем напряженность этого процесса перерастет в маневры за завоевание статуса или преимущества – в масштабе континента или даже всего мира. Борьба между регионами может оказаться даже еще более изнурительной, чем бывшие столкновения между нациями^[1382].

Эта теория напоминает некоторые другие (мы уже обращались к ним), объяснявшие первопричины войны в 1914 году. Возникла неустойчивая сеть власти, способная “спровоцировать кризис” даже в ответ на незначительные волнения.

Возражая тем, кто заявляет (опираясь на неверно истолкованную статистику конфликтов), что мир неуклонно становится более миролюбивым и что “войны между государствами... практически отжили свое”^[1383], Киссинджер утверждает, что существующая сегодня расстановка мировых сил на самом деле крайне взрывоопасна. Во-первых, “международная экономическая система приобрела глобальный характер, в то время как политическая структура мира по-прежнему основывается на концепции национального государства”^[1384]. Во-вторых, мы молчаливо соглашаемся с распространением ядерного оружия далеко за пределы “ядерного клуба” времен холодной войны, тем самым увеличивая “возможности ядерной конфронтации”. Наконец, у нас появилась новая сфера – киберпространство, которое Киссинджер сравнивает с “природным состоянием” из теории Гоббса и в котором “асимметрия и подобие «врожденного» мирового беспорядка составляют фундамент отношений между... державами”^[1385]. Здесь же и в недавних интервью Киссинджер обозначил четыре сценария, которые, по его мнению, являются наиболее вероятными катализаторами крупномасштабного столкновения:

1. Ухудшение американо-китайских отношений, из-за которого обе страны скатываются в так называемую ловушку Фукидида^[1386], которую история, похоже, расставляет для любой доминирующей державы и возвышающейся новой державы^[1387].

2. Порча отношений между Россией и Западом, вызванная взаимным непониманием и ставшая возможной благодаря п. 3.

3. Крушение жесткой силы в Европе из-за неспособности сегодняшних европейских лидеров смириться с тем, что дипломатия без правдоподобной угрозы применения силы – просто пустая болтовня; и/или п. 4.

4. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке из-за готовности администрации Обамы, по мнению арабских государств и Израиля, передать гегемонию в этом регионе все еще революционному Ирану.

Один из этих факторов или сразу несколько – в отсутствие внятной американской стратегии – чреват тем, что самый обычный беспорядок может перерасти в масштабный конфликт^[1388].

От предостережений Киссинджера не так-то легко отмахнуться. Сегодняшний мир часто напоминает гигантскую сеть на грани катастрофического перебоя. Возьмем события одной типичной недели в начале 2017 года. Президент США сообщил в твите, что его собственные разведывательные ведомства незаконно передают *New York Times* секретную информацию о том, что руководители его предвыборной кампании якобы поддерживали связи с российским правительством, но при этом заявил, что это – “фальшивая новость”. Между тем после вмешательства в президентские выборы в США через *Wikileaks* и при помощи целой армии интернет-троллей и ботов (так сказать, светодиодного воинства) Кремль развернул новую крылатую ракету, нарушив при этом договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключенный в 1987 году между СССР и США, и отправил разведывательный корабль “Виктор Леонов” для рекогносцировки подводной базы США в Нью-Лондоне, штат Коннектикут. По другую сторону Атлантики французских и немецких политиков одинаково беспокоило возможное вмешательство России в надвигающиеся выборы в их странах. Однако самой громкой историей в Европе на той неделе стало посрамление 27-летней звезды *YouTube* Феликса *PewDiePie* Чельберга: из-за его заигрывания с антисемитизмом компании *Google* и *Disney* разорвали ранее заключенные с ним контракты^[1389].

Тем временем самопровозглашенное “Исламское государство” разместило в интернете руководство по пропаганде, где разъясняло своим приверженцам, как использовать охочую до “кликов” информационную индустрию для запуска проигиловских “медиаснарядов”. Из отчета о работе игиловских школ в Ираке и Сирии следовало, что ученикам предлагалось задание: подсчитать, сколько мусульман-шиитов или “неверных” может убить террорист-смертник. И вскоре, будто нарочно для того, чтобы помочь школьникам справиться с этой задачей, смертник-игиловец взорвал себя в заполненной людьми суфийской мечети в Сехван-Шарифе в Пакистане, убив не менее 75 человек. На той же неделе появилась новость о том, что китайское правительство ослабляет цензуру в отношении социальных сетей, но лишь потому, что неотфильтрованные публикации в блогах облегчат властям задачу следить за проявлениями недовольства. В Сеуле по подозрению во взяточничестве был арестован наследник империи *Samsung Electronics* – последняя жертва скандала, который привел к

импичменту президента Южной Кореи Пак Кын Хе и суду над ее загадочной подругой Чхве Сун Силь, дочерью основателя “Церкви вечной жизни”. И наконец, в международном аэропорту Куала-Лумпура женщина-убийца брызнула нервно-паралитическим ядовитым веществом в лицо Ким Чен Наму, единокровному брату северокорейского диктатора Ким Чен Ына. На футболке убийцы была надпись LOL – универсальный в веб-чатах акроним (*Laughing out loud* – “громко смеюсь”)^[1390].

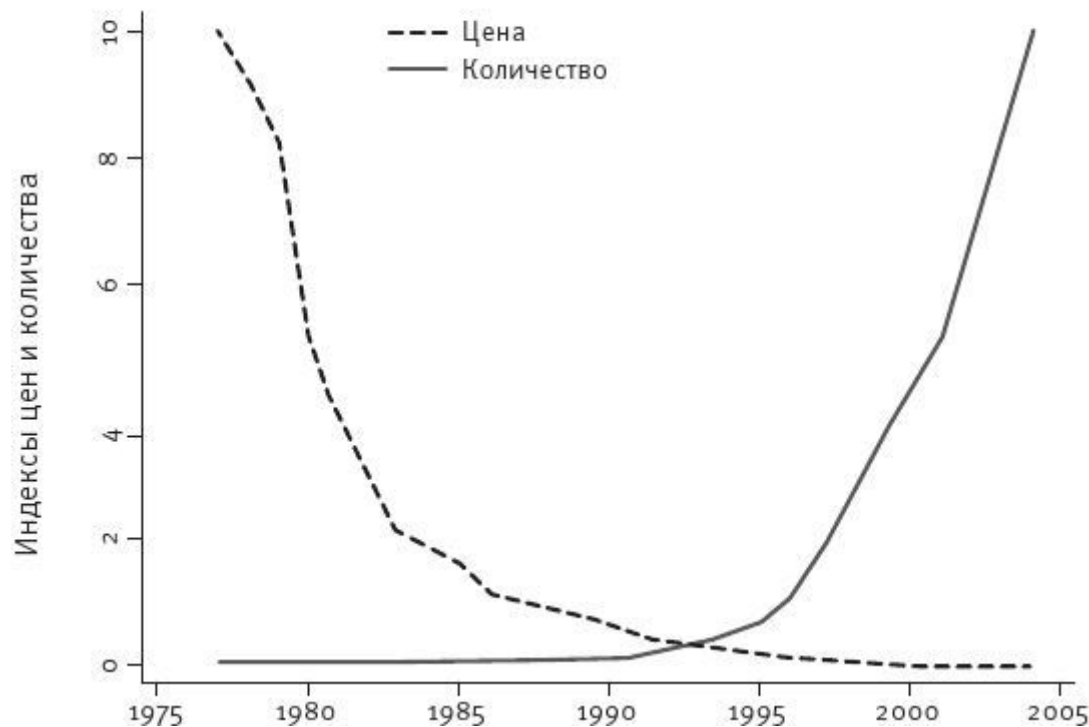
На самом деле тут совсем не до смеха. Глобализация переживает кризис. Популизм набирает силу. Авторитарные государства выходят в лидеры. Между тем технологии неумолимо шагают вперед и вперед, грозя сделать большинство людей ненужными или бессмертными (или и то и другое). Как нам осмыслить все происходящее? В поисках ответа многие обозреватели обращаются к грубым историческим аналогиям. В глазах некоторых Дональд Трамп – новый Гитлер, который вот-вот возвестит о превосходстве Америки над остальным миром^[1391]. Для других Трамп – новый Никсон, которого вот-вот подвергнут импичменту^[1392]. Но на дворе все же не 1933 и не 1973 год. В 1930-х годах тоталитарное правление опиралось на технологии, которые легко было подчинить единому центру. Сорок лет спустя демократически избранному президенту уже гораздо труднее было безнаказанно нарушать закон. Тем не менее и в 1970-х годах СМИ по-прежнему состояли из небольшого числа телевизионных сетей, газет и новостных агентств. Более чем в половине стран мира эти организации подчинялись централизованному контролю. Сегодняшний мир невозможно понять, не учитывая, до какой степени его изменило появление новых информационных технологий. Это стало уже трюизмом. Главный вопрос: в чем именно он изменился? Ответ заключается в том, что технологии неимоверно расширили возможности разного рода сетей, если сопоставлять их с традиционными иерархическими властными органами, однако последствия этих перемен будут определяться структурой, эмерджентными свойствами и взаимодействиями этих сетей.

Как мы уже видели, глобальное влияние интернета на жизнь людей сопоставимо разве что с воздействием книгопечатания, развившегося в Европе в XVI веке: эта самая близкая из возможных исторических аналогий. Персональный компьютер и смартфон расширили возможности сетей в такой же степени, в какой во времена Лютера это сделали печатная брошюра и книга. В самом

деле, траектории на графике, показывающем рост производства и изменение цен на ПК в США с 1977 по 2004 год, поразительно похожи на аналогичные траектории производства и цен на печатные книги в Англии с 1490 по 1630 год (см. илл. 48)^[1393]. В эпоху Реформации и последующие периоды взаимосвязанность мира росла по экспоненте вместе с ростом грамотности, и все больше людей получали доступ к всевозможной печатной литературе и переставали зависеть от ораторов и проповедников, ранее являвшихся для них единственными источниками новых идей.

Существуют три важных отличия нашего сетевого века от эпохи, последовавшей за появлением европейского книгопечатания. Во-первых (и это самое очевидное отличие) наша сетевая революция совершается гораздо быстрее и охватывает гораздо более обширные территории, чем та череда революций, которой дал толчок немецкий печатный станок. За гораздо более короткий промежуток времени, чем понадобился для того, чтобы 84 % взрослого населения Земли стали грамотными, заметно бóльшая часть человечества получила доступ к интернету. Еще совсем недавно, в 1998 году, интернетом пользовались лишь 2 % населения планеты. Сегодня этот показатель составляет две пятых. Нынешние изменения происходят примерно в десять раз быстрее, чем происходили в постгутенберговский период: для того, на что после 1490-х годов уходило столетия, после 1990 года понадобилась лишь пара десятилетий. Как мы уже упоминали, *Google* зародился в 1998 году в гараже в Менло-Парке. Сегодня он способен обрабатывать более чем 4,2 миллиарда поисковых запросов ежедневно. В 2005 году *YouTube* представлял собой стартап и размещался в комнатке над пиццерией в Сан-Матео. Сегодня он позволяет просматривать по 8,8 миллиарда видео в день. *Facebook* придумали в Гарварде чуть больше десяти лет назад. Сегодня он насчитывает около 2 миллиардов пользователей, которые входят в систему как минимум раз в месяц^[1394]. А еще каждый день отправляется в сто раз больше электронных писем. Мир действительно опутан такими плотными связями, каких не было никогда раньше. Темп роста глобальной сети может замедляться, если учитывать ежегодно появляющееся количество новых интернет-пользователей и владельцев смартфонов, однако нет никаких признаков, что этот процесс остановится. В других отношениях – например, если говорить о переходе с текстов на фото и видео и с клавиатуры на интерфейс с микрофоном – наблюдается

ускорение процесса. В итоге даже неграмотность перестанет быть барьером для общения в сети.



Илл. 48. Стоимость и объем производства книг и ПК. 1490–1630-е и 1977–2004 гг. соответственно.

И эта технологическая революция не ограничивается только развитыми странами. Если бедняки хоть в чем-то и догоняют остальные слои населения, так это как раз в возможности устанавливать связи. Если брать в расчет беднейшие 20 % домохозяйств мира, то примерно в семи из десяти имеются мобильные телефоны. Индийская телекоммуникационная компания *Bharti Airtel* располагает клиентской базой, сопоставимой с численностью всего населения США. А количество интернет-пользователей в Индии уже превышает их количество в США. На то, чтобы оснастить все домохозяйства в Кении мобильными телефонами, ушло восемь лет. А *Safaricom* понадобилось всего четыре года, чтобы ее передовой платежной системой *M-Pesa* оказалось охвачено 80 % домохозяйств^[1395]. Даже в нищем и безалаберном Сомали за пять лет доля обладателей мобильных телефонов подскочила с 5 до 50 %^[1396]. Оказалось, что самых бедных жителей Земли легче обеспечить мобильниками, чем чистой питьевой водой, – и, пожалуй, это говорит о том, что лучше было бы поручить эту задачу – обеспечение чистой водой – частному сектору, а не слабым, коррумпированным правительствам^[1397].

Во-вторых, дистрибутивные последствия нашей революции в корне отличаются от последствий революции, произошедшей в начале Нового времени. Европа XV века была далеко не идеальным местом для осуществления прав на интеллектуальную собственность, и они существовали в ту пору лишь там, где гильдия профессионалов могла втайне монополизировать свою технологию. Печатный станок не озолотил никого: Гутенберга не ожидала судьба Гейтса (наоборот – к 1456 году он фактически разорился). Кроме того, лишь некоторые издатели, чья деятельность зародилась благодаря изобретению печатного станка – а именно издатели газет и журналов, – целенаправленно зарабатывали деньги на размещении рекламы. Если же говорить о СМИ, которые расплодились благодаря появлению интернета, то без рекламы не обходится никто. Тем не менее мало кто предвидел, что гигантские сети, возникшие благодаря интернету, несмотря на все их пропагандистские заявления о демократизации знаний, окажутся до такой степени неэгалитарными. Поколение беби-бумеров, выросшее вдали от вооруженных конфликтов, не имело возможности на своем опыте узнать горькую истину: неравенство уменьшают отнюдь не

хаотичные сети, а войны, революции, гиперинфляция и другие формы экспроприации^[1398].

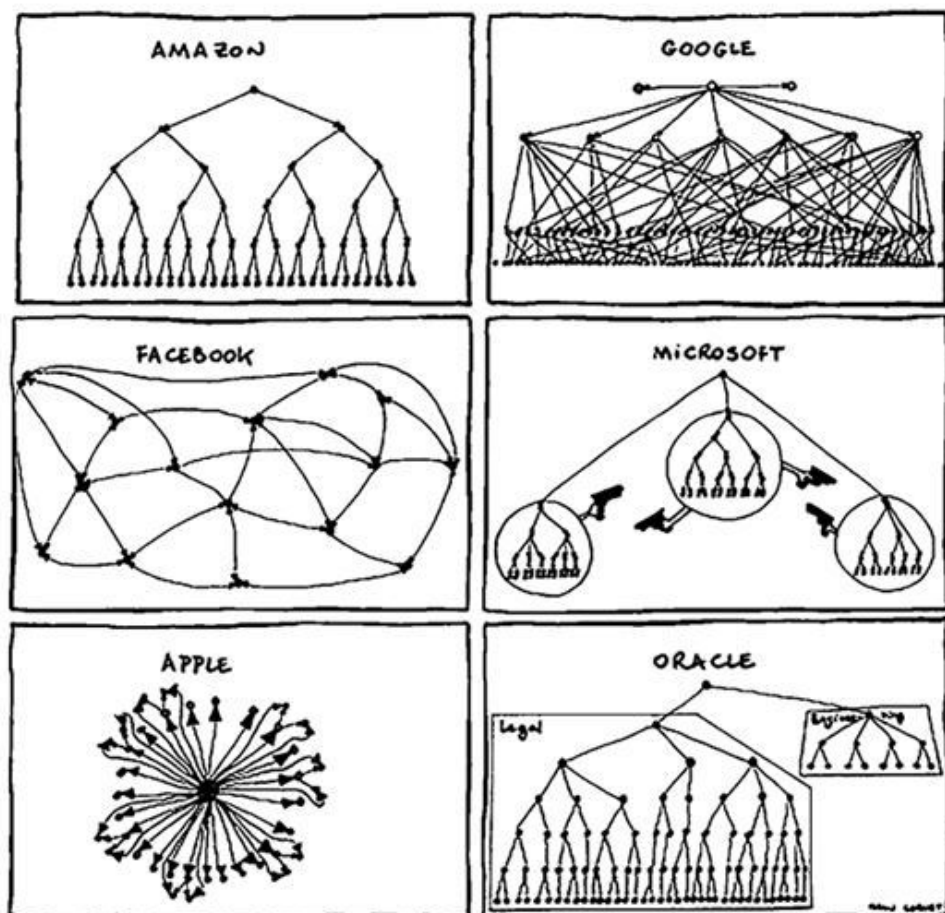
Конечно, инновации снизили затраты на информационные технологии. В мировом масштабе с 1992 по 2012 год расходы на компьютерную обработку и на цифровое хранение данных снижались на 33 и 38 % в год, соответственно^[1399]. Однако, вопреки надеждам тех, кто рисовал в своем воображении большой базар программ, совместно создаваемых добровольцами, интернет превратился в обширную безмасштабную сеть с чрезмерно нагруженными суперузлами^[1400]. Олигополии обозначились и в производстве оборудования, и в разработке программного обеспечения, а также в области предоставления услуг и в сетях беспроводной связи. Союз между, по-видимому, непотопляемой компанией AT&T и обновленным *Apple* иллюстрирует старую истину: корпорации будут стремиться к созданию монополий, дуополий и олигополий, пока им не воспрепятствуют в этом. Даже корпорации, приверженные идее сети с “открытой архитектурой” – например, *Amazon*, *Facebook* и *Google*, – стремятся обрести монополистическую власть каждый в своей нише: соответственно, в электронной коммерции, социальных сетях и поиске^[1401]. Из-за плохого управления и плохих правил между разными странами существуют огромные различия в стоимости сотовой связи и интернет-услуг^[1402]. Этим же объясняется, почему в индустрии информационных и коммуникационных технологий лидерство сохраняет лишь малое количество стран (хотя удивительно, что США занимают только седьмое место – несколько отставая от Ирландии, Южной Кореи, Японии и Великобритании – с точки зрения относительной важности информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для экономики страны в целом)^[1403].

Эта динамика объясняет, почему существующими в мире электронными сетями владеют всего несколько человек. Осенью 2017 года рыночная стоимость *Google* (точнее, переименованной компании-учредителя *Alphabet Inc.*) оценивалась в 665 миллиардов долларов. Около 11 % ее акций стоимостью около 76 миллиардов долларов принадлежат ее основателям Ларри Пейджу и Сергею Брину. Рыночная стоимость *Facebook* приближается к 500 миллиардам долларов; 14 % акций компании, оцениваемые в 71 миллиард, принадлежат ее основателю Марку Цукербергу. Таким образом, социальные сети, хотя и кажутся со стороны

“великими уравниателями”, являются “по сути своей несправедливыми и исключительными”. В силу предпочтительного присоединения – тенденции, при которой узлы, уже оснащенные наибольшим количеством связей, успешнее всего обрастают все новыми связями, – азбучная истина социальных сетей действительно звучит так, словно сошла со страниц Евангелия от Матфея (см. Введение, глава 7)^[1404]. В отличие от прошлых эпох, сегодня в мире все люди делятся на два типа: на тех, кто владеет и управляет сетями, и тех, кто ими лишь пользуется. Коммерческие властители киберпространства могут по-прежнему разглагольствовать о плоском мире “граждан сети”, но на практике компании вроде *Google* все равно устроены иерархическим образом, пусть даже внешне их организационная структура и выглядит иначе, чем, скажем, структура *General Motors* при Альфреде Слоуне^[1405].

В традиционных обществах появление рыночных сил подрывает часто передаваемые по наследству сети, а потому способствует социальной мобильности и уменьшает неравенство. Победу одерживает меритократия. Но когда сети и рынки действуют заодно, как в наше время, неравенство резко увеличивается, потому что львиная доля доходов, приносимых сетью, достается ее владельцам. Правда, молодые и очень богатые люди, которым принадлежат сегодняшние сети, как правило, придерживаются левых политических взглядов. (Редкое исключение – Питер Тиль^[1406]: либертарианец, который в 2016 году стал высказывать симпатии к популистам.) Однако мало кто из них приветствовал бы введение скандинавской шкалы подоходных налогов, не говоря об эгалитарной революции. Похоже, хозяевам интернета нравится быть богачами почти так же, как это нравилось волкам докризисной Уолл-стрит десятилетием раньше, хотя они предаются не столько показному потреблению, сколько показным угрызениям совести. Трудно представить, что какой-нибудь инвестиционный банкир последовал бы примеру Сэма Олтмана из *Y Combinator*, который отправился в “паломничество” по американской глубинке – словно наложив на себя епитимью за результаты президентских выборов 2016 года^[1407]. Однако Сан-Франциско, куда Олтман возвращается, остается городом, где царит почти такое же социальное неравенство, как в “Метрополисе”, – и не в последнюю очередь из-за рыночных деформаций, которые приводят к заоблачным ценам на приличное жилье. (Владение недвижимостью как определяющий фактор имущественного неравенства уступает первенство лишь

обладанию правами интеллектуальной собственности, но не случайно самая ценная недвижимость находится ближе всего к тем территориальным скоплениям, где регистрируются наиболее ценные IP-адреса.) А все, что крупные технологические компании, по-видимому, готовы предложить миллионам дальнбойщиков и таксистов, которых они намерены заменить беспилотными автомобилями, – это некая форма базового дохода. Единственное утешение – что крупнейшие пайщики компаний, входящих в FANG, – это американские инвестиционные фонды, а они, управляя сбережениями американского среднего класса, предоставили этому классу значительную долю доходов от отрасли ИКТ. Однако следует сделать важную оговорку: иностранным инвесторам принадлежит, вероятно, не менее 14 % капиталов крупнейших американских корпораций, а в случае компаний с очень высокой долей экспорта (например, *Apple*, к которой около двух третей доходов поступает из-за границы) – почти наверняка гораздо больше^[1408]. Впрочем, ни один серьезный исследователь рынков капитала не приписал бы этим иностранным инвесторам хоть самую ничтожную способность влиять на корпоративные решения компаний-гигантов.



Илл. 49. Сатирические графики сетей главных американских технологических компаний.

Наконец, в-третьих, печатный станок подрвал религиозную жизнь западного христианского мира раньше, чем сказались другие революционные последствия его появления. Интернет же начал с того, что подрвал торговлю. Лишь с недавних пор он начал подрывать политику, а если говорить о религии, то всерьез ему удалось навредить только одному вероучению – исламу. Как мы видели, сети сыграли ключевую роль в том, что произошло в американской политике в 2016 году. Возникла массовая сеть сторонников Трампа, которую руководители его избирательной кампании создавали (и которая создавалась сама) на платформах *Facebook*, *Twitter* и *Breitbart*. Это были “забытые” мужчины и женщины, которые 8 ноября, в день голосования, выступили против “глобальных особых интересов” и “неспособного и коррумпированного политического истеблишмента”, воплощенного в их глазах соперницей Трампа. Свою роль сыграла здесь и джихадистская сеть: вдохновлявшиеся ИГИЛ теракты,

происходившие в год выборов, придавали убедительность обещаниям Трампа “ликвидировать сети сторонников радикального ислама в США” и запретить мусульманам въезд в страну.

Главный парадокс эпохи воплотился в самой фигуре Трампа – очень богатого человека, который в то же время уверенно выступал в роли демагога. Он являлся одновременно малым олигархом и крупным брендом. Отмечалось, что “еще ни один американский президент не вступал в должность, имея столь гигантскую сеть предприятий, инвестиций и корпоративных связей, какие успел нажить Дональд Дж. Трамп, у которого, насколько известно, имеются деловые отношения с полутора тысячами лиц и организаций”^[1409]. В то же время кампания Трампа добилась успеха там, где его противникам не удалось эффективно воспользоваться сетями Кремниевой долины, – к замешательству людей, которые владели этими сетями и потому думали, будто контролируют их. В первые недели после состоявшихся выборов их душевные терзания всем бросались в глаза. *Google* поначалу пытался заигрывать с новой администрацией, но потом осудил президентское распоряжение ограничить въезд и иммиграцию в США из нескольких стран с преобладающим мусульманским населением^[1410]. Марк Цукерберг не явился на встречу с новым президентом, где присутствовали высшие руководители других технологических компаний. Возможно, его несколько утешила мысль, что антитрамповский “Женский марш” был организован тоже через *Facebook*^[1411]. Трудно поверить, что рано или поздно не произойдет какого-либо столкновения между администрацией Трампа и крупными ИКТ-компаниями, особенно если она отменит решение предыдущей администрации, принятое в 2015 году, о том, что Федеральная комиссия связи США (*Federal Communications Commission*) должна регулировать интернет как коммунальное предприятие – вроде старой железнодорожной или телефонной сети. Наблюдается явный конфликт интересов между телекоммуникационными и кабельными компаниями и жадными до полос вещания платформами и поставщиками информации вроде *Netflix*, а камнем преткновения является сетевой нейтралитет (принцип, согласно которому ко всем единицам информации следует относиться одинаково, независимо от их содержания или ценности)^[1412]. Возможно, следующим шагом Трампа станут антимонопольные постановления, направленные против компаний FANG.

Однако в двух отношениях ясно прослеживается сходство между нашим временем и тем революционным периодом, что последовал за изобретением книгопечатания. Во-первых, как и печатный станок, современная информационная технология изменяет не только рынок – совсем недавно, например, она облегчила совместное пользование автомобилями и квартирами (точнее, их краткосрочную аренду), – но и пространство общественной дискуссии. Никогда прежде такое огромное количество людей не объединялось в мгновенно реагирующую сеть, по которой мемы^[1413] способны распространяться даже быстрее, чем природные вирусы^[1414]. Однако представление о том, что, подключив весь мир к интернету, можно создать утопическое “государство сетян”, равноправных в киберпространстве, всегда оставалось лишь фантазией – таким же обольщением, как и мечта Мартина Лютера о “всеобщем священстве верующих”. В действительности глобальная сеть превратилась в передаточный механизм для всевозможных маний и страхов – точно так же, как из-за появления типографий и распространения грамотности ненадолго размножились эсхатологические секты и люди массово помешались на охоте на ведьм. Зверства ИГИЛ выглядят не такими исключительными, если сравнить их с жестокостями, какие творили некоторые правительства и секты в Европе XVI и XVII веков^[1415]. Вполне вероятным последствием кажется и рост уровня политически мотивированного насилия как в США, так, пожалуй, и в некоторых странах Европы^[1416]. Во-вторых, как и в эпоху Реформации и последовавший за ней период, в наше время наблюдается размывание территориального суверенитета^[1417]. В XVI и XVII веках Европу захлестнула череда религиозных войн, потому что принцип, сформулированный в Аугсбургском мирном договоре (1555) – *cuius regio, eius religio* (чья страна, того и вера), – сплошь и рядом демонстративно нарушался. В XXI веке мы наблюдаем схожий феномен: одни государства все чаще вмешиваются во внутренние дела других суверенных государств.

Была, наконец, и третья сеть, впутавшаяся в президентские выборы 2016 года в США, а именно российская разведывательная сеть. На момент написания этих строк уже ясно, что российское правительство сделало все возможное, чтобы нанести максимальный урон репутации Хиллари Клинтон: хакеры воспользовались тем, что она пересылала секретную информацию по обычной, недостаточно защищенной почте, а затем, по каналу

WikiLeaks украденные материалы попали в американские СМИ^[1418]. Зайдя на сайт *WikiLeaks*, можно попасть в “зал трофеев”, добытых в ходе этой операции. Там есть и “архив электронных писем Хиллари Клинтон”, и “электронные письма [Джона] Подесты”. Конечно, не все обнародованные материалы – американские. Но вы не найдете там хоть каких-нибудь утечек, компрометирующих российское правительство. Пусть Джулиан Ассанж по-прежнему укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне, в действительности он живет почетным гостем президента Владимира Путина в диковинной стране КиберСибири^[1419] – в сумеречной зоне, населенной онлайн-агентами российских спецслужб.

Российские хакеры и тролли представляют для американской демократии примерно такую же угрозу, какую священники-иезуиты представляли для английской Реформации: это угроза изнутри, поддерживаемая извне. “Наступил переломный момент”, – заявил адмирал Майкл С. Роджерс, возглавляющий АНБ и Кибернетическое командование США^[1420]. По мнению главы национальной разведки, киберактивность относится к числу опаснейших угроз. И *WikiLeaks* – лишь малая часть этой огромной проблемы. Один только Пентагон ежедневно фиксирует более 10 миллионов попыток вторжения^[1421]. Конечно, бóльшая часть действий, которые СМИ называют кибератаками, – всего лишь попытки шпионажа. Чтобы понять истинный потенциал кибервойны, нужно вообразить такую атаку, которая охватила бы значительную часть энергетической системы США. И такой сценарий – отнюдь не беспочвенная фантазия. Нечто подобное произошло в декабре 2015 года с электроэнергетическими компаниями Украины: их поразила вредоносная хакерская программа *BlackEnergy*.

Ученые-компьютерщики поняли, какой разрушительный потенциал таит в себе кибервойна, еще на заре существования интернета. Поначалу хаос сеяли совсем юные хакеры – гики вроде Роберта Таппана Морриса, который чуть не уничтожил Всемирную паутину в ноябре 1988 года, выпустив на волю чрезвычайно заразную программу-червя^[1422], или канадского пятнадцатилетнего хакера по прозвищу *Mafia Boy*, который в феврале 2000-го обрушил сайт *Yahoo*. *Blaster*, *Brain*, *Melissa*, *Iloveyou*, *Slammer*, *Sobig* – сами названия ранних вирусов выдавали крайнюю юность их создателей^[1423]. Многие кибератаки до сих пор совершаются негосударственными субъектами: подростками-вандалами,

преступниками, “хактивистами” или террористическими организациями. (Атака, совершенная 21 октября 2016 года на *Dynamic Network Services Inc.*, поставщика службы доменных имен, с использованием веб-камер китайского производства в качестве ботов, почти наверняка относилась к случаям вандализма^[1424].) Однако громче всего в 2016 году заявила о себе на удивление окрепшая КиберСибирь.

Конечно же, превосходство в кибервойнах должно оставаться за страной, создавшей интернет. США начали вести их еще в пору первого президентского срока Рейгана^[1425]. Во время вторжения в Ирак в 2003 году американские шпионы проникали в сети противника и рассылали иракским генералам сообщения с требованиями сдаваться^[1426]. Спустя семь лет США совместно с Израилем натравили вирус *Stuxnet* на иранский ядерный центр по обогащению урана^[1427]. Проблема не только в том, что в эту игру могут играть сразу двое. Проблема еще и в том, что никто не знает, сколько людей одновременно могут играть в самые разные кибернетические игры. За последние годы США подвергались кибератакам из Ирана, Северной Кореи и Китая. Впрочем, эти атаки были направлены против конкретных компаний (например, против *Sony Pictures*), а не против американского правительства. Россия же первой развязала войну непосредственно против правительства США, стремясь компенсировать свой относительный упадок в экономической и военно-промышленной сферах и пользуясь “широкими асимметричными возможностями”, какие предоставляет интернет, для “уменьшения боевого потенциала противника”^[1428]. Российские хакеры постигли азы кибервоенного дела, потренировавшись вначале на Эстонии, Грузии и Украине. А в 2017 году Кремль предпринял наступление на американскую политическую систему, используя в качестве ширмы не только сайт *WikiLeaks*, но и румынского блогера *Guccifer 2.0*^[1429].

Оставим в стороне вопрос о том, действительно ли российское вмешательство – а не фальшивые новости, о которых шла речь в предыдущей главе, – решило исход выборов в пользу Трампа; достаточно сказать, что оно сыграло ему на руку, хотя и фальшивые, и правдивые новости, вредившие репутации Клинтон, вполне могли бы распространяться и без участия России. Оставим в стороне и другие, пока еще не разрешенные вопросы о том, сколько человек из тех, кто проводил кампанию Трампа, были замешаны в российскую операцию и много ли они знали^[1430]. Важно то, что Москва

оставалась невозмутима. Для специалистов по национальной безопасности это лишь одна из сторон кибервойны, которая ставит их в тупик. Привыкнув к изящным теориям о “взаимно гарантированном уничтожении”, возникшим еще в пору холодной войны, они с трудом пытаются разработать доктрину совершенно иной разновидности конфликта, в котором имеется бесконечное число потенциальных противников, причем многих из них трудно опознать, и существует множество возможных степеней разрушения. В 2010 году заместитель министра обороны Уильям Линн заметил: “У выпущенной ракеты есть обратный адрес, а у компьютерного вируса он обычно отсутствует”. По мнению Джозефа Ная из Гарвардской школы Кеннеди, спасительным выходом могло бы стать сдерживание – но только в том случае, если США готовы устроить показательную расправу над агрессором. Най предлагает еще три варианта: укреплять кибербезопасность, пытаться вовлечь потенциальных агрессоров в торговые и иные отношения (чтобы кибератаки били бумерангом по ним же самим) и устанавливать глобальные запреты на киберпреступления – вроде тех, которые уже (почти) свели на нет угрозу применения биологического и химического оружия^[1431]. Этот анализ не очень утешителен. Учитывая огромное количество киберагрессоров, защита, похоже, просто обречена отставать от нападения, переворачивая с ног на голову обычную военную логику. А русские оказались безразличны и к вовлечению, и к запретам, хотя к более сговорчивому Китаю подход Ная, пожалуй, и применим. Больше того, преследуя свои цели, российское правительство, по-видимому, охотно идет на сотрудничество даже с организованными преступниками^[1432].

Насколько нас должна пугать КиберСибирь? Энн-Мари Слотер считает, что наш слишком опутанный сетями мир в целом неопасное место и что “США... постепенно найдут золотую середину в царстве сетей”^[1433]. Правда, существуют всевозможные сетевые угрозы (“терроризм... наркотики, оружие и торговля людьми... изменение климата и снижение биоразнообразия... войны из-за воды и нехватка продовольствия... коррупция, отмывание денег и уклонение от уплаты налогов... пандемии болезней”), но если только американские лидеры начнут “думать о том, как превратить стратегические союзы в крепко связанные и способные к действию центры”, все обязательно наладится. Главное, по ее мнению, преобразовать иерархии в сети,

преобразовать НАТО в “главный узел партнерской сети, занятой обеспечением безопасности, и в консультационный центр по вопросам международной безопасности” и реформировать Совет Безопасности ООН, Международный валютный фонд и Всемирный банк, открыв их для “новых субъектов”^[1434]. Институты власти, созданные после Второй мировой войны, должны превратиться в “центры более плоской, более быстрой, более гибкой системы – такой системы, которая функционировала бы не только на уровне государств, но и на уровне граждан”, включив в себя “добросовестных субъектов сети – корпоративных, муниципальных и общественных”. Один из примеров подобного взаимодействия, которые приводит Слотер, – Соглашение мэров по вопросам климата и энергетики: оно объединяет уже более 7100 городов по всему миру^[1435]. Другой пример – созданное администрацией Обамы в 2011 году партнерство “Открытое правительство”, куда входят сейчас семьдесят стран, приверженных принципам “прозрачности, гражданского участия и ответственности”^[1436]. Иэн Клаус, ранее коллега Слотер по госдепартаменту, видит потенциал в развитии сети глобальных городов^[1437].

Могут ли добросовестные субъекты объединиться в новую геополитическую сеть и противопоставить свое сетевое мастерство субъектам недобросовестным? Джошуа Купер Рамо сомневается в этом. Он соглашается со Слотер в том, что “Основную угрозу американским интересам представляет не Китай, не Аль-Каида или Иран. Это эволюция глобальной сети”^[1438]. Однако он менее оптимистично отвечает на вопрос о том, легко ли одолеть эту угрозу. Киберзащита отстает от кибератак на десять лет – и не в последнюю очередь из-за новой разновидности невозможной тройцы: “Системы могут быть быстрыми, открытыми или надежными, но одновременно обладать лишь двумя из этих трех качеств”^[1439]. Угрозу мировому порядку можно сформулировать следующим образом: “очень быстрые сети × искусственный интеллект × черные ящики × Новая Каста × сгущение времени × предметы быта × оружие”^[1440]. В книге “Седьмое чувство” Рамо пишет о необходимости воздвигнуть реальные и виртуальные “ворота”, за которые не смогут прорваться русские, онлайн-преступники, вандалы из подростковой сети и прочие злоумышленники. Однако сам же Рамо цитирует три правила компьютерной безопасности, выведенные шифровальщиком из АНБ Робертом Моррисом – старшим: “Правило 1: не покупайте

компьютер. Правило 2: не включайте его. Правило 3: не используйте его”^{[1441][1442]}. Если мы все будем и дальше игнорировать эти новые категорические императивы – особенно это относится к нашим лидерам, большинство из которых даже не удосужилось установить двухфакторную аутентификацию на адреса своей электронной почты, – разве какие-нибудь ворота выстоят против Ассанжа, *Guccifer*’а и им подобных?

Сейчас происходит интеллектуальная гонка вооружений, цель которой – придумать жизнеспособную доктрину кибербезопасности. Маловероятно, что в ней победят те, кто погряз в традиционных представлениях о национальной безопасности. Пожалуй, реалистичнее было бы сформулировать задачу иначе: не отражать атаки и не мстить за них, а регулировать все разнообразные сети, от которых зависит сегодняшнее общество, таким образом, чтобы они оставались упругими – или, лучше того, “антихрупкими”, если воспользоваться термином, который придумал Нассим Талеб для описания системы, которая становится только крепче от нападений на нее^[1443]. Те, кто, как и Талеб, живут в мире управления финансовыми рисками, в 2008 году убедились в том, насколько хрупка международная финансовая сеть: провал одного-единственного инвестиционного банка едва не обрушил всю систему мирового кредитования. Теперь и все остальные подтянулись вслед за банкирами и коммерсантами: все мы сегодня так же плотно опутаны сетями, как и они – десять лет назад. Подобно финансовой сети, наши социальные, коммерческие и инфраструктурные сети подвержены постоянным атакам со стороны дураков и мерзавцев, и мы мало что можем сделать, чтобы обуздать их. Лучше всего было бы планировать и выстраивать наши сети так, чтобы КиберСибирь никак не могла навредить им. А значит, нужно преодолеть соблазн устроить все сложно, если (как и в случае финансового права) наилучший выход – простота^[1444]. Прежде всего, необходимо понимать, как устроены создаваемые нами сети.

Если устранить половину узлов в случайном графе сети, совпадающей по размеру с большинством реально существующих сетей, эта сеть разрушится. Но если ровно то же проделать с безмасштабной моделью похожей величины, “гигантский связанный компонент выстаивает даже после уничтожения более чем 80 % узлов, а среднее расстояние [между узлами] внутри него остается практически таким же, как было в начале”^[1445]. Это жизненно важная идея для разработчиков таких сетей, которые окажутся

антихрупкими и успешно выдержат преднамеренную адресную атаку.

Глава 59

FANG, BAT и Евросоюз

В марте 2017 года комитет по внутренним делам британской палаты общин во главе с председателем Иветт Купер обвинили *Google*, *Facebook* и *Twitter* в том, что они делают слишком мало для цензуры в интернете от имени своих компаний. Купер пожаловалась, что *Facebook* так и не удалил страницу, которая называлась *Ban Islam* (забанить / запретить ислам). Она заявила: “Нам нужно, чтобы вы делали больше и брали на себя больше ответственности за защиту людей”^[1446]. На той же неделе министр юстиции Германии Хайко Маас предал гласности проект закона, по которому социальным сетям грозил штраф до 50 миллионов евро в том случае, если они не удаляли несущие ненависть высказывания или фальшивые новости. Вот его слова: “Противозаконный контент удаляется слишком редко, а если и удаляется, то недостаточно быстро”^[1447].

Можно выдвигать аргументы как за, так и против цензуры в отношении публикаций одиозного содержания. Можно только поражаться тому, что компании и государственные органы умудряются тратить деньги на онлайн-рекламу настолько неразборчиво, что их тщательно продуманные лозунги в итоге переключаются на джихадистские веб-сайты. Однако те, кто утверждает, что цензуру должны осуществлять *Google* и *Facebook*, не просто снимают с себя ответственность, но еще и расписываются в собственной необычайной наивности. Словно две эти компании еще недостаточно могущественны, европейские политики явно желают им предоставить все полномочия для ограничения свободы слова их же собственных сограждан.

Нужно понимать, что у информационной революции есть три важных аспекта. Во-первых, она почти целиком является американским достижением, хотя в нее и внесли немалый вклад компьютерные специалисты, съехавшиеся в Кремниевую долину со всего мира, а также азиатские производители, благодаря которым сильно снизились цены на аппаратуру. Во-вторых, безусловно господствующее положение сейчас занимают важнейшие из технологических компаний США. В-третьих, как мы уже говорили, это господство оборачивается для них колоссальными доходами. Наблюдая за американской сетевой революцией, остальной мир

оказался перед выбором: капитулировать и регулировать – или не пускать и конкурировать. Европейцы выбрали первый вариант. Напрасно вы будете искать европейский поисковик, европейский интернет-магазин, европейскую социальную сеть. Самая крупная интернет-компания, созданная в Европе, – это *Spotify*, основанная в Швеции в 2006 году стриминговая компания, позволяющая слушать музыку и просматривать видео^[1448]. FANG так прочно поселились в странах ЕС, что теперь Европейская комиссия может в лучшем случае докучать этим американским гигантам обвинениями в монополизме, налоговыми уведомлениями, датированными задним числом, более жесткими законами о защите частной жизни и личной информации, не говоря о трудовом праве^[1449]. Конечно, европейцы первыми установили правило, согласно которому американские компании не могут действовать на их территории независимо от национальных или общеевропейских законов. Француз Марк Кнобель первым заявил о том, что *Yahoo* не имеет права рекламировать нацистскую атрибутику на сайте своего аукциона, и не в последнюю очередь потому, что сервер, через который французские пользователи попадают на этот сайт, находится в Европе (в Стокгольме), а еще потому, что *Yahoo* способен (вопреки его утверждениям) отличить французов от пользователей из других стран^[1450]. Ряд европейских стран – не только Франция, но и Британия и Германия – приняли законы, которые требуют от интернет-провайдеров блокировать запрещенный контент (например, педофильское порно), делая его недоступным для граждан этих стран. Вместе с тем европейская политическая элита сегодня фактически зависит от американских компаний вроде *Facebook*, которые, как ожидается, будут осуществлять цензуру от их имени, и при этом она явно забывает о возникающем риске: а именно что “стандарты сообщества”, принятые в *Facebook*, могут в итоге оказаться суровее европейских законов^[1451].

Китайцы же, напротив, сделали выбор в пользу конкуренции. Американцы не ожидали такого – они предсказывали, что Пекин просто попытается “контролировать интернет”, а президент Билл Клинтон даже заранее сравнил эту попытку с “попыткой приколотить к стенке желе”^[1452]. “Интернет – губчатая сеть, – писал в 2003 году один американский профессор, – и если люди в Китае... захотят получать информацию из Кремниевой долины, даже самое всемогущее правительство не сможет им помешать”^[1453]. Он

оказался не совсем прав. Конечно, цензура вводилась. С 2012 года, когда Центральный комитет по делам киберпространства возглавил Лу Вэй, Китай повысил эффективность своей “Великой огненной стены”, которая блокирует доступ к десяткам тысяч западных веб-сайтов, а также “Золотого щита”, который осуществляет интернет-надзор, и “Великой пушки”, которую можно использовать для атак на враждебные сайты. За микроблогами и социальными сетями вроде *Sina Weibo* ведется самое пристальное полицейское наблюдение, и тем, кто размещает в интернете лживую или провокационную информацию, грозят тюремные сроки. Достаточно привести всего один пример того, как действуют китайские власти: в сентябре 2016 года правительство заставило *Netease* закрыть все онлайн-форумы, кроме тех, что были посвящены недвижимости и обустройству дома^[1454]. Хотя правительство мирится с тем, что в интернете его всю критику, цензура быстро пресекает все призывы к любым неофициальным коллективным действиям^[1455].

Однако цензура – не главное в китайской реакции на наступление сетевого века. Суть китайской стратегии состояла в том, чтобы всеми силами, пуская в ход честные и нечестные средства, ограничивать крупным американским IT-компаниям доступ на китайский рынок и, напротив, всячески поощрять местных предпринимателей, чтобы те создавали китайскую альтернативу FANG. Если *Yahoo* и *Microsoft* приняли навязанную китайским правительством “самодисциплину”^[1456], *Google* ушел из Китая в 2010 году, после неоднократных пререканий с китайскими властями из-за цензуры и из-за атак на почтовые ящики сервиса *Gmail* местных борцов за права человека. *Facebook* же пытался укорениться в Китае с 2005 года, когда он только зарегистрировал доменное имя www.facebook.cn, но его заблокировали в 2009 году, когда китайские власти обвинили западные соцсети и их руководство в том, что они разжигают волнения в Синьцзяне – провинции с преимущественно мусульманским населением^[1457]. В итоге в китайском интернете сегодня господствует триада BAT: *Baidu* (поисковик, основанный Робином Ли в 2000 году), *Alibaba* (ответ Джека Ма *Amazon* – компания, учрежденная в 1999 году) и *Tencent* (ее создал годом раньше Ма Хуатэн, и эта компания известна прежде всего своим приложением для обмена сообщениями *WeChat*). Эти конгломераты – отнюдь не клоны американских аналогов: каждая компания оказалась новаторской на свой лад, и поскольку их совокупная

рыночная стоимость превышает 473 миллиарда долларов, а годовые доходы составляют 20 миллиардов, то по масштабу они вполне сопоставимы с американскими аналогами. Мессенджером *WeChat* пользуются 86 % китайских интернет-пользователей, и он быстро вытесняет некогда обязательные азиатские корпоративные карточки с удобными QR-кодами. В 2015 году доходы *Alibaba* в Китае превзошли доходы *Amazon* в США; его доля в общем объеме доходов от розничной торговли в Китае (более 6 %) вдвое больше, чем аналогичная доля *Amazon* в США ^[1458].

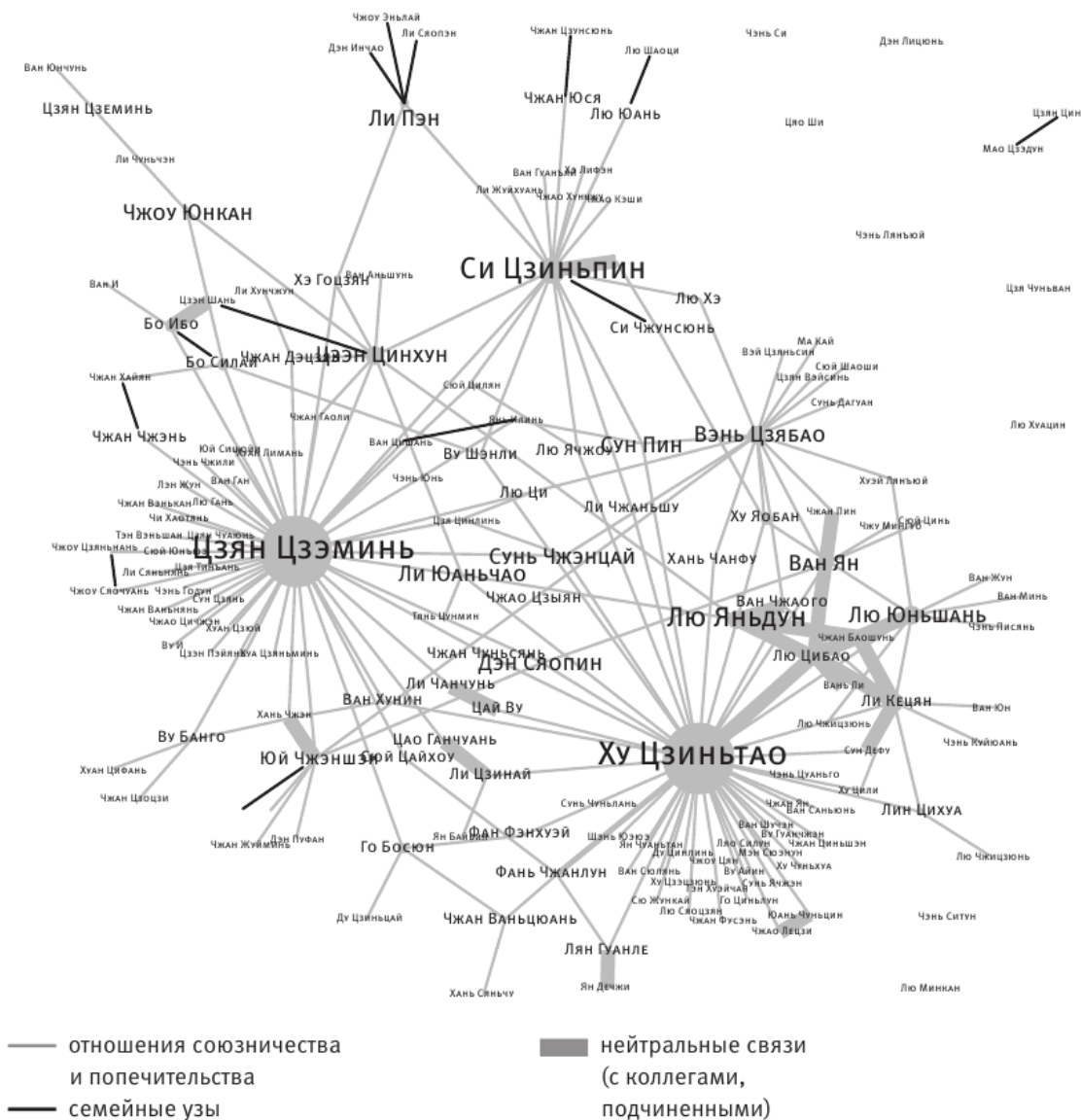
Естественно, Кремниевая долина щерит клыки, злясь на то, что ее не пускают на обширный китайский рынок. Цукерберг еще не оставил надежду – он дает интервью на беглом мандаринском наречии и даже бегаёт трусцой по затянутой смогом площади Тяньаньмэнь, но недавняя капитуляция *Uber* наверняка обескуражила его. В прошлом году, понеся годовые убытки, превысившие миллиард долларов, *Uber* вывесил белый флаг и смирился с тем, что он не в силах победить местную карпулинговую компанию *Didi Chuxing* ^[1459]. Отчасти эта неудача объясняется большей энергией и большими финансовыми возможностями *Didi*, но отчасти и нормативными изменениями, явно нацеленными на то, чтобы поставить *Uber* в невыгодное положение на китайском рынке ^[1460]. Разочарование американских компаний, возмущенных этими и другими помехами, вполне понятно. И все же трудно не восхититься тем, как Китай принял вызов Кремниевой долины – и вышел победителем. Это было не только экономически умное решение – оно было умным еще и в политическом и стратегическом отношениях. Теперь “Большой брат” в Пекине сам располагает большими данными, которые нужны, чтобы держать под колпаком всех китайских “граждан сети”. Между тем, если АНБ вдруг понадобится собрать метаданные, касающиеся Поднебесной, ему придется штурмовать китайскую “Великую огненную стену”.

Расхожее мнение на Западе до сих пор гласит, что сетевой век в той же степени враждебен режиму Коммунистической партии Китая, в какой был враждебен Советскому Союзу. Но есть и те, кто думает иначе ^[1461]. Прежде всего, партия и сама является сложно устроенной сетью: грани, связывающие ее вершины, – это отношения попечительства и товарищества между коллегами или людьми, стоящими на одной ступени. Например, если исходить из принципа центральности по посредничеству, Си Цзиньпин обладает не меньшим могуществом, чем любой из лидеров со времен Цзян

Цзэминя, и он намного могущественнее Дэн Сяопина, с которым его иногда ошибочно сравнивают западные обозреватели^[1462]. Сетевой анализ позволяет исследователям, изучающим китайское государственное управление, отойти от упрощенческих теорий о партийных кликах и вникнуть во все тонкости современной системы *гуаньси*. Чэн Ли подчеркивал, что в восхождении Си на вершину власти важную роль играли связи между наставником и подопечными — то есть отношения, существовавшие между высокопоставленными партийными чиновниками и их ближайшими помощниками (*мишу*). Те, кто проводит различия между элитарным “лагерем Цзян-Си” и популистским “лагерем Ху-Ли”, преувеличивают жесткость фракционных границ. Сам Си начинал карьеру секретарем при тогдашнем министре обороны Гэн Бяо, затем перешел на руководящую работу в провинциях Хэбэй, Фуцзянь, Чжэцзян и Шанхай, а там выстроил собственную сеть подопечных, в число которых вошли столь несходные между собой деятели, как экономический технократ Лю Хэ и консерватор-милитарист Лю Юань^[1463]. Как считает Франциска Келлер, Китай проще понять, если смотреть на него с точки зрения сетей попечительских отношений, а не с точки зрения фракций или кланов. К другим важным сетям относятся сеть, куда вошли члены “узких составов”^[1464] Си, и сеть, связывающая корпорации с банками через рынок облигаций^[1465].

Китай вовсе не собирается “приколачивать желе к стенке”: его подход заключается в том, чтобы узнавать из микроблогов о том, что заботит граждан, и все эффективнее использовать эту информацию. Когда исследователи из Гонконга, Швеции и США обрабатывали массив данных 13 с лишним миллиардов блог-постов, размещенных на *Sina Weibo* с 2009 по 2013 год, они с удивлением обнаружили, что в 382 тысячах постов речь шла о социальных конфликтах, а примерно 2,5 миллиона содержали упоминания о массовых протестах, например забастовках. Возникла гипотеза, что в настоящее время власти используют социальные сети, чтобы отслеживать проявления инакомыслия, а также выявлять случаи коррупции. Примечательно, что из 680 чиновников, которых обвиняли в коррупции пользователи *Weibo*, те, кому в итоге предъявили официальные обвинения, упоминались почти в десять раз чаще остальных^[1466]. Другой массив данных — о 1460 чиновниках, в отношении которых проводилось расследование по подозрению в коррупции с 2010 по 2015 год, —

позволяет получить более четкое представление о сетях, управляющих Китаем. В данном случае речь идет о сети “тигров и мух” (то есть крупных и мелких правонарушителей), чьи преступления и проступки сделались главным объектом внимания правительства Си Цзиньпина^[1467]. Существует вероятность, что информационные и компьютерные технологии позволили Пекину выстроить систему “социального кредита”, аналогичную западной финансово-кредитной системе, которая (выражаясь официальным языком) “позволяет благонадежным расхаживать под небесами повсюду, но мешает запятнавшим себя сделать даже шаг”^[1468]. В Китае уже существуют системы *хукоу* (прописки по месту жительства) и *дан-ань* (личных дел), а еще разработан порядок награждения отличившихся работников и партийных кадров. Если объединить эти системы с теми данными, которые власти без труда могут получить у компаний ВАТ, то можно выстроить такую всеобъемлющую систему социального контроля, какая и не снилась правителям тоталитарных государств середины XX века.



Илл. 50. Сеть членов ЦК компартии Китая. Величина узлов пропорциональна количеству имеющихся у них связей (степени), величина имен пропорциональна центральности по посредничеству. Обратите внимание на то, что связи между попечителями и подопечными важнее, чем связи между родственниками.

В то же время лидеры Китая, по-видимому, гораздо лучше разбираются в “сетевом искусстве”, чем их американские коллеги. Если Транстихоокеанское партнерство, вероятно, скоро распадется из-за выхода из него США уже при Трампе, китайские инициативы – например, программа “Один пояс – один путь” и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций – продолжают привлекать все новых участников. Замечательная проверка китайского подхода покажет, насколько успешно китайцы смогут опередить США в быстро растущем секторе финансовых технологий. С древних времен

государства присваивали себе право выпускать в обращение деньги – будь то монеты с отчеканенными на них портретами царей и королей, банкноты с изображениями давних президентов или электронные страницы на экране. Однако цифровые валюты вроде биткойна и эфириума, основанные на блокчейнах (цепочках блоков баз данных), сулят немало преимуществ перед официальными валютами, например, долларами США и китайскими юанями. Как платежным средством – особенно для транзакций в реальном времени – пользоваться биткоином и быстрее и дешевле, чем кредиткой или безналичным денежным переводом. Как средство сбережения он обладает многими важнейшими качествами золота, прежде всего – конечными запасами. Как расчетная денежная единица биткоин, конечно же, совсем не устойчив, но это оттого, что он сделался заманчивым объектом для спекулянтов – “цифровым золотом”. Хуже того, на биткоин, похоже, расходуется чересчур много компьютерных ресурсов, потому что его “добывают” или “измельчают” и удостоверяют его подлинность^[1469]. С другой стороны, из-за технологии распределенного реестра, к которой привязан биткоин, проблема установления подлинности и безопасности решается настолько легко, что биткоин может функционировать и как защищенная от мошенничества технология обмена сообщениями. А эфириум может даже автоматизировать принудительное исполнение договоров, благодаря чему отпадает нужда в дорогостоящем чиновничьем надзоре, который является неотъемлемой и крайне затратной частью существующей системы национальных и международных платежей^[1470]. Словом, “доверие распределяется, персонализируется, социализируется... и необходимость в центральном контролирующем и проверяющем ведомстве отпадает”^[1471]. Конечно, китайские власти отнюдь не жаждут отдать свою платежную систему биткойну – не больше, чем отказаться от своей системы таксопарков в пользу *Uber*. Более того, их тревожит, что 40 % мировой сети биткойна уже приходится на долю китайских майнеров, а около трех четвертей сделок с биткоином совершается на бирже цифровых валют ВТСС (*Bitcoin China*). Контрольно-надзорные органы фактически прекратили внутренние операции с обменом китайской криптовалюты летом 2017 года. Однако Пекин явно присматривается к потенциалу блокчейна как технологии. Поэтому Народный банк Китая и ряд исполнительных органов в провинциях уже готовятся в ближайшем будущем запустить в одной

или двух провинциях страны официальную криптовалюту – возможно “бит-юань”^[1472]. Возможно, Сингапур обгонит Китай и первым выпустит такую криптовалюту, но можно не сомневаться, что Пекин опередит Вашингтон^[1473]. Если китайские эксперименты окажутся успешными, они ознаменуют начало новой эпохи в истории денежного обращения и будущему доллара как главной международной валюты будет брошен серьезный вызов.

Глава 60

Возвращение площади и башни

Порой кажется, что мы зашли в какой-то тупик: мы все пытаемся понять нашу собственную эпоху, применяя к ней теоретические схемы, придуманные еще полвека с лишним назад. Со времен финансового кризиса многие экономисты только тем и занимаются, что повторяют идеи Джона Мейнарда Кейнса, умершего в 1946 году. Обращаясь к теме популизма, авторы, пишущие об американской и европейской политике, постоянно смешивают популизм с фашизмом, как будто эпоха мировых войн – единственный исторический период, о котором они вообще знают. Аналитики-международники, похоже, не в силах расстаться с терминологией, которая возникла примерно в ту же пору: реализм или идеализм, ограничение или умиротворение, сдерживание или разоружение. “Длинная телеграмма” ^[1474]Джорджа Кеннана была отправлена всего за два месяца до смерти Кейнса; книга Хью Тревор-Роупера “Последние дни Гитлера” ^[1475]вышла годом позже. Но ведь с тех пор прошло уже семьдесят лет. Наша собственная эпоха совсем не похожа на середину XX века. Почти автаркические, осуществляющие тотальный контроль государства, сложившиеся в годы Великой депрессии, Второй мировой войны и на начальном этапе холодной войны, существуют сегодня (если вообще существуют) лишь как бледные тени своих прежних полнокровных ипостасей. Бюрократические и партийные аппараты, управлявшие ими, или давно вышли из строя, или дышат на ладан. Административное государство – вот их последнее воплощение. Сегодня технологические инновации сообща с международной экономической интеграцией породили совершенно новые виды сетей – от криминального подполья до утонченного “высшего мира” Давоса, – о каких и не мечтали Кейнс, Кеннан или Тревор-Роупер.

Уинстон Черчилль изрек когда-то ставшую знаменитой фразу: “Чем дольше ты будешь смотреть назад, тем дальше увидишь вперед”. Нам тоже следует подольше всматриваться в прошлое и задавать себе вопрос: вероятно ли, что наша эпоха повторит опыт того периода, начиная с 1500 года, когда революция в печатном деле дала толчок новым революционным волнам? ^[1476] Освободят ли нас новые революции от оков административного государства подобно тому, как революционные сети XVI, XVII и XVIII веков освободили

наших предков от оков духовной и светской иерархий? Или же правящим иерархиям нашего времени удастся быстрее, чем их имперским предшественницам, переманить сети на свою сторону и привлечь к своему стародавнему порочному занятию – ведению войн?

Утопическая мечта либертарианцев о свободе и равенстве “сетян” – связанных между собой, делящихся друг с другом всеми доступными данными с максимальной прозрачностью и минимальными настройками конфиденциальности – не лишена привлекательности, особенно для молодежи. Очень заманчиво представить, как эти “сетяне”, подобно подземным рабочим из ланговского “Метрополиса”, стихийно взбунтуются против коррумпированных мировых элит, а затем выпустят на волю мощный искусственный интеллект, чтобы заодно сбросить с себя бремя постылого и тяжелого труда. В ловушку подобных благодушных мечтаний легко попадают те, кто пытается заглянуть в будущее, не заглядывая в прошлое. С середины 1990-х годов специалисты по информационным технологиям и другие ученые фантазировали о создании “мирового мозга” – самонастраивающегося “планетарного сверхорганизма”^[1477]. В 1997 году Михалис Дертузос предсказал наступление эпохи “компьютеризированной мирной гармонии”^[1478]. “Новые информационные технологии открывают новые перспективы, ведущие к ненулевым суммам”, – написал один энтузиаст в 2000 году. Правительства, не реагирующие достаточно быстро на перемены и не децентрализующие свой контроль, “скоро... понесут наказание”^[1479]. Н. Кэтрин Хейлс чуть не впала в эйфорию. “Как обитатели сетей, пронизавших собой весь мир, – писала она в 2006 году, – мы объединены в одну динамичную коэволюционную спираль с умными машинами, а еще с другими биологическими видами, с которыми мы делим планету”. И эта благотворная устремленная ввысь спираль, по ее мнению, приведет к возникновению новой “когнисферы”^[1480]. Через три года Иэн Томлин рассказал, что нас ждут “бесчисленные формы союзов между людьми... без оглядки на... религиозные и культурные различия служащих всеобщему состраданию и сотрудничеству, что жизненно необходимо для выживания нашей планеты”^[1481]. “Социальные инстинкты людей – стремление встречаться и обмениваться идеями, – заявлял он, – когда-нибудь могут оказаться единственным, что спасет наш вид от самоуничтожения”^[1482].

Другой автор писал, что третьей волной глобализации станет “информатизация”^[1483]. *Web 3.0* приведет к “современному кембрийскому взрыву” и станет “рулевым усилителем для нашего коллективного разума”^[1484].

У хозяев Кремниевой долины имеется множество стимулов идеализировать будущее. Баладжи Шринавасан рисует заманчивые картины: поколение миллениалов будет совместно работать в “облаках”, не ощущая границ и расстояний, и расплачиваться друг с другом криптовалютой, избавившись от диктата государственных платежных систем. Марк Цукерберг, выступая в 2017 году на церемонии вручения дипломов в Гарварде, обратился к новоиспеченным выпускникам с призывом: помогать “создавать такой мир, где у каждого будет осознанная цель: сообща браться за большие осмысленные задачи, выводить понятие равенства на новый уровень, где у каждого будет возможность преследовать свою цель, и строить сообщество по всему миру”. Однако сам Цукерберг олицетворяет как раз неравенство, присущее экономике суперзвезд. Большинство мер, которые он предлагает для устранения неравенства – “всеобщий базовый доход, доступный уход за детьми и система здравоохранения, не привязанная к какой-то одной компании... непрерывное образование”, – невозможны в глобальном масштабе, они жизнеспособны лишь в рамках национальной политики, какую осуществляли прежние государства “всеобщего благосостояния” XX века. А когда Цукерберг говорит, что в наше время борьба идет между “силами свободы, открытости и глобального сообщества – и силами авторитаризма, изоляционизма и национализма”, то, кажется, он сам забывает о том, какую пользу последним силам принесла его собственная компания^[1485].

Футурологические исследования почти не дают нам оснований ожидать, что многие (если вообще хоть какие-нибудь) из радужно-утопических картинок, какие заранее рисует Кремниевая долина, действительно осуществляются. Если закон Мура и впредь будет сохранять силу, то компьютеры обретут способность симулировать деятельность человеческого мозга примерно в 2030 году. Но с какой стати мы должны ожидать, что это приведет к осуществлению именно тех утопических сценариев, которые вкратце пересказывались в предыдущих двух абзацах? “Закон Мура” начал действовать, самое раннее, с той поры, когда была (частично) собрана “Аналитическая машина” Чарльза Бэббиджа незадолго до

его смерти в 1871 году, и уж без малейших сомнений можно вести отсчет с начала Второй мировой войны. Но нельзя сказать, что при этом наблюдались соответствующие улучшения в нашей производительности или тем более в нашем (как вида) нравственном поведении. Можно убедительно доказать, что достижения более ранних промышленных революций принесли человечеству гораздо больше пользы, чем инновации самой недавней революции^[1486]. И если главным последствием роботизации и появления искусственного интеллекта действительно станет масштабная безработица^[1487], не стоит ожидать, что большая часть человечества^[1488] безропотно посвятит появившийся досуг невинным увлечениям, довольствуясь скромным, но достаточным для выживания базовым доходом. Подобные общественные договоренности сохраняли бы силу разве что в условиях фантастического тоталитарного государства, описанного Олдосом Хаксли, где люди из низшей касты повально подсажены на успокоительные наркотики^[1489]. Более правдоподобный сценарий – это повторение тех насильственных беспорядков, которые в итоге ввергли в хаос прошлый великий “сетевой век” и получили в истории название Французской революции^[1490].

Кроме того, нельзя отмахнуться от подозрения, что, несмотря на все утопические прогнозы, менее благожелательные силы уже научились не только пользоваться, но и злоупотреблять “когнисферой” в собственных корыстных целях. На деле работа интернета зависит от подводных и оптоволоконных кабелей, спутниковых линий связи и гигантских складов, заставленных серверами. Во владении всей этой собственностью нет ничего утопического, как и в олигополистических соглашениях, которые делают столь выгодным владение крупными веб-платформами. Обширные новые сети сделались реальностью, но они, как и сети прошлых эпох, иерархичны по своей структуре: малое число узлов, к которым сходится чрезмерное количество связей, господствует над массой узлов, имеющих скудные связи. И то, что эту сеть могут использовать в своих интересах морально растленные олигархи или религиозные фанатики, чтобы раздувать в киберпространстве новую и непредсказуемую разновидность войны, – уже далеко не умозраительные опасения. Кибервойна уже идет. Индексы геополитического риска указывают на то, что не за горами обычная или даже ядерная война^[1491]. Нельзя исключить и иную возможность – что “планетарный сверхорганизм”, созданный

докторами Стрейнджлавами^[1492] с искусственным интеллектом, когда-нибудь вычислит – вполне разумно, – что человеческий род представляет собой величайшую угрозу для долгосрочного выживания самой планеты, разъярится и уничтожит всех нас^[1493].

“Я думал, что как только все смогут свободно высказываться и обмениваться информацией и идеями, мир автоматически станет лучше, – признавался в мае 2017 года Эван Уильямс, один из основателей *Twitter*. – И ошибся”^[1494]. История учит нас тому, что доверять сетям управление миром – значит накликать анархию: в лучшем случае власть достанется иллюминатам, но еще более вероятно, что она попадет в руки якобинцев. У некоторых уже сегодня возникает соблазн поднять “два тоста за анархизм”^[1495]. Те, кому довелось пережить войны 1790-х и 1800-х годов, усвоили важный урок, который было бы полезно усвоить и нам: если хочется избежать череды революционных вихрей и ураганов, лучше навязать миру некий иерархический порядок и придать ему легитимную форму. На Венском конгрессе пять крупных держав договорились учредить такой порядок, и образованная ими пентархия служила замечательной гарантией стабильности на протяжении большей части следующего столетия. И вот сейчас, почти двести лет спустя, мы стоим перед похожим выбором. Те, кто отдает предпочтение миру, управляемому сетями, рискуют очутиться не в пронизанном связями утопическом государстве из своих мечтаний, а в мире, поделенном между FANG и BAT и предрасположенном ко всем патологиям, о которых говорилось выше, в мире, где зловердные подсети эксплуатируют возможности Всемирной паутины, чтобы распространять вирусоподобные мемы и сеять ложь.

Есть и альтернатива – если сложится новая пентархия крупных держав, которые признают, что в их общих интересах – остановить распространение джихадизма, преступности и кибервандализма, а также изменение климата. После истории с вирусом-вымогателем *WannaCry* в 2017 году даже российское правительство должно было понять: ни одному государству не стоит надеяться, что КиберСибирь будет долго оставаться в его власти. Ведь эта вредоносная программа была разработана в американском АНБ как кибероружие под названием *EternalBlue*, но затем ее украли и слили в сеть группа хакеров, именующих себя *Shadow Brokers* (“Теневыми брокерами”). Потом один британский программист обнаружил ее “аварийный выключатель”, но к тому времени заражению

подверглись уже сотни тысячи компьютеров в Америке, Британии, Китае, Франции и России. Нужна ли лучшая иллюстрация довода, что борьба с анархией в интернете – в общих интересах крупных держав? Удачно, что разработчики послевоенного порядка в 1945 году уже заложили организационную основу для подобной новой пентархии – в форме Совета Безопасности ООН с его постоянными членами, и эта организация по сей день сохраняет исключительно важный элемент легитимности. Главный геополитический вопрос нашего времени – смогут ли эти пять крупных держав найти общий язык и снова, как их предшественники в XIX веке, заключить крепкий союз^[1496].

В Сиене шесть столетий назад Торре-дель-Манджа, башня дворца Палаццо-Публико, отбрасывала длинную тень на Пьяцца-дель-Кампо – веерообразную площадь, которая поочередно служила то рынком, то местом собраний горожан, а дважды в год – скаковым кругом. Высота башни была тщательно продумана: она возносилась ввысь ровно на столько же, на сколько и вершина городского собора, стоявшего на самом высоком из городских холмов. Таким образом, вместе они зримо символизировали равенство светской и духовной иерархий^[1497]. Почти сто лет назад в ланговском “Метрополисе” иерархическую власть символизировали манхэттенские небоскребы, которые и сейчас бóльшую часть дня отбрасывают тень на южную и восточную части Центрального парка^[1498]. Когда в Нью-Йорке построили первые небоскребы, казалось, что эти внушительные громадины как нельзя лучше подходят для контор иерархических корпораций, занимавших господствующее положение в экономике США.

А вот сегодняшние технологические компании-гиганты, напротив, избегают вертикальных форм. Штаб-квартира *Facebook* в Менло-Парке, спроектированная Фрэнком Гери, представляет собой широко раскинувшийся кампус с офисами открытого типа и площадками для игр. По словам Марка Цукерберга, это “одна комната, где свободно помещается тысяча человек”, или (если сказать точнее) необъятный детский сад для умников. Главное здание в новом *Apple Park* – штаб-квартире *Apple* в Купертино – внешне напоминает огромный круглый космический корабль всего в четыре этажа (над уровнем земли). Этот “центр творчества и сотрудничества”, спроектированный покойным Стивом Джобсом, Норманом Фостером и Джонатаном Айвом, как будто предназначен для того, чтобы в нем расположилась решетковидная сеть – с

равнозначными вершинами с равным числом граней, зато с единственным рестораном^[1499]. А новая штаб-квартира *Google* в Маунтин-Вью, окруженная “деревьями, ландшафтными зонами, кафе и велосипедными дорожками”, будет состоять из “легких «кубиков», которые без труда можно будет перемещать с места на место”. Будто собранный из деталей *Lego* и помещенный в природный заповедник, этот офисный комплекс без фундаментов и поэтажных планов будет наглядно олицетворять постоянно меняющуюся сеть самого *Google*^[1500]. Кремниевая долина предпочитает не выпячиваться – и не только из страха перед землетрясениями. Архитектура, тяготеющая к горизонтали, отражает истинную роль этого важнейшего узла глобальной сети: роль городской площади мирового масштаба.

А на противоположном конце США – в Нью-Йорке, на Пятой авеню – высится 58-этажное здание, в котором воплотилась совершенно иная организационная традиция^[1501]. И в сегодняшнем выборе между сетевой анархией и мировым порядком важнейшее право голоса принадлежит не кому иному, как отсутствующему владельцу этой темной башни.

Послесловие

Изначальные площадь и башня: сети и иерархии в Сиене эпохи треченто

Чтобы понять, почему эта книга называется “Площадь и башня”, читатель должен отправиться вместе со мной в Сиену. Прогуляйтесь по скорлупообразной Пьяцца-дель-Кампо в сторону Палаццо-Публико, пройдите под тенью кампанилы – величественной Торре-дель-Манджа. Больше нигде в мире не увидеть такого примера, в котором столь изящно и наглядно противопоставлены две формы организации человеческого общества, описанные в настоящей книге: вокруг вас расстилается общественная зона, нарочно созданная для всевозможных видов более или менее неофициального общения, а над вами возвышается внушительная башня, призванная и олицетворять, и осуществлять светскую власть. Сквозь всю эту книгу проходит мысль о том, что противоборство между распределенными сетями и иерархическими порядками так же старо, как само человечество. Оно существует независимо от состояния развития технологии, хотя технология и может влиять на победу одной из сторон. Сиена прекрасно иллюстрирует эту мысль – ведь ее городская площадь и башня были возведены еще до появления в Европе печатного станка. Торре-дель-Манджа пристроили в XIV веке к Палаццо-Публико, строительство которого завершилось в 1312 году. Вымощенная кирпичом площадь тоже родом из треченто^[1502].

Сегодня многие ошибочно думают, что интернет в корне изменил мир. Однако, как отмечалось в недавнем постановлении, принятом большинством голосов в Верховном суде США, интернет – всего лишь “современная общественная площадь” (в формулировке судьи Энтони Кеннеди)^[1503]. Проблемы 2017 года далеко не так новы, как нам хотелось бы воображать. Предвещает ли пристрастие президента к авторитарному правлению конец республики? Могут ли социальные и политические разногласия вылиться в настоящую междоусобицу? Может ли тот вызов, что возвышающаяся держава бросает державе доминирующей, привести к войне? Подобные вопросы показались бы очень знакомыми и понятными людям, возводившим Торре-дель-Манджа. А если вы все еще сомневаетесь – войдите в Палаццо-Публико и поднимитесь на второй этаж. Там, на стенах Сала-деи-Нове (зала

Девяти), вы увидите поразительное свидетельство того, что противопоставление сети и иерархии – идея, насчитывающая уже много столетий.

Фрески, написанные Амброджо Лоренцетти в Сала-деи-Нове, принадлежат к числу величайших достижений итальянской живописи треченто. Впервые я увидел их в середине 1980-х годов, будучи бедным студентом-магистрантом. Эти фрески произвели на меня столь сильное впечатление, что, хоть в карманах у меня гулял ветер, я купил репродукции двух сцен живописного цикла Лоренцетти. Наверное, это была моя первая покупка подобного рода, и я исправно вешал эти репродукции на стены своей комнаты, где бы я ни жил, пока продолжал учиться, – в Оксфорде, Гарварде и Стэнфорде, хотя это были совсем дешевые и довольно мутные картинки. И вот каким-то непостижимым образом они, видимо, продолжали влиять на мое мышление. Скорее всего, именно из-за них, когда я пытался придумать название для этой книги, Сиена сама пришла мне в голову.

Фрески призваны были вдохновлять Совет Девяти – выборный орган, правивший в ту пору Сиенской республикой. Полномочия каждого из девяти чиновников длились только два месяца, но в течение этого срока все они жили прямо в городской ратуше, в разлуке с семьями – иными словами, в отрыве от династических сетей, господствовавших в итальянских городах-государствах позже, в эпоху Возрождения. А в более просторном смежном Зале Совета – Сала-дель-Консильо – заседал сиенский общий совет (по сути, законодательный орган). Однако, согласно писаной конституции республики, Совет Девяти был органом и исполнительной, и (в светской области) судебной власти. Фрески, работа над которыми шла с февраля 1338-го по май 1339 года, должны были напоминать Совету Девяти о том, сколь многое зависит от принимаемых ими решений.



Илл. 51. Созданный Лоренцетти образ дурной иерархии: на троне восседает дьяволоподобный тиран (*Tyrammides*). Над тираном парят Жадность, Гордыня и Тщеславие. У его ног лежит поверженная Справедливость, связанная и беззащитная.

Росписи занимают три из четырех стен Сала-деи-Нове, не расписана только южная стена – та, в которой имеется единственное в этом зале окно^[1504]. Встаньте спиной к окну – и слева (на западной стене) вы увидите фреску, которую ее современники называли “Война”. Напротив вас, на северной стене, – фреска, которую искусствоведы называют “Аллегория доброго правления”. Она явно задумывалась как центральная часть цикла – освещается она лучше двух других^[1505]. А справа от вас, на восточной стене, – “Мир”.

Ученые давно спорили о том, какими источниками вдохновлялся Лоренцетти. Много лет считалось, что фрески были призваны иллюстрировать представления о справедливости, какой ее мыслили Аристотель (в “Никомаховой этике”) и Фома Аквинский (в “Сумме богословия”). Еще очевиднее связь с идеями флорентийского писателя XIII века Брунетто Латини, автора энциклопедии *Li Livres dou trésor*^[1506] (ок. 1260–1265) и поэмы *Tesoretto*^[1507]. В недавних исследованиях, посвященных этой теме, говорится, что многие образы Лоренцетти восходят к астрологическим понятиям, а другие содержат завуалированные намеки на события тогдашней тосканской истории (например, на происходившее незадолго до того соперничество между Сиеной и Пизой).

Ранние описания этих фресок – например, Лоренцо Гиберти начала XV века – наводят на мысли, что первоначально художник просто намеревался противопоставить “грабежи, какие происходят во время войны”, и “мирные картины, [например] как идут купеческие караваны... в полнейшей безопасности, как они спокойно оставляют товары в лесу, а потом возвращаются за ними”. А францисканский миссионер и священник Бернардин Сиенский в проповеди, произнесенной почти через девяносто лет после завершения фресок, называл их просто *la pace e la guerra* (“мир и война”):

Когда я обращаю взор к миру, то вижу торговую деятельность, вижу танцы, вижу, как подновляют дома, вижу, как обрабатывают виноградники и засевают поля, вижу, как люди идут в баню, ездят верхом, вижу девушек, готовящихся к свадьбе, вижу овечьи стада и прочее. А еще я вижу, как кого-то вешают – во соблюдение священной справедливости. Вот потому-то все живут в священном мире и согласии. Но когда я поворачиваюсь и гляжу на другую [фреску], я уже не вижу торговли, не вижу танцев, а вижу смертоубийство. Дома уже не подновляют – их рушат и сжигают, поля более не обрабатывают, виноградники разоряют, никто не сеет. О банях и прочих удовольствиях позабыли, и я не вижу, чтобы люди выходили из домов. О женщины! О мужчины! Мужчина убит, над женщиной чинят насилие, стада стали добычей [хищников], люди предательски истребляют друг друга. Справедливость повержена на землю, весы ее сломаны, сама она связана, ее руки и ноги в путах. И все совершается со страхом. А в Апокалипсисе, в главе тринадцатой, война представлена Зверем, выходящим из моря, с десятью рогами и семью головами, обликом подобным барсу, и с ногами как у медведя.

Что же означают эти десять рогов, как не противление Десяти Заповедям? [Зверь] о семи головах – по числу семи смертных грехов – явлен в облике барса, что означает предательство, а медвежьи ноги означают, что он полон мести. Прощая же [врагов], вы пресекаете войну и кладете ей конец^[1508].

Однако, как следует из этой проповеди, понятия “мир” и “война” следует понимать шире – не в толстовском смысле, то есть как отношения между государствами, а в более древнем смысле: как противопоставление гражданской гармонии и кровавых усобиц, какие часто возникают из-за тиранического правления. “Аллегорию доброго правления” удачно определили как “живописное воплощение понятия *civitas* как основополагающей формы человеческого сообщества”^[1509]. Мирные сцены городской и сельской жизни на восточной стене призваны изобразить все преимущества города-государства, которым хорошо управляют. Противоположная стена являет антитезу – все ужасные последствия дурного правления.

Лоренцетти снабдил центральную аллегорическую фреску пояснительной надписью: “Эта священная добродетель [Справедливость] там, где она царит, побуждает к единению многие души [граждан], и они, сходясь вместе с таковым намерением, приносят Общее Благо [*ben comune*] своему Господину, а тот, правя своим государством, решает никогда не сводить глаз с сияющих лиц Добродетелей, восседающих кругом него. И потому ему торжественно предлагают подати, подношения и господство над городами, и потому без войны исполняется всякая гражданская повинность – полезная, необходимая и приятная”. В левой части стены сидит фигура Справедливости, над ней – небесная Премудрость, а по бокам – красный и белый ангелы, которые олицетворяют аристотелевские добродетели: коммутативную и дистрибутивную справедливость. Справа изображена еще более крупная фигура – бородатый старец, явно олицетворяющий Общее Благо (*ben comune*), то есть городскую власть самой Сиены^[1510]. Справа от старца (для зрителя слева) – полулежащая в почти эротической позе фигура Мира с оливковой ветвью и более строгие фигуры Силы и Благоразумия^[1511]. По другую руку от него расположились Великодушие, Умеренность и (еще одна) Справедливость, или Правосудие. Над ними парят Вера, милосердная Любовь и Надежда^[1512].

Однако для современного зрителя больший интерес представляют менее крупные фигуры, изображенные в нижнем ряду, под ярусом перечисленных гражданских добродетелей. Ниже более крупного олицетворения Справедливости (слева) восседает Согласие, а рядом с ней в ряд выстроились двадцать четыре представителя *popolo grasso* (буквально – “жирного народа”) – состоятельных горожан, из числа которых и избирались девять сменных правителей. Что удивительно, каждый из них держит веревку, сплетенную из двух прядей: эти пряди тянутся с разных чаш весов, которые держит Справедливость, а Согласие сплетает их воедино. Горожане передают веревку фигуре Общего Блага, и она оплетает ее правое запястье^[1513]. По мнению Квентина Скиннера, это решает давний спор и подкрепляет гипотезу, что вся фреска задумывалась как прославление республиканского самоуправления и иллюстрирует слова Брунетто Латини: благо народа требует того, чтобы “*signorie* [власть] принадлежала бы самой общине” горожан^[1514]. А еще можно заметить, что придуманный Лоренцетти образ веревки, связывающей городскую элиту в единое целое и соединяющей их с символическими началами справедливости и народного государства, предвосхитил современное представление о социальной и даже политической сети^[1515].

Пускаясь в подобные истолкования, всегда рискуешь впасть в анахронизмы. Лоренцетти совершенно четко указывает на то, что неотъемлемая часть доброго правления – крепкая военная сила: рыцари в доспехах грозно возвышаются не только над преуспевающими бюргерами, но и над захваченными военнопленными, которые связаны уже совсем другой веревкой. И все же современный зритель наверняка удивится тому, что в той части восточной стены, где изображены две мирные сцены – в самом городе и в его сельской округе, *contado*, – солдаты отсутствуют.

Приводились убедительные доказательства того, что городской пейзаж на восточной стене – это “буквально видение” аллегорической фигуры Мира, изображенной на северной стене^[1516]. Совершенно ясно, что этот город представляет саму Сиену: в левом верхнем углу мы опознаем ее городской собор (*duomo*), в центре – ворота Porta-Романа и, наконец, находящийся неподалеку порт Теламон (Таламоне)^[1517]. И все же это идеализированная Сиена, воплощающая образ “космической

гармонии общинной жизни”. Опять-таки художник обстоятельно объясняет, что именно следует увидеть зрителю:

Обратите очи, о правители, и узрите ее – ту, что изображена здесь [Справедливость], увенчанную из-за превосходства ее, ту, что всегда воздаст каждому по заслугам. Посмотрите, сколько благих плодов она приносит и сколь приятно и мирно протекает жизнь города, где сохраняется сия добродетель, затмевающая любую другую. Она оберегает и обороняет тех, кто чтит ее, она питает и кормит их... вознаграждая тех, кто творит добро, и отмеряет должное наказание злодеям.

Взглянув на фреску мельком, можно сделать ошибочный вывод, будто единственный “благий плод” справедливого правления – экономическое процветание. Однако, как и отметил святой Бернардин, не все занятия горожан сводятся к коммерции. Еще мы видим, например, как учитель наставляет учеников, а в центре изображены танцоры. Можно почти не сомневаться (несмотря на их внешний облик), что эти молодые люди водят хоровод – он назывался *tripudium*^[1518], – выражая ликование по поводу царящего мира. Да и сельская сцена мирной жизни изображает не только торговлю и полевые работы, но и охоту. “Без страха, – гласит надпись в верхнем левом углу, – всякий может спокойно проезжать по дорогам, пахать и сеять, покуда в этой общине будет царить эта дама [Справедливость], ибо она отобрала всю власть у злодеев”.

Разительный контраст всему этому являет картина раздираемого войной города на западной стене. Если на северной стене выделяются крупные аллегорические фигуры, то здесь восседает огромный Тиран (*Tyrammides*) – inferнальное косоглазое чудовище, рогатое и клыкастое. В правой руке он держит кинжал, а ногой попирает козла. Над этим тираном парят Жадность, Гордыня и Тщеславие. Слева от чудовища – Жестокость, Измена и Обман; справа – Ярость, Раздор (пилящий сам себя плотницкой пилой) и Война^[1519]. У ног тирана лежит Справедливость – беззащитная, связанная по рукам и ногам. Хотя значительные участки нижней части фрески утрачены, все же можно различить сцены убийства, нападения и разрушения собственности. “Из-за того, что каждый стремится лишь к собственной выгоде, – читаем мы в сопроводительной надписи, – в этой земле Справедливость подчинена Тирании, и потому по этому пути никому не пройти без боязни за свою жизнь... ибо грабежи чинятся и за городскими

стенами, и внутри”^[1520]. Высказывалось предположение, что этот злосчастный город изображал Пизу – давнюю соперницу Сиены^[1521]. Вероятнее всего, он был призван проиллюстрировать полную противоположность Сиены: город, находящийся под автократическим правлением и потому лишенный и мира, и процветания. Первоначально на нижнем фризе фрески располагались портреты императоров-тиранов древности (Нерона, Каракаллы, Геты и Антиоха)^[1522].

В шедевре Лоренцетти засвидетельствованы поразительные для того времени идеи: симпатия к городу-государству с его самоуправлением и враждебность к монархии и империи. Конечно, мы впали бы в преувеличение, если бы объявили, что художник напророчил пришествие сетевого века, которому предстояло родиться только через полтора столетия, – но, безусловно, он намного опередил свою эпоху, проведя столь четкую связь между правлением, основанным на верховенстве закона, и экономическим процветанием и общественной сплоченностью. Стоит вспомнить, что не только в Европе, но и в большинстве стран Евразии в ту пору преобладали различные виды деспотического правления. “Золотой век” Сиены, длившийся с 1260 по 1348 год, совпал со временем расцвета и заката Монгольской империи. То было время, когда сиенские купцы ездили в Тебриз за шелками из Средней Азии, время, когда папа римский принимал послов от императора Монгольской империи Юань Тогон-Тэмура^[1523]. Другим (давно утраченным) вкладом Лоренцетти в украшение Палаццо-Публико была вращавшаяся карта мира, *Mappamondo*, имевшая в диаметре около пяти метров. Сиена помещалась в самом центре этой карты – посреди торговой сети, охватывавшей всю Евразию^[1524].

Прискорбно, что именно через эту сеть торговли и предстояло в скором времени пройти переносчикам заразы – Черной смерти. Эпидемия бубонной чумы обрушилась на Сиену в 1348 году, меньше чем через десять лет после окончания работы над “Миром и войной”, и вполне возможно, что одной из жертв чумы стал сам Лоренцетти. Так благословенной поре в жизни Сиены пришел конец^[1525]. Но фрески, украсившие стены Сала-деи-Нове, просуществовали почти семьсот лет и сегодня служат нам незабываемым напоминанием о том, что проблемы мира и войны – и споры о добром и дурном правлении – насчитывают уже много веков. Технологии приходят и уходят. А мир по сей день остается миром, где существуют площади и башни.

Приложение

Построение графов социальных сетей в эпоху Никсона – Форда

В главе 45 я прибегаю к анализу социальных сетей (АСС) для изучения роли Генри Киссинджера в администрациях президентов Никсона и Форда и, шире, для понимания взаимоотношений внутри этих аппаратов. При этом в качестве источника я использовал все мемуары, написанные и опубликованные людьми, входившими в состав обеих администраций. Читатели, которых интересует АСС, захотят узнать больше о графиках на илл. 30–33, взятых из продолжающейся исследовательской работы о социальных сетях, которую я веду совместно с Мэнни Ринкон-Крусом; а еще они войдут в мою биографию Генри Киссинджера, работа над которой тоже еще продолжается.

Большинство попыток АСС представляют наши отношения в простом бинарном виде, показывая, существует связь между двумя действующими лицами или нет; часто это принимает форму бинарной матрицы. Большинство вычислительных методов АСС опираются только на такие матрицы, потому что долгое время почти все пакеты данных из научного сообщества (то есть, собранные социологами и политологами) относились именно к подобному роду, и лишь с недавних пор нынешние быстро растущие платформы соцсетей начали предлагать более конкретизированные данные. И все равно сложные пакеты данных по-прежнему часто слишком уж упрощены, чтобы исследователи могли прибегнуть к бинарному подходу. Для историка это представляет проблему, потому что нас остро интересуют разные типы отношений, существующих между людьми. Кроме того, в группах средних размеров бинарный подход, как правило, обнаруживает, что почти все связаны почти со всеми, а это открытие практически лишено всякой ценности. АСС не дает возможности отличить любовь от ненависти, и меньше всего – в политической сфере, где и без того порой трудно провести различия между дружбой и враждой. Однако можно выявить сравнительную важность тех или иных отношений.

Чуть менее половины людей, игравших важную роль в администрациях Никсона и Форда, написали мемуары, где рассказали о том времени, когда работали в правительстве. Чтобы найти нужные нам источники, мы вначале составили список

правительственных министров, добавили к ним некоторое число лиц, стоявших рангом ниже министерского – заместителей и помощников из основных департаментов, всех, чьи сочинения имелись в Мемориальной библиотеке Никсона, и всех членов обеих администраций, кто написал книги о годах президентства Никсона и Форда, если эти книги обнаруживались в Стэнфордской библиотечной системе или на сайтах *Amazon* и *WorldCat*. От этого главного списка мы вновь обратились к Стэнфорду, *Amazon* и *WorldCat*, чтобы найти все сочинения этих авторов. А затем приступили к процессу отбраковки. Включались только те мемуары, которые охватывали весь срок работы автора в Белом доме. Так, например, книга Киссинджера, посвященная окончанию Вьетнамской войны, из списка исключалась. Еще мы исключали книги, не являвшиеся мемуарами, и те книги, которые преимущественно или целиком представляли собой компиляции из разных первоисточников.

Мы использовали эти сочинения, чтобы приблизительно оценить, насколько важную роль, если судить по воспоминаниям одних лиц, играли другие лица в политике той поры вообще и в работе президентской администрации в частности. Главное, что мы пытаемся уловить в своем анализе, – это количество отдельных событий, связанных с тем или иным историческим деятелем и припоминаемых автором. В качестве приблизительных показателей мы опирались на кропотливую работу, уже проделанную самими авторами, редакторами и издателями, при составлении указателей к мемуарам. Таким образом, “кирпичиками” наших данных было количество страниц, на которых тот или иной деятель упоминался в каждом из мемуаров.

Конечно, мемуары значительно разнятся длиной, охватом событий и средним количеством слов на странице. Некоторые из наших авторов рассказывали обо всей своей жизни, другие – только о периоде работы в правительстве. Чтобы учесть эти различия, мы не устанавливали какой-то абсолютной мерки – сколько раз тот или иной человек упомянут в мемуарах. Нам хотелось узнать другое – насколько важным виделся в воспоминаниях автора конкретный деятель относительно других участников социальной сети в администрациях Никсона и Форда. Поэтому мы брали количество страниц, на которых упоминалось то или иное лицо, и делили его на общее количество упоминаний всех членов администраций Никсона и Форда, оставивших мемуары. Некоторые воспоминания не

уместились в один том, а некоторые авторы написали не одну книгу мемуаров, а больше. В обоих случаях мы принимали эти книги за единый текст, и потому для каждого сотрудника администрации мы просто суммировали количество упоминаний, имевшихся в обоих (или нескольких) томах или книгах. Получалось некое число в интервале $[0,1]$, и мы использовали его, чтобы вычислить крепость связи между автором мемуаров и упомянутым человеком.

Область вершин построенных нами графов отмасштабирована по количеству упоминаний каждого деятеля. В нашем графе социальной сети (см. илл. 33) это соответствует центральности по степени этого человека, а она вычисляется путем сложением веса всех ведущих к нему связей. По сути, она представляет собой упорядоченную по частоте долю всех упоминаний всеми авторами мемуаров о службе в Белом доме. Центральность по посредничеству вычислялась по направленным, взвешенным гралям – в отличие от большинства исследований, где учитывается лишь бинарный принцип: существует или не существует соединение двух узлов.

Свои визуализации мы создаем при помощи компьютерных программ трехмерного моделирования. Расстояния на трех личных графиках пропорциональны величине узлов. Расстояния между узлами и их расположение на социальном графике (см. илл. 33) не имеют точных значений, они обусловлены директивными настройками программы, создающей трехмерные изображения. Версии, публикуемые здесь, – это просто скриншоты динамических моделей, взятые с нашего веб-сервера.

Есть в нашем подходе явный изъян: не все поголовно бывшие сотрудники Белого дома, работавшие в администрациях Никсона и Форда, оставили мемуары. Одна заметная лакуна – особенно заметная оттого, что этого человека довольно часто упоминают другие, – зияет на месте Джона Н. Митчелла, верного Никсону генерального прокурора. Митчелл стал единственным в истории США генеральным прокурором, отбывшим тюремный срок: к заключению его приговорили, когда он отказался идти на сделку со следователями во время расследования Уотергейтского скандала. Из тех же побуждений Митчелл не стал писать мемуары – чтобы не выдавать президента. Однако на удивление нелинейное распределение упоминаний приводит к тому, что, даже добавив множество других “недостающих” мемуаров к уже имеющимся, мы не слишком бы изменили свои представления о влиятельности того или иного деятеля – если исходить из критериев центральности по

степени или по посредничеству. Как и на многие другие социальные сети, о которых шла речь в этой книге, на социальную сеть Никсона – Форда, условно говоря, тоже распространяется закон степенной зависимости.

Наконец, следует подчеркнуть, что графики сетей Никсона – Форда не отображают частоту или интенсивность общения между отдельными людьми, – а именно с такими мерками подходят к изучению социальных связей социологи и психологи. Здесь учитывается другой аспект: насколько значительной фигурой один человек предстает в воспоминаниях другого – или, во всяком случае, насколько значительной фигурой автор желал представить его в глазах читателя. Вполне возможно, что распределение ценностей с учетом частоты и интенсивности контактов – если бы кто-то раздобыл достаточно свидетельств и источников, позволяющих судить об этих качествах, – оказалось бы совсем иным.

Библиография

I. Введение. сети и иерархии

Acemoglu, Daron and James A. Robinson. *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. New York and London: Crown/Profile, 2012.

Agethen, Manfred. *Geheimbund und Utopie: Illuminaten, Freimaurer und deutsche Sptaufklrung*. Munich: R. Oldenbourg, 1984.

Allison, Graham. 'The Impact of Globalization on National and International Security', in Joseph S. Nye, Jr, and John D. Donahue (eds.), *Governance in a Global World*. Washington, DC: Brookings Institution Press, 2000, 72–85.

Banerjee, Abhijit, Arun G. Chandrasekhar, Esther Duflo and Matthew O. Jackson, *Gossip: Identifying Central Individuals in a Social Network*, working paper, 14 February 2016.

Barabási, Albert-László. *Linked: How Everything is Connected to Everything Else and What It Means for Business, Science, and Everyday Life*. New York: Basic Books, 2014.

Barabási, Albert-László and Réka Albert. 'Emergence of Scaling in Random Networks', *Science*, 286, 5439. 15 October 1999, 509–512.

Bennett, Alan. *The History Boys*. London: Faber & Faber, 2004.

Berger, Jonah. *Contagious: Why Things Catch On*. New York: Simon & Schuster, 2013.

Boeder, Pieter. 'Habermas' Heritage: The Future of the Public Sphere in the Network Society', *First Monday*, September 2005.

Boisot, Max. *Information Space: A Framework for Learning in Organizations, Institutions and Culture*. London: Routledge, 1995.

Boisot, Max. *Knowledge Assets: Securing Competitive Advantage in the Information Economy*. Oxford: Oxford University Press, 1998.

Boisot, Max and Xiaohui Lu. 'Competing and Collaborating in Networks: Is Organizing Just a Game?', in Michael Gibbert and Thomas Durand (eds.), *Strategic Networks: Learning to Compete*. Malden, MA: Wiley Blackwell, 2006, 151–169.

Bostrom, Nick. *Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies*. Oxford: Oxford University Press, 2014.

Bramoullé, Yann, Sergio Currarini, Matthew O. Jackson, Paolo Pin and Brian W. Rogers. 'Homophily and Long-Run Integration in Social Networks', *Journal of Economic Theory*, 147, 5 (2012), 1754–1786.

- Burt, Ronald S. *Brokerage and Closure: An Introduction to Social Capital*. Clarendon Lectures in Management Studies. Oxford: Oxford University Press, 2007.
- Burt, Ronald S. *Neighbor Networks: Competitive Advantage Local and Personal*. Oxford: Oxford University Press, 2010.
- Burt, Ronald S. *Structural Holes: The Social Structure of Competition*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992.
- Burt, Ronald S. ‘Structural Holes and Good Ideas’, *American Journal of Sociology*, 110, 2 (September 2004), 349–399.
- CalvO-Armengol, Antoni and Matthew O. Jackson. ‘The Effects of Social Networks on Employment and Inequality’, *American Economic Review*, 94, 3 (2004), 426–454.
- Carroll, Glenn R. and Albert C. Teo. ‘On the Social Networks of Managers’, *Academy of Management Journal*, 39, 2 (1996), 421–440.
- Cassill, Deby and Alison Watkins. ‘The Evolution of Cooperative Hierarchies through Natural Selection Processes’, *Journal of Bioeconomics*, 12, (2010), 29–42.
- Castells, Manuel. ‘Information Technology, Globalization and Social Development’, United Nations Research Institute for Social Development Discussion Paper, no. 114 (September 1999), 1–15.
- Centola, Damon and Michael Macy. ‘Complex contagions and the weakness of long ties’, *American Journal of Sociology*, 113, 3 (2007), 702–734.
- Christakis, Nicholas A. and James H. Fowler. *Connected: The Surprising Power of Our Social Networks and How They Shape Our Lives*. New York: Little, Brown, 2009.
- Cline, Diane H. and Eric H. Cline. ‘Text Messages, Tablets, and Social Networks: The “Small World” of the Amarna Letters’, in Jana Mynářová, Pavel Onderka and Peter Pavuk (eds.), *There and Back Again – The Crossroads II: Proceedings of an International Conference Held in Prague, September 15–18, 2014*. Prague: Charles University, 2015, 17–44.
- Coleman, James S. ‘Social Capital in the Creation of Human Capital’, *American Journal of Sociology*, 94 (188), S95 – S120.
- Collar, Anna. *Religious Networks in the Roman Empire: The Spread of New Ideas*. New York: Cambridge University Press, 2013.
- Crane, Diana. ‘Social Structure in a Group of Scientists: A Test of the “Invisible College Hypothesis”’, *American Sociological Review*, 34, 3 (June 1969), 335–352.

Currarini, Sergio, Matthew O. Jackson and Paolo Pin. 'Identifying the Roles of Race-Based Choice and Chance in High School Friendship Network Formation', *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 16 March 2010, 4857–4861.

Dittrich, Luke, *Patient H. M.: A Story of Memory, Madness and Family Secrets*. London: Chatto & Windus, 2016.

Dolton, Peter. 'Identifying Social Network Effects', *Economic Record*, 93, Supplement S1 (2017).

Dubreuil, Benoît. *Human Evolution and the Origins of Hierarchies: The State of Nature*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

DÜlmen, Richard van. *Der Geheimbund der Illuminaten: Darstellung, Analyse, Dokumentation*. Stuttgart: Frommann-Holzboog, 1975.

Dunbar, R. I. M. 'Coevolution of Neocortical Size, Group Size and Language in Humans', *Behavioral and Brain Sciences* 16, 4 (1993), 681–735.

Enrich, David. *The Spider Network: The Wild Story of a Math Genius, a Gang of Backstabbing Bankers, and One of the Greatest Scams in Financial History*. New York: HarperCollins, 2017.

Ferguson, Niall. 'Complexity and Collapse: Empires on the Edge of Chaos', *Foreign Affairs*, 89, 2 (March/April 2010), 18–32.

Forestier, René Le. *Les illuminés de Bavière et la franc-maçonnerie allemande*. Paris: Hachette, 1915.

Friedland, Lewis A. 'Electronic Democracy and the New Citizenship', *Media Culture & Society*, 18 (1996), 185–212.

Fukuyama, Francis. *The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order* (New York: The Free Press, 1999)

Фукуяма, Фрэнсис. *Великий разрыв* / Пер. с англ. под общ. ред. А. В. Александровой. М., 2008.

Fukuyama, Francis. *The Origins of Political Order: From Prehuman Times to the French Revolution*. London: Profile Books, 2011.

Fukuyama, Francis. *Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalisation of Democracy*. London: Profile Books, 2014.

Goertzel, Ted. 'Belief in Conspiracy Theories', *Political Psychology*, 15, 4. December 1994, 731–742.

Goldberg, Amir, Sameer B. Srivastava, V. Govind Manian, William Monroe and Christopher Potts. 'Fitting In or Standing Out? The Tradeoffs of Structural and Cultural Embeddedness', *American Sociological Review*, 81, 6 (2016): 1190–1222.

Gorky, Maxim, transl. Ronald Wilks, *My Universities*. London: Penguin Books, 1979 [1922].

Горький, Максим. *Детство. В людях. Мои университеты*. М., 2018.

Granovetter, Mark. 'The Strength of Weak Ties', *American Journal of Sociology*, 78, 6 (May 1973), 1360–1380.

Granovetter, Mark. 'The Strength of Weak Ties: A Network Theory Revisited', *Sociological Theory*, 1 (1983), 201–233.

Greif, Avner. 'Contract Enforceability and Economic Institutions in Early Trade: The Maghribi Traders' Coalition', *American Economic Review*, 83, 3 (June 1993), 525–548.

Greif, Avner. 'Reputation and Coalitions in Medieval Trade: Evidence on the Maghribi Traders', *Journal of Economic History*, 49, 4 (December 1989), 857–882.

Grewal, David Singh. *Network Power: The Social Dynamics of Globalization*. New Haven: Yale University Press, 2008.

Harari, Yuval Noah. *Homo Deus: A Brief History of Tomorrow*. New York: HarperCollins, 2017.

Харари, Юваль Ной. *Номо Деус: Краткая история будущего* / Пер. А. Андреева. М., 2018.

Harari, Yuval Noah. *Sapiens: A Brief History of Humankind*. New York: HarperCollins, 2015.

Харари, Юваль Ной. *Sapiens. Краткая история человечества* / Пер. Л. Сумм. М., 2019.

Harrison, Richard J. and Glenn R. Carroll. 'The Dynamics of Cultural Influence Networks', *Computational & Mathematical Organization Theory*, 8 (2002), 5–30.

Hataley, K. M. 'In Search of the Illuminati: A Light Amidst Darkness', *Journal of the Western Mystery Tradition*, 23, 3 (2012).

Henrich, Joseph. *The Secret of Our Success: How Culture is Driving Human Evolution, Domesticating Our Species, and Making Us Smarter*. Princeton: Princeton University Press, 2016.

Heylighen, Francis. 'From Human Computation to the Global Brain: The Self-Organization of Distributed Intelligence', in Pietro Michelucci (ed.), *Handbook of Human Computation*. New York: Springer, 2013, 897–909.

Heylighen, Francis. 'The Global Superorganism: An Evolutionary-Cybernetic Model of the Emerging Network Society', *Social Evolution and History*, 1, 6 (2007), 57–117.

Hofman, Amos. 'Opinion, Illusion, and the Illusion of Opinion: Barruel's Theory of Conspiracy', *Eighteenth-Century Studies*, 27, 1 (Autumn, 1993), 27–60.

Hofstadter, Richard. *The Paranoid Style in American Politics and Other Essays*. New York: Alfred A. Knopf, 1965.

Israel, Jonathan. *Democratic Enlightenment: Philosophy, Revolution, and Human Rights, 1750–1790*. Oxford: Oxford University Press, 2011.

Ito, Joi and Jeff Howe. *Whiplash: How to Survive Our Faster Future*. New York: Grand Central Publishing, 2016.

Jackson, Matthew O. 'Networks in the Understanding of Economic Behaviors', *Journal of Economic Perspectives*, 28, 4 (2014), 3–22.

Jackson, Matthew O. *Social and Economic Networks*. Princeton: Princeton University Press, 2008.

Jackson, Matthew O. and Brian W. Rogers. 'Meeting Strangers and Friends of Friends: How Random are Social Networks?', *American Economic Review*, 97, 3 (2007), 890–915.

Jackson, Matthew O., Tomas Rodriguez-Barraquer and Xu Tan. 'Social Capital and Social Quilts: Network Patterns of Favor Exchange', *American Economic Review* 102, 5 (2012), 1857–1897.

Jackson, Matthew O., Brian W. Rogers and Yves Zenou. 'Connections in the Modern World: Network-Based Insights', 6 March 2015.

Jackson, Matthew O. and Brian W. Rogers. 'Meeting Strangers and Friends of Friends: How Random are Social Networks?', *American Economic Review*, 97, 3 (2007), 890–915.

Kadushin, Charles. *Understanding Social Networks: Theories, Concepts, and Findings*. New York: Oxford University Press, 2012.

Katz, Elihu and Paul Felix Lazarsfeld. *Personal Influence: The Part Played by People in the Flow of Mass Communications*. New York: Free Press, 1955.

Khanna, Parag. *Connectography: Mapping the Global Network Revolution*. London: Weidenfeld & Nicolson, 2016.

Kleinbaum, Adam M., Toby E. Stuart and Michael L. Tushman. 'Discretion Within Constraint: Homophily and Structure in a Formal Organization', *Organization Science*, 24, 5 (2013), 1316–1336.

Knight, Peter. 'Outrageous Conspiracy Theories: Popular and Official Responses to 9/11 in Germany and the United States', *New German Critique*, 103: conference on *Dark Powers: Conspiracies and Conspiracy Theory in History and Literature* (Winter 2008), 165–193.

Krueger, Rita. *Czech, German, and Noble: Status and National Identity in Habsburg Bohemia*. Oxford: Oxford University Press, 2009.

Landes, Richard. 'The Jews as Contested Ground in Postmodern Conspiracy Theory', *Jewish Political Studies Review*, 19, 3/4 (Fall 2007), 9–34.

Leinesch, Michael. 'The Illusion of the Illuminati: The Counterconspiratorial Origins of Post- Revolutionary Conservatism', in W. M. Verhoeven (ed.), *Revolutionary Histories: Transatlantic Cultural Nationalism, 1775–1815*. New York: Palgrave Macmillan, 2002, 152–165.

Leskovec, Jure, Daniel Huttenlocher and Jon Kleinberg. 'Signed Networks in Social Media', *CHI 2010* (10–15 April 2010).

Liu, Ka-Yuet, Marissa King and Peter S. Bearman. 'Social Influence and the Autism Epidemic', *American Journal of Sociology*, 115, 5 (2012), 1387–1434.

Livers, Keith. 'The Tower or the Labyrinth: Conspiracy, Occult, and Empire-Nostalgia in the Work of Viktor Pelevin and Aleksandr Prokhanov', *Russian Review*, 69, 3 (July 2010), 477–503.

Loreto, Vittorio, Vito D. P. Servedio, Steven H. Strogatz and Francesca Tria. 'Dynamics and Expanding Spaces: Modeling the Emergence of Novelties', in Mirko Degli Esposti, Eduardo G. Altmann and François Pachet (eds.), *Creativity and Universality in Language* (Berlin: Springer International Publishing, 2016), 59–83.

McArthur, Benjamin. "'They're Out to Get Us": Another Look at Our Paranoid Tradition', *History Teacher*, 29, 1 (November 1995), 37–50.

McNeill, J. R. and William McNeill. *The Human Web: A Bird's-Eye View of Human History*. New York and London: W. W. Norton, 2003.

McPherson, Miller, Lynn Smith-Lovin, and James M. Cook. 'Birds of a Feather: Homophily in Social Networks', *Annual Review of Sociology*, 27 (2001), 415–444.

Markner, Reinhard, Monika Neugebauer-Wölk and Hermann SchÜttler (eds.). *Die Korrespondenz des Illuminatenordens*, vol. I: 1776–1781. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2005.

Massey, Douglas S. 'A Brief History of Human Society: The Origin and Role of Emotion in Social Life', *American Sociological Review*, 67 (February 2002), 1–29.

Melanson, Terry. *Perfectibilists: The 18th Century Bavarian Order of the Illuminati*. Walterville, OR: Trine Day, 2011.

Meumann, Markus and Olaf Simons. 'Illuminati', in *Encyclopedia of the Bible and Its Reception*, vol. 12: *Ho Tsun Shen – Insult*. Berlin and Boston, MA: De Gruyter, 2016, columns 880–883.

Milgram, Stanley. 'Small-World Problem', *Psychology Today*, 1, 1 (May 1967), 61–67.

Moody, James. 'Race, School Integration, and Friendship Segregation in America', *American Journal of Sociology*, 107, 3 (November 2001), 679–716.

Moreno, J. L. *Who Shall Survive? Foundations of Sociometry, Group Psychotherapy and Sociodrama*. Beacon, NY: Beacon House Inc., 1953.

Moretti, Franco. 'Network Theory, Plot Analysis', *Literary Lab*, Pamphlet 2, 1 May 2011.

Nahon, Karine and Jeff Hemsley. *Going Viral*. Cambridge: Polity, 2013.

Oliver, Eric J. and Thomas J. Wood. 'Conspiracy Theories and the Paranoid Style (s) of Mass Opinion', *American Journal of Political Science*, 58, 4 (October 2014), 952–966.

Padgett, John F. and Paul D. McLean. 'Organizational Invention and Elite Transformation: The Birth of Partnership Systems in Renaissance Florence', *American Journal of Sociology*, 111, 5 (March 2006), 1463–1568.

Padgett, John F. and Walter W. Powell. *The Emergence of Organizations and Markets*. Princeton: Princeton University Press, 2012.

Payson, Seth, *Proofs of the Real Existence, and Dangerous Tendency, of Illuminism: Containing an Abstract of the Most Interesting Parts of what Dr. Robison and the Abbe Barruel Have Published on this Subject, with Collateral Proofs and General Observations*. Charlestown: Samuel Etheridge, 1802.

Pinker, Susan. *The Village Effect: Why Face to-Face Contact Matters*. London: Atlantic Books, 2015.

Ramo, Joshua Cooper. *The Seventh Sense: Power, Fortune, and Survival in the Age of Networks*. New York: Little, Brown, 2016.

Рамо, Джошуа Купер. *Седьмое чувство. Под знаком предсказуемости* / Пер. А. Рудницкой, Э. Ибрагимова. М., 2017.

Roberts, J. M. *The Mythology of the Secret Societies*. London: Secker & Warburg, 1971.

Rogers, Everett M. *Diffusion of Innovations*, 5th edn. New York and London: Free Press, 2003.

Rosen, Sherwin. 'The Economics of Superstars', *American Economic Review*, 71, 5 (December 1981), 845–858.

Sampson, Tony D. *Virality: Contagion Theory in the Age of Networks*. Minneapolis and London: University of Minnesota Press, 2012.

Schmidt, Eric and Jared Cohen. *The New Digital Age: Transforming Nations, Businesses, and Our Lives*. New York: Knopf Doubleday, 2013.

SchÜttler, Hermann. *Die Mitglieder des Illuminatenordens, 1776–1787/93*. Munich: ars una, 1991.

SchÜttler, Hermann. ‘Zwei freimaurerische Geheimgesellschaften des 18. Jahrhunderts im Vergleich: Strikte Observanz und Illuminatenorden’, in Erich Donnert (ed.), *Europa in der Frühen Neuzeit: Festschrift für Günter Mühlpfordt*, vol. IV: *Deutsche Aufklärung*. Weimar, Cologne and Vienna: Böhlau, 1997, 521–544.

Simons, Olaf and Markus Meumann. “‘Mein Amt ist geheime gewissens Correspondenz und unsere Brüder zu führen’”. Bode als “Unbekannter Oberer” des Illuminatenordens’, in Cord-Friedrich Berghahn, Gerd Biegel and Till Kinzel (eds.), *Johann Joachim Christoph Bode – Studien zu Leben und Werk [Germanisch-Romanische Monatsschrift, Beihefte]*. Heidelberg: Winter, 2017.

Slaughter, Anne-Marie. *The Chessboard and the Web: Strategies of Connection in a Networked World*. Henry L. Stimson Lectures. New Haven: Yale University Press, 2017.

Smith-Doerr, Laurel and Walter W. Powell. ‘Networks and Economic Life’, in Neil Smelser and Richard Swedberg (eds.), *The Handbook of Economic Sociology*. Princeton: Princeton University Press, 2010, 379–402.

SolÉ, Ricard V. and Sergi Valverde. ‘Information Theory of Complex Networks: On Evolution and Architectural Constraints’, *Lect. Notes Phys.*, 650 (2004), 189–207.

Stauffer, Vernon L. *New England and the Bavarian Illuminati: Studies in History, Economics and Political Law*, vol. 82, no. 1, 191. New York: Columbia University Press, 1918.

Strogatz, Steven H. ‘Exploring Complex Networks’, *Nature*, 410, 8 March 2001, 268–276.

Swami, Viren, Rebecca Coles, Stefan Stieger, Jakob Pietschnig, Adrian Furnham, Sherry Rehim and Martin Voracek. ‘Conspiracist Ideation in Britain and Austria: Evidence of a Monological Belief System and Associations Between Individual Psychological Differences and Real-World and Fictitious Conspiracy Theories’, *British Journal of Psychology*, 102 (2011), 443–463.

Syme, Ronald. *The Roman Revolution*. Oxford: Oxford University Press, 1960 [1939].

Taleb, Nassim Nicholas. *Antifragile: Things That Gain from Disorder*. New York: Random House, 2012.

Талеб, Нассим Николас. *Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса* / Пер. Н. Караева. М., 2016.

Turchin, Peter, Thomas E. Currie, Edward A. L. Turner and Sergey Gavrillets. 'War, Space, and the Evolution of Old World Complex Societies', *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 23 September 2013, 1–6.

Tutic', Andreas and Harald Wiese. 'Reconstructing Granovetter's Network Theory', *Social Networks*, 43 (2015), 136–148.

Van DÜlmen, Richard. *The Society of the Enlightenment*. Cambridge: Polity Press, 1992.

Vera, Eugenia Roldán and Thomas Schupp. 'Network Analysis in Comparative Social Sciences', *Comparative Education*, 42, 3, Special Issue (32): *Comparative Methodologies in the Social Sciences: Cross-Disciplinary Inspirations* (August 2006), 405–429.

Wäges, Josef and Reinhard Markner (eds.). *The Secret School of Wisdom: The Authentic Rituals and Doctrines of the Illuminati*, transl. Jeva Singh-Anand. Addlestone: Lewis Masonic, 2015.

Waterman, Bryan. 'The Bavarian Illuminati, the Early American Novel, and Histories of the Public Sphere', *William and Mary Quarterly*, 3rd Ser., 62, 1 (January 2005), 9–30.

Watts, Duncan J. 'Networks, Dynamics, and the Small-World Phenomenon', *American Journal of Sociology*, 105, 2 (1999), 493–527.

Watts, Duncan J. *Six Degrees: The Science of a Connected Age*. London: Vintage, 2004.

Watts, Duncan J. and Steven H. Strogatz. 'Collective Dynamics of "Small-World" Networks', *Nature*, 393 (4 June 1998), 400–442.

West, Geoffrey. 'Can There be a Quantitative Theory for the History of Life and Society?' *Cliodynamics*, 2, 1 (2011), 208–214.

West, Geoffrey. *Scale: The Universal Laws of Growth, Innovation, Sustainability, and the Pace of Life in Organisms, Cities, Economies, and Companies*. New York: Penguin Random House, 2017.

II. Правители и первооткрыватели

Adamson, John. *The Noble Revolt: The Overthrow of Charles I*. London: Weidenfeld & Nicolson, 2007.

Ahnert, Ruth and Sebastian E. Ahnert. 'Metadata, Surveillance, and the Tudor State', неопубликованная работа (2017).

Ahnert, Ruth and Sebastian E. Ahnert. 'Protestant Letter Networks in the Reign of Mary I: A Quantitative Approach', *ELH*, 82, 1 (Spring 2015), 1–33.

Allen, Robert and Leander Heldring. 'The Collapse of the World's Oldest Civilization: The Political Economy of Hydraulic States and the Financial Crisis of the Abbasid Caliphate', working paper (2016).

Barnett, George A. (ed.). *Encyclopedia of Social Networks*, 2 vols. Los Angeles and London: SAGE Publications, Inc., 2011.

Bryc, Katarzyna, et al. 'Genome-Wide Patterns of Population Structure and Admixture among Hispanic/Latino Populations', *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 107, Supplement 2: *In the Light of Evolution*, IV: *The Human Condition* (11 May 2010), 8954–8961.

Burbank, Jane and Frederick Cooper. *Empires in World History: Power and the Politics of Difference*. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2011.

Chang, T'ien-Tse. *Sino-Portuguese Trade from 1514–1644: A Synthesis of Portuguese and Chinese Sources*. New York: AMS Press, 1978.

Christian, David. 'Silk Roads or Steppe Roads? The Silk Roads in World History', *Journal of World History*, 11, 1 (2000), 1–26.

Cline, Diane Harris. 'Six Degrees of Alexander: Social Network Analysis as a Tool for Ancient History', *Ancient History Bulletin*, 26 (2012), 59–69.

Coase, Ronald. 'The Problem of Social Cost', *Journal of Law and Economics*, 3 (October 1960), 1–44.

Cotrugli, Benedetto. *The Book of the Art of Trade*, eds. Carlo Carraro and Giovanni Favero, transl. John Francis Phillimore. London: Palgrave Macmillan, 2016.

Dittmar, Jeremiah E. 'Information Technology and Economic Change: The Impact of The Printing Press', *Quarterly Journal of Economics*, 126, 3 (2011), 1133–1172.

Dittmar, Jeremiah E. and Skipper Seabold. 'Media, Markets, and Radical Ideas: Evidence from the Protestant Reformation', working paper (22 February 2016).

Ferguson, Niall. *Civilization: The West and the Rest*. London: Allen Lane, 2011.

Фергюсон, Нил. *Цивилизация. Чем Запад отличается от остального мира* / Пер. К. Бандуровского. М., 2017.

Frankopan, Peter, *The Silk Roads: A New History of the World*. New York: Knopf Doubleday, 2016.

Фракопан, Питер. *Шелковый путь. Дорога тканей, рабов, идей и религий* / Пер. В. Шаршуковой. М., 2017.

Garcia-Zamor, Jean-Clause. 'Administrative Practices of the Aztecs, Incas, and Mayas: Lessons for Modern Development Administration', *International Journal of Public Administration*, 21, 1 (1998), 145–171.

Geiss, James. 'The Chang-te Reign, 1506–1521', in D. C. Twitchett and F. W. Mote (eds.), *The Cambridge History of China*, vol. VIII, *The Ming Dynasty, 1368–1644*, Part 2. Cambridge: Cambridge University Press, 1998, 403–439.

Gellner, Ernest. *Nations and Nationalism*. Oxford: Blackwell, 1983.

Gleick, James. *The Information: A History, a Theory, a Flood*. New York: Pantheon, 2011.

Harland, Philip A. 'Connections with Elites in the World of the Early Christians', in Anthony J. Blasi, Paul A. Turcotte and Jean Duhaime (eds.), *Handbook of Early Christianity: Social Science Approaches*. Walnut Creek, CA: Altamira Press, 2002, 385–408.

Heady, Ferrel. *Public Administration: A Comparative Perspective*. New York: Marcel Dekker, Inc., 2001.

Ishiguro, Kazuo. *The Buried Giant*. New York: Knopf, 2015.

McNeill, William H. 'What If Pizarro Had Not Found Potatoes in Peru?', in Robert Cowley (ed.), *What If? 2: Eminent Historians Imagine What Might Have Been*. New York: G. P. Putnam's Sons, 2001, 413–429.

Malkin, Irad. *A Small Greek World: Networks in the Ancient Mediterranean*. New York and Oxford: Oxford University Press, 2011.

Mann, Charles W. 1493: *Uncovering the New World Columbus Created*. New York: Vintage, 2011.

Morrissey, Robert Michael. 'Archives of Connection: "Whole Network" Analysis and Social History', *Historical Methods: A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History*, 48, 2 (2015), 67–79.

Namier, Lewis. *The Structure of Politics at the Accession of George III*, 2nd edn. London: Macmillan, 1957 [1929].

Naughton, John. *From Gutenberg to Zuckerberg: What You Really Need to Know about the Internet*. London: Quercus, 2012.

Padgett, John F. 'Marriage and Elite Structure in Renaissance Florence, 1282–1500', *Redes, Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales*, 21, 1 (2011), 71–97.

Padgett, John F. and Christopher K. Ansell. 'Robust Action and the Rise of the Medici, 1400–1434', *American Journal of Sociology*, 98, 6 (May 1993), 1259–1319.

Pettegree, Andrew. *Brand Luther: 1517, Printing, and the Making of the Reformation*. New York: Penguin Books, 2015.

Rodrigues, Jorge and Tessaleno Devezas. *Pioneers of Globalization: Why the Portuguese Surprised the World*. Lisbon: Centro Atlântico, 2007.

Scheidel, Walter. 'From the "Great Convergence" to the "First Great Divergence": Roman and Qin-Han State Formation and Its Aftermath', *Princeton/Stanford Working Papers in Classics* (November 2007).

Sen, Tansen. 'The Formation of Chinese Maritime Networks to Southern Asia, 1200–1450', *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, 49, 4 (2006), 421–453.

Smail, Daniel Lord. *On Deep History and the Brain*. Berkeley: University of California Press, 2008.

Smith, Monica L. 'Networks, Territories, and the Cartography of Ancient States', *Annals of the Association of American Geographers*, 95, 4 (2005), 832–849.

Stark, Rodney. 'Epidemics, Networks, and the Rise of Christianity', *Semeia*, 56 (1992), 159–175.

Tainter, Joseph A. 'Problem Solving: Complexity, History, Sustainability', *Population and Environment*, 22, 1 (September 2000), 3–40.

Tocqueville, Alexis de. *Democracy in America*, transl. Harvey C. Mansfield and Delba Winthrop. Chicago: University of Chicago Press, 2000.

Токвиль, Алексис де. *Демократия в Америке* / Пер. с фр. В. П. Олейника, Е. П. Орловой, И. А. Малаховой, И. Э. Иваняна, Б. Н. Ворожцова. М., 1992.

Turchin, Peter, Thomas E. Currie, Edward A. L. Turner and Sergey Gavrilets. 'War, Space, and the Evolution of Old World Complex Societies', *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 23 September 2013, 1–6.

Wade, G. 'Melaka in Ming Dynasty Texts', *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society*, 70, 1, 272 (1997), 31–69.

Wills, John E., Jr (ed.). *China and Maritime Europe, 1500–1800: Trade, Settlement, Diplomacy, and Missions*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011, pp. 24–51.

Yupanqui, Titu Cusi. *An Inca Account of the Conquest of Peru*, transl. Ralph Bauer. Boulder: University Press of Colorado, 2005.

Zuñiga, Jean-Paul. 'Visible Signs of Belonging', in Pedro Cardim, Tamar Herzog, José Javier Ruiz Ibáñez and Gaetano Sabatini (eds.), *Polycentric Monarchies: How Did Early Modern Spain and Portugal Achieve and Maintain a Global Hegemony?* Eastbourne: Sussex University Press, 2013, 125–146.

III. Письма и ложь

Arcenas, Claire and Caroline Winterer. 'The Correspondence Network of Benjamin Franklin: The London Decades, 1757–1775', неопубликованная работа.

Bailyn, Bernard. *The Ideological Origins of the American Revolution*. Cambridge: Harvard University Press, 1967.

Borneman, Walter R. *American Spring: Lexington, Concord, and the Road to Revolution*. New York: Little, Brown, 2014.

Bullock, Steven C. *Revolutionary Brotherhood: Freemasonry and the Transformation of the American Social Order, 1730–1840*. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press, 2011.

Cantoni, Davide, Jeremiah Dittmar and Noam Yuchtman. 'Reformation and Reallocation: Religious and Secular Economic Activity in Early Modern Germany', working paper. November 2016.

Caracausi, Andrea and Christof Jeggle (eds.). *Commercial Networks and European Cities, 1400–1800*. London and New York: Routledge, 2015.

Carneiro, A. et al. 'Enlightenment Science in Portugal: The Estrangeirados and Their Communication Networks', *Social Studies of Science*, 30, 4 (2000), 591–619.

Clark, J. C. D. *The Language of Liberty, 1660–1832: Political Discourse and Social Dynamics in the Anglo-American World*. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

Comsa, Maria Teodora, Melanie Conroy, Dan Edelstein, Chloe Summers Edmondson and Claude Willan. 'The French Enlightenment Network', *Journal of Modern History*, 88 (September 2016), 495–534.

Danskin, Julie. 'The "Hotbed of Genius": Edinburgh's Literati and the Community of the Scottish Enlightenment', *eSharp*, Special Issue 7: *Real and Imagined Communities* (2013), 1–16.

Dittmar, Jeremiah E. 'Ideas, Technology, and Economic Change: The Impact of the Printing Press', черновой вариант работы (13 March 2009).

Dittmar, Jeremiah E. 'The Welfare Impact of a New Good: The Printed Book', working paper (27 February 2012).

Edelstein, Dan, Paula Findlen, Giovanna Ceserani, Caroline Winterer and Nicole Coleman. 'Historical Research in a Digital Age: Reflections from the Mapping the Republic of Letters Project', *American Historical Review* (April 2017), 400–424.

Eire, Carlos M. N. *Reformations: The Early Modern World, 1450–1650*. New Haven, CT, and London: Yale University Press, 2016.

Erikson, Emily. *Between Monopoly and Free Trade: The English East India Company, 1600–1757*. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2014.

Erikson, Emily and Peter Shawn Bearman. 'Malfeasance and the Foundations for Global Trade: The Structure of English Trade in the East Indies, 1601–1833', *American Journal of Sociology*, 112 (2006), 195–230.

Fischer, David Hackett. *Paul Revere's Ride*. Oxford: Oxford University Press, 1995.

Gestrich, Andreas and Margrit Schulte Beerbühl. *Cosmopolitan Networks in Commerce and Society, 1660–1914*. London: German Historical Institute, 2011.

Gladwell, Malcolm. *The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference*. New York: Hachette Book Group: 2006.

Goodman, Dena. 'Enlightenment Salons: The Convergence of Female and Philosophic Ambitions', *Eighteenth-Century Studies*, 22, 3 (1989), Special Issue: *The French Revolution in Culture*, 329–350.

Goodman, Dena. *The Republic of Letters*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1996.

Hackett, David G. *That Religion in Which All Men Agree: Freemasonry in American Culture*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2014.

Hamilton, Alexander. *The Complete Works of Alexander Hamilton*, ed. Henry Cabot Lodge. Amazon Digital Services for Kindle, 2011.

Han, Shin-Kap. 'The Other Ride of Paul Revere: The Brokerage Role in the Making of the American Revolution', *Mobilization: An International Quarterly* 14, 2 (2009), 143–162.

Hancock, David. 'The Trouble with Networks: Managing the Scots' Early-Modern Madeira Trade', *Business History Review*, 79, 3 (2005), 467–491.

Hatch, Robert A. 'Between Erudition and Science: The Archive and Correspondence Network of Ismaël Boulliau', in Michael Hunter (ed.),

Archives of the Scientific Revolution: The Formation and Exchange of Ideas in Seventeenth-Century Europe. Woodbridge: Boydell Press, 1998, 49–71.

Hodapp, Christopher. *Solomon's Builders: Freemasons, Founding Fathers and the Secrets of Washington D. C.* Berkeley: Ulysses Press, 2009.

Home, John. *Douglas: A Tragedy in Five Acts*. New York and London: S. French & Son, 1870.

Johnstone, Jeffrey M. 'Sir William Johnstone Pulteney and the Scottish Origins of Western New York', *Crooked Lake Review* (Summer 2004):

http://www.crookedlakereview.com/articles/101_135/132summer2004/132johnstone.html

Lamikiz, Xabier. *Trade and Trust in the Eighteenth-Century Atlantic World: Spanish Merchants and Their Overseas Networks*. London and Woodbridge: The Royal Historical Society and Boydell Press, 2010.

Lilti, Antoine. *The World of the Salons*. Oxford: Oxford University Press, 2015.

Lux, David S. and Harold J. Cook. 'Closed Circles or Open Networks? Communication at a Distance during the Scientific Revolution', *History of Science*, 36 (1998), 179–211.

Middlekauff, Robert. *The Glorious Cause: The American Revolution, 1763–1789*. Oxford: Oxford University Press, 2007.

Morse, Sidney. *Freemasonry in the American Revolution*. Washington, DC: Masonic Service Association, 1924.

Owen, John M., IV. *The Clash of Ideas in World Politics: Transnational Networks, States, and Regime Change, 1510–2010*. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2010.

Patterson, Richard S. and Richardson Dougall. *The Eagle and the Shield*. Washington, DC: US Government Printing Office, 1976.

Rothschild, Emma. *The Inner Life of Empires: An Eighteenth Century History*. Princeton: Princeton University Press, 2011.

Rusnock, Andrea. 'Correspondence Networks and the Royal Society, 1700–1750', *British Journal for the History of Science*, 32, 2 (June 1999), 155–169.

Schich, Maximilian, Chaoming Song, Yong-Yeol Ahn, Alexander Mirsky, Mauro Martino, Albert-László Barabási and Dirk Helbing. 'A Network Framework of Cultural History', *Science* 345, 6196 (2014), 558–562.

Starr, Paul. *The Creation of the Media: Political Origins of Modern Communications*. New York: Basic Books, 2004.

Taylor, P. J., M. Hoyler and D. M. Evans. 'A Geohistorical Study of "the Rise of Modern Science": Mapping Scientific Practice through Urban Networks, 1500–1900', *Minerva*, 46, 4 (2008), 391–410.

Winterer, Caroline. 'Where is America in the Republic of Letters?', *Modern Intellectual History*, 9, 3 (2012), 597–623.

Wood, Gordon S. *The American Revolution: A History*. Modern Library Chronicles Series Book 9. New York: Random House, 2002.

York, Neil L. 'Freemasons and the American Revolution', *The Historian*, 55, 2 (Winter 1993), 315–330.

IV. Реставрация иерархии

Andress, David (ed.). *The Oxford Handbook of the French Revolution*. Oxford: Oxford University Press: 2015.

Anon. *The Hebrew Talisman*. London: W. Whaley, 1840.

Anon. *The Annual Register, Or, A View of the History, Politics, and Literature for the Year 1828*. London: Baldwin & Cradock, 1829.

Aspinall, A. (ed.). *The Letters of King George IV, 1812–30*, 3 vols. Cambridge: Cambridge University Press, 1938.

Balla, Ignác. *The Romance of the Rothschilds*. London: E. Nash, 1913.

Benson, Arthur Christopher and Viscount Esher. *The Letters of Queen Victoria: A Selection from Her Majesty's Correspondence between the Years 1837 and 1861*, vol. I: 1837–1843. London: John Murray, 1908.

Bernstein, Herman (ed.). *The Willy – Nicky Correspondence, Being the Secret and Intimate Telegrams Exchanged between the Kaiser and the Tsar*. New York: Alfred A. Knopf, 1918.

Bew, John. *Castlereagh: A Life*. Oxford: Oxford University Press, 2012.

Buxton, Charles (ed.). *Memoirs of Sir Thomas Fowell Buxton*, 5th edn. London: John Murray, 1866.

Capefigue, Jean Baptiste HonorÉ Raymond. *Histoire des grandes opérations financières: banques, bourses, emprunts, compagnies industrielles etc.*, vol. III: *Emprunts, bourses, crédit public. Grands capitalistes de l'Europe*, 1814–1852. Paris: Librairie d'Amyot, 1858.

Cathcart, Brian. *The News from Waterloo*. London: Faber & Faber, 2016.

Chateaubriand, François René, vicomte de. *Correspondance générale de Chateaubriand*, vol. III. Paris: H. et E. Champion, 1913.

Clark, Ian. *Hegemony in International Society*. Oxford: Oxford University Press, 2011.

Clausewitz, Carl von. *On War*, ed. Beatrice Hauser, transl. Michael Howard and Peter Paret. Oxford: Oxford University Press, 2007.

Colley, Linda. *Britons: Forging the Nation*. New Haven, CT, and London: Yale University Press, 1992.

Corti, Egon Caesar Conte. *Alexander of Battenberg*. London: Cassell & Co., 1954.

Corti, Egon Caesar Conte. *The Rise of the House of Rothschild*. New York: Cosmopolitan Book Corporation, 1928.

Cowles, Virginia. *The Rothschilds: A Family of Fortune*. New York: Alfred A. Knopf, 1973.

Dairnvaell, Georges ['Satan' (pseud.)]. *Histoire édifiante et curieuse de Rothschild Ier, roi des Juifs*. Paris: n.p., 1846.

Davis, David Brion. *Inhuman Bondage: The Rise and Fall of Slavery in the New World*. New York: Oxford University Press, 2006.

Davis, Richard W. *The English Rothschilds*. London: Collins, 1983.

Dimock, Liz. 'Queen Victoria, Africa and Slavery: Some Personal Associations', доклад, представленный на конференции AFSAAP (2009).

Drescher, Seymour. 'Public Opinion and Parliament in the Abolition of the British Slave Trade', *Parliamentary History*, 26, 1 (2007), 42–65.

Dugdale, E. T. S. (ed.). *German Diplomatic Documents, 1871–1914*, 4 vols. London: Harper, 1928.

Ferguson, Niall. *The World's Banker: The History of the House of Rothschild*. London: Weidenfeld & Nicolson, 1998.

Фергюсон, Нил. *Дом Ротшильдов. Пророки денег. 1798–1848* / Пер. Л. А.Игоревского. М., 2019.

Фергюсон, Нил. *Дом Ротшильдов. Мировые банкиры. 1849–1999* / Пер. Л. А.Игоревского. М., 2019.

Fournier-Verneuil, M. Paris: *Tableau moral et philosophique*. Paris: n.p., 1826.

Gille, Bertrand. *Histoire de la maison Rothschild*, vol. I: *Des origines à 1848*. Geneva: Librairie Droz, 1965.

Glanz, Rudolf. 'The Rothschild Legend in America', *Jewish Social Studies*, 19 (1957), 3–28.

Gould, Roger V. 'Patron – Client Ties, States Centralization, and the Whiskey Rebellion', *American Journal of Sociology*, 102, 2 (September

1996), 400–429.

Hinsley, F. H. *Power and the Pursuit of Peace: Theory and Practice in the History of the Relations between States*. Cambridge: Cambridge University Press, 1963.

Holsti, Kalevi. 'Governance Without Government: Polyarchy in Nineteenth-Century European International Politics', in Kalevi, *Kalevi Holsti: Major Texts on War, the State, Peace, and International Order*. New York: Springer, 2016, 149–171.

Iliowzi, Henry. *'In the Pale': Stories and Legends of the Russian Jews*. Philadelphia: Jewish Publication Society of America, 1897.

Kissinger, Henry. *Diplomacy*. New York: Simon & Schuster, 2011.

Kissinger, Henry. *World Order*. London and New York: Penguin Press, 2014.

Киссинджер, Генри. *Мировой порядок* / Пер. с англ. В. Желнинова и А. Милюкова. М., 2015.

Kissinger, Henry. *A World Restored*. New York and London: Houghton Mifflin/Weidenfeld and Nicolson, 1957.

Киссинджер, Генри. *Восстановленный мировой порядок*. М., 1973.

Kynaston, David. *The City of London: A World of Its Own*. London: Chatto & Windus, 1994.

Lamoreaux, Naomi R., Daniel M. G. Raff and Peter Temin. 'Beyond Markets and Hierarchies: Toward a New Synthesis of American Business History', NBER working paper no. 9029 (July 2002), 1–63.

Lefebvre, Georges. *The Great Fear of 1789: Rural Panic in Revolutionary France*. Princeton: Princeton University Press, 2014.

Levy, Jack S. *War in the Modern Great Power System*. Lexington, KY: University Press of Kentucky, 1983.

Liedtke, Rainer. *N. M. Rothschild & Sons: Kommunikationswege im europ-ischen Bankenwesen im 19. Jahrhundert*. Cologne, Weimar and Vienna: Böhlau, 2006.

Lipp, C. and L. Krempel. 'Petitions and the Social Context of Political Mobilization in the Revolution of 1848/49: A Microhistorical Actor-Centred Network Analysis', *International Review of Social History*, 46, Supplement 9, (December 2001), 151–169.

Loewe, Louis (ed.). *Diaries of Sir Moses and Lady Montefiore*, 2 vols. Oxford, 1983.

Maylunas, Andrei and Sergei Mironenko. *A Lifelong Passion: Nicholas and Alexandra, Their Own Story*. London: Weidenfeld & Nicolson, 1996.

Мейлунас, Андрей, Мироненко, Сергей. *Николай и Александра: любовь и жизнь* / Пер. С. Житомирской. М., 1998.

Moon, Francis C. *Social Networks in the History of Innovation and Invention* (Dordrecht: Springer, 2014).

Pearson, Robin and David Richardson. 'Business Networking in the Industrial Revolution', *Economic History Review*, 54, 4 (November 2001), 657–679.

Prawer, S. S. *Heine's Jewish Comedy: A Study of His Portraits of Jews and Judaism*. Oxford: Clarendon Press, 1983.

Pückler-Muskau, Hermann Fürst von. *Briefe eines Verstorbenen: Vollständige Ausgabe*, ed. Heinz Ohff (Berlin: Kupfergraben Verlagsgesellschaft, 1986)

Quennell, Peter (ed.). *The Private Letters of Princess Lieven to Prince Metternich, 1820–1826*. London: John Murray, 1937.

Ranke, Leopold von. 'The Great Powers', in R. Wines (ed.), *The Secret of World History: Selected Writings on the Art and Science of History*. New York: Fordham University Press, 1981 [1833]), 122–155.

Reeves, John. *The Rothschilds: The Financial Rulers of Nation*. London: Sampson Low, Marston, Searle and Rivington, 1887.

Roberts, Andrew. *Napoleon: A Life*. London: Viking, 2014.

Rothschild, Lord [Victor]. *The Shadow of a Great Man*. London: опубликовано в частном порядке, 1982.

Rubens, Alfred. *Anglo-Jewish Portraits*. London: Jewish Museum, 1935.

Ryden, David Beck. 'Does Decline Make Sense? The West Indian Economy and the Abolition of the British Slave Trade', *Journal of Interdisciplinary History*, 31, 3 (2001), 347–374.

Schroeder, Paul. *The Transformation of European Politics, 1763–1848*. Oxford: Oxford University Press, 1994.

Schwemer, Richard. *Geschichte der Freien Stadt Frankfurt a. M. (1814–1866)*, vol. II. Frankfurt am Main: J. Baer & Co., 1912.

Serre, comte Pierre François Hercule de. *Correspondance du comte de Serre 1796–1824, annotée et publiée par son fils*, vol. IV. Paris: Auguste Vatou, 1876.

Shy, John, 'Jomini', in Peter Paret (ed.). *Makers of Modern Strategy*. Princeton: Princeton University Press, 1986, 143–185.

Slantchev, B. 'Territory and Commitment: The Concert of Europe as Self-Enforcing Equilibrium', *Security Studies*, 14, 4 (2005), 565–606.

Stendhal. *The Red and the Black: A Chronicle of the Nineteenth Century*, transl. C. K. Scott Moncrieff. New York: Modern Library, 1926

[1830].

Стендаль. *Красное и черное* / Пер. С. Боброва, М. Богословской. М., 2017.

Tackett, Timothy. 'La grande peur et le complot aristocratique sous la Révolution française', *Annales historiques de la Révolution française*, 335. January – March 2004, 1–17.

Williams, Eric. *Capitalism and Slavery*. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press, 1944.

V. Рыцари “круглого стола”

Allen, Peter. *The Cambridge Apostles: The Early Years*. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1978.

Andrew, Christopher. *The Defence of the Realm: The Authorized History of MI5*. London: Allen Lane, 2009.

Andrew, Christopher and Oleg Gordievsky. *KGB: The Inside Story of Its Foreign Operations from Lenin to Gorbachev*. London: Hodder & Stoughton, 1990.

Эндрю, Кристофер, Гордиевский, Олег. *КГБ: Разведывательные операции от Ленина до Горбачева*. М., 1999.

Ansell, Christopher K. 'Symbolic Networks: The Realignment of the French Working Class, 1887–1894', *American Journal of Sociology*, 103, 2 (September 1997), 359–390.

Antal, Tibor, Paul Krapivsky and Sidney Redner. 'Social Balance on Networks: The Dynamics of Friendship and Enmity', *Physica D*, 224, 130 (2006), 130–136.

Berlin, Isaiah. 'Meetings with Russian Writers in 1945 and 1956', in Berlin, *Personal Impressions*. New York: Random House, 2012.

Берлин, Исайя. *Встречи с русскими писателями в 1945 и 1956 годах* // Звезда. 1990. № 2.

Brudner, Lilyan A. and Douglas R. White, 'Class, Property and Structural Endogamy: Visualizing Networked Histories', *Theory and Society*, 26, 26 (1997).

Bryce, James. 'Kearneyism in California', in *The American Commonwealth*, vol. II, 2nd edn. London: Macmillan and Co., 1891.

Campbell, Cameron, and James Lee. 'Kin Networks, Marriage, and Social Mobility in Late Imperial China', *Social Science History*, 32 (2008), 174–214.

Cannadine, David. *Ornamentalism: How the British Saw Their Empire*. London: Allen Lane, 2001.

Carnegie, Andrew. 'Wealth', *North American Review*, 391 (June 1889).

Chi, Sang-Hyun, Colin Flint, Paul Diehl, John Vasquez, Jürgen Scheffran, Steven M. Radil, and Toby J. Rider. 'The Spatial Diffusion of War: The Case of World War I', *대한지리학회지*, 49, 1 (2014), 57–76.

Clark, Christopher. *The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914*. New York: Harper, 2013.

Collins, Damian. *Charmed Life: The Phenomenal World of Philip Sassoon*. London: William Collins, 2016.

Cooke, George Wingrove. *China: Being 'The Times' Special Correspondence from China in the Years 1857–1858*. London: Routledge & Co., 1858.

Darwin, John. *The Empire Project: The Rise and Fall of the British World System, 1830–1970*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

Deacon, Richard, *The Cambridge Apostles: A History of Cambridge University's Elite Intellectual Secret Society* (London: R. Royce, 1985)

Dean, Warren. *Brazil and the Struggle for Rubber: A Study in Environmental History*. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

Dolton, Peter. 'Identifying Social Network Effects', *Economic Report*, 93, Supplement S1 (June 2017), 1–15, Department of Economics, University of Sussex (2017).

Duara, Prasenjit. *Culture, Power and the State: Rural North China, 1900–1942*. Stanford: Stanford University Press, 1998.

Ferguson, Niall. *Empire: How Britain Made the Modern World*. London: Allen Lane, 2003.

Фергюсон, Ниял. *Империя: Чем современный мир обязан Британии* / Пер. К. В. Бандуровского. М., 2014.

Flandreau, Marc and Clemens Jobst. 'The Ties That Divide: A Network Analysis of the International Monetary System, 1890–1910', *Journal of Economic History*, 65, 4 (December 2005), 977–1007.

Fontane, Theodor. *Der Stechlin*. Stuttgart: Deutscher Bücherbund, 1978 [1899].

Forster, E. M. *Howard's End*. New York: A. A. Knopf, 1921.

Форстер, Эдвард Морган. *Говардс-Энд* / Пер. М. Жутовской. М., 2014

Forster, E. M. *What I Believe*. London: Hogarth Press, 1939.

Garton Ash, Timothy. *Free Speech: Ten Principles for a Connected World*. New Haven, CT: Yale University Press, 2016.

Gartzke, Erik and Yonatan Lupu. 'Trading on Preconceptions: Why World War I was Not a Failure of Economic Interdependence', *International Security*, 36, 4 (2012), 115–150.

Gibson, Otis. *The Chinese in America*. Cincinnati: Hitchcock and Walden, 1877.

Gooch, Lady Emily Burder (ed.). *Diaries of Sir Daniel Gooch, Baronet*. London: K. Paul, Trench Trübner & Co., 1892.

Hale, Keith (ed.). *Friends and Apostles: The Correspondence of Rupert Brooke and James Strachey, 1905–1914*. New Haven, CT, and London: Yale University Press, 1998.

Harvey, William Hope. *Coin's Financial School*. Chicago: Coin Publishing Company, 1894.

Heidler, Richard, Markus Gamper, Andreas Herz and Florian Esser. 'Relationship Patterns in the 19th century: The Friendship Network in a German Boys' School Class from 1880 to 1881 Revisited', *Social Networks*, 37 (2014), 1–13.

Ingram, Paul and Adam Lifschitz. 'Kinship in the Shadow of the Corporation: The Interbuilder Network in Clyde River Shipbuilding, 1711–1990', *American Sociological Review*, 71 (2003), 334–352.

Jackson, Joe. *The Thief at the End of the World: Rubber, Power, and the Seeds of Empire*. New York and London: Viking/Duckworth Overlook, 2008.

Jones, Charles. 'The Ottoman Front and British Propaganda: John Buchan's Greenmantle', in Maximilian Lakitsch, Susanne Reitmair and Katja Seidel (eds.), *Bellicose Entanglements 1914: The Great War as Global War*. Zurich: Lit-Verlag, 2015, 157–174.

Keller, Franziska Barbara. 'How to Spot a Successful Revolution in Advance: Results from Simulations on Protest Spread along Social Networks in Heterogeneous Societies', неопубликованная работа (без даты).

Keller, Franziska Barbara. "“Yes, Emperor” – Controlling the Bureaucracy in an Authoritarian Regime: On the Appointment of Qing Dynasty Provincial Governors, 1644–1912", неопубликованная работа (March 2013).

Kissinger, Henry. *World Order*. London and New York: Viking, 2014 [ссылку на издание на русском языке см. выше. – Ped.].

Klaus, Ian. *Forging Capitalism: Rogues, Swindlers, Frauds, and the Rise of Modern Finance*. Yale Series in Economic and Financial History. New Haven: Yale University Press, 2014.

Kuhn, Philip A. *Soulstealers: The Chinese Sorcery Scare of 1758*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1995.

Lebow, Richard Ned. 'Contingency, Catalysts and Non-Linear Change: The Origins of World War I', in Gary Goertz and Jack S. Levy (eds.), *Explaining War and Peace: Case Studies and Necessary Condition Counterfactuals*. Abingdon: Routledge, 2007, 85–112.

Lee, Erika. *At America's Gates: Chinese Immigration during the Exclusion Era, 1882–1943*. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press, 2003.

Lester, Alan. 'Imperial Circuits and Networks: Geographies of the British Empire', *History Compass*, 4, 1 (2006), 124–141.

Levy, Paul. *Moore: G. E. Moore and the Cambridge Apostles*. London: Weidenfeld & Nicolson, 1979.

Lipp, Carola. 'Kinship Networks, Local Government, and Elections in a Town in Southwest Germany, 1800–1850', *Journal of Family History*, 30, 4 (October 2005), 347–365.

Louw, P. Eric. *The Rise, Fall, and Legacy of Apartheid*. Westport, CT, and London: Praeger, 2004.

Lownie, Andrew. *Stalin's Englishman: The Lives of Guy Burgess*. London: Hodder & Stoughton, 2015.

Lubenow, W. C. *The Cambridge Apostles, 1820–1914: Liberalism, Imagination, and Friendship in British Intellectual and Professional Life*. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

McGuinness, Brian. *Wittgenstein: A Life*, vol. I: *Young Ludwig, 1889–1921*. London: Duckworth, 1988.

McIntyre, Ben. *A Spy among Friends: Kim Philby's Great Betrayal*. New York: Crown, 2014.

McKeown, Adam. 'Chinese Emigration in Global Context, 1850–1940', *Journal of Global History*, 5, 1 (March 2010), 95–124.

Magubane, Bernard M. *The Making of a Racist State: British Imperialism and the Union of South Africa, 1875–1910*. Trenton, NJ, and Asmara, Eritrea: Africa World Press, Inc., 1996.

Maoz, Zeev. *Networks of Nations: The Evolution, Structure, and Impact of International Networks, 1816–2001*. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2011.

Marks, Shula and Stanley Trapido. 'Lord Milner and the South African State', *History Workshop*, 8 (Autumn 1979), 50–80.

May, Alex. 'Milner's Kindergarten (act. 1902–1910) ', *Oxford Dictionary of National Biography*. Oxford: Oxford University Press, 2005.

Moretti, Enrico. 'Social Networks and Migrations: Italy 1876–1913', *International Migration Review*, 33, 3 (1999), 640–658.

Nimocks, Walter. *Milner's Young Men: The 'Kindergarten' in Edwardian Imperial Affairs*. Durham, NC: Duke University Press, 1968.

Offer, Avner. *The First World War: An Agrarian Interpretation*. Oxford: Oxford University Press, 1990.

Oxford and Asquith, Earl of. *Memories and Reflections, 1852–1927*, 2 vols. London and Boston, MA: Cassell/Little, Brown, 1928.

Plakans, Andrejs and Charles Wetherell. 'The Kinship Domain in an East European Peasant Community: Pinkenhof, 1833–1850', *American Historical Review*, 93, 2 (April 1988), 359–386.

Platt, Stephen. *Autumn in the Heavenly Kingdom: China, the West, and the Epic Story of the Taiping Civil War*. New York: Alfred A. Knopf, 2012.

Potter, Simon J. 'Webs, Networks, and Systems: Globalization and the Mass Media in the Nineteenth- and Twentieth-Century British

Empire', *Journal of British Studies*, 46, 3 (July 2007), 621–646.

Quigley, Carroll. *The Anglo-American Establishment: From Rhodes to Cliveden*. New York: Books in Focus, 1981.

Roldan Vera, E. and T. Schupp. 'Bridges over the Atlantic: A Network Analysis of the Introduction of the Monitorial System of Education in Early-Independent Spanish America', in J. Schriewer and M. Caruso (eds.), *Nationalerziehung und Universalmethode – frühe Formen schulorganisatorischer Globalisierung* (Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2005), 58–93.

Schroeder, Paul W. 'Economic Integration and the European International System in the Era of World War I', *American Historical Review*, 98, 4 (October 1993), 1130–1137.

Schroeder, Paul W. 'Necessary Conditions and World War I as an Unavoidable War', in Gary Goertz and Jack S. Levy (eds.), *Explaining War and Peace: Case Studies and Necessary Condition Counterfactuals* (Abingdon, Oxon: Routledge, 2007), 147–193.

Schroeder, Paul W. 'Stealing Horses to Great Applause: Austria – Hungary's Decision in 1914 in Systemic Perspective', in Holger Afflerbach and David Stevenson (eds.), *An Improbable War? The Outbreak of World War I and European Political Culture before 1914*. New York: Berghahn Books, 2007.

Shirky, Clay. *Here Comes Everybody: The Power of Organizing without Organizations*. London: Penguin Books, 2009.

Skidelsky, Robert. *John Maynard Keynes*, vol. I: *Hopes Betrayed*, 1883–1920. London: Macmillan, 1983.

Spar, Debora L. *Ruling the Waves: Cycles of Discovery, Chaos, and Wealth from the Compass to the Internet*. Orlando, FL: Harcourt, 2003.

Standage, Tom. *The Victorian Internet: The Remarkable Story of the Telegraph and the Nineteenth Century's Online Pioneers*. London: Phoenix, 1999.

Taylor, Charles. *Five Years in China, with Some Account of the Great Rebellion*. New York: Derby & Jackson, 1860.

Ter Haar, B. J. *The White Lotus Teachings in Chinese Religious History*. Leiden: E. J. Brill, 1992.

Thompson, William R. 'A Streetcar Named Sarajevo: Catalysts, Multiple Causation Chains, and Rivalry Structures', *International Studies Quarterly*, 47, 3 (September 2003), 453–474.

Trachtenberg, Marc 'New Light on 1914?' Contribution to the H-Diplo/ISSFForum on 1914 (готовится).

Tufekci, Zeynep. *Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest*. New Haven, CT, and London: Yale University Press, 2017.

Tworek, Heidi Jacqueline Sybil. 'Magic Connections: German News Agencies and Global News Networks, 1905–1945', неопубликованная докторская диссертация, Harvard University (2012).

United States Congress. *Report of the Joint Special Committee to Investigate Chinese Immigration*. Washington, DC: Government Printing Office, 1877.

Vasquez, John A. and Ashlea Rundlett. 'Alliances as a Necessary Condition of Multiparty Wars', *Journal of Conflict Resolution*, (2015), 1–24.

VI. Моровые поветрия и дудочники-искусители

Ahmad, Ali. 'The Great War and Afghanistan's Neutrality', in Maximilian Lakitsch, Susanne Reitmair and Katja Seidel (eds.), *Bellicose Entanglements: The Great War as a Global War* (Zurich: Lit Verlag, 2015), 197–214.

Akhmatova, Anna. *The Word That Causes Death's Defeat: Poems of Memory*, transl. Nancy K. Anderson. New Haven, CT, and London: Yale University Press, 2004.

Ахматова, Анна. Поэма без героя // Её же. *Собрание стихотворений и поэм в одном томе*. М., 2018.

Aksakal, Mustafa. "'Holy War Made in Germany?' Ottoman Origins of the 1914 Jihad', *War in History*, 18, 2 (2011), 184–199.

Aksakal, Mustafa. 'The Ottoman Proclamation of Jihad', in Erik-Jan Zürcher (ed.), *Jihad and Islam in World War I: Studies on the Ottoman Jihad on the Centenary of Snouck Hurgronje's 'Holy War Made in Germany'*. Leiden: Leiden University Press, 2016, 53–69.

Al-Rawi, Ahmad. 'Buchan the Orientalist: Greenmantle and Western Views of the East', *Journal of Colonialism and Colonial History*, 10, 2 (Fall 2009), Project MUSE, doi: 10.1353/cch.0.0068.

Al-Rawi, Ahmad. 'John Buchan's British-Designed Jihad in Greenmantle', in Erik-Jan Zürcher (ed.), *Jihad and Islam in World War I: Studies on the Ottoman Jihad on the Centenary of Snouck Hurgronje's 'Holy War Made in Germany'*. Leiden: Leiden University Press, 2016, 329–346.

Applebaum, Anne. *Gulag: A History* (New York: Doubleday, 2003).

Эпплбаум, Энн. *ГУЛАГ* / Пер. Л. Мотылева. М., 2015.

Barkai, Avraham. *From Boycott to Annihilation: The Economic Struggle of German Jews, 1933–1943*, transl. William Templer. Hanover, NH, and London: University Press of New England, 1989.

Baynes, N. H. (ed.). *The Speeches of Adolf Hitler*, vol. I. London: Oxford University Press, 1942.

Berghahn, Volker R. *Germany and the Approach of War in 1914*. London: Palgrave Macmillan, 1973.

Berlin, Isaiah. *Letters*, vol. I: 1928–1946, ed. Henry Hardy. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Berlin, Isaiah. *Enlightening: Letters*, vol. II: 1946–1960, ed. Henry Hardy. New York: Random House, 2012.

Bloch, Michael. *Ribbentrop*. London: Bantam, 1992.

Buchan, John. *Greenmantle*. London: Hodder & Stoughton, 1916.

Burgdörfer, Friedrich. ‘Die Juden in Deutschland und in der Welt: Ein statistischer Beitrag zur biologischen, beruflichen und sozialen Struktur des Judentums in Deutschland’, *Forschungen zur Judenfrage*, 3 (1938), 152–198.

Burleigh, Michael. *The Third Reich: A New History*. London: Pan Books, 2001.

Burleigh, Michael. and Wolfgang Wippermann. *The Racial State: Germany 1933–1945*. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

Cannadine, David. ‘John Buchan: A Life at the Margins’, *The American Scholar*, 67, 3 (summer 1998), 85–93.

Cleveland, William L. and Martin Bunton. *A History of the Modern Middle East*. Philadelphia: Westview Books, 2016.

Cohn, Norman. *Warrant for Genocide: The Myth of the Jewish World Conspiracy and the Protocols of the Elders of Zion*. New York: Harper and Row, 1965.

Cooper, Duff, ed. John Julius Norwich. *The Duff Cooper Diaries, 1915–1951*. London: Weidenfeld & Nicolson, 2005.

Dalos, György. *The Guest from the Future: Anna Akhmatova and Isaiah Berlin*. New York: Farrar, Straus and Giroux, 1999.

Della Pergola, Sergio. *Jewish Mixed Marriages in Milan 1901–1968, with an Appendix: Frequency of Mixed Marriage among Diaspora Jews*. Jerusalem: Hebrew University, 1972.

Duggan, Christopher. *Fascism and the Mafia*. New Haven, CT: Yale University Press, 1989.

DÜring, Marten. ‘The Dynamics of Helping Behaviour for Jewish Fugitives during the Second World War: The Importance of Brokerage: The Segal Family’s Case’, *Online Encyclopaedia of Mass Violence*,

29 March 2016, <http://www.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-resistance/en/document/dynamics-helping-behaviour-jewish-fugitives-during-second-world-war-importance-brokerage-se>

Evangelista, Matthew. *Unarmed Forces: The Transnational Movement to End the Cold War*. Ithaca, NY, and London: Cornell University Press, 1999.

Fallada, Hans. *Alone in Berlin*, transl. Michael Hoffman. London: Penguin Books, 2010.

Фаллада, Ханс. *Один в Берлине. Каждый умирает в одиночку*. М., 2017.

Falter, Jürgen W. *Hitlers W-hler*. Munich: C. H. Beck, 1991.

Ferguson, Niall. *Kissinger*, vol. I: 1923–1968 – *The Idealist*. London and New York: Allen Lane/Penguin Press, 2015.

Ferguson, Niall. *The War of the World: History's Age of Hatred*. London: Allen Lane, 2006.

Figes, Orlando. *A People's Tragedy: The Russian Revolution, 1891–1924*. London: Weidenfeld & Nicolson, 1996.

Fogarty, Richard S. 'Islam in the French Army during the Great War: Between Accommodation and Suspicion', in Eric Storm and Ali Al Tuma (eds.), *Colonial Soldiers in Europe, 1914–1945: 'Aliens in Uniform' in Wartime Societies* (New York: Routledge, 2016), 23–40.

Friedländer, Saul. *Nazi Germany and the Jews: The Years of Persecution, 1933–39*. London: Phoenix Giant, 1997.

Gambetta, Diego. *The Sicilian Mafia: The Business of Protection*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1993.

Garfinkle, Adam. *Jewcentricity: Why the Jews are Praised, Blamed, and Used to Explain Just About Everything*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc., 2009.

Geiss, Immanuel. *July 1914: The Outbreak of the First World War – Selected Documents*. London: Batsford, 1967.

Gussone, Martin. 'Die Moschee im Wünsdorfer "Halbmondlager" zwischen Gihad-Propaganda und Orientalismus', in Markus Ritter and Lorenz Korn (eds.), *Beiträge zur Islamischen Kunst und Archologie* (Wiesbaden: Reichert, 2010), 204–232.

Habermas, Rebekka. 'Debates on Islam in Imperial Germany', in David Motadel (ed.), *Islam and the European Empires*. Oxford: Oxford University Press, 2016, 231–253.

Hanauer, Walter. 'Die jüdisch-christliche Mischehe', *Allgemeines Statistisches Archiv*, 17 (1928), 513–537.

Hausheer, Roger. 'It Didn't Happen One Night in Leningrad', *Times Higher Education*, 26 May 2000: <https://www.timeshighereducation.com/books/it-didnt-happen-one-night-in-leningrad-in-1945/156215.article>

Heimann-Jelinek, Felicitas. 'The "Aryanisation" of Rothschild Assets in Vienna and the Problem of Restitution', in Georg Heuberger (ed.), *The Rothschilds: Essays on the History of a European Family* (Sigmaringen: D. S. Brewer, 1994), 351–364.

Herf, Jeffrey. *The Jewish Enemy: Nazi Propaganda during the Second World War and the Holocaust*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2006.

Hopkirk, Peter. *Like Hidden Fire: The Plot to Bring Down the British Empire*. New York: Kodansha International, 1994.

Ignatieff, Michael. *Isaiah Berlin: A Life*. London: Vintage, 2000.

Jackson, Maurice, Eleanor Petersen, James Bull, Sverre Monsen and Patricia Redmond. 'The Failure of an Incipient Social Movement', *Pacific Sociological Review*, 3, 1 (1960), 35–40.

Jones, Steve. *In the Blood: God, Genes and Destiny*. London: HarperCollins, 1996.

Kahler, Miles. 'Collective Action and Clandestine Networks: The Case of Al Qaeda', in Kahler (ed.), *Networked Politics: Agency, Power, and Governance*. Ithaca, NY, and London: Cornell University Press, 2009, 103–124.

Kahler, Miles. 'Networked Politics: Agency, Power, and Governance', in Kahler (ed.), *Networked Politics*, 1–22.

Keddie, Nikki R. 'Pan-Islam as Proto-Nationalism', *Journal of Modern History*, 41, 1 (March 1969), 17–28.

Kelly, John and Julie Yeterian. 'Mutual-Help Groups for Alcohol and Other Substance Use Disorders', in Barbara S. McCrady and Elizabeth E. Epstein (eds.), *Addictions: A Comprehensive Guidebook*. Oxford: Oxford University Press, 2013, 500–525.

Kenney, Michael. 'Turning to the "Dark Side": Coordination, Exchange and Learning in Criminal Networks', in Kahler (ed.), *Networked Politics*, 79–102.

Kharas, Homi. 'The Unprecedented Expansion of the Global Middle Class: An Update', *Brookings Working Papers in Global Economy and Development*, 100 (February 2017).

Kopper, Christopher. 'The Rothschild Family during the Third Reich', in Georg Heuberger (ed.), *The Rothschilds: Essays on the*

History of a European Family. Sigmaringen: D. S. Brewer, 1994), 321–332.

Kotkin, Stephen. *Stalin*, vol. I: *Paradoxes of Power*, 1878–1928. London and New York: Allen Lane/Penguin Press, 2014.

Kotkin, Stephen. *Stalin*, vol. II: *Waiting for Hitler*. London and New York: Allen Lane/Penguin Press, 2017.

Kurtz, Ernest. *Not-God: A History of Alcoholics Anonymous*. Center City, MN: Hazelden, 1991.

Landau, Jacob M. *Pan-Islam: History and Politics*. Abingdon: Routledge, 2016.

Laqueur, Walter (ed.). *Fascism: A Reader's Guide: Analyses, Interpretations, Bibliography*. Aldershot: Scolar Press, 1991).

Larsen, Stein Ugelvik, Bernt Hagtvet and Jan Peter Myklebust. *Who were the Fascists? Social Roots of European Fascism*. Bergen: Universitetsforlaget, 1980.

Leggett, George. *The Cheka: Lenin's Political Police*. Oxford: Oxford University Press, 1981.

Lewis, Norman. *The Honoured Society: The Sicilian Mafia Observed*. London: Eland, 2003 [1973].

Норман Льюис. *Достопочтенное общество. Очерки о сицилийской мафии* / Пер. Т. Азаркович. М., 2008.

Lewis, Norman *Naples '44: A World War II Diary of Occupied Italy*. London: William Collins, 1978.

Lownie, Andrew. *John Buchan: Presbyterian Cavalier*. London: Constable, 1995.

LÜdke, Tilman. ‘(Not) Using Political Islam: The German Empire and Its Failed Propaganda Campaign in the Near and Middle East, 1914–1918 and Beyond’, in Erik-Jan Zürcher (ed.), *Jihad and Islam in World War I: Studies on the Ottoman Jihad on the Centenary of Snouck Hurgronje's 'Holy War Made in Germany'*. Leiden: Leiden University Press, 2016, 71–94.

MacDougall, Robert. ‘Long Lines: AT&T's Long-Distance Network as an Organizational and Political Strategy’, *Business History Review*, 80 (2006), 297–327.

Macintyre, Ben. *A Spy among Friends: Kim Philby and the Great Betrayal*. London: Bloomsbury, 2014.

Макинтайр, Бен. *Шпион среди друзей. Великое предательство Кима Филби* / Пер. С. Таска, А. Шульгат. М., 2017.

McKale, Donald M. ‘British Anxiety about Jihad in the Middle East’, *Orient XXI*, 24 June 2016: <http://orientxxi.info/l-orient-dans-la-guerre->

1914-1918/british-anxiety-about-jihad-in-the-middle-east,0940.

McKale, Donald M. 'Germany and the Arab Question in the First World War', *Middle Eastern Studies*, 29, 2 (April 1993), 236–253.

McKale, Donald M. *War by Revolution: Germany and Great Britain in the Middle East in the Era of World War I*. Kent, OH, and London: Kent State University Press, 1998.

McMeekin, Sean. *The Berlin – Baghdad Express: The Ottoman Empire and Germany's Bid for World Power 1898–1918*. London: Penguin Books, 2011.

McMeekin, Sean. *The Russian Revolution: A New History*. New York: Basic Books, 2017.

McMurray, Jonathan S. *Distant Ties: Germany, the Ottoman Empire, and the Construction of the Baghdad Railway*. Westport, CT, and London: Praeger, 2001.

McSmith, Andy. *Fear and the Muse Kept Watch: The Russian Masters – from Akhmatova and Pasternak to Shostakovich and Eisenstein – under Stalin*. New York and London: New Press, 2015.

Makela, Klaus et al. (eds.). *Alcoholics Anonymous as a Mutual-Help Movement: A Study in Eight Societies*. Madison, WI: University of Wisconsin Press, 1996.

Meiring, Kerstin. *Die christlich-jüdische Mischehe in Deutschland 1840–1933*. Hamburg: Dölling and Galitz, 1998.

Miller Lane, Barbara and Leila J. Rupp (eds.). *Nazi Ideology before 1933: A Documentation*. Austin: University of Texas Press, 1978.

Morgenthau, Henry. *Secrets of the Bosphorus*. London: Hutchinson & Co, 1918.

Mosse, Werner E. 'Die Juden in Wirtschaft und Gesellschaft', in Mosse (ed.), *Juden in Wilhelminischen Deutschland 1890–1914*. Tübingen: Mohr, 1976, 57–113.

Mosse, Werner E. *Jews in the German Economy: The German-Jewish Economic Elite, 1820–1935*. Oxford: Oxford University Press, 1987.

Motadel, David. *Islam and Nazi Germany's War*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2014.

Nicholas, Lynn H. *The Rape of Europa: The Fate of Europe's Treasures in the Third Reich and the Second World War*. London: Macmillan, 1994.

Ohler, Norman. *Blitzed: Drugs in Nazi Germany*, transl. Shaun Whiteside. London: Allen Lane, 2017.

O'Loughlin, John, Colin Flint and Luc Anselin. 'The Geography of the Nazi Vote: Context, Confession, and Class in the Reichstag Election of 1930', *Annals of the Association of American Geographers*, 84 (1994), 351–380.

Raab, Jörg. 'More Than Just a Metaphor: The Network Concept and Its Potential in Holocaust Research', in Gerald D. Feldman and Wolfgang Seibel (eds.), *Networks of Nazi Persecution: Bureaucracy, Business and the Organization of the Holocaust*. New York and Oxford: Berghahn Books, 2006, 321–340.

Rogan, Eugene. *The Arabs: A History*. London: Allen Lane, 2009.

Роган, Юджин. *Арабы. История. XVI–XXI вв.* / Пер. И. Евстигнеевой. М., 2017.

Rogan, Eugene. *The Fall of the Ottomans: The Great War in the Middle East, 1914–1920*. New York: Basic Books, 2015.

Роган, Юджин. *Падение Османской империи. Первая мировая война на Ближнем Востоке, 1914–1920 гг.* / Пер. И. Евстигнеевой. М., 2018.

Rogan, Eugene. 'Rival Jihads: Islam and the Great War in the Middle East, 1914–1918', *Journal of the British Academy*, 4 (2014), 1–20.

Rubinstein, W. D. *The Left, the Right, and the Jews*. London and Canberra: Croom Helm, 1982.

Ruble, Blair A. *Leningrad: Shaping a Soviet City*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1990.

Ruppin, Arthur. *Soziologie der Juden*, vol. I: *Die soziale Struktur der Juden*. Berlin: Jüdischer Verlag, 1930.

Rutledge, Ian. *Enemy on the Euphrates: The Battle for Iraq, 1914–1921*. London: Saqi Books, 2015.

Satyanath, Shanker, Nico VoigtlÄnder and Hans-Joachim Voth. 'Bowling For Fascism: Social Capital and the Rise of the Nazi Party', *Journal of Political Economy* (готовится).

Schwanitz, Wolfgang G. 'The Bellicose Birth of Euro-Islam in Berlin', in Ala Al-Hamarneh and Jörn Thielmann (eds.), *Islam and Muslims in Germany*. Leiden: Brill, 2008, 183–212.

Scotten, W. E. 'The Problem of the Mafia in Sicily', in Università Di Catania Facoltà Di Scienze Politiche, *Annali 80 del Dipartimento di Scienze Storiche*. Catania: Galatea Editrice, 1981, 622–629.

Service, Robert. *A History of Twentieth-Century Russia*. London: Penguin Books, 1997.

Sperry, Earl E. and Willis M. West. *German Plots and Intrigues in the United States during the Period of Our Neutrality*. Washington, DC:

Committee on Public Information, 1918.

Staar, Richard Felix. *Foreign Policies of the Soviet Union*. Stanford: Hoover Institution Press, 1991.

Starr, Paul. *The Creation of the Media: Political Origins of Modern Communications*. New York: Basic Books, 2004.

Tamberino, Frank. 'A Criminal Renaissance: The Postwar Revival of the Sicilian Mafia, 1943–1945', дипломная работа, Harvard University, 2017.

Trumpener, Ulrich. *Germany and the Ottoman Empire, 1914–1918*. Princeton: Princeton University Press, 2015.

Turchin, Peter. *Ages of Discord: A Structural-Demographic Analysis of American History*. Chaplin, CT: Beresta Books, 2016.

Valentin, Hugo. *Antisemitism Historically and Critically Examined*. London: Gollancz, 1936.

Voigtländer, Nico and Hans-Joachim Voth. 'Persecution Perpetuated: The Medieval Origins of Anti-Semitic Violence in Nazi Germany', *Quarterly Journal of Economics*. 2012, 1339–1392.

Volkogonov, Dmitri, *Lenin: Life and Legacy*. London: HarperCollins, 1994.

Волкогонов Д. *Ленин. Политический портрет*. Кн. 1. М., 1997.

White, William L. and Ernest Kurtz, 'Twelve Defining Moments in the History of Alcoholics Anonymous', in Marc Galanter and Lee Ann Kaskutas (eds.), *Recent Developments in Alcoholism: Research on Alcoholics Anonymous and Spirituality in Addiction Recovery*, vol. XVIII. New York: Springer, 2008, 37–57.

Windolf, Paul. 'The German-Jewish Economic Elite, 1900–1930', *Journal of Business History*, 56, 2 (2011), 135–162.

Zürcher, Erik-Jan. 'Introduction: The Ottoman Jihad, the German Jihad, and the Sacralization of War', in Zürcher (ed.), *Jihad and Islam in World War I: Studies on the Ottoman Jihad on the Centenary of Snouck Hurgronje's 'Holy War Made in Germany'*. Leiden: Leiden University Press, 2016, 13–29.

VII. Кто хозяин в джунглях

Abdelal, Rawi. 'The Politics of Monetary Leadership and Followership: Stability in the European Monetary System since the Currency Crisis of 1992', *Political Studies*, 46, 2 (June 1998), 246–247.

Bar-Yam, Yaneer. 'Complexity Rising: From Human Beings to Human Civilization – A Complexity Profile', in *Encyclopaedia of Life Support Systems*. Oxford: United Nations, 2002, 1–33.

Bar-Yam, Yaneer. *Dynamics of Complex Systems*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1997.

Barnard, Rita and Monica Popescu. 'Nelson Mandela', in Steven Casey and Jonathan Wright (eds.), *Mental Maps in the Era of Détente and the End of the Cold War, 1968–91*. Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan, 2015, 236–249.

Bearman, Peter S. and Kevin D. Everett. 'The Structure of Social Protest, 1961–1983', *Social Networks* 15 (1993), 171–200.

Beckett, Ian F. W. and John Pimlott, *Counter-Insurgency: Lessons from History*. Barnsley: Pen & Sword Military, 2011.

Bordo, Michael and Andrew Levin. 'Central Bank Digital Currency and the Future of Monetary Policy', working paper (May 2017).

Brinton, Christopher C., and Mung Chiang. *The Power of Networks: Six Principles That Connect Our Lives*. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2017.

Brzezinski, Zbigniew. *Between Two Ages: America's Role in the Technetronic Era*. New York: Penguin Books, 1970.

Бжезинский, Збигнев. *Между двумя веками: Роль Америки в эру технотроники*. М., 1972

Caldaray, Dario and Matteo Iacoviello. 'Measuring Geopolitical Risk', working paper, 7 September 2016.

Caldarelli, Guido and Michele Catanzaro. *Networks: A Very Short Introduction* (Oxford: Oxford University Press, 2012)

Castells, Manuel. *The Rise of the Network Society: The Information Age: Economy, Society, and Culture*, vol. I. Oxford: Oxford University Press, 2000.

Chanda, Nayan. *Bound Together: How Traders, Preachers, Adventurers, and Warriors Shaped Globalisation*. New Haven, CT, and London: Yale University Press, 2007.

Conway, Melvin. 'How Do Committees Invent?' *Datamation* (April 1968): <http://www.melconway.com/research/committees.html>

Cooper, Richard. *The Economics of Interdependence: Economic Policy in the Atlantic Community*. New York: Council on Foreign Relations, 1968.

Cross, J. P. 'A Face Like a Chicken's Backside': *An Unconventional Soldier in South East Asia, 1948–1971*. Stroud: History Press, 2015.

Dorussen, Han and Hugh Ward. 'Trade Networks and the Kantian Peace', *Journal of Peace Research*, 47, 1 (2010), 29–42.

Drobny, Steven. *Inside the House of Money: Top Hedge Fund Traders on Profiting in the Global Markets*. Hoboken, NJ: John Wiley &

Sons, Inc., 2006.

Eichengreen, Barry and Charles Wyplosz. 'The Unstable EMS', *Brookings Papers on Economic Activity*, 24, 1 (1993), 51–144.

Engdahl, William. 'The Secret Financial Network Behind "Wizard" George Soros', *Executive Intelligence Review*, 23, 44 (1 November 1996), 54–60.

Evangelista, Matthew. *Unarmed Forces: The Transnational Movement to End the Cold War*. Ithaca, NY, and London: Cornell University Press, 1999.

Ferguson, Niall. *High Financier: The Lives and Time of Siegmund Warburg*. London: Penguin Allen Lane, 2010.

Ferguson, Niall. 'Siegmund Warburg, the City of London and the Financial Roots of European Integration', *Business History*, 51, 3 (May 2009), 364–382.

Ferguson, Niall and Jonathan Schlefer. 'Who Broke the Bank of England?', Harvard Business School Case N9-709-026 (8 January 2009).

Forester, C. S. *The General*. London: Michael Joseph, 1936.

Goldsmith, Jack and Tim Wu. *Who Controls the Internet? Illusions of a Borderless World*. Oxford and New York: Oxford University Press, 2008.

Granville, Brigitte, Jaume Martorell Cruz and Martha Prevezer. 'Elites, Thickets and Institutions: French Resistance versus German Adaptation to Economic Change, 1945–2015', CGR working paper 63 (n.d.).

Grdesic, Marko. 'Television and Protest in East Germany's Revolution, 1989–1990: A Mixed-Methods Analysis', *Communist and post-Communist Studies*, 47 (2014), 93–103.

Gudmundsson, Bruce I. *Stormtroop Tactics: Innovation in the German Army, 1914–18*. Westport, CT: Praeger, 1995.

Gumede, William Mervin. *Thabo Mbeki and the Soul of the ANC*. Cape Town: Zebra Press, 2007.

Hafner-Burton, Emilie M. and Alexander H. Montgomery. 'Globalization and the Social Power Politics of International Economic Networks', in Miles Kahler (ed.), *Networked Politics: Agency, Power, and Governance*. Ithaca, NY, and London: Cornell University Press, 2009, 23–42.

Haim, Dotan A. 'Alliance Networks and Trade: The Effect of Indirect Political Alliances on Bilateral Trade Flows', working paper, University of California, San Diego (2015).

Hall, Wendy. 'The Ever Evolving Web: The Power of Networks', *International Journal of Communications*, 5 (2011), 651–664.

Hileman, Garrick and Michel Rauchs. 'Global Cryptocurrency Benchmarking Study'. Cambridge: Centre for Alternative Finance, 2017.

Jackson, Matthew O. and Stephen Nei. 'Networks of Military Alliances, Wars, and International Trade', *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 112, 50 (15 December 2015), 15277–15284.

Johnson, Christopher. 'The UK and the Exchange Rate Mechanism', in Christopher Johnson and Stefan Collignon (eds.), *The Monetary Economics of Europe: Causes of the EMS Crisis*. London: Pinter, 1994, 85–102.

Johnson, Dominic and Ferenc Jordan. 'The Web of War: A Network Analysis of the Spread of Civil Wars in Africa', *Annual Meeting of the Political Science Association*, 28, 02.09 (2007), 1–19.

Jones, Matthew. *Conflict and Confrontation in South East Asia, 1961–65*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

Kaufman, Michael T. *Soros: The Life and Times of a Messianic Billionaire*. New York: Alfred A. Knopf, 2002.

Kay, John. *Other People's Money: Masters of the Universe or Servants of the People*. London: Profile Books, 2016.

Keller, Franziska. '(Why) Do Revolutions Spread?' неопубликованная работа (2012).

Keohane, Robert and Joseph Nye. *Power and Interdependence: World Politics in Transition*. Boston, MA: Little, Brown, 1977.

Kerr, Ian M. *A History of the Eurobond Market*. London: Prentice-Hall, 1984.

Kilcullen, David. *Counterinsurgency*. London: C. Hurst & Co., 2010.

King, Gary, Jennifer Pan and Margaret E. Roberts. 'A Randomized Experimental Study of Censorship in China', working paper, 6 October 2013.

Klein, Naomi. *Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism*. London: Penguin Books, 2014.

Кляйн, Наоми. *Доктрина шока. расцвет капитализма катастроф*. М., 2009.

Lamont, Norman. *In Office*. London: Little, Brown, 1999.

Lamoreaux, Naomi R., Daniel M. G. Raff and Peter Temin. 'Beyond Markets and Hierarchies: Toward a New Synthesis of American Business History', NBER, working paper no. 9029 (July 2002), 1–63.

Landsberg, Christopher. *The Quiet Diplomacy of Liberation: International Politics and South Africa's Transition*. Johannesburg:

Jacana Media, 2004.

Levina, Olga and Robert Hillmann. 'Wars of the World: Evaluating the Global Conflict Structure during the Years 1816–2001 Using Social Network Analysis', *Social and Behavioral Sciences*, 100 (2013), 68–79.

Lupu, Yonatan and Vincent A. Traag. 'Trading Communities, the Networked Structure of International Relations, and the Kantian Peace', *Journal of Conflict Resolution*, 57, 6 (2013), 1011–1042.

Major, John. *The Autobiography*. London: HarperCollins, 1999.

Mallaby, Sebastian. *More Money Than God: Hedge Funds and the Making of a New Elite*. London: Bloomsbury, 2010.

Maoz, Zeev. 'Network Polarization, Network Interdependence, and International Conflict, 1816–2002', *Journal of Peace Research*, 43, 4 (2006), 391–411.

Marston, Daniel. 'Lost and Found in the Jungle: The Indian and British Army Jungle Warfare Doctrines for Burma, 1943–5, and the Malayan Emergency, 1948–60', in Hew Strachan (ed.), *Big Wars and Small Wars: The British Army and the Lessons of War in the 20th Century* (Abingdon and New York: Taylor & Francis e-Library, 2006), Kindle Edition, KL 2045–2786

Milward, Alan S. *The European Rescue of the Nation-State*, 2nd edn. London: Routledge, 2000.

Mumford, Andrew. *The Counter-Insurgency Myth: The British Experience of Irregular Warfare*. London and New York: Routledge, 2012.

Naughton, John. *From Gutenberg to Zuckerberg: What You Really Need to Know about the Internet*. London: Quercus, 2012.

Navidi, Sandra. *Superhubs: How the Financial Elite and their Networks Rule Our World*. Boston, MA, and London: Nicholas Brealey, 2016.

Newman, Mark. *Networks: An Introduction*. Oxford: Oxford University Press, 2010.

O'Hara, Glen. *From Dreams to Disillusionment: Economic and Social Planning in 1960s Britain*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007.

Osa, Maryjane. *Solidarity and Contention: Networks of Polish Opposition*. Minneapolis and London: University of Minnesota Press, 2003.

Pocock, Tom. *Fighting General: The Public and Private Campaigns of General Sir Walter Walker*. London: Thistle Publishing, 2013.

Powell, Walter W. 'Neither Market Nor Hierarchy: Network Forms of Organization', *Research in Organizational Behavior*, 12 (1990), 295–336.

Raymond, Eric S. *The Cathedral and the Bazaar: Musings on Linux and Open Source by an Accidental Revolutionary*. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2001

Rhodes, R. A. W. 'The New Governance: Governing without Government', *Political Studies*, 44 (1996), 652–667.

Rosentall, Paul. "'Confrontation": Countering Indonesian Insurgency, 1963–66', in Gregory Fremont-Barnes (ed.), *A History of Counterinsurgency*, vol. II: *From Cyprus to Afghanistan, 1955 to the 21st Century*. Santa Barbara and Denver: Praeger, 2015, 95–125.

Roxburgh, H. M. C. (ed.). *Strained to Breaking Point: A History of Britain's Relationship with Europe, 1945–2016*. Middlesex: CBY Publishing, 2016.

Sampson, Anthony. *Mandela: The Authorized Biography*. New York: Vintage Books, 2000.

Samuels, M. *Command or Control? Command, Training and Tactics in the British and German Armies, 1888–1918*. London: Routledge, 1995.

Sargent, Daniel J. *A Superpower Transformed: The Remaking of American Foreign Relations in the 1970s*. Oxford: Oxford University Press, 2015.

Schechter, Danny. *Madiba A to Z: The Many Faces of Nelson Mandela*. New York: Seven Stories Press, 2013.

Schenk, Catherine R. 'Sterling, International Monetary Reform and Britain's Applications to Join the European Economic Community in the 1960s', *Contemporary European History*, 11, 3 (2002), 345–369.

Schroeder, Paul W. 'Economic Integration and the European International System in the Era of World War I', *American Historical Review*, 98, 4 (Oct. 1993), 1130–1137.

Scott, James C. *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. New Haven, CT, and London: Yale University Press, 1998.

Simpson, Emile. *War from the Ground Up: Twenty-First-Century Combat as Politics*. London: Hurst, 2012.

Slater, Robert. *Soros: The World's Most Influential Investor*. New York: McGraw-Hill, 2009.

Слейтер, Роберт. *Джордж Сорос. Жизнь, идеи и сила величайшего инвестора в мире*. М., 2010.

Soros, George. 'Fallibility, Reflexivity, and the Human Uncertainty Principle', *Journal of Economic Methodology*, 20, 4 (2013), 309–329.

Soros, George. *George Soros on Globalization*. New York: Public Affairs, 2002.

Сорос, Джордж. *О глобализации*. М., 2004.

Soros, George. *The Theory of Reflexivity*, address to the MIT Department of Economics, 26 April 1994. New York: Soros Fund Management, 1994.

Soros, George, with Bryon Wien and Krisztina Koenon. *Soros on Soros: Staying Ahead of the Curve*. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1995.

Сорос, Джордж. *Сорос о Соросе. Оперезжая перемены*. М., 1996.

Soros, George and Gregor Peter Schmitz. *The Tragedy of the European Union: Disintegration or Revival?* New York: PublicAffairs, 2014.

Staar, Richard Felix. *Foreign Policies of the Soviet Union*. Stanford: Hoover Institution Press, 1991.

Stark, David and Balazs Vedres. 'The Social Times of Network Spaces: Sequence Analysis of Network Formation and Foreign Investment in Hungary, 1987–2001', *American Journal of Sociology* 111, 5 (2006), 1367–1411.

Stephens, Philip. *Politics and the Pound: The Conservatives' Struggle with Sterling*. London: Macmillan, 1996.

Stevenson, David. 'The First World War and European Integration', *International History Review*, 34, 4 (2012), 841–863.

Strachan, Hew. 'British Counter-Insurgency from Malaya to Iraq', *Royal United Services Institute Journal*, 152, 6 (2007), 8–11.

Stubbs, Richard. 'From Search and Destroy to Hearts and Minds: The Evolution of British Strategy in Malaya 1948–60', in Daniel Marston and Carter Malkasian (eds.), *Counterinsurgency in Modern Warfare*. Oxford and Long Island City, NY: Osprey Publishing, 2008, 101–119.

Taylor, Ian. *Stuck in Middle GEAR: South Africa's post-Apartheid Foreign Relations*. Westport, CT, and London: Praeger, 2001.

Thompson, Grahame F. *Between Hierarchies and Markets: The Logic and Limits of Network Forms of Organization*. Oxford: Oxford University Press, 2003.

Thompson, Grahame F., Jennifer Frances, Rosalind Levacic, and Jeremy Mitchell (eds.). *Markets, Hierarchies and Networks: The*

Coordination of Social Life. London and Thousand Oaks, CA: AGE Publications/The Open University, 1991.

Tuck, Christopher. 'Borneo 1963–66: Counter-insurgency Operations and War Termination', *Small Wars and Insurgencies*, 15, 3 (2004), 89–111.

Walker, General Sir Walter. 'How Borneo was Won', *The Round Table*, 59, 233 (1969), 9–20.

VIII. Вавилонская библиотека

Acemoglu, Daron, Simon Johnson, Amir Kermani, James Kwak and Todd Mitton. 'The Value of Connections in Turbulent Times: Evidence from the United States', *NBER*, working paper no. 19701 (December 2013).

Allen, Jonathan and Amie Parnes. *Shattered: Inside Hillary Clinton's Doomed Campaign*. New York: Crown/Archetype, 2017.

Ali, Ayaan Hirsi. *The Challenge of Dawa: Political Islam as an Ideology and How to Counter It*. Stanford: Hoover Institution Press, 2017.

Allcott, Hunt and Matthew Gentzkow. 'Social Media and Fake News in the 2016 Election', *NBER*, working paper no. 23089 (January 2017).

Army, Department of the. *Insurgencies and Countering Insurgencies*, FM 3–24/MCWP 3–33.5, 13 May 2014.

Army, Department of the. *The U. S. Army/Marine Corps Counterinsurgency Field Manual: U. S. Army Field Manual No. 3–24: Marine Corps Warfighting Publication No. 3–33.5*. Chicago: University of Chicago Press, 2007.

Autor, David H., David Dorn and Gordon H. Hanson. 'Untangling Trade and Technology: Evidence from Local Labour Markets', *Economic Journal*, 125 (May), 621–646.

Barbera, Salvador and Matthew O. Jackson. *A Model of Protests, Revolution, and Information*, working paper (February 2016).

Bell, Daniel. *The China Model: Political Meritocracy and the Limits of Democracy*. Princeton: Princeton University Press, 2015.

Berger, J. M. and Heather Perez. 'The Islamic State's Diminishing Returns on Twitter: How Suspensions are Limiting the Social Networks of English-Speaking ISIS Supporters', *Program on Extremism Occasional Paper*, George Washington University (February 2016).

Berger, J. M. and Jonathon Morgan. 'The ISIS Twitter Census: Defining and Describing the Population of ISIS Supporters on Twitter',

The Brookings Project on U. S. Relations with the Islamic World Analysis Paper no. 20 (March 2015).

Berman, Eli. *Radical, Religious, and Violent: The New Economics of Terrorism*. Cambridge MA, and London: MIT Press, 2009.

Bodine-Baron, Elizabeth, Todd C. Helmus, Madeline Magnuson and Zev Winkelman. *Examining ISIS Support and Opposition Networks on Twitter*. Santa Monica: Rand Corporation, 2016.

Bond, Robert M., Christopher J. Fariss, Jason J. Jones, Adam D. I. Kramer, Cameron Marlow, Jaime E. Settle and James H. Fowler. 'A 61-Million-Person Experiment in Social Influence and Political Mobilization', *Nature*, 489 (September 2012), 295–298.

Borges, Jorge Luis. 'The Library of Babel', in *Collected Fictions*, transl. Andrew Hurley. New York: Viking Penguin, 1998, 112–118.

Борхес, Хорхе Луис. Вавилонская библиотека // Фантастика века: Антология / Пер. В. Кулагиной-Ярцевой. М.; Минск, 1995.

Boxell, Levi, Matthew Gentzkow, Jesse M. Shapiro. 'Is the Internet Causing Political Polarization? Evidence from Demographics', *NBER*, working paper no. 23258 (March 2017).

Bricker, Jesse, Alice Henriques, Jacob Krimmel, John Sabelhaus. 'Measuring Income and Wealth at the Top Using Administrative and Survey Data', *Brookings Papers on Economic Activity Conference Draft*, 10–11 March 2016.

Brinton, Christopher C., and Mung Chiang. *The Power of Networks: Six Principles That Connect Our Lives*. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2017.

Byrne, Liam. *Black Flag Down: Counter-Extremism, Defeating ISIS and Winning the Battle of Ideas*. London: Biteback Publishing, 2016.

Campante, Filipe and David Yanagizawa-Drott. 'Long-Range Growth: Economic Development in the Global Network of Air Links', *NBER*, working paper no. 22653 (September 2016).

Case, Anne and Angus Deaton. 'Mortality and Morbidity in the 21st Century', *Brookings Papers on Economic Activity Conference Drafts*, 23–24 March 2017.

Case, Anne and Angus Deaton. 'Rising Morbidity and Mortality in Midlife among White Non-Hispanic Americans in the 21st Century', *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 17 September 2015.

Chetty, Raj, Nathaniel Hendren, Patrick Kline, Emmanuel Saez and Nicholas Turner. 'Is the United States Still a Land of Opportunity? Recent Trends in Intergenerational Mobility', *NBER*, working paper no. 19844 (January 2014).

Corlett, Adam. 'Examining an Elephant: Globalisation and the Lower Middle Class of the Rich World', *Resolution Foundation Report* (September 2016).

Crawford, Neta C. 'U. S. Costs of Wars through 2014: \$ 4.4 Trillion and Counting. Summary of Costs for the U. S. Wars in Iraq, Afghanistan and Pakistan', working paper 25 June 2014.

Davis, Gerald F., Mina Yoo and Wayne E. Baker. 'The Small World of the American Corporate Elite, 1982–2001', *Strategic Organization* 1, 3 (2003), 301–326.

Deloitte LLP. *There's No Place Like Phone: Consumer Usage Patterns in the Era of Peak Smartphone*, Global Mobile Consumer Survey 2016: UK Cut. London: Deloitte LLP, 2016.

DeMuth, Christopher. 'Can the Administrative State be Tamed?', *Journal of Legal Analysis*, 8, 1 (Spring 2016), 121–190.

Dobbs, Richard, Anu Madgavkar, James Manyika, Jonathan Woetzel, Jacques Bughin, Eric Labaye, Liesbeth Huisman and Pranav Kashyap. *Poorer Than Their Parents? Flat or Falling Incomes in Advanced Economies*. McKinsey Global Institute, July 2016.

Eilstrup-Sangiovanni, M. and Calvert Jones. 'Assessing the Dangers of Illicit Networks: Why al-Qaida May be Less Threatening Than Many Think', *International Security*, 33, 2 (2008), 7–44.

Elliott, Matthew, Benjamin Golub and Matthew O. Jackson. 'Financial Networks and Contagion', *American Economic Review*, 104, 10 (2014), 3115–3153.

Enders, Walter and Xuejuan Su. 'Rational Terrorists and Optimal Network Structure', *Journal of Conflict Resolution*, 51, 1 (February 2007), 33–57.

Ferguson, Niall. *The Ascent of Money: A Financial History of the World*. London: Penguin Books, 2008.

Фергюсон, Ниял. *Восхождение денег* / Пер. А. Коляндра, И. Файбисовича. М., 2013.

Ferguson, Niall. *The Great Degeneration: How Institutions Decay and Economies Die*. London: Penguin Books, 2013.

Фергюсон, Ниял. *Великое вырождение. Как разрушаются институты и гибнут государства* / Пер. И. Кригера. М., 2016.

Ferguson, Niall. *Kissinger*, vol. I: 1923–1968 – *The Idealist*. London and New York: Allen Lane/Penguin Press, 2015.

Financial Crisis Inquiry Commission, *The Financial Crisis Inquiry Report, Authorized Edition: Final Report of the National Commission on*

the Causes of the Financial and Economic Crisis in the United States. New York: PublicAffairs, 2011.

Fisher, Ali. 'Swarmcast: How Jihadist Networks Maintain a Persistent Online Presence', *Perspectives on Terrorism*, 9, 3 (June 2015): <http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/426>

Frampton, Martyn, David Goodhart and Khalid Mahmood. *Unsettled Belonging: A Survey of Britain's Muslim Communities*. London: Policy Exchange, 2016.

Funke, Manuel, Moritz Schularick and Christoph Trebesch. 'Going to Extremes: Politics after Financial Crises, 1870–2014', *European Economic Review*, 88 (2016), 227–260.

Gagnon, Julien and Sanjeev Goyal. 'Networks, Markets, and Inequality', *American Economic Review*, 107, 1 (2017), 1–30.

García Martínez, Antonio. *Chaos Monkeys: Inside the Silicon Valley Money Machine*. London: Ebury Press, 2016.

Glennon, Michael J. 'National Security and Double Government', *Harvard National Security Journal*, 5, 1 (2014), 1–114.

Goodhart, David. *The Road to Somewhere: The Populist Revolt and the Future of Politics*. Oxford: Oxford University Press, 2017.

Habeck, Mary, with James Jay Carafano, Thomas Donnelly, Bruce Hoffman, Seth Jones, Frederick W. Kagan, Kimberly Kagan, Thomas Mahnken and Katherine Zimmerman, *A Global Strategy for Combating Al-Qaeda and the Islamic State*. Washington, DC: American Enterprise Institute, 2015.

Haldane, Andrew G. 'A Little More Conversation, a Little Less Action', speech given at the Federal Reserve Bank of San Francisco Macroeconomics and Monetary Policy Conference, 31 March 2017.

Hellebrandt, Tomas and Paolo Mauro. 'The Future of Worldwide Income Distribution', Peterson Institute for International Economics Working Paper 15–7 (April 2015).

Hill, Alison L. et al. 'Emotions as Infectious Diseases in a Large Social Network: the SISa Model', *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences* (2010), 1–9.

Howard, Philip K. *Life Without Lawyers: Liberating Americans from Too Much Law*. New York: W. W. Norton, 2009.

Howard, Philip K. *The Rule of Nobody: Saving America from Dead Laws and Broken Government*. New York: W. W. Norton, 2015.

Inglehart, Ronald F. and Pippa Norris. 'Trump, Brexit, and the Rise of Populism: Economic Have-Nots and Cultural Backlash', Harvard Kennedy School Working Paper RWP16–026 (August 2016).

Keller, Franziska Barbara. 'Moving Beyond Factions: Using Social Network Analysis to Uncover Patronage Networks among Chinese Elites', working paper, n.d.

Keller, Franziska Barbara. 'Networks of Power: Using Social Network Analysis to Understand Who Will Rule and Who is Really in Charge in the Chinese Communist Party', working paper (November 2015).

Khosrokhavar, Farhad. *L'Islam dans les prisons*. Paris: Balland, 2004.

Kirkpatrick, David. *The Facebook Effect: And How It is Changing Our Lives*. London: Virgin, 2010.

Krebs, Valdis. 'Mapping Networks of Terrorist Cells', *Connections*, 24, 3 (2002), 43–52.

Laurence, Jonathan, and Justin Vaisse. *Integrating Islam: Political and Religious Challenges in Contemporary France*. Washington, DC: Brookings Institution Press, 2006.

McChrystal, Stanley. *My Share of the Task*. New York: Penguin Books, 2013.

MacGill, V. 'Acephalous Groups and the Dynamics from a Complex Systems Perspective', *Proceedings of the 56th Annual Meeting of the ISSS – 2012*. San Jose, CA, 2013, 1–20.

McLaughlin, Patrick A. and Robert Greene. 'Dodd— Frank's Regulatory Surge: Quantifying Its Regulatory Restrictions and Improving Its Economic Analyses', *Mercatus on Policy* (February 2014).

McLaughlin, Patrick A. and Oliver Sherouse. *The Impact of Federal Regulation on the 50 States*. Arlington, VA: Mercatus Center, George Washington University, 2016.

Marion, R. and M. Uhl-Bien. 'Complexity Theory and Al-Qaeda: Examining Complex Leadership', *Emergence: A Journal of Complexity Issues in Organizations and Management*, 5 (2003), 56–78.

Mayer, Christopher and Todd Sinai. 'Network Effects, Congestion Externalities, and Air Traffic Delays: Or Why All Delays are Not Evil', NBER Working Paper no. 8701 (January 2002).

Milanovic, Branko and Christoph Lakner. 'Global Income Distribution: From the Fall of the Berlin Wall to the Great Recession', *World Bank Policy Research Working Paper* (December 2013).

Minor, T. 'Attacking the Nodes of Terrorist Networks', *Global Security Studies*, 3, 2 (2012), 1–12.

Morozov, Evgeny V. *The Net Delusion: How Not to Liberate the World*. London: Allen Lane, 2011.

Морозов, Евгений. *Интернет как иллюзия. Обратная сторона сему* / Пер. И. Кригера. М., 2014.

Morselli, Carlo, Cynthia Giguère and Katia Petit. 'The Efficiency/Security Trade-Off in Criminal Networks', *Social Networks*, 29, 1 (January 2007), 143–153.

Murray, Charles. *Coming Apart: The State of White America, 1960–2010*. New York: Crown Forum, 2012.

Nagl, John A. *Learning to Eat Soup with a Knife: Counterinsurgency Lessons from Malaya and Vietnam*. Chicago: University of Chicago Press, 2002.

Neely, Christopher J. 'The Federal Reserve Responds to Crises: September 11th was Not the First', *Federal Reserve Bank of St. Louis Review*, 86, 2 (March/April 2004), 27–42.

Oliver, Kathryn. 'Covert Networks, Structures, Process, and Types', *Mitchell Centre Working Paper*, 25 June 2014.

Oxfam. 'An Economy for the 1 %: How Privilege and Power in the Economy Drive Extreme Inequality and How This Can be Stopped', 210 *Oxfam Briefing Paper*, 18 January 2016.

Paik, Anthony and Kenneth Sanchargin. 'Social Isolation in America: An Artifact', *American Sociological Review*, 78, 3 (2013), 339–360.

Pentland, Alex. *Social Physics: How Good Ideas Spread – The Lessons from a New Science*. Melbourne and London: Scribe, 2014.

Pew Research Center Forum on Religion & Public Life. *The Future Global Muslim Population: Projections for 2010–2030*. Washington, DC: Pew Research Center, 2011.

Pew Research Center Forum on Religion & Public Life. *The World's Muslims: Religion, Politics and Society*. Washington, DC: Pew Research Center, 2013.

Piketty, Thomas and Emmanuel Saez. 'Income Inequality in the United States, 1913–1998', *Quarterly Journal of Economics*, 118, 1 (February 2003), 1–39.

Raymond, Eric S. *The Cathedral and the Bazaar: Musings on Linux and Open Source by an Accidental Revolutionary*. Beijing and Cambridge: O'Reilly Media, 1999.

Sageman, Marc. *Understanding Terror Networks*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2004.

Sala-i-Martin, Xavier and Maxim Pinkovskiy. 'Parametric Estimations of the World Distribution of Income (1970–2006)', *NBER Working Paper* no. 15433 (2010).

Schmidt, Eric and Jared Cohen. 'The Digital Disruption: Connectivity and the Diffusion of Power', *Foreign Affairs*, 1 November 2010, 75–85.

Scott, Hal. *Connectedness and Contagion: Protecting the Financial System from Panics*. Cambridge, MA: MIT Press, 2016.

Shirky, Clay. 'The Political Power of Social Media: Technology, the Public Sphere, and Political Change', *Foreign Affairs*, 90 (2011) 1–12.

Simcox, Robin. *Al-Qaeda's Global Footprint: An Assessment of al-Qaeda's Strength Today*. London: Henry Jackson Society, 2013.

Simpson, Emile. *War from the Ground Up: Twenty-First-Century Combat as Politics*. Oxford: Oxford University Press, 2012.

Sookhdeo, Patrick. *Dawa: The Islamic Strategy for Reshaping the Modern World*. McLean, VA: Isaac Publishing, 2014.

Spar, Debora L. *Ruling the Waves: Cycles of Discovery, Chaos, and Wealth from the Compass to the Internet*. Orlando, FL: Harcourt, 2003.

Staniland, Paul. *Networks of Rebellion: Explaining Insurgent Cohesion and Collapse*. Ithaca, NY, and London: Cornell University Press, 2014.

Stuart, Hannah. *Islamist Terrorism: Analysis of Offences and Attacks in the UK (1998–2015)*. London: Henry Jackson Society, 2017.

Stuart, Hannah. *Islamist Terrorism: Key Findings and Analysis*. London: Henry Jackson Society, 2017.

Sutton, Rupert. 'Myths and Misunderstandings: Understanding Opposition to the Prevent Strategy', Henry Jackson Society Centre for the Response to Radicalisation and Terrorism, Policy Paper no. 7 (2016).

Tomlin, Ian. *Cloud Coffee House: The Birth of Cloud Social Networking and Death of the Old World Corporation*. Cirencester: Management Books, 2009.

Ugander, Johan, Lars Backstrom, Cameron Marlow and Jon Kleinberg. 'Structural Diversity in Social Contagion', *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 109, 16 (17 April 2012), 5962–5966.

United States Government Accountability Office. 'Financial Crisis Losses and Potential Impacts of the Dodd-Frank Act', GAO-13–180 (January 2013).

Watts, Duncan. *Six Degrees: The Science of a Connected Age*. London: Vintage, 2004.

White, Adam J., Oren Cass and Kevin R. Kosar (eds.). *Unleashing Opportunity*, vol. II: *Policy Reforms for an Accountable Administrative State*. Washington, DC: National Affairs, 2017.

Wood, Graeme. *The Way of the Strangers: Encounters with the Islamic State*. London: Allen Lane, 2017.

World Bank Group. *Digital Dividends*. Washington, DC: International Bank for Reconstruction and Development/World Bank, 2016.

Wu, Tim. *The Master Switch: The Rise and Fall of Information Empires*. New York and London: Alfred A. Knopf/Atlantic, 2010.

Youyou, Wu, H. Andrew Schwartz, David Stillwell and Michal Kosinski. 'Birds of a Feather Do Flock Together: Behavior-Based Personality-Assessment Method Reveals Personality Similarity among Couples and Friends', *Psychological Science* (2017), 1–9.

Zimmerman, Katherine. *The Al-Qaeda Network: A New Framework for Defining the Enemy*. Washington, DC: American Enterprise Institute, 2013.

IX. Заключение: когда угрожает КиберСибирь

Acemoglu, Daron and Pascual Restrepo. 'Robots and Jobs: Evidence from US Labor Markets', NBER Working Paper no. 23285 (March 2017).

Allison, Graham. *Destined for War: America, China, and Thucydides's Trap*. Boston, MA, and New York: Houghton Mifflin Harcourt, 2017.

Аллисон, Грэхам. *Обречены воевать* / Пер. В. Желнинова. М., 2019.

Arbesman, Samuel. *Overcomplicated: Technology at the Limits of Comprehension*. New York: Current, 2016.

Bostrom, Nicholas. *Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies*. Oxford: Oxford University Press, 2014.

Brynjolfsson, Erik and Andrew McAfee. *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. New York: W. W. Norton, 2014.

Caplan, B. (2006), 'The Totalitarian Threat', in N. Bostrom and M. M. Cirkovic (eds.), *Global Catastrophic Risks*. Oxford: Oxford University Press, 2008, 504–518.

Cirillo, Pasquale and Nassim Nicholas Taleb, 'On the Statistical Properties and Tail Risk of Violent Conflicts', *Tail Risk Working Papers*, 19 October 2015.

Clarke, Richard A. and R. P. Eddy. *Warnings: Finding Cassandras to Stop Catastrophes*. New York: HarperCollins, 2017.

Dertouzos, Michael. *What Will Be: How the New World of Information Will Change Our Lives*. New York: HarperEdge, 1997.

Goldin, Ian and Chris Kutarna. *Age of Discovery: Navigating the Risks and Rewards of Our New Renaissance*. New York: St. Martin's Press, 2016.

Голдин, Йен, Кутарна, Крис. *Эпоха открытий. Возможности и угрозы второго Ренессанса* / Пер. В. Степановой. М., 2017.

- Gordon, Robert J. *The Rise and Fall of American Growth: The U. S. Standard of Living since the Civil War*. Princeton: Princeton University Press, 2016.
- Hayles, N. Katherine. 'Unfinished Work: From Cyborg to Cognisphere', *Theory Culture Society* 23, 159 (2006), 159–166.
- Heylighen, Francis and Johan Bollen. 'The World-Wide Web as a Super-Brain: From Metaphor to Model', in R. Trappl (ed.), *Cybernetics and Systems '96*. Vienna: Austrian Society for Cybernetics, 1996, 917–922.
- Keller, Franziska Barbara. 'Moving Beyond Factions: Using Social Network Analysis to Uncover Patronage Networks among Chinese Elites,' working paper, n.d.
- Keller, Franziska Barbara. 'Networks of Power: Using Social Network Analysis to Understand Who Will Rule and Who is Really in Charge in the Chinese Communist Party', working paper (November 2015).
- Kirby, William C., Joycelyn W. Eby, Shuang L. Frost and Adam K. Frost. 'Uber in China: Driving in the Grey Zone', *Harvard Business School*, Case 9-316-135, 2 May 2016.
- Kissinger, Henry. *World Order*. London and New York: Allen Lane/Penguin Press, 2014.
- Li, Cheng. *Chinese Politics in the Xi Jinping Era: Reassessing Collective Leadership*. Washington, DC: Brookings Institution, 2016.
- Lin, Li-Wen and Curtis J. Milhaupt. 'Bonded to the State: A Network Perspective on China's Corporate Debt Market', working paper (2016).
- McKinsey Global Institute. *Playing to Win: The New Global Competition for Corporate Profits*. San Francisco: McKinsey & Co., 2015.
- Maier, Charles S. *Leviathan 2.0: Inventing Modern Statehood*. Cambridge, MA: Belknap Press, 2014.
- Nye, Joseph. 'Deterrence and Dissuasion in Cyberspace', *International Security*, 41, 3 (Winter 2016/17), 44–71.
- Pinker, Steven. *The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined*. New York: Viking, 2011.
- Schiedel, Walter. *The Great Leveler: Violence and the History of Inequality from the Stone Age to the Twenty-First Century*. Princeton: Princeton University Press, 2017.
- Schwab, Klaus. *The Fourth Industrial Revolution* (Cologne and Geneva: World Economic Forum, 2016).

Scott, James C. *Two Cheers for Anarchism: Six Easy Pieces on Autonomy, Dignity, and Meaningful Work and Play*. Princeton and Oxford: Princeton University Press.

Slaughter, Anne-Marie. *The Chessboard and the Web: Strategies of Connection in a Networked World: The 2016 Henry L. Stimson Lectures*. New Haven, CT: Yale University Press, 2017.

Snyder, Timothy. *On Tyranny: Twenty Lessons from the Twentieth Century*. New York: Tim Duggan Books, 2017.

Spier, F. *Big History and the Future of Humanity*. Malden, MA, and Oxford: Wiley- Blackwell, 2011.

Steinhoff, Judith B. 'Urban Images and Civic Identity in Medieval Sienese Painting', in Timothy B. Smith and Judith B. Steinhoff (eds.), *Art as Politics in Late Medieval and Renaissance Siena*. Farnham, Surrey, and Burlington, VT: Ashgate, 2012, 15–38.

Thiel, Peter with Blake Masters. *Zero to One: Notes on Startups, or How to Build the Future*. New York: Crown Business, 2014.

Turchin, Peter. *Ages of Discord: A Structural-Demographic Analysis of American History*. Chaplin, CT: Beresta Books, 2016.

Wright, Robert. *Nonzero: The Logic of Human Destiny*. New York: Vintage, 2001.

**Приложение. Книги, использованные для анализа сетей
Никсона – Форда**

Agnew, Spiro T. *Go Quietly... Or Else*. New York: Morrow, 1980.

Bush, George H. W. *Looking Forward: An Autobiography*. Garden City, NY: Doubleday, 1987.

Bush, George H. W. and Brent Scowcroft. *A World Transformed*. Garden City, NY: Alfred A. Knopf, 1998.

Cheney, Dick. *In My Time: A Personal and Political Memoir*. New York: Simon & Schuster, 2011.

Colby, William E. *Honorable Men: My Life in the CIA*. New York: Simon & Schuster, 1978.

Coleman, William T. with Donald T. Bliss. *Counsel for the Situation: Shaping the Law to Realize America's Promise*. Washington, DC: Brookings Institution, 2010.

Colson, Charles W. *Born Again*. Old Tappan, NJ: Chosen Books, 1976.

Connally, John B. *In History's Shadow: An American Odyssey*. New York: Hyperion, 1993.

Dean, John W., III. *Blind Ambition: The White House Years*. New York: Simon & Schuster, 1976.

Dent, Harry S. *The Prodigal South Returns to Power*. New York: John Wiley & Sons, 1978.

Ehrlichman, John D. *Witness to Power: The Nixon Years*. New York: Simon & Schuster, 1982.

Ford, Gerald R. *A Time to Heal: The Autobiography of Gerald R. Ford*. London: W. H. Allen, 1979.

Garment, Leonard. *Crazy Rhythm: My Journey from Brooklyn, Jazz, and Wall Street to Nixon, Watergate, and Beyond*. New York: Times Books, 1997.

Gergen, David R. *Eyewitness to Power: The Essence of Leadership, Nixon to Clinton*. New York: Touchstone, 2000.

Gulley, Bill and Mary Ellen Reese. *Breaking Cover*. New York: Simon & Schuster, 1980.

Haig, Alexander M., Jr. *Inner Circles: How America Changed the World: A Memoir*. New York: Warner Books, 1992.

Haldeman, H. R. *The Haldeman Diaries: Inside the Nixon White House*. New York: G. P. Putnam's, 1994.

Hartmann, Robert T. *Palace Politics: An Inside Account of the Ford Years*. London: McGraw Hill, 1980.

Helms, Richard M. *A Look Over My Shoulder: A Life in the Central Intelligence Agency*. New York: Presidio Press, 2004.

Hill, Clint and Lisa McCubbin. *Five Presidents: My Extraordinary Journey with Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, and Ford*. New York: Gallery Books, 2017.

Kissinger, Henry A. *White House Years*. Boston: Little, Brown, 1979.

Kissinger, Henry A. *Years of Renewal*. New York: Simon & Schuster, 1999

Kissinger, Henry A. *Years of Upheaval*. Boston: Little, Brown, 1982.

Klein, Herbert G. *Making It Perfectly Clear*. Garden City, NY: Doubleday, 1980.

Kleindienst, Richard G. *Justice: The Memoirs of Attorney General Richard G. Kleindienst*. Ottawa, IL: Jameson Books, 1985.

Larzelere, Alex. *Witness to History: White House Diary of a Military Aide to President Richard Nixon*. Bloomington, IN: AuthorHouse, 2009.

Liddy, G. Gordon. *Will: The Autobiography of G. Gordon Liddy*. New York: St. Martin's Press, 1995.

Lungren, John C., *Healing Richard Nixon: A Doctor's Memoirs*. Lexington, KY: University Press of Kentucky, 2003.

Magruder, Jeb Stuart. *An American Life: One Man's Road to Watergate*. New York: Atheneum, 1974.

Mollenhoff, Clark. *Game Plan for Disaster: An Ombudsman's Report on the Nixon Years*. New York: Norton, 1976.

Moynihan, Daniel P. *A Dangerous Place*. New York: Little Brown & Company, 1978.

Moynihan, Daniel P. *A Portrait in Letters of an American Visionary*. New York: PublicAffairs, 2010.

Nessen, Ron H. *It Sure Looks Different from the Inside*. New York: Playboy Paperbacks, 1979.

Nixon, Richard M. *RN: The Memoirs of Richard Nixon*. New York: Simon & Schuster, 1990.

Peterson, Peter G. *The Education of an American Dreamer: How a Son of Greek Immigrants Learned His Way from a Nebraska Diner to Washington, Wall Street, and Beyond*. New York: Grand Central Publishing, 2009.

Price, Raymond Kissam. *With Nixon*. New York: Viking, 1977.

Richardson, Elliot L. *The Creative Balance: Government, Politics, and the Individual in America's Third Century*. New York: Holt, Rinehart, 1976.

Richardson, Elliot L. *Reflections of a Radical Moderate*. Boulder, CO: Westview Press, 2000.

Rumsfeld, Donald H. *Known and Unknown: A Memoir*. London: Penguin Books, 2011.

Safire, William. *Before the Fall: An Inside View of the pre-Watergate White House*. New Brunswick, NJ, and London: Transaction Publishers, 2005.

Saxbe, William B. *I've Seen the Elephant: An Autobiography*. Kent, OH: Kent State University Press, 2000.

Seaborg, Glenn T. with Benjamin S. Loeb. *The Atomic Energy Commission under Nixon: Adjusting to Troubled Times*. London: Palgrave Macmillan, 1993.

Schlesinger, James R. *America at Century's End*. New York: Columbia University Press, 1989.

Shultz, George P. *Economic Policy beyond the Headlines*. Stanford, CA: Stanford Alumni Association, 1977.

Shultz, George P. *Learning from Experience*. Stanford, CA: Hoover Institution Press, 2016.

Simon, William E. *A Time for Action*. New York: Berkley Publishing Group, 1980.

Simon, William E. *A Time for Truth*. New York: Reader's Digest Press, 1978.

Stans, Maurice H. *One of the Presidents' Men: Twenty Years with Eisenhower and Nixon*. Washington, DC: Brassey's Inc, 1995.

Ulasewicz, Tony. *The President's Private Eye: The Journey of Detective Tony U. from NYPD to the Nixon White House*. Westport, CT: MACSAM Publishing, 1990.

Usery, William J., Jr. *Laboring for America: Memoirs of Bill Usery*. Macon, GA: Stroud & Hall Publishers, 2015.

Walters, Vernon A. *Silent Missions*. Garden City, NY: Doubleday, 1978.

Weinberger, Caspar W. *In the Arena: A Memoir of the Twentieth Century*. Washington, DC: Regnery Publishers, 2001.

Yost, Charles W. *History and Memory: A Statesman's Perceptions of the Twentieth Century*. New York: W. W. Norton & Company, 1980.

Zumwalt, Elmo R., Jr. *On Watch: A Memoir*. New York: Quadrangle, 1976.

Список иллюстраций

1 “Заговор с целью обрести мировое господство”. (Источник: <http://illuminutti.com/2012/04/16/finally-mapped-conspiracy-to-rule-the-world/>)

2 Частичная пищевая сеть Шотландского шельфа в северо-западной части Атлантического океана. (Из: D. M. Lavigne, ‘Ecological Interactions between Marine Mammals, Commercial Fisheries, and Their Prey: Unravelling the Tangled Web’, in *Studies of High-Latitude Seabirds, 4: Trophic Relationships and Energetics of Endotherms in Cold Ocean Systems*, ed. W. A. Montevecchi, Occasional Paper 91, pp. 59–71 (Canadian Wildlife Service, Ottawa, Canada, 1996). Воспроизводится с разрешения доктора Дэвида М. Лавиня.

3 Составленная Google N-грамма встречаемости слов *network* и *hierarchy* в публикациях на английском языке с 1800 по 2000 год. (Воспроизводится с разрешения *The Google Ngram Viewer Team, part of Google Research*, <http://books.google.com/ngrams>)

4 Иллюстрация № 1 Эйлера из его книги *Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis* [лат. “Решение задачи, связанной с геометрией положения”] (1741).

5 Упрощенная схема Эйлеровой задачи о кенигсбергских мостах.

6 Фундаментальные понятия теории сетей.

7 Простая (но трагическая) сеть: “Гамлет” Шекспира. (Из: Franco Moretti, ‘Network Theory, Plot Analysis’, *Literary Lab*, Pamphlet 2, 1 May 2011.)

8 Разновидности сетей. (Из: Ricard V. Solé and Sergi Valverde, ‘Information Theory of Complex Networks: On Evolution and Architectural Constraints’, *Lecture Notes in Physics*, 650 (2004), p. 192. Воспроизводится с разрешения *Springer*.)

9 Иерархия: особый вид сети.

1 °Сеть Медичи. (Из: John F. Padgett and C. K. Ansell, ‘Robust Action and the Rise of the Medici 1400–1434’, *American Journal of Sociology*, 98, 6 (1993), илл. 2а. Воспроизводится с разрешения *The University of Chicago Press*.)

11 Сеть “завоевания”: межнациональные браки между конкистадорами и женщинами из знатных ацтекских и инкских семей. (By Alvy Ray Smith, from Charles C. Mann, 1493: Uncovering the New World Columbus Created, Knopf, 2011. Воспроизводится с разрешения)

12 Сеть английских протестантов непосредственно до и после казни Джона Брэдфорда. (Из: Ruth Ahnert and Sebastian E. Ahnert, 'Protestant Letter Networks in the Reign of Mary I: A Quantitative Approach', *ELH*, 82, 1 (Spring 2015), p. 27, Figures 7 and 8. Copyright © 2015 The Johns Hopkins University Press. Воспроизводится с разрешения *The Johns Hopkins University Press*.)

13 Торговая сеть британской Ост-Индской компании, 1620–1824 годы. (Из: Emily Erikson, *Between Monopoly and Free Trade: The English East India Company, 1600–1757* (Princeton University Press, 2014), p. 114. Воспроизводится с разрешения *Princeton University Press*.)

14 “Сеть корреспондентов Вольтера”. (Из: <http://republicofletters.stanford.edu/casestudies/voltaire.html>. Воспроизводится с разрешения *Republic of Letters*.)

15 “Пародия на «Афинскую школу» Рафаэля”, гравюра Джеймса Скотта по картине сэра Джошуа Рейнольдса (1751).

16 Революционная сеть в Бостоне, около 1775 г. (Из: Shin-Kap Han, 'The Other Ride of Paul Revere', *Mobilization*, 14, 2 (2009).)

17 Саксен-Кобург-Готская династия.

18 Джеймс Уотт, Мэтью Боултон и социальная сеть, имевшая отношение к технологии паровых машин, ок. 1700–1800 гг. (Из: Francis C. Moon, *Social Networks in the History of Innovation and Invention*, Springer, 2014), KL 492–4. Воспроизводится с разрешения *Springer*.)

19 Сети научной практики XIX века. (Из: P. J. Taylor, M. Hoyler and D. M. Evans, 'A Geohistorical Study of “the Rise of Modern Science”: Mapping Scientific Practice through Urban Networks, 1500–1900', *Minerva* 46, no. 4 (2008), pp. 391–410. Воспроизводится с разрешения *Springer*.)

20 “Английский осьминог: питается одним только золотом!” Антиротшильдовская карикатура, 1894 г. (Из: W. H. Harvey, *Coin's Financial School* (1894).)

21 Миф о сети лорда Милнера.

22 Группа Блумсбери, ок. 1925 г. (Из: Peter Dolton, 'Identifying Social Network Effects', *Economic Record*, 93, Supplement S1 (June 2017), илл. 2. Воспроизводится с разрешения Экономического общества Австралии.)

23 Эволюция важных изменений в отношениях между странами – будущими участницами Первой мировой войны, 1872–1907 гг. (Из: Tibor Antal, Paul Krapivsky and Sidney Redner, 'Social Balance on

Networks: The Dynamics of Friendship and Enmity, *Physica D*, 224, 130 (2006), илл. 10. Воспроизводится с разрешения *Elsevier Science Limited*.)

24 *Die Ausgesaugten* (“Жертвы эксплуатации”).

25 Одни в Берлине: Отто Хампель и его жена Элиза.

26 Организация советской науки при Сталине. (Из: Blair A. Ruble, *Leningrad: Shaping a Soviet City* (University of California Press, 1990), p. 130. Воспроизводится с разрешения.)

27 “Организационный этюд” Альфреда Слоуна, отображающий структуру *General Motors* (1921).

28 Генерал сэр Уолтер Уокер. (Copyright © *National Portrait Gallery, London*)

29 Уильям Филлипс. (Courtesy *LSE Library*)

30 Личная сеть Ричарда Никсона.

31 Личная сеть Генри Киссинджера.

32 Личная сеть администраций Никсона и Форда.

33 Ориентированная сеть администраций Никсона и Форда.

34 Проект сети Arpanet, 1969 г.

35 Сети польской оппозиции, 1980–1981 гг. (Из: Maryjane Osa, *Solidarity and Contention: Networks of Polish Opposition* (University of Minnesota Press, 2003), copyright © 2003 by the Regents of the University of Minnesota. Воспроизводится с разрешения *University of Minnesota Press*.)

36 Нельсон Мандела и Клаус Шваб в Давосе в январе 1992 г. (Copyright © *World Economic Forum*.)

37 Всемирная салафитская сеть, ок. 2004. (Из: Marc Sageman, *Understanding Terror Networks* (University of Pennsylvania Press, 2004), copyright © 2004 by the University of Pennsylvania Press. Воспроизводится с разрешения *University of Pennsylvania Press*.)

38 Сетевые повстанческие движения: схема из армейского руководства по противоповстанческой борьбе (2014). (US Army, *Insurgencies and Countering Insurgencies*, илл. 4–3.)

39 Схемы связности сетевых узлов в международной финансовой системе, из презентации Эндрю Халдейна 2011 года. Воспроизводится с разрешения Эндрю Халдейна/Банка Англии.)

40 Использование мобильных телефонов и социальных сетей в Китае, США и Египте, 2010 г. (Источник: *Pew Research Center*.)

41 Сеть “Аль-Каиды” глазами американцев, ок. 2012 г. (Из: Mary Habeck et al., *A Global Strategy for Combating Al-Qaeda and the*

Islamic State (American Enterprise Institute, 2015). Воспроизводится с разрешения *American Enterprise Institute*.)

42 Опубликованный *WikiLeaks* секретный слайд с описанием PRISM – программы надзора Агентства национальной безопасности.

43 Крах сайта *HealthCare.gov* в 2013 году.

44 66 “самых важных джихадистских и поддерживающих джихад и моджахедов страниц в Twitter”, рекомендованных блогером-джихадистом Ахмадом Абдаллой в феврале 2013 г. (Источник: <http://wandrenpd.com/Graphs/66jihadi/Graph.html>)

45 Подписчики в соцсетях главных кандидатов на президентских выборах в 2008 и 2016 годах.

46 Предвыборная кампания Клинтон в 2016 г.: провальная иерархическая структура. (График составлен Питером Беллом. Воспроизводится с разрешения *National Journal*.)

47 Социальная сеть Дональда Трампа в интернете, 2016 год (Источник: www.buzzfeed.com/charliewarzel/trumps-information-universe. Воспроизводится с разрешения.)

48 Стоимость и объем производства книг и персональных компьютеров, 1490-е – 1630-е и 1977–2004 гг., соответственно. (Из: Jeremiah E. Dittmar, ‘Information Technology and Economic Change: The Impact of the Printing Press’, *Quarterly Journal of Economics*, 126, 3 (2011), pp. 1133–72. Воспроизводится с разрешения *Oxford University Press Ltd.*)

49 Сатирические графики сетей главных американских технологических компаний. (Источник: *Manu Cornet*, www.bonkersworld.net. Воспроизводится с разрешения.)

50 Сеть членов ЦК компартии Китая. (Из: Franziska Barbara Keller, ‘Moving Beyond Factions: Using Social Network Analysis to Uncover Patronage Networks Among Chinese Elites’ (рабочий доклад, без даты), илл. 6. Воспроизводится с разрешения.)

51 Амброджо Лоренцетти, фреска “Аллегория доброго и дурного правления”, 1338–1339 гг., (Палаццо Публико, Сиена/*De Agostini Picture Library/G. Dagli Orti/Bridgeman Images*.)

Список иллюстраций во вклейке

1 “Страшный суд” (мозаика), итальянская школа, XI век, Санта-Мария-Ассунта, Торчелло, Венеция. (*Mondadori Portfolio/Archivio Magliani/Mauro Magliani & Barbara Piovan/Bridgeman Images.*)

2 “Социограмма” Якоба Морено.

3 Сеть дружеских связей в средней школе высшей степени, из Национального многолетнего исследования здоровья населения с юности до зрелости.

4 Федеральное правительство США как иерархия, 1862 год.

5 Федеральное правительство США как иерархия, около 2010 года (Воспроизводится с разрешения *NetAge, Inc.*)

6 Пьяцца дель Кампо в Сиене. (*Martin Thomas Photography/Alamy Stock Photo.*)

7 Планисфера Кантино (1502).

8 Варфоломеевская ночь (массовое убийство протестантов-гугенотов), Париж, 1572.

9 Герард Терборх, “Социограмма Утверждение Мюнстерского договора 15 мая 1648 года”.

10 37 062 европейских городов и населенных пунктов, нанесенных на карту на основе данных о рождении и смерти 120 211 известных людей, начиная с 1069 года до н. э. до 2012 года н. э. (Из: Maximilian Schich et al., ‘A Network Framework of Cultural History’, *Science*, 345, 6196 (2014), pp. 558–562, *copyright* © 2014 by the American Association for the Advancement of Science. Воспроизводится с разрешения Американской ассоциации содействия развитию науки.)

11 Сеть XVIII века. (Из: Emma Rothschild, *The Inner Life of Empires* (Princeton University Press, 2011), *copyright* © 2011 by Princeton University Press. Воспроизводится с разрешения Princeton University Press.)

12 “Джордж Вашингтон как масон” (литография), американская школа, XIX век. (Частная коллекция/*Bridgeman Images.*)

13 *Le Gateau des Rois* (фр. “Пирог волхвов”) (гравюра, раскрашенная от руки), французская школа, XIX век. (Частная коллекция/*The Stapleton Collection/Bridgeman Images.*)

14 Ангулем (с разрешения Эммы Ротшильд).

15 Сеть телеграфной компании *The Eastern Telegraph Co.*, 1894 год (*Copyright* © *The Porthcurno Collections Trust*, с любезного

разрешения Музея телеграфа в Порткурно.)

16 “Антикитайская стена”, карикатура Фридриха Граца, из журнала *Puck* (1882)

17 “Европа в 1914 году”: немецкая сатирическая карта. (*bpk-Bildagentur/Art Resource, NY.*)

18 Первое издание романа “Зеленый плащ” Джона Бакена.

19 Сталин как кормчий. (*Universal History Archive/UiG/Bridgeman Images.*)

20 Картина Леопольда Плотека “Берлин и Ахматова в Ленинграде в 1945 году” (2005, холст, масло, 77 см х 65 см, *copyright © Leopold Plotek*)

21 Страница из *First Military Conscription and What it Means to You!* (“Первый призыв в армию и что это значит для тебя!”) (“Быть готовым к войне – один из наиболее действенных способов сохранить мир”, Джордж Вашингтон)

22 Стив Джобс и Билл Гейтс, 1991 год. (*George Lange/Contour by Getty Images*)

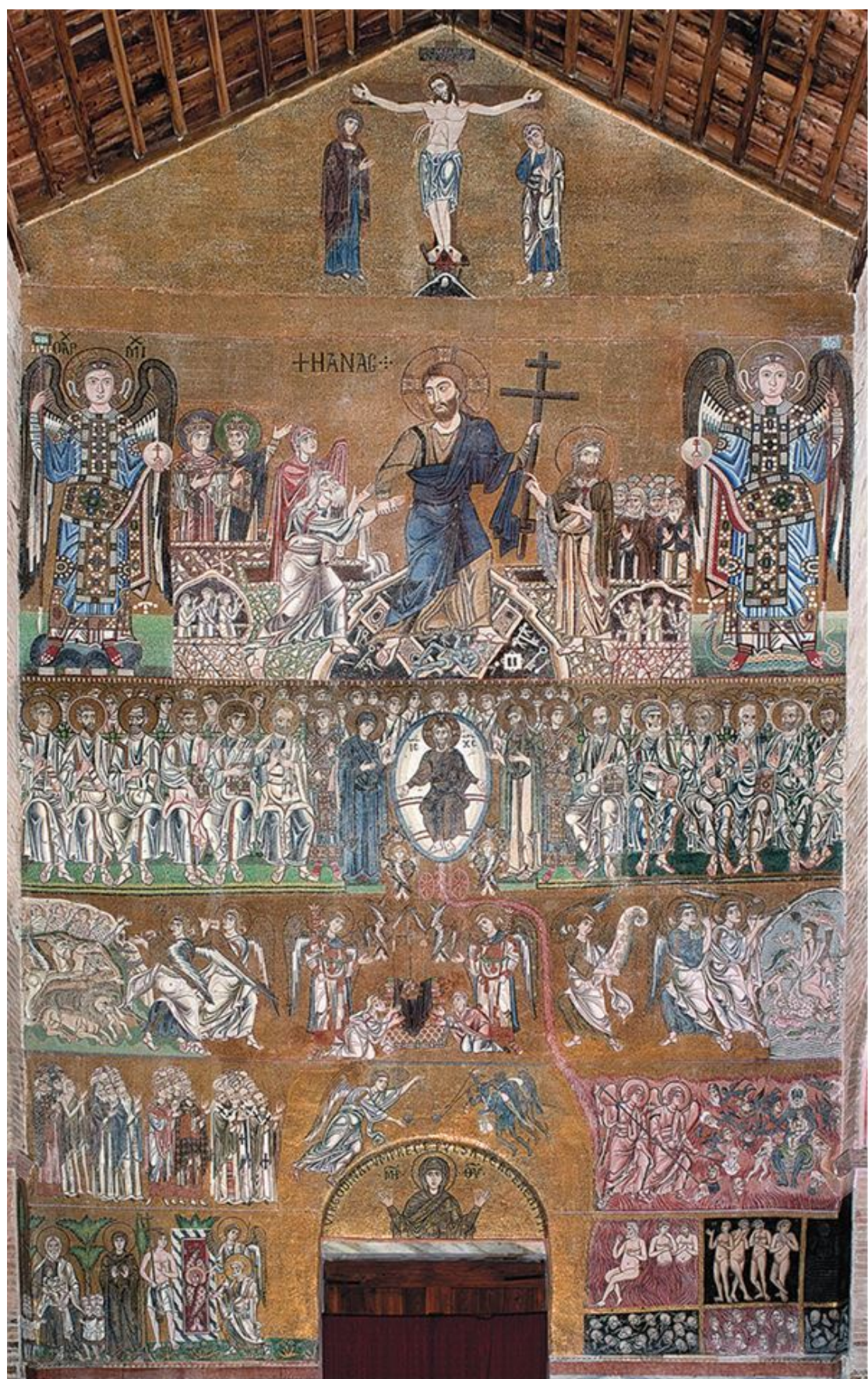
23 Стэнли Дракенмиллер и Джордж Сорос, 1992 год. (*Peter Morgan/REUTERS*)

24 Сеть разработчика терактов 11 сентября. (Из: Valdis E. Krebs, ‘Mapping Networks of Terrorist Cells’, *Connections*, 24, 3 (2002), pp. 43–52. *Copyright © 2002 by INSNA*. Воспроизводится с разрешения.)

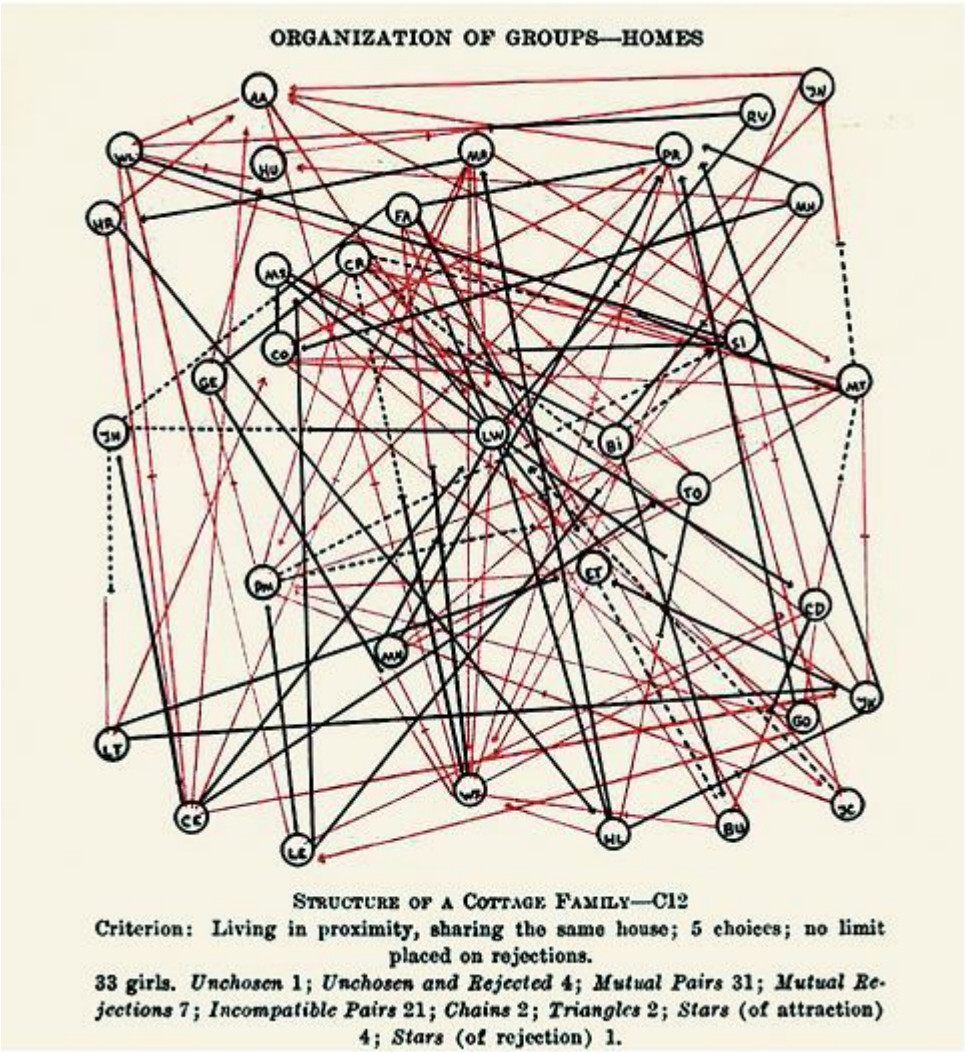
25 “Пространство производства”: график мирового экспорта. (Из Центра международного развития при Гарвардском университете. Воспроизводится с разрешения.)

26 “Мир Трампа” (Из: Michael Hunger, ‘Analyzing the BuzzFeed TrumpWorld Dataset with Neo4j’ (19 January 2017).)

27 Штаб-квартира Facebook и Трамп-Тауэр. (Jeff Hall Photography (наверху) and ErikN/123RF, LLC (внизу).)

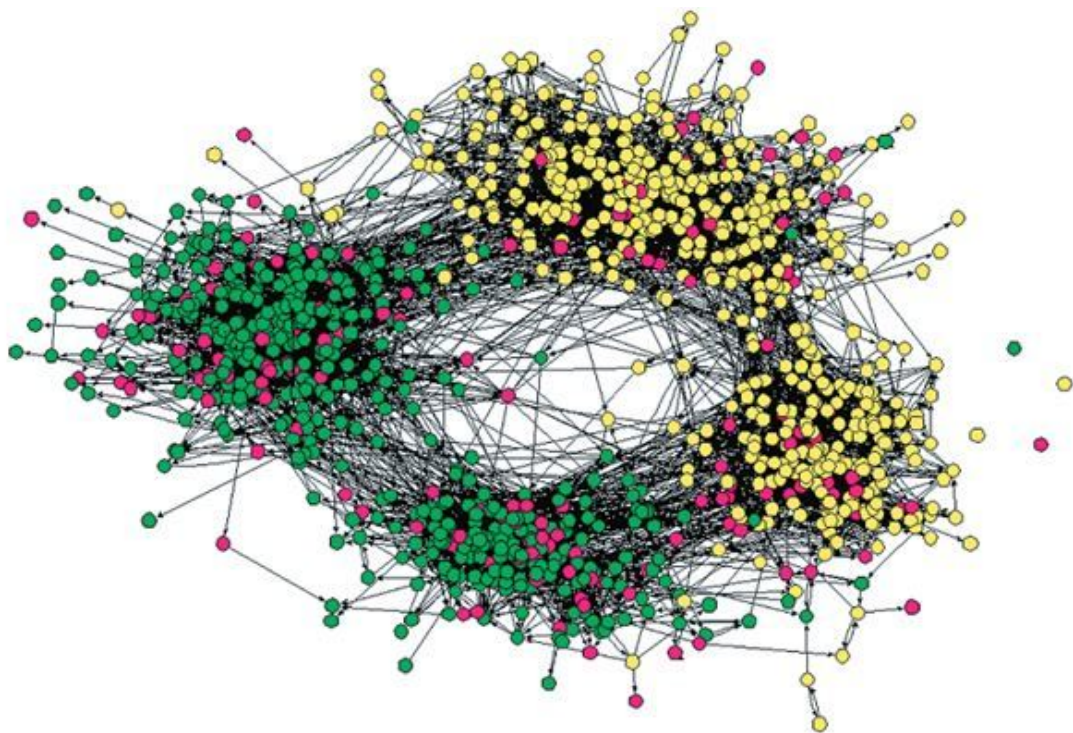


1. Мозаика на стене базилики Санта-Мария-Ассунта на острове Торчелло. Венеция. Слово “иерархия” восходит к древнегреческому *ἱεραρχία*, что буквально означает “власть верховного жреца”.



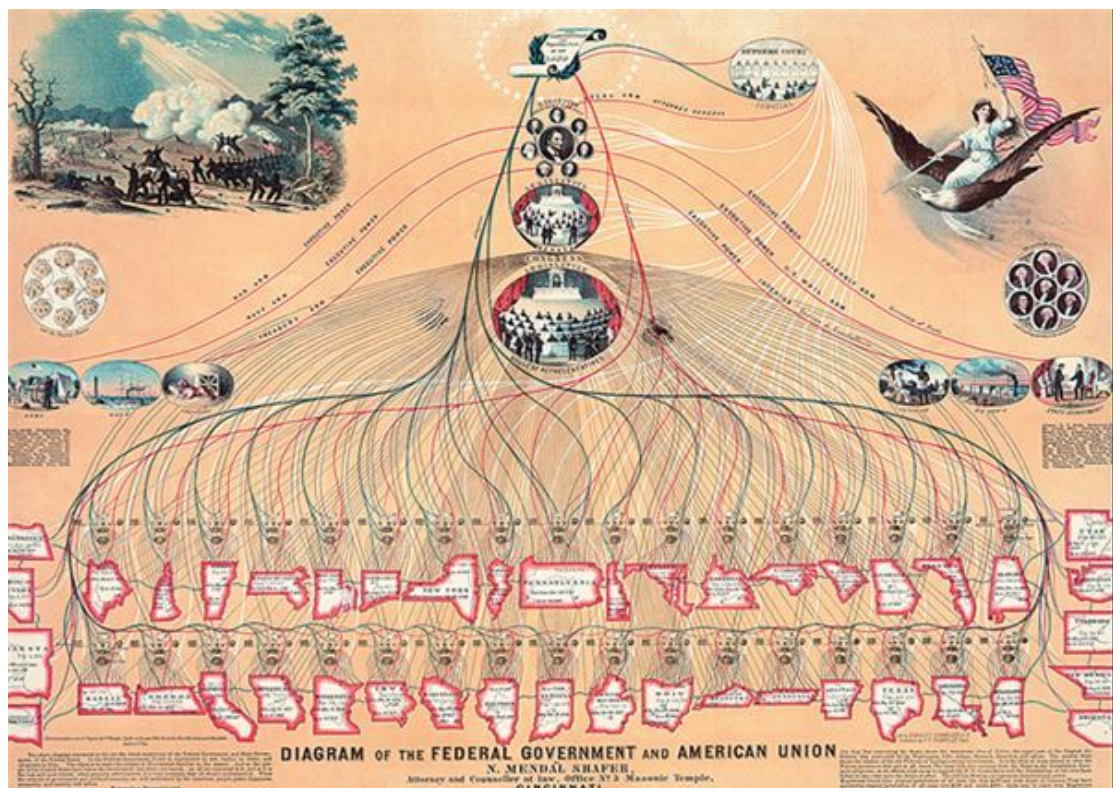
2. Одна из социограмм Якоба Морено, отображающих связи между воспитанницами Нью-Йоркской исправительной школы для девочек в Гудзоне, штат Нью-Йорк, жившими в одном из жилых корпусов. Обратите внимание на пояснение Морено к ситуации в одном из корпусов:

“Любопытно, что этот жилой корпус – один из двух «цветных» домов во всей общине, где белые составляют подавляющее большинство. Девочки испытывают наибольшие симпатии и антипатии к представительницам собственной расы, излучая как любовь, так и ненависть в рамках очень тесной социальной группы”.



3. Гомофилия в действии. Сеть дружеских связей в старшей школе, из Национального многолетнего исследования здоровья населения с юности до зрелости (*Longitudinal Survey of Adolescent to Adult Health / Add Health*). Два узла соединены, если один из учеников называл другого ученика другом. Обратите внимание на кластеризацию двух больших групп (из желтых и зеленых узлов) и на более случайное распределение третьей группы.

Примечательны здесь и “сетевые изоляты” – узлы без граней, то есть ученики без друзей.



4. Федеральное правительство США как иерархия.
 1862 год.



6. Площадь и башня. Пьяцца-дель-Кампо в Сиене, на которую легла тень Торре-дель-Манджа, Палаццо Публико.



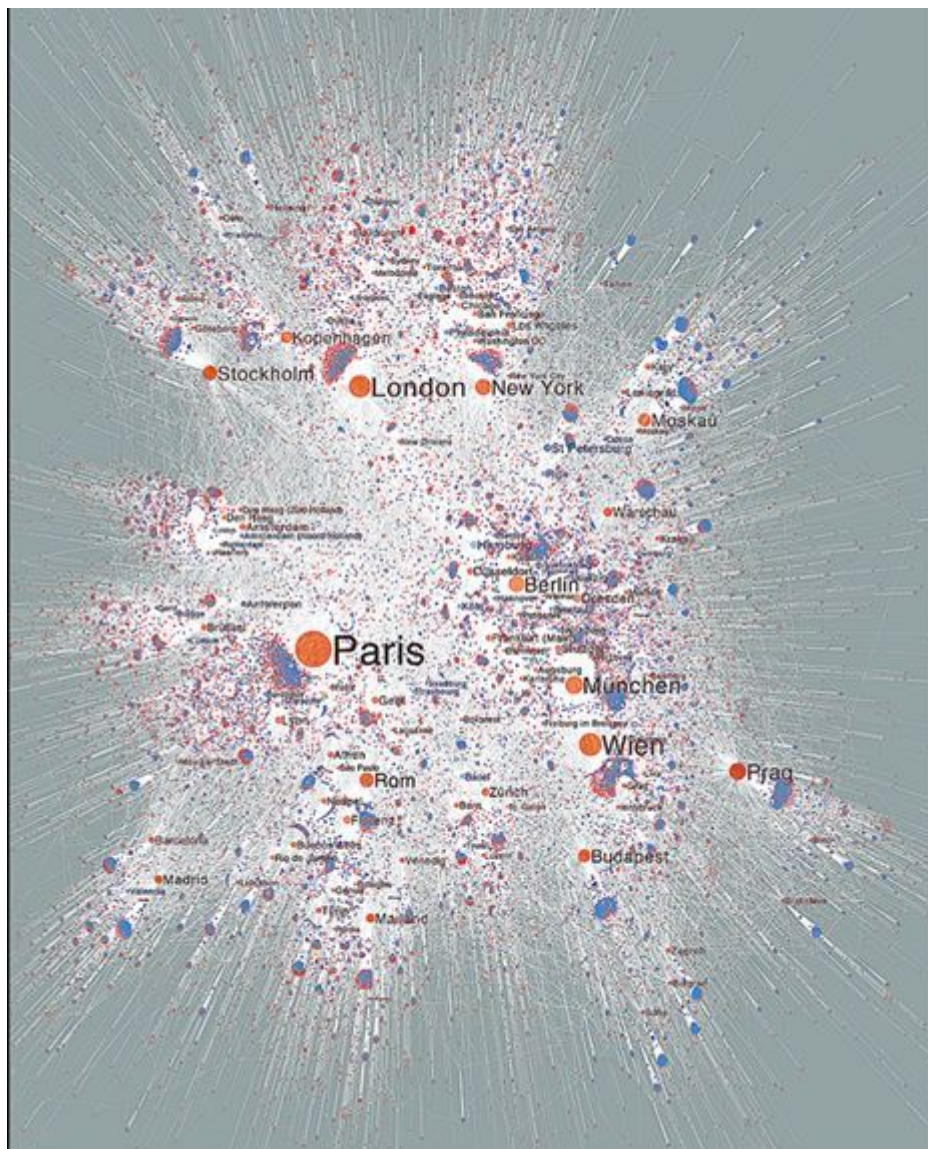
7. Планисфера Кантино. В 1515–1517 годах, пользуясь лучшими на тот момент картами и астролябиями, Фернау Переш де Андраде проплыл под парусами 6777 миль [10 907 километров] от Лиссабона до Гуандуна.



8. Реформация как великий распад. Массовое убийство протестантов-гугенотов в Варфоломеевскую ночь. 1572 год, Париж.

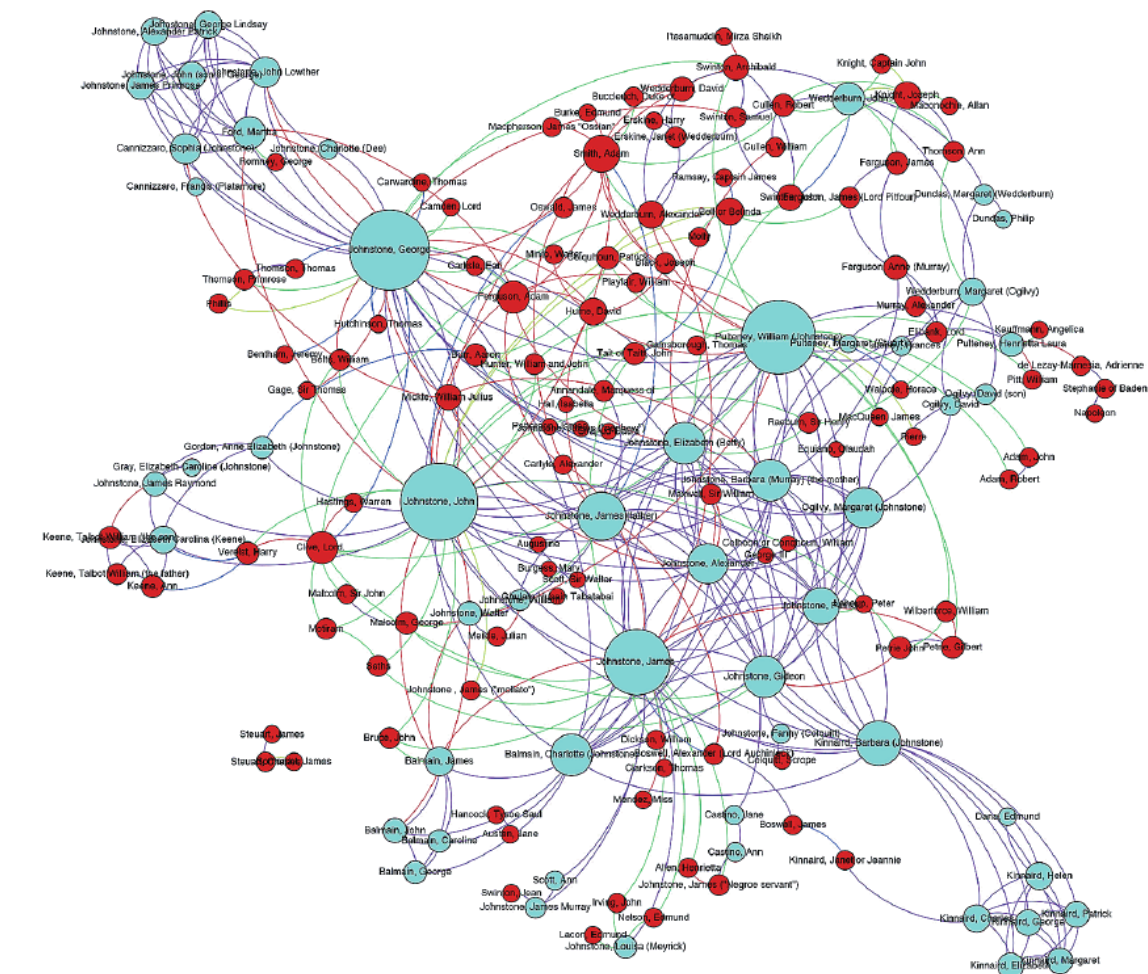


9. Восстановление иерархии? Герард Терборх. Утверждение Мюнстерского договора 15 мая 1648 года.



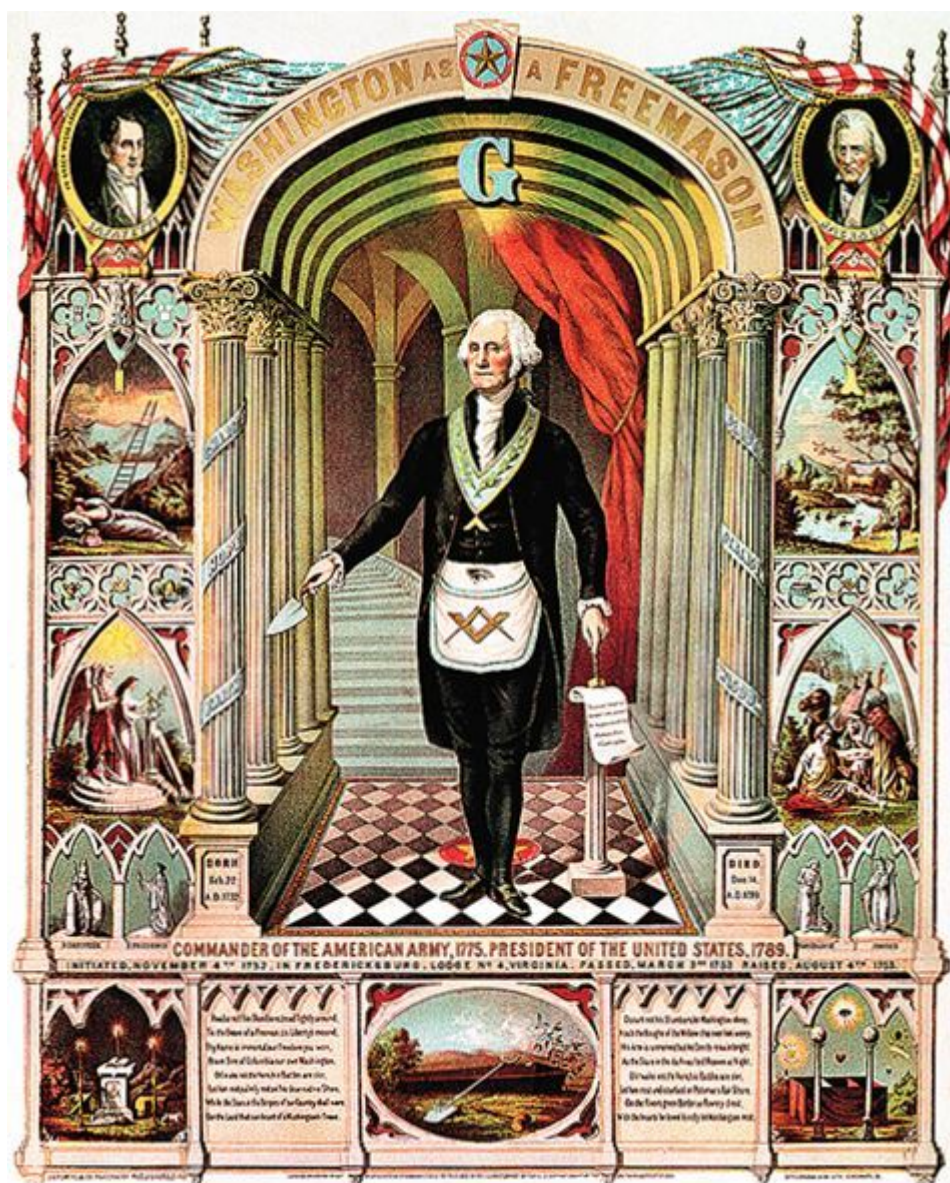
10. На карту нанесено 3 7 062 населенных пункта на основе данных о рождении и смерти

120 211 известных людей начиная с 1069 года до н. э. до 2012 года н. э. Величина узлов отражает их значимость.



11. Сеть XVIII века. Члены семьи Джонстон изображены голубыми узлами, их знакомые (включая и друзей, и соперников) – красными. Семейные связи показаны фиолетовыми линиями, деловые – зелеными, личные отношения – красными, случайные знакомства – синими.

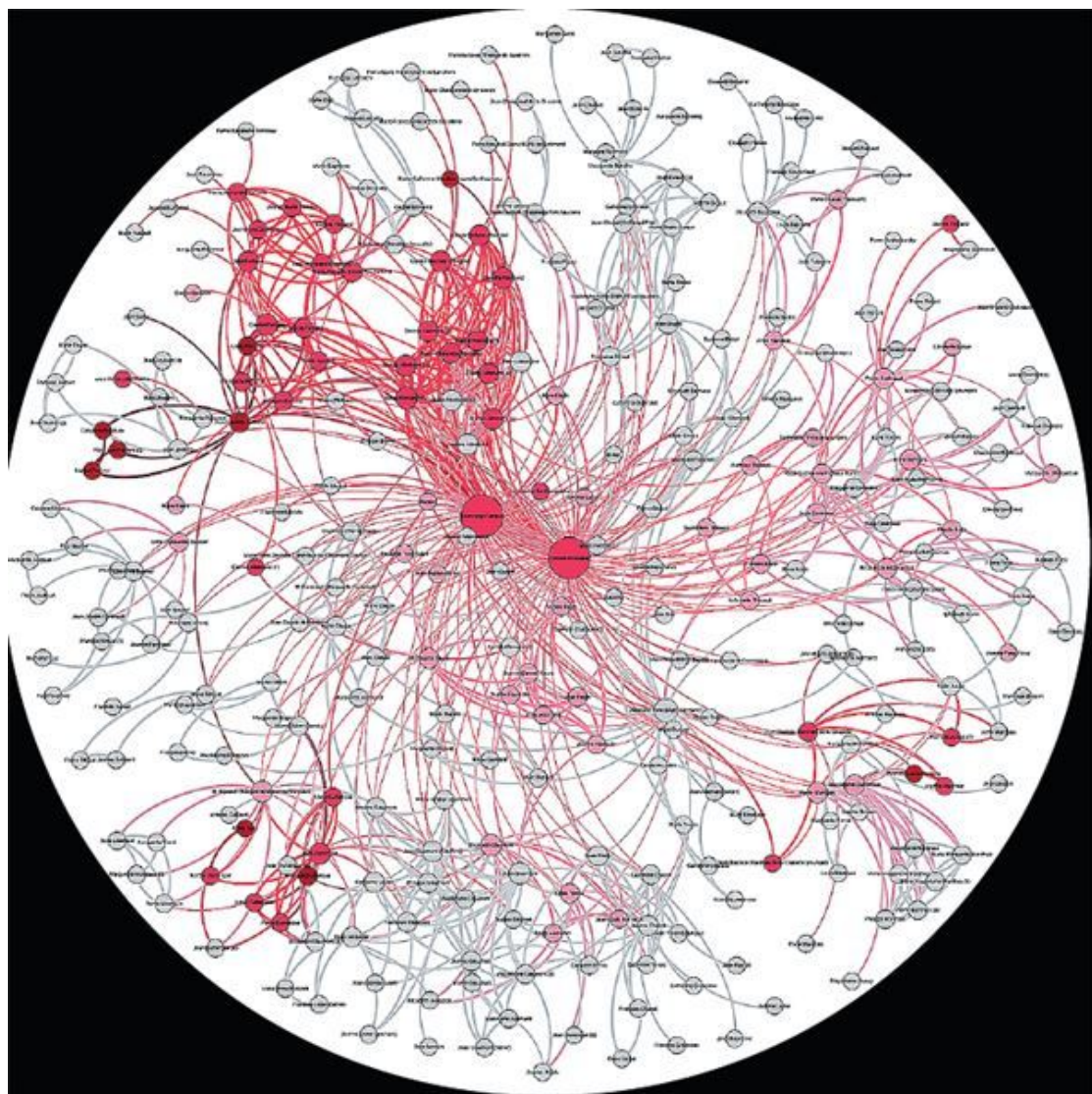
Связи между рабами и хозяевами показаны желтым цветом. Размер узлов отображает степень взаимосвязанности обозначенных ими лиц.



12. Джордж Вашингтон – отец-основатель и масон.



13. Венский конгресс. Рождественский “пирог волхвов” не удалось поделить без помощи финансовой сети Ротшильдов.



14. Ангулем. Французская провинциальная сеть XVIII века.

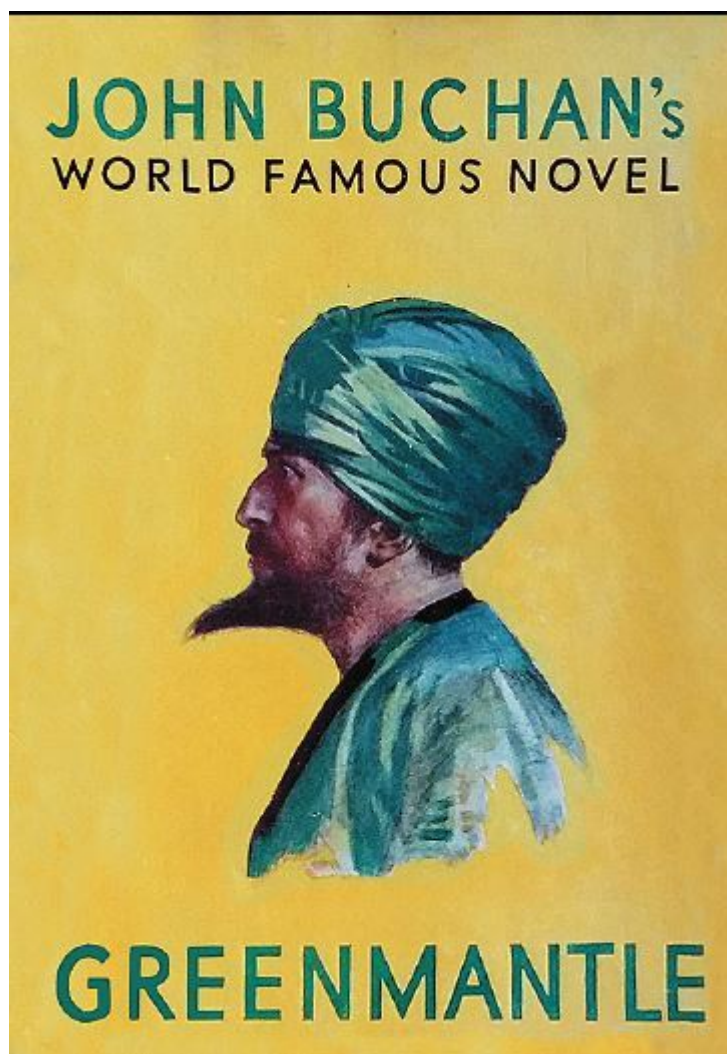
Лица, которые выезжали за пределы Франции, обозначены темно-красными узлами.



15. Сеть телеграфной компании *The Eastern Telegraph Co.* 1894 год.



16. Антикитайская стена. Карикатура Фридриха Граца из журнала *Ruck*. 1882 года. При помощи “фирменного” раствора, замешанного конгрессом, и кирпичей, которые таскают ирландцы, афроамериканцы и другие рабочие, Дядюшка Сэм возводит стену от китайских иммигрантов. На кирпичах надписи: “Предрассудки”, “Антирасовый закон”, “Зависть” и т. д.



18. Первое издание романа Джона Бакена “Зеленый плащ”.



19. Сталин как кормчий. Верховный иерарх тоталитарной эпохи.



20. Исая Берлин и Анна Ахматова.
Ленинград, ноябрь 1945 года.
Художник Леопольд Плотек.

FIRST MILITARY CONSCRIPTION AND WHAT IT MEANS TO YOU!

VOL. 1 No. 1 WINTER ISSUE



"TO BE PREPARED FOR WAR IS ONE OF THE MOST EFFECTUAL MEANS FOR PRESERVING PEACE."

GEORGE WASHINGTON

History was made on that afternoon of September 16, 1940, when the President of the United States signed the Burke-Wadsworth bill, the first peacetime military conscription act ever to become law in the 165 years existing in these United States of America.

This act provides for the registration of all men between the ages of 21 and 35 and to make themselves available for peacetime conscription and military training.

This magazine endeavors to show some aspects of life in the Army, and to give a brief but complete outline of what the next year means to the man who will be selected for the Army.

21. Вторая мировая война, или Как заставить молодых людей слушаться.



22. Крутой и некрутой.

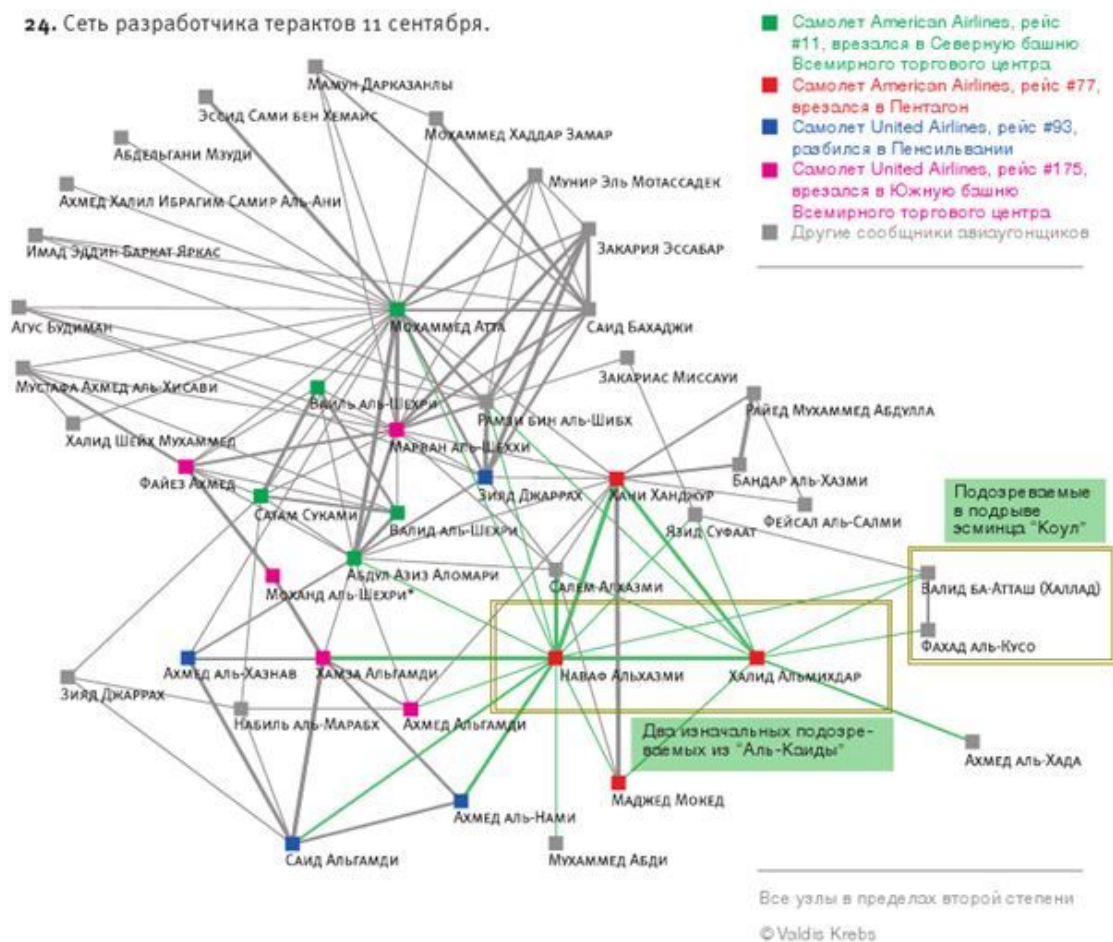


23. Вожаки электронного стада.

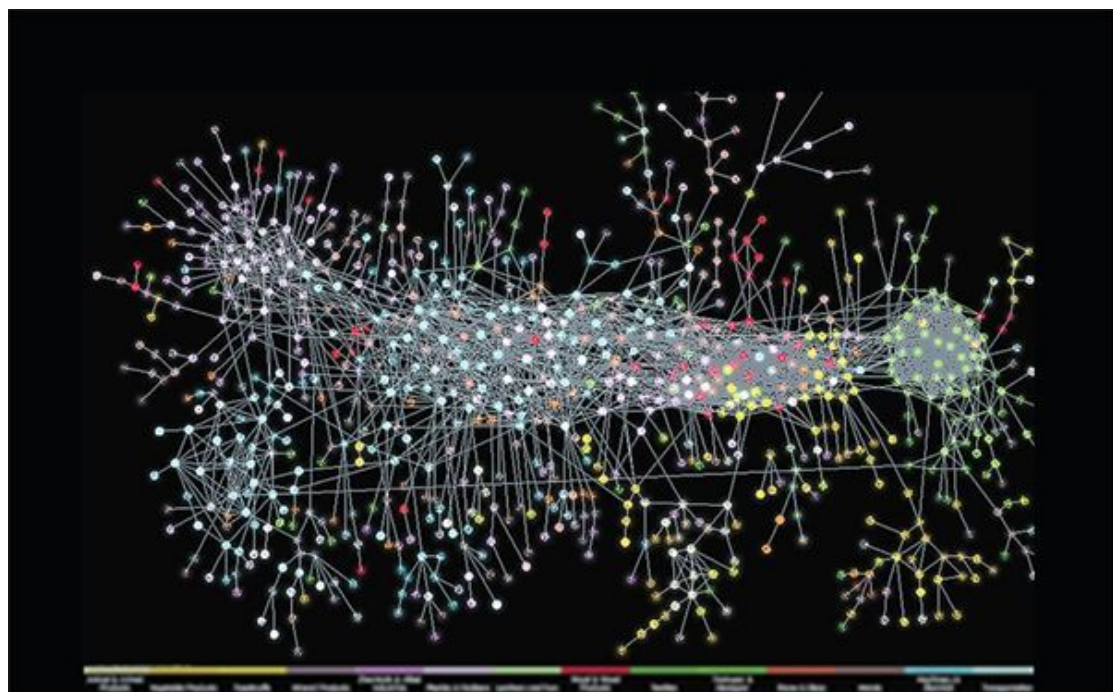
Стив Джобс и Билл Гейтс. 1991 год.

Стэнли Дракенмиллер и Джордж Сорос. 1992 год.

24. Сеть разработчика терактов 11 сентября.

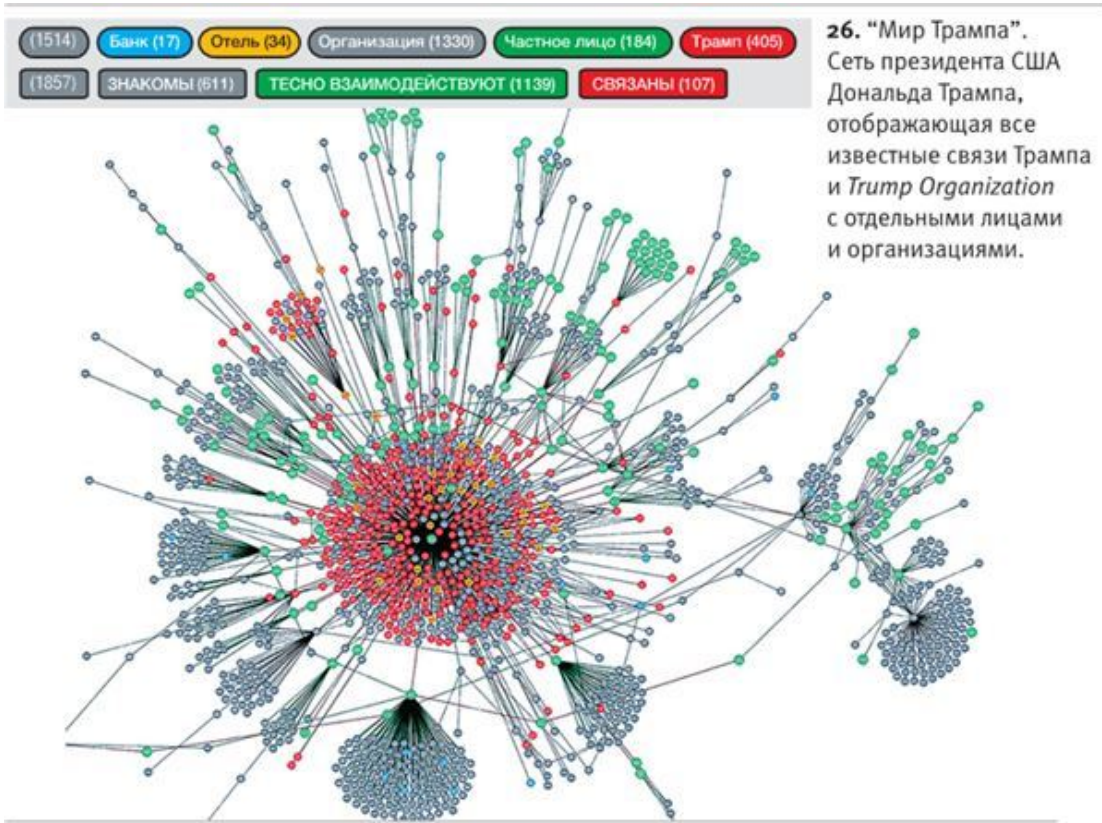


24. Сеть разработчика терактов 11 сентября.



25. Экономическая сложность. Граф “пространство производства” мирового экспорта, на котором каждая точка представляет 100 миллионов долларов стоимости экспорта.

Точки окрашены в соответствии с типом производства. В центральной компоненте преобладают “машинное оборудование и электротехника” и “транспорт” (включая автомобили); кластер справа – текстильная, обувная и шляпная промышленность.



26. “Мир Трампа”.
Сеть президента США Дональда Трампа, отображающая все известные связи Трампа и *Trump Organization* с отдельными лицами и организациями.



27. Штаб-квартира *Facebook* (вверху) и Трамп-Тауэр (внизу).